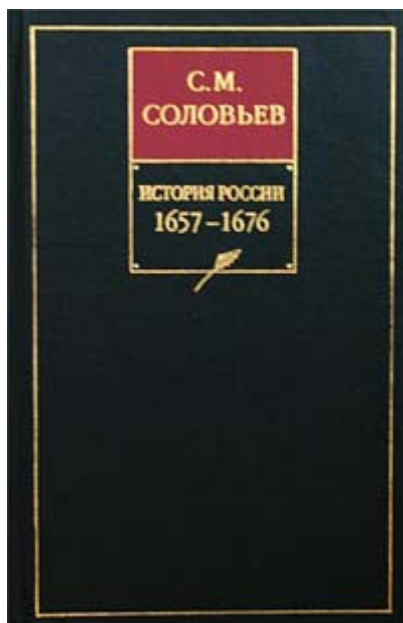


**Сергей Михайлович Соловьев**  
**История России с древнейших времен. Книга VI. 1657-1676**

***История России с древнейших времен – 6***



**Аннотация**

*В шестую книгу сочинений С.М. Соловьева включены одиннадцатый и двенадцатый тома «Истории России с древнейших времен». В них излагаются события в царствование Алексея Михайловича, т.е. освещается отечественная история примерно с конца 50-х до середины 70-х годов XVII в.*

**Сергей Михайлович Соловьев**  
**«История России с древнейших времен»**  
**Книга VI. 1657-1676**

**Одиннадцатый том**

**Глава первая**

**Продолжение царствования Алексея Михайловича**

*Гетманские и митрополичьи выборы в Малороссии. – Переговоры с Тетерею в Москве. – Посольство Кикина в Малороссию. – Выговский замышляет измену. – Союз его с ханом крымским. – Сношения хана с Москвою и дела на Дону. – Выговский и Лесницкий возбуждают козаков против царя. – Посольство Матвеева и Рагозина к Выговскому; посланцы Выговского – Меневский и Коробка в Москве. – Запорожцы жалуются царю на Выговского. – Вопрос о воеводах. –*

*Хитрово в Малороссии и Переяславская рада. – Полтавский полковник Пушкарь против Выговского. – Изветы его царю. – Лесницкий в Москве. – Выговский с татарами идет на Пушкаря. – Гибель последнего. – Выговский поддается польскому королю. – Военные действия под Киевом. – Разделение Малороссии и усобица. – Радость в Польше. – Двадцать одна причина, почему царь Алексей не мог быть избран в преемники Яну-Казимиру. – Старания Матвеева склонить Литву на царскую сторону. – Сношения с Польшею. – Виленские съезды. – Враждебные движения польских войск. – Победа Долгорукого над Гонсевским и плен последнего. – Затруднительное положение Москвы. – Ордин-Нащокин и его преобразовательные замыслы. – Борьба в Малороссии. – Поход Трубецкого. Наказ ему насчет соглашений с Выговским. – Конотопская битва. – Ужас в Москве. – Действия Выговского и сношения его с Трубецким. – Дела в Крыму. – Действия донских козаков. – Падение Выговского. – Юрий Хмельницкий-гетман. – Переговоры с Швециею. – Ссора Нащокина с Хованским. – Валиесарское перемирие. – Побег сына Ордина-Нащокина за границу и переписка отца с царем по этому случаю. – Кардисский мир.*

В Чигирине около гроба знаменитого гетмана волновалась старшина козацкая важным вопросом: кому быть на месте Хмельницкого? Живому Богдану никто не решился отказать в просьбе насчет избрания в гетманы сына его; теперь никто не думал об исполнении обещания, когда грозный батька козацкий лежал без дыхания. Выговский, не боясь, что его раскуют по рукам лицом к земле, действовал свободно и приобретал сильную сторону. Не стало гетмана в Чигирине, не было митрополита в Киеве; здесь волновались не менее важным вопросом: как выбирать преемника Сильвестру Коссову? Хлопотал воевода Андрей Бутурлин, призывал епископа черниговского Лазаря Барановича, печерского игумена Иннокентия Гизеля, других игуменов и говорил им всякими мерами, с большим подкреплением, чтоб поискали милости великого государя, правду свою к нему показали, были под послушанием и благословением великого государя святейшего Никона патриарха, без царского указа за епископами не посылали и без патриаршего благословения митрополита не избирали. Епископ Лазарь отвечал, что он рад царской милости и патриаршему благословию, но надобно подумать с архимандритами и игуменами. 7 августа Лазарь приехал к воеводе и объявил, что духовенство киевское приговорило быть под послушанием Никона патриарха, что теперь они едут в Чигирин на погребение гетманское, а когда возвратятся и укрепятся между собою, то отправят кого-нибудь из своих к великому государю. Выговский писал Лазарю: «Выбирайте митрополита между собою, кого хотите, а нам теперь по смерти гетманской до того дела нет».

А между тем в Москве, ничего не зная, рассуждали с Павлом Тетерею, приехавшим в послах еще от гетмана Богдана Хмельницкого. 4 августа Тетеря представлялся государю и говорил речь: «Егда богодарованную пресветлейшего вашего царского величества державу нынешними времяны, над малороссийским племенем нашим утверденну и укрепленну, внутренними созираю очима, привожду себе в память реченное царствующим пророком: от господа бысть се и есть дивно во очию нашею, воистинно соединение Малые России и прицепление оныя к великодержавному пресветлейшего вашего царского величества скифетру,

яко естественной ветви к приличному корени. И якоже древле Давиду израильские девы ликоствующе в тимпанех с радостию и гуслех припеваху: победи Саул со тысящами, а Давид – со тмами, тако и пресветлому вашему царскому величеству истинно все Российстии сынове припевати можем: иные цари победиша со тысящами, ты ж, великодержавный царь наш, победил еси со тмами. Преславная воистину есть пресветлого вашего царского величества на враги победа, понеже, ревнующе по благочестивой вере, не пощадил еси своя царския главы, не предпочел еси своего угодия, но, оставя множицею свой царский престол и презревше своя царския палаты, изшел еси пред нами на враги наша и сам возжелал еси поборати по нас, прямых подданных своих. Воистину поставлен еси от вышних десницы божия над Сионом горою святою его, над сионовыми, глаголю, сыны российскими, возвещая нам всем повеления господня и сведения его: не возвещаеши ли нам житием непорочным своим повелений господних? Не учиши ли нас изрядных добродетелей своих? И кто не познавает кротость твою, кто ли не причастен милости твоея? Кто не проповедует благоутробия вашего царского величества и к самим врагам непамятозлобного нрава? Дивно есть во очию нашею, дивно и чудесно: понеже, егда оскудеваше в помощи Малая Россия, тогда бог подвиже благочестивое вашего царского величества сердце, что от высокого своего престола призрел еси на нас и под высокую свою руку воинство наше запорожское щедротне восприяти благоволил, которое, крестным целованием государю и царю своему привязанное, чрез нас, посланников своих, пред святым вашего царского величества престолом до лица земли упадает и, не превратно и не льстиво в своем крестном целовании пребывающе, пресветлого вашего царского величества, яко второго великого во царех и равного во апостолах Владимира, не точию почитает, но и предпочитает, понеже он аще ли российское племя святым просветил крещением, но и сам кроме закона иногда живяше и многих сынов российских своим порочным языческим житием погубляше; но ваше царское величество вящшие сподобися благодати, егда отторженную ветвь, Малую Россию, приобретете».

Оратору был сделан первый вопрос: по утвержденным статьям, в городах должны быть урядники и всякие доходы собирать на царское величество и отдавать тем людям, которых он пришлет; из этих поборов давать жалованье начальным людям и козакам, которые должны быть в числе 60000. Но поборов до сих пор ничего не взято; гетман их собирает ли и жалованье козакам дает ли? Государь об этом спрашивает не для того, чтоб доходы были надобны в царскую казну, но для того: государь узнал, что на гетмана и полковников козаки бунтуют, будто они доходы собирают на себя, а им жалованья не дают. «То-то и беда, – отвечал Тетеря, – что доходы не собираются, жалованье козакам не дается, и они служат лениво, а принудить их нельзя служить без жалованья. С Киевского воеводства я сам собрал 20000 рублей, а можно собрать и 50000 золотых червонных, если впрямь собирать; в иных поветах полковники собирают со двора золотых по два и по три, говорят, что собирают на гетмана, но гетману если что и дадут, то не все, а корыстуются сами, и от того происходят смуты и бунтовство. Изволил бы великий государь послать к гетману, чтоб сознал раду и при всех царскую милость объявил и статьи вычел: хотя гетману это будет и не любо, только войску будет годно, а нам теперь с гетманом спорить нельзя, потому что будет ему не любо». Объявили посланнику и второе неудовольствие царское:

«Гетман не исполнил статьи, чтоб не принимать иностранных послов; царское величество все посылал милостиво, потому что гетман писал с покорностью: так гетману и всему войску, видя такую милость, надобно знать и обещание свое исполнять, ибо за всякое крестопреступление надобно бояться гнева божия». «Все это правда, – отвечал Тетеря, – только нам всего этого гетману выговорить нельзя».

В грамоте, поданной Тетерею от Богдана (от 10 июля), гетман писал, что пошлет к шведскому королю проведать о его умысле; что приказал уже полковнику Антону возвратиться и идти под Каменец; идущему к нему Беневскому скажет, чтоб поляки непременно выбрали царя в короли. Тетеря имел поручение и от Выговского: «Бил челом писарь о маетностях жены своей Статкеевичевны да жены брата своего, дочери Ивана Мещеринова: так какое будет царского величества изволение?» Ему отвечали: «Как присылал к царскому величеству в 1655 году Иван Выговский брата своего Данилу бить челом о маетностях, то великий государь пожаловал их большими городами и маетностями; им этим можно жить без нужды, а Статкеевичевы маетности розданы шляхте присяжной, у которой назад их взять нельзя».

10 августа пришла весть, что Богдан Хмельницкий умер. Тетеря подал письмо от Выговского: писарь писал, что гетман умер 27 июля, во вторник, в пятом часу дня; письмо оканчивалось так: «Непременно надобно бить челом царскому величеству, чтоб изволил нас оборонять войском; да прошу еще вашу милость: бейте челом царскому величеству, чтоб мне в Литве спокойнейшее житие дать, потому что я тут, будучи стар, с козаками ничего не успею». Тетеря объяснил, почему Выговскому хочется имений в Литве: «Хотя царское величество писаря, отца его и братью и пожаловал, только они этим ничем не владеют, опасаясь Войска Запорожского». Ему отвечали: «Если они до сих пор не владели, опасаясь Войска, то теперь будет послан в Малую Россию ближний боярин князь Алексей Никитич Трубецкой; он об этих маетностях объявит, и тогда Выговским можно будет ими владеть свободно с ведома Войска». «Сохрани боже! – отвечал Тетеря, – чтоб царское величество Войску о своих пожалованиях объявлять не велел, потому что об этом и гетман Богдан Хмельницкий не знал; если в Войске сведают, что писарь с товарищами выпросили себе у царского величества такие большие маетности, то их всех тотчас побьют и станут говорить: мы всем Войском царскому величеству служили и за него помирили, а маетности выпросили себе один писарь с товарищами; да станут говорить, чтоб всеми городами и местами владеть одному царскому величеству, а им кроме жалованья ничего не надобно. Если царское величество велит пожаловать писаря, отца его и брата маетностями, то велел бы отвести в литовских краях особое место, чтоб им ни с кем ссоры не было, а в Войске Запорожском владеть им ничем нельзя. Из присланных мне писем вижу я, что теперь старшины все при гетмановом сыне Юрии, в Войске смирно, и думаю, что выберут Юрия в гетманы. Но как слышат, что царское величество шлет своих бояр и рада будет, то при гетманове сыне есть много таких людей, которые ему дружат, а с полковниками не в совете, и станут они ему говорить, чтоб рады не сбирал, чтоб ему своего владенья не убавить, так же как и отец его рады не сбирал, а владел всем один, что прикажет, то всем Войском и делают, а только раду ему собрать, то на раде без бунта не пройдет: у всякого будет своя мысль, иной захочет в гетманы Юрия

Хмельницкого, иной – другого, а иной захочет того, чтоб владел всем царское величество, а хотя и гетман будет, то владенье его перед прежним будет не так сильно. У нас теперь от неприятелей спасенья нет, а в Войске много неразумных людей, которые станут мыслить, что царские бояре идут с войском за тем, чтоб Войско Запорожское чем-нибудь стеснить, а нам теперь войска не надобно. Царское величество изволил бы в своей грамоте вначале написать имя гетманова сына Юрия, чтоб ему не было досадно; отец его государю бил челом, чтоб после него гетманом быть сыну его, и царского величества на то изволение есть».

Сам Выговский давал знать о гетманстве Юрия Хмельницкого; так, он писал к путивльскому воеводе Зюзину: «Если хочешь знать, кто теперь избран в гетманы, то, я думаю, ты знаешь, как еще при жизни покойного гетмана вся старшина избрала сына его пана Юрия, который и теперь гетманом пребывает, а вперед как будет, не знаю; тотчас после похорон соберется рада из всей старшины и *некоторой* черни; что усоветуют на этой раде, не знаю. А я после таких трудов великих рад бы отдохнуть и никакого урядничества и начальства не желаю». К Бутурлину в Киев писал Выговский, что польский посол Беневский прислан к ним для хитрости, чтоб отлучить Войско Запорожское от высокой царской руки, но что такой неправде в Войске Запорожском места нет, от царского величества оно во веки веков не отступит.

Зюзин, узнав из письма Выговского о раде, отправил подьячего в Чигирин посмотреть, что там будет делаться. Подьячий приехал в Чигирин 21 августа и тотчас же явился к писарю, Выговский говорил ему: «Царскому величеству я верен во всем, служу великому государю и Войско Запорожское держу в крепости. Как гетмана Богдана похороним, то у нас будет рада о новом гетмане, а мне Богдан Хмельницкий, умирая, приказывал быть опекуном над сыном его, и я, помня приказ, сына его не покину. Полковники, сотники и все Войско Запорожское говорят, чтоб мне быть гетманом, пока Юрий Хмельницкий в возрасте и в совершенном уме будет». Августа 23-го похоронили Богдана в Субботове; 26-го была рада: выбрали гетманом Выговского, дали ему царскую булаву и говорили, чтоб он великому государю служил верно и над Войском Запорожским добрую управу чинил. Выговский отвечал: «Эта булава доброму на ласку, а злому на каранье; потворствовать я никому не буду; Войско Запорожское без страха быть не может». Старшина козацкая, также войты и бурмистры говорили, чтоб новый гетман прочел им всем вслух царскую жалованную грамоту, хотят они знать, на каких волях пожалованы. Гетман прочел грамоту, и все закричали: «Рады великому государю служить вечно!» Подьячий привез Зюзину грамоту от нового гетмана. Выговский, теперь уже Иоанн, а не Иван, писал, что покойный Богдан сына своего и все Войско Запорожское ему в обереганье отдал, а теперь вся старшина и чернь старшинство над Войском ему же вручили и он царскому величеству верно служить будет. Бутурлину Выговский писал: «Ни желания, ни промысла, ни помышления моего о том не было, чтоб быть мне старшим над Войском Запорожским; но, видно, исполняя волю божию, Войско советными голосами возложило на меня не столько уряд, сколько тягость. Надеюсь, что царское величество будет доволен моими услугами».

Между тем, еще не зная о выборе Выговского, государь отправил в Малороссию стольника Кикина объявить Войску, что царское величество, известившись еще от покойного Богдана о неприятельских замыслах хана

крымского, посылает на помощь козакам войско свое под начальством князя Григория Григорьевича Ромодановского и Василия Борисовича Шереметева; сверх того, скоро явятся к ним Алексей Никитич Трубецкой и Богдан Матвеевич Хитрово для рады. Мы видели, что говорил Тетеря о жалованье козакам и как проговорился он, что некоторые будут желать непосредственного подчинения Малороссии царю. В Москве не проронили этих слов, и Кикину велено было говорить рядовым козакам: давали ли им при гетмане Богдане во время походов жалованье? И если скажут, что не давали, внушить, что гетман делал это без воли государя, который назначил им на жалованье сбор с городов и поветов малороссийских, и теперь все это велел рассмотреть и указ учинить князю Трубецкому. Кикин должен был также говорить с войтами, бурмистрами и мещанами наедине, что гетмана не стало, а на города малороссийские наступили неприятели, крымский хан и ляхи, да у них же между собою учинилось смятение; царское величество для их обороны послал войско, а для своих государевых дел – князя Трубецкого с товарищами: так они бы ничем не оскорблялись. А если станут говорить: хорошо было бы, если б великий государь для всяких неприятельских приходов и расправных дел изволил быть у них в городах своим воеводам, то отвечать, что все эти дела положены на князя Трубецкого. А если про воевод и не начнут говорить, то Кикину самому начать, чтоб государевым воеводам быть в черкасских знатных городах для того, чтоб тамошним жильцам от полковников и других людей обид и налогов не было. Кикин должен был везде разведывать: кто у черкас начальник человек, кого больше слушают и кого хотят избрать в гетманы, Юрия ли Хмельницкого или кого другого, и нет ли теперь между черкасами на полковников какого рокошу, и если есть – за что? И чего между ними чаять? И захотят ли, чтоб в городах были государевы воеводы?

В Украине действительно начинался рокош, но шел он не снизу, а сверху. Присоединение к Москве было делом народного большинства, и большинство это до сих пор не имело никакой причины раскаяться в своем деле. Другой взгляд был у меньшинства, находившегося наверху: для этого меньшинства, для войсковой старшины и особенно для шляхты соединение с шляхетским государством, с Польшею, имело более прелести. Представителем этого меньшинства был именно шляхтич Выговский, сделавшийся теперь, *по избранию меньшинства*, гетманом. Уже и Богдану, привыкшему, во время борьбы с Польшею, распоряжаться произвольно, тяжело было подчинение Московскому государству, столь ревнивому к правам своим; уже Богдану тяжело было извертываться пред послами великого государя, требовавшими неуклонного исполнения обязательств. Но старого Богдана за его славу и заслугу щадили в Москве; будут ли щадить Выговского? Последний имел основания решать этот вопрос отрицательно и давно уже устремлял свои взоры на запад, к шляхетскому государству, где сулили ему блестящее, независимое положение, сенаторство. Многие из старшин, прельщенные теми же выгодами, были на стороне Выговского. Но прямо, немедленно объявить себя против Москвы и соединиться с Польшею было нельзя: Польша была слаба, не оправилась еще от тяжелых ударов, нанесенных ей Москвою и Швециею, не могла она собственными силами защитить Выговского и товарищей его от мщениия царского; притом же войско и народ были против подданства Польше; надобно было сначала хитрить и опереться на какой-нибудь другой союз, действительнее польского, и Выговский обратился к хану

крымскому, союз с которым так много помог Хмельницкому в начале борьбы его с Польшей. Мы видели, какой сильный гнев возбудило в Крыму известие о подданстве Малороссии московскому царю. Явно помогая польскому королю против козаков, подданных царских, хан не прерывал сношений с Москвой, брал подарки по-прежнему, менялся послами, но послы его твердили: «Царское величество велел бы донских козаков унять, чтоб они крымскому юрту убытков не чинили и на море не ходили; а если царь донских козаков унять не велит и станут отказывать по-прежнему, будто донские козаки у него, государя, в непослушаньи, то у хана есть в степи ногайских татар, вольных людей немало, и они также Московскому государству убытки чинить станут. Царское величество в титуле своем пишет Великую и Малую Русь; у крымского хана Малая Русь была под рукою лет с 7 или 8, но хан Малою Русью не писался, а ныне бог ведает, за кем та Малая Русь будет. Прежде с крымскими послами и гонцами хаживали многие люди, а после это отговорено, и ходят теперь с послами немногие люди: чтоб царское величество указал и теперь людям ходить по-прежнему». Хан писал царю: «В вашей грамоте написано не по-прежнему: „восточной и западной и северной страны отчичь и дедичь, наследник и обладатель“. Таких непристойных титулов предки ваши не писывали: где Москва? Где восток? Где запад? Между востоком и западом мало ли великих государей и государств? Можно было это знать и не писаться всей вселенной отчичем, дедичем и обладателем; так лживо и непристойно писать непригоже!» Когда послы Выговского явились в Крым с объявлением, что новый гетман откладывается от царя московского, то хан не знал, верить или не верить такой радости; ближний человек его, Сефергазы-ага, в разговоре с московским посланником Якушкиным сказал: «Писарь Иван Выговский, узнав, что хан Магмет-Гирей собирается идти на запорожских черкас войною за их воровство и грубость, присылал в Крым гонцов своих сказать, что он, писарь, сделался гетманом и у московского государя в подданстве быть не хочет, хочет быть в подданстве у Магмет-Гирея; но хан его словам не верит, потому что черкасы люди непостоянные». Якушкин возражал, что Сефергазы-ага напрасно называет черкас ворами, воровства их нигде не бывало. Но, сделав это возражение, Якушкин не оставил, однако, без внимания слова Сефергазы-аги и осведомился у преданного Москве князя Маметши-Сулешова, зачем приезжали гонцы от Выговского? Сулешов рассказал все подробно: гонцы приезжали с предложением союза, какой был у козаков с крымцами при Богдане Хмельницком: Выговский просил, чтоб по заключении союза хан шел вместе с ним разорять Запорожье, потому что московский царь посылает запорожцам жалованье и наушает их на него, Выговского. Хан отправил к Выговскому князя Караша для заключения союза, и Выговский объявил посланному настоящую причину, по которой он отложился от Москвы: московский государь посылает к ним в черкасские города воевод, а он, гетман, у воевод под началом быть не хочет, хочет черкасскими городами владеть сам, как владел ими Богдан Хмельницкий. Вследствие этого хан велел объявить Якушкину, что он готов дать шертную грамоту, но такую, какие давались царю Михаилу Федоровичу, без упоминания о черкасах, потому что запорожские черкасы люди вольные, на мере еще не стали и у царского величества еще не утвердились. Такой шерти московский царь не мог принять, и если хан заключал союз с изменившими царю козаками малороссийскими, то в Москве, разумеется, не имели более побуждений

удерживать донских козаков от войны с бусурманами. Еще в мае 1657 года донцы писали царю: «В твоих государевых грамотах к нам писано, чтоб нам с турским и с крымским ханом никакого задора не чинить; и мы твоего царского повеленья не преслушались, с азовцами помирились. Но они души свои потеснили, в миру и в правде своей не устояли, твою вотчину, Черкасский городок, у нас хотели за миром и за душами взять, приходили к нам на приступ с приметом, и мы долгое время от них в осаде сидели и отсиделись, а приходили к нам от хана крымского многие мурзы с таманцами, черкесами горскими, кабардинцами, малыми ногаями, темрюцкими и азовцами; да и теперь слухи приходят, что хан хочет быть к нам сам со многими умыслами и на похвальбе, хочет твою государеву вотчину запустошить, столповую реку Дон и верхние городки». Донцы не остались в долгу, и летом того же года посланники царские в Крыму были свидетелями, как они вошли в устье Алмы, чтоб запасть водой, бились с татарами, которые не хотели давать им воды, жгли деревни. Татары были в ужасе, тем более что хан ушел в поход; они ежечасно ждали нового нападения козаков, покопали глубокие ямы и на ночь сажали туда невольников; ямы закладывали досками и сами спали на этих досках, боясь, чтобы невольники не убежали к козакам. Осенью донцы писали царю, что уже целый год не приезжают к ним торговые люди из крайних городов, из Ельца, Воронежа, Белгорода и Валук, хлебных запасов, пороху и свинцу купить негде, умирают голодной смертью. «А мы, холопы твои, служим тебе с воды да с травы, а не с поместий и не с вотчин». В марте 1658 года великий государь пожаловал, велел послать к ним тысячу рублей денег, тысячу рублей за хлебные запасы, пушечных запасов тридцать пуд, зелья пушечного пятьдесят пуд. У донцов окончательно развязались руки.

Между тем положение нового гетмана малороссийского далеко не было завидным: он был избранник меньшинства и похититель в глазах огромного большинства козаков, для которых законным гетманом мог быть только выбранный вольными голосами на общей раде, а Выговский не мог надеяться такого избрания: за молодым Хмельницким было знаменитое имя, дорогое козачеству; минуя Хмельницкого, были полковники, выдававшиеся вперед заслугами войсковыми, а Выговский был писарь, звание, не пользовавшееся особенным уважением в воинственной толпе; кроме того, Выговский даже не был козак и, что всего хуже для козака, был шляхтич. Попытка Выговского и его приверженцев поднять в козаках неудовольствие против Москвы не удалась. Григорий Лесницкий, приехавши по смерти Богдана из Чигирина в Миргород, собрал раду на своем полковничьем дворе, собрал сотников и атаманов и говорил им: «Присылает царь московский к нам воеводу Трубецкого, чтоб Войска Запорожского было только 10000, да и те должны жить в Запорожье. Пишет царь крымский очень ласково к нам, чтоб ему поддались; лучше поддаться крымскому хану: московский царь всех вас драгунами и невольниками вечными сделает, жен и детей ваших в лаптях лычных водить станет, а царь крымский в атласе, аксамите и сапогах турецких водить будет». Сотники и атаманы отказали, что бусурману не хотят поддаваться. Тот же Лесницкий прислал грамоту в Константинов: «Были мы в подданстве у его царского величества на своих волях по смерти гетмана Богдана Хмельницкого; а теперь идут к нам воеводы Трубецкой и Ромодановский с войском, и вы должны будете давать им кормы и всякую живность; по нашим городам хотят посадить царских воевод и живность им давать, а которые подати



брали на короля и на панов, и те подати будут брать на государя; войску быть в Запорогах всего десяти тысячам: остальные будут или мещане, или хлопы, а кто не хочет быть мещанином, тому быть в драгунах». Вслед за этой грамотой Лесницкий прислал другую *лукавством*, отводя чернь от шатости, чтоб прежнюю грамотою не тревожились. Сам Выговский, приехав в Корсунь, созвал 11 октября полковников, отдал им булаву и сказал: «Не хочу быть у вас гетманом: царь прежние вольности у нас отнимает, и я в неволе быть не хочу». Полковники отдали ему назад булаву и говорили, чтоб был у них гетманом. «За вольности будем стоять все вместе», – говорили они и приговорили послать к государю бить челом, чтоб все было по-старому. Выговский взял булаву и, подняв ее, говорил: «Вы, полковники, должны мне присягать, а я государю не присягал, присягал Хмельницкий». Тут отозвался полтавский полковник Мартын Пушкарь: «Все Войско Запорожское присягало великому государю, а ты чему присягал: сабле или пищали?» Выговский вынул из кармана московские медные деньги, бросил по столу и сказал: «Хочет нам царь московский давать жалованье медными деньгами; но что это за деньги, как их брать?» Отвечал тот же Пушкарь: «Хотя бы великий государь изволил нарезать бумажных денег и прислать, а на них будет великого государя имя, то я рад его государево жалованье принимать».

Надобно было хитрить с Москвою. Отсюда в сентябре явился любимец государев Матвеев с выговором генеральному писарю и старшинам, зачем не уведомили великого государя о кончине гетмана Хмельницкого, и с приказанием отправить козацкое посольство в Стокгольм для склонения шведов к миру. Выговский оправдывался: в самый день смерти гетмана приказал было он трем гонцам ехать в Москву с этою вестью; но начальные люди стали волноваться и говорить, будто он, желая получить гетманство, посылает своих людей от себя, а не от Войска Запорожского; это и заставило его дать знать о гетманской смерти киевскому воеводе Андрею Васильевичу Бутурлину и князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому. В Швецию обещал писать, чтоб король не надеялся на Запорожское Войско, которое будет действовать против него, если он не помирится с Москвою. Выговский говорил с Матвеевым только как писарь, но Матвеев же привез царю известие, что Выговский избран в гетманы, и 18 октября государь отправил к Выговскому, уже как к гетману, стряпчего Рагозина с известием о рождении царевны Софии Алексеевны. Везде по дороге простые козаки рассказывали Рагозину, что Грицка Лесницкий отводил их от государя, но что они и мещане не согласились; рассказывали, что Запорожье шатается. Выговский говорил Рагозину: «Из Запорожья поехали воры бить челом царскому величеству: так великий государь изволил бы держать их у себя или бы пожаловал, ко мне изволил прислать, чтоб вперед ссоры не было; они себе выбрали другого гетмана. Если великий государь отпустит их в Запороги, то у меня для них поставлены заставы по всем дорогам, чтоб их переловить. Да я же не велю к ним торговых людей с запасами пропускать, и им будет есть нечего». При Рагозине приехали из Запорожья козаки с листом к гетману, били челом, чтобы он в Запороги не ходил и никого не посылал, потому что воры-заводчики, бунтовщики все разбежались; посланцы били челом, чтобы гетман велел пропускать к ним торговых людей с запасами. Выговский отвечал им: «Когда пришлют ко мне Барабашенка, то я войска на них не пошлю и торговых людей велю пропускать», И на возвратном пути козаки повторяли Рагозину: «Мы все

ради быть под государевою рукою, да лихо наши старшие не станут на мере, мнутяся, только чернь вся рада быть за великим государем». В Лубнах наказный войт Котляр говорил посланнику: «Мы все были ради, когда нам сказали, что будут царские бояре и воеводы и ратные люди; мы, мещане, с козаками и чернью заодно. Будет у нас в Николин день ярмарка, и мы станем советоваться, чтоб послать к великому государю бить челом, чтоб у нас были воеводы».

Но в то время как Рагозин ехал в Чигирин, в Москву приехали козацкие посланники – есаул Миневский и сотник Коробка с известием, что Выговский избран в гетманы, и с просьбой от всего Войска Запорожского, чтобы великий государь утвердил избранного и дал ему такую же грамоту, как и Хмельницкому. Посланцы рассказывали: «В войске и в городах все тихо, посылок ссорных от польских людей не слышали, и шалости у нас ни от кого нет; хотят все единодушно быть в подданстве вечном у великого государя. Учинил было бунт Лесницкий, внушал людям, будто государь велел посадить по малороссийским городам воевод и вольности козацкие велел поломать. Но гетман Иван Выговский, послыша то, козаков разговорил, чтоб они этому не верили, на полковника Грицка гневается и ни в какую раду пускать его не велел, и, когда Ивана Выговского выбирали в гетманы, в то время Грицка в раду не пускали. Как великий государь гетмана пожалует, прежние привилеи велит подтвердить, то гетман полковника Грицка переменит. Бунтует в Запорогах козак Барабашенок с своевольниками гультаями и хочет учинить в Запорожье армату, такую же, какая в Войске при гетмане; а всему этому заводчик Грицка Лесницкий, потому что хотел на гетманство, и как по его мысли не случилось, то он в своем полку многие смутные речи вмещал; прошлого года, как ходило Войско Запорожское против татар, наказным гетманом был Грицка; Хмельницкий дал ему булаву и бунчук, и как гетмана Богдана не стало, то Грицка булавы и бунчука отдать не хотел; Иван Выговский посылал для того к нему гетманова сына Юрия, но Грицка и ему булавы и бунчука не отдал, держал их у себя целую неделю, так что полковники, собравшись, должны были брать их у него силою. Так теперь Грицка, злясь на гетмана Выговского и на полковников, бунт и заводит».

Посланцам заметили, что на челобитной, ими привезенной, нет рук челобитчиков, ни обозного, ни судьи, ни полковников. Спросили: при избрании Выговского много ли полковников, сотников и черни было? И запорожцы были ли, и не было ли от них рокоша? Посланцы отвечали: «На первой раде в Чигирине были полковники и чернь немногие; запорожские козаки были, и рокошу от них никакого не было. А как была другая рада в Корсунь, то на ней были полковники и козаки всех полков, со всяким сотником было черни человек по 20. На этой раде гетман Иван Выговский клал булаву и бунчук и говорил Войску, чтоб они гетмана выбрали, кого себе излюбят, и из рады поехал было вон, но Войско, догнав его, упросило, чтоб он был гетманом, и булаву и бунчук ему дали. Из Запорог на этой раде козаков не было потому: если бы за ними посылать, то в этом прошло бы недели три или четыре; да и посылать за ними было не для чего, потому что в Запорогах живут наши же братья козаки, переходят из городов для промыслов, и иной который пропьется или проиграется, а жены их и дети живут все по городам; а присылали на эту другую раду запорожские козаки с листом о войсковом деле».

Но бояр не удовлетворяли эти рассказы; смущали их названия: *Войско Запорожское, гетман Войска Запорожского*, а между тем гетманские посланцы с

таким пренебрежением отзывались о Запорожье! Посланцам даны были еще вопросы: гетманы в Запорожье ли жывали или в городах, и откуда гетманов выбирали, и гетман Богдан Хмельницкий откуда выбран? Посланцы отвечали: «Прежде гетманы и Войско больше жывали в Запорогах, потому что в то время были у них добычи, ходили челнами на море, а теперь им на море ходить уже нельзя. Гетман Богдан Хмельницкий выбран был в Запорогах же, и сам он был запорожанин». Посланцев спросили: не чают ли они вперед от Запорожья бунта, потому что запорожцев на второй раде не было? «Бунта не ждем, – отвечали посланцы, – потому что Выговского выбрали всем Войском; но лучше было бы сделать так: пусть великий государь пошлет в Войско кого ему угодно, тот посланный соберет всех полковников, сотников, чернь городовую и из Запорожья, учинит раду большую вновь, и кого на этой раде в гетманы выберут, тот бы уже был прочен и царскому величеству присягу дал; да и гетман Иван Выговский желает того же, потому что уже тогда он никого бояться не станет, в Войске и в черни никакой смуты не будет; если же выберут кого-нибудь другого, то он, Иван, этим не оскорбится». Где же лучше собрать раду? – спросили их. «Всего лучше в Переяславле, – отвечали они, – потому что место людное и всем людям съезд близок». Посланцы были отпущены с грамотой, в которой государь писал Войску, что для утверждения новоизбранного гетмана посылает окольного Богдана Матвеевича Хитрово.

Мы видели, какие меры принимал Выговский, чтобы не пропустить посланцев из Запорожья в Москву; он убежал к Морозову, к которому писал: «Просим твоей милости, изволь пред его царским величеством за пас ходатаем быть, чтоб великий государь своевольникам, о вере и прямой службе не радящим, не изволил верить, чтоб посланцев их покарал, потому что эти своевольники о вере не радеют, о службе царской не думают, жен, детей, пожитков и доходов никаких не имеют, только на чужое добро дерзают, чтоб было им на что пить, зернью играть и другие богу и людям мерзкие бесчинства творить; а мы за веру православную и за достоинство царского величества при женах, детях и маетностях наших всегда умереть готовы».

Страшные запорожцы, однако, пробрались мимо всех застав Выговского, в ноябре явились в Москве, били челом от кошевого атамана Якова Федоровича Барабаша и объявили: «Хотя по сие время все Войско Запорожское и вся чернь, городовая и запорожская, великие обиды и притеснения терпят от гетмана городского и от всех полковников и других начальных людей в городах, однако они молчали до вашего царского указа. Но теперь все Войско Запорожское увидало от городских старшин против вашего царского величества великую измену; чернь Войска Запорожского узнала подлинно, что еще при жизни Богдана Хмельницкого вся старшина, гетман и все полковники присягу учинили неведомо для чего с князем Седмиградским Рагоци, с королем шведским, с воеводами молдавским и волошским и к царю крымскому посылают грамоты: все это измены вашему царскому величеству! Чернь Войска Запорожского на это не произволяет и никакой измены делать не хочет; из городов к нам на Запорожье бегут и сказывают, что старшие городовые от вашего царского величества отступили». Посланцев спросили: «Какие обиды гетман им делает?» Они отвечали: «Рыбы в речках ловить не велит и вина на продажу держать; отдают все это на аренду, а все поборы собирает гетман себе, в Войско ничего не дает, говорит, будто казну держит

на посольские расходы, но послов принимает и отпускает он без указа, чего не довелось делать, при польских королях гетманы этого не делывали». Спросили: «Чего же запорожцы хотят теперь?» Посланцы отвечали: «Хотим, чтоб послан был в Войско ближний человек и собрал раду: на этой раде выбирать в гетманы, кого всем Войском излюбят». Спросили: «Где раду собрать, в Киеве?» Козаки отвечали: «В Киеве из Запорожья собираться далеко: лучше раде быть под городом Лубнами, на урочище Солянице: это место середина». Потом стали говорить, чтобы быть раде в Запорожье, потому что и прежние гетманы выбирались из Запорог, тут у них столица запорожская. Им отвечали: «Несхожее дело, что раде быть в Запорожье, место дальнее и от неприятелей опасно; лучше быть раде в Киеве, потому что тут столица Малой России, в Киеве духовные власти и всякие урядники; также и в Лубнах раде быть непристойно, место малое, да и гетман Выговский, опасаясь их, туда на раду не поедет». Но посланцы настаивали на Лубнах. После этого разговора у них спросили: «Когда умер Хмельницкий, то у черни на Выговского и полковников была молва и говорили: лучше, если б были у них в городах царские воеводы; так теперь вам надобно ли, чтоб в знатных городах были воеводы и городовые всякие дела ведали, а полковники ведали бы только войсковые дела?» Посланцы отвечали: «Об этом мы давно у царского величества милости просить хотели, вся чернь и мещане тому рады, да не допускают до того полковники для своей корысти». Насчет Выговского посланцы сказали: «Выговского мы гетманом отнюдь не хотим и не верим ему ни в чем, потому что он не природный запорожский козак, а взят из польского войска на бою при Желтых Водах; Богдан подарил ему жизнь и сделал писарем; но он, по своей природе, Войску никакого добра не хочет, да у него и жена шляхтянка из знатного дома, и та потому же Войску Запорожскому добра не хочет». Государь отпустил и этих посланцев с тем, что высылает окольного Хитрово на раду, которая будет в Переяславле.

Так ясно высказались в Малороссии две враждебные стороны: сторона старшины и сторона черни, представителем которой было Запорожье, наполненное людьми без семейства и собственности, как писал Выговский. Борьба этих сторон, неуменье соединиться в общих интересах страны уже готовили Малороссии судьбу Новгорода Великого. Москва с своим началом уравниения была тут и со своим обычным постоянством при всяком удобном случае задавала вопрос: «Ссоритесь, обижаете друг друга: не хотите ли воевод его царского величества?» И мы видели, что в Малороссии шли навстречу этому вопросу: посланцы запорожские, войт лубенский просили воевод; о том же писал к Ртищеву нежинский протопоп Максим Филимонов: «Изволь, милостивый пан, советовать царю, чтоб, не откладывая, взял здешние края и города черкасские на себя и своих воевод поставил, потому что все желают, вся чернь рада иметь одного подлинного государя, чтоб было на кого надеяться; двух вещей только боятся: чтоб их отсюда в Москву не гнали да чтоб обычаев здешних церковных и мирских не переменяли. Мы их обнадеживаем, что царь этого не желает, желает только веры и правды нашей. Мы все желаем и просим, чтоб был у нас один господь на небе и один царь на земле. Противятся этому некоторые старшие для своей прибыли: возлюбивши власть, не хотят ее отступить; пугают народ, что как скоро царь и Москва возьмут его в свои руки, то нельзя будет крестьянам в сапогах и в суконных кафтанах ходить, в Сибирь или на Москву будут загнаны;

для того царь и попов своих пошлет, а наших туда же погонят. Слышим, что должен прийти сюда князь Трубецкой: пусть приходит, чтоб скорее конец был с панами нашими начальными».

Между тем уже семь недель стоял в Переяславле с войском князь Григорий Григорьевич Ромодановский, дожидаясь гетмана, чтобы условиться с ним о военных действиях. 25 октября приехал в Переяславль Выговский; московский воевода встретил его упреками: «И покойный Хмельницкий и ты писали государю, что на вас наступил хан крымский вместе с поляками, и просили помощи; я по государеву указу поспешил к вам из Белгорода, вот уже семь недель стою в Переяславле, несколько раз писал к тебе, чтоб ты сюда приехал, и ты только теперь явился, а между тем царского величества ратным людям запасов и конских кормов не давали, и много ратных людей от этого разбежалось, лошади от бескормщины попадали, и если вы запасов давать не будете, то мне велено отступить в Белгород». Выговский отвечал: «Мы за царскую премногую милость челом бьем, приходу твоему ради, виноваты, что по сие время ратным людям запасов было скудно: после Богдана Хмельницкого я на гетманстве не утверждался долгое время, до Корсунской рады, многие мне были непослушны, а теперь царского величества ратным людям дворы и запасы будут нескучные. Неприятеля ляхи все в сборе, и татар 20000 наготове, ждут, чтоб между нами в Войске Запорожском смута и рознь какая-нибудь началась или чтоб государевы ратные люди отступили: тогда они на черкасские города и придут. Если ты с войском своим отступишь и оттого кровь христианская прольется, то буди царская воля, но на ком великий государь изволит за это взыскать? После Богдана Хмельницкого во многих черкасских городах мятежи и шатости и бунты были, а как ты с войском пришел, и все утихло. А в Запорожье и теперь мятеж великий, старшин своих хотят побить и поддаться крымскому хану. Я иду их усмирить, а ты, князь Григорий Григорьевич, перейди с своим войском за Днепр и стой за Днепром против неприятелей ляхов и татар; черкасского войска будет с тобою несколько полков, а я, управясь с бунтовщиками, буду к тебе за Днепр тотчас же. Бунтовщики многие говорят, будто мы царскому величеству служим не верно, но мы живым богом обещаемся, клянемся небом и землею, не покажи, господь, на нас милости, если мы какую-нибудь неправду мыслили или вперед будем мыслить». Ромодановский сказал на это: «Без повеленья царского за Днепр не пойду, стану писать об этом к великому государю».

Выговскому очень хотелось удалить Ромодановского с царским войском за Днепр, на польские границы; но в Москве, слыша беспрестанно и от Выговского, и от врагов его о волнениях и вредных замыслах, хотели стать крепкою ногою в черкасских городах, ввести туда воевод. Хитрово, приехав в Переяславль для рады, прежде всего начал говорить гетману о воеводах, чем, разумеется, заставлял его и приверженцев его торопиться делом отпадения. «Великий государь, – начал Хитрово, – велел тебе, гетману, и всему Войску Запорожскому говорить вслух: когда вы были под властью королей польских, в то время в городах никаких крепостей делать вам не позволялось, и когда вы учинились под государевою рукою, то неприятеля ваши, ляхи и крымские татары, многие города и места в Малой России запустошили. Великий государь, видя на вас неприятельские нахождения, оборонял вас своими ратными людьми, а в Киеве велел устроить город крепкий. Вы и сами такую царскую милость выставляете. Так великий

государь, желая, чтоб Войско Запорожское было от неприятельских безвестных приходов в бесстрашии, изволил в знатных городах малороссийских, Чернигове, Нежине, Переяславле и других, быть своим воеводам и ратным людям и крепить эти города; полковники будут ведать козаков и расправу между ними по войсковому праву чинить, а в городах мещан будут ведать войты и бурмистры по их правам, а воеводы станут ведать осадных людей, судить и расправу чинить по вашим правам; поборы подымные и с аренд собирать в войсковую казну и давать на Войско Запорожское, как на службу пойдет, и осадным ратным людям, которые будут при царских воеводах». Выговский, чтоб оттянуть страшное дело, отвечал письменно: «Мы постановили быть воеводам в городах Малой России, а в каких городах им быть, об этом доложу вашему царскому величеству, когда, бог даст, увижу ваши пресветлые очи». Потом Хитрово говорил, что Старый Быхов сдался на царское имя, а залога (гарнизон) в нем козацкая: так пусть гетман прикажет козакам выйти из Быхова, потому что этот город издавна принадлежит к Оршанскому повету. На это Выговский отвечал, что готов исполнить царскую волю. Хитрово повторил также старую жалобу на прием беглых крестьян: от помещиков и вотчинников брянских, корачевских и путивльских бегут крестьяне толпами в черкасские города, Новгород Северский, Стародуб, Почеп, и, приходя из этих городов к старым своим помещикам и вотчинникам, жен и детей их бьют, грабят и в избах заваливают, людей их и крестьян с собою вывозят со всем имением. Гетман обещал разыскать и карать полковников, виновных в приеме крестьян. Наконец Хитрово сделал Выговскому следующий упрек: «Гетман Богдан Хмельницкий в грамотах царскому величеству писался верным слугою и подданным, а ты теперь, Иван, написался вольным подданным, и так тебе к царскому величеству писать не годилось». Кроме гетмана Ивана Выговского Хитрово нашел в Переяславле обозного, судью, полковников, сотников и много черни. Несколько времени дожидались полтавского полковника Мартына Пушкаря; потом начали говорить, что ждать больше нельзя, все разъедутся и если Пушкарь так долго не едет, то это неспроста, приедет с войском и начнется междоусобие. Тогда Хитрово созвал раду и объявил, чтоб все Войско выбирало себе гетмана кого хочет, по своим волям. Старшины и чернь отвечали единогласно, что выбран в гетманы всем Войском Иван Выговский и люб он всем. Тут Выговский положил булаву и сказал, что не хочет гетманства, потому что многие люди в черни говорят, будто он на гетманство захотел сам собою и будто выбрали его друзья. Обозный, судья, полковники и вся чернь стали его упрашивать, чтоб держал булаву по их единогласному избранию, и гетман, по прошению всего Войска, булаву принял и присягнул великому государю. Дело казалось конченным, но вот скачет гонец из Полтавы и подает Хитрово грамоту: Пушкарь пишет, что приедет в город Лубны, где должна быть новая рада о гетманском избрании, а Переяславская рада не в раду. «Приезжай в Переяславль видеться со мною», – отвечает окольный, но Пушкарь не едет; возвращается посланец Хитрово и доносит, что у полтавского полковника живут посланцы запорожского кошевого Барабаша – Михайла Стрынжа с товарищами – и при Пушкаре говорят про Хитрово многие бесчестные речи к большой ссоре.

Прошел 1657 год. В начале 1658-го Выговский казнил смертью в Гадяче несколько начальных людей, ему неприязненных; с Пушкарем пытался было он покончить миром; но Пушкарь забил в кандалы и отослал в заточение посланца

гетманского, сказавши: «Выговский хочет и со мною помириться так же, как помирился в Гадяче с братьями нашими, которые лучше его будут, головы им отсек, но со мною ему так не сделать». Выговский, узнавши о судьбе своего посланца, отправил против Пушкаря полковника Богдана с козаками и Ивана Сербина с сербами своей гвардии, всего полторы тысячи. Но Пушкарь уже успел призвать к себе запорожцев, которые, вместе с полтавскими козаками, 25 января разгромили отряд Богдана и Сербина под Диканькою, побили у них человек 300, после чего Пушкарь, усилив себя войском, набранным из всякого рода людей, выгнал Лесницкого из Миргорода, где полковником был провозглашен Степан Довгаль. Новый митрополит киевский Дионисий Балабан грозил Пушкарю проклятием за междоусобие; Пушкарь отвечал: «Вся чернь Войска Запорожского не хочет иметь Ивана Выговского гетманом. Только когда состоится общая рада и вся чернь днепровская единомысленна будет с чернью городового всего Войска Запорожского, тогда, по царским жалованным грамотам, вольно будет Войску Запорожскому, всей черни улюбить того же пана Ивана Выговского и принять на гетманство, и я готов то же сделать вместе со всею чернью Запорожского Войска и быть во всем послушным. Все, что теперь делается, делается не по моему хотению, а по воле божией; делают это все Войско и вся чернь, по жалованным грамотам, и меня одного от себя отпустить к пану Выговскому не хотят. Вместе с посланцами, бывшими у царского величества, все Войско из Запорожья выгреблось и с городовым Войском Запорожским для рады генеральной соединилось, а не для каких-нибудь бунтов. Что мы бунтовщики, этого на нас никогда никто не докажет, и мы готовы во всем перед царским величеством оправдаться, только пусть едут в Москву пан Иван Выговский и пан Григорий Лесницкий. А что ваша пастырская милость грозите своим неблагословением, то налагайте его на кого-нибудь другого, кто неверных царей принимает, а мы одного православного царя держимся. Послали мы на войну православных христиан, охраняя собственную жизнь, видя наступление врагов, а междоусобной брани между народом христианским и Войском Запорожским не было и не будет. А можно было некоторое время и в Переяславле подождать Войска Запорожского, которое уже выгреблось из Запорожья, также и городового войска подождать». 8 февраля Пушкарь прислал в Москву первый извет свой на Выговского, писал, что гетман – изменник государю, помирился с ляхами и Ордою и что он, Пушкарь, слышал об этом от Юрия Хмельницкого.

Выговский не ехал в Москву, как приглашал его Пушкарь, давал знать государю, что непременно бы приехал видеть его пресветлые очи, если бы не задерживали его внутренние смуты и вести о враждебных движениях ляхов, татар и турок. Вместо гетмана в апреле явился в Москву уже известный здесь Григорий Лесницкий. Посланный жаловался, что по отъезде Хитрово из Переяславля гетман Выговский спокойно отправился в Чигирин, но в это время по наученью Пушкаря Ивашка Донец, бывший в Москве посланцем от Барабаша, собрал несколько сот гультяев, приходил войною на Чигиринский полк и многих людей побил и пограбил, распуская слухи, что нынешней весною по траве будет новая рада на Солонице. Выговский созвал раду в Чигирин и объявил, что оставляет гетманство, видя нестроение в Войске, но полковники насилу уговорили его не покидать булавы и теперь послали его, Лесницкого, бить челом, чтобы великий государь послал приказ Пушкарю отстать от своевольтва и быть с гетманом в соединении,

да чтоб великий государь послал сделать перепись между козаками, написать 60000, и вперед бы гулятьям в козаки писаться было не вольно; а теперь от этих гулятьев большой мятеж учинился, потому что всякий называется козаком; также переписать все доходы и реестровым козакам давать жалованье. Таким образом, теперь вследствие образования партий – старшины и черни – сам гетман просит о том, чего при Хмельницком так добивалось польское правительство и чего не хотел исполнить Богдан, ибо гулятьство, исключенное из реестра, поднимало возмущения. С другой стороны, если бы московское правительство исполнило просьбу гетманскую, приняло меры против гулятьства, то этим возбудило бы против себя сильное неудовольствие, чего именно желал Выговский. В Москве, однако, остереглись; боярин Шереметев, бывший в ответе с Лесницким, заметил ему: «Не будет ли бунта, когда многие козаки останутся за реестром?» Лесницкий отвечал: «Надобно послать из Москвы комиссаров знатных людей с войском, чтоб в Войске Запорожском было страшно». Лесницкий пошел дальше: когда ему сказали, что великий государь, по челобитию Выговского, в знатных городах велел быть своим воеводам, то он отвечал: «На премногой милости царского величества гетман и все Войско челом бьют, потому что этим в Войске бунты усмирятся; да хотя бы великий государь и в иных городах изволил воеводам быть, то у них бы в Войске было гораздо лучше и смирнее; изволил бы великий государь послать в Войско Запорожское своих воевод и ратных людей для искоренения своеволия».

Но в то время, когда Лесницкий так ловко подделывался под желания московские, так ловко старался показать, что интересы царя и гетмана одинаковы, Пушкарь постоянно держал Москву в тревоге своими извещениями. Он писал государю (11 марта и 26 апреля): «Выговский изменил богу и вашему царскому величеству, помирился с Ордою, ляхами и с иными землями и замысел имеет завоевать Запорожье. Выговский дал города по Ворскле Юрию Немиричу-лютеранину, чего Хмельницкий без указа царского не делывал; Выговский держит у себя много сербов, немцев и ляхов. С тех пор как Выговского поставили гетманом без совета всей черни, не держит он при себе ни одного козака, все держит иноземных людей, от которых нам обиды нестерпимые делаться начали. Окольный Хитрово Выговскому без полевой рады и без всей черни в Переяславле на церковном месте гетманство дал, булаву и все украшение войсковое в руки отдал, а в прошлые годы всегда в Войске Запорожском в поле общею радю гетманов и полковников и иных старшин по любви войсковой избирали». Пушкарь просил, чтобы государь сам приехал в Малороссию, в Киев, с патриархом, с сыном, с ближними боярами и думными дьяками всех подданных своих в Малороссии милостивыми очами рассмотреть. Посланец его Искра объявил, что полковники полтавский, нежинский, миргородский и всего Войска Запорожского городовая и запорожская чернь бьют челом на гетмана Ивана Выговского и на бывшего миргородского полковника Лесницкого, которые великому государю никакого добра не хотят и чаят в них измены; так чтоб великий государь пожаловал, велел Выговского от гетманства отставить, а назначить гетмана и полковников новых и велел бы им для этого собрать раду. Бояре спросили Искру, какие измены он знает за Выговским? Искра отвечал: «Без указа ссылался с неприятелями царского величества, послов их к себе принимал и отпускал, венгерского Рагоцу хотел посадить на Польское королевство». Бояре говорили: «На Переяславской раде выбрали единогласно Выговского, и никто



тогда в измене его не обвинял; Выговский присягал при митрополите и при всем духовенстве; теперь новой рады собирать не для чего, потому что это дело уже вершное». Искра отвечал: «Переяславская рада была не настоящая, были на ней только те полковники, которые с Выговским в одной мысли, а с ними сотников и черни у полковника человек по десяти и меньше». Бояре продолжали: «Что Выговский иностранных послов принимал, в том он повинился, и потому измены от него нет». Искра возражал: «Измена есть: после рады послал Павла Тетерю в Польшу». Бояре отвечали: «Несхожее дело, что гетману, учиня такое крепкое обещание, тотчас же измену задумать! Хотя и послал куда Тетерю, так не для измены же».

Не видя в изветах Пушкаря оснований к обвинению в измене, царь приказывал полтавскому полковнику не затевать смуты, повиноваться гетману. Но пришел извет из Киева, от Бутурлина. Воевода доносил, что 19 мая прислана в Киев грамота о неправдах Выговского, который призвал к себе Орду и, сославшись с ляхами, хочет все православное христианство выдать в неволю; митрополит и все духовенство, киевский полковник Павел Яненко-Хмельницкий, племянник покойного Богдана, мещане и всяких чинов люди, киевские и приезжие, беспрестанно говорят ему, Бутурлину, что Выговский привел Орду, с поляками ссылается, а государевых ратных людей у них в городах нет, и они боятся, чтоб, сошедшись вместе, поляки и татары над ними не сделали чего-нибудь дурного; говорили они ему, воеводе, с большим усердием, со слезами, чтоб великий государь, для обороны христианской, велел прислать поскорее своих бояр и воевод с людьми ратными. Известие это опоздало. Еще в апреле государь был встревожен слухами, что Выговский призывает татар и хочет с ними двинуться против Пушкаря. Немедленно был отправлен в Малороссию Иван Опухтин с приказанием, чтоб гетман не смел самовольно расправляться с своими противниками, не смел приводить татар в Малороссию, а ждал бы царского войска. Опухтин, на жалобы Выговского, вызывался сам ехать к Пушкарю с царской грамотой и уговорить его быть послушным гетману; но Выговский не пустил Опухтина в Полтаву и 4 мая, в присутствии посланника, повторяющего царский запрет, выступил из Чигирина к Полтаве на Пушкаря. На другой день Опухтин пошел в соборную церковь и говорил духовенству, чтобы оно написало от себя гетману, запретило ему ходить с татарами войною на православных христиан, пусть ждет указа великого государя. Но и это не помогло. Вслед за Опухтиным отправлен был из Москвы с таким же запрещением Петр Скуратов, который нашел Выговского уже в обозе под Голтвою. Когда в царской грамоте прочли титул, то гетман сел на постель, пригласил сесть и посланника но тот отвечал, что надобно стоя выслушать грамоту. «Все у вас высоко», – сказал Выговский, однако дослушал грамоту стоя и потом начал говорить: «Все это ничего, грамотами Пушкаря не унять, взять было его да голову отсечь либо прислать в Войско Запорожское. Я к великому государю писал много раз, чтоб Пушкаря велел смирить до Велика дня, а если не изволит его смирить, и я сам с ним управлюсь; можно было его по сю пору смирить, так бы православные христиане были целы, которых он побил; я терпел, ждал царского указа, а то бы еще зимою Пушкаря смирил мечом да огнем. Я и булавы брать не хотел, хотел жить в покое. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово хотел взять Пушкаря и привезть ко мне, но не только не привез, а еще больше ему повадку сделал, дал

ему соболей да отпустил; а к Барабашу нечего писать, Барабаш теперь с Пушкарем. Мы присягали великому государю на том, что прав наших не порушать, а по нашим правам нельзя полковнику и никому давать грамот, кроме гетмана; всем управляет один гетман, а вы сделали всех гетманами, дали Пушкарю и Барабашу грамоты, и от этих грамот бунты начались. Когда мы присягали, в то время Пушкаря не было, все это сделал покойник Богдан Хмельницкий да я, иных статей никто и не знал: не надобно было тогда и начинать этого дела. Пушкарь пишет, что позволено им на четыре года взять на всякого голика по десяти талеров на год, а на сотников больше: как будто завладели мы шестьюдесятью тысячами талеров! Иду на Пушкаря и смирю его огнем и мечом, везде его достану, хотя в царские города уйдет; кто за него станет, тому самому от меня достанется: а государева указа долго ждать. Я перед Пушкарем не виноват, не я начал – он, хочу с ним биться не за гетманство, а за свое здоровье. Дожидаюсь рады: покину булаву и пойду к волохам, или к сербам, или к молдаванам: они мне будут рады. Великий государь нас жаловал, а теперь верит ворам, которые ему, государю, не служили, на степи его людей побивали и казну грабили, тех жалует, посланцев их принимает, деньги им и соболей дает, а таких бунтовщиков надобно было присылать в Войско Запорожское. Обычай у вас такой, что все делать по своей воле. Первые бунты начались в Войске от посланца царского Ивана Желябужского, который послан был к Рагоци. И при королях польских так же было: как начали вольности наши ломать, так за то и стало».

Выговский говорил также Скуратову: «Многие пристают к Пушкареву совету; у полковников, которые теперь при мне, не много людей, другие идти не хотят, и если бы я не пошел, то все бы пристали к Пушкарю». Действительно, встала сильная рознь: одни были за Выговского, другие – за Пушкаря; Лубны заперлись от полков Выговского, которые должны были силою пробиваться через город, но миргородцы свергнули своего полковника Довгаля и посадили под стражу за преданность делу Пушкаря. Козаки из Голтвы не пошли за Выговским в поход, и гетман велел объявить им, что если не пойдут, то на возвратном пути он всех их перебьет и город сожжет; козаки испугались и выступили в поход. Малороссия делилась уже Днепром: по левую сторону жители всех городов желали, чтобы были у них воеводы государевы, а на правой стороне козаки говорили: «Пушкарь хочет, чтоб быть государевым воеводам, но у нас этого никогда не будет».

Испуганные Ордою, Барабаш и Пушкарь написали Выговскому 14 мая: «Доброго здоровья и всяких радостных потех милости твоей от господ бога желаем. Ведомо учинилось нам, что ты, подняв Орду, хочешь огнем и мечом искоренять города украинские. Бог свидетель, что мы стоим в поле, послышав приход иноземных людей, оберегая свое здоровье. Теперь от его царского величества приехал к нам стольник Алфимов для успокоения, чтоб между народом христианским кровопролития не было, чтоб мы между собою мирно жили и у тебя в послушании были. Мы против царского повеления, что против божия, не можем стоять, полагаемся на государеву волю и просим твою милость, прости нам наше неисправление пред тобою, а вперед, по царскому повелению, мы у тебя всегда в послушании будем, как и другие полковники, только будь милостив и отошли Орду назад в Крым, а царских и заднепровских городов ей не отдавай и в плен христиан не вели брать».

Но Выговский не обратил внимания на это письмо, 17 мая выступил из-под Голтвы и остановился в десяти верстах от Полтавы, где Пушкарь и Барабаш заперлись, выжегши посады. Новый посол царский, Василий Петрович Кикин, хлопотал о примирении; по его письмам и словесным увещаниям Пушкарь договорился было с Выговским помириться за присягою, что гетман не будет мстить ни ему и никому из его товарищей; Выговский дал требуемую присягу перед Кикиным, и Пушкарь собирался ехать вместе с последним в обоз гетманский, но полтавские козаки и запорожцы, пришедшие с Барабашем, не выпустили его из города и запретили мириться с Выговским. Узнав об этом, гетман хотел немедленно двинуться под Полтаву; Кикин удержал его, но не мог удержать Пушкаря, который в ночь на 1 июня вместе с Барабашем и Довгалем напал на гетманский обоз, выбил из него Выговского и все его войско, захватил артиллерию, скарбы гетманские и пожитки козацкие. Кикин едва спасся от смерти, но когда рассвело, Выговский оправился, ударил на врагов и вытеснил их из обоза, причем Пушкарь был убит, а Барабаш с немногими людьми ушел в Полтаву; говорили, что побежденные потеряли на этом бою около 8000 человек, победители – с 1000. На другой день к Выговскому явились из Полтавы игумен, священники, козаки и мещане с повинною; гетман поклялся, что не будет им мстить, но как скоро ворота городские отворились, то козаки его и татары ворвались в Полтаву, стали жечь, грабить, не пощадили и монастыря, а татары начали забирать в плен жителей. «Где ж твоя клятва?» – говорил Кикин Выговскому, и тот сам ездил в Полтаву выбивать козаков и татар, посылал и к начальнику татарского отряда с просьбою освободить пленных полтавцев.

С торжеством возвращался гетман в Чигирин, но на дороге встретил его козак с листом от белоцерковского полковника; сидя на лошади, Выговский распечатал письмо и нахмурился, прочитав недобрые вести: полковник уведомлял, что киевский воевода Андрей Васильевич Бутурлин дал ему знать о прибытии в Киев царского воеводы, назначенного в Белую Церковь. «Воеводы приехали опять бунты заводить», – говорил гетман в сердце Скуратову: «Пиши, Андрей Васильевич, да сам берегись!» Скуратов возразил: «Не делом ты, гетман, сердисься: сам ты великому государю писал, чтоб быть в черкасских городах воеводам». «Что я к великому государю пишу, – отвечал Выговский, – над тем в Москве смеются; никогда я не писал о том, чтоб в Белой Церкви воеводе быть; как воевода приехал, так и поедет, ничего я ему давать не велю. Государевы воеводы должны приезжать ко мне и уже от меня в города ехать, а то я ничего не ведаю, а они по городам едут. В Киеве государевы люди по сию пору с черкасами беспрестанно киями бьются. Теперь я с самовольниками сам управился, государевы воеводы и ратные люди мне больше не надобны, они только бунты начнут. Который злодей у нас что сделает и уйдет в государевы украинные города, то воеводы его нам не выдают; так и я тех воров, которые прибегут ко мне из государевых городов, отдавать не хочу. С Пушкарем на бою государевы люди были: мои немцы у них и барабан взяли. Государь меня тешил грамотами и по сию пору нарочно мешкал. У короля польского нам было хорошо: придут к нему, скажут о чем надобно, и указ тотчас. Вам надобен такой гетман, чтоб, взявши за хохол, водить». Скуратов отвечал: «Я с тобою вместе на бою был, государевых людей с Пушкарем никого не видал, и ты мне их тогда ни одного не показал; а что взят барабан, и то не барабан, а бубен, да если бы и настоящий барабан был, так

что ж из этого? Черкасы в Москву и в украинные города приезжают и покупают что им надобно. Ты говоришь, что хорошо вам было при королях польских: плакать вам надобно, вспомнивши об этом времени, когда благочестивые христиане от злого гонения прилагались к латинской вере, а теперь благочестивая вера множится, и милостию государевою от всех неприятелей вы защищены: так тебе бы таких высоких слов не говорить. О каких делах пишешь ты к великому государю, ответ дается немедленно, а что твои посланцы к тебе приезжают поздно, так они мешкают за своими забавами да и оправдываются тем, что их в Москве задерживают. Надобно тебе самому к великому государю ехать челом ударить: тогда сам государскую милость увидишь. Говоришь, что о государевых воеводах ничего ты не знал; но со мною прислана к тебе царская грамота, велено отписать в города, чтоб воевод приняли честно, что воеводы из Москвы отпущены; ты у меня эту грамоту принял, прочел и ничего тогда не сказал, а теперь, когда воеводы приехали, ты говоришь, что они не надобны. Говоришь, что нам надобен гетман по нашей воле; но ты гетман в Войске Запорожском великому государю многих вернее». Выговский утих и отвечал: «Я великому государю и теперь служу верно, а от воевод бунты начнутся; государевы ратные люди мне были надобны в то время, чтоб в войске было славно, а мне была честь». В это время ехавший за гетманом чигиринец Иван Богун стал кричать: «Нам воеводы не надобны; жен да детей наших переписывать приехали». Обратившись к Скуратову, Богун закричал: «Ты к нам воеводою в Чигирин едешь, нездоров от нас выйдешь!» «Уйми его», – сказал Скуратов гетману; тот велел крикуну замолчать и прибавил: «Не теперешняя эта речь». Однако ту же самую речь на письме отправил Выговский в Москву с Опухтиным: «Все бунты усмирены, потому войско, присланное с князем Ромодановским, более не нужно и Орда отпущена». Тут же гетман отправил к царю жалобу на боярина Шереметева: «Боярин Василий Борисович Шереметев, приехавши в Киев, с нами не посоветовавшись и не повидавшись, многие новые дела начинает, казны неведомо какой спрашивает и воевод без совета с нами по городам посылает, на что есть ли указ вашего царского величества – не знаем. Челом бьем, чтоб ваше царское величество приказал ему от этого воздержаться; он и в Белой России, делая то же с христианами, козаков вашему царскому величеству в остуду учинил, сам будучи виноват».

В Москве почли за нужное успокоить гетмана насчет воевод, и 26 июля отправился отсюда в Малороссию подьячий Яков Портомоин с такою грамотою: «Писали к нам из литовских городов наши воеводы, что польский король Ян-Казимир послал в Малую Россию прелестные листы, будто боярин Шереметев и окольный князь Ромодановский посланы на тебя, гетмана, и на все Войско Запорожское. Зная твою верную к нам службу, мы не думаем, чтоб ты этим письмам поверил: знатные люди отправлены на своевольников, по твоему челобитью, а не для войны с вами, единоверными православными христианами. Так ты объяви начальным и всяким людям, чтоб они польскими листами не прельщались и сомнения никакого не имели, жили бы под нашею высокою рукою в совете и любви». 9 августа Портомоин приехал в Чигирин и подал гетману царскую грамоту. Выговский отвечал: «Ратные люди Ромодановского людей побивают и всякое разоренье чинят, притом князь Ромодановский своевольников Барабаша да Лукаша и других многих черкас к себе в полк принял. И я, не

дожидаясь того, чтоб на меня государевы ратные люди пришли войною, иду за Днепр сам с Войском Запорожским и татарами отыскивать этих своевольников, и если государевы ратные люди станут их защищать или будут какой задор в черкасских городах делать, то я молчать не буду, а к Киеву пошлю брата своего Данила с войском и с татарами, чтоб боярина и воеводу выслать вон, город, который по указу царского величества в Киеве сделан, разорить и разметать, а если воевода не выйдет, то его в Киеве осадить». Портомоин был задержан под стражей, и И августа Выговский выступил из Чигирина, но еще не для того, чтобы воевать с государевыми ратными людьми: ему нужно было сперва покончить другое дело...

Еще в конце марта виленский воевода князь Шаховской писал к государю о вестях из Варшавы: «Надежду польский король имеет большую на козаков и на татар, да на прусского; если козаки не будут при короле, то король поневоле будет мириться с тобою, великим государем, а если козаки с королем соединятся, то мира у короля с тобою не будет: большая надежда у короля на козаков да на татар». Но это была еще только надежда: Беневский, хлопотавший еще при Хмельницком о возвращении Малороссии под власть королевскую, хлопотал о том же и при Выговском, но в договорах последнего с ним пока еще не было никаких статей, вредных для Москвы. Выговский в сношениях своих с Беневским, с королем и вельможами польскими хлопотал только об одном: чтоб сохранен был мир, чтоб польские войска не вступали в Украину и дали бы ему, гетману, время управиться с внутренним врагом – Пушкарем, которого поддерживало Запорожье и который нашел бы большую поддержку в Москве и во всей черни, если бы Выговский объявил себя за Польшу. Но когда Пушкаря не было более, когда враги были поражены бессилием и ужасом, когда ханский союз был обеспечен, а с Москвой нельзя было более хитрить, потому что поход полтавский был самым дерзким неповиновением воле государя, когда, с другой стороны, явились в Малороссии воеводы, тогда время открытого действия наступило, по мнению Выговского, и 7 июня Беневский известил короля, что поверенный Выговского, львовский мещанин грек Феодосий Томкевич, едет с решительным объявлением верноподданства и что тот же Феодосий отправляется и к королю шведскому с предложением заключить мир с Польшею и с угрозою, что в противном случае Войско Запорожское будет стоять за Польшу.

В последних числах августа съехался Выговский с Беневским в Гадяче, и 6 сентября постановлены были здесь следующие условия, на которых Запорожское Войско опять поддавалось Польше: 1) Вера древняя греческая уравнивается в правах своих с римскою везде, как в Короне Польской, так и в Великом княжестве Литовском. 2) Митрополит киевский и пять архиереев русских будут заседать в Сенате с тем же самым значением, какое имеют прелаты католические; место киевского митрополита будет после львовского римского архиепископа, остальные же владыки будут сидеть после католических бискупов поветов своих. 3) Войска Запорожского будет 60000. 4) Гетману великого княжения русского украинского вечно быть первым киевским воеводою и генералом. 5) Сенаторов в Короне Польской выбирать не только из поляков, но и из русских. 6) Дозволяется в Киеве устроить академию, которая пользуется теми же правами, как и академия краковская, с тем, однако, условием, чтобы в ней никаких расколов арианских, кальвинских, лютеранских учителей и учеников не было и дабы между

студентами и прочими учащимися никаких поводов к ссорам не было; все другие школы, какие прежде в Киеве были, король велит перевести в другие места. 7) Король и чины позволяют учредить и другую академию на правах киевской, где найдется для нее приличное место. 8) Коллегии, училища и типографии, сколько их понадобится, вольно будет устраивать, вольно науками заниматься и книги печатать всякие и религиозно-полемические, только без укоризны и без нарушения маестату королевского. 9) Случившееся при Хмельницком предастся вечному забвению. 10) Податей никаких правительство польское получать не будет; обозы коронные не принимаются; обе Украины находятся только под гетманским управлением. 11) Король будет нобилитовать козаков, которых представит ему гетман. 12) Коронным войскам в Украине не быть, кроме необходимости, но в таком случае они находятся под командою гетмана, козакам же вольно стоять по всем волостям королевским, духовным и сенаторским. 13) Гетман имеет право чеканить монету и платить ею жалованье Войску. 14) Во всяких нужных делах Короны Польской призываются на совет козаки; правительство должно стараться, как бы отворить Днепром путь к Черному морю. 15) В войне короля с Москвою козаки могут держать нейтралитет, но в случае нападения московских войск на Украину король обязан защищать ее. 16) Тем, которые держали сторону козаков против Польши, возвращаются отобранные имения, и опять они вписываются в уряд. 17) Гетману не искать других иностранных протекций, кроме польской; он может быть в дружбе с ханом крымским, но не должен признавать над собою власти государя московского, и козаки все должны возвратиться в свои жилища. 18) Король и республика дозволяют русскому гетману суды свои и трибунал устроить и отправлять там, где захочет. 19) Чигиринский повет остается при гетманской булаве по-прежнему. 20) В воеводстве Киевском все уряды и чины сенаторские будут раздаваться единственно шляхте греческой веры, а в воеводствах Брацлавском и Черниговском попеременно с католиками. 21) В русских воеводствах учреждаются печатари, маршалки и подскарбии, и уряды эти будут раздаваться только русским. 22) Титул гетмана будет: гетман русский и первый воеводств Киевского, Брацлавского и Черниговского сенатор.

Выговский получил все, чего только мог желать; приверженцы его, с которыми он устроил польский союз, были также награждены: урожденные, т.е. бывшие прежде шляхтичами, получили земли, нешляхтичи – нобилитованы; нежинский полковник Василий Золотаренко, рыцарь Войска Запорожского, принятый за рыцарские дела в клейнот шляхетства польского, из Золотаренка сделался Злотаревским.

Поддавшись королю, Выговский хотел еще продолжать обманывать царя, чтоб не иметь на плечах московских воевод, пока не пришли в Украину войска польские и хан крымский. В августе он клялся в верности своей к великому государю перед посланником его дьяком Василием Михайловым, и в то же время войска его уже действовали против Киева: 16 августа прибежали сюда из лесов работники, которые были посланы за лесом на острожное и валовое дело, солдаты, драгуны и люди боярские, битые, стреляные и пограбленные, и объявили: «Били нас и грабили черкасы, а стреляли из луков татары, идут под Киев многие люди!» Воевода Шереметев вышел сам с воинскими людьми из города и разослал подъезды: подъезжане встретили полковников: белоцерковского

Ивана Кравченка, брацлавского Ивана Сербина, подольского Астафья Гоголя, и как увидели черкасы, что воеводы наготове, то под Киев не пошли, стали в двух верстах от города, за речкою Лыбедью. Шереметев послал спросить полковников: зачем они пришли под Киев безвестно со многими людьми? Для чего с ними татары и для чего их люди государевых ратных людей били и грабили, а иных до смерти побили? Полковники отвечали: «Пришли мы по приказу гетмана Ивана Выговского, татар с нами нет, будет к нам под Киев Данила Выговский, и татары придут с ним; под Киев мы пришли и Данила придет для договора о всяких делах». После этого пришли еще два полковника – паволоцкий Богун да Саблинский с пехотою, а 23 августа явился и Данила Выговский с татарами и черкасами в числе более 20000. Черкасы отогнали стада у комарицких драгун и начали гонять сторожевые сотни; в то же время Данила Выговский завел сношения с киевским полковником Павлом Яненком, велел на посаде на торгу побивать государевых людей, которые ходили из города для хлебной покупки, и посад зажечь. Шереметев выслал против Выговского своих товарищей, а сам остался оберегать крепость, но, в то время как младшие воеводы бились с Выговским, киевский полковник Павел Яненко с своим полком приступил к городу от посада с Киселева городка. Шереметев выслал на вылазку стрелецкого голову Ивана Зубова с стрельцами и солдатами; Зубов поразил черкас, выбил их из Киселева городка, взял знамя, а младшие воеводы в то же время отбили от валу, от Золотых ворот Выговского, который, соединясь со всеми другими полковниками, стал обозом под Печерским монастырем, а татар поставил подле обоза. На 24-е число в ночь у земляного вала против Печерских ворот начали было черкасы копать шанцы в двух местах, но на рассвете вышли из города младшие воеводы с полковником фон Стаденом, который предводительствовал пехотою, ударили на черкас в шанцах и нанесли им решительное поражение: весь обоз, пушки, знамена, бунчук и печать войсковая достались победителям; много черкас потонуло в Днепре, Данило Выговский ушел в лодке сам-друг, как говорили, раненый. Во время этого боя Яненко из своего обоза с Щековицы приступил к земляному новому валу со всем своим полком, но был сдержан отрядом пехоты под начальством Сафонова, к которому с большого боя поспешил на помощь воевода князь Юрий Борятинский с рейтарами: Яненко был разбит и потерял обоз свой на Щековице, которым овладели стрельцы; много черкас Яненковых перетонуло в Почайне. Со всех этих боев Москве досталось 12 пушек, 48 знамен, три бочки пороху. Пленные козаки сказывали воеводам, что они приходили под Киев по большой неволе, старшины высылали их побоями, клялись, что будут служить верно государю. Что же касается мещан киевских, то задолго еще до прихода Выговского они являлись к воеводам и говорили, что козаки заставляют их делать на Щековице земляной вал, но что они козакам отказали и валу не делали, при этом мещане просили, в случае прихода воинских людей, позволить им перевезтись в город с женами и детьми и со всем имением. Воеводы позволили и потом сами несколько раз напоминали им, чтоб перебрались в город; но когда пришел Выговский, то мещане стали возиться на Днепр в суда; воеводы послали сказать им: для чего они возятся в суда, а не в город? Мещане отвечали: «Возимся по приказу гетмана Ивана Выговского, боимся: если черкасы город возьмут, то мы пропадем». У них было семь пушек, данных им князем Куракиным; теперь, когда подошел неприятель, воеводы требовали эти пушки в

город; мещане отвечали, что они отослали их для починки; но когда взят был обоз Яненка, то эти московские пушки очутились здесь.

В сентябре царь рассылал уже грамоты об измене гетмана с обстоятельным изложением всего дела, а Выговский все еще продолжал притворяться: 8 октября он писал государю, что и не помышляет на московские города наступать и присягу ломать: «Бога ради, усмотри, ваше царское величество, чтоб неприятели веры православной не тешились и сил не восприяли, пошли указ свой к боярину Василию Борисовичу Шереметеву, чтоб он больше разорения не чинил и крови не проливал». Вслед за этой другая грамота в таком же роде: «Изволь, ваше царское величество, обратить на нас прежнее милостивое лице, видя, что мы и ныне неотменными вашего царского величества подданными остаемся». Дела шли не так, как бы хотелось русскому гетману и сенатору: на восточной стороне Днепра огромное большинство было за Москву, хотя большая часть старшины была за Выговского, и потому царские воеводы, князя Ромодановский и Куракин, могли держаться, опираясь на верных козаков. В последних числах ноября при Варве верные Москве козаки выбрали себе на время в гетманы Ивана Безпалого, «чтоб дела войсковые не гуляли». Между тем военные действия начались с обеих сторон; города и села запылали, несчастные жители начали испытывать на себе все военные ужасы, сами не зная за что. Поляки не приходили на помощь, и, чтобы остановить присылку новых воевод московских, Выговский отправил к царю белоцерковского полковника Кравченка с повинною; на письмо князя Ромодановского, чтоб распустил войско и не приходил на царские города, Выговский отвечал (14 декабря из табора под Ржищевом): «На царские города приходить я не мыслю, а только своевольников своих ускромляю и ускромлять буду, равно как и союзников их. Мы не для того его царскому величеству присягали, чтоб у своих холопей в неволе быть, чтоб они нас за шею водили, но в надежде на вольность больше прежней, а теперь ты, соединившись с своевольниками, многую и великую в Малороссии ссору учинил». 13 декабря Безпалый писал государю, что враги наступают со всех сторон, а царские воеводы помощи им, верным малороссиянам, не дают. Царь отвечал, что вследствие приезда Кравченка с повинною он назначил раду в Переяславле к 1 февраля, а между тем пусть он, Безпалый, соединившись с князем Ромодановским, промышляет над неприятелем. Неприятель не заставил себя ждать: 16 декабря наказной гетман Выговского, Скоробогатенко, подступил под Ромны, где находился Безпалый, но был отогнан последним, который после этого дела писал царю: «Если ваша пресветлая царская милость с престола своего не подвигнетесь в свою отчину, то между нами, Войском Запорожским, и всем народом христианским покою не будет; Выговский Кравченка на обман послал, и ему бы ни в чем не верить». 20 декабря татары и верные Выговскому козацкие полки – Каневский, Черкасский, Чигиринский и Корсунский – под начальством переяславского полковника Цецуры, наказного гетмана Скоробогатенка и поляка Груши дали бой князю Ромодановскому у Лохвицы, но были отбиты. Между тем Шереметев из Киева писал государю, что Выговский хотел приехать к нему в Киев для переговоров, но что он, воевода, без царского указа не смел пустить его в город и с малыми людьми. Шереметев прибавлял, что междоусобие в Малороссии может прекратиться только вследствие этих личных переговоров. Царь отвечал ему (21 декабря): «Промышляй всякими людьми, чтоб тебе с гетманом в Киеве



видеться и переговорить, какими бы мерами междоусобие успокоить». Но и в Киеве и в Москве напрасно надеялись на это успокоение: Выговский, получив татарскую помощь, не думал более о мирных переговорах; у него было всегда в запасе одно оправдание, что бьется не против царских войск, против своих слушников, Безпалого с товарищами.

Как тяжело отозвалась в Москве весть о смуте малороссийской, об измене Выговского, так радостно была принята она в Польше, ибо это была для нее весть о воскресении. Мы видели, что польские комиссары в Вильне обязались предложить на сейме об избрании Алексея Михайловича в преемники Яну-Казимиру. Предложение было действительно сделано, но епископы тут же протестовали, что они согласятся на избрание царя не иначе как с условием, чтоб он принял католицизм, и Ян-Казимир велел обнародовать этот протест по всему королевству. Находили двадцать одну причину, почему ни царь московский, ни сын его не могли быть избраны в короли польские, и все эти причины сходились преимущественно к одному, что дом австрийский никак не выпустит из рук своих польской короны: войны козацкие в соединении с московскою и шведскою втокнули поляков поневоле в объятия австрийского дома; король по совету сенаторов еще в сентябре 1655 года предложил императору быть его наследником и обещал согласие всей республики, если только император поможет ей в настоящей беде; император предложил свое посредничество для примирения с Москвою и Швециею, чтоб тем легче в качестве посредника достигнуть своей цели, Австрийцы внушили полякам, чтоб прельстили московского царя надеждою польской короны, чтобы в этой надежде он объявил войну Швеции, и, как только царь вступил с войском в Ливонию, король и сенаторы от имени республики чрез торжественное посольство поднесли императору корону польскую; тот публично отказался, но частным образом принял корону для сына своего Карла-Иосифа; король польский в 1657 году объявил королю шведскому, что отказывается от титула шведского и уступает Швеции всю Ливонию; Польше легче помириться с Швециею и поднять ее против Москвы, потому что король шведский не стремится быть королем польским; между Австриею и Польшею идут совещания, как вести дело с царем, чтоб заставить его продолжать войну с Швециею, пока Польша с нею не уладится; литовцы, по соседству с Москвою, из страха льстят царю, но поляки никак его не хотят; они думают, что самое лучшее средство успокоить австрийцев состоит в том, чтоб папа поручился императору за верность польского наследства для его дома под страхом отлучения; в противном случае, объявил, что сеймовое постановление о царе московском нисколько не предосудительно праву австрийскому. Если Австрия будет довольна этим тайным соглашением и ручательством папы, то поляки думают, что им можно будет вести переговоры с царем насчет короны и постановление, сделанное в случае необходимости, уничтожить властью первосвященника римского; австрийцы уже давно поджигают Порту и татар против Москвы, чтоб таким образом сдержать царя, а себе проложить дорогу к польской короне.

Но в Москве не знали всех этих причин, и царь продолжал хлопотать о польском престоле или по крайней мере о соединении Литвы с Москвою. В начале 1657 года он отправил в Литву любимца своего Матвеева следить за тамошними делами. Матвееву было наказано: в случае если произойдет разрыв между Польшею и Литвою, хлопотать, чтоб литовские войска перешли под высокую

руку великого государя и присягнули ему. Матвеев писал, что литовского войска при гетмане Гонсевском немного, оно твердо стоит на том, чтоб по смерти Яна-Казимира быть королем царю, и ждет сейма, но коронное войско рознится: иные хотят к цесарю, другие – к Рагоци, третьи не хотят с княжеством Литовским разлучиться; писал, что сейма нечего скоро ждать по причине войны у поляков со шведами. Государь приказывал ему разыскать, чрез каких панов всего скорее можно добиться до благоприятного ему решения на сейме. Матвеев отвечал, что всего скорее можно получить желаемое чрез надворного маршалка Любомирского и познанского воеводу Лещинского: роды их многолюдные и начальных людей роду их много; только они государству государя своего вперед не прочат, нет того, чтоб поболеть о государстве, а просят прежде всего чести и подарков больших. Рагоци сулил им по сту тысяч червонных; гетман Гонсевский потребовал точно такой же суммы у царя. «Сперва присягни с начальными людьми и со всем Войском, – отвечал ему Матвеев, – тогда государь вас и пожалует от своей казны; сам помысли: если ты такие большие деньги возьмешь и присягу дашь один, то всякий человек смертен, а теперь время не спокойное от неприятелей; ты беспрестанно в службах, убьют тебя или в плен возьмут – кто тогда эти деньги заслужит великому государю?» «Я готов присягнуть великому государю, – говорил Гонсевский, – готов присягнуть, что буду стараться о провозглашении его наследником короля Яна-Казимира; а теперь начать государю служить никак нельзя, чтоб не испортить дела, постановленного на съезде. Если же государь даст мне деньги, то я стану призывать начальных людей и Войско тайно и присягу дам за всех». Потом Гонсевский говорил о необходимости соединения церквей, Матвеев отвечал, что когда государь будет королем, то созовет духовенство греческое и римское и других многих вер, и *если* духовные особы на то склонятся волею, а не нуждою, чтоб быть съезду, и *если* . тогда великий государь изволит сослаться с цесарем и с папою, то пошлет; но чтоб не было никакого сомнения насчет веры и церквей, то великий государь уже велел послать свои грамоты во все покорившиеся ему литовские города, что права их, религия и вольности ни в чем нарушены не будут. «Хорошо так, – сказал на это Гонсевский, – но вот в чем дело: как был на Короне Польской король Сигизмунд III, верою католик, то было у него 172 сенатора, все разных вер, только двое было католиков, и в сорок лет все стали католиками, не нуждою, а вот чем: никому не давал он ни воеводства, ни каштелянства до тех пор, пока не приступят к католической вере». Гонсевский говорил также, чтоб все правительственные места в Литве постоянно оставались за литовцами, а не были раздаваемы москвичам. Матвеев отвечал: «Великий государь обычной воли в неволю не приводит; литовская шляхта служит ему в разных строях, и над нею начальные люди их же братья шляхта, а не московские урядники».

В феврале отправился из Москвы к королю стряпчий Иевлев и 22 апреля нашел короля в городке Данкове. В ответе паны начали упреком: «Было уговорено, что царскому величеству на общего неприятеля шведского короля войною ходить и людей своих посылать; а теперь против шведов русских людей никого нет; швед с Рагоци и козаками Хмельницкого польскую землю пленяют; королевскому величеству становится тесно, ожидает войска цесарского, а если цесарь не умиласердится, войска не пришлет, то мы будем в великом разорении». Иевлев отвечал: «По договору царское величество ждал долго от короля гонца, и

по сие время ведома никакого не было: так царское величество и поусумнился. На шведских и лифляндских рубежах у царского величества стояли многие рати всю зиму, а теперь царское величество пойдет сам на шведского короля. На съезде в Вильне договорились и записями укрепились, что великого государя выбирать на королевство, для чего сложить сейм в декабре или январе месяце, а перед сеймом дать знать великому государю через гонца; царское величество ждал долгое время, полномочные послы на сейм уже были назначены, и замедление это царскому величеству учинилось в великое подивленье». Паны извинялись, что сейма нельзя было созвать так скоро за военными делами, и объявили, что сейм будет созван в Бресте 28 мая. Иевлев заметил, что и в мае сейм не состоится, потому что остается один месяц, а король до сих пор находится в дальних местах, на границе цесарской. Паны отвечали: «Король видел и сам, что сейму на тот срок не бывать, что же делать? Со всех сторон неприятели, ты сам видел, сам насилу проехал. Царское величество сомневается, а у короля иной мысли нет и не будет, и у нас слова наши и договор не переменятся». Иевлев продолжал: «Писал государю гетман Хмельницкий, что поляки задор учинили, малороссийский город Налюз истребили, в Пинском уезде монастыри попалили». Паны отвечали: «Такого города Налюза во всей Малороссии нет, а наших польских людей задор поневоле: никто не хочет быть убитым до смерти, а козаки Хмельницкого секут нас и жгут вопреки договору, умысел их явен: Хмельницкий присягнул Рагоце и войско свое к нему прислал».

Тем и кончились объяснения. Иевлев представлялся и королеве, и, когда ехал от нее, пристав говорил ему: «Королева старается о дружбе царского величества с королем так, что и в ум не вмещается такое раденье: как был сеймик в Ченстохове об окончании доброго дела между королевским и царским величествами, и на этом сеймике канцлер коронный разрывал и мешал, то королева сама к канцлеру и к другим ездила и уговаривала их не мешать делу». Король в особой записке давал знать царю, чтоб он не верил ни в чем ни французам, ни англичанам; о том же давала знать королева царице и прибавляла, что когда царевич Алексей придет в возраст, то она, королева, будет стараться женить его на дочери покойного императора Фердинанда III.

И 28 мая сейма не было; в июле отправлен был к королю другой посланник, стольник Алфимов, который в сентябре нашел Яна-Казимира в Варшаве. В ответе паны начали тем, что виленский договор нарушен со стороны царя, потому что подданный его гетман Хмельницкий вместе с Рагоци воюет польскую землю. Алфимов отвечал, что к Хмельницкому послан указ отозвать свои войска от Рагоци и козаки отозваны; но Хмельницкий бьет челом великому государю, что с королевской стороны чинятся явные неправды, султана и хана на Войско Запорожское поляки подговаривали и обещали им все украинские города, начиная от Каменца-Подольского. Когда козаки по царскому приказу от Рагоци отступили, то отступили от него и шведы, и молдаване, и волохи; поляки этим воспользовались и, соединясь с татарами, Рагоци побили; а если б козаки по царскому приказу от Рагоци не отступили, то не отступили бы от них и шведы с молдаванами и волохами; этим от царского величества королю и Короне Польской сделано вспоможенье немалое. Паны указывали на другое нарушение договора: русские не воюют больше с шведами. Алфимов отвечал: «Шведские генералы, которые сперва были в Польше, теперь стоят против царского войска на своих

границах, и если б они не были задержаны царскими воеводами, то теперь разоряли бы польские города; следовательно, Короне Польской от царского величества чинится вспоможенье немалое». На замечание Алфимова, что начатое дело по виленскому договору надобно кончить немедленно, был известный ответ, что до сих пор неприятели мешали, но теперь неприятели отступили и открылась возможность созвать сейм, о котором дано будет знать великому государю.

Прошел 1657 год – сейма все не было. В марте 1658 года явился гонец королевский с известием, что сейм назначен на 27 июня. В мае месяце из Москвы отправились в Вильну великие и полномочные послы – бояре князь Никита Иванович Одоевский, Петр Васильевич Шереметев, князь Федор Федорович Волконский и думный дьяк Алмаз Иванов – для нового съезда с польскими комиссарами. Но прежде всего они должны были выслушивать жалобы от жителей литовских городов и уездов, занятых русскими войсками. Минская шляхта просила их оборонить от дальнейших наездов, охранить от своевольных людей. Гродненская шляхта била челом на воеводу Апрелева, который из соборной церкви взял образ богородицы, потир и ризы и не хочет отдать, несмотря на просьбу шляхты, что делается вопреки вольностям, от царя пожалованным. Великие послы отправили к Апрелеву грамоту, чтобы немедленно возвратил в церковь образ, потир и ризы и ничем не нарушал вольностей обывательских. Потом началась переписка с польскими комиссарами, которыми были назначены бискуп виленский Ян Завиша и гетманы Павел Сапега и Гонсевский. Еще не зная о назначении комиссаров, великие послы отправили к гетману Павлу Сапеге Дениса Астафьева, который нашел его в имении подле Бреста. Поговорив о комиссарах и где им стоять, Астафьев спросил Сапегу: «Слухом пронеслось, будто послан к великому государю в Москву Адам Сакович: от вас ли, гетманов литовских, он послан, и знаешь ли ты, от кого он послан и с чем?» Сапега долго сидел молча, потом начал говорить: «Послан он от нас, с моего повеленья, послал его Гонсевский с тем: если наши не успеют сделать на сейме по-своему, осият нас коронные, поставят на том, что прежде мириться с шведом, тогда делать нечего, переменить нельзя». Астафьев сказал на это: «Слух у нас такой есть, что с вами коронные не тянут и рознь у вас началась». Сапега отвечал: «За грех наш у всех у нас рознь, прежде всего скажу тебе: король с нами идет неправдою, а все водит его королева, от нее у нас и вся смута, а с коронными у нас рознь оттого: они себе покою хотят, а нам не помогают. Послы пришли из многих государств, королева поехала обо всем с ними договариваться, а мы ничего об этом не знаем, где быть тут добру? Нам жаль коронных, а коронным жаль нас, сам знаешь, как не жалеть? смешались мы с ними верою и поженились – они у нас, а мы у них, и маетностями помешались». «Если, однако, будет не мера, – говорил Астафьев, – то как смекаете: отступитесь от них или нет?» Гетман опять долго сидел молча, потом сказал: «Как кто хочет, а я не отступлю». *Астафьев*. «У нас такой слух носится, что Сакович с тем и к великому государю пошел, что хотят отступить от короны». *Сапега*: «Как себе хотят, послали мы Саковича, и, что я ему приказывал, от тех слов не отопрусь и по смерти и никого не осрамлю; я не такой человек; по-моему, что говорить, то и делать, а чего не делать, того нечего и говорить; а сверх того, свой разум в голове имеете, сами рассуждайте; больше тебе ничего не скажу; с чем Сакович послан, о том знают у нас в Литве человек с десять сенаторов; сам знаешь, то дело великое и страшное, что при

живом государе другого ищем. Пожалует ли Саковича великий государь, велит ли его принять за его баламутство? да и канцлер литовский Пац такой же баламут; я думаю, не худо ли Саковичу в Москве будет?» *Астафьев* : «Если с таким великим делом идет и с правдою, а не шалберством, то государь велит его принять и отпустить с честью; если же идет с такою правдою, как я от тебя теперь слышу, то не знаю!.. Мы слышали так, что вы впрямь от короны отступили и с тем Саковича послали к государю». *Гетман* : «Нет, от короны мы не отступим, разве по неволе, по нужде большой: тогда станем промышлять о себе. Я не такой человек, от своих слов не отпираюсь, да и того не хочу, чтоб от моего лукавства кровь христианская пролилась и мне бы пришлось на том свете ответ отдавать богу; лучше истрачу все последнее свое панство да меньше ответа богу отдам. Стал я на всей своей правде и умереть хочу; все у себя утратил, с кручины надсадился, не слышу на себе головы, сердце все изныло; а другие как себе хотят, так и живут». Сакович, приехавший от гетманов в Москву, объявил, что гетманы и все посольство Великого княжества Литовского по короле Яне-Казимире венгерского и французского королей выбирать не хотят, хотят договор учинить по виленской комиссии, чтоб выбрать на Корону Польскую и на Великое княжество Литовское великого государя царя. Пусть царское величество прикажет своим полномочным послам с гетманом об этом договориться, и на чем договор учинят и письмом укрепятся, с этим гетманы поедут на сейм к королю; и как они приедут на сейм и если король и Корона Польская по этому их договору сделать не захотят, то они, гетманы, и все посольство литовское королю в подданстве откажут и с Короною Польскою в соединении не будут, а учинятся в подданстве у великого государя по своему договору. А без этого объявления королю и Короне Польской перейти в подданство к царскому величеству им нельзя. При этом переходе Волынь, Подолия и Подляшье должны быть при Литве. Царским полномочным послам с гетманами на договоре говорить, чтоб Орду татарскую каким-нибудь способом на время успокоить. Чтоб курфюрст бранденбургский и князь курляндский были с царским величеством и с Великим княжеством Литовским в соединении, а с шведами и поляками не соединялись бы. Запорожских черкас утвердить, чтоб они от царского величества никуда не отошли и были бы с Литвою в соединении. Чтоб царское величество изволил гетманов и все посольство литовское держать в подданстве по их вольностям и правам, как другие государи государства держат, вольностей их и прав не нарушают. Пусть царское величество гетмана Гонсевского обнадежит, что по смерти Павла Сапеги великим гетманом быть ему, Гонсевскому, а малую булаву (гетманство полное) пожаловал бы великий государь тому, о ком он, гетман, побьет челом. Наконец, Гонсевский просил себе у царя 100000 червонных, города Могилева и несколько городов в Ливонии. Царь в своей грамоте отвечал гетманам, чтоб они съехались с великими послами и договорились о доброначатом деле немедленно, а он их всех, сенаторов и всю Речь Посполитую, хочет содержать в милостивом жалованье, в верах и вольностях по правам. Но гетманы не съезжались.

По государеву наказу Одоевскому с товарищами велено было дожидаться польских комиссаров не далее 30 июля. Срок этот прошел, а комиссары не бывали, к тому же стали приходиться слухи, что в Польше моровое поветрие. Тогда Одоевский 6 августа выехал из Вильны в Москву. Но в самый этот день пригнали гонцы с вестию, что комиссары едут к Вильне. Одоевский не возвратился, а велел

сказать им, что царские послы жили в Вильне без дела семь недель, время съезда миновало по их комиссарской проволочке, так чтоб они уже к Вильне не ездили. Комиссары приехали к Вильне, не были впущены и возвратились назад, крича о бесчестье. Одоевский с товарищами уже были в Минске, когда пришла к нему царская грамота с приказанием возвратиться в Вильну и пригласить туда опять комиссаров для доброго дела. Одоевский возвратился и послал звать комиссаров; они обещались приехать, но проволакивали время, а между тем гродненский воевода Апрелев дал знать Одоевскому в сентябре, что гетман Павел Сапега идет под города великого государя и что литовские ратные люди уже начали государевых людей бить, грабить и в полон брать. Гродненского повета шляхта и мужики все взбунтовались, а комиссары отпущены под Вильну для того, чтоб великий государь изволил отдать польскому королю все литовские города; тогда и мир будет, а если государь городов не отдаст, то сейчас же начнется война, для чего гетман Сапега и идет. Вслед за этим другое известие, что Запорожское Войско поддалось королю, а тут шляхта Ошмянского повета прислала челобитную, что черкасы наказного чаусовского полковника Мурашки в маетностях их людей и крестьян вконец разоряют. Переговоры уполномоченных должны были уяснить дело. Они съехались 16 сентября; московские послы начали дело требованием всей Литвы за бесчестье, нанесенное великому государю проволокою дела после первого виленского съезда. Комиссары отвечали: «Если б мы знали, что с вашей стороны будет такое требование, то мы бы и на съезд не поехали, говорить мы об этом не будем и поедем назад без дела; а если царскому величеству Литовское великое княжество надобно, то у него ратные люди готовы, и у королевского величества ратные люди есть же, Литву надобно добывать кровью, а не посольством». Комиссары объявили, что имеют полномочие относительно двух статей – избрания государя в короли и заключения вечного мира. Переговоры об этих статьях отложили до 18-го числа. В этот съезд комиссары прежде всего подняли вопрос о шведах, с которыми по прежнему договору одному государству без другого мириться было нельзя. «Слух до нас дошел, – сказали комиссары, – что царские послы договариваются о мире со шведами под Нарвою; так прежде всего вы должны укрепиться с нами насчет этого дела, иначе мы вам не объявим своих статей об избрании вашего государя в короли: мы для того и соединяемся с вами и права свои давные нарушаем, чтоб над общим неприятелем промысл вместе учинить и к такому миру его привести, чтоб обеим сторонам было прибыльно». Послы отвечали, что у великого государя с шведским королем мира нет; если же идут сношения, то у польского короля такие сношения начались еще прежде, и что у них, послов, нет наказа относительно шведского дела. После многих споров комиссары оставили шведское дело и приступили к условиям об избрании. Послы никак не соглашались, чтоб уния, *грубая* богу всемогущему, продолжала существовать. Далее комиссары объявили, что необходимым условием избрания царя в короли должно быть восстановление Поляновского договора: «Со стороны королевского величества царскому величеству и так уступлено много, что мы, стародавние свои права поломавши, при жизни королевской государя вашего в короли выбрали не по нужде какой-нибудь, но по доброй воле, желая такого преславного, великого, храброго и мужественного государя, отыскивая того, что потеряно, стараясь о целости государства своего и о прекращении кровопролития; царскому величеству

будет вечная слава, что мы сделали это мимо стародавних своих прав, для соединения обоих народов, сами все головами и с именем своим великому государю в подданство отдались; за такое великое дело вы должны нам и своего уступить, не только что наше назад отдать. Если же царское величество завоеванных городов и земель отдать не изволит, то нам и бог поможет, и если мы что отыщем войною, то вам будет стыдно».

Весь сентябрь прошел в бесполезных съездах и спорах. Московские уполномоченные из завоеванного в Литве уступали по реку Березу; комиссары не соглашались, а между тем послы с разных сторон получали известия о неприятельных действиях литовских войск: оба гетмана – Сапега и Гонсевский – придвигались к Вильне, ратные люди их хватали и били русских, залегли все пути, на Ошмянской дороге под Медниками осадили отряд драгунов, отправлявшихся в полки князя Юрия Долгорукого. 9 октября на съезде послы потребовали у комиссаров, чтоб все эти зацепки были прекращены и драгуны выпущены из осады. Комиссары отвечали дерзко: «По нашему прошению гетман Павел Сапега драгунов из осады освободит, велит их отпустить к Москве, а не в полки, а что при них оружия, зелья и свинцу, то все у них велит взять». Послы отвечали на это с большим шумом: «С князем Юрием Алексеевичем Долгоруким ратных людей много, будут драгуны выручены и без гетманского отпуска; кровопролитие начинается от вашего несходства, а нашему великому государю по его правде бог поможет». Этим съезд кончился, и послы дали знать Долгорукому, чтоб он Божиим и государевым делом промышлял по указу; 19-го числа выехали они из Вильны и в дороге узнали, что польские и литовские люди Сапегина полку, присяжная шляхта и черкасы по дороге от Вильны к Минску, около Минска и до Борисова заезжают занятые царскими войсками места; из Минска получили они весть, что этот город с 1 октября осажден черкасами, которые пишутся королевскими подданными; шляхта минская и других поветов, в числе 1000 человек, стоит в минском посаде; черкасы приезжают к ней каждый день и говорят, чтоб Минск взять; мещане минские в город в осаду не пошли и разъехались все в польские города. Но князь Юрий Алексеевич Долгорукий поправил дело: чтоб не допустить до соединения неприятельские силы, со всех сторон скопляющиеся, он решился 8 октября напасть на Гонсевского в селе Варке (Werki). Гонсевский, узнав о приближении Москвы, поспешил предупредить нападение, и сначала конница его имела успех, замешала, обратила в бегство ряды московские, но тут Долгорукий ввел в дело два пехотных стрелецких полка; литва не выдержала и побежала, оставив в руках победителей своего гетмана. Другой гетман, Павел Сапега, остался цел благодаря местничеству: двинувшись против неприятелей, Долгорукий послал к уполномоченным – Одоевскому с товарищами, чтоб отправили к нему на помощь бывших с ними ратных людей, но сотенные головы, князь Федор Борятинский и двое Плещеевых, объявили, что им идти на помощь к князю Долгорукому невместно. После разрядный дьяк объявил им на постельном крыльце: «Тут мест нет, всегда большой воевода меньшему помогает; вашу измену гетмана Павла Сапегу упустили». Виновные посланы были головою на двор к Долгорукому. Но и сам Долгорукий рассердил государя, отступив от Вильны без указа, не дал знать в Москву и о победе своей. 17 ноября государь отправил к нему любопытную грамоту: «Похваляем тебя без вести и жаловать обещаемся; а что ты без нашего указа пошел, и то ты учинил себе

великое бесчестье, потому что и хотим с милостивым словом послать и с иною нашею государевою милостию, да нельзя послать: отписки от тебя нет, неведомо против чего писать тебе! А бесчестье ты себе учинил такое: теперь тебя один стольник встретит подле Москвы, а если б ты без указа не пошел, то к тебе и третий стольник был бы. Другое то: поляки опять займут дороги от Вильны и людей взбунтуют. Напрасно ты послушал худых людей; видишь ты сам, что разве ныне у тебя много друзей стало, а прежде мало было, кроме бога и нас, грешных; людей ратных для тебя сам я собирал, и если б не жалел тебя, то и Спасова образа с тобою не отпускал бы: и ты за мою, просто молвить, милостивую любовь ни одной строки не писывал ни о чем, писал к друзьям своим, а те, ей-ей! про тебя же переговаривают да смеются, как ты торопишься, как и иное делаешь; а я к тебе никогда немилостив не бывал и вперед от меня к тебе, бог весть, какому злу бывать ли, а чаю, что князь Никита Иванович (Одоевский) тебя подбил, и его было слушать напрасно, ведаешь сам, какой он промышленник, слушаешь, как про него поют на Москве. А ты хотя бы и пошел, но пехоту солдатскую оставил бы в Вильне да полк рейтар, да посулил бы рейтарам хотя по сороку рублей человеку; а теперь, чаю, и сам размышляешь, что сделалось без конца. Князь Никите показалось, что мы вас и позабыли, да и людей не стало, и выручить вас нечем и некому. Тебе бы о сей грамоте не печалиться, любя тебя пишу, а не кручинясь, а сверх того, сын твой скажет, какая немилость моя к тебе и к нему. И тебе бы отписать ко мне наскоро, коим обычаем ты пошел, и чего ради, и чего чая вперед, будет чая миру нынешней зимою, то по делу; а будет не чая миру и Сапегу покинул в собранье на виленской стороне, и то сделалось добре худо. Помысли сам себе: по какому указу пошел? какая тебе честь будет, как возьмут Ковну или Гродню? Как и помыслить, что, пришедши в Смоленск без нашего указа, писать об указе! Князь Никита не пособит, как Вильню сбредут и по дорогам пуще старого залого поставят, и швед близко, а Нечая и без князь Никиты Сергей Чудотворец дважды побил, а на весну с поляками втрое нынешнего пуще будет сделываться и боем биться. Жаль, конечно, тебя: впрямь бог хотел тобою всякое дело в совершение не во многие дни привести и совершенную честь на веки неподвижну учинить, да сам ты от себя потерял; теперь тебе и скорбно, а как пообмыслишься гораздо, и ты и сам о себе потужишь и узнаешь, что не ладно сделалось. А мы и ныне за твою усердную веру к богу, а к нам верную службу всяким милостивым жалованьем жаловать тебя хотим; а как бы ты без нашего указа из Вильны не ходил, а ратным бы людям на прокорм по своему рассмотрению роздал шляхетские маетности, и после такого великого побою изволил бы господь бог мир совершить вскоре, и ты б наипаче нашею, великого государя, милостию за два такие великие дела – се за бой, се за мир был бы пожалован. А прочтя сию нашу грамоту и запечатав, прислать ее к нам с тем же, кто к тебе с нею приедет».

Несчастье Гонсевского и победа князя Ивана Андреевича Хованского над литвою при Мядзелах охолодили поляков, разгоряченных подданством Выговского, возмечтавших, что с этим подданством успех войны перейдет на их сторону, возвратятся к ним все потерянные силы. Но с другой стороны, взятие в плен гетмана литовского не возгордило Москвы: здесь очень хорошо понимали всю опасность, начавшую грозить от измены гетмана Войска Запорожского; а главное, казна была истощена пятилетней войною, ратные люди кормились на



счет занятых земель, и, как они кормились, мы видели из жалоб Ордина-Нащокина, который все более и более приобретал привязанность и доверие царя сколько умными советами, распорядительностью, столько же и религиозностью, так нравившеюся Алексею Михайловичу. Весною 1658 года, жалую его в думные дворяне, государь прислал ему такую грамоту: «Пожаловали мы тебя за твои к нам многие службы и раденье, что ты, помня бога и его св. заповеди, алчных кормишь, жадных поишь, нагих одеваешь, странных в кровы вводишь, больных посещаешь, в темницы приходишь, еще и ноги умываешь и наше крестное целованье исполняешь, нам служишь, о наших делах радеешь мужественно и храбро и до ратных людей ласков, а ворах не спускаешь и против шведского короля славных городов стоишь с нашими людьми смелым сердцем». Нащокин не переставал повторять прежнее. «Теперь, – писал он в начале 1659 года, – теперь из Царевичева-Димитриева города надобно в три места посылать помощь, оборонять от злого мучения, надобно оборонить Чадосы от осады литовских людей, которые пришли мстить за разоренье шляхты брянской; рейтары мучат людей в Икажне и Брянске, а донские козаки пустошат Друю с волостями; отовсюду просят помощи, обливаются кровавыми слезами: лучше бы я на себе раны видел, только бы невинные люди такой крови не терпели! Лучше бы согласился я быть в заточении обратном, только бы не жить здесь и не видеть над людьми таких злых бед!» Тщетно посылал Нащокин приказы рейтарам и донским козакам, чтоб выступали против неприятеля: они не трогались, «отяжелев награбленными пожитками, которые нахватили у людей, присягнувших царю». Глядя широким взглядом на дела, предтеча преобразователя требовал нового, европейского образа ведения войны, для которого в Москве не было еще ни средств, ни понимания. «Не стыдно, – писал Нащокин, – навязать добром от стороны, и от врагов своих свидетельство крепче принимаем: во всех государствах над войсками гетманы или генералиссимусы на границах бывают даже и не в военное время, а когда война, то и по давности с войском стоят на границах, рати к ним идут и указы от них получают, а не они от кого-нибудь указов просят; от этого дело скорее делается; где глаза видят и ухо слышит, тут бы и промысл держать неотложно. Надобно знающим полководцам быть по рубежу, рати держать в строенье и от крови сдерживать, чтоб миру место было, а не разрушение, не все войну вести». Нащокин требовал полного преобразования войска, замены старинной дворянской конницы даточными конными и пешими людьми.

Но для этих преобразований надобен был Петр; царь Алексей видел отсутствие средств к войне, не имел возможности создать их, не умел, подобно сыну своему, собственным неумолимым движением возбуждать всюду коснеющие силы и спешил прекратить войну в Литве и Белоруссии, чтоб обратить все усилия на юг, в Малороссию. Польша, обманутая в своих надеждах, также хотела приостановить военные действия, и вот в одно и то же время, в январе 1659 года, московский посланник ехал в Польшу, а польский гонец – в Москву. Король в грамоте своей жаловался на Долгорукого, что тот разорвал перемирие, нападши и взявши в плен Гонсевского, который пришел только в качестве комиссара для мирных переговоров и имел при себе несколько сот конницы; жаловался на уполномоченных царских, что разорвали комиссию; предлагал третью комиссию и требовал освобождения Гонсевского как комиссара, без которого нельзя вести переговоров. Царь с своей стороны жаловался королю на польских комиссаров и

на Гонсевского, но также прибавлял, что согласен на мир, для заключения которого пусть король присылает уполномоченных в Москву. Король продолжал предлагать, чтоб комиссия, разорванная под Вильною, была возобновлена опять в Вильне же, или в Минске, или в Орше, чтоб во время комиссии военные действия были задержаны и Гонсевский освобожден; царь отвечал: «Когда король пришлет своих великих послов в Москву, тогда мы велим присоединить к ним и Гонсевского, и когда доброе дело сделается, то он вместе с послами и будет отпущен; что же касается до прекращения военных действий, то мы уже велели прекратить их на все то время, когда ваши великие послы будут в Москве». Понятно, что с польской стороны это была одна проволочка времени: хотели выждать, чем решится дело в Малороссии.

Здесь упорная борьба продолжалась под Лохвицею, где стояли царские воеводы, князя Ромодановский и Куракин, и под Ромнами, где стоял Безпалый. Народ смотрел с отвращением на эту войну, говорили: «Войну начали старшие, и если б царские ратные люди где-нибудь старшину нашу осадили, то мы бы ее всю, перевязавши, царскому величеству выдали; а теперь мы слушаемся своих старших поневоле, боясь всякого разорения и смертного убийства». Старшие поневоле выбивали козаков в полки, грозя: кто в полки не поедет, у того жен и детей поберут и отдадут татарам. Пошло в ход слово *изменник*; так величали старшие козаков, которые не хотели сражаться против царских войск.

В феврале 1659 года Безпалый дал знать в Москву, что из Новой Чернухи приходили под Лохвицу Скоробогатенко и Немирич с ляхами и татарами, в числе 30000, к городу приступали трижды, но были отбиты. Сам Выговский под Лохвицу не приходил, стоял в Чернухах, а потом пошел к Миргороду и 4 февраля явился под этим городом. Находившиеся здесь московские драгуны укрепили осаду в малом городе, а миргородцы все присягнули служить государю и ратных людей не выдавать. Но 7 февраля по прелестным письмам от Выговского и по наговору протопопа Филиппа Степан Довгаль, бывший здесь снова полковником, выехал из города к Выговскому, миргородцы зашатались и сдались; московских драгунов Выговский ограбил и отослал в Лохвицу, а сам двинулся в Полтавский полк. На все просьбы Безпалого о помощи был один ответ из Москвы, что идет в Малороссию боярин князь Алексей Никитич Трубецкой.

Трубецкой действительно выступил из Москвы 15 января с войском, простиравшимся, как говорят, до 150000; 30-го числа боярин стоял уже в Севске. Но на многочисленное войско в Москве не надеялись, хотели во что бы то ни стало оторвать Выговского от Польши, ибо только этим можно было добиться счастливого окончания дел с последнею. 7 февраля в трапезе у дворцовой церкви св. Евдокии государь слушал важные статьи, а комнатные бояре слушали их в комнатах; эти бояре были: Борис Иванович Морозов, князь Яков Куденетович Черкасский, князь Никита Иванович Одоевский, Илья Данилович Милославский, Иван Андреевич Милославский. Статьи были отправлены к Трубецкому; в них предписывалось воеводе войти в сношения с Выговским и предложить ему начать доброе дело таким способом: ратных людей с обеих сторон развесть без крови и татар вывести. Когда гетман будет с ним на съезде, то всякими мерами его уговаривать и государевою милостию обнадеживать. Если Выговский покажет статьи польского короля, где ему написано гетманство и воеводство Киевское, полковникам и другим начальным людям шляхетство, вольности шляхетские и

маетности в Малороссии, то написать договор, примериваясь к этим статьям и смотря по тамошнему делу, если между этими статьями не будет самых высоких и затейных, которые не к чести государеву имени. Если Выговского любят и гетманом его на будущее время иметь хотят, то ему гетманом по-прежнему быть. Если станет просить воеводства Киевского, быть по его прошению. Если на отца своего, на братью и на друзей станет просить каштелянства и староств, быть по его прошению. Станет просить на гетманскую булаву города в прибавку – согласиться. Если станет говорить, чтоб в Киеве и других городах государевым воеводам и ратным людям не быть, а боярина Шереметева с людьми ратными из Киева вывести, то боярина вывести, согласиться и на вывод ратных людей, если будет требовать этого упорно. Если станет говорить о своевольниках, чтобы их усмирить, то отвечать: «И так много крови христианской пролилось нынешним вашим междоусобием, с обеих сторон православные христиане побиты и разорены, а бусурманы были рады; надобно с своевольниками помириться без кровопролития, а я, по указу великого государя, стану их к миру склонять; а если вперед затеют бунты, то их смирять, но татар не приводить».

Но дело не дошло до переговоров. 28 февраля Трубецкой выступил из Севска и 10 марта пришел в Путивль; 26 марта выступил из Путивля, направляясь на местечко Константинов на Суле, стягивая к себе и московских воевод из Лохвицы, и Беспалого из Ромен. 10 апреля Трубецкой вышел из Константинова к Конотопу, где заперся приверженец Выговского, полковник Гуляницкий. 19 апреля Трубецкой подошел к Конотопу и безуспешно осаждал этот город до 27 июня, когда явился туда Выговский вместе с ханом крымским. Оставивши всех татар и половину козаков своих в закрытом месте за речкою Сосновкою, с другою половиною козаков Выговский подкрался под Конотоп, на рассвете ударил на осаждающих, перебил у них много людей, отогнал лошадей и начал отступать. Воеводы, думая, что неприятельского войска только и есть, отрядили для его преследования князя Семена Романовича Пожарского и князя Семена Петровича Львова с конницею. 28 июня Пожарский нагнал черкас, поразил и погнался за отступавшими, все более и более удаляясь от Конотопа; тщетно языки показывали, что впереди много неприятельского войска, и оставшая половина козаков, и целая орда с ханом и калгою: передовой воевода ничего не слушал и шел вперед. «Давайте мне ханишку! – кричал он. – Давайте калгу! всех их с войском, таких-то и таких-то... вырубим и выпленим». Но только что успел он перегнать Выговского за болотную речку Сосновку и сам перебрался за нее со всем отрядом, как выступили многочисленные толпы татар и козаков и разгромили совершенно Москву. Пожарский и Львов попались в плен; Пожарского привели к хану, который начал выговаривать ему за его дерзость и презрение сил татарских, но Пожарский был одинаков и на поле битвы и в плену: выбрав хана по *московскому обычаю*, он плюнул ему в глаза, и тот велел тотчас же отрубить ему голову. Так рассказывает малороссийский летописец, но московский толмач Фролов, бывший очевидцем умерщвления Пожарского, рассказывал, что хан велел убить Пожарского за то, что этот самый воевода в прошлых годах приходил войною под Азов на крымских царевичей. Князь Львов был оставлен в живых, но недели через две умер от болезни.

Цвет московской конницы, совершившей счастливые походы 54-го и 55-го годов, сгиб в один день; пленных досталось победителям тысяч пять; несчастных

вывели на открытое место и резали как баранов: так уговорились между собою союзники – хан крымский и гетман Войска Запорожского! Никогда после того царь московский не был уже в состоянии вывести в поле такого сильного ополчения. В печальном платье вышел Алексей Михайлович к народу, и ужас напал на Москву. Удар был тем тяжелее, чем неожиданнее; последовал он за такими блестящими успехами! Еще недавно Долгорукий привел в Москву пленного гетмана литовского, недавно слышались радостные разговоры о торжестве Хованского, а теперь Трубецкой, на которого было больше всех надежды, «муж благоговейный и изящный, в воинстве счастливый и недругам страшный», сгубил такое громадное войско! После взятия стольких городов, после взятия столицы литовской царствующий град затрепетал за собственную безопасность: в августе по государеву указу люди всех чинов спешили на земляные работы для укрепления Москвы. Сам царь с боярами часто присутствовал при работах; окрестные жители с семействами, пожитками наполняли Москву, и шел слух, что государь уезжает за Волгу, за Ярославль.

Разгромивши отряд Пожарского, хан и Выговский двинулись к Конотопу, чтоб ударить на Трубецкого, но боярин уже отступил от города и благодаря многочисленной артиллерии успел без большого вреда от напирającego неприятеля перевести свое войско в Путивль, куда прибыл 10 июля; Выговский и хан не преследовали его далее реки Семи и отправились под Ромн, жители которого сдались им; Выговский поклялся выпустить бывший здесь московский гарнизон и, несмотря на клятву, отправил его к польскому королю. Из-под Ромна союзники пошли под Гадяч. Здесь татары, расположившись станом в поле, спокойно смотрели, как черкасы Выговского резались с своими братьями, жителями Гадяча, на приступе. Осаждающие должны были отступить, потерявши больше тысячи человек. Тут пришла весть к хану, что молодой Юрий Хмельницкий с запорожцами ходил под Крым, погромил четыре ногайских улуса и взял много пленных. Хан и Выговский немедленно послали сказать ему, чтоб отпустил пленных в Крым, но Хмельницкий отвечал: «Если хан отпустит из Крыма прежний полон козацкий, то и мы отпустим татар; если же хан пойдет на государевы города войною, то и мы опять пойдем на крымские улусы». Пошумев за это с Выговским, хан отделился от него, пошел на Сумы, Хотмыль, Карпов, Ливны, городов не тронул, но выжег уезды и направил путь домой.

Между тем Трубецкой из Путивля писал Выговскому, чтоб тот прислал к нему добрых людей для переговоров о прекращении кровопролития. Выговский отвечал (1 августа), все еще называя себя гетманом его царского величества: «Знаете вы и сами хорошо, что мы нынешнему междуусобию и кровопролитию между христианами ни малейшей не дали причины и не только самому его царскому величеству, но и вам не однажды писали, чтоб в совете пребывали; так и теперь, видит бог, нестроения не желаем и бога просим, чтоб он сердца непримирительные к братолюбию возвратил, и пусть кровь христианская падет на голову того, кто желал и желает ее пролития. Согласно желанию вашему, из войска нашего людей добрых двоих, троих или четверых для разговора о всяких добрых делах пошлем, только бы им какой-нибудь неправды не было, и сам с вами сойдуся, чтоб иметь частые сношения. А что вы пишете, что под Конотоп приходили не для войны, а для разговора и усмирения домашнего междуусобия, то какая ваша правда? Кто видал, чтоб с такими великими ратями и с таким

великим нарядом на разговор приходили? В Конотопе никакого своеволия и междоусобия не было: зачем было к нему приступать? Вы на искоренение наше со многими людьми пришли, Борзну вырубали и людей в полон забрали, в чем оправдываться не можете, ибо тамошние люди не только вам никакой причины к нападению не давали, но и ратям вашим не противились, а если бы оборонялись, то не скоро бы вы их взяли». В заключение Выговский писал, что не пришлет своих посланцев в Путивль, но пусть Трубецкой присылает своих в Батурин.

Видя, что Выговский особенно страшен в союзе с ханом, в Москве стали думать, как бы разорвать этот союз. Но прозорливый Ордин-Нащокин писал царю: «Вашему царскому величеству угодно, чтоб хана крымского с Выговским какими-нибудь письмами поссорить, чтоб они, побранясь между собою, разошлись; но таких людей, которые бы умели это сделать, у вашего царского величества нет, не учились: которые дела и по наказу делаются, и те не скоро в совершение приходят. Хана крымского от Выговского можно оторвать только одним: послать людей на Дон, только не так, как был на Дону думный дворянин Ждан Васильевич Кондырев: кроме письменных людей было при нем множество вольных на Дону, а прибыли тебе, великому государю, ничего не сделали, и вольные и письменные все померли от голоду». В Крыму начали опять грабить русских послов, которые успевали только спасать царские указы, пряча их в ветчине! Во время похода ханского под Конотоп послов держали в тюрьме, в оковах, и говорили им: «Государь ваш запорожскими черкасами хочет завладеть; польский король также хотел ими завладеть, но и свое королевство потом потерял: то же будет и Московскому государству, будет запустошено из-за козаков». Татары хвастались конотопским делом. «Теперь, – говорили они, – московские люди полевым боем с нами биться не станут», но в то же время не скрывали и своего страха перед усиливавшимся могуществом Москвы. «Ваш государь, – говорили они послам, – хочет завладеть козаками и поляками, а потом и Крымом», требовали, чтобы царь помирился с королем, удержав за собою все завоевания, но отдав Малороссию Польше. Тщетно послы московские предлагали большие деньги вельможам, если они убедят хана не помогать полякам и Выговскому, вельможи отвечали: «Не думайте, что мы сдадимся на деньги; все померем, а над Московским государством и над черкасами всячески станем промышлять». Но и донские козаки также промышляли: во время Конотопского похода суда их явились у крымских берегов; донцы высаживались под Кафою, Балаклавою, Керчью, углубляясь внутрь полуострова верст на 50, взяли пленных тысячи с две, освободили своих полтора; на турецкой стороне были в окрестностях Синопа, у Константинова острова и города Кондры, за сутки пути от Царя-города; в степях залегали дороги, прерывали сношения хана с калмыками, отрезывали татарские отряды, шедшие к Выговскому.

В Москве напрасно очень беспокоились. Конотопское дело было явлением случайным, не могшим иметь никаких важных последствий.

Хан, который один давал силу Выговскому, ушел в Крым, оставивши в Малороссии только 15000 человек орды; войско, которое могла дать Выговскому Польша, было ничтожно: каких-нибудь 1500 человек! И тщетно ждал он подкреплений от короля. Выговский возвратился в Чигирин, не могши взять на дороге Гадяча; из Чигирина он выслал было козаков западной стороны и татар под начальством брата своего Данила, но это войско 22 августа было поражено

наголову московскими войсками, вышедшими из Киева. В каком состоянии находилась в это время Малороссия, лучше всего видно из донесения королю Яну-Казимиру обозного коронного Андрея Потоцкого, начальствовавшего вспомогательным польским отрядом при Выговском: «Не изволь ваша королевская милость ожидать для себя ничего доброго от здешнего края! Все здешние жители (т.е. жители западной стороны Днепра) скоро будут московскими, ибо перетянет их к себе Заднепровье (восточная сторона), а они того и хотят и только ищут случая, чтоб благовиднее достигнуть желаемого. Они послали к Шереметеву копию привилегий вашей королевской милости, спрашивая: согласится ли царь заключить с ними такие же условия? Одно местечко воюет против другого, сын грабит отца, отец – сына. Страшное представляется здесь Вавилонское столпотворение! Благоразумнейшие из старшин козацких молят бога, чтоб кто-нибудь – или ваша королевская милость, или царь – взял их в крепкие руки и не допускал грубую чернь до такого своеволия».

Восточная сторона перетянула. Здесь, как скоро Выговский удалился с татарами в Чигирин, переяславский полковник Тимофей Цецура объявил себя за Москву, перебил тех немногих, которые были за Выговского, и дал знать об этом в Путивль князю Трубецкому. 30 августа киевский воевода Шереметев писал государю, что полковники – переяславский, нежинский, черниговский, киевский и лубенский – добились челом и присягнули. На западной стороне Днепра, заслышав о движениях Цецуры, козаки начали собираться и рассуждать, оставаться ли им в подданстве королевском или бить челом государю московскому. Выговский находился в самом печальном положении; многие из близких людей советовали ему пуститься в степи и уйти к хану. Андрей Потоцкий понял, какая беда начнет грозить Польше, если еще турки вмешаются в борьбу за Украину, и уговорил Выговского переехать из Чигирина к нему в обоз, расположенный на Гребенках, недалеко от Белой Церкви. Скоро все козаки отстали от Выговского, собрались около молодого Юрия Хмельницкого, в числе десяти тысяч человек, и стали на Германовке. Брат Выговского, Данила, женатый на родной сестре Юрия, Елене Богдановне, соединился также с шурином своим. Шереметев писал Хмельницкому, чтоб он отступил от изменников и соединился с верными козаками восточной стороны; 5 сентября Хмельницкий отвечал, что он и все Войско Запорожское хочет служить великому государю. И сентября была у козаков рада: Иван Выговский приехал к ним, показывал и читал гадяцкие условия, подтвержденные уже на сейме, уговаривал козаков оставаться под королевскою рукою, но вследствие этих уговоров едва успел убежать в польский стан; козаки кричали, что у короля в подданстве быть не хотят, хотят быть под государевою рукою. 13 сентября Хмельницкий с своим войском двинулся на Расаву для соединения с стоявшими там полками – Чигиринским, Уманьским и Черкасским; Иван Выговский и Потоцкий следовали за ним; козаки говорили, что на Расаве будет большая рада, где изберут в гетманы Юрия Хмельницкого, а Выговского убьют. В двадцатых числах Потоцкий с Выговским остановились под Хвостовом, а Хмельницкий на Взенье, близ Белой Церкви, и козаки прислали к Потоцкому с просьбою, чтоб уговорить Выговского сложить булаву на раде. Потоцкий отправил козацких посланников с бранью, но вслед за ними приехали к Выговскому каневский полковник Лизогуб и миргородский Грицко Лесницкий с требованием, чтоб он через них переслал Войску булаву и бунчук, просили о том

же и Потоцкого, утверждая, что Войско хочет остаться верным королю. После продолжительных переговоров Выговский наконец объявил Потоцкому, что для сохранения мира готов отдать бунчук и булаву, но с тем условием, чтоб Войско Запорожское оставалось верным королю. Лизогуб и Лесницкий дали слово, что это условие будет выполнено, и он отправил булаву и бунчук с братом своим Данилою. Лизогуб, Лесницкий и Данила встретили Войско на дороге, потому что оно двинулось уже к польскому стану, чтоб страхом принудить Потоцкого оставить Выговского. Когда бунчук и булава, присланные последним, внесены были в раду, то Войско тотчас отдало их Хмельницкому, громко желая ему счастливого гетманства.

Между тем 5 сентября Трубецкой выступил из Путивля в черкасские города, и везде в этих городах принимали его с торжеством; полковники и посольство при пушечной стрельбе присягали на верную службу великому государю. 27 числа подошел Трубецкой к Переяславлю: полковник Тимофей Цецура со всем полком встретил его за пять верст от города; протопоп Григорий, священники со крестами, мещане, войт, бурмистры, радцы, лавники и вся чернь – за городом. Пошли в церковь, отпели молебен; после молебна Трубецкой объявил переяславцам милость великого государя, что пожаловал, велел им быть под своею высокою рукою по-прежнему, прав и вольностей их нарушать не велел, а что были они от него отступны, и он вины им отдал: так они бы, видя премногую милость, великому государю служили верно. Переяславцы били челом и обещали быть под рукою великого государя навеки неотступно. Тут раздалась стрельба из всего наряду, что только было в Переяславле.

На другой день боярин отправил грамоту к Юрию Хмельницкому, чтобы он, помня милость царскую к отцу своему и к себе, служил великому государю верно, привел в подданство заднепровские полки; послана увещательная грамота за Днепр ко всей старшине и черни с обнадеживанием, что они останутся при прежних своих правах и вольностях. 1 октября приехали в Переяславль от Хмельницкого и всех полковников полковник Петр Дорошенко и изо всех полков сотники с листами и объявили боярину, что гетман и все Войско рады быть в подданстве у великого государя при прежних правах и вольностях. Боярин обнадежил их государевою милостью, дал им жалованье и отпустил с приказом, чтоб гетман, обозный и полковники для дел государевых ехали к нему в Переяславль без опасения, а если опасаются, то пусть оставят в залог отправляющегося вместе с Дорошенком посланца Владыкина. Но Владыкин возвратился с тремя полковниками и привез ответ, чтоб сам боярин ехал за Днепр к Терехтемировскому монастырю. Трубецкой отказал; тогда полковники потребовали, чтоб боярин по крайней мере отправил к ним в Войско товарищей своих, а если не отправит, то Хмельницкий с полковниками в Переяславль не поедут. Тут же полковники подали боярину четырнадцать статей, на которых быть им в царском подданстве; в статьях говорилось, чтоб, кроме Киева, воевод не посылать ни в какие города и чтоб московские войска, которые будут присылаться на помощь, находились под гетманским начальством. Царское величество не принимает из Войска Запорожского никаких листов без ведома гетманского и всей старшины, без подписи руки гетманской и приложения печати войсковой. Гетман должен быть один для всех полков по обеим сторонам Днепра. Чтоб избрание гетмана было вольное как для старших, так и для меньших, чтоб, кроме войсковых

людей, никого при избрании не было; по избрании отправляются к царскому величеству послы за подтверждением, в котором не может быть отказа. Всех иностранных послов вольно принимать, отсылая только списки с привезенных ими грамот к царскому величеству. Чтоб при заключении мира с окольными землями, а особенно с ляхами, татарами и шведами, были комиссары от Войска Запорожского с вольными голосами. Духовенство малороссийское остается под властью константинопольского патриарха; избрание духовных властей по-прежнему остается вольное. Вольно каждому основывать школы и монастыри.

5 октября Трубецкой послал опять Владыкина к Хмельницкому и полковникам, чтоб ехали в Переяславль безо всякого опасения, если же не согласятся, то объявить, что к ним в Войско для приводе к присяге приедет товарищ Трубецкого окольный Андрей Васильевич Бутурлин, Хмельницкий согласился приехать только под последним условием, и 9-го числа в одно время Бутурлин приехал на западную сторону Днепра, а Хмельницкий – на восточную; с ним были обозный Тимофей Носач, войсковой судья Иван Кравченко, есаул Иван Ковалевский да полковники: черкасский Андрей Одинец, каневский Иван Лизогуб, корсунский Яков Петренко, прилуцкий Петр Дорошенко, кальницкий Иван Серко, потом из каждого полка сотники и козаки. За городом гетмана встретили две сотни жильцов да три роты рейтар; в городе по улице, по которой ехал гетман, стояли стрельцы и солдаты с ружьями, знаменами и барабанами. 10-го числа Хмельницкий со всею старшиною был у Трубецкого, который встретил его словами: «Известно великому государю, что ты ему служишь и ни к каким прелестям не приставаешь; за твою службу великий государь тебя жалует, милостиво похваляет, и тебе бы и вперед служить верно, как служил отец твой гетман Богдан Хмельницкий». Хмельницкий бил челом; за ним ударили челом старшины, чтоб государь велел вины им отдать, отлучились они от него поневоле, принудил их изменник Ивашка Выговский. Боярин отвечал, что государь вины им отдал и велел в Переяславле созвать раду, выбрать гетмана, кто им надобен, и постановить статьи.

К половине октября приехали в Переяславль боярин Василий Борисович Шереметев, окольный князь Григорий Григорьевич Ромодановский, наказной гетман Безпальный, съехались все полковники, вся старшина и вся чернь восточной стороны Днепра, и 15-го числа Трубецкой, призвавши Хмельницкого и старшин, показал им свою верующую грамоту и прочел статьи, старые, Богдановские, и новые. Хмельницкий и старшина отвечали, что статьи надобно прочесть на раде при всем Войске. Но у Трубецкого была одна важная статья, которую он сейчас же и объявил: государь указал в Новгороде-Северском, Чернигове, Стародубе и Почепе быть своим воеводам, потому что эти города исстари принадлежат к Московскому государству, а не к Малой России, а если в этих городах устроены козаки землями и в другом месте устроить их будет негде, то пусть они на своих землях остаются и при воеводах. Хмельницкий и старшина отвечали: «В этих городах устроено много козаков и за ними много земли и всяких угодий; Новгородок-Северский, Стародуб и Почеп приписаны к Нежинскому полку, а в Чернигове свой полк, и если из этих городов козаков вывезть, то им будет домовное и всякое разоренье, права и вольности их будут нарушены, а великий государь велел нам быть на прежних наших правах и вольностях, и если козаков переводить, то надобно опасаться между ними всякой шатости». Старшина била



челом, чтоб об этом на раде не говорить, иначе нечего ждать прекращения междоусобия.

17 октября открылась эта рада на поле за городом; тут же, на поле, для обереганья стоял с московским войском окольный князь Петр Алексеевич Долгорукий. Теперь уже обеими сторонами Днепра выбран был в гетманы Юрий Хмельницкий. Читали статьи, прежние, Богдановские, и новые; новые говорили: гетман со всем войском всегда должен быть готов на царскую службу. Никакими ляцкими прелестями не прельщаться, про Московское государство никаким ссорам не верить, ссорщиков казнить смертью, о всяких ссорных делах писать к великому государю. Без государева приказа на войну никуда не ходить и никому не помогать, чтоб этим вспоможением Войско Запорожское не умалялось, а кто пойдет самовольством, того казнить смертью. Быть царским воеводам с войсками в городах: Переяславле, Нежине, Чернигове, Браславле, Умани – для обороны от неприятелей; воеводам этим в войсковые права и вольности не вступаться; в Переяславле и Нежине быть воеводам на своих запасах, в Киеве, Чернигове и Браславле владеть маестностями, которые прежде принадлежали тем воеводствам, а в полковничьи поборы воеводам не вступаться; государевым ратным людям у реестровых козаков на дворах не ставиться, ставиться им у других жителей, также подвод под посланников и гонцов у реестровых козаков не брать, брать у городских и деревенских жителей; реестровым козакам держать вино, пиво и мед, продавать вино бочкою куда кто захочет, а пиво и мед вольно продавать гарнцем, кто же будет вино продавать в кварталы, тех карать. В городах, местах, местечках белорусских залогам козацким не быть, чтоб ссоры между ратными людьми не было. Если гетман совершит какое-нибудь преступление, то Войско не может его переменить без указа царского: государь велит сыскать о гетманской вине всем Войском и по сыску велит указ учинить, как повелось в Войске; также и гетману без рады и без совету всей черни в полковники и в иные начальные люди никого не выбирать, выбирать полковников на раде, кого меж себя излюбят из своих полков, а из иных не выбирать; гетман также имеет право отставлять полковников без рады. В начальные люди, кроме православных христиан, из иноверцев не выбирать, не выбирать и новокрещенов, потому что от них большая смута в Войске и междоусобие и козакам делаются налоги и тесноты. Изменника Ивашки Выговского жену и детей, также брата Данила и других Выговских, которые есть в Войске, отдать царскому величеству и впредь в Войске Запорожском Выговским не быть. Советникам Выговского: Гришке Гуляницкому, Гришке Лесницкому, Самошке Богданову, Антошке Жданову, Герману и Лободе – никогда в раде войсковой и секретной и в уряде никак не быть. При гетмане быть с обеих сторон Днепра по судье, по есаулу, по писарю. Полковников и начальных людей гетман не может казнить смертью без присланного на суд от царского величества, ибо Выговский напрасно казнил смертью многих полковников, начальных людей и козаков, которые служили верно царскому величеству. Пленников с обеих сторон освободить, а кто захочет остаться, тех не неволить. Немедленно отослать в Киев знамена, пушки и большую верховую пушку, которые взяты под Конотопом. Из Старого Быхова вывести черкас. Беглых крестьян выдать и вперед не принимать. По выслушании каждой из этих статей рада постановляла: быть статье так, как написана, а прежние 14 статей, которые были присланы Хмельницким и старшиною с Дорошенком, на раде отговорены.

По окончании рады гетман, старшина и козаки заднепровских полков отправились в соборную церковь и принесли присягу; из церкви при громе городских пушек пошли обедать к боярину, который после государевой чаши велел стрелять из всего наряда, что ни есть в полках; статьи, утвержденные на раде, записаны в книгу, к которой гетман и старшина приложили руки. Неграмотными оказались: обозный Носач, судьи – Беспалый (что был наказным гетманом), Кравченко, есаулы – Ковалевский и Чеботков, полковники – черкасский Одинец, каневский Лизогуб, корсунский Петренко, переяславский Цецура, калницкий Серко, миргородский Павел Апостол, лубенский Засадка, прилуцкий Терещенко, нежинский Золотаренко. Вместо тех полковников, которые не были на раде, потому что стояли на границе против татар и ляхов, приложил руку гетман Хмельницкий. Это были: чигиринский Кирилла Андреев, белоцерковский Иван Кравченко, киевский Василий Бутримов, уманьский Михайла Хоненко, brasлавский Михайла Зеленский, паволоцкий Иван Богун, подольский Астафий Гоголь. Один экземпляр статей отослан был в Киев: там их напечатали и разослали по всем полкам. 21 октября выехал из Переяслава гетман, 26-го – князь Трубецкой, везя с собою Выговских: Данилу, Василия, Юрия и Илью; Данила умер по дороге, остальные были сосланы в Сибирь. Кончил свое поприще и Нечай: 4 декабря ночью воеводы князь Иван Лобанов-Ростовский и Семен Змеев взяли приступом Старый Быхов, Ивана Нечая с братом, Самушку Выговского, жен их, шляхту, козаков и мещан многих взяли в плен живых, многих побили на приступе. За счастливое окончание малороссийских дел князь Алексей Никитич Трубецкой получил шубу в 360 рублей, кубок в 10 гривенок, 200 рублей придачи к прежнему окладу да прародительскую вотчину город Трубчевск (Трубецк) с уездом; князь Федор Федорович Куракин – шубу в 330 рублей, кубок в 8 гривенок, придачи к окладу 160 рублей да на вотчину 8000 ефимков; князь Григорий Григорьевич Ромодановский – шубу в 150 рублей, кубок в 6 гривенок, придачи к окладу 80 рублей да на вотчину 6000 ефимков.

В Москву дошло любопытное сочинение под заглавием: «Описание пути от Львова до Москвы», в котором после описания страшного опустошения Украины, заставившего козаков снова поддаться царю, говорится: «Хотя черкасы исповедуют веру православную, но обычаи и нравы звериные имеют; причиною тому одна ересь, не духовная, а политическая; начальники этой ереси – ляхи, а от них научились держать ее крепко и черкасы и мало не все европейские народы: взяли себе в голову, что жить под преславным царством Русским хуже турецкого мучительства и египетской работы. Такое дьявольское убеждение внушают им духовные и греческие митрополиты, как нам не от одного из них случалось слышать. Мы почли за полезное написать книгу против таких ложных, дьявольских внушений, да соблюдутся люди от такого страшного заблуждения и хулы, от которых произошло нынешнее кровопролитие. Но о книгах будет речь впереди, а теперь изложим кратко наше рассуждение: как надобно обходиться с черкасами?» Тут автор учит, какую речь должен держать к черкасам боярин, который будет приводить их к новой присяге царю, потом советует царю учредить в Москве особый приказ, в котором бы приказные люди были из самих черкас; эти черкасы были бы поруками за своих земляков, дома оставшихся. «Надобно, чтоб с этих пор ни один гетман не выбирался на всю жизнь, а только на три или на два года; чрез это и вам, служилые люди, которые только и знаете, что вопить:

вольность, вольность! умножится вольность, потому что не одному только будет доставаться гетманская честь, но многим, так как между вами много есть достойных этой чести; чрез это у волостных и городских людей отнимется страх и вскоре пустые села и города населятся. Самому царскому величеству не стыдно назваться вечным гетманом поднепровским, волынским и подольским, потому что такое гетманство то же, что и великое княжество, если не царство. Смотрите, черкасы! как прежде вы были постоянно несогласны в своих советах, между собою бились, так и теперь несогласны: одни из вас хотят в гетманы Хмельницкого, другие Безпалого, и опять готовы из-за этого драться; чтоб предупредить междоусобие, царское величество Хмельницкому обещает гетманство по времени, когда совершенно возмужает, а теперь, пока еще молод, лучше ему поехать в Москву и послужить царскому величеству, чтоб сделаться достойным гетманской чести, а Безпалого царское величество поставляет гетманом на три года за его верность. Не дурно было бы также, если б гетманство разделилось, чтоб один гетман был на восточной, а другой на западной стороне Днепра».

Принужденный возобновить войну с Польшей при невыгодных условиях, не забирать города белорусские и литовские, как прежде, но биться в Малороссии с малороссийским гетманом, царь тем более спешил покончить войну с Швециею, с которой не за что было более ссориться, ибо нечем стало делиться. С своей стороны Карл X, которого дела шли дурно в Польше и который должен был еще вести войну с Даниею, искренно желал помириться с царем и побуждал к посредничеству курфюрста бранденбургского и герцога курляндского. Мы видели, что при начале войны с ним шведские послы Густав Белке с товарищами были задержаны в Москве. В конце 1657 года король прислал к ним грамоту, выражая свое сильное желание помириться с царем, с которым, по его убеждению, рассорили его австрийцы, и для облегчения дела приказывал Белке объявить боярам, что он соглашается титуловать царя белорусским, литовским, волынским и подольским, хотя и не водится вносить в титул названия областей, приобретенных оружием, но еще не утвержденных мирным договором. Что же касается титула: «и иным многим государствам, восточным, и западным, и северным, отчичь и дедичь и наследник», то хотя эти выражения странны и неопределенны, невразумительны и темны и можно их толковать так, что царь обнаруживает притязания на те земли, которые уступлены Швеции по Столбовскому договору, однако мы, пишет король, согласны величать царя и этим титулом, если он даст письменное удостоверение, что этими выражениями не наносится ущерба нам и землям нашим. Послы исполнили королевское приказание, что не было неожиданностию для царя, ибо королевская грамота была отдана послам уже после того, как она была переведена для государя. 11 апреля 1658 года, на праздник светлого Христова воскресения, великий государь пожаловал шведских послов, велел послать к ним с своим милостивым словом, спросить о здоровье и указал послать им свое жалование – стол. Чрез несколько дней после этого приехал в Москву шведский дворянин Конрад фон Барнер, и 19 апреля думный дьяк Алмаз Иванов имел переговоры с послами, которые объявили, что фон Барнер приехал со всяким добрым делом, которое годно на обе стороны обоим великим государям, и хотя королю их посчастливилось, с датским королем помирился по своей воле, однако он от доброго дела неотступен и мира с

царским величеством желает. «Королевское величество, – продолжали послы, – изволил присоединить к нам еще двоих товарищей, ревельского коменданта Бентгорна и Ягана Монсона, и наказал нам вести переговоры на границе в Ливонской земле, за пять верст от Нарвы. Королевское величество лучше желает мира с царским величеством, чем с королем польским, потому что между Швециею и Москвою нынешняя война началась с подущения злых людей, за малыми причинами; вот почему граф Магнус Делагарди, посланный в Пруссию для заключения мира с поляками, проволაკивает время, дожидаясь известия о том, как идут дела в Москве». «Объявите, – сказал на это дьяк, – на каких статьях королевское величество желает мира?» «Обо всех статьях договор будет на рубеже, – отвечали послы, – и великий бы государь изволил нас отпустить из Москвы для этого дела». «По всему видно, – возражал дьяк, – что вы промышляете только о том, чтоб вам отсюда высвободиться, а учините ли между государями доброе дело или нет, того неведомо». «За нами дело не остановится, – отвечали послы, – изволит ли царское величество нас отпустить или нет, только видит бог, что мы ради между государями доброе дело вести, а начинать нам теперь переговоры до освобождения нельзя, нигде не водится, чтоб невольные люди вели мирные переговоры». 25 апреля послам объявлено, что государь отпускает их к королевскому величеству и посылает на съезд своих великих послов. Белке просил, чтоб государь велел объявить, кто именно царские послы будут на съезде, где и когда съедутся. Просил, чтоб неприятельские действия были прекращены и объявлено было свободное сообщение между жителями обоих государств, просил займы денег на 12000 ефимков, которые он отдаст на съезде московским послам, а теперь у них денег нет, покупки искупить не на что; просил перевести их на другой двор в город и возвратить оружие: это будет знаком, что они уже люди свободные. Определено, что съезд будет под Нарвою за пять верст, за рекою, июня 12; где будет посольский съезд, туда с обеих сторон будет вольно приезжать с хлебом и живностью; деньги займы дадутся с порукою торговых иноземцев, и на другой двор их переведут. Не видя в ответе ничего о прекращении военных действий, послы обратились с предложением заключить перемирие; бояре согласились заключить перемирие с 20 мая, и если мир не состоится, то перемирия не нарушать еще месяц по разъезде уполномоченных. 29 апреля послов перевели в Китай-город, отдали им оружие и позволили им и людям их ходить с стрельцами по городу для закупок. 30 апреля бояре в ответе объявили послам, что государь отпускает на съезд боярина князя Ивана Семеновича Прозоровского, думного дворянина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, стольника Прончищева и дьяков Дохтурова и Юрьева; определили, что съезд будет посреди реки Наровы на мосту в шатре. Бояре дали запись, что царский титул: «восточных, северных и западных» – не имеет никакого отношения к владениям шведского короля; а послы в свою очередь дали запись, что запись боярская не имеет никакого отношения к тем уступкам, которые могут быть сделаны на съезде с шведской стороны в московскую.

Ордин-Нащокин находился по-прежнему в Царевичеве-Дмитриеве городе, когда узнал о своем назначении вторым уполномоченным на съезде с шведами; так как в грамоте, к нему присланной, не было означено, именно где будет съезд, то он писал государю, что всего лучше съезжаться между Царевичевым-Дмитриевым городом и Ригою, именно между Нелевардом и

Керхолом, на реке Угре, за двадцать верст от Риги. Он боялся уехать под Нарву на съезд и оставить в Царевичевом-Дмитриеве городе войска без своего надзора, боялся за крестьян, которые бы в таком случае были разорены ратными людьми. «Крестьяне, – писал он, – с ноября 1656 года по декабрь 1657-го собрались в девятнадцати уездах, селятся в самых разоренных местах, около большой дороги, и если вперед их так же беречь, то на шведов от них помощь будет большая; если лифляндские мужики, видя милость, обдержатся, то и к солдатскому ученью будут охотны. Не боюсь сильных, которые меня ненавидят, издавеча, как мытарь сокрушенным сердцем, как евангельская жена-грешница, твои, великого государя, праведные ноги слезами обливаю: во всех делах службишки мои только объявлялись, а к совершению не допускались злыми ненавистями».

У сильных было все больше и больше причин преследовать худородного Нащокина злыми ненавистями. Так и теперь царь послал тайно грамоту к царевиче-дмитриевскому воеводе, поручая ему одному вести самые важные переговоры, подкупать шведских уполномоченных, чтоб всякими средствами добыть заветные морские пристанища: отец указывал на то самое место, где после сын основал столицу Российской империи. «Промышляй всякими мерами, – писал царь Нащокину, – чтоб у шведов выговорить в нашу сторону в *Канцах* (Ниеншанц) и под Ругодивом корабельные пристани и от тех пристаней для проезда к Кореле на реке Неве город Орешек да на реке Двине город Кукейнос, что теперь Царевичев-Дмитриев, и иные места, которые пристойны; а шведским комиссарам или генералам и иным, кому доведется, сули от одного себя ефимками или соболями на десять, пятнадцать или двадцать тысяч рублей; об уступке городов за эту дачу промышляй по своему рассмотрению один, смотря по тамошнему делу, как тебя бог наставит, а что у тебя станет делаться втайне, пиши к нам в приказ наших тайных дел». Ободренный царскою милостивою грамотою, Нащокин начал настаивать, чтоб съезд был в Лифляндии, прямо писал к Прозоровскому, чтоб тот ехал туда, а что ему, Нащокину, нельзя отступить ни на минуту от Двины. Писал и к царю, что шведы в Риге только и дожидаются его отъезда под Нарву, чтоб начать неприятельские действия: «Царевичевым-Дмитриевым городом больше всех городов сдерживаются литва и шведы, только надобно, чтоб он был наполнен ратными людьми, как Псков, а то мне к литовским людям на заставы посылать некого; так нельзя ни войне, ни миру быть; лучше всякой силы промысл: швед всех соседних государей безлюднее, а промыслом над всеми берет верх; у него, государь, никто не смеет отнять воли у промышленников».

Представления Нащокина насчет съездов остались напрасны: приговора, утвержденного в Москве с обеих сторон, переменить было нельзя, и Нащокину был прислан подтвердительный указ – ехать к боярину князю Прозоровскому. Но тут новая беда: шведы проведали, что самым несговорчивым послом будет Нащокин, которому хочется стать твердою ногою в Ливонии у моря, и вот пошла челобитная в Москву: «Царю государю бьет челом холоп твой Афонка Нащокин: в нынешнем, государь, во 167 (1658 году) сентября 29, у твоих великих послов в деревне Яме были из Нарвы от шведских послов королевский дворянин и переводчик и с твоим переводчиком Иваном Адамовым приказывали к князю Ивану Семеновичу, будто от меня, холопа твоего, твоему посольскому делу чинится нарушение; слышались об этом шведы от русских людей, которые,

ненавидя службишку мою, научили иноземцев, чтоб я у посольского дела не был. Милосердый государь! вели расспросить переводчика Ивана Адамова перед послами и эту мою челобитную и расспрос послать к себе в приказ тайных дел, чтоб мне впредь быть у твоего дела от многих сторонних ссор бесстрашно».

Переводчика Адамова спросили, и он пересказал речи шведского дворянина. «Царские послы, – жаловался швед, – упрямятся, ближе к Нарве подвинуться не хотят, а королевские послы и рады бы сюда приехать, да нельзя по причине дальней и дурной дороги; они знают наверное, что царские послы уже были под деревней Гостинцы, недалеко от Нарвы, но как скоро приехал кокенгаузенский воевода Нащокин, то они назад поехали и здесь на Нарове-реке стали, на том месте, куда шведским послам невозможно приехать. Из этого легко увидеть, что Нащокин теперь опять ищет доброму делу помешки, как он прежде в Ливонской земле при графе Магнусе Делагарди доброму делу помешал, потому что с польским гетманом Гонсевским всегда в великой дружбе жил, как брат родной, и полякам норовил, а с их стороны ему подарки большие были; в Варшаве на сейме знатные люди говорили, что они не боятся мира между шведами и русскими, потому что есть человек, который этому миру помешает».

С одной стороны, шведы доносили на Нащокина, с другой – воевода князь Иван Андреевич Хованский, стоявший с войском во Пскове, осердился на послов, зачем они послали память одному из его полковников во Гдов, чтоб тот шел к ним в Сыренск для оберегания посольских съездов, но в сердцах Хованский накинулся не на Прозоровского, а на того же Нащокина. «По указу великого государя, – писал Хованский, – велено мне идти ближе к Нарве, смотря по вестям; а полка моего вам, великим послам, отнимать у меня не велено. Знаю я, чьи это затейки! За Нарову-реку дорогу знал я давно, когда Нарова-река была пострашнее, и на государеву службу, по вестям, идти готов не только под Нарву, хотя бы и под Ревель; служба моя великому государю известна: за то я от многих ненавидим, что великому государю работаю как богу. Похвальные слова Афанасия Лаврентьевича не исполнятся; стану я у великого государя на вас милости просить, что высоко себя ставите, будто вам велено мною наряжать; но вам наряжать мною стыдно, добро всякому знать свою меру. Вы пишете, что я отдам ответ в свое время; знаю я, что у вас такие люди есть, которые умеют *слагательно* написать, но я в правде своей надеюсь на бога и на великого государя. Как кто ни коварничай и ни умышляй, я не боюсь: суетно помышление человеческое», Послы писали ему, зачем он не дает им знать о своем походе под Нарву, а пишет вещи, не идущие к делу, писали, что они дали знать государю о его поведении, жаловались, что посольские съезды замедляются по его милости, потому что, не имея большого войска под руками в Ливонии, нельзя вынудить у шведов выгодных мирных условий. Хованский отвечал: «Несть раб болий господа своего, ни посланник болий пославшего его. Что указал мне великий государь, и его повеление со страхом храню. От кого посольский съезд замешкался, то известно будет великому государю. Письма мои, которые я к вам писал, идут ли они к делу или нейдут, у вас и в свое время мне пригодятся. Письмо, которое вы писали на меня к государю, писали мне на радость, потому что государь по этому письму велит сыскать мою вину, а вашу правду; я, убогая сиротина, в правде своей надеюсь на государеву пресветлую неизреченную милость; нет тайны, которая бы не объявилась, и великому государю все будет известно в свое время».

Государь нашел, что и послы и Хованский не правы, но что ссора началась от послов, и потому послал сказать им: «Вы государеву делу учинили замедление и поруху, ссоритесь с воеводою князем Хованским и переписываетесь с ним многими к делу ненадобными статьями; к полковнику послали память мимо князя Ивана с ним для раздора, и довелось вам о присылке к себе ратных людей писать к нему, князю Ивану, а если б он по вашему письму ратных людей к вам и не послал, то вам следовало писать на него великому государю давно. И вперед бы вам с князем Хованским быть в любви и совете». Хованскому тот же посланец должен был сказать: «Тебе для обереганья великих послов надобно было спешить из Пскова во Гдов, из Гдова на съезжее место посылать без задержанья, а прежних своих служб для своей чести объявлять и непристойных слов, нейдущих к делу, писать не довелось: и вперед бы тебе с великими послами быть в любви и совете, посылать к ним ратных людей тотчас, как потребуют; а что тебе велено великих послов оберегать, и то не в случай и не в места». Тот же посланный объявил Нащокину наедине, чтоб непременно с шведскими комиссарами заключить мир, хотя б и с убытком государевой казне. Но прежде всего царю хотелось помирить Нащокина с Хованским. Посланному было наказано спросить Афанасья: за что у них с князем Хованским началась ссора? Если Афанасий станет говорить, что когда он из Царевичева-Дмитриева города ездил в Печерский монастырь молиться, то князь Иван посылал его хватать, чтоб его удержать за заставою, а сына его, Воина, за заставою держали долгое время, — отвечать: заставы были сделаны по указу великого государя, и князь Иван думал, что он, Афанасий, и сын его, Воин, приезжали из моровых мест. Если Афанасий еще станет жаловаться на Хованского, то говорить, чтоб, помня божию заповедь «да не зайдет солнце во гневе вашем», с князем Иваном съехался и помирился. Потом посланный должен был ехать к Хованскому, и если тот станет говорить о Нащокине с сердцем, то отвечать ему с выговором: «Афанасий, хотя отечеством и меньше тебя, однако великому государю служит верно, от всего сердца, и за эту службу государь жалует его своею милостию: так тебе, видя к нему государеву милость, ссориться с ним не для чего, а быть бы вам с ним в совете и служить великому государю сообща; а тебя, князя Ивана, взыскал и выбрал на эту службу великий государь, а то тебя всяк называл дураком, и тебе своею службою возноситься не надобно; ты хвалишься, что тебе и под Ревель идти не страшно; и тебе хвалиться не довелось, потому что кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает; *и ты эту свою похвальбою изломишь саблю*; за что ты тех ненавидишь, которые государю служат верно? Тебе бы великого государя указ исполнить, с Афанасием помириться, а если не помиришься и станешь Афанасья теснить и бесчестить, то великий государь велел тебе сказать имянно, что за непослушанье и за Афанасья тебе и всему роду твоему быть разорену». Нащокин отвечал государю, что если он писал о нерадении полоцких и псковских воевод, то он это делал по государевым же грамотам, в которых приказано ему никого не бояться, во всем быть надежну, выдан он никому не будет: «Ненавидим я за твое государево дело, не только между русскими людьми оглашен, и шведские послы доносили на меня боярину князю Прозоровскому. Видя отовсюду нестерпимое гонение, не знаю, как твое дело делать? Велишь мне помириться с князем Хованским, но у меня с ним, по моим делам, никакой ссоры нет». Когда посланный передал Нащокину приказ государев, чтоб непременно заключить мир,

хотя бы казне и убыток был, то он отвечал: «Промышлять я об этом должен, да промышлять некем: в Нарве мещан верных теперь нет, старые померли, а иные от войны выбежали за море. Государь приказывает не жалеть казны; но дело можно делать и без денег, деньги пригодятся на жалованье ратным людям, а у шведов теперь денег и своих много. Если бы съезд был на Двине, то рижские мещане, которые в два года сделались верны великому государю, промышляли бы и шведских послов наговаривали и к миру приводили. Вот почему я к великому государю и не писал, чтоб съезду быть под Нарвою, и на чем заключен перемирный договор в Москве, я не знал до тех пор, пока съехался с князем Прозоровским. В этом договоре для чего позабыта Литва, не укреплено, что княжество Литовское под высокою рукою великого государя. Думный дьяк Алмаз Иванов должен был об этом напомнить и доложить государю; да и то забыли, что велено мне видеться с Гонсевским и соединить рати на общего неприятеля шведского короля; по этому соединению Гонсевский взял в Лифляндии два города, да я взял Мариенбург, заступил многие волости и поставил заставу за 20 верст от Риги; московский договор весь написан шведам на помощь, и граф Магнус Делагарди показывал его на съезде полякам и хвалился, что они в этом договоре не укреплены, и княжество Литовское отбивал от подданства этим договором; и как я поехал на посольский съезд, то шведы пустили славу, что вот Ливонская земля отдана им, что съезд будет на Ижорской земле и будто мне из Царевичева-Дмитриева города потому велено ехать, что город этот им отдан. Шведы нарочно назначили съезд под Нарвою, чтоб княжество Литовское разорить и от подданства отогнать». Выставляя свои заслуги, разумность своих советов, которых не послушали, выставляя чужие ошибки, жалуясь уже слишком часто на свое печальное положение, на гонения от всех ради государева дела, Нащокин опять обратился к Хованскому. «Князя Ивана, – говорил он, – с промысл не стало, и его можно переменить и велеть быть у такого дела, с которое его станет. Псков дан ему не в вотчину, а промышленников у великого государя много, которые в деле промысл знают и к прибыли искательны; хотя бы князь Иван был многих городов владетель, только в Псковском государстве он с промыслом своим не надобен; во всяком деле сила в промысле, а не в том, что собрано людей много; и людей много, да промышленника нет, так ничего не выйдет. Шведы, видя таких промышленников, говорят, чтоб половину рати продать да промышленника купить. И теперь Хованский, вышед из Пскова, стоит даром, рать помирает с голоду, а к промыслу не допустит, обжигает себе русские города, а неприятель радуется, что люди из домов своих выбиты, а к промыслу не допущены. Лучше было рати оставаться во Пскове: и неприятелю было бы страшнее, и люди были бы в покое и к службе наготове. Обо всем этом надобно рассмотрение воеводское. Нельзя во всем дожидаться указа государева. Вот мне не было прислано указа, чтоб идти под Мариенбург, но я, видя, что наших ратных людей из Полоцка и из Пскова нет, а швед в сборе, призвал к себе Гонсевского и пустил в Лифляндию и затем взял город Мариенбург. Но кто что ни делает, только я перед великим государем безо всякого оправдания во всем виноват. А теперь я указу великого государя не противлюсь, ко князю Ивану во Гдов ехать готов и добивать челом, буду перед ним бессловен; только вперед князь Иван на этом не устоит, станет делать по-прежнему, потому что держит при себе держальников многих, которые его ссорят, а он им верит, и нравом он человек непостоянный. Знаю и сам, что



великому государю годно, чтоб мы между собою были в совете, и у меня за свое дело вражды никакой нет, но о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда вижу в государеве деле чье нерадение. Если б князь Иван с первых дней прислал к нам пеших ратных людей, то государево дело давно было бы начато, и думаю, что и к совершению приходило бы, а то ни мостов наместить, ни нас оберегать некому, а места болотные». Прозоровский говорил с клятвою, что у него с Хованским отечества и никаких прихотей нет, «а Хованский государеву делу чинит поруху для чести своей и его, боярина, бесчестит, приказывал к нему при многих своих полчанах, что будто он, князь Иван, его, боярина, больше тремя местами, и он, боярин, то поставил в смех. Да он же, Хованский, приказывал к нему, боярину, чтоб он товарища своего, Афанасия Лаврентьевича Нащокина, ни в чем не слушал, будто товарищ доведет его до беды, но великий государь ему, боярину, указал с товарищем своим во всем советоваться и во всем ему верить, потому что он немецкое дело знает и немецкие нравы знает же. И он, боярин, поставил это в смех». Хованский с своей стороны отвечал посланному: «Указ великого государя исполню, ссору эту оставлю, в бесчестье своем бить челом на великих послов не стану и вперед в совете и любви быть с ними рад, только бы и они были со мною в совете. С князем Прозоровским и со всеми другими послами недружбы и ссоры у меня нет, только перебранивались на письме; досадно мне то, что пишут ко мне с указом; прежде наша братья за честь свою помирали. Недружба у меня с Афанасьем Нащокиным, и хотя в отписках пишется князь Прозоровский, только все затейки его, Афанасьевы, ищет он мне всякого зла. Князь Прозоровский Афанасьем говорил, чтоб он со мною был в совете, но он князя не слушал. По приказу великого государя я все покину, Афанасья прощаю и вперед с ним в совете и в любви быть рад; знаю я, что Афанасий человек умный, великому государю служит верно и государская милость к нему есть; в прежние времена и хуже Афанасья при государской милости был Малюта Скуратов; я Афанасья не знаю, слыхал про него от людей и большой вражды у меня с ним нет, только что на письме друг у друга ума отведывали; а как я с ним увижусь, то иных ссорщиков перед ним поставлю».

В этих пересылках, любопытных для потомства, но нисколько не подвигавших посольского дела, прошло все лето. В конце сентября великие послы уведомили государя, что шведские комиссары показали упорство большое, не хотят присылать дворян своих на назначенное от них же место, именно в деревню Кароль, а домогаются, чтоб съезд был подле Нарвы, на устье реки Плюсы, где бывали прежние рубежи Московского государства с Шведским, хотят этим снискать себе вечную славу, а мирные переговоры вести по своей воле, потому что урочище на устье Плюсы место тесное и болотное, конскими кормами бедное, необоронное и во всем негодное. Потом шведские комиссары назначили новое место для съездов – деревню Валиесар, между Нарвою и Сыренском. Царь писал Прозоровскому: «Разведав подлинно, что на съезде вам и нашему делу порухи никакой не будет, съезжайтесь в деревне Валиесаре, а из-за мест не разъезжайтесь». Прошел еще месяц с лишком в пересылках и спорах, и съезды начались только 17 ноября. Московские послы требовали ливонских городов, Корельской и Ижорской земли: шведские комиссары объявили, что они могут заключить мир только на столбовских условиях. Царь послал сказать Нащокину: спешить заключением мира к весне или по крайней мере весною; помириться на

Юрьеве Ливонском, да на Царевичеве-Дмитриеве городе, да на Борисоглеbove или по крайней мере на Царевичеве и на Борисове. Если же будет нельзя, то промышлять о Борисове, с которыми уездами пристойно, хотя много давать денег, за тем не стоять, только чтоб дальше мая не откладывать. Если же ни одного города уступить не захотят, то мириться на том, чтоб всеми городами владеть до трех лет. Но послы 20 декабря заключили трехлетнее перемирие с удержанием всего завоеванного в Ливонии. Царь был в восторге; он приписал успех дела заступлению богородицы, ибо с послами была та же икона ее (тихвинская), которая была и с князем Мезецким при заключении Столбовского мира.

По обычаю, великие послы, отправленные с обеих сторон для подтверждения договора, должны были встретиться в назначенном месте, сравнить свои грамоты и потом уже отправляться по назначению: шведские – в Москву, а московские – в Стокгольм. Великим послом от царя был назначен думный дворянин, наместник шацкий и Лифляндской земли над городами начальный воевода Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, которому было наказано промышлять о вечном мире между Россией и Швецией, а шведского короля с польским королем к миру не допускать, уступить из Литовского княжества шведам Жмудь, сулить им это на словах, а в крепость не писать для того, чтоб не повредить миру с польским королем. В сентябре 1659 года Нащокин съехался с шведским послом Бентгорном на Двине, между Ригою и Кокенгаузеном, и уговорился не разъезжаясь начать в октябре переговоры о вечном мире между Дерптом и Ревелем, потому что оставаться на Двине было опасно от польских войск. Нащокин спешил заключить вечный мир прежде окончания переговоров, которые велись у шведов с поляками в Пруссии. Царь писал Нащокину, чтоб к уступленным в Валиесаре ливонским городам вытребовать еще у шведов Иваньгород для корабельной пристани; Нащокин отвечал, что шведы никак на это не согласятся, «а что Жмудь им сулить, то и они также станут давать, что не в их руках; от Иваньгорода прибыли никакой нет; Нарва лучше его, и та теперь запустела, потому что от Новгорода торги худы, а с моря быть купцам их же, шведским, да к Ивань-городу и корабли не ходят; когда Иваньгород был в русском владенье, то через Нарову-реку с городом Нарвою беспрестанные ссоры и крови были; невозможно быть покою, если эти оба города не будут за одним государем. Если бы даже на шведа и упадок был и уступил бы он Иваньгород и Канцы, то города эти лежат к Шведской и Финской земле, кроме шведов, других купцов нет, на этом же море у них города Рига, Ревель, Пернау, Гапсаль, Нарва, велят купцам приезжать к своим городам, и русские люди поневоле своими товарами к их же городам будут ездить; в торговле русские люди слабы друг перед другом, туда поедут, куда их помянут, на своих местах не держатся».

Нащокин был прав относительно неумеренности московских требований, но и сам Нащокин сильно обманывался, думая, что шведы согласятся на вечный мир с уступкою всего завоеванного русскими в Ливонии; а между тем царь повторял приказание: непременно заключить вечный мир, в даль не откладывая.

В феврале 1660 года Нащокин приготавливался уговаривать шведских послов к вечному миру на съезде, назначенном в марте, как вдруг поразила его страшная, неожиданная весть. Сын его, Воин, уже давно был известен как умный, распорядительный молодой человек, во время отсутствия отца занимал его место в Царевичеве-Дмитриеве городе, вел заграничную переписку, пересылал вести к

отцу и в Москву к самому царю. Но среди этой деятельности у молодого человека было другое на уме и на сердце: сам отец давно уже приучил его с благоговением смотреть на Запад постоянными выходками своими против порядков московских, постоянными толками, что в других государствах иначе делается и лучше делается. Желая дать сыну образование, отец окружил его пленными поляками, и эти учителя постарались с своей стороны усилить в нем страсть к чужеземцам, нелюбье к своему, воспламенили его рассказами о польской воле. В описываемое время он ездил в Москву, где стошнило ему окончательно, и вот, получив от государя поручения к отцу, вместо Ливонии он поехал за границу, в Данциг, к польскому королю, который отправил его сначала к императору, а потом во Францию. Сын царского любимца изменил государю-благодетелю! Что скажут теперь враги Нащокина, которых у него было так много, которые при видимой покорности воле царской не могли удержаться, чтоб перед посланным царским не назвать Нащокина временщиком, обязанным своим возвышением произволу государя, не могли удержаться, чтоб не сравнить его с Малютою Скуратовым, хотя с презрительною снисходительностью и признавали, что он лучше Малюты? Чего доброго было ожидать отцу изменника в то время, когда вследствие долговременного господства родовых отношений родственники преступника и не столь близкие подвергались тяжелой опале? Несчастный отец сам уведомил царя о своем горе и просил уволить от посольского дела, ибо он обеспамятел от горя, от страха перед казнью без вины. Но он напрасно беспокоился. Царь немедленно отвечал ему: «Верному и избранному и радетьскому о божиих и о наших государских делах и судящему людей божиих и наших государевых вправду (воистину доброе и спасительное дело людей божиих судить вправду!), наипаче же христороубцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу и совершенно богоприимцу и странноприимцу и нашему государеву всякому делу добродушному и желателю, думному нашему дворянину и воеводе Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину от нас, великого государя, милостивое слово. Учинилось нам ведомо, что сын твой попусшением божиим, а своим безумством объявился во Гданске (Данциге), а тебе, отцу своему, лютую печаль учинил, и тоя ради печали, приключившейся тебе от самого сатаны, и мною, что и от всех сил бесовских, изшедшу сему злему вихру и смятоша воздух аерный, и разлучиша и отторгнуша напрасно сего доброго агнца яростным и смрадным своим дуновением от тебе, отца и пастыря своего. И мы, великий государь, и сами по тебе, верном своем рабе, поскорбели приключившейся ради на ты сея горькие болезни и злого оружия, прошедшего душу и тело твое; ей, велика скорбь и туга воистинно! Еще же скорбим и о сожительнице твоей, яко же и о пустыножилице и единопробывательнице в дому твоём, и приемшую горькую пелынь тую в утробе своей, и зело оскорбляемся двойного и неутешного ея плача: первого ея плача не имущи тебя богом данного и истинна супруга своего пред очима своим всегда: второго плача ея о восхищении и разлучении от лютого и яростного зверя единоутробного птенца своего, напрасно отторгнутого от утробы ее. О злое сие насилие от темного зверя попусшением божиим, а ваших грех ради! Воистинно зело велик и неутешим плач, кроме божия надеяния, обоим вам, супругу с супружницею, лишившеся такового наследника и единоутробного от недр своих, еще же утешителя и водителя старости и угодителя честной вашей седине и по отшествии вашем в вечные благие памятотворителя доброго. Бьешь челом нам,

чтоб тебя переменить: и ты от которого обычая такое челобитье предлагаешь? Мню, что от безмерные печали. Обесчестен ли бысть? Но к славе, яже ради терпения на небесех лежащей, взирай. Отщетен ли бысть? Но взирай богатство небесное и сокровище, еже скрыл еси себе ради благих дел. Отпал ли еси отечества? Но имаши отечество на небесех – Иеросалим. Чадо ли отложил еси? Но ангелы имаши, с ними же ликоствуеши у престола божия и возвеселишися вечным веселием. Не люто бо есть части, люто бо есть падши не востати: так и тебе подобает от падения своего пред богом, что до конца впал в печаль, востати борзо и стати крепко, и уповати, и дерзати и на его приключившееся действие крепко и на свою безмерную печаль дерзостно, безо всякого сомнительства; воистинно бог с тобою есть и будет во веки и на веки; сию печаль той да обратит вам в радость и утешит вас вскоре. А что будто и впрямь сын твой изменил, и мы, великий государь, его измену поставили ни во что, и конечно ведаем, что кроме твоея воли сотворил, и тебе злую печаль, а себе вечное поползновение учинил. И будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить в ведомство и в соглашение твое ему; и он, простец, и у нас, великого государя, тайно был, и не по одно время и о многих делах с ним к тебе приказывали, а такова просто умышленного яда под языком его не ведали. А тому мы, великий государь, не подивляемся, что сын твой сплутал: знатно то, что с малодушия то учинил. Он человек молодой, хочет создания владычня и творения руку его видеть на сем свете, якоже и птица летает семо и овамо и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает: так и сын ваш вспоманет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от св. духа во святой купели, и к вам вскоре возвратится. И тебе, верному рабу божию и нашему, государеву, видя к себе божию милость и нашу государскую отеческую премногую милость, и, отложя тое печаль, божие и наше государево дело совершать, смотря по тамошнему делу; а нашего государского не токмо гневу на тебя к ведомости плутости сына твоего, ни слова нет; а мира сего тленного и вихров, исходящих от злых человек, не перенять, потому что во всем свете рассеяни быша, точию бо человеку душою пред богом не погрешить, а вихры злые, от человек нашедшие, кроме воли божией что могут учинити? Упование нам бог, а прибежище наше Христос, а покровитель нам есть дух святой».

С этою грамотою и с поручением разговаривать Нащокина от печали отправлен был приказа Тайных дел подьячий Юрий Никифоров, которому было наказано: «Афанасью говорить, чтоб он об отъезде сына своего не печалился, и в той печали его утешать всячески и великого государя милостию обнадеживать; а что говорят в мире о сыне его, что он изменил, и эту измену причитают и к нему, то он бы эту мысль отложил и уповал во всем на всемилостивого бога и на государские праведные щедроты и на свою к нему, великому государю, нелицемерную правду и службу и раденье. О сыне своем промышлял бы всячески, чтоб его, поймав, привести к нему, за это сулить и давать 5, 6 и 10 тысяч рублей; а если его таким образом промышлять нельзя и если Афанасью надобно, то сына его извести бы там, потому что он от великого государя к отцу отпущен был со многими указами о делах и с ведомостями. О небытии его на свете говорить не прежде, как выслушавши отцовские речи, и говорить, примерившись к ним. Сказать Афанасью: вспомни, что ни один купец, не истощив богатства своего до

конца, не может в первое свое достоинство прийти, а тебе, думному дворянину, больше этой беды вперед уже не будет, больше этой беды на свете не бывает».

«Твоя, великого государя, неизреченная милость светом небесным мрачную душу мою озарила, – отвечал Нащокин, – что воздам господеву моему за сие? Умилосердись, повели заблудшуюся овцу в суемысленных горах сыскивать! Бил я челом об отставке от посольского дела от жалости души моей, чтоб мне в таком падении сынишка моего, зазорну будучи от всех людей, в деле не ослабеть, и от того бы твоему, великого государя, делу в посольстве низости не было; от одной же печали о заблуждении сынишка моего я твоего, государева, дела не оставлю: если бы я жену или чадо паче твоего дела возлюбил бы, не был бы милости достоин; ныне судим от господа наказуюсь, да не с миром осужусь». Подьячий Никифоров доносил, что Нащокин читал государеву грамоту со слезами и говорил: «Печали у меня о сыне нет и его не жаль, а жаль дела, и печаль о том, что сын мой, презрев великого государя неизреченную милость, своровал; а я про то вовсе не знал: смертной казни достоин я без всякого милосердия, если что-нибудь знал. Безмерно горько мне то, что сыну моему отданы ефимки, а я, как поехал из Москвы, бил челом Федору Михайловичу Ртищеву, чтоб их никому не давать, а держать их в приказе Лифляндской земли на государевы расходы. В мысль мне не вместится, как это учинилось? многие приезжие люди мне сказывали, какая неизреченная государева милость была к сыну моему в Москве; сказывали, будто послан он тайно в немецкие земли и провожал его Федор Михайлович Ртищев, и я, слыша об этом, дивился». «О сыне печали у меня нет, – повторял и после Нащокин, – дело это положил я на суд божий, а о поимке его промышлять и за то деньги давать не для чего, потому что он за неправду и без того пропадет и сгинет и убит будет судом Божиим».

В апреле начались съезды у Нащокина с шведскими послами, но не повели ни к чему: еще в феврале умер король Карл X Густав, и шведские послы объявили, что не могут заключить вечного мира, потому что от нового короля нужна им полномочная грамота новая. Эту новую грамоту они обещали привезти в июне месяце; но в мае заключен был у шведов мир с поляками в Оливе, совершенно переменивший отношения ко вреду Москвы: обе державы теперь, и Швеция и Польша, особенно последняя, получили возможность усилить свои требования относительно Москвы, которой приходилось, чтоб успешно воевать и заключить выгодный мир с одной из них, уступить все другой. Прошел июнь, прошло лето, морской ход минулся, а шведские уполномоченные не являлись на съезд. Между тем дела шли худо в Белоруссии, еще хуже – в Малороссии: испуганный этим, царь писал Нащокину, чтоб заключал вечный мир с шведами, выговорив из завоеванного города два или хотя один и давши за них деньги, чтоб мир был сколько-нибудь честен. «На черкас надеяться никак невозможно, – писал государь, – верить им нечего: как трость ветром колеблема, так и они: поманят на время, а если увидят нужду, тотчас русскими людьми помирятся с ляхами и татарами». «Выговорить два города или один и ими как владеть? – возражал Нащокин. – Ото Пскова будут далеко, около них все будут шведские города, шведские люди; поляки станут приходиться на псковские места и разорять, а шведы им не воспрепятствуют. Теперь, пока перемирие с шведами не вышло, надобно поскорее промышлять о мире с польским королем через посредство курфюрста бранденбургского и герцога курляндского; с польским королем мир гораздо

надобен, нужнее шведского, потому что разлились крови многие и уже время дать покой. А не уступивши черкас, с польским королем миру не сыскать. Прежде, когда они были от великого государя неотступны, уступить их было нельзя, потому что приняты были для единой православной веры: а теперь в другой раз изменили без причины: так из чего за них стоять? Как заключен будет мир с польским королем, так и татары отстанут; хана деньгами закупить нельзя, потому что он султанский подданный: турок велит ему помогать польскому королю, и он станет помогать и будет отговариваться, что поневоле помогает; миром с поляками турок и хан будут задавлены, а к шведу хан на помощь не пойдет; уж если надобно уступить шведу города, то можно уступить и помириться с поляками; я стою за Ливонию ни из чего другого, как только памятуя крестное целование, у меня тут ни поместья, ни вотчины нет. Если с шведским помириться теперь и города уступить, то с польским королем миру не сыскать: это народ гордый, подумают, что у нас большое бессилье, и возвысятся без меры. А вместо того чтоб за города платить шведам деньги, лучше удержать перемирие посредством английского короля: послать в Англию умного человека, поздравить короля Карла II с восшествием на престол и попросить о посредничестве. Король согласится и будет радеть для прежней дружбы, потому что государь с Кромвелем дружбы не имел и в посредники его не принял. С польским королем надобно мириться в меру, чтоб поляки не искали потом первого случая отомстить; взять Полоцк да Витебск, а если поляки запрямятся, то и этих городов не надобно: прибыли от них никакой нет, а убытки большие: надобно будет беспрестанно помогать всякою казною да держать в них войско. Другое дело Лифляндская земля: от нее русским городам Новгороду и Пскову великая помощь будет хлебом; а из Полоцка и Витебска Двиною-рекою которые товары станут ходить, и с них пошлина в лифляндских городах будет большая, жалованными грамотами и льготою отговариваться не станут. А если с польским королем мир заключен будет ему обидный, то он крепок не будет, потому что Польша и Литва не за морем, причина к войне скоро найдется. Съездам с польскими комиссарами быть в Полоцке, а в великих послах быть боярину князю Ивану Борисовичу Репнину, потому что его Литва хорошо знает, разум и дела его выславляет везде, да с ним быть думному дьяку Алмазу Иванову». Объявивши свои мысли, Афанасий Лаврентьевич послал такое письмо к государю: «Бьет челом бедный и беззаступный холоп твой Афонка Нащокин. Моя службишка богу и тебе, великому государю, известна; за твое государево дело, не страшась никого, я со многими остудился, и за то на меня на Москве от твоих думных людей доклады с посяганьем и из городов отписки со многими неправдами, и тем разрушаются твои, государевы, дела, которые указано мне в Лифляндах делать; я за свою вину давно достоин смерти, не слышал бы, что тебе, великому государю, беспрестанно отовсюду приносят печали через меня, беззаступного холопа твоего, и службишка моя до конца всеми ненавидима. Милосердный государь! вели меня от посольства шведского отставить, чтоб тебе от многих людей докуки не было, чтоб не было злых переговоров и разрушения твоему делу из ненависти ко мне».

Желание Нащокина было исполнено: вместо него на съезды с послами нового шведского короля Карла XI, Бентгорном с товарищами, в начале 1661 года отправился прежний великий посол боярин князь Иван Семенович Прозоровский с товарищами: стольником князем Иваном Петровичем Борятинским, стольником

Иваном Афанасьевичем Прончищевым, дьяками Дохтуровым и Юрьевым. В марте начались съезды в Кардисе между Дерптом и Ревелем. Шведские послы начали жалобой на Ордина-Нащокина, который не показал никакого расположения к вечному миру и только проволакивал время, водил их с места на место, что и заставило их, шведов, поневоле заключить мир с поляками, тогда как им гораздо желательнее было заключить мир с Россией, чем с Польшею. Прозоровский оправдывал своего предшественника и складывал всю вину на шведов. После этого спора шведы спросили, будет ли им уступлено все завоеванное в Ливонии, и прибавили, что без решительного ответа на этот вопрос они ни о чем говорить не станут. Прозоровский потребовал городов, отданных по Столбовскому миру; шведы отвечали, что об этих городах и говорить нечего, потому что они в прежних мирах закреплены государскими душами, что они не только не возвратят столбовских уступок, но требуют и остальной Корельской земли, которая осталась за царем после Столбовского мира, да 500000 золотых червонных. «Такую награду дать от какой неволи? – отвечал Прозоровский. – Лучше этою казною вновь чего-нибудь достигнуть, нежели напрасно давать; это вы сами можете рассудить». «Мы вам по дружбе объявляем, – продолжали шведы, – что теперь, за божиею помощью, дела у нас идут не по-прежнему, как было лет за пять, а запросы наши не так велики, как велики убытки, понесенные нами от войны». «Нам эти запросы слышать пуще войны, – возражал Прозоровский, – вы это начинаете мимо прямого, настоящего дела и тем отводите от вечного покоя христианского». После долгих споров и вычетов шведы объявили, что уступают в царскую сторону остальную часть Корельской земли, но по-прежнему требуют завоеванного в Ливонии и денежной награды за убытки. «Вы уступаете то, чего у вас в руках нет, – отвечал Прозоровский, – уступите Пваньгород, Ям и Копорье, тогда великий государь поможет вам денежною казною». Шведы не хотели слышать ни о каких уступках, и русские уполномоченные должны были заключить мир на всей их воле. 21 июня окончательно подписан был вековечный мирный договор: обязались друг другу во всяких мерах всякого добра хотеть, лучшего искать и во всем правду чинить; титула обоих государей писать по их достоинству и чести, как они сами себя описывают; царское величество уступает в королевскую сторону все взятые в Ливонии города, а именно: Кокенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзль, Нейгаузен, Сыренск, со всеми принадлежащими к ним землями и крепостями и со всякими пушечными запасами, с которыми они взяты; сверх того, выходя из этих городов, русские обязаны оставить королевским ратным людям хлебных запасов – 10000 бочек ржи и 5000 бочек жита; для земляных граней в апреле будущего 1662 года выслать с обеих сторон межевых людей по три человека дворян и дьяков добрых; начать им межевать выше Нового Городка (Нейгаузен) между русскими и шведскими деревнями по речке Меузице. С обеих сторон из пограничных областей людей не перебивать и не выводить ни тайно, ни явно; между обоими государствами быть вольной и беспрепятственной торговле; по всем их областям, всякими путями, показавши раз свою проезжую память первому порубежному воеводе, торговый человек волен ехать всюду, куда ему угодно; русским торговым людям иметь вольные торговые двory в Стокгольме, Риге, Ревеле, Нарве; на тех дворах отправлять церковную службу в своих хоромы, но церковью своей веры не ставить, кроме той церкви, которую они в Ревеле исстари имели, на тех условиях шведам иметь торговые двory в Москве, Новгороде, Пскове и Переяславле; если

русские суда будут разбиты бурей у шведских берегов, то люди беспрепятственно отходят отсюда со всем их имением, которое сами сберегут или сберечь велят, а шведы должны помогать им в сбережении имущества; таким же образом поступают русские со шведами на своих берегах; послам, посланникам, гонцам и переводчикам вольно ездить через области обоих государств во все страны, которые не состоят с ними в явной вражде; через шведские области путь чист в Россию иностранным купцам с узорочными товарами, которые годны в казну царского величества, также докторам и лекарям и всяким служилым и мастеровым людям; со стороны же царского величества королевскому величеству таким же образом во всем воздано будет; пленные с обеих сторон освобождаются без окупа, кроме тех, которые сами добровольно захотят служить на той или другой стороне, и тех, которые в России приняли православную веру греческого закона; перебежчиков выдавать с обеих сторон; обидным делам расправа на рубеже через высланных с обеих сторон годных, добрых и рассудных людей; для больших дел оба великие государя высылают послов своих на рубеж.

Мир был тяжелый, потому что условиями своими вполне выражал бесплодность войны. Но при тогдашних обстоятельствах возможность окончательно развязать руки относительно Швеции была благодеянием для Москвы: Малороссия опять волновалась, Польша брала верх, боярин московский сидел в оковах у крымского поганца, война затягивалась в бесконечность, и казна царская пустела все более и более.

## Глава вторая

### Продолжение царствования Алексея Михайловича

*Сношения с новым гетманом; отказ в его просьбах. – Неприятельские действия и переговоры с поляками. – Поражение князя Хованского под Полонкою. – Военные действия Долгорукого у Могилева. – Переписка Бенецкого с Юрием Хмельницким. – Поход Шереметева и Хмельницкого ко Львову. – Военные действия у Любара. – Отступление Шереметева к Чуднову. – Хмельницкий передается полякам. – Сдача Шереметева и плен в Крыму. – Состояние Москвы после известия о чудновском несчастье. – Дурные вести с Дону. – Ссора воевод в Малороссии. – Москва печатает известия о военных делах для Европы. – Переговоры Бенецкого и Хмельницкого в Корсуни. – Черная рада. – Павел Тетеря. – Движения на восточной стороне Днепра, в пользу Москвы. – Наказной гетман Самко. – Запорожье, Серко и Брюховецкий. – Посольство Полтева в Малороссию. – Военные действия здесь. – Причина их прекращения. – Смута в Малороссии: Самко, Золотаренко и Брюховецкий ищут гетманства. – Посольство Протасьева в Малороссию. – Самко советует, чтоб западная сторона была уступлена Польше и чтоб при гетмане малороссийском находился постоянно великороссийский чиновник. – Доносы на Самка. – Епископ Мефодий. – Нашествие крымцев. – Козелецкая рада. – Доносы Самка и его приверженцев на Золотаренку, Мефодия на Самка; Брюховецкий доносит и на Самка и на Золотаренку и требует Ртищева в князья малороссийские. – Оправдательная грамота Самка. – Возобновление военных действий в Малороссии. – Хмельницкий*



*слагает гетманство и постригается в монахи. – Тетеря – гетман западной стороны. – Продолжение борьбы между искателями гетманства на восточной стороне. – Церковная усобица вместе с политической. – Посольство Ладыженского в Малороссию. – Нежинская рада: избрание Брюховецкого; казнь его противников. – Неудовольствия в Украине. – Поражение Хованского при Кушликах. – Потеря Гродна, Могилева, Вильны. – Судьба виленского воеводы князя Данилы Мышецкого. – Печальное состояние царского войска в Белоруссии. – Мирные переговоры. – Размен пленных. – Трагическая смерть Гонсевского. – Король собирается перейти на восточный берег Днепра. Действия московского воеводы Касогова и Серка на юге. – Волнение в Запорожье. – Письмо Касогова в Москву. – Тревога в Малороссии по причине королевского похода. – Переговоры дьяка Башмакова с гетманом и старшиною. – Нашествие короля на восточную сторону и неуспех его. – Военные действия на западной стороне. – Замысел Выговского и смерть его. – Заточение митрополита Иосифа Тукальского. – Состояние царского войска в Малороссии. – Вражда Брюховецкого с епископом Мефодием и с городами. – Жалобы ратных людей на Брюховецкого. – Оправдательное письмо его к Хитрову. – Брюховецкий требует великороссийского духовного на Киевскую митрополию и объявляет о своем приезде в Москву.*

Мы видели, что грозная туча, ужаснувшая Москву в 1659 году, пронеслась мимо: хан с Выговским не являлись из-под Конотопа под ее стенами; Малороссия снова подчинилась великому государю. 1659 год завершился удачею: в декабре боярин Василий Борисович Шереметев из Киева ударил на Андрея Потоцкого, разбил его и взял обоз. Но в Малороссии что-то не ладилось.

В декабре 1659 года приехали в Москву от Хмельницкого послы – Андрей Одинец и Петр Дорошенко с наказом бить челом: 1) чтоб царских воевод, кроме Киева и Переяславля, нигде в других городах не было, кроме случаев неприятельского нашествия. Государь указал: этой статье быть по Переяславскому договору, а утеснения от царских воевод и ратных людей Войску Запорожскому не будет. 2) Чтоб гетману с судьями войсковыми и иною старшиною суд на преступных людей вольно было иметь на обеих сторонах Днепра, как над старшиною, так и над чернью, и осужденных по закону карать: иначе водворится непослушание и через непослушание смятение в Войске; чтоб послы гетманские грамоту отдавали сами в руки царского величества и чтоб эта грамота при послах же была прочитываема государю. Первая половина просьбы была отвергнута как несообразная с Переяславским договором; на вторую отвечали: листы гетманские при царском величестве принимают всегда: так повелось издавна; это изменник Ивашка Выговский толковал, будто посланцам их листов до царского величества доносить не дают; но этого никогда не бывало и вперед не будет; листы перед царским величеством читают, и все по ним государю бывает ведомо. 3) Чтоб государь не принимал никаких грамот, челобитен и посланцев из Войска Запорожского, ни от старшин, ни от черни, ни от духовных, ни от мирских людей, без листа от гетмана и печати войсковой: это для разных причин, потому что от оболгания ненавистных людей многие ссоры происходят. *Ответ* : если кто из Войска Запорожского к царскому величеству без гетманского листа и приедет, то

царское величество велит дело рассмотреть, и если которые люди станут приезжать по своим делам, а не для смут, то царское величество и указ им велит чинить по их делам; от которых же объявятся ссоры, то государь никаким ссорам не поверит и велит отписать об этом к гетману. Так гетман бы ничего не опасался; если же исполнить эту их просьбу, то вольностям их будет нарушение, этим они вольности свои сами замыкают. 4) При мирных переговорах с королем польским и другими окрестными монархами быть и послам Войска Запорожского с вольным голосом и заседать в особом месте; если будет комиссия с королевскими послами, то послы Войска Запорожского станут просить о возвращении от униатов забранных ими у православных владычеств, архимандритств, игуменств и разных маетностей. Царское величество указал: быть по их прошенью, послать им на съезд с польскими комиссарами двух или трех человек добрых, а не советников Ивашки Выговского. 5) Чтоб гетману и всему Войску Запорожскому вольно было послов от разных государств принимать и отпускать, доставляя в Москву списки с грамот, ими принесенных, или даже подлинные грамоты с печатями. *Ответ* : турецких, польских и других подобных послов не принимать; молдавских и валахских, которые придут с порубежными малыми делами, принимать; если же придут с большими делами, то грамоты присылать в Москву, а самих отпускать. 6) Чтоб царское величество простил Данилу Выговского, Ивашку Нечая, Гришку Лесницкого, Гришку Гуляницкого, Самошку Богданова, Германку Гапонова, Федку Лободу, быть им в прежнем достоинстве, чтоб государь велел освободить пленных, Ивана Сербина и других. *Ответ*: царское величество пожаловал, вперед этим людям баннитами не быть, а когда гетман сам будет у государя, тогда об этом и указ последует. 7) Чтоб гетману и Войску даны были жалованные грамоты, как даны были Богдану Хмельницкому; чтоб Юрию Хмельницкому дана была грамота на староство Чигиринское и Гадяцкий повет, с которых денежные и хлебные сборы должны идти на гетмана. Эта просьба была исполнена. 8) Чтоб духовенству малороссийскому был предоставлен свободный выбор митрополита; относительно же того, под чьим благословением быть киевскому митрополиту, то нам, мирским людям, говорить об этом не следует: как решит константинопольский патриарх, так и будет. *Ответ* : царское величество указал: быть тому по нынешнему Переяславскому договору, митрополиту киевскому быть под благословением патриарха московского, потому что духовенство на Переяславской раде приговорило так.

Юрий не был доволен Москвою: просьбы, которые всего больше лежали у него на сердце, не были исполнены. В это время слышали в Малороссии, что собираются на нее с двух сторон – король польский и хан крымский. В половине июля 1660 года гетман отправил посланцев к царю с такою *информациею* : просить государя, чтоб прислал в Малороссию другого боярина для обороны от хана крымского, потому что боярин Василий Борисович Шереметев пошел против ляхов; объявить, что король польский, хитрый в думах и в уставе, наступает крепко на царское величество и на города украинские с посполитым рушением; к нему на помощь крымский хан послал калгу с мурзами. Просить государя, чтоб велел донским козакам промышлять над крымскими городами и таким образом помешать соединению татар с поляками. Просить, чтоб государь отпустил шурина гетманского Ивана Нечая, потому что одним человеком богатая земля не убожится, а бедная не богатеет. «Сколько раз, – писал Юрий в грамоте, – просил я

ваше царское величество о Иване Нечаяе, но до сих пор не мог получить желаемого: думаю, что писание мое до рук вашего царского величества не доходило; сестры мои две вдовы: одна но Даниле Выговском, другая по Иване Нечаяе с детками беспрестанно слезы проливают кровавые, на меня нарекают и докучают и просят, чтоб вашему царскому величеству бил челом и писал». Посланцы гетманские объявили в Москве, что боярин Василий Борисович Шереметев пошел против коронного войска, а с ним пошло 11 полков черкасских, всех ратных людей у него 60000; наказным гетманом при черкасах переяславский полковник Тимофей Цецура. Коронный гетман Потоцкий стоит около Межибожа, а войска у него с 10000; Чарнецкий и Сапега стоят под Борисовом: два раза приступали они к этому городу, но были отбиты. В Запорожье гетман посылает два полка – Черкасский да Каневский, а с кошевым в Запорогах – с 10000 войска, да охотников с Серком 5000: велено им промышлять над татарами.

Царь отвечал гетману, что к нему на помощь от татар идет из Москвы окольный князь Осип Щербатый со многими ратными людьми да из Белгорода князь Григорий Григорьевич Ромодановский пошлет товарища своего Петра Скуратова; к донским козакам уже послан приказ промышлять над крымцами. В просьбе об освобождении Нечая и на этот раз было отказано гетману; царь писал ему: «Иван Нечай нам изменил, польскому королю Яну-Казимиру присягал, наших ратных людей на проездах многих побивал, в Мстиславль и Кричев мещанам прелестные листы писал, по которым мещане нам изменили, воевод наших и ратных людей побили, а иных воевод он, Нечай, отослал к польскому королю; он же из Чаус под Могилев и под Мстиславль приходил, многое разорение и кровопролитие починил, в Смоленск к воеводе и в другие города воровские листы писал, называясь верным подданным польского короля; в Быхове заперся, наших милостивых грамот не послушал, почему и взят в Быхове нашими ратными людьми. Польский король и теперь с нами войну ведет, так нам Нечая к вам в Войско Запорожское отпустить нельзя, потому что он, по присяге своей, станет польскому королю желать всякого добра, а нам и вам всякого зла».

Но страшное зло сделалось и без Нечая. Неприятельские действия между московскими и польскими войсками не прекращались. В январе 1660 года боярин князь Иван Андреевич Хованский взял Брест, выжег его и высек, поразивши в трех битвах троих неприятельских вождей – Полубенского, Обуховича и Огинского. А между тем в Борисов приехали князь Никита Иванович Одоевский с товарищами для мирных переговоров с польскими уполномоченными; для участия в этих переговорах приехали и послы Войска Запорожского – нежинский полковник Василий Золотаренко и Федор Коробка с 53 козаками. Относительно малороссиян Одоевский получил наказ: отвести им в Борисове дворы добрые; для береженья быть у них стрельцам, чтоб им от ратных государевых людей никакой тесноты и бесчестья не было: на съездах сидеть им в государевом шатре особо на скамье или на стульях от посольского стола недалеко, где пристойно, а к шатру и от шатра велеть им ездить за дьяками, а о рубежах с польскими комиссарами говорить им по информации, какая им дана от гетмана Юрия Хмельницкого и от всего Войска Запорожского. В информации говорилось, что Волынь и Подолия не должны отделяться от владений царского величества, тем более что государь уже называется волынским и подольским; чтоб уния была уничтожена; чтоб пленники украинские, особенно взятые не на войне, были возвращены; чтоб была свободная

торговля между Малороссиєю и Польшею. Но информация оказалась ненужною: русские уполномоченные не дождалась польских комиссаров в Борисове. В марте месяце коронный гетман Станислав Потоцкий, обозный Андрей Потоцкий, Выговский с поляками и татарами начали военные действия на юге, без успеха приступали к Могилеву (на Днестре), Браславию, Умани, жгли села и рассылали всюду прелестные грамоты; зимний поход был труден: войско терпело сильный голод, потому что крестьяне попрятали весь хлеб в ямы, а сами заперлись в крепостях вместе с козаками; край опустел; хан прислал только несколько тысяч татар, и то очень изнуренных. Гетман Станислав Потоцкий писал в апреле комиссарам: «Если мы заключим мир с Москвою, то обе фурии, и турецкая и татарская, непременно бросятся на нас, потому что господари молдавский и волошский поселили в татарах большое недоверие к нам, внушив, что мы согласились с Москвою против них. Я желал бы мира с Москвою, но если за ним должна последовать турецкая война, то надобно хорошенько обдумать дело». Вот еще новая причина неуступчивости и медленности со стороны комиссаров! Они стали отказываться писать царя *Малые и Белые России* самодержцем, стали требовать, чтоб московские уполномоченные не писали запорожских посланных подданными царскими и чтоб эти посланные не имели вольного голоса при переговорах. «Странное дело, – отвечал им Одоевский, – у вас на сеймах посол каждого повета имеет вольный голос; в Малороссии поветов много, а вы не хотите малороссийским послам дать вольного голоса при наших переговорах!» Комиссары прислали сказать Одоевскому, что, после того как Юрий Хмельницкий был провозглашен гетманом, посланцы его за него и за все Войско присягали королю в Шубине. Одоевский показал грамоту комиссаров Золотаренку, и тот отвечал им: «Святого божественного маестата дело отнимать земли у одного монарха и отдавать их другому, и вы, не желая называть нас подданными царскими, воле божией противитесь. Несмотря на то что некоторые ляхи, находившиеся в Войске Запорожском, старались склонить его на польскую сторону, Войско, как скоро узнало об их замыслах, свергнуло с бесчестием Выговского и отдало булаву Хмельницкому, который, как достойный сын, пошел по стопам отцовским и воскресил в Войске присягу царскому величеству, умерщвленную насилеиём Выговского, и теперь на Украине нет ни одного полка, ни одного полковника, ни одного товарища, который был бы подданным королевским». В то время как шла эта бесполезная переписка, 29 апреля ночью поляки с 1000 человек явились под Вильною, овладели большим городом и начали приступать к замку, но русские солдаты сделали удачную вылазку из замка и выбили неприятеля из большого города. С польскими ратными людьми приходило под Вильну много шляхты, присягнувшей прежде царю; накануне неприятельского прихода некоторые из этой шляхты приезжали под Вильну для проведения; мещане вышли к ним навстречу за пять верст и рассказали, на которые места в городе лучше ударить; когда же поляки подошли к Вильне, то мещане поместили им мосты через рвы, ворота с ними заодно высекали и к замку приводили, указывая на слабые места. Известный нам нежинский протопоп Максим писал нежинскому сотнику Роману Ракушке, бывшему в Борисове вместе с Золотаренком: «Ради бога, будьте осторожны на этой комиссии с ляхами, зная ляцкую хитрость, и боярам скажите, чтоб были осторожны; знаю подлинно, что ляхи призвали в Литву 12000 татар и хотят подвести их изменою на царских

уполномоченных. Об этих татарах выпытали в Прилуках у пьяного чернеца Тарасия Бузского, который был при митрополите Балабане, приезжал с ним из Слуцка в Киев и опять с ним уехал, лютый кобель, и хотя под клобуком, а настоящий иезуит; теперь после Пасхи приезжал он из Слуцка к пану гетману, рассказывает, с митрополичьими письмами; так он говорил, что Заднепровье король выдал туркам и татарам, чтоб огнем и мечом выгубили». Наконец 18 июня Одоевский получает коротенькую записку от боярина князя Ивана Андреевича Хованского, который осаждал Ляховичи: «Князь Никита Иванович! Бога ради, берегитесь: идут на вас люди из Жмуди, а на нас уже пришли Чарнецкий с товарищами; посольству у вас никак не статья, обманывают; не покручинься, что коротко написал: и много было писать, да некогда, пошел против неприятеля. Ивашка Хованский челом бьет, бога ради, берегитесь!» Не долго после того послы ждали новых вестей: 20 июня прибежал из полков Хованского солдат и объявил о страшном несчастье: 17-го числа Хованский выступил из обоза под Ляховичами, ночевал в двадцати верстах в местечке Мышах и на другой день, 18 июня, в десяти верстах от Мышей, в местечке Полоне (Полонке), встретился с польскими войсками, бывшими под начальством Павла Сапеги, Чарнецкого, Полубенского и Кмитича; здесь русская пехота потерпела совершенное поражение; воевода князь Семен Щербатый попался в плен; двое сыновей князя Хованского и воевода Змеев были ранены; Хованский-отец с остальным войском побежал к Полоцку; обоз под Ляховичами достался победителям. Узнав об этом несчастье, уполномоченные немедленно же выехали из Борисова в Смоленск.

Так исполнилось пророчество царя относительно Хованского, который с этих пор сделался знаменит своими поражениями. Но кроме Хованского в Белоруссии был еще другой воевода, прославившийся разбитием и взятием в плен гетмана Гонсевского, – князь Юрий Алексеевич Долгорукий. 3 октября он дал знать из села Губарева, от Могилева за 30 верст, что в трехдневном бою, 24, 25 и 26 сентября, он разбил гетмана Павла Сапегу, Чарнецкого, Паца и Полубенского, взял у них 19 человек пленных; 10 октября новые вести от Долгорукого оттуда же, что гетман Сапега приходил на его обоз, но был отбит. По польским известиям, Сапега и Чарнецкий напали с двух сторон на войска Долгорукого, расставленные в лесу в числе 25000; конницу разбили, но пехота, храбро защищаясь, в порядке возвратилась в свой лагерь. В следующие дни поляки окружили Долгорукого, отнимали съестные припасы, шедшие из Смоленска, перенимали людей, хотевших пробраться в Смоленск. В это время Хованский, собравшись снова с силами у Полоцка, в числе 12000 человек, начал наступать на поляков сзади. Чарнецкий и Сапега обратились на него и принудили бежать; этим временем Долгорукий отступил к Могилеву, а брата своего Петра послал к Шклову; но князь Петр потерпел поражение под этим городом.

На юге дела шли еще хуже. Здесь поляки прежде всего хлопотали около нового гетмана, склоняя его на сторону королевскую. В конце января 1660 года Беневский писал Юрию: «Вы толкуете о неприятельских мучительствах, которые вы претерпевали от поляков; но неужели природный пан ваш король потому кажется вам жестокосердым, что, как добрый отец, покрыл ризою милости и дал перстень сынам заблудшим? не потому ли он вам кажется жестокосердым, что всякому до него, как до отца, доступ и разговор вольный? или потому, что все присланные от вас были обдарены и удовольствованы? или, наконец, потому, что

помазанник божий присягнул царю царей вместе с Сенатом и Речью Посполитою, что вас, как детей, принимает и вольностей ваших никогда не нарушит? А царь не потому ли кажется вам добр, что полна Украина мучительства? Когда бы мой большой и любимый приятель, родитель вашей милости, воскрес и увидел одного зятя своего на крюке, дочь в плену и в бесчестьи; когда бы увидел другого зятя неслыханно замученного; когда бы увидел тело его, истерзанное кнутом, пальцы отрезанные, глаза вынутые и серебром залитые, уши буравом просверленные и серебром залитые; когда бы увидел другую дочь, умирающую над телом милого мужа; когда бы увидел сирот малых, у которых отца так замучили, – если б Богдан Хмельницкий увидел все это, то не только принялся бы за оружие, но и в огонь ринулся бы; наконец, разоренное Заднепровье и ежедневные обиды – дивно мне, как все это могло полюбиться? Знаю, что вы присягали царю, но знаю, что не по доброй воле; знаю, в каком опасном положении находились вы под Терехтемировом; нескорое прибытие нашей помощи причиною тому, что вы принуждены были присягнуть царю. Но смотрите, как сдержаны обещания царские! Пан Ковалевский пишет мне, что царь простил всех; но если простил, то зачем же человек замучен? Не только печаль, но и бесчестье всему Войску – прислать к нему так замученного зятя гетманского, на весь свет славного, в войске заслуженного, а вашей милости шурина. Удивляюсь, что пан Ковалевский, присяжный мой брат, так скоро забыл присягу свою, которую дал богу и пану своему природному, забыл милость панскую, забыл и мои к себе милости. Не таким я знал пана Ковалевского прежде, во времена покойного родителя вашего; вспомнил бы то, как был переводчиком у покойника, как тот через него все делал. Если бы родитель ваш хотя немножко побольше пожил, то водворил бы совершенный покой радением и трудами пана Ковалевского, который пусть припомнит, какие были к нему милости от короля и королевы; а теперь он спиною к помазаннику божию обращается, несмотря на свою присягу, несмотря на то что прежде сам указывал способ, как действовать против Москвы. Знаю, что вас, пан гетман, отлучают от нас двоякого рода представлениями: во-первых, страшат, что ляхи будут мстить вам за обиды, нанесенные им отцом вашим; но убей меня бог с душою и телом, если нам в голову входит что-нибудь подобное; с какой стати будем мстить вам! ведь вы еще не поднимали рук на короля и республику; скорее надобно было бы мстить на пане Выговском, который так жестоко на Польшу наступал и, надобно признаться, при покойном родителе вашем никак не склонялся на нашу сторону; но сами знаете, как он теперь взыскан милостию королевскою, какою честью украшен. Вспомните и о пане Антоне Ждановиче: начавши от Кракова, прошел он с огнем Польшу, а теперь взыскан также милостию королевскою. И других примеров бесчисленное множество. Бойся, пан гетман, не Польши, бойся Москвы, которая скоро захочет доходов малороссийских и поступит с вами, как с другими. Во-вторых, говорят, что у ляхов нет войска, говорят: и собака на нас не залает, как пойдем в землю Польскую. Но жестоко обманется Войско Запорожское такими вестями: до сих пор, несмотря на то что со всех сторон были мы окружены неприятелями, мы давали им отпор; теперь же, когда с шведским королем уже заключено перемирие на 15 лет, когда войска короля шведского вступили к нам в службу, когда наши войска соединились или скоро соединятся с ордою, когда вся шляхта вооружится, когда войска из Пруссии с паном Чарнецким, из Курляндии с Полубенским уже

направляются в Литву, то увидят, как мы бессильны! Не думайте, что король призывает вас, чувствуя свою слабость; нет, он зовет вас потому только, чтоб Украина не стала пустынею и чрез то не отворились бы ворота в Польшу; притом же пан природный не мечом, но добротой хочет привлечь к себе подданных. Свою шею заложу за вашу безопасность, при вас и с вами хочу быть. Ради бога, размыслите хорошенько, не навлекайте на себя проклятия за клятвopреступление и поступайте по правде, а то теперь как смотреть на ваши поступки? пишете ко мне, чтоб я приехал, а посланца моего в заключении держали и хотели в Москву отослать! Рассуди, милостивый пан, и то: хорошо ли отправить послов к помазаннику божию с изъявлением покорности, а потом поступить совершенно иначе; не значит ли это с богом и государем шутить? Ибо что делает посол, то все равно что делает сам пан. Вы своих послов, людей невинных, под такую беду подвели! Но я, зная, что не одна мать родила всех, послов этих держу у себя в чести, всякий день вместе со мною едят и пьют, всего у них довольно. Я бы их давно уже отпустил, но пан воевода киевский (Выговский) просил не отпускать их до тех пор, пока не будет прислана к нему жена его. Подарите меня за мои услуги, выпустите невинную женщину, потому что не рыцарское дело с женщинами воевать, а я посылаю письменную присягу, что как скоро приедет в Межибожь панья Выговская, сейчас же отпущу к вам панов послов ваших». Хмельницкий сказал посланному Беневского: «Я друг твоему пану; приезжает к нам или не приезжает – как хочет, потому что не мое правление, а пана Ковалевского».

Этот ответ показывал лучше всего ничтожность Хмельницкого; справедливо отозвался об нем киевский воевода Шереметев, который, повидавшись с Юрием, сказал: «Этому гетманишке надобно было бы гусей пасти, а не гетманствовать». При этом свидании, которое дало Шереметеву такое невыгодное мнение о Хмельницком, они уговорились идти ко Львову и в конце августа действительно выступили в поход по двум разным дорогам: Шереметев пошел на Котельню, Хмельницкий – на Гончариху; к Шереметеву присоединился отряд козаков под начальством Цецуры. Неприятель умел утаить свои движения и свои силы, и на Волыни у Любара Шереметев встретил тридцатитысячное польское войско под начальством гетмана Потоцкого и маршалка Любомирского; но с поляками шло еще 60000 татар. Видя превосходство сил неприятельских, Шереметев засел в обозе, из которого отбивался в продолжение двух дней, 5 и 6 сентября; 1500 москвичей и 200 козаков полегло при этой обороне. Но беды только начинались: в московском обозе оказался голод. Чтоб промыслить что-нибудь, 9 сентября воевода выслал трехтысячный отряд, но татары уже стерегли его на дороге, ударили из западни, убили 500 человек, взяли в плен 300. Прошло три дня; в русском обозе царствовала глубочайшая тишина; только по дыму да по лошадям, пасущимся внутри и вне обоза, можно было догадаться, что в нем еще сидят люди. Русские притаились нарочно, и 13-го числа около 6 часов утра вдруг выступили на поле, расстилавшееся между двумя неприятельскими станами; поляки, однако, не были застигнуты врасплох и поспешили к ним навстречу; увидав их, русские немедленно скрылись в свои укрепления; поляки возвратились, но только что успели сойти с лошадей, как русские опять показались в поле и четыре раза повторяли эту тревогу. Они не могли долее оставаться в покое: не было ни людских, ни конских кормов, ни пороха. 14-го числа ночью они подкрались было под стан неприятельский, но, увидав, что

поляки готовы биться, ушли назад. Все эти бесполезные движения только еще более раздражили голодное войско. Козаки первые взволновались и решили уходить, но в то время, как они уже готовы были садиться на коней, является Шереметев с саблей в руках, упрекает их в трусости и обещает, если останутся, заплатить им в Киеве хорошие деньги. Козаки успокоились, но на другой день, 16-го числа, взволновалось и московское войско, требуя, чтоб боярин выводил его ночью из обоза, где оно не может долее выносить голода. Шереметев отказал. «Стыдно нам бежать, будучи в такой силе, – говорил он, – подождем до завтрашнего утра, до семи часов». Боярин никак не мог решиться бежать ночью, воровски; он хотел выступить честно, днем, в виду неприятеля. Исполняя данное слово, он перед рассветом отправил обоз с слабейшею частью войска, а сам выступил после с лучшими полками, отлично отбиваясь от наступавших поляков и татар, по свидетельству самих врагов. Но это отступление не могло совершиться без больших потерь: кроме множества убитых русские оставили в руках неприятеля 400 телег и девять пушек. Отдыхать было нельзя: после тяжелого дня русские должны были продолжать отступление всю ночь. Только в 7 часов утра 18-го числа достигли они города Чуднова; измученные, не успели они еще вздохнуть, оглядеться, как в 10 часов явились поляки, заняли замок и гору, господствующую над городом. Русским поэтому не было никакой возможности оставаться здесь: захвативши, сколько можно было, съестных припасов и зажегши город, они вышли из него и расположились станом подле. Табор их представлял вид треугольника: московские полки расположились на низменности, козаки занимали возвышение. Но едва успели они разместиться на новоселье, как неприятели окружили их со всех сторон и гранаты полетели в табор. Но в это время стали приходить слухи о приближении Хмельницкого; поляки боялись, чтоб гетман не занял высокой горы, находившейся позади их стана, и потому перенесли его за реку Тетерю. Русские обрадовались, что могли вздохнуть несколько свободнее, притом же, по указанию чудновских жителей, они отыскивали запасы хлеба и могли спокойно дожидаться черкас. Но польские вожди не хотели оставить их в этом спокойствии; они решились сделать то же, что некогда старый Хмельницкий сделал под Зборовом: Потоцкий остался наблюдать за Шереметевым, а Любомирский двинулся наперерез Юрию Хмельницкому и напал на него под Слободищами. Жаркая схватка с козаками стоила дорого полякам, не давши им никакого перевеса, но уже одно неожиданное появление Любомирского произвело сильное впечатление: поляки тут, а где Шереметев? Что с ним? В ответ на этот вопрос приносят грамоту от Выговского с увещанием отложиться от Москвы, которой силы уже сокрушены, которая более не светит, а чадит, как погасающая лампада; с уничтожением войска шереметевского, что немедленно должно последовать, вся тяжесть войны падет на гетмана малороссийского, а король милосерд, и от великодушного народа польского козаки получают то, чего не дожидаться им от варварства московского.

Между тем Шереметев хотел воспользоваться отсутствием Любомирского и выйти из стана, но Потоцкий загородил ему дорогу и принудил возвратиться, и в тот же день пришел назад Любомирский из-под Слободищ. Что же Хмельницкий? Вместо того чтоб по следам Любомирского двинуться на помощь к Шереметеву, он 1 октября прислал в польский стан грамоту с просьбою о мире, а 3-го числа козак – перебежчик из русского стана принес известие, что боярин на другой день



готовится выступить к Пяткам для соединения с Хмельницким. Целую ночь не спал Потоцкий, готовясь к кровавому дню, и не напрасно: небывалый бой загорелся 4 октября, когда русские с последними отчаянными усилиями порывались пробиться сквозь ряды поляков и татар. Никакие усилия не помогли: Шереметев возвратился назад в свой табор, полк Потоцкого ворвался было туда же за ним, но был выбит. Поляки говорят, что если бы татары сражались как надобно, то войско Шереметева было бы окончательно сокрушено в этот день, но татары, бросившись грабить русские телеги, покинули битву прежде, чем следовало. Русские, по счету поляков, потеряли 3000 убитыми.

На другой день, 5-го числа, Хмельницкий прислал новые предложения в польский стан; в ответ было отправлено приглашение явиться лично и принести присягу королю. Через два дня, 8 октября, гетман малороссийский приехал; поляки изумились, увидав наследника страшного для них имени: это был черноватый осьмнадцатилетний мальчик, скромный, неловкий, молчаливый, смотревший послушником монастырским, а не гетманом козацким и сыном знаменитого Хмеля. 9 числа Юрий присягнул королю и вечером того же дня отправил письмо в русский стан к Цецура с объявлением, что мир с Польшею заключен и чтоб полковник следовал примеру гетмана, переходил на королевскую сторону. 11 октября Цецура отвечал, что отделится от москалей, как скоро удостоверится в присутствии своего гетмана у поляков, и вот Хмельницкий является на холме под бунчуком. При этом виде Цецура с 2000 козаков (другие остаются в обозе) рванулся из табора; татары бросаются на них, думая, что это вылазка, поляки спешат защитить перебежчиков; около 200 козаков гибнет от татар, другие цепляются за польских всадников и достигают табора. Цецура произвел здесь совершенно иное впечатление, чем Хмельницкий: он был приземист, крепок, приятной наружности, в глазах горела отвага, движения тела изобличали подвижность духа.

Побег Цецуры был окончательным ударом для Шереметева: о помощи нечего было и думать, а между тем «от пушечной и гранатной стрельбы теснота была великая; с голоду ратные люди ели палых лошадей и мерли; пороху и свинцу у них не стало». В таком отчаянном положении Шереметев продержался еще одиннадцать дней и 23 октября решился вступить в переговоры с польскими вождями. Подписаны были следующие условия: 1) царские войска должны очистить малороссийские города: Киев, Переяславль, Нежин, Чернигов, оставя в них пушки и всякие пушечные запасы, после чего беспрепятственно отступят к Путивлю, взявши с собою имение свое и казну царскую. 2) Войско Шереметева, сдавши оружие, все военные запасы и хоругви, остается в обозе три дня, а на четвертый выступает в города – Кодню, Котельню, Паволоч и ближние места. 3) Шереметев с начальными людьми остается у гетманов коронных и у султана крымского, пока царские войска не выйдут из Киева, Переяславля, Нежина и Чернигова; им позволяется оставить при себе только сабли и иметь сто топоров в войске для рубки дров; когда упомянутые города будут очищены, то войско под защитою королевских полков отпустится к Путивлю, где будет ему возвращено все ручное оружие; дорогою русских ратных людей не будут ни грабить, ни побивать, ни в плен брать; пищу себе и лошадям вольно им будет покупать. 4) Козаки, оставшиеся в таборе Шереметева по уходе Цецуры, выйдут наперед из обоза, оружие и знамена повергнут под ноги гетманов коронных, и Москве нет до

них никакого дела. 5) Шереметев с товарищами ручаются, что воевода князь Юрий Никитич Борятинский на все эти статьи согласится, приедет к гетманам и останется у них до очищения Киева, Переяславля, Нежина и Чернигова; если же он этого при первой повестке не сделает, то уговорные статьи до него не касаются.

Вследствие этого Шереметев немедленно отправил грамоты Борятинскому, стоявшему под Киевом, и другому воеводе, Чаадаеву, находившемуся в самом Киеве, просил их согласиться на Чудновский договор. Шереметев писал: «Вам бы учинить по этому нашему договору, а в Киеве, Чернигове, Переяславле и Нежине государевым ратным людям быть не у чего, потому что Юрий Хмельницкий со всем войском и с городами изменил». Но Борятинский, не находясь в положении Шереметева, не думал, что Малороссия потеряна для Москвы только потому, что Хмельницкий передался полякам. «Я повинуюсь указам царского величества, а не Шереметева; много в Москве Шереметевых!» – отвечал Борятинский. Получивши этот ответ, поляки сочли себя вправе задержать воевод и войско, ибо главное условие – очистка городов малороссийских – не было исполнено. Но прежде всего надобно было удовлетворить хищных союзников, и самый важный пленник, за которого надеялись получить самый богатый выкуп, Шереметев, отведен был в Крым, где сначала сидел три месяца в оковах в ханском дворце, потом, по ходатайству Сефергазы-аги, кандалы с него сняли и послали в жидовский город; здесь он имел при себе священника, толмача, мог писать в Москву грамоты и воспользовался этим, чтобы отомстить Борятинскому, сложивши на него всю вину чудновского несчастья: «Я и гетман писали к нему, чтоб шел нам помогать; он было и выступил и отошел от Киева верст с 70, но, не дойдя до нас, поворотил назад, пограбил много местечек и деревень, а гетману, который его ждал, помощи не дал». Видя, что московские воеводы не намерены сдавать Киева, поляки отправили туда тайно пана Чаплинского поднимать жителей против Москвы; воевода узнал о незваном госте и посадил его под стражу; но Чаплинскому удалось уйти из-под стражи; он скрылся в монастыре, где игумен Сафонович обрил у него бороду и усы, нарядил монахиною и велел выпустить из города в то время, когда монахини коров выгоняют.

Сильно испугала Москву весть о конотопском поражении; еще больший ужас навела весть о чудновском. Тогда истреблена была часть войска, сгибли вожди молодые; теперь целое войско, опора власти царской в Малороссии, не существует, и боярин, и воевода, которым по справедливости гордились, которого царь величал «верным и истинным послушником своим, храбрым и мужественным архистратигом», боярин Шереметев в позорном плену у крымского поганца! Тогда хан с Выговским были ближе к Москве, но и теперь боялись, что наступающая зима постелет гладкий путь полякам и крымцам и нет больше войска, которое бы можно было противопоставить им: с другой стороны, может явиться под Москвою войско литовское, гордое победою над Хованским, и какое ручательство, что швед не захочет воспользоваться бедою Москвы и не нападет на нее с третьей стороны, как прежде напал на Польшу? Боялись и другого рода несчастья – боялись бунта черни московской, раздраженной бедствиями продолжительной войны и войны теперь несчастной. Опять во дворце начали приготовляться к отъезду царя в Ярославль или Нижний. А тут еще дурные вести с Дону: в июне пришло из Царяграда морем под Азов 33 корабля с людьми ратными, со всякими запасами и пушками, ратных людей с 10000, да в то же

время из Крыма пришел крымский хан, с ним татар, черкас темрюцких, кабардинских и горских и мурз ногайских с 40000, да рабочих людей, венгров, волох и молдаван, с 10000. Пришедши под Азов, по обеим сторонам Дона поставили две башни каменные, а между башнями через Дон поделали цепи; на устье проездного Донца, против Азова, поставили город каменный с 4 башнями и с нарядом большим и малым. Во время строения крепостей донцы ходили трижды для языков, но работам помешать не могли по своему малолюдству, да и боялись на себя неприятельского прихода: стада у них крымцы все отогнали. Пришли на Дон царские воеводы, стольники Семен Савич и Иван Савостьянович Хитрово, но пришли они уже тогда, как хан, отстроив крепости, пошел назад в Крым. Государевы люди сделали себе городок выше Черкаска с полверсты и вместе с козаками ходили под Азов, выжгли посады, были и под башнями, но ничего им не сделали. Всех козаков в Черкасске было только 3000 да государевых людей 7000. Крымцы навестили последних в их городке, но были отбиты. Государевы люди были привычны сидеть и отсиживаться в городках, но козаки привыкли нападать и грабить, оборонительная война была для них тяжела; они говорили: «Как стало на Дону войско быть, такого утеснения нам никогда не бывало: для промыслов ходить никуда нельзя, и многие без промыслов с Дону от нас разбредутся». Оставшиеся в Малороссии воеводы ссорились друг с другом. Воевода Чаадаев из Киева бил челом на воеводу князя Юрия Борятинского: «Пишет многие отписки у себя на дворе, со мною не говоря, и ни о чем со мною не советует, и во многие походы ключей городовых мне не отдает, оставляет их у человека своего Далматова, и перед своими друзьями хвалится, что он меня ото всего оттеснил, а ходит он в походы не для государевых дел, для своей корысти. Мая 23 (1661 г.) ходил он в маетность Печерского монастыря Иванково и, не доходя до нее, выбрав своих угодников, послал с ними людей своих, велел грабить на себя: ратные люди многие лошадей поморили, а пришли ни с чем; только искорыстовался князь Юрий и друзей своих накормил; а к тебе, великому государю, пишет все ложно и посылает с отписками своих угодников. Писал он к тебе, будто город Иванков взял и многие места и села повоевал; но писал ложно: кроме одного местечка Иванкова, нигде войны не бывало, и в том местечке никаких воинских людей, кроме тутошних жителей, не было и воевать было не с кем, а выграбил его для своей корысти, и церкви божии везде выграбил; добрых людей своим озорничеством всех отогнал, а меня называет изменником, будто я с теми людьми знаюсь для измены, и грозит убийством; а все это он делает по мысли головы Федора Александрова. Многие ратные люди говорят, что им подняться не на что, добра от нас никакого не чают, и многие из Киева бегают, на день человек по 20, 30 и больше».

Обращая все более и более внимания на Европу, в Москве боялись невыгодного впечатления, какое произведут на нее разглашения поляков о своих торжествах над русскими, и сочли за нужное противодействовать этим разглашениям путем печати. Написано было изложение военных действий 1660 года, где выставлены успехи Долгорукого и вначале Шереметева, коварство польских комиссаров, дливших время нарочно, чтоб дать своим возможность собрать войско и дожидаться татар; наконец, измена Хмельницкого и дурной поступок поляков с Шереметевым под Чудновом. Это известие отправлено было в

Любек к Ягану фон Горну, чтоб он напечатал его на немецком языке и разослал по окрестным государствам.

Между тем поляки хлопотали, как бы в другой раз не выпустить из своих рук Войска Запорожского. Здесь опять является главным действующим лицом известный нам Беневский. Юрий дал ему знать, что он собрал раду в Корсуни, и приглашал его на ней присутствовать. Беневский немедленно отправился и узнал на месте, что Хмельницкий непременно хочет сложить булаву, что некоторые под личиною дружбы к нему уговаривают его отказаться от гетманства, проча булаву кому-то другому (Выговскому). Но Беневский, опасаясь от *этого другого* беды для республики, начал хлопотать, чтоб булава осталась за Хмельницким, который, по слабости своей, как нельзя лучше приходился для Польши. Чтоб окончательно убедиться, кого хотят выбрать в гетманы, Беневский призвал к себе полковников и начал им говорить, что Хмельницкий непременно хочет оставить булаву, так кого бы они считали достойным гетманства? Большая часть полковников сейчас же отвечали: «Об этом нечего беспокоиться: у нас уже готов гетман, мы пошлем кой к кому и тут же его изберем», – и начали расхваливать своего избранника, воображая, что эти похвалы приятны Беневскому. Ночью последний свиделся с Хмельницким и стал расспрашивать его, что за причины, по которым он непременно хочет сложить булаву? «Я молод, несчастлив, болен (падучею болезнию и грыжею)», – отвечал Юрий, насказал и много других, менее важных причин. Беневский стал уговаривать его. «Из-за пустых причин, – говорил он, – ты хочешь отказаться от гетманства, не думая, каким опасностям подвергаешь себя, имение свое и дом!» Беневский открыл ему интриги его соперника и что его ждет, когда этот соперник сделается гетманом. Хмельницкий не верил, чтоб интриги соперника шли так далеко; тогда Беневский предложил ему призвать немедленно же полковников, которые сами скажут ему о своем избраннике. Полковники были призваны и объявили: «Завтра же надобно созвать раду, и если ты, пан гетман, покинешь булаву, то без гетмана быть не можем и сейчас же посылаем кой к кому, которому отдаем в опеку себя, жен и детей наших». Это объявление убило несчастного Хмельницкого. «Завтра будет рада», – сказал он и отпустил полковников. Оставшись наедине с Беневским, он начал срывать сердце, обвинять каждого полковника в измене против республики и коварстве. «И теперь они хотят выбрать того в гетманы, чтоб опять своевольничать», – говорил он. Беневский торжествовал: он пустил черную кошку между гетманом и полковниками и, чтоб еще больше раздражить Хмельницкого и выведать все нужное, стал говорить: «А полковники, пан гетман, все зло складывают на тебя, говорят, что и Серко, и Апостол, и Цецура, и Пушкарь из-за тебя возмутились; говорят, что ваша милость и Брюховецкого с частию казны отправил к царю московскому, и Самченко, твой родной дядя, по твоему внушению поднял бунт в Переяславле». Бедный Хмельниченко совсем растерялся: стал оправдываться, в ином признавался, наконец стал умолять искусителя: «Будь отцом, советником, ходатаем у короля и королевы; клянусь, что буду следовать твоим советам, не буду слушать злых речей». Беневский, разумеется, прежде всего присоветовал не покидать гетманства, потом, так как Юрий по молодости и нездоровью нуждался в помощнике, Беневский присоветовал ему взять на писарство Тетерю, чем приобретет доверенность короля и республики, потому что настоящий писарь, Семен Голуховский, предан царю и царем поставлен. Хмельницкий на все

согласился, требуя одного, чтоб Беневский оставался ему другом и добрым советником.

10 ноября собралась рада из одной старшины на дворе гетманском; Беневский начал первый говорить, объявил, что ни одно из царских распоряжений не может иметь больше силы, и от имени королевского вручил булаву Хмельницкому при всеобщем восторге, как будто бы никогда не думали ни о ком другом. Но к вечеру торжество Беневского было нарушено: ему дали знать, что чернь бунтует, зачем рада была в избе не по старине, подозревает тут злой умысел против Войска. Беневский послал сказать гетману, чтоб на другой день созвал черную раду и на ней снова принял от него булаву. Хмельницкому не хотелось созывать черни. «Если пан воевода, – отвечал он, – хочет черной рады, да еще во время ярмарки, то пусть знает, что погубит и себя, и меня, и полковников и учинит смуту большую». Новый посланец от воеводы к гетману: «Напрасно беспокоишься; если не будет черной рады, то все равно что ничего!» Не один Хмельницкий, все старшие козаки, все домашние Беневского были против черной рады, но воевода был непреклонен, и Хмельницкий, раскаиваясь, что обещал его слушаться, велел повестить раду.

11 ноября площадь у церкви св. Спаса шумела глухим шумом: стояло тысяч двадцать черни, а гетманский двор был назаперти: там тихо сидели перетрусившие полковники и гетман, дожидались, пока приедет на раду Беневский: что-то будет, как-то примет его чернь? И вот толпы расколыхались, едет воевода, сходит с лошади, садится на скамью, озирается: «Где же пан гетман?» В ответ раздался крик: «Ваша милость на месте королевском: пошлешь за гетманом, и должен прийти». Беневский послал, и гетман явился с полковниками: без шапки, кланяясь на все стороны, вошел он в круг, положил шапку наземь, на шапку булаву – знак, что слагает с себя гетманство. Но вот он начинает говорить: «По божией и по вашей воле возвратились мы к пану прирожденному, и чтоб не оставалось больше между нами московских распорядков, король, его милость, прислал комиссара своего: он введет между нами порядок». Смолк Хмельницкий, не владевший даром слова, и начал широкую речь Беневский об отеческом милосердии короля; кончил тем, что король прощает все их вины. В ответ раздались крики: «Благодарим бога и короля; это все старшие нас обманывали для своего лакомства; если теперь кто вздумает бунтовать против короля, того сами побьем, не пощадим и отца родного!» Когда поуехали кричать, Беневский подошел к булаве, поднял ее и от королевского имени передал Хмельницкому, тут же Носач объявлен был обозным. Раздались новые крики в честь Хмельницкого, и толпы двинулись в церковь присягать королю. Вечером гетманский дом заблестал яркими огнями, гремели пушки, шел роскошный польский пир; подпившие козаки особенно расхваливали королеву, только и слышалось: «Мать наша!» На другой день новая рада: читали гадяцкие привилегии Войску Запорожскому; все были очень довольны и ругали Выговского: «Если бы он, такой и такой, прочел нам эти привилегии, то ничего бы дурного не случилось». На третьей раде отдана была печать войсковая Тетере. Новый писарь – это наш старый знакомый: мы видели его в Москве, слышали, какую великолепную речь он говорил царю Алексею Михайловичу, как ставил его выше св. Владимира, слышали, как потом он рассказывал о непорядках малороссийских и как проговорился, что некоторые из его земляков желают

непосредственно зависеть от царского величества. И теперь Тетеря начал рассказывать, как он был в Москве, но не повторил своей приветственной речи и своих разговоров с думными людьми; он рассказывал козакам, какие страшные замыслы против Малороссии питает царь! Он все это проведал, будучи на Москве! Оратор произвел сильное впечатление на слушателей. «Не дай нам, боже, мыслить о царе, ни о бунтах!» – говорили козаки. Они глубоко были тронуты: мудр, добродетелен, велик явился перед ними пан писарь Тетеря, так безукоризненно, так свято ведший себя в Москве. «Пан писарь! – говорили они, – будь милостив, учи гетмана уму-разуму, ведь он молоденький еще! Поручаем его тебе, поручаем тебе жен, детей, имение наше!»

В то время как в Корсуни происходили эти чувствительные сцены, в то время как в здешней соборной церкви козаки присягали королю, на другой стороне Днепра, в Переяславле, также толпился народ в соборной церкви: дядя Хмельницкого, полковник Яким Самко, вместе с козаками, горожанами и духовенством клялся умирать за великого государя, за церкви божии и за веру православную, а городов малороссийских врагам не сдавать, против неприятелей стоять и отпор давать. Получив от племянника грамоту с увещанием покориться королю, Самко отвечал: «Я с вашею милостию, приятелем своим, свойства не разрываю; только удивляюсь, что ваша милость, веры своей не поддержав, разрываешь свойство наше с православием. Ты пишешь, что король видит руку промысла в беде, случившейся с Шереметевым; правда, что бог всем управляет, сокрушает и милует, немощных сильными делает, но надобно знать, что счастье и что грех. Потому что счастье изменчиво. Я не изменник потому только, что не хочу ляхам сдаться; я знаю и вижу приязнь ляцкую и татарскую. Ваша милость человек еще молодой, не знаешь, что делалось в прошлых годах над козацкими головами; а царское величество никаких поборов не требует и, начавши войну с королем, здоровья своего не жалеет; мы теперь должны немощных немощ носить, а не себе угождать; лучше с добрыми делами умереть, нежели дурно жить. Пишете, что царское величество никакой помощи к нам не присылает; верь, ваша милость, что есть у нас царские люди и будут; а если б даже их и не было, то его воля, государева, а мы будем обороняться от наступающих на нас врагов, пока сил станет, помня пример Шереметева, который хотя и сдался, однако мало хорошего получил: вопреки присяге сенаторской со всем войском в неволю татарскую пошел. Видя, что сделалось с Шереметевым и Цецурую, хотя умру, а на прелести ваши не сдамся». Выбранный наказным гетманом, Самко в начале декабря прислал сказать в Москву о своей верности и что боярин Шереметев выдал Войско Запорожское, при нем бывшее, в неволю татарам; ему, разумеется, отвечали, что во всем виноват Хмельницкий, а не Шереметев.

Запорожье было также за царя, Запорожье, пустившее от себя отпрыск: лихой козак Серко, с которым так часто будем встречаться впоследствии, составил свою особую дружину и действовал самостоятельно. Вскоре после чудновского дела прискакал в Москву запорожский кошевой Иван Брюховецкий и объявил: «Мир с поляками Хмельницкий заключил по наговору тех, которым от короля дана честь: Носача, Лесницкого, Гуляницкого; у гетмана наперед была ли о том мысль или нет – не знаю, только гетман шел в сход к Шереметеву не на то место, где ближе, и ставился не там, где надобно; пришедши в Слободище от боярина за три мили, стоял три дня, а к боярину в сход не шел. Как на Кодачке, на раде был договор у

гетмана с боярином, тут впервые изменили по вымыслу Выговского: уговорились, что боярину идти наперед, тогда как довелось идти наперед черкасским полкам, а гетману быть с боярином, от него не отставать. Яким Самко царскому величеству верен ли, про то я не знаю, а гетману Юрию Хмельницкому он дядя родной; только ему, Самку, недруг Иван Выговский; и прежде он от Выговского отбегал и жил на Дону, а в Войске при нем жить не смел. Василий Золотаренко царскому величеству верен, и Семен-писарь верен, только разве помешает ему то, что он теперь женился на Дорошенковой сестре».

Чтоб разузнать, в каком действительно состоянии находятся дела в Малороссии, кто верен и кто нет, кто кому дядя и кто кому зять и как это родство и свойство мешает верности, отправился стрелецкий голова Иван Полтев. Приехавши в Нежин 29 декабря, Полтев прежде всего повидался с тамошним царским воеводою, князем Семеном Шаховским, и спросил его: «Нежинский полковник Василий Золотаренко великому государю верен ли, к нему, воеводе, советен ли, сколько при нем козаков, в козаках и мещанах нет ли какой шатости и Василью Золотаренку они послушны ли?» «Золотаренко великому государю верен, – отвечал Шаховской, – со мною советен: козаков при нем тысяч с десять: между немногими козаками и мещанами была шатость». На другой день к Золотаренку явился сотник города Девицы Демид Рагоза с изветом на козака Тараса Незная, который говорил при многих людях: «Полковник Золотаренко хочет быть под московским царем, а мы хотим быть у польского короля при Юрии Хмельницком». Незная схватили, привели к полковнику, и, когда козак повинился, Золотаренко велел собрать раду; на раде приговорили: казнить Незная за такие речи, и приговор был исполнен. Полтев объявил Золотаренку, что великий государь все Войско Запорожское этой стороны Днепра пожаловал, гетмана избрать позволил, кого Войском изберут. «Ты бы, полковник, – продолжал Полтев, – согласился с гетманом наказным Якимом Самком и с другими полковниками, которые великому государю верны, и с Войском Запорожским и чернью, и выбрали бы гетмана». «Царского величества бояре и воеводы с войском к нам будут ли?» – спросил Золотаренко. «Когда царские ратные люди в Нежине будут, то Украина всего Нежинского полка будет крепка: мы великому государю верно служить рады». «В Севске, – отвечал Полтев, – будет боярин Петр Михайлович Салтыков с конными и пешими людьми, а в Путивле окольный князь Иван Лобанов-Ростовский». Золотаренко обрадовался и сказал: «Если б царские воеводы пришли ко мне в Нежин скоро, то Украина по сю сторону Днепра была бы цела, неприятелей всех бы выбили за Днепр: если же воеводы ко мне скоро не придут, то к Киеву и Переяславлю из Нежина проезду не будет; стоят крепко и великому государю верно служат только Нежинский да Черниговский полки; если же этих полков не будет, то и Переяславский полк не устоит».

Московские воеводы скоро прийти не могли после недавних несчастий, а уже 2 января 1661 года заднепровские черкасы с поляками приступали к Козельцу. Они были отбиты с уроном, но Золотаренко ждал гостей к себе и сказал Полтеву: «Теперь нам гетмана выбирать некогда: наступают со всех сторон неприятели». Действительно, 6 января враги явились под Нежином, ворвались в посад и завязали бой с нежинцами. На бою взят был татарин, который объявил, что послал их Хмельницкий из Чигирина для проводывания, есть ли на восточной стороне Днепра царские ратные люди? И черкасы с горожанами хотят ли здесь великому

государю верно служить или хотят поддаться польскому королю? Если царских ратных людей нет, то он с заднепровскими козаками, татарами и поляками пойдет под Переяславль, Нежин и Чернигов, скоро к нему придут из Крыма татары, охочие люди, пока еще Днепр стоит. Услыхав эти вести, Золотаренко сказал Полтеву: «Оставайся здесь, в Переяславль тебе ехать нельзя чрез неприятелей» – и прибавил прежнее: «О гетманском избрании теперь нечего думать: наступают ляхи и татары», 10 января поляки опять приступили к Козельцу и опять были отбиты. Верные черкасы начали наступательные действия и бились с поляками под Остром; а 30 января и 2, 4 и 6 февраля приходили поляки и татары под Нежин и бились с его жителями, но без успеха. С другой стороны, князь Иван Андреевич Хованский в феврале под Друею разбил и взял в плен изменившего государю полковника Лисовского. Скоро пришла весть, что поляки с Чарнецким и татары ушли за Днепр, оставя на восточной стороне татар с тысячу человек да поляков два полка; а в апреле приехали в Москву посланцы от Самка и объявили, что ляхов на восточной стороне Днепра нигде нет, дороги к Киеву, Нежину и другим местам чисты; немногие ляхи, которые были в Триполе, Оржищеве и у Белой Церкви, все отступили в коронные города; остались больные, и тех около Белой Церкви черкасы тайно всех побили; татар также нигде нет; полки Лубенский, Миргородский, Прилуцкий и Полтавский великому государю добились челом; не сдаются только остряне; Серко в Запорожье великому государю служит верно.

Что же это значило? В Москве боялись, что поляки воспользуются чудновскою победою, перейдут немедленно со всеми силами на левый берег Днепра, займут всю Малороссию и двинутся к беззащитной столице царской, а между тем это страшное войско исчезает отсюда! Уж не шведы ли опять напали на Польшу? Не турки ли собрались ворваться в Подолию? Нет: победоносное воинство потребовало жалованья и, не получа его, по обычаю своему, взволновалось, отказалось повиноваться вождям, составило союз под именем *священного* и стало жить на счет польских крестьян.

Таким образом, Польша своею безурядицею дала возможность Москве несколько отдохнуть после ударов 1660 года. Но временное облегчение для Москвы последовало только с одной стороны, с юго-запада, со стороны коронного войска, а в Литве и Белоруссии не прекращались наступательные действия врагов, которым Москва при тогдашнем истощении в людях и казне не могла давать успешного отпора. При этом Малороссия не хотела понимать затруднительного положения Великой России и беспрестанно докучала просьбами о присылке войска, которого негде было взять царю. Самко жаловался, что, кроме небольшого (в 2500 человек) отряда князя Бориса Ефимовича Мышецкого, он не имел никакой помощи от царских воевод; несмотря, однако, на такую беспомощность, он, Самко, не только давал отпор неприятелю, но и сам ходил на него: в Терехтемирове громил татар, под Стайками – ляхов, под Козловом – изменника Сулиму. Посланцы наказного гетмана подали следующие просьбы: 1) чтобы государь прислал в Переяславль ратных людей на помощь; 2) прислал жалованье козакам, которые, будучи с боярином Шереметевым, коней и оружие растеряли, а теперь служат великому государю; 3) чтоб великий государь велел деньги Самковы обменять и прислать к нему; 4) чтоб указал быть у них в городе и над ратными людьми одному воеводе, а не двоим, потому что от двоих порядка не будет; именно приказал бы у них быть стольнику князю Василию Волконскому; 5)



чтоб царские грамоты посылались к ним для уверения за большою печатью. В заключение посланцы объявили от имени Самка, что нежинский полковник Василий Золотаренко с ним в сопротивлении и на раду не поехал. Государь отвечал, что воеводам уже дан указ помогать черкасам, жалованье им князь Ромодановский роздал, деньги Самковы медные обменены на серебряные и отправлены с Мефодием, епископом Мстиславским.

В мае приехали новые посланцы и объявили, что в третье воскресенье после Пасхи была у них рада в поле в Быкове, с милю от Нежина; были на раде князь Григорий Григорьевич Ромодановский с своими ратными людьми, стольник Семен Змеев, наказной гетман Яким Самко, нежинский полковник Золотаренко, полковники прилуцкий, лубенский, миргородский, из Полтавского полка сотники тех городов, которые великому государю добились челом, и все войско тех полков, которые при Якиме Самке. Все выбирали в гетманы Якима Самка, одни нежинцы хотели выбрать своего полковника Золотаренка и приговорили на раде всем Войском отдать гетманское избрание на волю царского величества, кого он, великий государь, пожалует в гетманы. Полтавский полковник Жученко на раде не был, потому что вины свои великому государю не принес и сидит в Полтаве, а при нем держатся городки: Опушня, Котельва, два Санжарова, новый да старый, да Кобыляки. Юрий Хмельницкий в Чигирине, при нем писарь генеральный Тетеря, да Носач, да Грицка Лесницкий, судья войсковой, а войска при Хмельницком никакого нет; посылал он к королю на сейм, и посланец приехал назад ни с чем, даже корму ему королевского не давали. Серко пошел для добычи на Буг, на Андреевский остров, и там стоит с войском своим для татарского прихода; атаман стоит в Запорогах с большим войском; с Серком они сходятся для порядка во всяких войсковых делах, а ни к кому не приклоняются: ни к государю, ни к польскому королю. Посланцы говорили, что на раде положено отдать гетманское избрание на волю царскую, кого государь пожалует в гетманы, но в грамоте, привезенной ими от всех бывших на раде, говорилось: «Мы на той раде между собой усоветовали, что нам самим без ведома вашего царского величества нельзя гетмана выбирать, и потому через послов своих просим: извольте милость свою над нами, верными своими, показать и нам, по давнему обычаю, того гетмана избрать, кого все войско любит, и к нам на это избрание прислать кого-нибудь из ближних своих людей». Государь отвечал, что о гетманском избрании будет им указ вперед.

Указ замедлился в Москве, потому что здесь видели новую смуту в Малороссии вследствие соперничества Самка и Золотаренка; в Москве не хотели спешить выборами и потому, что являлась надежда без кровопролития подчинить себе и западную сторону Днепра. Юрий Хмельницкий, оставленный поляками и татарами, прислал в Москву с объявлением, что он в Слободищах должен был перейти на королевскую сторону поневоле. Он писал государю: «Если что со мною по принуждению заднепровских полковников учинится, если я должен буду повиноваться их принуждению, то вам бы, великому государю, не обвинять меня за это, а я вперед, как можно, стану промышлять о своем обращении и желаю быть по-прежнему в подданстве у вашего царского величества». Действительно, в Польше шли слухи, что Хмельницкий посылал монаха Шафранского в Константинополь к патриарху с просьбою разрешить его от присяги королю, а сам намеревался условиться с Брюховецким и Самком, чтоб они напали на него с

московским войском: тогда он, как будто поневоле, сдался бы на царское имя, извиняясь тем, что поляки не прислали к нему помощи. Говорили также, что Выговский замышляет быть гетманом, но под покровительством Турции. Вследствие присылки Хмельницкого 26 июня отправлен был в Малороссию дворянин Протасьев; царь писал с ним к Самку: «Юрия Хмельницкого не допускают до обращения к нам немногие изменники, заднепровские полковники, которые по ляцкому хотению давно ищут погибели всему Войску Запорожскому; так вы бы, гетман наказный, служа нам, к родственнику своему Юрию Хмельницкому написали, чтоб он обратился и был под нашею высокою рукою по-прежнему; обнадежь его, что если обратится, то вины его все будут забыты и получит он от нас город Гадяч, который прежде был пожалован отцу его; если захочет ехать к нам, то пусть едет безо всякого опасения, увидит милость нашу, получит многое жалованье и честь, а твоя служба забыта никогда не будет». Приехавши в Нежин, Протасьев обратился к воеводе князю Семену Шаховскому с обычным вопросом, как идут дела? Шаховской отвечал, что все хорошо, в полковнике Золотаренке и козаках шатости нет, но есть шатость в мещанах, переписываются с изменником Грицкою Гуляницким и дают ему знать обо всем, что делается в Нежине. Потом Протасьев виделся с полковником, отдал ему царскую грамоту и дары – соболя. Золотаренко тут же стал дарить этими соболями сотников и других начальных людей, говоря им: «Служите великому государю во всем правдою так же, как и я служу, и ни на какие бы вам ляцкие прелести не уклоняться и с изменниками не ссылатся». И июля Протасьев приехал в Переяславль; здесь воевода князь Волконский объявил ему, что Самко великому государю верен, в переяславских козаках и мещанах до сих пор никакой шатости нет, о ляхах и татарах по сю сторону Днепра не слыхать. Получивши эти сведения, посланник обратился к Самку с требованием, чтоб тот по указу царскому завел сношения с Хмельницким. Самко отвечал: «Я великому государю служить рад и к Юрасу Хмельницкому писать стану скоро; но государь прислал бы для него, Юраса, милостивую грамоту, которую я перешлю к нему тайно». Протасьев перешел к другому делу: «Ты, Яким, пишешься к великому государю с *вичем* мимо прежних обычаев, а прежде гетманы, Богдан Хмельницкий и сын его Юрий, писались без *вичи*, просто». Самко отвечал на это: «Я человек неграмотный, а писарь у меня новый, и такие государевы дела мне и писарю не за обычай, вперед я с *вичем* писаться не стану». Самко выразил беспокойство, что в последней грамоте его к царю была прописка в титулах; Протасьев отвечал: «Прописка есть, и посланцам твоим за это выговорено; только царского гнева за это на тебя нет, не сомневайся, а пиши вперед остерегательно». «В письме к Змееву, – продолжал Протасьев, – ты жаловался на царскую немилость, объяви мне, какая это немилость?» «Писал я это прежде, – отвечал Самко, – писал, что служу великому государю, не щадя головы своей, и за мою службу в то время ко мне и к козакам государева жалованья ничего не было, и я думал, что на меня государь гневается, что кто-нибудь ему на меня нанос; думал, что царскому величеству город Переяславль не надобен, потому что князь Григорий Григорьевич Ромодановский и остальных людей из Переяславля взял, и козаки, видя, что город остался безлюден, начали было шататься. Но теперь, когда великого государя милость объявилась, в городе людей прибавляется и в козаках шатости никакой нет. Пожаловал бы великий государь, не велел города

безлюдным оставлять, потому что город украинный; наступит неприятель безвестно, а людей в нем будет мало, так чтоб какая поруха городу не учинилась. Изволил бы государь поскорее прислать своих ратных людей в Переяславль, так я бы стал промышлять над неприятелями, которые за Днепром, чтоб не дать ляхам и татарам собраться вместе». Протасьев уговаривал Самку, чтоб он не оскорблялся, от царского величества немилости к нему никакой нет, писем на него от воевод ни от кого не бывало, и вперед государь ссорам никаким верить не станет. «Великому государю рад служить, – отвечал на это Самко, – на том я ему крест целовал; а великий государь пожаловал бы, ссорам и наносным словам верить не велел, потому что я человек беззаступный и простой».

В Малороссии оправдывали медленность Москвы, уговаривали не давать гетманства ни тому, ни другому сопернику. Во время бытности Протасьева в Переяславле приехал туда нежинский протопоп и говорил царскому посланнику: «Слух у нас есть, что Самко и Золотаренко домогаются от великого государя созвания рады для гетманского избрания. Великий государь не велел бы сказывать гетманства ни Самку, ни Золотаренку потому: если будет Самко гетманом, то Золотаренко не будет ему послушен; а будет гетманом Золотаренко, то Самко станет под ним подкапываться. Пусть великий государь не велит сказывать гетманства ни тому, ни другому, пока утишится вся Украина, а между тем, быть может, обратится к царскому величеству и Юрий Хмельницкий с заднепровскими полками». Сам наказный гетман по крайней мере, по-видимому, отчаивался быть настоящим гетманом, сносился по царскому приказанию с Юрием Хмельницким и давал советы Москве, как поступать относительно западной стороны Днепра. «Надобно, – говорил Самко, – крепить здешнюю сторону Днепра тем, что по Днепру поставить городки и в них посадить людей, да за Днепром занять городок Канев, чем освободится водяной путь до Переяславля и дальше, а больше того в государеву сторону ничего не надобно. Если же Юрий Хмельницкий придет в подданство к великому государю по-прежнему, то за Днепр надобно будет послать ратных людей 20000 и больше и занять там шесть городов – Чигирин, Корсунь, Умань, Канев, Браславль, Белую Церковь. Из этих городов жителей перезвать бы на сю сторону Днепра, а Заднепріе уступить польскому королю без людей; такая уступка будет из воли: польский король к миру придет скорее, и здешняя сторона Днепра под высокою рукою великого государя утвердится; если же этих заднепровских городов не занять и уступить их Польше, то король и этой стороны Днепра уступить не захочет. Если Юрий Хмельницкий поддастся по-прежнему, то ему бы над полковниками быть владетельну; при гетмане непременно должен быть человек, присланный из Москвы для того: если полковник затеет что-нибудь недоброе, то его наказать тайно, если же не уймется, то казнить смертию, а без присланного из Москвы человека быть нельзя». Таким образом, наказный гетман запорожский сам указывал на условия мира с Польшею, по которым западная сторона Днепра должна быть уступлена королю: мы увидим, что это будет исполнено в Андрусове; сам наказный гетман указывал на необходимость присутствия великороссийского чиновника при гетмане: это будет исполнено при Петре Великом. Наконец, Самко, многие полковники и старшие козаки говорили, чтоб царь указал ведать их окольникему Федору Михайловичу Ртищеву, потому что Ртищев к ним ласков, об их прошение всякую речь доносит царю, и, что им скажет, то все правдиво.

Имея соперников, Самко хорошо знал, какими средствами действовали обыкновенно соперники друг против друга. «Я, – говорил он, – служу великому государю верно и радетельно, власти себе никакой не ищу и не желаю. Мне лучше с государевыми людьми ссылаться и советоваться, нежели с своими, потому что от своих ненависть и оболгание». Не одного Золотаренка имел в виду Самко, когда говорил о ненависти и оболганиях: на сцену выступил третий искатель гетманства, уже известный нам Иван Мартынович Брюховецкий. «О промысле над татарами, – говорил Самко, – я стану писать в Запорожье к Серку, а к Брюховецкому об этом писать не стану; лучше писать об этом к Серку, а не к Брюховецкому». Самко еще не высказывался, почему не хочет переписываться с Брюховецким, но Брюховецкий в письме к воеводе Касогову (от 14 сентября) уже прямо обвинял Самка в измене.

Но в Москве тревожились тем, что не одни свои доносили на Самка, доносили и государевы люди. В октябре явился к Хмельницкому хан крымский с ордою, и гетман волею-неволею отправился с татарами за Днепр и осадил Переяславль. Неприятелю не удалось ничего сделать над Переяславлем; но воевода Чаадаев доносил государю, что во все осадное время Самко пил и промысла от него никакого не было, на вылазки не выезжал; если козаки с государевыми людьми выйдут на вылазку, то наказный гетман приказывал вгонять их в город; если козаки возьмут в плен татар, то Самко таил их от царских воевод, таил всякую ведомость. Во время осады Самко три раза съезжался с племянником своим Хмельницким на мельничной плотине и разговаривал тайно. Возвращаясь с свидания, он рассказывал Чаадаеву, что обнадеживал племянника государскою милостию, уговаривал быть под рукою великого государя; но Юраска не слушается поневоле: всем владеют Носач, да Грицка миргородский, да Грицка Гуляницкий. В другой раз Самко прислал к Чаадаеву писаря объявить, что у него с Юрасом ссылка о добром деле, как бы всем быть под государевою рукою; а писарь спьяну проговорился, что ссылка между племянником и дядею идет о том, чтоб вместе соединиться с ханом крымским. Доносили на Самка и жители городов, говорили: «У нас бы и медными деньгами торговали, да старшие, полковники и сотники, берут себе за правожом у нас ефимки, серебряные деньги и польские гроши: оттого у нас медные деньги и в расход нейдут; а Самко приказал, чтоб нигде медных денег не брали».

Тяжела становилась для царя смута малороссийская; со всех сторон доносы в измене: кому и чему верить? Московские воеводы, если бы даже были из них люди вполне чистые по характеру и беспристрастные, как люди пришлые в Малороссии, не могли доставить государю вполне верных сведений об отношениях лиц и партий; нужен был человек тамошний, малороссийский, человек, хорошо знающий людей и отношения их, влиятельный по своему званию, чуждый партий и пристрастия, – одним словом, высшее лицо духовное, архиерей. Но мы уже видели, в какое положение ставило себя высшее духовенство малороссийское относительно правительства московского. Мы видели столкновения с Сильвестром Коссовым. Преемник Коссова Дионисий Балабан изменил царю вместе с Выговским. Таким образом, к смуте политической присоединялась смута церковная, и в Киеве не было митрополита, ибо московское правительство не могло признавать в этом звании изменника Дионисия, а политические смуты не позволяли приступать к избранию другого митрополита,

поднимать вопрос, от какого патриарха зависеть ему – от константинопольского или московского. Временным правителем, блюстителем митрополии Киевской, был епископ черниговский Лазарь Баранович; но этот архиерей не пользовался большим доверием в Москве. Гораздо более усердия великому государю показывал знакомый уже нам протопоп нежинский Максим Филимонов. Он был вызван в Москву, 5 мая 1661 года поставлен в епископы мстиславские и оршанские под именем Мефодия и отправлен в Малороссию в сане блюстителя митрополии Киевской. Мы скоро увидим его деятельность.

Легко понять, что для восточной Малороссии и для Москвы важно было то обстоятельство, что западная сторона не могла воспользоваться смутою, соперничеством между искателями гетманства. Хмельницкий слишком ничтожен, а Польша ослаблена возмущением войска. Только татары напоминали о себе, и не одной Малороссии. В январе 1662 года многочисленные толпы крымцев под начальством князя Ширинского ворвались в севские и корачевские места и захватили множество пленных. Севский воевода боярин князь Григорий Семенович Куракин отправил против них товарища своего Григория Федоровича Бутурлина. Бутурлин напал на разбойников, взял в плен самого князя Ширинского, много татар и, что всего важнее, освободил русских пленников, которых было до 20000. С другой стороны сам хан подошел к Путивлю, но был отброшен воеводою боярином князем Иваном Ивановичем Лобановым-Ростовским и не пошел дальше.

Татарская туча прошла, и опять все внимание царя сосредоточилось на делах малороссийских. Весною 1662 года в Москве узнали, что в Козельце была рада для избрания гетмана, и немедленно пришли об этой раде различные известия: с одной стороны, писал Самко и преданные ему полковники, что на раде был епископ Мефодий, полковники, сотники и есаулы сей стороны Днепра, а черни и всего посполства не было; черни и посполству Самко быть не велел потому, чтоб городу больших убытков не было; на раде выбрали в гетманы Самка до указа великого государя, а как великого государя указ будет о полной раде, то на этой полной раде гетман велит быть всему посполству и черни. Когда после рады присутствовавшие разъехались по домам и приехали в Нежин епископ Мефодий и Василий Золотаренко, то последний епископу говорил, что Самко принял гетманство самовольством, а он, Василий, с своим полком ни в каких расправах его слушать не хочет. «Васюта, – писали приверженцы Самка, – обещал идти к нам в войско, но когда епископ Мефодий в Нежин приехал, то Васюта обещание свое и присягу отменил, на службу вашего царского величества идти не хочет, нам всем сомненье, а неприятелям потеху сделал; нашу верную службу уничижает, самовольно не повинуется власти войсковой, упрямством дома живет, только казну собирает и стережет, а границ не обороняет; боимся, чтоб не исполнилось на нем слово Брюховецкого, что Васюта в конституции у короля написан и сделан шляхтичем». Прося о присылке оборонной грамоты на Золотаренка и всех непослушных, приверженцы Самка просили царя, чтоб оборонил их и от Брюховецкого, который их бесчестит; просили, чтоб всему Войску вольно было всякого старшего и меньшего по рассмотрению с гетманом по своему обычаю карать и чтоб виновного в их глазах никто из воевод московских не защищал, а только со всем Войском приговаривал; «а то теперь князь Шаховской, поверивши несправедливому умыслу Васютину, государевых ратных людей в городки

Нежинского полка посылает, как будто бы мы с гетманом Нежин разорить хотели». Приверженцы Самка извещали, что жители малороссийских городов, послышав о порче медных денег на Москве, не берут их у войска и живности ниоткуда не привозят, государевы ратные люди с голоду умирают и междуусобие беспрестанное в тех городах, где они живут; полки не берут годового жалованья медными деньгами, хотя бы их рубить велели, но всех не перерубить.

Легко понять, какое впечатление должны были произвести в Москве подобные грамоты: Самко и приверженцы его писали бессмыслицу, за которою скрывалось какое-то незаконное дело: что это была за рада в Козельце без черни и поспольства? Гетман выбран, зачем же еще нужна новая рада? Что-нибудь одно: или рада в Козельце была незаконная, или новая рада не нужна! Из грамот самих приверженцев Самка уже можно было видеть, что в Малороссии начинается то же самое, что было при Выговском: гетман выбирается на какой-то странной раде, но вот новый Пушкарь, Золотаренко нежинский, противится, говорит, что избание незаконное, гетманство взято самовольством, и, конечно, царь не должен в другой раз поверить новому Выговскому; а тут еще для довершения сходства приверженцы Самка требуют, чтоб царь позволил им разделаться с противниками, карать их, как Выговский спешил покарать непослушника своего Пушкаря.

Епископ Мефодий спешил оправдать подозрения, естественно рождавшиеся по прочтении грамот Самка и его приверженцев. «Пока не видал я подлинного лукавства наказного гетмана Якима Самка, – писал Мефодий, – до тех пор не смел об нем ничего худого тебе, великому государю, объявить; но теперь, когда лукавство его и неправда обнаружались, трудно мне этого тебе, великому государю, не известить, потому что душа моя отдана богу и тебе. Самко обманул меня и полковников – нежинского, черниговского, прилуцкого и других: писал, чтоб съехались в город Козелец с небольшими людьми для великих государевых дел, для скорых войсковых потреб и для разговору, посоветоваться, как бы с неприятелем управиться. Когда мы к нему съехались, то он начал говорить, чтоб полковники выбрали себе совершенного гетмана, чтоб им было у кого быть в послушании и чтоб было кому против неприятелей стоять; и в ту ночь, 14 апреля, ввел в Козелец несколько тысяч козацкой пехоты, расставил везде караулы и не велел никого выпускать из города. Я ему говорил, чтоб он этого не делал и не приказывал выбирать гетмана до твоего, государева, указа; но он меня не послушал и велел полковникам выбирать совершенного гетмана; я стал говорить полковникам, чтоб не выбирали, но он начал грозить им смертью, и они поневоле выбрали его. 15 апреля я выгнал его из церкви от присяги, а он пуще стал грозить полковникам смертью; те бросились ко мне с просьбами, и я, видя их слезное прошение, чтоб не погубить их, как-нибудь из Козельца вывести, и особенно жалея верного твоего слуги, Василья Золотаренка, позволил Самку делать что хочет». В заключение письма Мефодий просил, чтоб государь поскорее прислал боярина для гетманских выборов, чтоб эти выборы были в поле, а не в городе и чтоб на них были запорожцы с своим кошевым Брюховецким. Мефодий жалел больше всего верного слугу царского Золотаренка и, однако, просил, чтоб на раде был Брюховецкий, который, прокладывая себе путь к гетманству, не щадил ни Самка, ни Золотаренка. Он писал к Мефодию: «Пан Васюта не имеет права перехватывать и драть моих грамот, я не его служка, я царский войсковой холоп; пусть он прежде расплатится за пшеницу, которую с братом покрали в Корсунь, а

теперь запрещает не мне, а всему войску. Завидуют нашей бедной саламате; коли хотят, поменяемся: пусть сюда идут, а мы на их место пойдём, в то время узнают, кто кого обманет. Васюта не надейся, чтоб его здесь слушали, потому что войско в откупах не ходит, как они, хотят выманить булаву и указывать тем, кто их не хочет слушать; научились до году откупа откупать и табак, а войско привыкло умирать только за свои вольности. Этим особым гетманством они до конца землю сгубят. Царское величество обещал не делать насилия войску, признавать гетманом только того, кого чернь, по воле божией излюбив, выберет, а не силою; никогда не бывало, чтоб гетманы были закупные, без заслуг войсковых, а теперь прежде невода рыбу начали ловить; теперь прежде всего надобно землю успокоить. Все войско скучает, говорит: долго ль нам еще такую неволю терпеть, что в городах гетманов ставят на нашу пагубу, а теперь и подавно кричат, что никого не было при князе Ромодановском. Васюта только о богатстве хлопочет, которое в земле погниет, а ничего доброго родине этим не насоветует или к ляхам свезет, чтоб заплатить за шляхетство: ведь он там должен в конституцию, как Гуляницкий и другие; боюсь, чтоб он не задумал чего-нибудь недоброго. Бедная наша отчина гибнет, потому что не хотим оборонять ее от неприятелей, а только за гетманством гоняемся; еще нам нового наследника Выговскому и Хмельницкому паны городские хлопочут прибавить. Самко пуще цыгана всех людей морочит, а он-то и есть главный изменник, на обличение которого посылаю грамоту к вашей святыне; нам не о гетманстве надобно заботиться, а о князе малороссийском от его царского величества; на это княжество желаю Федора Михайловича (Ртищева)».

Самко хорошо знал, что на него со всех сторон посылаются обвинения в Москву, что его выставляют там изменником – слово, пошедшее в ход в Малороссии с легкой руки Выговского, считавшееся верным средством вредить противнику пред великим государем. 30 мая Самко написал в Москву жалобную грамоту, в стопы ног царских челом бил, посылал тридцать человек татар, взятых в плен. «Из этой посылки, – писал Самко, – ваше царское величество рассмотреть изволишь, что, не щадя головы своей с своими переяславскими козаками, бьюсь с неприятелем за ваше величество и за целостность падшей Малороссии. Смиренно молю: покажи премногую милость над верным слугою своим, не дай меня в поношение соперникам моим, которые выставляют меня перед тобою изменником; они в домах своих сидят, помощи нам на неприятеля давать не хотят и, не считая самих себя изменниками, грамотами оправдываются, а работою оправдываться не хотят; а мою работу и верную службу сам господь бог видит; за всех один умирал на пограничье и теперь совсем готовый стою в поле со всеми доброжелательными вашему величеству людьми, жду присылки боярина и милостивого слова от вашего величества. Не знаю, для чего епископ с Васютою меня изменником описывают? Я не перестану плакать об этом до тех пор, пока не пришлешь ко мне таких грамот, чтоб всякий мой противник и непослушник устыдился. Да бью челом, повели, многомилостивый государь, прислать мне деньги, которые я дал взаймы на ратных людей воеводе Чаадаеву: прошу я об этих деньгах, вспомнив, что всякий человек смертен, и если я умру, то некому будет бить о них челом вашему царскому величеству, потому что было у меня два сына, но они вдруг померли, и я хочу, чтоб при жизни моей все мое было у меня. Бью челом вашему царскому величеству, чтоб епископ перестал побуждать на злое, а

те люди, которые были надуты советами епископскими, пусть начнут вместе со мною верно служить вашему царскому величеству. Смиренно молим, изволь на все войско пустить вольный голос о выборе гетманском, по старому предков наших порядку, а епископ чтоб в это не вступался; я хлопочу не о гетманстве, проливаю кровь за целост Малой России и за добрый порядок и убиваюсь впрямь верою и правдою за ваше царское величество». Самко утверждал, что не хлопочет о гетманстве, требовал новой рады, выбора вольными голосами, а между тем на той же грамоте подписался гетманом, не хотел отступить от титула, приобретенного на незаконной Козелецкой раде

Но в то время как раздоры между Самком, Золотаренком и Брюховецким волновали восточную сторону Днепра, на западной Юрий Хмельницкий собрался с силами и, подкрепленный поляками и татарами, начал наступательное движение. 12 июня козаки западной стороны с поляками и татарами, в числе 6000, напали внезапно на Самка, стоявшего табором в трех верстах от Переяславля; битва длилась с полудня до ночи, и Самко отбил. К нему на выручку прислал князь Волконский из Переяславля московских ратных людей, которые и дали ему возможность отступить в Переяславль. Хмельницкий осадил его здесь, но 8 июля Самко с Москвою и козаками вышел на вылазку и поразил неприятеля, который отступил к Каневу. Кременчукские козаки изменили, 23 июня впустили в город две тысячи козаков Хмельницкого, но 500 человек московского гарнизона вместе с мещанами засели в малом городе и отбили осаждавших. Узнав об этом, князь Ромодановский немедленно выслал к ним на помощь десять тысяч московского войска. 1 июля это войско подошло к Кременчуку и ударило на осаждавших; осажденные сделали с своей стороны вылазку, козаки потерпели совершенное поражение, и Кременчук был очищен от изменников. Ромодановский с главными силами своими и с Золотаренком вступил в Переяславль, соединился здесь с Самком и 16 июля напал на таборы Хмельницкого, который потерпел совершенное поражение. Канев и Черкассы были заняты царскими войсками. Но скоро счастье переменилось: Хмельницкому с татарами удалось разбить под Бужином московский отряд, бывший под начальством стольника Приклонского, и прогнать его за Днепр (3 августа); по донесению Хмельницкого королю, 1 августа под Крыловом истреблено было больше 3000 царского войска; под Бужином погибло 10000, козаки и татары взяли семь царских пушек, множество знамен, барабанов и разных военных снарядов. После этого Ромодановский тотчас велел отступать, бросая тяжести; но султан Магмет-Гирей, переправившись с своими татарами через Сулу, настиг Ромодановского, разбил его, взял 18 пушек и весь лагерь. Ромодановский ушел в Лубны. Но Хмельницкий, донося об этих успехах королю, умоляет прислать поскорее помощь, жалуется на свое бессилие, на невозможность удерживать в повиновении украинский народ, шатающийся от малейшего ветра. Тетеря писал королю, что, приехав в стан Хмельницкого на Рассаве, он нашел здесь много беспорядков: сам гетман человек усердный, но войско непослушное. И Тетеря настаивал на том же, что необходимо как можно скорее прислать помощь Хмельницкому, иначе дела примут дурной оборот. В октябре явился к королю Грицка Лесницкий с просьбою от Хмельницкого, чтоб король позволил ему сложить гетманство, ибо он не в состоянии более нести эту трудную должность, будучи молод и разорен подарками, которые должен был давать татарам и которые простираются до миллиона. Лесницкий же привез



страшную новость, что соперничество между Москвою и Польшею, соперничество, разорившее Украину и не могущее окончиться по бессилию обеих держав, пролагает дорогу третьему сопернику: татары, говорил Лесницкий, уговаривают всю Украину, чтоб она отторглась от республики и отдалась в покровительство хана и Порты, которые способны защищать ее, тогда как Польша этого сделать не хочет и не может: поляки ссорятся между собою у себя дома, войско не слушается короля, и если бы не татары, то Польша давно бы уже погибла. Лесницкий прибавлял, что эти внушения могли иметь сильное влияние на чернь. Тетеря доносил, что Войско не терпит Хмельницкого, требует его смены и что едва он, Тетеря, успел уговорить козаков успокоиться; для этого он употребил угрозу, что если они обидят Хмельницкого, то этот богач наймет татар и опустошит Украину. Мы не знаем, действительно ли Тетеря уговаривал козаков не сменять Хмельницкого; знаем только то, что последний в конце 1662 года сам отказался от гетманства и постригся в монахи, а Тетеря избран был на его место. Новый гетман начал тем, что уведомил короля о нестерпимых обидах от Орды, повторяя прежнюю просьбу о присылке ратных людей, ибо если хан придет прежде польского войска, то Украина распрощается с королем. Тетеря писал, что Хмельницкий потому отказался от гетманства, что не мог получить от короля помощи, и он, Тетеря, должен беспрестанно докучать об этом же, а на Войско Запорожское надежда слаба, потому что в нем больше таких, которые желают не спокойствия, а постоянных смятений.

В то время как западная сторона переменяла гетмана, на восточной по-прежнему продолжалась борьба между искателями гетманства, борьба, ведшаяся доносами в Москву. Самко бил челом, чтоб государь отставил его от старшинства, потому что нежинский полковник его слушаться не хочет и наносы на него наносит; жаловался, что в Малороссии трое гетманов, кроме него еще Золотаренко и Брюховецкий: последний самовольно прислал своих козаков в города и в полках берет станции; Самко просил уволить его от гетманства и дать оборонную грамоту, чтоб на него и на имение его наступать не смели и никаких обид не делали. Самко жаловался и на князя Ромодановского, просил, чтоб на его место был прислан другой боярин, потому что Ромодановский, не слушая его советов, тратит войско, слушается только Мефодия и Золотаренка, генеральной рады не собирает, отчего смута и своеволие, ибо он, Самко, как гетман несовершеннолетний, распоряжаться не может. «Мефодий и Васюта, – продолжает Самко, – отговариваются от рады отсутствием запорожцев: но у нас всегда, по стародавним правам, гетманов выбирали в городах без запорожцев, потому что Войско Запорожское одно, выходящие из Запорожья должны по своим полкам расходиться. Теперь орда нас заперла и множество людей побила; а на Преображенев день под самыми Лубнами татары, напавши на табор нежинский, многих побили, сам полковник, табор оставя, наперед ушел в Лубны. Все это приключилось оттого, что епископ и Васюта отвели князя Ромодановского от совета с нами, в поле, в безхлебие вывели; неопытные в делах войсковых, епископ и Васюта были виновниками потери славы и людей. А я, вашего царского величества верный слуга, хотя и уничижен ими, загоны все из-за Днепра вывел и в Переяславль пришел в целости. Умоляю, милосердый государь, вели князю Ромодановскому или кому-нибудь другому собрать полки козацкие, чтоб больше, как бедные овцы без пастыря, не ходили и не гинули, но при своих вольностях

стояли бы за веру православную, а теперь и сами не знаем, за что погибаем?» Относительно Юрия Хмельницкого Самко извещал, что он посылал к нему каневского полковника Лизогуба уговаривать покориться государю; но Хмельницкий велел расстрелять посланного в Чигирине и с ним вместе многих других каневцев, черкасцев, корсунцев, которые начали было радеть государю. За это Самко велел порубить 10 человек пленных поляков, «потому что мы, – писал он в Москву, – никакого добра от ляхов не ищем». Потом Хмельницкий дал знать Самку, что слагает с себя гетманство и идет в монахи.

Самко жаловался на Мефодия за то, что епископ этот вместе с Золотаренком советовали Ромодановскому медлить созванием рады; а Мефодий писал царю, что Самко не поехал на раду сам и другим запретил; полковники нежинский и черниговский отговорились дальностью пути и тревожным состоянием страны; иные полковники, боясь Самка и глядя на Золотаренка, не поехали. Брюховецкий писал, что Самко – изменник, потому что хулит московские серебряные копейки, велел спалить суда, которыми царь пожаловал Войско низовое, Кодак уступил татарам, Кременчук, сговорись с Хмельницким, сжег; верных государю людей отослал к Хмельницкому, который, по его письмам, переказнил их. А тут еще церковная усобица: митрополит Дионисий Балабан послал к константинопольскому патриарху с жалобой, что Мефодий изгнал его и силою похитил митрополичий престол посредством мирской власти. По просьбам Балабана и Хмельницкого патриарх выдал на Мефодия проклятие, которое Балабан переслал в Киев, отчего здесь произошло сильное волнение между духовными и мирскими людьми. Мефодий просил царя ходатайствовать у патриарха о снятии проклятия.

В таких смутах проходил 1662 год. Зимой нечего было думать о созвании рады, имевшей прекратить эти смуты, и потому 19 декабря отправлен был из Москвы в Малороссию стольник Ладыженский с объявлением, что весною должна быть непременно рада, на которую обязаны все явиться, а для прекращения неудовольствий на зиму Ладыженский должен был объявить Брюховецкому, стоявшему в Гадяче, чтоб он шел на зиму к себе в Запорожье, а весною приходил опять для рады. Это требование сильно не понравилось Брюховецкому; он отвечал Ладыженскому: «Не дождавшись государева указа и полной рады, в Запороги мне появиться нельзя, свои козаки меня убьют тотчас, зачем я столько людей водил и, не дождавшись рады, пришел. Самко заказ делает в городах крепкий, чтоб в Запорожье никто не ходил и запасов не пропускал; а если надо мною Самко или козаки что сделают, то Запорожье смятется и в городах будет замятия большая. По сношениям с Самком Юраска Хмельницкий многих за Днепром полковников и козаков казнил, которые великому государю добра хотели; а чернь вся и теперь хочет поддаться великому государю; когда выберется гетман всеми вольными голосами, пункты закрепятся и черным людям в поборах легче будет, то за Днепром, смотря на это, черные люди поддадутся великому государю». Ладыженский, по наказу, повторял царское требование; Брюховецкий расплакался: «Рад я государю служить и голову за него положить; но выгреб я с козаками в судах, у козаков лошадей нет, живучи здесь многое время, пропились все донага, зимою идти нельзя, тотчас меня убьют свои козаки; да и Самко великому государю не верен, на дороге меня убьет, как Выговский Барабаша, и если надо мною что случится, то, говорю тебе сущую правду, вся Украина

смутится и Запорожье отложится. Если государь весною полной рады учинить не велит, то я извещаю, что Самко поддастся королю: для этого Юраска Хмельницкий и гетманство сдал Павлу Тетере по родству. Чего прежде у нас никогда не бывало, нынче гетман, полковники и начальные люди все города, места и мельницы пустопорозжие разобрали по себе, всем владеют сами своим самовольством и черных людей отяготили поборами так, что в Цареграде и под бусурманами христианам такой тягости нет. Когда будет полная черная рада и пункты все закрепятся, то все эти доходы у гетмана, полковников и начальных людей отнимут, а станут эти доходы собирать в государеву казну государевым ратным людям на жалованье: поэтому-то наказный гетман и начальные люди полной черной рады и не хотят». 14 января 1663 года у Брюховецкого с его козаками был круг; в кругу козаки кричали, что они наги и бесконны и пешком им в Запорожье никак идти нельзя; а еще накануне, 13-го числа, Брюховецкий написал царю такую грамоту: «Мы, все Войско Запорожское, с великою охотою ради бы указ твой исполнить, но не можем, потому что время зимнее; теперь на зиму из Запорожья в города за хлебом приходят, а не из городов идут в Запорожье; притом же путь туда из Гадяча дальний, с полтора ста миль; а за порогами никаких городов нет, ни сеют, ни орут, только отсюда из городов хлеб добывают, и то разве саблюю. Умилосердись, государь праведный, не дай погибнуть головам нашим от безбожных изменников, изволь несколько полков ратных людей к нам прислать, а в городах позволь быть нам до полной рады».

В Гадяче Ладыженский нашел и епископа Мефодия, который был совершенно на стороне Брюховецкого и говорил московскому посланнику те же речи, что и тот, так же толковал об измене Самка; приехали полковники – полтавский, миргородский и зенковский – и подтвердили слова Брюховецкого и Мефодия. Ясных доказательств измены Самковой представить не могли и потому внушали, что Юрий Хмельницкий Самку племянник, а Самкова сестра за Павлом Тетерею, которому Хмельницкий сдал гетманство, и как только Самко сделается совершенным гетманом, то непременно изменит. Рассказывали, что Беневский с ханом все пункты положил и хан к королю приказывал, чтоб черкасам для прелести жаловал большие почести, хотя бы кого и в краковские воеводы пожаловал, только бы всех черкас обратил к себе; а когда все черкасы будут под властью короля, то он будет их мало-помалу сжимать и приведет их в свою волю; для этого он и прислал Павла Тетерею и велел ему принять гетманство у Юраски Хмельницкого. В Гадяче Ладыженский узнал, что Золотаренко сблизился с Самком и согласился на избрание его в гетманы; московского посланника известили, что Золотаренко все свое имение перевез из Путивля в Нежин. «По этому их верность знать можно, – толковали Ладыженскому, – пока Золотаренко с Самком не едналися, до тех пор государю и прямил, а теперь имение свое все из Путивля перевез, чтоб у него ничего в старых государевых городах не было». Мефодий говорил Ладыженскому: «Мне по государеву указу ехать в Киев нельзя, не смею, потому что Самко государю не прочит, хочет изменить, а меня велит погубить; государь бы пожаловал, до полной рады велел мне жить в Гадяче».

Когда Ладыженский приехал в Переяславль, то здесь Самко рассыпался перед ним в жалобах, что он служит верою и правдою, а государь его не жалует, гетманом после козелецкого избрания не утверждает. Ладыженский отвечал, что государь не утверждает его по розни полковников, которые не все в Козелецкой

раде были, и хочет, чтоб его, Самка, выбрали полною радюю, согласно с правами. Самко продолжал: «Если государь епископа Мефодия из Киева и изо всех черкасских городов вывести не велит, а быть ему на раде, то мы и на раду не пойдем; никогда и митрополиты на раду не езжали и в гетманы не выбирали; служить великому государю от таких баламутов нельзя, я гетманство с себя сдаю, выбирайте себе, черкасы, ласкового господаря. Государевы люди живут в Переяславле многое время, государево жалованье дают им деньгами медными, а у нас, в черкасских городах, деньгами медными не торгуют; от этого ратные люди оскудели вконец и начали воровать беспрестанно, многих людей без животов сделали, жить с ними вместе нельзя». Ладыженский упомянул о царской милости к нему. Самку; тот отвечал: «Посланники, приезжая из Москвы, всегда мне государские милости сказывают, а не только что государева жалованья не могу дожидаться и своих денег, которые дал взаймы воеводе Чаадаеву на жалованье государевым ратным людям 4000 рублей». Ладыженский отвечал, что деньги не привезены потому, что дороги небезопасны. Потом Самко обратился к Брюховецкому: «Зачем Брюховецкий называется гетманом? В Запорожье бывают только кошевые атаманы; Брюховецкому верить нельзя, потому что он полулях; был ляхом, да крестился, а в войске не служивал и козаком не бывал, служил он у Богдана Хмельницкого, и приказано ему было во дворе, а на войну Богдан его с собою никогда не брал. Козаки порознь по своим лейстрам (реестрам) переписаны, а мужики себе переписаны будут; леестровые козаки станут государю служить, а с мужиков станут собирать государеву казну и хлебные запасы; а теперь, в этой розни, у великого государя все пропадает, называются все козаками, на службу нейдут и государевой казны не платят; а как неприятели наступят, то козаки леестровые многие, не хотя государю служить, а мещане, не хотя податей давать, бегают в Запорожье, да только на себя рыбу ловят, а сказывают, будто против неприятеля ходили».

В то время как Ладыженский жил в Переяславле, приехал человек Самка, Жилка, посланный к Тетере. Ладыженский зазвал Жилку к себе и расспрашивал, потчевал и дарил и вот что узнал: был он, Жилка, у гетмана Павла Тетери, а Юраска Хмельницкий при нем постригся, и жить ему в Чигирине в Новоскицком монастыре. Писал Самко к Тетере, чтоб им друг с другом жить мирно, а Тетеря писал, чтоб им соединиться и поддаться королю; но козаки говорят, чтоб сложиться с татарами; а татары говорят, что у турецкого они отягчены великою данью и им бы от турецкого отложиться да с черкасами жить заодно: Павел Тетеря на той стороне непрочный гетман, пойдет опять в Польшу к королю, потому что он секретарем у короля. Ладыженский после разговоров с Жилкою пошел к Самку и потребовал, чтоб он дал ему все письма, присланные Тетерею. Самко отвечал: «Теперь я начал пить, имею вольность, а какие у меня есть листы, все пошлю в Москву». Тетеря, давая знать королю о сношениях своих с Самкою, писал: «Пан Самченко склоняется отчасти к добру и, как я понял из его письма, прельстится еще больше, если ваша королевская милость уверите его и всех заднепровцев явным ручательством и другою особою привилегиею в том, что не будете мстить ни ему и никому из Заднепровского Войска и что наравне с нами даруете ему свободу и милость».

В Гадяче Ладыженскому говорили, что Золотаренко соединился с Самком, хочет его в гетманы; в Переяславле Самко утверждал, что в Нежине была рада,

полковники и чернь выбрали его в совершенные гетманы и лист ему прислали, закрепя руками своими и печатями; а на весну по траве быть раде только затем, чтоб князю Ромодановскому отдать ему при полковниках и при всей черни пункты и привилеи. Но когда Ладыженский сказал об этом в Нежине Золотаренку, тот отвечал: «В Нежине у нас рада была нынче о том, чтоб государь пожаловал, велел до весны полную раду отсрочить, а до полной рады быть старому гетману, Самку, чтоб между нами розни не было; а на полной раде кого всею чернью выберут, тому и быть гетманом; в совершенные гетманы Самка не выбирали; это он затеял; он беспрестанно ссылался с Юраскою Хмельницким, а теперь ссылается с Тетерею, и верить ему нельзя».

И в грамоте к царю Самко повторил просьбу не допускать епископа Мефодия на раду; повторил и жалобу на воровство московских ратных людей, которые били, грабили переяславцев и называли их изменниками; Самко требовал смертной казни виновным и жаловался на переяславского воеводу князя Волконского, который воров не казнит, как будто сам с ними вместе ворует. Царь в марте месяце отправил в Переяславль стольника Петра Бунакова разыскать по жалобе наказного гетмана. Когда Бунаков явился к Самку и подал ему царскую грамоту, тот отвечал, что на царской милости челом бьет, но что розыску обидным делам сделать нельзя: ратные люди обижали переяславцев долгое время, так что иные обиженные побиты на боях, другие взяты в плен, иной челобитчик и есть, да ответчика нет, ответчик налицо, так челобитчика нет, и потому теперь от переяславских жителей на ратных людей челобиться не чаять; пусть великий государь пожалует, вперед своим ратным людям обижать переяславцев не велит. Бунаков жил в Переяславле с 29 мая по 28 июня, на съезде двора сидел каждый день, и во все это время только раз приведен был драгун, пойманный в краже, повинился, был бит кнутом на козле и в проводку и отдан на поруки. Бунаков призвал переяславских начальных людей и спросил их, будут ли наконец челобитные от переяславцев на московских ратных людей или нет? Те отвечали, что по прежним челобитным некоторые переяславцы учинили сделки с обидчиками; иные ратные люди в исках сидят в тюрьме и стоят на правеже; а вновь челобитий вскоре не чаять и ему, Бунакову, в Переяславле жить, надобно думать, незачем.

Между тем в апреле месяце Брюховецкий писал к князю Ромодановскому, что Самко с Тетерею тайно войну ведут против великого государя таким обычаем: Тетеря татар призывает, а Самко государевых бедных людей грабит и платеж вымышляет; теперь, говорят, по его же призыву три тысячи татар пошли к Путивлю, чтоб помешать раде. Но татары не помешали раде. Еще в марте государь отправил в Малороссию окольного князя Данила Великого-Гагина объявить старшине, войску, мещанам и черни, чтоб они учинили черневую генеральную раду для выбора совершенного гетмана всеми вольными голосами, кто им будет люб, по их стародавним войсковым правам и по переяславским статьям. Под Нежином в июне месяце собралась эта рада: приехали епископ Мефодий, Самко, Брюховецкий, все полковники и вся старшина, было все войско и мещане. Брюховецкий и отсюда не замедлил отправить донос в Москву; 8 июня он писал царю: «По указу вашего пресветлого царского величества, благодетеля нашего милостивого, пришел я с войском на раду под Нежин и стою в Новых Млынах, потому что полковники и чернь просят, чтоб я сжидался с ними. А

Васюта Золотаренко докладывался у окольного князя Великого-Гагина, чтоб позволили ему с нами драться, потому что не любит правды, которую ему чернь хочет в глаза говорить и объявлять его измену, что он с Самком усоветовал отложиться от вашего царского величества, для чего и города все укрепили, и колокола на пушки перелили. Только их совет господь разорил счастьем вашего царского пресветлого величества, и если бы эти смутники на сей стороне Днепра чернь не обманывали, то и та сторона давно бы под вашею высокою рукою была; полковник Поволоцкий недавно побил всех ляхов и жидов, которые были в его полку; теперь он один так сделал, а если б не Самко с Васютою смущали здесь народ, то и все полковники за Днепром сделали бы то же, что Поволоцкий». Брюховецкий подписался: «Верный холоп и нижайшая подножка пресветлого престола».

Наконец судьба искателей гетманства решилась. 18 июня была знаменитая черная, или генеральная, рада, о которой так много толковали и переписывались. Не дали еще Гагину дочитать царского указа о гетманском избрании, как с одной стороны раздались крики: «Брюховецкого!», а с другой: «Самка!», но за криками следовала драка: запорожцы Брюховецкого кинулись на приверженцев Самка; бунчук наказного гетмана был сломан, он сам едва мог выдраться из толпы и скрыться в шатер царского воеводы; несколько человек было убито; победители запорожцы столкнули Гагина с его места и выкрикнули своего кошевого гетманом. Гагин, однако, не дал Брюховецкому утверждения от имени царского: Самко объявил ему, что гетманство Брюховецкого, приобретенное насилем, не есть законное, что ни он, ни Войско не признает его гетманом и что необходимо собрать новую раду. Рада была созвана, но Самко не получил от нее никакой выгоды, потому что приверженцы его перешли на сторону Брюховецкого, провозгласили его гетманом и стали грабить возы своей старшины; единственною причиною такого отступничества малороссийский летописец полагает непостоянство своих соотечественников. После этого нового избрания, против которого нельзя было ничего сказать, Гагин дал булаву Брюховецкому. Запорожцы праздновали свое торжество трехдневным убийством: гибли неприязненные Брюховецкому полковники, и их место заступали запорожцы. Новый гетман отправил в Москву благодарственное посольство и вместе с Мефодием по-прежнему твердил об измене Самка и Золотаренка; обвиненные отданы были на войсковой суд, по древнему обычаю казацкому; судьями были враги-победители, которые и приговорили побежденных к смертной казни; приговор был исполнен в Борзне 18 сентября в присутствии обозного Ивана Цесарского, киевского полковника Василия Дворецкого и прилуцкого Данилы Песоцкого. Вместе с Самком и Золотаренком казнены были: Афанасий Щуровский, Аникий Силич (полковник черниговский), Степан Шамрицкий, Павел Киндей, Ананка Семенов, Кирилл Ширяй. Десять человек: Семен Третьяк, Матьяш Панкеев, Дмитрий Черняевский, Самойла Савицкий, Михайла Вуяхеев, Фома Тризнич, Иван Воробей, Семен и Прокофий Кулженские, Левка Бут, лубенского Мгарского монастыря игумен Виктор были отвезены в оковах в Москву; отвезли их те же Цесарский и Дворецкий. Украина волновалась. В Чернигове все начальные люди радели полякам, купцы и чернь тянули к Москве. Черниговский епископ Лазарь Баранович хвалился, что он удержал Новгород-Северский за Москву. В Киеве воевода Чаадаев успел приобрести

всеобщую любовь, но волновалось войско по причине медных денег: двадцать медных денег платили за одну серебряную.

Таким образом и прекращение распри между искателями гетманства не обещало продолжительного спокойствия в Малороссии; а между тем Польша оправилась, войско получило жалованье, Мы уже упоминали, что в Белоруссии и Литве война продолжалась очень неудачно для Москвы. Осенью 1661 года Хованский вместе с Ординым-Нащокиным потерпел новое поражение при Кушликах от литовского войска, бывшего под начальством Жеромского; из 20000 русских не более тысячи спаслось в Полоцк вместе с Хованским и раненым Нащокиным; Литва хвалилась, что потеряла только человек около 40 убитыми и взяла множество пленных, в том числе сына Хованского; девять пушек, знамена, образ богородицы, бывший с Нащокиным при Валиесаре и которым так дорожили и царь и воевода, достались победителям.

Потеряны были Гродно, Могилев, самая Вильна. В этой столице Литвы сидел воеводою стольник князь Данила Мышецкий только с 78 солдатами. Сам король осадил Вильну и отправил к Мышецкому литовского канцлера Паца и подканцлера Нарушевича с требованием сдачи, обещая для воеводы и всех ратных людей свободный выход к московским границам с казною и со всем имением. Мышецкий отвечал, что сдаст город, если король позволит ему распродать весь хлеб и соль и даст ему под его пожитки 300 подвод. Король не согласился на распродажу хлеба и соли и обещал дать воеводе только 30 подвод. Тогда Мышецкий объявил, что хотя все помрут, а города не сдадут. Король велел своему войску готовиться к приступу. Узнавши об этом от перебежчика, Мышецкий велел у себя в избе, в подполье, приготовить 10 бочек пороху и хотел, зазвавши к себе в избу всех солдат, как будто бы для совещания, запалить порох. Но солдаты проведали об этом умысле, схватили воеводу, сковали и выдали королю. Когда его привели к Яну-Казимиру, то он не поклонился: король, видя его гордость, не захотел с ним говорить сам, а выслал канцлера Паца спросить его, какого он хочет милосердия? «Никакого милосердия от короля не требую, а желаю себе казни», – отвечал Мышецкий. Его желание было исполнено; перед казнью читали сказку, что Мышецкого казнят не за то, что он был добрый кавалер и государю своему служил верно, города не сдал и мужественно защищался, но за то, что он был большой тиран, много людей невинно покарал и, на части рассекши, из пушек ими стрелял, иных на кол сажал, беременных женщин на крюках за ребра вешал, и они, вися на крюках, рождали младенцев. Перед смертию осужденный написал духовную, которую потом один монах доставил в Москву: «Память сыну моему, князю Ивану Даниловичу Мышецкому, да жене моей, княгине Анне Кирилловне: ведайте о мне, убогом: сидел в замке от польских людей в осаде без пяти недель полтора года, принимал от неприятелей своих всякие утеснения и отстоялся от пяти приступов, а людей с нами осталось от осадной болезни только 78 человек; грехов ради моих изменили семь человек: Ивашка Чешиха, Антошка Повар да Сенька подьячий – и польским людям обо всем дали знать. От этого стала в замке между полковниками и солдатами шаткость большая, стали мне говорить шумом, чтоб город сдать; я склонился на это их прошение, выходил к польским людям на переговоры и просил срока на один день, чтоб в то время, где из пушек разбито, позаделать; но пришли ко мне начальные люди и солдаты все гилем, взяли меня, связали, заковали в железа, рухлядь мою пограбили всю без остатка, впустили

польских людей в замок, а меня выдали королю и просили казнить меня смертью, а сами все, кроме пяти человек, приняли службу королевскую. Король, мстя мне за побитие многих польских людей на приступах и за казнь изменников, велел казнить меня смертью». Приговор был исполнен поваром княжеским; тело казненного похоронено в Духовом монастыре. После в Вильне рассказывали, что многие люди видели, как обезглавленный воевода расхаживал около своей могилы.

Смоленский воевода князь Петр Долгорукий, извещая государя об успехе, одержанном князем Данилою Борятинским над поляками при Благовичах (в Могилевском уезде), прибавляет: «В Быхове хлебных запасов ничего нет, ратные люди едят траву и лошадей». В самом Смоленске на рынках не было хлебного привоза, потому что уездные люди, обмолотивши хлеб, ссыпали его в ямы, а солому жгли и никто не вез хлеба на продажу в город. Царь должен был грозить им за это жестоким наказанием безо всякой пощады. Грозя смоленским уездным людям наказанием за укрывательство хлеба, царь приказывал пустошить вконец другие уезды, не имея другого средства вредить усиливающемуся неприятелю. Так, в сентябре он послал указ Долгорукому отправить ратных людей в уезды Дубровинский, Оршанский, Копысский, Шкловский, Могилевский, Кричевский с тем, чтоб они забрали жителей, хлеб и скот, а сено и солому жгли без остатку, чтоб польским людям в зимнее время пристанища не было. Ратные люди исполнили охотно этот царский указ в надежде обогатиться добычею. Они подошли под Копыс, разбили неприятеля, сделавшего на них вылазку из этого города. Ходить на приступы было запрещено, чтоб не тратить людей, в которых чувствовался большой недостаток. Желая пострадать жителей Копыса и принудить их к сдаче без бою, воевода Толочанов велел пускать в город гранаты, от которых загорелось два двора. Тут солдаты, ударив в барабаны, закричав ясаком, пошли на приступ. Толочанов бросился к полковникам, крича, что на приступы ходить не велено; полковники отвечали, что солдаты пошли без их приказанья, самовольно. Тогда воевода отправил полковников Вильяма Брюса и Николая фон Залена отвести солдат от города, послал с полковниками есаулов и дворян; но полковники, возвратясь из-под города, объявили, что солдаты их не послушали, поручиков и дворян перебили, полковника Брюса ранили по руке, фон Залена кирпичом в голову. Приступ не удался, солдаты были перебиты и переранены. Толочанов спрашивал возвратившихся с приступа, зачем они пошли без приказанья? Те отвечали: «Нам обухов не перетерпеть, мы всеми полками скажем, что нам велели идти полковники и начальные люди». Если слышались частые жалобы из Малороссии на побеги ратных людей, то в Белоруссии было то же самое: из отряда майора Дурова убежало 35 человек, у полковника Жданова 57, налицо осталось 564; у стрелецкого головы Колупаева не пошло на службу из Москвы 46 человек, ушло 128, налицо 209; у полковника Дефрома убежало 226 солдат, налицо 330 и т.д. Борисов еще с 1660 года находился в осаде; в 1662 году воевода его Кирилла Хлопов писал, что ратные люди беспрестанно бьют челом о соли, а ему дать им нечего и он боится, чтоб от них не сделалось чего-нибудь дурного, потому что они сильно скучают и изменяют, начали перебегать к польским людям. Смоленский воевода князь Петр Долгорукий доносил, что у него порошу и фитилю нет. В мае месяце из Кобрина вышел полковник Статкеевич с тем, чтоб стянуть литовские отряды, находившиеся в Полоцком, Витебском, Борисовском и



Минском поветах, идти с ними в Оршу и стеречь, чтобы осажденные в Быхове и Борисове не получали из Москвы подкреплений и запасов; узнав, что из Смоленска к Быхову идут московские ратные люди с денежною казною и запасами, Статкеевич послал свое войско перенять их. В пяти верстах от Чаус, между реками Пронею и Басею, поляки Статкеевича встретились с русскими, бывшими под начальством иностранца, генерал-майора Вильяма Друмонта: в упорном бою 15 знамен старой королевской пехоты были истреблены все до одного человека, конницу победители топтали на 15 верстах и взяли в плен 70 человек. Но этот частный успех не мог переменить общего хода дел в пользу Москвы. Поляки знали, что пехота начинает перебегать из московских полков вследствие скудного жалованья, получаемого медными деньгами; что для предупреждения побегов солдат и стрельцов в Смоленске не пускают за городские стены; что иностранные офицеры недовольны опять вследствие плохого жалованья медными деньгами и насильственной задержкою в России; что солдаты бегут из самой Москвы и из полков украинских, бегут в степи и в Сибирь; что в Москве сам царь лично два раза упрасивал войско не покидать службы; что большая половина смоленской шляхты склоняется на сторону королевскую; что в самой Москве по причине медных денег дороговизна, голод и возмущения. В Литве, в местечке Виленях, в это время находилось 242 русских чиновных пленника, в том числе один стольник (князь Петр Иванович Хованский), 3 полковника, 2 стрелецких головы, 4 подполковника, 7 ротмистров, 2 майора, 8 капитанов, 15 поручиков, 11 прапорщиков, 103 человека дворян и детей боярских. Так как их содержали очень дурно, то царь считал своим долгом посылать к ним деньги, что еще увеличивало военные расходы: так, в начале 1662 года роздано было пленным в Литве 836 золотых червонных да взаймы, для нужды и голоду, дано 82 золотых. Кроме того, были пленные у короля, Чарнецкого и других сенаторов.

Чем хуже шли дела в Белоруссии и Литве, тем сильнее становилось в Москве желание мира. В 1661 году попытка царя задержать военные действия мирными переговорами не удалась. Съезд посольский, обещанный в октябре, не состоялся. В марте 1662 года новый посланник царский, стольник Нестеров, приезжал в Варшаву с тем же предложением перемирия на время посольских съездов. Сенаторы отвечали, что если царь уступит королю Киев, Переяславль, Нежин и все черкасские города Заднепровской Путивльской стороны, также Полоцк, Витебск, Динабург, Борисов и Быхов, то король велит заключить перемирие и удержать войска месяца на два или на три для посольского съезда, которому быть на Поляновке. Нестеров отвечал, что в два или три месяца уполномоченные не успеют съехаться; для перемирия на два или на три года он уступит королю Борисов, о других же городах ему говорить не наказано; потом согласился уступить еще Динабург: но паны объявили ему решительно, что перемирия не будет, а ратные люди отведутся на 15 миль от того места, где будет назначен съезд уполномоченных; сенаторы прибавили, что если постановлять договор о перемирье, то надобно посылать к крымскому хану, что потребует много времени; без пересылки же с крымским ханом перемирья заключить нельзя. Нестеров отвечал на это: «Удивительно, что королевское величество и вся Речь Посполитая в государстве своем без ведома искони вечного христианского неприятеля крымского хана сделать ничего не можете и не смееете; а крымский хан между

христианскими государствами никогда покою не пожелает, и о том королевскому величеству крымского хана спрашивать не доведется». Паны отвечали: «Крымский хан нам товарищ, да и король и вся Речь Посполитая перемирья заключить не хотят». На это Нестеров сказал: «С которой стороны перемирью не быть, с той стороны и правде не быть». Но царские уполномоченные – боярин князь Никита Иванович Одоевский, боярин князь Иван Семенович Прозоровский, думный дворянин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и думный дьяк Алмаз Иванов уже отправились в Смоленск, куда к ним высланы были и польские пленники – гетман Гонсевский, полковники Неверовский и Обухович с товарищами, всего 212 человек, потому что за этих пленников король обещал отдать окольного князя Осипа Щербатого, стольников князей Семена Щербатого и Григорья Козловского, Ивана Акинфова; а гетман Гонсевский обещал государю, что за него король даст кроме означенных пленников еще князя Петра Хованского. Гонсевского немедленно отпустили из Смоленска в Шклов; но русские пленники не были возвращены, потому что Потоцкий, Любомирский, Чарнецкий, на долю которых они достались, не хотели отпустить их без окупы. Между тем из Борисова пришла весть, что съестные запасы все вышли и немцы сильно скучают; в Москве признали невозможным поддерживать долее этот город и послали приказ воеводе его Хлопову покинуть Борисов. 9 июля Хлопов исполнил приказ, вышел из города со всеми ратными людьми, пушками, запасами и казною.

Лето проходило. Польские комиссары не являлись для переговоров. Австрийские послы, приехавшие для посредничества, жили понапрасну в Смоленске. В августе приехал в Смоленск выпущенный из плена окольный князь Осип Щербатый; но вместе с ним приехал львовский купец грек Кирьяк, который заплатил за пленника Потоцкому 20000 золотых польских и теперь приехал искать своих денег. Так как Потоцкий взял деньги вопреки решению короля и сейма, определивших, чтоб пленных не давать на окуп, то в записи, данной Щербатовым, было означено, что окольный посулил гетману подарок за его добродейство. Полномочные послы велели выгнать Кирьяка из Смоленска и писали шкловскому коменданту: «Вы пишете в своей грамоте, что окольный князь Щербатов отпущен из шкловской крепости по приказу королевскому за гетмана Гонсевского: так вопреки указу королевскому с какой стати он будет еще платить деньги за какое-то добродейство гетмана Потоцкого? То ли гетманское добродейство, что вопреки присяге своей вместо увольнения пленником его сделал и, по бусурманскому обычаю, захотел его продать? Когда гетман Гонсевский по милости великого государя нашего из плена был освобожден, то на нем никаких подарков никто не спрашивал. Христианское ли то дело, чтоб христианину христианами как скотом торговать и прибыли по-бусурмански искать?» Несчастный грек считал также себя вправе думать, что с ним поступили по-бусурмански: он писал к Одоевскому с товарищи: «Сам князь Щербатов обещался мне и поручился; вы обещались, что будет мне свободный пропуск в Москву. Я у пленников был отцом и добродеем, а теперь как изменник выгнан из Смоленска. Христианское ли это дело – бедного торгового человека приводить к такой пагубе, что мне уже незачем к бедным моим детям возвратиться? Камень бы заплакал, смотря на мою обиду, какой и бусурманы не делают. Такие обиды государства до пагубы приводят. Со слезами к ногам вашим припадаю,

пропустите меня к наияснейшему царю, а он, государь христианский великий, еще ни одному нашему брату торговому человеку обиды не сделал и бедных сирот не ослезил». Потоцкий прикрыл выкуп именем подарка, но Чарнецкий не считал нужным церемониться: он прямо потребовал с пленных, находившихся у него в Тикотине, с 75 человек окупу 16000 рублей, мех рысий или за него сто рублей денег да барса; пленники посулили окуп, не стерпя тяжелой нехристианской неволи и немерной работы. Послы отписали Чарнецкому, чтоб он, зная сеймовое постановление о размене пленных, оставил бусурманский обычай; отписали всему войску коронному, чтоб оно московских пленников высылало на размену на своих поляков, которых множество в Московском государстве. Наконец в сентябре освобождены были обещанные за Гонсевского знатные пленники – князя Семен Щербатый, Григорий Козловский, Петр Хованский, Иван Акинфов. Для остальных назначена была в местечке Горах генеральная размена, для чего съехались с обеих сторон разменные комиссары; меняли чин на чин и человека на человека; на время размены условились прекратить неприятельские действия. В октябре комиссары разъехались, не кончивши размены; русские комиссары жаловались на несоблюдение условий со стороны поляков. Во время размены королевские ратные люди приходили под Витебск, в Витебском повете села и деревни разорили и город держали в большой тесноте; другой отряд поляков приходил под Великие Луки, выжег посады, в уезде села и деревни разорил; наконец во время же размены поляки напали на русский отряд, возвращавшийся с хлебными запасами из Полоцка в Витебск. Польские комиссары не отдавали русских начальных людей на обмен за польских, своих начальных людей называли волонтерами и шишами; за русских полковников и полуполковников просили своих товарищей по шести и по семи человек; товарищей, драгунов и челядников, брали выбором, шляхту, свою братью, родовитых людей, называли челядью и хлопцами и давали за них не против их версты людей боярских и мужиков, побранных в обозах и в дороге за возами, а не на бою. Тщетно русские комиссары настаивали, чтоб поляки брали за полковника шляхты и драгунов по четыре человека, за полуполковника по три, а за иные чины, кроме прапорщиков, по два; поляки делали по-своему и, оставя своих пленных, человек с двести, уехали из Гор и задержали русских пленных, начальных людей, в Шклове. Освобождено же было русских пленников всего 438 человек, поляков отпущено 381 человек; за разменом осталось в Смоленске поляков и литвы 366 человек да у князя Петра Долгорукого 150; польские комиссары потому требовали так много шляхты за начальных русских людей, что между польскими пленными начальных людей не было. Не зная еще о прекращении размены, из Москвы продолжали высылать польских пленников, так что в ноябре в Смоленске было их 611 человек; двор, на котором прежде помещались пленники, и тюрьма стали тесны, а на мещанских дворах ставить их было нельзя, потому что все дворы были заняты ратными людьми. Пленным давали – шляхтичу по десяти медных денег на день, челяднику и драгуну по шести, да каждому по четверику сухарей и по гривенке соли на месяц. Но воевода смоленский князь Петр Долгорукий объявил, что в казне сухарей мало и вперед пленным давать будет нечего. Государь, получив об этом известие, велел Одоевскому давать за русских начальных людей столько польских пленников, сколько запросят комиссары, лишь бы русские люди, будучи в плену, не померли напрасною смертью.

Но число русских пленников, начальных людей, увеличивалось у поляков: 16 декабря королевские войска под начальством полковника Черновского взяли приступом Усвят, пленили воеводу и многих государевых людей побили и побрали в плен; шляхетский ротмистр Глиновецкий, шляхтич Сестринский и мещанский войт были повешены за то, что не сдали города полякам. Посланец Одоевского Дичков понапрасну жил в Вильне, дожидаясь какого-нибудь ответа от комиссаров; те отпустили его ни с чем, отговариваясь, что сами не получают никакого приказа от короля. Дичков привез в Смоленск известие о страшной смерти гетмана Гонсевского и маршалка Жеромского: 16 ноября явились в Вильну товарищи войсковые Хлевинский да Новошинский с толпою ратных людей и спрашивали, где Гонсевский и Жеромский? Им сказали, что Жеромский в церкви у обедни, а Гонсевский у себя дома лежит болен. Новошинский отправился в церковь, где был маршалок, и потребовал, чтоб тот ехал с ним к войску. «Дайте мне отслушать обедню», – отвечал Жеромский. Тут солдаты схватили его и силою повели из церкви. Напрасно служивший обедню священник говорил им, что они этим оскорбляют дом божий; солдаты обругали ксенза изменником, вывели Жеромского и повезли его за город. Отъехавши 12 миль по Гродненской дороге, на реке Немане солдаты бросились на свою жертву, иссекли саблями и забили обухами до смерти. По той же дороге Хлевинский вез в карете больного Гонсевского, с которым сидел его домовый ксенз. В десяти милях от Вильны гетмана встретил еще отряд ратных людей; увидя их, Гонсевский сказал ксензу: «У Минуция написано, что нынешнего дня будет убит великий человек вместе с товарищем своим». Только что он успел сказать это, как ехавшие навстречу солдаты поравнялись с каретою и закричали, чтоб он выходил. «Для чего выходить?» – спросил гетман. «Выходи! – кричали солдаты с ругательствами. – Пришел твой час!» Гонсевский вышел и стал говорить: «Везите меня в войско, потому что по правам нашим и челядника без суда не карают, не только что гетмана». «Не указывай!» – закричали солдаты и хотели немедленно его расстрелять; несчастный мог вымолить только сроку, чтоб исповедаться у ксенза. Убийцы выставили три обвинения против Гонсевского: 1) При освобождении своем из плена присягнул царю, что с помощью Орды и шведов подведет Польшу под власть государеву; разглашали, что у гетмана захвачены царские грамоты. 2) Пропустил в Ригу товарные струги смоленских и витебских мещан. 3) Приехал в Вильну Устин Мещеринов с грамотами, без войскового ведома был у гетмана ночью и грамоты ему отдал. Жеромского убили за то, что был с Гонсевским в одной думе.

В феврале 1663 года царь приказал Одоевскому пересмотреть пленных, находившихся в Смоленске, и разделить их на две части: которые познатнее, тех держать в Смоленске, а которые похуже, тех отпустить в Польшу без размены и наказать им бить челом королю, чтоб он сделал то же и с русскими пленниками. Вслед за тем отпущена была из Москвы другая толпа пленников, также без размены. Одоевский с товарищами получил приказ возвратиться в Москву, а в Польшу еще в 1662 году отправился Ордин-Нащокин с предложением тесного союза под условием уступки Смоленска и северских городов, как было до Смутного времени, с предложением денег для расплаты с бунтующим войском за уступку Южной Ливонии. Но знаменитый московский дипломат не успел в своем

деле: чтоб заключить выгодный мир, король считал необходимым перейти самому на восточный берег Днепра.

В третий раз страшная опасность начала грозить Москве. 8 сентября отправлена была к находившемуся при Брюховецком воеводе стольнику Кириллу Хлопову такая грамота: «Говорить гетману тайным обычаем: если король польский со всем войском коронным и с изменниками черкасами той стороны Днепра и с крымскими татарами станет наступать всеми силами, то, по самой конечной мере, если устоять против них будет нельзя, гетман должен укрепить осаду во всех городах и, соединившись с воеводою князем Григорием Григорьевичем Ромодановским, отступить к пограничным московским и черкасским городам, к крепким местам, где пристойнее, по своему рассмотрению». Для удержания союзников королевских, татар, еще прежде успели подкрепить Запорожье: туда от Белгородского полка Ромодановского отделен был отряд из 500 человек драгунов, солдат и донских казаков под начальством стряпчего Григория Касогова. Сначала этого отряда было достаточно, потому что война велась мелкая: кременчугские казаки опять перешли в королевскую сторону, их примеру последовали жители городов Потока и Переволочны. В Кременчуге засел наказный гетман западной стороны Петр Дорошенко. Узнавши, что в Запорожье пробирается московский отряд, Дорошенко в июле месяце послал проведать об нем двести казаков и сотню татар, которые столкнулись с людьми Касогова под Кишенкою и были побиты; переволочане опять поддались великому государю; Касогов в другой раз побил татарских загонщиков под Кишенкою и, соединившись с запорожцами и калмыками, отправился в сентябре за Днестр; здесь выжгли они ханские села, много в них побили армян и волохов и 20 сентября возвратились в Сечь все в целости; на другой день, 21-го числа, явились в Сечь 1200 запорожцев, которые ходили на море, пришли они пешком и рассказывали кошевому своему Ивану Серко и Касогову, что настигли их на море турецкие суда, бились с ними три дня и две ночи, на третью ночь казаки утекли от турок к берегу, изрубили свои суда и полем пустились домой. 2 октября Серко и Касогов выступили под Перекопъ; 11-го числа ночью Серко с пешими черкасами и солдатами вошел в Перекопский посад с крымской стороны, а Касогов с конными черкасами и русскими людьми пришел к воротам перекопским с русской стороны; большой каменный город был взят, но малого русские взять не могли и ушли, зажегши большой город; янычары и татары преследовали их верст с пять. 16 октября Касогов и Серко возвратились в Сечь; из отряда Касогова было убито только десять человек; пленных в Сечь не привели, порубили, не пощадив ни жен, ни детей, на том основании, как доносил Касогов, что в Крыму и Перекопи было поветрие; но приехали в Москву запорожские посланцы с тою же вестью о походе под Перекопъ и объявили: «В Перекопи при нас морового поветрия не было, слышали они, что было поветрие, но задолго до их прихода; пленных мы всех порубили, будучи между собою в ссоре, а кошевой атаман Иван Серко писал про моровое поветрие к гетману Брюховецкому, думаем, от стыда, что языков к нему послать было некого, потому что войском всех побили».

Скоро после этого начали приходять от Касогова печальные вести: он писал, что 23 ноября прислал изменник Тетеря в Запорожскую Сечь посланцев своих двух крыловских мещан с прелестными листами, и когда эти листы читали в раде,

то половина запорожцев не хотели и слушать, но другие обрадовались; начались шатости в Запорогах большие; Серко боится за себя, за московского воеводу и за всех государевых ратных людей; запасы, привезенные Касоговым, вышли, а покупать в Запорожье – осминка муки ржаной стоит пять рублей, а пшеница и не добыть ни за какие деньги, отчего многие ратные люди разбежались. Касогов приготовился уже к смерти и писал к отцу своему: «Батюшка! Помилуй меня, дай благословение и прости, потому что, думаю, в последний раз пишу к тебе. Если черкасские города сдадутся, то и Запорожье сдастся королю и мне с Серком тут мат: и теперь бунтуют и на нас совещаются; чуть только осияют, сейчас выдадут нас или ляхам, или татарам. Смилуйся, государь! девочку мою не покинь! Ох, жаль, как душе с телом, с нею расстаться и не видеть до дня Судного! Больше писать не умею от печали лютой; помилуй меня, прости грешника и не забудь за меня к богу через нищих послать и душу мою бедную помянуть; челядь мою русскую вели отпустить на волю, а татар вели удержать, на обмене пригодятся. Умились над бедною, век свой в горе скоротавшею моею женою-сиротою, не вели ее оскорбить после меня; не утешилась, бедная, при мне, только состарилась и от бедного житья сокрушилась».

От гетмана сначала приходили хорошие вести: осенью 1663 года, 15 октября, Брюховецкий дал знать царю, что генеральный есаул взял приступом город Поток; 23-го воевода Хлопов дал знать, что они с гетманом ходили под Кременчуг и взяли его со всеми людьми, нарядом и знаменами. Но в то же самое время получена была в Москве грамота Мефодия из Киева (от 12 октября); епископ писал, что 8 октября король Ян-Казимир пришел в Белую Церковь, которая от Киева только в 60 верстах; в Киеве малоллюдно, а город большой. «Бога ради, – писал Мефодий, – изволь, великий государь, в прибавку прислать в Киев ратных людей поскорее; да и к гетману изволь прислать войска, а гетман Иван Брюховецкий тебе от всего сердца верно служить хочет; укажи князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому поспешить в украинские и черкасские города, также и другим войскам от Севска, Путивля и Брянска, потому что там войска эти даром стоят, только даром людей едят, а здесь очень надобны. Киев, Чернигов и вся Украина тебе, великому государю, очень надобны, потому что за этими черкасскими городами твое Российское государство как за стеною твердою стоит и стоять будет; сохрани боже уступить Киева и других черкасских городов, тогда король и ляхи дальше пойдут; кто тебе об уступке Киева станет советовать, тот богу и тебе враг и изменник. Прошу также милости, вели переменить переяславского воеводу князя Василия Богдановича Волконского: человек упрямый; лучше его переменить, нежели из-за его вражды с гетманом какая поруха учинится». Царь отвечал, что велел сменить Волконского и на его место будет пока воевода Хлопов. 11 ноября получено было письмо от Брюховецкого (из Гадяча от 30 октября). «Верный и во веки неотступный холоп, низко пред пресветлыми царского пресветлого величества престола ногами до лица земли упавая и смиренно бьючи челом», уведомлял, что король имел совещание в Белой Церкви со всеми начальными людьми, изменниками и султаном крымским, после чего король придвинулся к городу Ржищеву на берег Днепра и войска его начали переправляться за реку у Ржищевской пристани. «Я, – писал Брюховецкий, – все свои полки против неприятеля собираю и иду вместе с воеводою Кириллом Осиповичем Хлоповым. Но высоким своим разумом извольте рассмотреть, что

нам с такими малыми войсками на польские, татарские и изменничьи войска идти опасно; а князь Ромодановский ваших указов не исполняет и с войском на оборону малороссийских городов нейдет, пишет ко мне, что войско распустил, пишет ко мне, что пойдет в малороссийские города, когда к нему калмыки придут, тем самым поход свой вдаль откладывает, а неприятель, не слыша о силах, против него идущих, в отчине вашего царского величества распространяется и города прельщать будет. Не только князю Ромодановскому, но и боярину Петру Васильевичу Шереметеву и калмыкам надобно со мною соединиться; против короля надобно приготовиться строем, ибо хотя при нем и малые силы, однако это не Выговский и не Гуляницкий; надобно готовиться, чтоб города на этой стороне удержались в верности; неприятель готовится на бой кровавый, и султан крымский загонов не распускает; я послал в Запорожье к Серку, чтоб с калмыками шел к Чигирину». Киевскому полковнику Василию Дворецкому, бывшему тогда в Москве, Брюховецкий писал: «Удивляюсь радению князя Ромодановского, который, собравши войско, все лето стоял в Белгороде, а как узнал о приходе королевском, то войско по домам распустил: не знаю, уж не пришла ли к нему грамотка от брата его, Выговского? Приход королевский на Украину дело великое: никто ни чем не откупится, а я своею лысою головою силы неприятельские не сдержу, некому уже стало верить! Изволь Федору Михайловичу (Ртищеву) обо всем словесно объяснить, пусть не кручинится, что пишу обо всем правду: когда Украину потеряют, то и всем достанется».

В это время приезжает в Малороссию для переговоров с гетманом государевых тайных дел дьяк Дементий Минич Башмаков, привозит старшине соборей на 1700 рублей, и вот со всех сторон сыплются к нему доносы. Мефодий дал ему знать из Киева, чтоб охал осторожнее: малороссийские жители шатки и непостоянны, верить им нечего; под час неприятельского прихода чайть от них всякого дурна; в Глухове атаман и войт толковали, что черкасам никому верить нельзя, люди непостоянные и некрепкие, против неприятелей долго стоять не будут. Воевода Хлопов передавал вести, полученные тайно от Брюховецкого, что в Киеве дела очень плохи от умысла злых людей: король идет к Киеву по присылке киевских жителей, а вся злая беда учинилась от старицы Анжелины, которая учит в Киеве епископу дочь грамоте и, что услышит от ученицы, про все дает знать в Польшу и к Тетере. «Надобно думать, – говорил Брюховецкий, – что у епископа есть прозябь большая и неверность в раденье великому государю; об этом я заключаю из того, что киевские монахи взяли себе на поруки нежинского атамана Шлютовича, который ушел, отпустили его монахи нарочно и велели ему, собрав козаков и татар, приходить на государевы черкасские города. Я за этими монахами посылал прилуцкого полковника Песоцкого, но епископ их ко мне не присылал, а взял с них золотые червонные. Боюсь, чтоб епископ злым своим умыслом не сдал Киева королю. Если король через Днепр переправится, то боюсь, чтоб все малороссийские города вдруг ему не сдались; при мне войска в сборе ничего нет, и рад бы я собраться, но козаки меня не слушают, не собираются нигде, и потому буду сидеть в городах в осаде до прихода государевых больших полков».

17 ноября свиделся Башмаков с гетманом в Батурине и говорил ему: «В Нежине на генеральной черновой раде ты выбран гетманом всеми вольными голосами и присягнул на верное и вечное подданство великому государю; и великий государь вас, гетмана, старшину и всю чернь, держит под своею

самодержавною высокою рукою в милостивом жалованье по прежним вашим правам и вольностям и по переяславским статьям, какие постановлены в 59 году при прежнем гетмане, Юрии Хмельницком, и вам бы, выслушав те статьи, подписать». Статьи были прочтены; но гетман и старшина, выслушав их, отвечали: «Нам всех этих статей за разореньем от неприятельских приходов и за скудостью никак содержать теперь невозможно; в то время, когда эти статьи становлены, Малая Россия вся, обеих сторон Днепра, была в соединении и у царского величества в подданстве, и города хотя и были поразорены, да все не так, как теперь». «Постановление этим статьям давнее, а не новое, – возразил Башмаков, – гетман Богдан Хмельницкий их содержал». «При Богдане Хмельницком, – отвечал гетман, – неприятели так, как теперь, не наступали, да и наступать было нельзя, за обороною великого государя сами неприятелей гоняли, и малороссийские жители в то время были во всяких покоях и зажитках». Пуще всего гетман с старшинами из статей Богдана Хмельницкого отговаривали вторую статью, о сборе в царскую казну денежных доходов, да шестую, о раздаче жалованья Войска Запорожского начальным людям и козакам. «Пристойное ли это дело, – говорили они, – что у сбору и раздаче быть войтам, бурмистрам, радцам, и с кого теперь такие многие доходы собирать и козакам раздавать; только это дело начать, и мне, гетману, от козаков и места не будет, всякий захочет жалованья, а собрать будет не с кого». Громче всех кричали судья войсковой Юрий Незамай да стародубский полковник Иван Плотник; чтоб подкрепить себя перед царским посланцем, они наконец сказали: «Новые переяславские статьи принимали заднепряне, а теперь они в измене». «На Нежинской раде, – возражал Башмаков, – вы этих статей не оспаривали, под статьями приложены руки таких людей, которые теперь у государя в подданстве вместе с вами, служат верно и ни в какой измене не оказались; потом, вы хотите оставить именно те статьи, которые были присланы гетманом Богданом Хмельницким и содержаны им до конца жизни, и потому оставить их никак нельзя. Ты, Незамай, и ты, Плотник, говорите, что заднепровские жители все в измене; но этими словами вы и себя к изменникам причисляете, потому что жены ваши, дети и родичи теперь за Днепром, а можно было вам до неприятельского прихода на эту сторону Днепра их перевести. Вы все отговариваете вторую и шестую статьи за скудостью и неприятельским нашествием, но тому не всегда быть. Если вы в статьях усмотрели что-нибудь ненадобное, то вы бы прислали бить челом об этом великому государю, а самим бы вам его государской воли не отговаривать; помните ли, что Павел-апостол написал: рабы владыкам во всем да повинуются».

Гетман и старшина уступили, приняли все статьи и подписали 19 ноября, обещая бить челом о тех статьях, которых по настоящему времени содержать нельзя. Башмаков объявил, что государь жалует Войску имение Самка и его советников; гетман и старшина били челом до лица земли, но приговорили с Войском, чтоб все это имение, по стародавнему обычаю, отдать вдовам и сиротам казенных, потому что за одну вину дважды не карают. Башмаков потребовал, чтоб во все малороссийские города послать универсалы под войсковым жестоким караньем, велеть всех прежних и нынешних перебежчиков сыскать и отправить на прежние места жительства и учинить впредь заказ крепкий под смертною казнию – Московского государства служилых и всяких чинов людей, боярских холеней и крестьян в малороссийские города не принимать, чтоб от этого государевой



службе и податям порухи, а помещикам и вотчинникам напрасного разоренья и убытков не было. Гетман отвечал, что теперь этого сделать нельзя, ибо жители здешней стороны Днепра, услыша о таком договоре, могут передаться королю; а как война минует, тогда царское требование исполнить будет можно. Башмаков говорил: козельские и остренские жители, скупая хлеб в Глухове и других местах, отпускают за Днепр без ведома гетмана и старшин, этим поднимают цены на хлеб здесь и помогают заднепровским изменникам и татарам; так надобно запретить продавать хлеб за Днепр, кроме Киева. Если же запретить этого нельзя для удабривания заднепровских жителей, чтоб они склонялись под царскую руку, то позволять им покупать хлеба указное число с гетманского и старшин ведома, и они станут считать это себе за великое благодеяние и друг другу начнут выставлять вашу доброту и переселяться на здешнюю сторону от тамошнего разоренья. Гетман с старшинами отвечали, что по этому предмету уже давно выданы крепкие универсалы и еще будут выданы.

Потом Башмаков указал гетману на беспорядки, господствующие в Малороссии: «Не только козаки не переписаны, но и мещане и поселяне, их земли, мельницы и уголья, не переписаны ранды и коморы для поборов, оброков ни на что не положено; ты, гетман, и вы, старшина, не знаете, сколько теперь в Войске козаков и что им доведется дать жалованья в год, сколько с мещан и с угодий их каких поборов в год собрать можно? Козаки без переписи на службе бывают не все, ездят по своей воле и из полков отъезжают без вашего отпуска». Гетман и старшина отвечали, что теперь, когда неприятель над головами, реестра писать и казны собирать нельзя, а как военная пора минется, тогда будет можно. Наконец Башмаков потребовал, чтобы малороссиянам запрещено было ездить в Великороссию с заповедными товарами, с вином и табаком; гетман обещал разослать универсалы с угрозою, что, если кто из малороссиян будет пойман в великороссийских городах с вином и табаком, у тех вино и табак будут отбираться на царское величество безденежно. Наконец, гетман обещал давать на прокормление московским ратным людям, которые будут в Малороссии для ее защиты: воеводам – по мельнице с двумя колесами мучными, головам и полковникам – по 50 осмачек, подполковникам и майорам – по 25, ротмистрам и капитанам – по 20, поручикам, прапорщикам и сотникам – по 10, рейтарам, драгунам, солдатам и стрельцам – по 4 осмачки ржаной муки на год.

Толкуя с царским дьяком, гетман постоянно напоминал, что неприятель над головами, и наконец гроза разразилась: король перешел на восточную сторону. Чтоб привлечь к себе малороссиян, он выкупал у татар русских пленников и отпускал их по домам; ратным людям запрещено было брать что-либо силою у жителей, и три шляхтича были повешены за нарушение этого предписания. Надобно было употреблять нравственные средства, ибо материальных было у короля очень недостаточно: для завоевания страны при самом Яне-Казимире находилось только три полка конных, в них 25 хоругвей, под хоругвию человек по 50 и по 60; пехоты при короле было только 300 человек; у гетмана Потоцкого – три полка конных козацких, пехоты 4000 человек да две роты гусар; у Чарнецкого – три хоругви гусар, три полка козацких, в которых 36 хоругвей, под хоругвию человек по 60 и по 80, да 400 драгун; у Песочинского – 9 рот немцев, 150 солдат (жалдаков), три полка поляков, в которых 800 человек. Союзных татар было 5000; 14000 литовского войска, под начальством Сапеги, Паца и Полубенского, стояло в

Досугове. Король надеялся, что одного появления его достаточно, чтоб вырвать восточную сторону из рук царя, и сначала действительно успех порадовал его: тринадцать городов отворили ворота полякам; но потом дела приняли другой оборот: надобно было останавливаться под городами, тратить время и людей. Лохвица не сдавалась и была взята только жестоким приступом, на котором осаждающие потеряли много народу. Не сдался и Гадяч: к нему подошел Тетеря с ляхами и козаками, изготовил уже *приступные вымыслы*, но отошел прочь, услышав о движении калмыков и князя Григория Ромодановского. Сам король потерпел неудачу под Глуховом и должен был вывести за Десну свое голодное войско: только оплошность царского воеводы князя Якова Куденетовича Черкасского спасла поляков от совершенного истребления.

Прошла и третья туча. Неуспех Яна-Казимира поддержал спокойствие в Запорожье. Серко и Касогов остались целы и невредимы и не сидели праздно в Сечи: 6 декабря вместе с калмыками отправились они опять под Перекоп, чтоб мешать хану идти на помощь к королю и взять языков. Они спокойно жгли татарские села в *кутах* над Черным морем, отгромили русского и черкасского полона больше ста человек, как 11 декабря напали на них Татарские толпы из Перекопи; русские и калмыки, отбиваясь, отступали две мили к реке Колончаку, здесь устроили кош, учинили бой, перекопскую орду побили и рубили татар до самой Перекопи, живых брать в плен калмыки не дали, в руках кололи. Эти подвиги по-прежнему совершались с самыми незначительными силами: с Серком было 90 человек черкас, с Касоговым 30 человек донских козаков да 60 калмыков, а татар, если верить Касогову, было человек с тысячу. В январе 1664 года Серко отправился за две реки – за Буг и за Днепр, где, напавши на турецкие села повыше Тягина, многих бусурман побил и добычу великую взял; из-под Тягина пошел на черкасские города, лежащие по Бугу; жители этих городов, как только слышали о приходе Серка, так тотчас же начали ляхов и жидов сечь и рубить; Браславский полк и Калницкий, Могилев (на Днестре), Рашков, Уманский повет поддались московскому царю. Вследствие этих успехов Москвы на западной стороне Днепра составилась план – вытеснить поляков отовсюду и провозгласить господство царя; начальниками движения были митрополит Иосиф Тукальский, преемник Дионисия Балабана в королевской стороне, и киевский воевода, бывший гетман, которого в Москве не иначе называли как изменником, Иван Астафьевич Выговский. Еще в 1662 году освободившийся из польского плена князь Козловский объявил: «В Вильне наместник Духова монастыря Дорофеевич говорил мне: приехал в Духов монастырь архимандрит Бутович, духовный отец Выговскому; великому государю надобно бы его пожаловать соболями, а он говорит, что надеется Выговского и заднепровских козаков уговорить поддаться по-прежнему государю». Неизвестно, воспользовались ли в Москве этим объявлением и завязали ли сношения с Выговским посредством Бутовича, только в начале 1664 года Выговский вошел в сношения с полковником Сулимою, который должен был поднимать восстание во имя царя и Выговского, истреблять польских старост, отнимать имения у шляхты. Но польский полковник Маховский предупредил замысел, захватил Выговского и после военного суда расстрелял его как уличенного изменника, а Брюховецкий в универсале своем от 23 марта провозгласил, что Выговский погиб за веру христианскую. Иосиф Тукальский был заточен в Мариенбург вместе с монахом Гедеоном Хмельницким. Несмотря на

неудачу этого предприятия, поляки должны были теперь уже защищать западную сторону Днепра от царских войск: 4 апреля в Крылове сошлись с Серком Касогов с своею маленькою дружиною и остальные запорожцы с наказным кошевым Сацком Туровцом. Касогов доносил, что заднепровские полки, чернь вся с радостью поддались под государеву руку, ляхов и Тетериных единомышленников побили. Но не поддавался Чигирин и призвал к себе Чарнецкого, который с 2000 конницы 7 апреля напал на Серка и Касогова под Бужином; после жестокого боя русские, по словам Касогова, пришли к Бужину в целости, а поляков побили много. Чарнецкий осадил их в Бужине; они отбивались от него день и ночь с 7 по 13 апреля и отбились. Чарнецкий отступил; Серко и Касогов воспользовались этим и перешли в Смелую, но здесь были снова осаждены Чарнецким и Тетерею и снова отсиделись без урона для себя. Освободившись в другой раз от осады, Серко и Касогов отправились на восточную сторону Днепра, где соединились с новым отрядом московских ратных людей и с калмыками. Тетеря писал к канцлеру Пращмовскому, что только мир с Москвою может успокоить Украину; он предлагал также, опираясь на мнение Чарнецкого и всей старшины козацкой, что самым лучшим средством для предупреждения бунтов козацких будет отделение нескольких старост, где бы козаки жили под управлением своих гетманов, не зная старост и подстарост; этим уничтожатся все неприязненные столкновения козаков с республикою. Тетеря опять указывал на страшную опасность со стороны татар, явно стремящихся оторвать Украину от Польши; и на этом основании Тетеря считал мир с Москвою необходимым, в противном случае просил короля уволить его от гетманской должности.

Между тем Брюховецкий с московским воеводою Петром Скуратовым стояли обозом под Каневом. 21 мая напали на их обоз поляки и татары и, побившись, отошли прочь, В тот же день Брюховецкий и Скуратов вошли в Канев, а на другой день, 22-го числа, явился под городом сам Чарнецкий с хорунжим коронным Собеским, с полковником Маховским, Тетерею и татарами; бой под Каневом продолжался с утра до вечера; неприятель отступил и стал с версту от города. Шесть дней было спокойно, на седьмой, 29-го числа, Чарнецкий, отпустив свои обозы ко Ржищеву, сам двинулся опять под город и всеми своими силами ударил на гетманскую пехоту. Та дрогнула и опрокинулась на Московский солдатский полк Юрья Пальта; солдаты выдержали натиск; того же дня Чарнецкий пошел из-под Канева и, отошедши десять верст, стал на Днестре выше Канева, а 2 июня пошел от Днепра к Корсуни, отправив под Канев небольшой отряд конницы, чтоб помешать русским преследовать его по дороге. От Корсуни Чарнецкий отступил за Белую Церковь, под местечко Ставищи, приступал к нему жестокими приступами, но не мог ничего сделать, потерял, как доносили в Москву, 3000 человек и сам был ранен. Чарнецкий остался под Ставищами, а Тетеря с половиною татар пошел к Умани и к Днестру, чтоб жителям Уманского и Браславского полков, поддавшимся московскому государю, не дать убрать хлеба с полей и попытаться, нельзя ли опять склонить их в королевскую сторону. На прелестных письмах его нарисован был крест и образ богородицы: этим крестом и образом он клялся, что не будет никому мстить, и обещал, что ляхи не будут начальствовать над малороссиянами.

Татары приносили полякам большую пользу тем, что, перебегая загонами из одного места в другое, не давали царским войскам возможности

сосредоточиваться и действовать наступательно значительными силами. Царь писал Серку, чтоб соединился с гетманом Брюховецким; Серко отвечал, что ляхи и татары ежедневно около их украинских городов докучают и он пойдет не прежде к гетману, как неприятель отступит. Серко стоял в Торговице; Брюховецкий не двигался из Канева и велел Касогову вместе с несколькими козацкими полковниками учинить промысл над Корсунью. 1 августа за пять верст от Корсуни поляки напали на Касогова и поразили его. Русские потеряли убитыми одиннадцать человек рейтар и солдат, тридцать человек черкас; кроме того, многие ратные люди, прибежав к болоту, коней потопили и оружие пометали; Касогов жаловался государю: «Иные рейтары, солдаты, донские козаки и черкасы перед походом и из похода, не дождавшись боя, побежали домой; беда случилась от малолюдства: в походе со мною было рейтар 85 человек, солдат – 120, козаков разных городов – 470, черкас с 500 человек конных да 1000 пеших; но этой пехоте ляхи не дали со мною соединиться; в моем полку самих козаков немного, все наймиты, овчары да из винниц работники, и малых ребят много, а сами козаки живут по домам своим». О состоянии тогдашнего войска и причинах медленности и неуспехов его всего лучше может дать понятие письмо Касогова из Канева: «Твоих, великого государя, ратных людей со мною до 18 сентября оставалось рейтар 68 человек, солдат – 159, а с 18 сентября в ночь бежало солдат 18 человек, 19-го числа сбежало рейтар 24 человека; у оставшихся со мною запасов нет; в Каневе твоих ратных людей очень мало, а неприятели приходят беспрестанно; из городов воеводы беглых на службу не высылают, и на то смотря, и остальные разбегутся». Московские ратные люди били челом государю, что у гетмана в малороссийских городах хлебных запасов в сборе много, а им дают мало, голодны они и безодежны. Царь писал Брюховецкому, чтоб он службу свою и раденье показал, кормил и одевал ратных людей, также чтобы и калмыков довольствовал живностью и конскими кормами. «Я, верный вашего пресветлого царского величества холоп, – отвечал Брюховецкий, – весь запас, который с недожженных неприятелем мельниц доходит, не на свой пожиток обращаю или продаю; начиная с весны, мало не каждый месяц запасы вашим ратным людям раздавали в Каневе, Переяславле, в Запорожье, в Кодаке; вашего царского величества ратные люди, забравши жалованье и хлебные запасы, продают их и потом бегут с службы домой, по дорогам людей грабят и побивают, а пришедши домой, скудостью и нуждою вины свои покрывают и меня, верного холопа, пред престолом вашим напрасно оглашают. А об одежде что мне сказать? никакого денежного прихода с Украины ниоткуда к моим рукам не доходит, и потому в ум свой не могу вместить, откуда одежду ратным людям промыслить. На это нужна денежная казна, а с миру и с уездных людей податей собирать нельзя, потому что на этой стороне Днепра, сквозь Украину, остававшуюся при вашем царском величестве, неоднократно меч неприятельский прошел, а этот меч не обогащает, а разоряет мир, за достоинство вашего царского величества страждущий; не только неприятельские, но и собранные против неприятеля войска в продолжение всех этих лет людей разорили. На Украине было обыкновение после войны разоренным людям вольности на несколько лет давать, и потому я этой вашего царского величества грамоты перед войском, перед всем миром до сих пор не объявлял, боясь смятения, боясь того, чтоб на восточной стороне Днепра не усумнились, а на

западной не обратились к неприятелям, испугавшись тягостей. А для калмыков станция собрана и готова, только б приходили поскорее».

Несмотря на побеги ратных людей и скудость оставшихся, Касогов 21 октября отправился к Умани, чтоб уберечь ее от Чарнецкого. Чарнецкий и Тетеря переняли его в Медвине и держали в осаде четыре недели: бои и приступы были жестокие, по словам Касогова. Поляков и немцев побито и живых взято много, а из московских людей убит был только один человек; Чарнецкий отступил от Медвина, Касогов отправился назад в Канев, но на дороге декабря 12-го под Староборьем выдержал новый бой с поляками и с корсунскими черкасами и опять вышел победителем.

Другого войска, кроме касоговского отряда, Москва не могла выслать на западную сторону Днепра. Но из Малороссии по-прежнему приходили беспрестанные просьбы о присылке новых войск. В Москву доносили, что по черкасским городам во всех людях возмущение великое и страх пред неприятелем при виде, как мало московских ратных людей. Приверженные к царю малороссияне приходили в отчаяние, говорили: «Видно, наши города государю не надобны»; особенно поднялся сильный ропот, когда пришла весть, что боярину Петру Васильевичу Шереметеву велено остановиться в Севске и не ходить в Малороссию; на гетмана Брюховецкого никто не надеялся, ни во что его ставили, говорили явно: что же делать, по нужде придется изменить государю и поддаться ляхам, если нет из Москвы помощи. Раздор между Брюховецким и Мефодием разгорался. Мефодий, прежде с таким жаром выставлявший верность Брюховецкого, теперь толковал: «Чтоб великий государь не во всем на гетмана полагался, ни в чем меня гетман не слушает; прежде всего надобно укреплять города государевыми ратными людьми: тогда гетман поневоле будет государя бояться и служить ему верно». Мефодий указывал на возможность переменить Брюховецкого и выбрать гетмана обеими сторонами Днепра; по его словам, Тетеря присылал к нему монаха с предложением: если государь его простит, то он обещается служить верно и помирить с крымским ханом, и когда этот мир состоится, то Войску Запорожскому дать раду, чтоб козаки выбрали в гетманы кого захотят.

В январе 1665 года явились в Москву посланцы Брюховецкого объявить великому государю «кровавое и неусыпное радение и труд правый отчины его малороссийской, которая есть преддверие Великой России; если государь потеряет ее, не приславши на Украину ратных людей, тогда неизбежная в Российской земле война будет. Ведя кровавую войну лето, осень и зиму, города помощи дожидаться не могут. Я успокаиваю их универсалами, то говорю, что комиссия лукавая ляцкая удерживала все лето; теперь, после комиссии, моровым поветрием отговариваемся, а после мору, который прекратился, уже не знаю, что буду говорить? А Тетеря и ляхи присылают в города, чтоб не надеялись на помощь царскую. Обещали нам из Севска прислать боярина с войском, и вместо боярина только 400 человек с дворянином Протасьевым пришло, да и те все разбежались. Обещали, что придет стольник князь Семен Иванович Львов из Белгорода; но тот, пришедши в Ахтырку, ратных людей по домам распустил, и теперь стряпчему Тухачевскому и думному дворянину Якову Тимофеевичу Хитрову в Канев некого привести, а пока войско будет собираться, Чарнецкий, отдохнув, опять станет докучать городам этой стороны, страхом и прельщениями колебать, и города, не

дождавшись помощи, пожалуй, передадутся ляхам; и в Каневе нельзя весновать, потому что неприятель по ту сторону Днепра переправится. Слезно просим, чтоб войско из Ахтырки, Белгорода и Севска нынешнею зимою в Канев шло, чтоб мне в Каневе весновать, потому что, пока обо мне в Каневе слышно, до тех пор и держатся, а мне при таком малолюдстве, не слыша о приближающейся помощи, опасно весновать».

Мы уже видели в Малороссии раздвоение между козачеством и городами; города, чтоб избавиться от козацкого правительства, просили прислать к ним воевод; козацкий гетман, с своей стороны, внушает царю, как вредны привилегии городские. «От этих привилегий, – велит он объявить в Москве своим посланцам, – двоедушие в мещанах происходит: мещане надеются на ляцкое панство, которое над Русью не имеет никакого права; своего дедичного монарха Русь имела, и как чрез лживую помощь, князьям русским поданную, ляхи Малою Россиею овладели, так теперь мечом из ляцкой неволи Русь выбилась и природному монарху своему поддалась и добила челом. Не надобно мещанам держать запасной души, которая в привилегиях заключается. В новых привилегиях королевских, данных мещанам, находится досада великая его царскому величеству, потому что король называет его, света, не пастырем, а наемником; да и в старых привилегиях почти во всех укоризна: во Владиславовых король обранным царем московским написался; как можно терпеть такие досадные привилегии в городах, находящихся под высокою рукою царского величества? Король польский, унижая царский престол, грамоты царские в городах отбирал, и хотя все мещане по городам привилегии королевские отдавали без сопротивления, однако одни киевляне, затаивши в сердцах своих какую-то тайную измену, подольстились к воеводе Чаадаеву, который за них в этом деле заступает и говорит, будто эти привилегии на Москве в приказе есть. Христиане беднейшие, в городах и селах живущие, одну лошадь и мало что пожитку после неприятельского прихода имея, на всех бедах живут и от частых подвод к последней нищете приходят, а купцы и мещане богатые за посулами ни о каких докуках и подводах не знают, за слезным убогих христиан подвод отбыванием прохлаждаются. Видя это, я было постановил, чтоб всех купцов и мещан богатых в росписи писать и на них подати наложить для подвод; но воевода Чаадаев, предваренный мещанами, воспротивился этой переписи. Козаки кладут свои головы за достоинство царского величества, а мещане потешаются привилегиями, заключающими в себе досаду престолу государеву. Зимою мещане в надежде на привилегии немало городов сдали и козаков неприятелям выдали. Киевляне принимают в Киев и отпускают из Киева польских купцов; для чего же подьезды и посылки для захвачения языков, когда вольно купца в неприятельскую землю отпускать?» В грамоте своей Иван Мартынович, убегая мзды и вины ленивого делателя, перед пресветлым престолом объявлял, что три полковника – черниговский, наказной киевский и овруцкий – разбили в Полесье 11 знамен польских; Запорожское Войско низовое при урочище Носаковском разбило турецкие суда, высланные против Сечи; 2 декабря под Чеховкою разбиты были изменники-козаки с ляхами и немцами: «Если бы при помощи божией да при вашего царского величества молитвах еще нам, верным холопам, присланы были ратные люди из Севска и Белгорода, то какой бы победы можно было надеяться? Чарнецкий давно бы ушел в Польшу, не посмел здесь зимовать. Вместо того и тех

московских ратных людей, которые при полках Черниговском, Киевском и Овруцком в Полесье посланы были, князь Игнатий Григорьевич Волконский без моего совета из Полесья отозвал: воевода Михайла Михайлович Димитриев указа вашего не исполнил, людей к Чернигову, в то время как черниговские ратные люди в Полесье были, для обороны на время дать не хотел. Я, верный вашего царского величества холоп, пребываю в Каневе в великом малолюдстве, ибо войско козацкое, на слезное разных городов прошение, разослал по городам. Перед пресветлым вашего царского величества престолом со всем миром христианским припадаю, слезно прошу: умилосердитесь, великий государь, над народом христианским, извольте ратными людьми из Севска и из Белгорода оборонить церкви божии и верных православных христиан от жестокой ляцкой и бусурманской руки. Прошу и молю, извольте воеводе Чаадаеву приказать, чтоб он мешчанам киевским не потакал, ибо что я, верный ваш холоп, настав совершенным гетманом, делаю, то все делаю на пользу и на похвалу вашему царскому величеству». Гетман забыл, что у горожан были привилегии, подтвержденные царем, нарушения которых московский воевода никак не мог позволить на том только основании, что гетман все делал на пользу и на похвалу царскому величеству; трудно было доказать, чтоб произвольное со стороны гетмана ломание прав служило к чьей-либо пользе и похвале.

В то время как происходили эти пересылки и жалобы, мелкие военные действия не прекращались. Полковник браславский Иван Сербин верною службою царю заглаживал прежнюю свою дружбу с Выговским: вышедши из Умани, он отнял у поляков три города: Бабаны, Косеновки и Кисляк, перерезавши всех бывших там ляхов. Поляки, пылая мщением, явились вслед за ним под Умань, но Сербин, сделавши вылазку, положил 120 человек на месте, а других, живых, как овец, в город загнал. Из тех городов, которые еще были за поляками, из Корсуни, Черкас и Белой Церкви, жители перебежали на восточную, московскую сторону Днепра по несколько десятков селений «нестерпимого ради гонения ляцкого». Известия свои об этих событиях Брюховецкий оканчивал обычным припевом о высылке московских войск в Украину. Но если гетман не переставал жаловаться на недостаток войска, то другие не переставали жаловаться на него, что он морит присылаемое к нему войско голодом. Один из самых близких людей к царю, оружейничий Богдан Матвеевич Хитрово, сказал приезжавшему в Москву киевскому полковнику Василию Дворецкому: «Нельзя высылать к вам войско: вы голодом морите ратных людей на Украине, к вам надобно малеванных людей присылать, как в сказках сказывают». Брюховецкий написал Хитрово ответ: «Еще ни одного ратного человека на службе государевой при мне мертвого от голода не хоронили и не будут хоронить. Или то голодная смерть, что Василий Петрович Кикин 80 осмачек в Переяславле продал, едучи в Москву? Или то голодная смерть, что я в Каневе тринадцать стругов ратным людям одним прошлым летом роздал, не считая того, что роздано в других местах? Ведь я хлеба не роздаю на гроши для пожитку своего, как прежде при Самке и при других на продажу стругами в неприятельские города отпускали; но что только можно получить хлеба после неприятельских опустошений, все, по моей верной к его царскому величеству службе, отпускаю на ратных людей. После пожоги военной последний кусок с плачем вытаскивать трудно; после войны людям свобода, а не подати, особенно в настоящее военное время людей надобно

утверждать добротой и оборонять от неприятелей. Изволь, ваша милость, благодетель мой, вспомнить, что прежние старшие за деньги хлеб ратным людям давали, однако в честь их служба была; также по их лукавому нерадению ратные люди часто претерпевали вред от неприятелей, и все же им войско на помощь присылали; а я хлеб беспрестанно зимою и летом по городам войску роздаю, в войске царском моим радением никакой утраты не было, великому государю и вашим милостям, благодетелям моим, услугами моими угодить старался и стараюсь, все украинские российские города, комарицкие и другие волости миром христианским, по моему старанию, наполнились и наполняются; стоя в Каневе, волостей великороссийских на опустошение ляхам и татарам не даю, как прежде по нерадению старших бывало; однако в огласке пребываю, помощи не получаю и милостивого слова за кровавые на войне труды дослужиться не могу; посланцев моих, приезжающих с языками, знаменами и литаврами неприятельскими, на бою отбитыми, в столице и в приказе не в честь и неласково принимают; так меня презирают, что и грамот моих некоторые особы в руки брать не хотят, и посланцев моих на очи к себе не пускают, а с приказу по достоинству корму не дают; козаки, приезжая назад, сильно оскорбляются, что больше чести и корму грекам, чем козакам, за кровь, на боях за достоинство царского величества разлитую, которой нет ничего дороже на свете как богатому, так и убогому. Прежде войско московское хаживало к Каменцу-Подольскому и ко Львову, зимою в землю неприятельскую, а хлеба войскового ему и казны не давали; а теперь, хотя близко Днепра, Киева и других домашних городов, в Каневе пребываю, хотя казна дается и всякая выгода ратным людям делается, однако помощи допроситься не могу. Рассудите, ваша милость, своим высоким умом, что неприятель, овладевший Украиною, пойдет в Великую Россию; взявши силу, ляхи и татары не станут смотреть на комиссию. Всякий господин не внутри дома, но на преддверии неприятеля сретает и, всю силою к дому его не пуская, предсением боронится и крепится, а Украина для Великой России истинным преддверием и защитой служит, ибо в эти годы король с коронным, литовским и немецким войском, Чарнецкий, три султана с ордою, Тетеря с изменниками на плечах козацких двигались, и до Великой России этим преддверием, т.е. Украиною, неприятель не достиг; сабли татарские и лядские пали на головы козацкие вместо великороссийских, и опустошение, приготовленное для Великой России, на бедной Украине совершилось; а малеванных людей на ляхов и татар, через Украину в Великую Россию стремящихся, не надобно; ибо ведь это не ровный сосед для своей корысти, но холоп и раб у монарха своего для охранения отчизны царской помощи просит. Ваша милость перед тем же полковником киевским назвал окольного князя Григорья Ромодановского; но об нем истинную правду, а не затейное дело к великому государю писали: нельзя было свету своему не объявить об его нерадении; уже не говоря о многих его ссорах, общей пользе вредных, одного нельзя было умолчать, что прошлую весною окольный не хотел из Лохвицы к Днепру идти, но домой к Белугороду поспешил; Чарнецкий уже уходил в Польшу, но, услышав об его отходе, опять явился на Украину, и что в скором времени без кровопролития могло стать, т.е. соединение Украины, то теперь и чрез долгое кровопролитие совершиться не может. Не знаю, к кому мне прибегать в тесноте моей, если не к нему, свету, великому государю; перед ним, как перед богом, никаких дел утаить мне нельзя, потому что наша надежда в



скорбях и прибежище по боге, богородице и всех святых он, свет, помазанник божий; я не поставлю во гнев, когда пред светлым маестатом за проступку свою по правде, а не по лукавству оскорблен буду. В том же разговоре своем с полковником киевским ваша милость изволил вспомнить о приезде моем в Москву, что таким же образом Выговский и Хмельницкий-молодой обещались быть в столицу и, не исполня своего обещания, изменили; прошу покорно не равнять меня, слугу своего, с Хмельницким-молодым и Выговским, потому что известно, какие их добродейства к ляхам были до гетманства и при гетманстве: лядских, татарских, шведских и турецких послов без ведома государева принимали и отпускали. Ляхов при себе держали и с лядскими домами роднились; обо мне же, ваша милость, так изволь разуметь и ведать, что я считал бы себя на небе, если б пресветлые очи великого государя прежде гетманства и присяги сподобился увидеть, да и впредь той же радости причастником себя быти желаю. Какой же бы это был верный раб, когда бы, видя стены господина своего, огнем пылающие, во время бури оставил и, не обороняясь, побежал, тогда как в том доме сокровища многоценные лежат? Рассуди, благодетель мой: разве Украина не горит огнем, когда от Канева за две мили или ближе неприятель? Если б побольше было ратных людей в Каневе и в Киеве, то можно было бы мне и в Москву приехать. Сам изволишь слышать и знать непостоянство наших людей украинских, особенно во время этой войны: то был бы лютый враг, лукавый и недобрый раб, кто бы царскую отчину, огнем пылающую, при таком непостоянстве и неутверждении, уходом своим отдал в снедь львам, окрест рыкающим. Что же касается до Серка, то бог видит, что он от меня и от войска сыт был; кроме других знатных даров я дал было ему мельницу и дом с засевами, также и брату его мельница дана была: не ведаю, чего еще от меня хотел, бесчестья и обиды от меня никакой не имел».

Гетман требовал уничтожения городских привилегий; легко понять, как горожане любили такого гетмана: когда Брюховецкий отправил прилуцкого полковника Горленка в Киев, то воевода Чаадаев не пустил его в город; Горленко писал гетману: «Просили мы, чтоб нам хотя в одном углу Киева дали постоять на малый час на своих кормах, и того не позволили; едва в Печерском монастыре Чаадаев допустил меня к себе на разговор, и разговор тут был как у волка с овцою; но все это, как разумеет, случилось от войта киевского Михайлы Зосимовича, потому что целый день от Чаадаева с челобитьем не отходили». Приславши в Москву жалобу на Чаадаева, Брюховецкий вместе прислал донос на киево-печерских монахов, что хотят сдать монастырь ляхам. Боярину Петру Михайловичу Салтыкову, начальнику Малороссийского приказа, Брюховецкий писал, что киевские мещане живут с неприятелями в совете, ляхов из тюрьмы выручают.

Весною 1665 года военные действия начались счастливо для русских: Брюховецкий и Протасьев отправили из Канева лубенского полковника Григорья Гамалею, который 4 апреля вошел в Корсунь; поляки, обороняясь, сожгли город, и Гамалея привел в Канев всех его жителей с женами и детьми. Давая знать об этом государю, Брюховецкий писал: «Хотя мы с воеводою Протасьевым, по малости сил своих, и малый промысл над неприятелем чинить можем, однако праведные вашего царского величества молитвы подкрепляют нашу немощь, как молитва Моисеева пособляла Израилю». Знаменитый Чарнецкий умер; преемник его,

Яблоновский, 21 мая под Белою Церковью был разбит высланными из Канева русскими и калмыками. С известием об этой победе Брюховецкий послал в Москву прилуцкого полковника Горленка, которому в информации, или наказе, между прочим, было написано: «Гетман выходит в поле для воинского промысла, а людей мало; изменники в грамотах своих мир прельщают тем, что уже два года присылки ратных людей из Москвы нет; которые есть, те назад отступают, из Канева людей все больше и больше уходит: помилуй бог, как мир шататься начнет; поэтому Христа ради просить о присылке людей в Канев, чтоб табор был крепок в поле. Просить о присылке на митрополию Киевскую русского архиерея из Москвы, чтоб чин духовный киевский к лядским митрополитам не шатался, чтоб Русь Малая, услышав о присылке на митрополию русского строителя, утверждалась и под высокою царского величества рукою укреплялась, духовный бы чин оставил двоедушие, от непослушания святейшим патриархам московским не удалялся. Просить об освобождении переяславского козака Рожки с товарищами, посаженного в тюрьму воеводою Чаадаевым в противность уложению войсковому стародавнему, и за такое нарушение воинского устава просить указа на Чаадаева. Известить о бесчестии Прилуцкого полка, которое нанес Чаадаев, не пустивши его в Киев; купцов львовских и других из Польши в город пускали и выпускали, а верных людей государевых, которые кровь свою проливают, пустить не хотели. Бить челом, чтоб отказывали попам, которые из малороссийских городов без ведома гетманского и войскового в Москву ездят и выпрашивают себе маетности; войско на это сильно ропщет: козаки головы свои в битвах с неприятелем полагают, а они, попы, имением своим управить не могут, козакам в поместьях своих жить не позволяют и налоги им чинят».

Брюховецкий действительно выступил из Канева под Белую Церковь, но, услышав, что орда собирается в Цыбульнике и хочет ударить на русский лагерь и что Опара отводит города от царской руки, отступил к Киеву, под Мотовиловку; здешние жители добились челом великому государю и перебили стоявших у них польских гайдуков. Слухи, встревожившие гетмана под Белою Церковью, оказались ложными: орда не приходила, Яблоновский и Тетеря ушли в Польшу, польские гарнизоны оставались только в Белой Церкви, в Чигирине, в Корсуни (в малом городке) и в Умани да Опара с небольшим отрядом стоял под Корсунью. Брюховецкий, расположивши войска по заднепровским городам, перешел на восточную сторону, остановился в Гадяче и отправил к государю гонца с известием, что едет в столицу видеть его пресветлые очи.

## Глава третья

### Продолжение царствования Алексея Михайловича

*Приезд гетмана Брюховецкого в Москву. – Представленные им статьи. – Гетман пожалован в бояре, старшина в дворяне. – Новый боярин сватается к московской боярышне. – Усобица между малороссиянами в Москве. – Дурные вести из Малороссии. – Дорошенко – преемник Тетери. – Он губит Опару и действует против полковников, преданных Москве. – Отчаянное письмо епископа Мефодия. – Возвращение Брюховецкого в Малороссию. – Неудовольствие*

*духовенства по вопросу о митрополичьем избрании. – Союз духовенства с мещанами против гетмана и козаков. – Смута в Переяславле и Запорожье. – Поездка дьяка Фролова в Малороссию. – Неудовольствие козаков против гетмана-боярина. – Жалобы воеводы Шереметева на корыстолюбие Брюховецкого. – Сильное ожесточение духовенства против гетмана. – Бескорыстие киевского воеводы Шереметева. – Возмущение переяславских козаков. – Брюховецкий советует крутые меры. – Волнения в Запорожье. – Сношения Москвы с Польшею. – Записка Ордина-Нащокина о польском союзе и замечания на нее царя. – Съезды в Дуроричах. – Неуступчивость поляков и прекращение съездов. – Возмущение Любомирского заставляет поляков возобновить переговоры. – Андрусовские съезды. – Перемирие. – Причина уступчивости поляков относительно Киева. – Условия Андрусовского перемирия. – Польское посольство в Москве. – Переговоры об изгнанной из Украйны шляхте и о союзе против турок и крымцев. – Значение Андрусовского перемирия. – Общий взгляд на состояние Малороссии*

11 сентября 1665 года подъезжал к Москве небывалый гость, гетман запорожский с старшиною. На перестрел от Земляного города встретили его ясельничий Желябужский и дьяк Богданов; Брюховецкий сошел с лошади и, выслушав спрос о здоровье, дважды поклонился в землю; ему подвели царскую лошадь, серую немецкую, в серебряном вызолоченном наряде с изумрудами и бирюзой, чепрак турецкий, шит золотом золоченым по серебряной земле, седло – бархат золотный; Иван Мартынович сел на лошадь и въехал в Серпуховские ворота, имея Желябужского по правую и Богданова по левую руку; его поставили на посольском дворе. С гетманом приехали: переяславский протопоп Григорий Бутович, гетманский духовник монах Гедеон, гетманского куреня атаман Кузьма Филиппов, обозный генеральный Иван Цесарский, судья генеральный Петр Забела, два писаря генеральных – Степан Гречанин и Захар Шикеев, пять канцелярских писарей, писарского куреня атаман, два генеральных есаула – Василий Федяенко и Павел Константинов, переяславский посланец Андрей Романенко, посланцы разных полков, нежинский полковник Матвей Гвинтовка, лубенский Григорий Гамалея, киевский Василий Дворецкий, всего с прислугою 313 человек; на кушанье гетману определили выдавать по рублю на день, да питья против посланников с прибавкою, другим ратным людям по пяти алтын; 670 лошадей, приведенных малороссиянами, пустили пастись в подмосковных лугах.

13 сентября гетман со всеми своими спутниками представлялся государю; прием был обычный посольский; все целовали государеву руку и спрошены были о здоровье; Брюховецкий представил подарки: пушку полковую медную, взятую у изменников-козаков, булаву серебряную изменника наказного гетмана Яненка, жеребца арабского, 40 волов чебанских. 15 сентября гости били челом, чтоб великий государь пожаловал их, велел малороссийские города со всеми принадлежащими к ним местами принять и с них денежные и всякие доходы собирать в свою государеву казну и послать в города своих воевод и ратных людей. Государь велел сказать гетману, чтоб он написал об этом статьи, и Брюховецкий подал на письме следующее: 1) Для усмирения частой шатости и для доказательства верности к государю всякие денежные и неденежные поборы от

мещан и поселян погодно в казну государеву собираются; по всем городам малороссийским кабаки будут только на одну горелку, и приходы кабацкие отдаются в государеву казну; туда же идут сборы с мельниц, дань медовая и доходы с купцов чужеземных. 2) Стародавние права и вольности козацкие подтверждаются. 3) После избрания каждый гетман обязан ехать в Москву и здесь от самого царя будет принимать булаву и знамя большое. 4) Киевским митрополитом должен быть святитель русский из Москвы, 5-я статья определяет, по скольку в каких городах быть царского войска. 6) На войсковую армату (артиллерию) назначаются города Лохвицы и Ромен. 7) Московские ратные люди не должны сбывать по рынкам воровских денег. 8) Не должны называть козаков изменниками.

Статьи были приняты, кроме одной, четвертой, о митрополите: государь отвечал, что об ней он перешлется прежде с константинопольским патриархом. Но вообще усердием гетмана были очень довольны: царь велел его милостиво похвалить, а потом, поговоря с боярами, пожаловал ему боярство, остальная старшина – обозный, судья, полковники и есаулы – была пожалована в дворяне. Когда новый боярин, по обычаю, был приглашен к царскому столу, то получил третье место после бояр князя Никиты Ивановича Одоевского и Петра Михайловича Салтыкова; писался Брюховецкий с этих пор *боярин и гетман*. Боярин и гетман бил челом, чтоб великий государь умилосердился, ему, гетману, жене его и детям, когда бог их ему даст (Иван Мартынович был холост), пожаловал на прокормление в вечные времена сотню Шептоковскую в Стародубском полку с Шептоками и со всеми угодыми, чтоб ему, будущей жене его и детям особое прибежище и пропитание вечное было кроме Гадяча, ибо Гадяцкая волость принадлежит гетману только на время его гетманства, а не жене и детям его. Бил челом, чтоб государь изволил пожаловать грамоту на магдебургское право жителям Гадяча; всем полковникам пожаловал по селу, чтоб не отпускал приехавших в Москву войтов и мещан без грамот государских, дабы чернь, увидевши милость царскую, утвердилась. Так как боярин и гетман имеет двор свой в Переяславле, как в стольном городе, то чтоб к двору этому приписана была мельница. Все просьбы были исполнены.

Что же это значило? Отчего Иван Мартынович так спешил подчиниться требованиям государства и в вопросе о митрополите даже ушел вперед, торопя государство? Поведение Брюховецкого объясняется вполне поведением его предшественника Выговского и поведением последующих гетманов. Мы видели, что немедленно за прекращением революционного брожения в Малороссии интересы гетмана разрознились с интересами козачества. Богдан Хмельницкий, как говорил Тетеря в Москве, боялся собирать раду, которая могла стеснить его произвол. Разрозненность интересов высказалась еще сильнее при Выговском. Выговский так же не хочет рады, как не хочет вмешательства Московского государства, не хочет воевод царского величества, ибо не хочет стеснений ни сверху, ни снизу. Для этого он хочет поддаться другому государству, которое, по своим формам, не может грозить ему такую строгою опекою, какую грозило сильное государство Московское, склоняется к Польше, хочет в ней получить вельможное значение и тем обеспечить себя в Малороссии, обеспечить себя относительно козачества; Выговский – сенатор, Выговский – *гетман русский*, а не *гетман Войска Запорожского*; Выговский не доверяет козакам, окружает себя

иноземцами; Выговский требует стеснений для гультайства, требует точного реестра, как прежде требовали этого паны польские. Брюховецкий, вынесенный, по-видимому, войсковою массою и Запорожьем на гетманство, Брюховецкий – гетман, подобно Хмельницкому и Выговскому, не может долго сохранять единства интересов с козачеством; он понимает очень хорошо, что при тогдашнем быте Малороссии, при тогдашней разладице в ней для гетмана нет никакого обеспечения, и, не имея польских симпатий, как Выговский, стремится обеспечить себя с помощью Москвы, приобрести здесь вельможное положение, как Выговский хотел приобрести его в Польше, Мы видели, что и Выговский, прямо указывая на шаткость своего положения в Малороссии, прежде всего просил прочных маетностей в Литве, и очень быть может, что отказ ему в этой просьбе и стремление Москвы распутать отношения на ненавистной для гетмана раде всего сильнее побудили Выговского спешить отпадением. Теперь Брюховецкий спешит удовлетворить желаниям государства, чтоб обеспечить посредством него свое положение. Он достигает цели: он – боярин московский; но он бьет челом, чтоб государь пожаловал ему прочные, наследственные маетности поближе к Москве; для собственных выгод просит, чтоб в Киев был прислан митрополит-москвич, ибо хорошо знает, что при московских стремлениях его, *боярина и гетмана*, ему не ужиться с митрополитом-малороссиянином, который прежде всего будет хлопотать о независимости малороссийской церкви от Москвы. Брюховецкий и на этом не останавливается: он хочет еще теснее связать себя с Москвою, обеспечить себя здесь. 17 сентября Иван Мартынович завел разговор с приставом своим Желябужским: «Бил я челом боярину Петру Михайловичу Салтыкову, чтоб великому государю челобитье мое донес: пожаловал бы меня великий государь, велел жениться на московской девке, пожаловал бы государь, не отпускал меня не жения». «Есть ли у тебя на примете невеста? – спросил у него пристав. – И какую невесту тебе надобно, девку или вдову?» «На примете у меня невесты нет, – отвечал гетман, – а на вдове у меня мысли нет жениться; пожаловал бы меня великий государь, указал, где жениться на девке. А жениясь, стану я бить челом государю, чтоб пожаловал меня вечными вотчинами подле Новгорода-Северского, чтоб тут жене моей жить и по смерти бы моей эти вотчины жене и детям моим были прочны». *Желябужский* : «Когда будет у тебя жена и станет в тех местах жить, то и ты будешь жить тут же; а когда Войску доведется быть в собрание, то где собираться? да и без сбора постоянно при тебе надобно быть многим людям для гетманства твоего». *Брюховецкий* : «Войску собираться в Гадяче или в ином месте, где будет пристойно по вестям, а я стану к Войску приходить; при мне будет постоянно человек по триста, у меня таких людей, которые мне верны, есть человек со сто, да великий государь пожаловал бы, велел из московских людей ко мне прибавить; а без таких людей мне никакими мерами быть нельзя в шаткое время: меня уж раз хотели погубить, да сведал вовремя». Этими словами Брюховецкий окончательно объяснил свое поведение. Желябужский переменял разговор и спросил: «Крымские люди к полякам теперь на помощь ходят ли? и за что крымцы полякам помогают?» *Брюховецкий* : «Крымцу поляки казну дают, а потом и сами крымцы берут у них и полон и что им надобно». *Желябужский* : «Как бы сделать, чтоб крымского от поляков отвести?» *Брюховецкий* : «Ненавидят крымцы то, что Запорожское Войско под государевою рукою, и боятся: как мир будет у государя с королем

польским, а Запорожское Войско останется под государевою рукою, то Крыму будет жить тесно. Хочу бить челом государю, чтоб пленным ляхам у нас не быть, ссылать их куда-нибудь в дальние места для того, что всякие вести носят от них в Польшу; также бы великий государь и на Москве и в городах полякам быть не указал, потому что от них идут всякие вести в Польшу». Великий государь пожаловал боярина и гетмана, велел ему жениться на дочери окольного князя Дмитрия Алексеевича Долгорукого. Жених обратился к Желябужскому с новыми вопросами: «С князем Долгоруким самому мне договариваться о женитьбе или послать кого-нибудь? По рукам бить самому ли и где мне с князем видеться? От кого невесту из дому брать, кто станет выдавать и на который двор ее привести? На свадьбе у меня кому в каком чине быть, а я был надежен, что в посаженных отцах или в тысяцких будет боярин Петр Михайлович Салтыков, и о том уже я бил ему челом. Да в каком платье мне жениться, в служивом ли или в чиновном московском? А по рукам ударя, до свадьбы к невесте с чем посылать ли, потому что по нашему обыкновению до свадьбы посылают к невесте серьги, платье, чулки и башмаки. Великий государь пожаловал бы меня, велел мне об этом указ свой учинить». Этот указ не дошел до нас.

Не все такими нежными делами занимался в Москве боярин и гетман, 11 декабря в дом к начальнику Малороссийского приказа боярину Салтыкову вдруг приходят переяславский протопоп Григорий Бутович, войсковой судья Петр Забела, писарь, есаул, двое полковников, киевский и нежинский, и начинают жаловаться со слезами: «Вчера обедали мы с боярином и гетманом Иваном Мартыновичем у боярина князя Юрия Алексеевича Долгорукого, и писарь Захар меня, протопопа Григория, лаял, называл брехом и замахивался ножом, хотел зарезать; я у него ножик отнял, так он стал замахиваться вилками, хотел меня колоть». «А нас, – кричали судья и полковники, – Захар также лаял позорными словами; мы терпеть ему не будем; если он так делает над нами теперь здесь, в Москве, то какого добра ждать нам от него вперед?» В тот же день вечером приехал к Салтыкову сам боярин и гетман с старшиною и били челом царю на писаря Захара Шикеева, чтоб великий государь велел им указ свой учинить, войсковой есаул Богдан Щербак бил челом от всего Войска Запорожского, которое в Москве, что им, Войску Запорожскому, от писаря Захара Шикеева чинятся многие налоги и тягости, становится он, Захар, пышнее боярина и гетмана, бьет и увечит многих людей невинно, в Войске он им Захар не надобен и ни в каком чину не годен. На другой день в приказе была очная ставка у Щербака с Шикеевым: Щербак говорил прежде, что «Шикеев им в Войске не годен, потому что чинит налоги многим людям и бесчестит, а иных бьет безвинно, начал быть пышен и неприступен: не только кто с своим делом к нему придет, но если кто и от гетмана придет, то он говорить с собою не велит, и никто с ним говорить не смеет до тех пор, пока сам не спросит, и отказывает всякому человеку пышно и сердито. Пожаловал великий государь гетману и Войску Запорожскому подводы, и подорожная из приказа прислана; вот гетман с этою подорожною и послал меня в канцелярию к нему, Захару, а он как начал на меня фукать и отослал меня с бесчестьем, ни с каким делом к нему прийти нельзя, всех бесчестит пыхами своими!». Шикеева отправили в ссылку из Москвы.

Иван Мартынович загостился в Москве до конца декабря; а между тем еще с сентября начали приходиться из Малороссии дурные вести и требования скорого

возвращения гетмана. После отъезда Тетери в Польшу на западном берегу Днепра выдвигается на первый план уже известный нам Петр Дорошенко. Опасения Тетери сбылись: видя, что ни Москва, ни поляки не могут взять решительного верха на Украине, которая опустошается вконец и союзниками и врагами, Дорошенко решился поддаться туркам, чтоб с их помощью вытеснить из Украины и Москву и поляков и быть единственным гетманом на обоих берегах. Сначала он хотел посредством Крыма получить облегчение от польских насилий. Еще в январе 1665 года он послал к хану бить челом о заступлении перед королем, чтоб хоругви жолнерские на Украине становищ не имели, хоть на время дать бы льготу истощенной и убогой стране; чтоб гарнизоны королевские из украинских городов, например из Чигирина, были выведены и там, где останутся, довольствовались бы своим прокормом, не отягощая жителей; чтоб возвратил заточенных: митрополита, Хмельницкого и Гуляницкого. Но челобитье это осталось без действия. В августе Дорошенку удалось избавиться от соперника своего, Опары, который также хотел отложиться от короля с помощью татар. Дорошенко успел уверить татарских мурз, стоявших в Украине, что Опара ненадежен. 18 августа Опара со всею старшиною поехал из своего табора на совет к мурзам, но, еще далеко не доезжая до их наметов, он был встречен толпою татар, которые его ограбили и в одной рубашке привели к мурзам, а те надели ему цепь на шею и железа на ноги; все татары начали на него плевать и браниться, бросили ему в глаза письмо, которое он посылал к браславскому полковнику, уговаривая его вместе с собою воевать против короля. «Ты королю и нам присягал, – кричали татары, – а тепер хочешь воевать!» Овладевши Опарою и старшинами, татары двинулись на козацкий табор; козаки отстреливались целый день и к ночи заставили татар отступить. На рассвете другого дня татары снова налегли, опять ничего не успели и вступили в переговоры с козаками: «Если возьмете в гетманы Дорошенка, которого поставили мурзы, то не станем вас добывать, если же не возьмете, то сейчас пошлем за ляхами и будем вас добывать». Козаки, делать нечего, согласились; приехал Дорошенко и начал приводить их к присяге королю и хану, Опару же и всех его советников повели в Крым. Дорошенко вместе с татарами начал наступательное движение на браславского полковника Дрозда, верного Москве. Дорошенко уже отнял было воду у браславцев, но 22 сентября Дрозд сделал вылазку на неприятельские шанцы, побил всех находившихся там ратных людей Дорошенка, взял 8 знамен и дал возможность браславцам добывать воду. Овруцкий полковник Демьян Васильевич Децик разбил неприятелей между Мотовиловою и Паволочью; западные черкасы вздумали было явиться и на восточной стороне, но были побиты. Наказный гетман, переяславский полковник Ермоленко, извещая об этом царя, так оканчивал свою грамоту: «Пожалуй нас, холопей своих, отпусти к нам поскорей Ивана Мартыновича Брюховецкого гетмана, ибо мы без него, как дети без отца: а как скоро он к нам придет, то весь народ христианский повеселеет и города малороссийские не будут в сомнении». Епископ Мефодий писал Брюховецкому из Нежина: «Теперь на Украине без вашей милости ничего доброго нет, всяк в свой нос дует. Если б боярин Петр Васильевич Шереметев поспешил в Киев, то все б помирнее было и тому бы бедному Дрозду, который в осаде 6 недель сидит, крепости прибыло; благодаря Дрозду на восточной стороне Днепра еще тихо от татар, а, сохрани боже, что с ним станется, тогда все силы бусурманские обратятся сюда. Доложи великому государю чрез

боярина Петра Михайловича Салтыкова о великой обиде, которую делают начальные люди, полковники-немцы, их ротмистры и капитаны, немцы и ляхи, бедным людям в Котельве. И я в Котельве их тазал, и боярин Шереметев посылал к воеводе Протасьеву в Гадяч, чтоб наказал их; но тот ничего не может им сделать: жен от мужей поотнимали и вдов опозорили; бога ради, надобно это утолить, чтоб не было беды какой». Дрозд продолжал держаться в Браславле и отбил сильный приступ, неприятелей, как псов, набил и знамена все отнял. Таковы были вести в октябре; в ноябре пришли другие: Дрозд сдался от великой нужды; Децик покинул Мотовиловку и отступил к Киеву и оттуда поехал в Переяславль к наказному гетману; часть войска его разбрелась, другая перешла на восточную сторону, а на западной из верных козаков не осталось никого, кроме тех, которые были в Каневе. Децик покинул Мотовиловку, не выжегши ее; этим воспользовался королевский белоцерковский комендант и королевские черкасы, Малюта с товарищами, стали накликать в нее старых жителей и из других мест; чтоб укрепить ее по-прежнему, обещали прислать туда и немецкую пехоту. Это начало грозить большою опасностью Киеву, от которого Мотовиловка была только в 35 верстах и которому от нее и прежде не было покоя, когда она была за поляками. Чтоб предупредить беду, киевский воевода князь Никита Львов послал под Мотовиловку рейтарского майора Синягина. В полночь Сипягин подошел к городу, велел своим ратным людям перелезть через стену и отбить ворота; жители услышали, начали стрелять, но рейтары всех их побили и выжгли город. Малюта в эту ночь ночевал в местечке Василькове, маестности Печерского монастыря; Синягин направился на Васильков, чтоб захватить Малюту, но печерские чернецы дали ему возможность уйти до прихода Синягина. В декабре епископ Мефодий начал говорить Львову, что в местечке Бышевке и других ближних местечках польские заложники (гарнизоны) небольшие и ездят из местечка в местечко без опасения, поэтому надобно послать на них ратных людей для поимки языков. Львов и отправил 18 декабря подполковника Якшина с отрядом из 120 человек. Якшин ночью захватил языков в Бышевке; но за 15 верст от Киева нагнал его из Белой Церкви майор с немцами, татарами и черкасами, разбил наголову и взял знамена. Мефодий, приехав в Киев, писал оттуда отчаянное письмо к Ракушке, казначею, или подскарбию, войсковому: «Пишу эту грамоту, слезами поливаяючи; в Киеве ничего доброго не делается, потому что воевода нынешний – человек ни к чему не пригодный; во-первых, человек старый, к ратному делу неспособный; во-вторых, болен ногами и через порог избы не переступит; кроме слез, худобы и воровства, в Киеве ничего не сыщешь; если не поспешит боярин Шереметев или замедлит гетман на Москве, то будет беда с Киевом и с нашим Заднеприем. Ради бога, пиши к гетману, чтоб бил челом о скором отпуске и спешил сюда, потому что без головы составы все мертвы; пиши и к наказному, чтоб по крайней мере Канева не потеряли».

Наконец возвратился отец к детям, приехал боярин и гетман Иван Мартынович Брюховецкий в Малороссию, и первому нерадостен был его приезд тому, кто так сильно желал его, – епископу Мефодию. 22 февраля 1666 года в Киеве к боярину Петру Васильевичу Шереметеву, сменившему старика Львова, приехал Мефодий вместе с печерским архимандритом, игуменами других монастырей, и начали странную речь, просили, чтоб позволено им было послать челобитчика к государю, пожаловал бы великий государь, не велел у них отнимать



прав и вольностей. «Каких прав и вольностей, – спросил воевода, – великий государь не только у вас, властей духовных, но и у мещан во всех городах малороссийских прав и вольностей отнимать не велел. Всем даны жалованные грамоты, которые по сей день ни в чем не нарушены; от кого вы узнали, будто великий государь велел у вас вольности и права отнять?» Мефодий отвечал: «Посылали мы к боярину и гетману Ивану Мартыновичу Брюховецкому, по стародавнему обычаю, по которому киевских митрополитов выбирали всегда с ведома гетманского, посылали мы к Ивану Мартыновичу просить, чтоб отписал к великому государю о позволении нам выбрать в Киев митрополита между собою по прежним обычаям и правам. А боярин и гетман прислал к нам грамоту, в которой пишет, что указал великий государь быть в Киеве митрополиту из Москвы, а не по нашему выбору, тогда как мы под благословением цареградского патриарха, а не московского». Епископ с товарищами разгорячился все больше и больше, наконец закричал с сильною яростию: «Если будет на то великого государя изволение, что отнять у нас эти вольности и права и быть у нас митрополиту из Москвы, а не по нашему выбору, то пусть великий государь велит всех нас казнить, а мы на это не согласимся. Если приедет к нам в Киев московский митрополит, то мы запремся в монастырях, и разве нас из монастырей за шею и за ноги поволокут, тогда только московский митрополит в Киеве будет. В Смоленске теперь Филарет архиепископ, и он права и вольности у духовного чина все отнял, духовный чин, шляхту и мещан всех называет иноверцами, а мы православные христиане; и если в Киеве впредь будет митрополит из Москвы, то он и нас всех, малороссиян, станет называть иноверцами, тут в вере раскол и мятеж будет немалый, и нам лучше смерть принять, нежели митрополита из Москвы. Мнится нам, что и к тебе, боярину, указ об этом тайный есть, и в статьях, которые полковник Дворецкий из Москвы привез, то же написано». «Такого указа ко мне не бывало, – отвечал Шереметев, – а что вы говорите о статьях, которые привез Дворецкий, то там написано, что великий государь изволит писать об этом к цареградскому патриарху; да и гетман ко мне об этом не писывал; это какой-нибудь вор распустил слух, чтоб поссорить вас с гетманом. Вы говорите, что запретесь в монастырях от московского митрополита; это слова непристойные: как вам быть противными воле божией, указу государеву и благословию цареградского патриарха? Ты, епископ, поставлен в Московском государстве митрополитом Питиримом, и тебе под благословением московского патриарха быть можно, только как о том отпишут к великому государю вселенские патриархи. Если цареградский патриарх к великому государю отпишет и благословение подаст избранному вами, то великий государь изволит избранника вашего поставить в царствующем граде Москве перед своими государскими очами всем властям». «Если даже великий государь, – говорил Мефодий, – изволит быть нашему митрополиту под благословением московского патриарха, то пожаловал бы, отписал об этом к цареградскому патриарху, а митрополиту киевскому быть бы по нашему избранию, чтоб наши стародавние права и вольности нарушены не были; а теперь бы великий государь пожаловал, велел у нас в Киеве принять об этом челобитную и челобитчиков отпустить в Москву». «Челобитной вашей, – отвечал боярин, – принять мне непристойно, потому что это дело ваше, духовное, а челобитчиков в Москву отпустить можно».

На другой день, 23 февраля, боярин виделся с архиепископом в Софийском монастыре, и Мефодий стал просить извинения за вчерашние речи: «Я эти слова говорил поневоле, потому что я поставлен московским митрополитом, и вот малороссийских городов духовные люди все говорят и поносят мне и думают, что я сделал это по совету с гетманом, чтоб им быть под благословением московского патриарха». Мефодий прислал к Шереметеву и ответную грамоту гетманскую, в которой Брюховецкий писал: «Когда мы были в Москве, то нам припоминали статьи Богдана Хмельницкого, чтоб митрополит киевский поставлялся патриархом московским, и мы все, бывшие в Москве, руки свои на том приложили, и государь отправил послов к святейшим патриархам; мы будем дожидаться возвращения этих послов». В марте 1666 года послом от Мефодия и всего духовенства приехал в Москву киевского Кириллова монастыря игумен Мелетий Дзик бить челом о позволении избрать митрополита по старине, да чтоб на выборе был гетман и киевский воевода Шереметев. Царь отвечал, что послано об этом к константинопольскому патриарху и чтоб Мефодий ехал в Москву для исправления всяких духовных дел.

Между тем Шереметев писал в Москву и о поведении нового боярина: «Теперь епископ, архимандрит печерский и всех малороссийских монастырей архимандриты и игумены и приходские попы с мещанами в большом совете и соединении, а с гетманом, полковниками и козаками совету у них мало за то, что гетман во всех городах многие монастырские маетности, также и мещанские мельницы отнимает; да он же, гетман, со всех малороссийских городов, которыми великому государю челом ударил, с мещан берет хлеб и стацию большую грабежом, а с иных за правежом. Шереметев посылал спрашивать у гетмана, по его ли приказанию стацию со всех городов берут? Брюховецкий отвечал, что без его ведома, и тотчас же во все малороссийские города послал грамоты с большим подкреплением, чтоб нигде на него стации не сбирали, а давали бы стацию в казну государеву».

Боярин и гетман Иван Мартынович извещал с своей стороны, что незадолго перед его приездом в Малороссию чуть было не сделалась беда в Переяславле: тамошний житель Петрушка Скок Челюсткин, состарившийся в Переяславле русский человек, составил заговор перебить всех московских ратных людей. Но наказный гетман Ермоленко узнал о заговоре и донес Брюховецкому, который велел сковать Челюсткина и отослать в Москву. Появились своевольные сборища, которые отказались повиноваться полковникам и сотникам, покинули свои дома и начали бродить по разным городкам и деревням и бедным людям досады чинить; начальники таких сборищ были известные нам Иван Донец и Децик. Гетман успел разогнать эти сборища. Касательно новых распоряжений, договоренных в Москве о сдаче малороссийских городов царским воеводам, Брюховецкий писал: «Я, верный холоп, рад вседушно тому указу исполнение чинить; но боюсь одного, чтоб полковники, вся старшина и козаки не встревожились и не взяли дурного замысла. Сам же я вседушно рад воеводам, потому что при них мне будет меньше хлопот, а то теперь на все стороны оглядываюсь». Брюховецкий писал также, что епископ, духовенство и киевский полковник Дворецкий просят о заведении новых латинских школ в Киеве, но что он, гетман, полагает это на волю великого государя. Доносил, что сын епископа Мефодия женился на дубичевке, у которой два родных брата служат при короле. Писал о дурных вестях из Запорожья: дает

знать оттуда Григорий Касогов, что запорожцы хотят государю изменить, к бусурманам и к изменникам-черкасам приклониться; но он, гетман, послал уговаривать их; спрашивал, посылать ли в Запорожье хлебные запасы или нет?

С ответами на эти донесения и для обстоятельного разузнания дел в марте 1666 года отправился в Малороссию дьяк Фролов. Посланный должен был похвалить боярина и гетмана за его раденье и отвечать на статью о школах в Киеве: если им против их вольностей будет не в оскорбление, то школ бы теперь не заводить; если же этот запрет оскорбит их, как противный их вольностям, то великий государь пожаловал, велел им в Киеве школы заводить и людей в них набрать из киевских жителей, а из неприятельских и других городов в школы никого не пускать и не учить, чтоб от них смуты и всякого дурна не было. Фролов должен был также сказать: какие люди сидят у гетмана за караулом в своих винах, тех бы он судил и карал по войсковым правам; а если из них кому-нибудь по войсковым правам будет свобода, а он боится от них вперед чего-нибудь дурного, таких присылать в Москву. Хлебные запасы в Запорожье, Киев и другие города посылать как прежде уговорено, пока описчики города опишут и по описи воеводы примут.

Фролов привез из Малороссии много разных вестей. Иван Мартынович на отпуске говорил ему тайно, что в Переяславле своевольники, не желая работать и хлеб пахать, замышляют смуту. Фролов немедленно послал к переяславскому воеводе Вердеревскому спросить, что у них там такое делается? Воевода отвечал: «Гетман великому государю верен и служит вправду; только дивлюсь я тому, для чего переписчики замешкались? Если полгода не будут, и то гетману большая корысть: о чем в Переяславль на ратушу ни отпишет, все к нему посылают. Козаки гетмана все не любят, говорят: при наших предках у нас бояр не бывало, он заводит новый образец, вольности наши от нас все отходят, да и доступ к нему стал тяжел. Полковник переяславский Данила Ермоленко говорил у меня на обеде при головах стрелецких и при многих начальных людях: „Мне дворянство не надобно, я по-старому козак!“ И ко всякому слову, за что осердится, говорит: „Козаки заведут гиль и вас поколют“. Полковнику, атаману и судье идет из ратуши с города всякий день вино, пиво, мед и харч всякий. А что ему, полковнику, пожаловал государь город, то он говорит: „Этот город украинный, разорен весь, стоят в нем беспрестанно козаки иных полков и кормятся по тем же жилецким людям, и мне взять с него нечего, да и не надобно, потому что и при предках наших так не повелось“. Козаки в городе говорят: „Пойдем в Запороги, и не одни мы, соберемся вместе с переяславцами и из других местечек и пойдем из Запорог на гетмана“. Государевых людей, которые живут в Переяславле, зовут злодеями и жидами». Фролов обо всем этом дал знать Брюховецкому, тот отвечал, что козаки поднимают такие голоса, видя везде в городах при воеводах малолюдство: надобно, чтоб великий государь указал в малороссийских городах ратных людей прибавить.

Мы видели, что Шереметев писал к гетману насчет поборов с городов. Брюховецкий обиделся и говорил Фролову: «Дело известное, что боярин Петр Васильевич написал ко мне об этом по чьей-нибудь ссоре: боярин ссоре не верил бы и уха своего на ссору не склонял; я в доходы вступаться никогда ни в какие не буду и с боярином хочу жить в любви и в приязни, готов, пожалуй, и слушать его; только служа великому государю, даю знать свою мысль, чтоб малороссийского

народа своевольных и непостоянных людей большими поборами вскоре не ожесточить; пока не попривыкнут и пока государевы воеводы и люди не возьмут их в свои руки, брать с них понемногу; а вдруг ожесточить опасно: люди они худоумные и непостоянные; один какой-нибудь плевосеятель возмутит многими тысячами; хотя они и сами сгинут, а до лиха дойдет, успокаивать будет трудно, а неприятель под боком; стоят неприятеля и запорожцы, только и думают, как бы добрых людей разорять и, пограбив чужое имение, всякому старшинства достигнуть; а на Запорожье теперь больше заднепрянь. Да и духовенству не всякому бы верить; горазды и они ссорить и возмущать от латинской своей науки, на кого нелюбье положат».

Приехал Фролов в Киев. Тут начал Шереметев говорить свои речи: «Гетман Иван Мартынович очень корыстолюбив. Я было велел в Переяславле греку Ивану Тамару собирать с перевозу и с проезжих людей пошлину на великого государя против обычаев прошлых лет, как он, Иван, собирал на гетманов. Но грек Иван недавно приехал в Киев и говорит мне тайно, со слезами, что собрал он в Переяславле таких пошлинных денег с 500 рублей, а гетман присылает с угрозами, велит привезти к себе в Гадяч 1000 рублей пошлинных денег, и грек, занявши, везет, а не везть не смеет, чтоб без головы не быть». Шереметев, епископ Мефодий и полковник Дворецкий толковали Фролову одно: чтоб переписчики спешили, а мещане этому все рады и доходы в казну государеву платить будут без отговорки, только б козацкой старшине и козакам до них дела не было; а если переписчики к первому сентября людей и угодий переписать не поспешат, то, как только Семен день придет, и гетман, и полковники, и старшина поборы все отберут на себя, а великому государю оставят мещан на целый год нагих и ограбленных.

3 мая в Печерском монастыре был обед, обедали Фролов, епископ Мефодий, печерский архимандрит, много других духовных, полковник Дворецкий. После обеда, вставши из-за трапезы, взяли Фролова в архимандричью келью и пили здоровье бояр и окольных. Фролов заметил, что надобно выпить и здоровье гетмана Ивана Мартыновича, который великому государю службою своею во всем верен, с духовными во всяком совете и любви пребывает и Войску Запорожскому и всему малороссийскому народу добронравием своим и правым рассуждением угоден. «Он нам злодей, а не доброхот, – крикнуло в ответ духовенство, – бывши на Москве, он великому государю бил челом и в статья подал, чтоб в Киеве быть московскому митрополиту, и этим он нас ставит перед великим государем как бы неверными». Епископ и некоторые другие из духовных решительно отказались пить, другие пили, но несогласно, как бы только поустыдясь. Фролов разведал, что статьи, в которых написано, чтоб в Киеве быть московскому митрополиту, прежде всех объявил в Киеве полковник Дворецкий, отчего у духовенства встало нелюбье к гетману; Дворецкий пристал к духовенству. Узнав об этом, Брюховецкий два раза присылал за Дворецким, хотел послать его в Запорожье отговаривать от шатости тамошних козаков, хотел послать его за тем, чтоб там его убили или расстреляли. Полковник испугался и стал бить челом, чтоб ему с Киевским полком быть под начальством боярина Шереметева. Последний спрашивал: если гетман пришлет в третий раз за Дворецким, то отдавать ли его? Сильнее всех продолжал высказываться против Брюховецкого старый друг его епископ Мефодий. «Брюховецкий нам не надобен, – говорил он при всех вслух, – он

теперь принял всю власть на себя; не только нас пред царским величеством неверными выставляет, но и старшину карает, в колодки сажает и в Москву отсылает, новых полковников от себя по полкам рассылает без войскового приговора; Юрий Незамай, Гамалея, Высочан и другие старшины ни в чем не виноваты, страдают от него напрасно, а здешним людям и смерть не так страшна, как отсылка в Москву; думаю, что иные и из заднепровской старшины поддались бы государю, да боятся погибнуть от гетмана; печерский архимандрит говорил, что гетманского войска козаки разоряют их монастырские маетности между Киевом и Белою Церковию; писали они к гетману, и он их не защищает».

Дворецкий выставлял себя умеренным, желал примирения: «Епископ Мефодий, все духовенство и я гетману не злодеи и не посягатели; мы только отводим его, чтоб до корыстей был не лаком и гордость отложил; хочется нам того, чтоб он приехал в Киев к боярину Петру Васильевичу Шереметеву, мы бы, облича его в неправдах, с ним помирились и были в вечной любви. Епископ Мефодий посылал в Чигирин уговаривать тамошних людей, чтоб великому государю вины свои принесли: чигиринские жители к тому склонны, и Дорошенко говорил, что он тому рад, да боится гетмана, сделает его без головы или в Москву отошлет, пусть епископ, боярин и гетман обнадежат его грамотами, что ему лиха не будет, тогда он и станет промышлять над ляхами». Мефодий, кроме несчастного пункта о митрополите, показывал по-прежнему усердие к Москве и, подобно Ивану Мартыновичу, не щадил своих; советовал также, чтоб во всех малороссийских городах воеводы и ратные люди жили особо в городках так, как в Нежине, потому что малороссийского народа люди ко всему шатки, – сохрани боже, чтоб кто-нибудь чего не начал: а прежде всего надобно это сделать в Полтаве, там люди больше всех шатки, к Запорожью близки и с запорожцами в мыслях бывают согласны, живут советно, что муж с женою. Шереметев свидетельствовал пред государем, что он от епископа никакого злого умысла и плевел не видал; но вопреки словам Дворецкого доносил о невозможности помирить Мефодия с Брюховецким и приводил в доказательство следующий случай: «Я говорил епископу, чтоб послать в Запорожье какого-нибудь верного человека с увещательною грамотою и для проведывания вестей; а Мефодий отвечал мне: это дело самое надобное, только в грамоте надобно спросить: отчего у них, запорожских козаков, делается шатость, не от бояр ли от кого? Я ему сказал на это, что так написать не годится: из этого я заключаю, что между ними и вперед совета не будет; только я о гетманских грамотах епископу, а об епископских словах гетману не даю знать, чтоб между ними ссоры не было, а ссора опасна, потому что к епископу и духовенству пристали мещане всех городов: так чтоб от их ссоры делу великого государя порухи не было». От самого Шереметева, по рассказам Фролова, не могло быть порухи государеву делу, как была поруха от боярина и гетмана. В Киеве, на Подоле, поставлены были рейтары и на мещанских дворах, потому что в верхнем городе поставить их было негде. Мещане много раз били челом, что от рейтар теснота большая и чтоб великий государь пожаловал, велел рейтар от них свести. О том же просил воеводу и Мефодий. Шереметев отвечал, что перевести рейтар в верхний город скоро никак нельзя, потому что там дворов и изб мало, а взять изб негде, потому что около Киева все разорено; если мещане хотят, чтоб от них рейтар вывели, то пусть дадут от себя 30 изб и переведут в них рейтар. 4 мая епископ является к Шереметеву и

приносит ему в почесть 100 рублей, чтоб рейтар от мещан велел вывести, изб на них не спрашивал, а велел бы избы купить из государевой казны. Боярин отвечал: «Я денег не возьму, а пусть мещане отдадут их на избы рейтарские». На другой день в соборной церкви епископ стал говорить боярину, чтоб он сто рублей себе в почесть взял, а на избы взял еще 100 рублей, мещане этим не оскорбятся, только бы рейтар от них велел вывести. Шереметев велел взять у мещан все 200 рублей и купить на них избы и, как избы поставят, перевести в них рейтар тотчас.

Фролов привез и грамоты: Брюховецкий жаловался, по обычаю, что московского войска мало в Малороссии: «При мне, вашего царского величества верном холопе, войска очень мало, едва не все ваши государевы ратные люди от наготы разбрелись. Воеводы вашего царского величества – миргородский, лубенский и прилуцкий – без семей на воеводства свои приехали, а хорошо бы им было приехать с семьями и со всем своим хозяйством, чтоб тамошние жители, видя воевод своих целое житье, от того лучше крепились и в отчаяние не приходили». Гетман жаловался на воеводу Протасьева, который не унимал иноземных ратников, притеснявших малороссиян; жаловался, что стольник Измайлов, присланный для сыску обид, ничего не делает. Жаловался на переяславского воеводу Вердеревского, который зятя его, Михеенка, велел бить и в тюрьму сажать безвинно, человеку гетманскому сена косить не дает. «Все это он делает, – писал Брюховецкий, – по наущению Ивашки Фирсова, который за тем в Переяславле и живет, чтоб ссорить меня с воеводою. Вердеревский же всякому козаку налогу чинит, не выслушав речей; козаки многие ропщут, говорят, что все это делается по моей милости». Полтавские козаки жаловались на своего воеводу Якова Тимофеевича Хитрово: «Велит москалям коней остальных брать в подводы по домам; сам стоит в доме у вдовы; начальных своих людей ставит по домам знатного товарищества; полковника, которого мы почитаем как отца, бранит скверными словами; который товарищ придет к нему – глаза тростью выбивает, плюет или денщикам велит выпихнуть в шею. Почтительнее обходится с наложницами майоров своих или солдат, чем с женою полковника нашего, об наших же женах и детях говорить нечего, какие позоры терпят. Не велит у мещан подвод брать, а только у козаков».

Епископ Мефодий больше всего опасался полтавцев, живших с запорожцами, как муж с женою; но бунт вспыхнул не в Полтаве, а в Переяславле. В июле месяце, когда полковник переяславский Ермоленко стоял с полком своим в Багушковой слободке, козаки его возмутились, убили полковника и отправились под Переяславль, здесь побили московских ратных людей и выжгли большой город; в то же время в Москву дали знать о шатости козаков в Каневе. Шереметев и Брюховецкий немедленно приняли решительные меры: с двух сторон, из Киева и Гадяча, двинулись войска к Переяславлю, и здесь бунт был задавлен; но некоторые городки на восточной стороне Днепра поддались полякам. В Москве распорядились так, чтоб перехватанные заводчики переяславского бунта были казнены в один день, в Гадяче у Брюховецкого и в Киеве у Шереметева. С известием об этом распоряжении в августе отправился в Малороссию Иона Леонтьев, который должен был также сказать гетману, что для предупреждения козацких бунтов не лучше ли козакам в Переяславле не жить, жить им за городом в слободах, в большом городе жить мещанам, а в меньшем – государевым людям. «Конечно, это будет лучше и крепче, – отвечал Брюховецкий, – но теперь сейчас

же этого сделать нельзя, чтоб другие города, на то глядя, не взбудоражились». Потом Леонтьев спрашивал у гетмана: «Чем успокоить шатость в тех городах, которые приняли к себе поляков?» «На это одно средство, – отвечал Брюховецкий, – когда эти города будут взяты государевыми ратными людьми, то надобно все их высечь и выжечь и всячески разорить, также и села около них, чтоб вперед в этих городах и селах жителей не было». Иван Мартынович был большой охотник сечь и жечь; козаки про него говорили: «Что это за гетман? Запершись сидит в городе как в лукошке; шел бы лучше с войском и промышлял над государевыми неприятелями, а то только и знает, что ведьм жжет». Из Гадяча Леонтьев отправился в Киев, и здесь боярин Шереметев говорил ему: «Теперь во всех малороссийских городах козаки на мещан злятся за то, что мещане по окладам всякие подати в государеву казну хотят давать с радостью, а козацких старшин и козаков ни в чем не слушают и податей давать им не хотят, говорят им: „Теперь нас бог от вас освободил, вперед вы не будете грабить и домов наших разорять“». Об отношениях епископа Мефодия к гетману Шереметев говорил прежде: «У епископа с гетманом совет худой, не знаю, кто их ссорит. Верен государю епископ черниговский Лазарь Баранович; как великому государю угодно, а мне кажется, что лучше всего быть ему в Киеве на епископстве; московскому же митрополиту быть в Киеве никаким образом нельзя; печерский архимандрит говорит: „Если услышим, что едет в Киев из Москвы митрополит, то я, собрав старцев, запрусь в монастыре, и вы нас доставайте“». Шереметев извещал, что мещане радуются новому порядку, радуются освобождению своему от козаков; и из слов Брюховецкого можно было заключить, что положение мещан улучшилось, ибо козаки начали записываться в мещане. «Многие козаки, – говорил гетман царскому посланцу в ноябре, – пишутся в мещане, а я тому и рад, думаю, что в несколько лет сделаю всех козаков мещанами: так и шатости не будет».

Но понятно, что козаки не могли хладнокровно смотреть на приближение такого порядка вещей, особенно не могли хладнокровно смотреть на это в гнезде козачества, в Запорожье. Еще 5 февраля 1666 года Касогов доносил, что с ним в Запорожье осталось войска только человек с 500, и у тех нет запасов. «Запорожцы, – писал воевода, – царских ратных людей не любят и говорят, будто по их милости не стало Войску добычи, хотят мириться с татарами и Дорошенком; а всему заводчик Кирилла Кодацкий и другие его товарищи, козаки той стороны Днепра. Кошевой Леско Шкура, видя это, хотел сложить с себя атаманство; козаки упросили его остаться, но замыслов своих не покинули». Шкура недолго пробыл кошевым: враждебные Москве козаки взяли верх, свергли его за то, что знался с московскими воеводами, Хитрово и Касоговым, да не дал козакам громить калмыков. Выбрали в кошевые Рога, который написал такую грамоту Брюховецкому: «Послышали мы, что Москва будет на Кодаке; но ее там не надобно. Дурно делаешь, что начинаешь с нами ссориться; оружие не поможет в поле, если дома не будет совета. Хотя ты от царского величества честию пожалован, но достоинство свое получил от Войска Запорожского, Войско же не знает, что такое боярин, знает только гетмана. Изволь, вельможность твоя, поступать с нами по-настоящему, как прежде бывало, потому что не всегда солнце в сером зипуне ходит и не знаешь, что кому злой жребий принес; помни древнюю философскую притчу, что счастье на скором колесе очень быстро обращается; в

мире все привыкло ходить как тень за солнцем; пока солнце светит, до тех пор и тень, и как мрачный облак найдет, так и места не узнаешь, где тень ходила: так, вельможность твоя, умеи счастье почитать». После перемены кошевого Касогову пришлось плохо в Запорожье: с ним перестали советоваться и сообщать ему новости; запретили добрым людям ходить к нему, разве кто тайком придет; Рогу запретили с ним знаться: Павла Рябуху явно бранили за то, что не громил царской казны, посланной в Крым; послали на Кодак козаков, чтоб не пускать туда московских ратных людей и оставить чистую дорогу Днепром для заднепровских изменников. Касогов, не предвидя для себя ничего хорошего, ушел из Запорожья. Брюховецкий послал спросить Рога, что это значит? Тот отвечал: «Мы и сами надивиться не можем, зачем он ушел? мы его не выгоняли; мы не изменники, как он нас описывает; не знаем, не для того ли пошел, что у нас кукол ночных нет, с которыми, думаю, на Руси уже натешился; Войско Запорожское государевых людей колоть не думывало, как он писал; а если когда и случилось, что козак, напившись, промолвил что-нибудь дурное, то быку не загородить рта, а человек пьяный подобен воску: что захочет, то и сплит». Брюховецкий писал царю: «Хотя все запорожские козаки в своих грамотах дружелюбно пишут ко мне, однако я боюсь, чтоб между ними не было какого-нибудь смятения, потому что в Запорогах живут козаки большею частию с западной стороны, которые перемогают желательных вашему государскому престолу. И теперь запорожцы дурно сделали, что, не отославши ко мне Дорошенковых посланников с грамотами, отпустили их назад в Чигирин с честью и с ними отравили своих козаков к нечестивому Дорошенку не знаю с чем.

Да сказывали мне мои посланники, пришедшие из Запорог, что тамошние козаки называют королей дедичными своими государями и ненавидят тех, которые служат верно вашему царскому величеству, особенно ненавидят дворян вашего царского величества, полковников Войска Запорожского, да и меня самого за то, что в малороссийские города посланы воеводы и стали ведать всякие угодыя. Теперь запорожцы выслали человек больше двухсот в Полтавщину, чтоб схватить меня; стоят они в Полтавском полку, в городе Баликах. Которые города или деревни богатые отговаривались повинности свои отдавать вашего царского величества воеводам или который козак к войску не выходил, к таким, в наказание за их гордость, послал я вашего царского величества ратных людей на становище и велел брать всякий корм, чтоб им понаскучили хорошенько».

В таком положении находились дела по сю сторону Днепра, когда пришла весть о заключении перемирия с Польшею. Мы видели, как истощенное государство Московское жаждало этого перемирия, и понятно, что вторжение короля Яна-Казимира в Малороссию в 1663 году не могло уменьшить этой жажды. В январе 1664 года отправился к королю из Москвы посланник, стряпчий Кирилла Пушин, и повез царскую грамоту с предложением нового съезда уполномоченных. В феврале Пушин нашел Яна-Казимира под Севском, в селе Ушине. Литовский канцлер Христофор Пац объявил посланнику, что с королевской стороны комиссары готовы и что съезду быть в Белеве или в Калуге. Тут же приехал к канцлеру крымский посол и объявил, что сам хан пришел под Азов с 50000 крымцев и 40000 янычар. Татарин предлагал Пацу истребить и донских козаков, и запорожских черкас и требовал, чтоб ханские послы присутствовали на съездах королевских комиссаров с царскими



уполномоченными. Канцлер отвечал, что когда король заключит мир с царем, то может помирить последнего и с ханом. Проводя крымского посла, Пац сказал Пущину: «Когда великие государи наши христианские склонятся к покою, то все мечи наши оборотим на этих бусурман». В то же время приехал в Москву королевский посланник Самуил Венславский и договорился с Ординым-Нащокиным и думным дьяком Алмазом Ивановым, чтоб царские уполномоченные, бояре – князь Никита Иванович Одоевский, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, окольник, князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий, думные дворяне – Григорий Борисович Нащокин, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и думный дьяк Алмаз Иванов, съехались с королевскими комиссарами – коронным канцлером Пражмовским и гетманом Потоцким с товарищами тою же весною. Перед отъездом Ордин-Нащокин подал государю записку, в которой настаивал на необходимости тесного союза с Польшею и обращал внимание царя на враждебные действия Швеции, которой надобно было, по его мнению, больше всего беречься. «Если заключить простой мир с Польшею, – писал Нащокин, – то надобно возвратить всех польских и литовских пленных, которых такое множество в службе во всех краях Великой России и в Сибири, поженились здесь, женщины замуж вышли; при союзе они могут остаться и нам очень надобны, потому что свои служивые люди от продолжительной войны стали к службе нерадетельны, скучают ею, а в украинских местах без служивого доброго строя от хана крымского и от калмыков быть нельзя. Союз с Польшею необходим потому, что только при его условии мы можем покровительствовать православию в польских областях. Единоверные молдаване и волохи, отделяемые теперь от нас враждебною Польшею, послышав союз наш с нею, пристанут к союзным государствам и отлучатся от турка. Таким образом соединится такой многочисленный христианский народ, одной матери, восточной церкви, дети: от самого Дуная все волохи и через Днестр, Подолье, Червонная Русь, Волынь и Малая Россия, уже приобщенная к Великой. А поблизости ведомый наш неприятель-швед; как прежде, так и теперь по съездам посольским известно, какие разрушительные шведские неправды! И все их начинания оттого, что с Польским государством продлилась война и внутренние ссоры повстали в Великой России; явный же виновник ссор – шведский комиссар: он для того и живет на Москве и делает что хочет. Шведы всячески тайными ссылками советуются с ханом на разорение Великой России. Они составляют злые вести, в Стокгольме печатают и во весь свет рассылают, унижая Московское государство. При мне грек Кирьяк привез эти вести из Москвы (надобно думать, что получил их от шведского комиссара), и вот польские сенаторы начали быть горды и не сходительны в мирных статьях, стали колоть нам глаза этим шведским сочинением, будто правда, что в Великой России страшное бессилие и разорение; по шведским же рассыльным вестям король и в Украину пошел, услышав, что все московские войска высланы против башкирцев». В заключение Нащокин говорит: «А черкас малороссийских как отступить без заключения тесного союза с Польшею: они, невзирая на Польшу и Литву, по совету с ханом и шведом начнут злую войну на Великую Россию». Эта мысль о возможности отступить от черкас, неопределенно высказанная, сильно не понравилась государю; он отвечал Нащокину: «Статьи прочтены, и зело благополучны, и угодны богу на небесах, и от создания руку его и нам, грешным, кроме 53-й (последней), эту статью

отложили и велели вынуть, потому что непристойна, да и для того, что обрели в ней полтора ума: единого твердого разума и второго половина, колеблющегося ветром. Союз – превеликое богоугодное дело и всего света любовь и радость, только о том с твердым рассуждением и с великим подкреплением наказав, великих и полномочных послов отпустим по времени. А о черкасском деле, о здешней стороне мысль свою царскую прилагать непристойно, потому что за помощь всемогущего бога и твоим усердством и верною службою во Львове о здешней черкасской стороне ты отговорил, впредь эта статья упомянута не будет; у нас, великого государя, твой извет про ту статью крепко памятен, и за то тебя милостиво похваляем. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного (т.е. полякам недостойно владеть и западную стороною Днепра); только то не от нас будет, за грехи учинится. Если же оба куска хлеба достанутся собаке вечно есть, – ох, кто может в том ответ сотворить? И какое оправдание примет отдавший святой и живой хлеб собаке: будет ему воздаянием преисподний ад, прелютый огонь и немилосердые муки, от сих же мук да избавит нас господь бог милостию своею и не выдаст своего хлеба собакам. Человече! Иди с миром царским путем средним и, как начал, так и совершай, не уклоняйся ни на десную, ни на шую; господь с тобою!»

В мае царские уполномоченные отправились в Смоленск с таким наказом: «Чтоб благонадежный и святой мир учинить и кровь христианскую успокоить вечно на обе стороны, а рубеж бы учинить по Днепр. Если польские комиссары рубежа постановить так не захотят, то вам бы по конечной мере говорить о стародавних городах, о Смоленске с 14 городами. О черкасах обеих сторон говорить и стоять всякими мерами накрепко, что они люди вольные и какая будет прибыль обоим государствам, если их напрасно в Крым отогнать и разоренье и войну всегдашнюю от них принимать. Если польские комиссары станут этому противиться упорно, то вам бы говорить о той стороне Днепра, чтоб там церковей в костелы не обращать и униатам не отдавать, города и черкас не неволить ничем, дать волю; о здешней же стороне Днепра, черкасских городах и о Запорожье говорить всякими мерами и отказать впрямь и засвидетельствоваться богом, что мы, великий государь, крови не желаем и впредь желать не будем. О пленных делать с превеликим рассмотрением, чтоб крепко и впредь постоянно и прочно было и чтоб в том между обоими государствами, особенно же в своем государстве, ссор, кровопролития и убийств не учинить. О титулах говорить по окончании дела, стоять крепко о белорусских и малороссийских, чтоб теми титулами писаться нам, великому государю, потому что города Малой и Белой России к Московскому государству исстари, а теперь под нашею высокою рукою многие, а королевскому величеству этими титулами вперед писаться же. Стоять об этом накрепко и в пример предлагать, как польский король пишется до сих пор шведским. Если польские комиссары станут упорно противиться, то говорить с ними о титулах подумав, примериваясь к их польским и литовским хроникам, какие прежде у Московского государства были города из Малой, Белой, Черной и Желтой России, к тем бы городам те и титулы прилагать, в этом бы нам, великому государю, вы послужили и порадели, как вас бог святой вразумит и наставит». Но скоро государь узнал, что службе и радению уполномоченных мешает несогласие между ними; Ордин-Нащокин, на ловкость которого царь больше всего надеялся, писал ему: «За многое пред богом окаянство я в службишке своей неисправен, в

твоим деле побежден многими душевными скорбями, ни в чем не успеваю; я от твоих ближних бояр, князя Никиты Ивановича и Юрия Алексеевича, до сих пор никакого обнадеживания в тайных делах не слыхал, они службишке нашей мало доверяют и в дело ставят; у нас любят дело или ненавидят, смотря не по делу, а по человеку, который его сделал: меня не любят и делом моим пренебрегают. А время, государь, скоро переменяется, делать бы теперь, не откладывая на иное время, а твоих ратей промысл и как устали от службы тебе, великому государю, известно, миру быть теперь самое время без проволоки». Государь прислал новый наказ: «Милость божия да умножится с вами, великими послами, и молитва пресвятыя богородицы да поможет вам во всяком усердии вашем. И вам бы, великим и полномочным послам, а на имя стародавних честных родов, и приятелям нашим верным, боярину князю Никите Ивановичу, боярину князю Юрию Алексеевичу (было написано еще думному дворянину Афанасью Лаврентьевичу, но зачеркнуто), о том же бозе нашем здравствовать и радоваться! Да послужить бы вам святой восточной церкви и нам, государю, и приложить бы вам к усердию наипаче усердие и к промыслу промысл, и стоять бы за Полоцк крепко, образа ради пресвятыя богородицы владимирские и чудес, содеявшихся от него в видении орли во время пришествия того образа во град Полоцк; удержать бы этот город, хотя бы и денег дать не мало: слез достойное будет дело, если в святой величественной великой церкви полоцкой поручницыно имя уже более не возгласится православно, призовется по-римски или иною верою неправо, и жертва не принесется правильно, но учинится церковь костелом или униатскою! Также и за Динабург давать деньги, а за Витебск и упорно говорить не надобно. Если невозможно удержать Полоцка и Динабурга, буди воля божия и пресвятыя богородицы, сделается это по воле божией, а не от вас, только бы наше намерение и повеление к вам, ваше предложение и усердие крепкое было. А думному нашему дворянину, а вашему товарищу Афанасью Лаврентьевичу это письмо ведать же».

1 июня в Дуровичах, между Красным и Зверовичами, начались съезды. Три первых съезда прошли, по обычаю, во взаимных упреках и спорах за титулы: московские уполномоченные жаловались, что король, отпустив Ордина-Нащокина из Львова с обещанием приказать комиссарам своим двинуться к границе для мирных переговоров, вместо того двинулся сам с войском в украинские города. Комиссары отвечали: «Когда был во Львове Ордин-Нащокин и домогался перемирия, то король на это не согласился, говоря, кто желает перемирия, тот не желает вечного мира; король желает мира, но не обещал прекратить войны и пошел на подданных своих запорожских черкас для того, чтоб свои города мечом отыскать и старых подданных возвратить под свою оборону». Между тем Хованский снова проиграл сражение под Витебском, потерял обоз; Одоевский писал государю: «Польские комиссары перед прежним горды, стоят упорно, проволочивают время нарочно, а гетман Пац собирается с войском безопасно, поджидает к себе коронных полков, из Украины вестей и от крымских людей помощи; и так теперь над князем Иваном Андреевичем Хованским и над твоими государевыми ратными людьми учинили промысл, обоз взяли и Витебск осадили, то и пуще возгордились». Ордин-Нащокин писал от себя то же, прибавляя, что комиссаров можно склонить к миру только обещанием союза, но когда он советует Одоевскому и Долгорукому предложить комиссарам союз, то ближние бояре и

слышать об этом не хотят, потому что, говорят, в дело этого не поставлено; посредников нет, а без этих двух статей, без предложения союза и без чужого посредства, успеха в переговорах не будет. «Если я, – продолжает Нащокин, – доносил тебе, великому государю, что-нибудь неправдою. если все то, что я тебе говорил и писал по шведскому и польскому посольству, не сбылось, то я достоин смерти, и не только был бы я рад, если б меня откинули от этого посольства, как откинули от шведского, но даже тесная темница или казнь были бы мне радостнее нынешнего посольства». Князь Юрий Алексеевич Долгорукий писал государю мысль: «Поляки подлинно знают, что у боярина князя Якова Куденетовича Черкасского в полках ратные люди оскудевают запасами, стоя на одном месте, утехи себе и прибыли никакой не имеют; всегда рать тешится, вступая в чужую землю и видя себе прибыль и сытость, а на одном месте стоя на своих хлебах, всегда попечением одолевается. Лучше, не испуская лета, князю Якову Куденетовичу Черкасскому перейти Днепр между Могилевом и Быховом под Варколановом монастырем и тут дать битву, литовское войско пожать, а комиссаров понизить, а биться ему с литовским и жмудским войском можно, пока Чарнецкий с коронным войском на помощь к литве не подоспеет». Ордин-Нащокин утверждал то же самое, что для склонения комиссаров к уступчивости необходим военный успех с русской стороны, но он разнился с Долгоруким относительно места, куда должно было двинуться царское войско. «Если государевы ратные люди, – говорил Нащокин, – будут стоять без промыслу до осени, то они смоленские хлебные запасы объедят, смоленских ратных людей оголодают и осенью разбегутся; если же им хлебных запасов давать понемногу, то они и до августа станут бегать. Если от государевых ратных людей будет промысл по Двине-реке, то литва испугается, а запасы нашему войску можно везти реками Касплею и Двиною; над Могилевом же промысл литве не так страшен, потому что жены, дети и дома их около Двины, а татар они в Литву привести для своего разоренья не захотят, если же и приведут татар, то татары в Литве зимовать не станут и за нашим войском к Двине не пойдут, а учинят Литве такое разоренье, какого она от нашего войска и в десять лет не видала; видя такое разоренье от татар, Литва рада будет миру». Ордин-Нащокин советовал также действовать другими средствами; он говорил: «Для одержания союзом Смоленской и Северной земли надобно послать к шляхте, у которой в тех уездах были маетности, обнадеживать ее возвращением этих маетностей, обещать, что суд и расправа останутся у нее прежние; войску польскому надобно посулить денежной казны, а сенаторам уже и объявлено; надобно дать государева жалованья литовскому референдарю Брестовскому, он может все сделать, потому что литовцы его любят и во всем верят». На все эти мнения и донесения царь отвечал от 18 июня, что князю Якову Куденетовичу Черкасскому велено двинуться к Орше.

К этому воеводе, которым были недовольны за действия его против короля, царь послал спросить о здоровье и сказать ему такие милостивые речи: 1) Сын его, князь Михайла, и дочь его, княжна Авдотья, дал бог, здоровы, и к ним наша государская милость непременно: от нас, великого государя, к сыну его, от царицы к дочери его подачи ежедневные и пироги именинные посылают. 2) Чтоб он, боярин и воевода, взяв себе на помощь крепко великого бога и его святой образ, безо всякого сумнения дерзал и промышлял о имени его святом, не опасаясь

ничего. Верил бы и уповал крепко на бога, и как бог попустит, то будет людям на хвалу, а если за неверие милость отнимет, тогда все пуще ворчать станут; истинно, за Болховскую стойку крепко негодуют; речам глупых людей не радоваться бы, что король от него побежал и он хотя и не нашел, зато и не потерял. Можно было ему, за божиею помощью, с польским королем мир учинить, если бы он на его королевских людей наступал всеми людьми строем и обозом и над ними промышлял: всегда за таким промыслом войне конец бывает. 3) Радовался бы упованию крепкому на бога да утешался бы тем, что на недруга наступал всяким способом, бился строем, огнем и дымом и промысл чинил с обозами: большая то слава и честь, нежели людьми, пехотою. 4) Чтоб он, боярин и воевода, с нашими ратными людьми, пушками и обозами подвинулся ближе к великим и полномочным послам и стал от них в 30 верстах для страху польским комиссарам. Во время съездов к великим послам посылать станицы часто и спрашивать вслух, польские комиссары приступают ли к миру и правдою ли входят в дело или разъедутся? Если и не разъедутся, а в дело входят неправдою, то ему над польскими и литовскими людьми чинить промысл, не испустя нынешнего летнего времени; а посылал бы к великим послам людей умных и суровых и ростом дородных. 5) Чтоб он, боярин и воевода, над польным гетманом Пацом и над литовскими войсками промышлял, ссылаясь с великими послами, брал бы у них совет и весть почаше, как литовских людей приводить к миру, потому что они на то дело смотрят, как его делать. 6) Чтоб у Полоцка неприятельским людям никак нового хлеба и трав покосить не дал, чтоб к тому новому хлебу на тот год таборы свои ставить и запасы готовить. 7) Чтоб он походом и промыслом своим и посылками на войну себя и наших ратных людей охрабрил и нашим, великого государя, походом, если польские комиссары не помирятся, обнадеживал для того, чтоб дело к концу привести. 8) Ратных конных людей обнадеживать нашим государевым жалованьем, деньгами и хлебом вперед. 9) Спросить, для чего полчане его на Москве оставлены? 10) О князе Хованском сказать, что к нему будет послан товарищ для подкрепления. 11) Переслаться с князем Хованским, чтоб литовскому и жмудскому войску собраться не дать. 12) Непременно бы он, боярин и воевода, на то дело смотрел всячески и над неприятельскими людьми чинил всякий промысл и поиск, чтоб неприятельским людям собраться не дать и не так бы сделать, как было нынешнею зимою, когда господь бог всякий промысл подавал, можно было надеяться всякого доброго дела, а он, боярин и воевода, как польский король из севских мест побежал к Могилеву, за ним не поспешил и от Почепа отступил. 13) Чтоб крепко уповал на бога, на снятый образ и на молитву пресвятые богородицы, дерзал бы о имени божием разумно и ходил и посылал стройно военным крепким обычаем. Князю Юрию Алексеевичу Долгорукому государь послал сказать тайно: «Князю Якову Куденетовичу Черкасскому послано выговорить за прежнее его стоянье без промысла; если он вперед будет делать так же, то великий государь изволит идти в Вязьму, а на место князя Черкасского воеводою быть укажет ему, князю Юрию Алексеевичу, а теперь бы его без причины не переменять. Думному дворянину Афанасью Лаврентьевичу про эту статью сказать же».

Черкасский должен был двинуться с войском, чтоб подвинуть посольское дело в Дуровичах. Здесь уже шесть съездов прошло в вычетах и перекорах, кто виноват в нарушении вечного мира – Москва или Польша? На седьмом съезде, 30

июня, московские уполномоченные сказали: «Все эти вычеты обеим сторонам известны, пора уже их оставить и говорить о том, как все ссоры успокоить и вечный мир заключить». Польские комиссары отвечали, что вечный мир может быть заключен только на поляновских условиях. Московские уполномоченные возразили, что поляновские статьи – вещь невозможная. «Ну так дайте нам письмо за руками, что Поляновский договор уничтожен, и тогда мы будем становить новые условия», – сказали комиссары. Но царские послы отказались дать письмо, предполагая хитрость: в Поляновском договоре утвержден был за государем московским царский титул; если уничтожить договор, то поляки откажутся писать этот титул. Пошли споры об уступке земель; поляки требовали возвращения всего завоеванного и 10000000 золотых польских за убытки и разорение. «Не уступим, – кричали они, – ни пяди земли, пока сабля у нас при боку; вы побрали наши города во время нашего бессилия, когда у нас много неприятелей было; но хотя господь бог за грехи нас и казнил, однако ото всех неприятелей освободил, остались у нас неприятели вы одни; мы и с вами хотим мира, только отдайте нам все; а не отдадите, и мы будем отыскивать своею саблею. Вы нас попрекаете за крымский союз: нам бы и самим не хотелось соединяться с ханом, но, видя вашу несклонность к вечному миру, поневоле с ним соединимся, соединимся и с шведским королем, и с иными государями; шведский посол теперь у короля в Варшаве, дожидается заключения союзного договора; да при нашем посланнике астраханские татары и калмыки присылали к крымскому хану с просьбою принять их в подданство; сами рассудите: когда мы со всеми этими государями соединимся, то вам придется плохо». Царские уполномоченные уступили им все, что только могли по наказу, уступили и Полоцк, и Динабург, но польские комиссары не хотели ни о чем слышать, кроме возвращения всего завоеванного. Тогда царские уполномоченные показали твердость, объявили комиссарам, что если они не хотят соглашаться ни на какие уступки, то съезжаться больше незачем, ибо они стоят в царских землях, в Смоленской волости, и своим станом мешают движению царских войск (по договору место съезда и окрестности на известное расстояние были свободны от военных действий). Польские комиссары присмирели, отказались от требования десяти миллионов за убытки. «Больше уступать нам нечего, – говорили они, – пусть опять начнется кровопролитие, у нас в государстве разорять нечего, потому что оно уже все разорено, а вы смотрите, не доводите нас до необходимости соединяться с другими государями». Видя невозможность продолжать переговоры, положили разъехаться на три недели, с 10 июля по 1 августа, царским уполномоченным отправиться в Смоленск, а польским комиссарам – в Толочино.

Приехавши в Смоленск, великие послы отправили в Москву товарища своего, Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, чтоб тот подробно рассказал государю, как у них деле? делалось. Следствием этой поездки была царская грамота Долгорукому: «Будучи ты на посольских съездах, служа нам, великому государю, радел от чистого сердца, о нашем деле говорил и стоял упорно свыше всех товарищей своих. Эта твоя служба и раденье ведомы нам от присыльщиков ваших, также и товарищ твой, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, про твою службу и раденье нам извещал. Мы за это тебя жалуем, милостиво похваляем, а теперь указали тебе быть полковым воеводою, и ты бы над польскими и литовскими людьми промысл и поиск чинил бы, в которых местах пристойно,

смотря по-тамошнему». Черкасский был отозван в Москву под предлогом, что он должен быть дворовым воеводою во время преднамеряемого царского похода в Литву. Ордин-Нащокин возвратился в Смоленск с наказом польских комиссаров подкупать всячески, чтоб они к миру были склонны. 30 июля он получил грамоту: «Ты бы нам отписал с нарочным гонцом наскоро, чаять ли от комиссаров сходства к миру и нашему походу из Москвы в Вязьму быть пристойно ли? Да ведомо нам, великому государю, что генерал-поручик Вильям Дромант нашу государскую премногую к себе милость и жалованье поставил ни во что и, нашим жалованьем обогатясь, нам служить не хочет, а хочет ехать за море, и ты б ему поговорил от себя тайно, чтоб он свою мысль отложил и за море не ездил». В ответ Ордин-Нащокин писал, что Долгорукий задерживает войско под Шкловом, в котором сильный гарнизон, и боится выйти из смоленских мест в литовские; но что он, Нащокин, держится прежнего своего мнения: осаду городов надобно оставить; и прежде эти осады губили войско и давали время неприятелю собираться с силами; он приходил и города свои отбирал назад. Теперь, не задерживая войска под Шкловом и Могилевом, стать к хлебным местам Смоленского уезда и оттуда пустить войну к Двине, где у литовских войск дома.

С 8 августа возобновились съезды: польские комиссары объявили, что вечный мир возможен только при возвращении Польше всего завоеванного, и предложили перемирие до мая месяца следующего 1665 года с уступкою царю Смоленска и северских городов. Царские уполномоченные соглашались на это осьмимесячное перемирие, но с удержанием всего завоеванного, уступали наконец Витебск с уездом; за уступку навеки Смоленска, северских городов, Динабурга, Малороссии на восток от Днепра и Запорожья предлагали три миллиона да самим комиссарам давали соболей на три тысячи рублей. Комиссары ни на что не согласились и разъехались в сентябре, положив начать новые съезды не ранее июня 1665 года, после сейма. Так окончилось посольское дело. Князь Долгорукий извещал, что гетман Пац стоит в Могилеве в крепости и в пушечной отстрелке, а в поле бою не дает, не вышел и против окольного князя Юрия Никитича Борятинского; те же неприятельские люди, которые встретились с Борятинским, побиты наголову, и в плен взято шляхты и немцев 32 человека; кроме того, по обеим сторонам Днепра литовских людей во многих местах побивали; над Шкловом и Копосом промыслить нельзя, потому что сторожа в них оставлена сильная и начальные люди верные. Государевым ратным людям стоять теперь в Дубровне хорошо, гораздо сытнее, чем под Копосом и Шкловом, хлеб находят по ямам и на полях жнут и в обоз возят; но перед прежними годами на полях во многих местах хлеба не сеяно, начало зарастать лесом; около Могилева и Шклова все пожжено и разорено; от Днепра до Березы, а в правую сторону близ Двины, в левую по Толочино все разорено и сожжено, люди в полон выбраны и повезены в Русь. Ратным людям дано сроку три дня для отпуска пленников в Русь, а которые безлюдные люди, тем велено продавать, а у себя не держать, потому что в полках появилось много жонок и девок, и надобно очистить души и тела ратных людей от блуда.

Прошел 1664 год; приближался уже июнь 1665-го, а о новых посольских съездах не было слуха. В мае месяце московский посланник дьяк Григорий Богданов толковал в Варшаве с панями радными о посредничестве христианских государей. «У Короны Польской, – говорили паны, – с Московским государством

не первая теперь война, и в прежних войнах мирились без посредников. Императорские послы, Аллегрет с товарищами, были посредниками, однако при них покою вечного не учинено; а если б посредников тогда не было, то, конечно, мир был бы, эти посредники тогда только мешали, а не мирили. И теперь только бы ваш великий государь захотел покою, то можно бы заключить вечный мир и без посредников». «Сколько раз съезжались великие уполномоченные послы, – отвечал Богданов, – а ни вечного мира, ни перемирья за многими спорами не заключили; для того теперь посредники и надобны, чтоб спорные дела рассудили. И опять полномочные послы съедутся, и опять без посредников ничего не сделают». «Хорошо, – говорил референдарь Брестовский, – успокаивать обидные дела посредниками, не начиная войны, не делая великого разоренья, не взявши себе многих городов; а то побрали многие города, да и говорят о посредниках. Знаем мы, для чего вам нужны посредники: для проволоки, чтоб года три-четыре проволочить и взятые города укрепить за собою». «Царское величество, – говорил бискуп Плоцкий, – желает в посредники цесаря и короля датского; но пусть царское величество знает, что цесарь королю польскому родня, а датскому королю во время его упадка, когда на него шведы наступали, польское войско большую помощь оказало, потому датский король нашему королю друг и неправды никакой делать не захочет. Если соглашаться на посредничество, то до приезда посредников надобно будет войну прекратить, и в это время царь будет нашими городами владеть и их за собою крепить. Только принять в посредники цесаря и короля датского, так захотят у того же дела быть и французский и шведский короли, и курфюрст бранденбургский. и другие все христианские государи. и всякий из них станет вымышлять, как бы себе лучше». Богданов возражал, что ни один государь без приглашения не навяжется в посредники. Паны продолжали свое, что посредники только препятствуют соглашению. «Лучше всего, – говорили они, – съехаться уполномоченным, и если они вечного мира заключить не смогут, то заключить перемирие лет на 12 и вместе договор о посредниках, которые должны быть при переговорах о вечном мире». С этим Богданов и был отпущен, а в Москву в сентябре приехал королевский посланник Иероним Комар и объявил полномочие говорить о перемирии, о прекращении военных действий и о том, где и когда быть съездам уполномоченных. Что же было причиною такой склонности к миру и такой уступчивости со стороны Польши? Мы видели, что оба государства были поставлены предшествовавшими событиями в такие отношения, что мир между ними не был возможен; Москва после таких пожертвований не могла отказаться от Малороссии и от всех завоеваний; поляки же прямо говорили: для чего нам уступать вам что-либо, когда обстоятельства переменились, когда вы истощены, без союзников, а мы свободны от всех других врагов и в союзе с ханом? Следовательно, мир между Москвою и Польшею был возможен только в том случае, когда новый какой-нибудь удар постигал то или другое государство и заставлял его спешить миром с тяжелыми для себя жертвованиями. Такой именно удар постиг Польшу; поляки перестали хвастаться своим выгодным положением, ибо внутри поднялась у них смута, а извне хан крымский вместо союзника становился врагом, и готовилась страшная война турецкая. Знаменитый Любомирский, с которым мы встречались при печальных для Москвы событиях, преследуемый противною стороною, в челе которой стояли королева и канцлер Пражмовский, был позван в 1664 году перед сейм и за неявлением приговорен к



потере достоинств, имущества и жизни. Любомирский удалился в Силезию, но шляхта Великой Польши поднялась на его защиту, и Любомирский, в челе ее, вступил в открытую борьбу с правительством.

В Москве знали о восстании Любомирского, переменили тон. объявили Комару, что для перемирия со стороны царского величества уступок никаких не будет, и прямо спрашивали, как идут дела у короля с Любомирским? Комар отвечал: «Любомирский загнал королевское величество далеко; но было время, когда на короля наступили вдруг разные неприятели, и тогда бог короля освободил, а с подданным своим королевскому величеству война не страшна; когда король пойдет на Любомирского сам, то последнему стоять будет не с кем, как мышам против кота». Комар уступал на перемирие Смоленск с городами Смоленского воеводства; думные люди отвечали, что это речь неслушная; переговоры о перемирии кончились, и положили – быть комиссарским съездам в январе 1666 года.

Но только 12 февраля приехал в Смоленск великий и полномочный посол, наместник шацкий Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, пожалованный уже в окольные; в товарищах ему назначены были дворянин Богдан Иванович Нащокин и дьяк Григорий Богданов; с ними отпущены были ковер золотный – постилать на стол во время переговоров с польскими комиссарами, шатер суконный красный, карета, шандал серебряный, пять шандалов медных с щипцами, лохань с рукомойником серебряные, десять стоп бумаги, кувшин чернил, свечи восковые витые и свечи сальные. Еще до начала съездов, 6 марта, государь дал знать Ордину-Нащокину, что в Москву приехал полковник от Любомирского с двумя просьбами: 1) чтоб сыну Любомирского служить царскому величеству и держать на Украине два города, заступая Московскую землю от татар и поляков; 2) самому Любомирскому помочь деньгами, чтоб ему людно и сильно быть против короля. Государь требовал совета у Нащокина, что отвечать Любомирскому?

Ордин-Нащокин писал: «Сыну Любомирского пристойно быть в Москву, это поможет миру и явно будет всему свету, что сын великого человека и славного сенатора Короны Польской приедет служить в Московское государство; дружбе с цесарем это не повредит, потому что Любомирский в милости у цесаря: на Москве в милости царской держать его не зазорно от людей и не ново, а полякам будет страшно. Если же послать казну самому Любомирскому, то от этого Великой России большой прибыли не будет: злая ненависть не возросла бы? Свои ратные люди зашумят, что в чужую землю казну посылают, а у себя и хлебом и деньгами скудно». Любомирский предлагал также царю заключить союз с цесарем, курфюрстом бранденбургским и Швециею и не допустить на польский престол принца Конде. Но кроме того, что это вмешательство в чужие дела вовсе было не ко времени Московскому государству, истощенному, жаждущему мира, мысль о союзе с шведами была лично ненавистна Нащокину, и он отвечал царю: «Такой промысл теперь не к делу, а когда было для него время, тогда не хотели этим заняться. Теперь надобно думать о том, как бы поскорее мир заключить. Цесарь и курфюрст и теперь в постоянной дружбе с царским величеством, а швед от промыслу отбит не в меру почитанием и страхами Посольского приказа; чтоб шведы не гневались, уступлены им пошлины во вред божиим людям Новгородского и Псковского государств и во вред казне, а теперь шведский

резидент в Москве требует уплаты долгов, что у шведов на русских людях; кто бы этому не подивился и не счел за порабощение! Итак, наведши владительство шведское над русскими людьми, какой ровной соседственной дружбы ожидать? И кто дерзнет, будучи в тех краях воеводою, людей оберегать и сбор казны множить?»

Съезды у Нащокина с польскими комиссарами, Юрием Глебовичем, старостою жмудским, с товарищами, начались только 30 апреля в деревне Андрусове, над рекою Городнею, между Смоленским и Мстиславским уездами. 26 мая Нащокин доносил государю, что комиссары намерены уступить Смоленск со всею Северскою землею, также Динабург, довольствуясь отдачею Полоцка и Витебска да денежным вознаграждением, обещанным еще в Дуровичах: но польские комиссары никак не хотят уступить Украйны: два польских комиссара, страшно нобранясь, едва не уехали от литовских, все за Украйну. «Коронные комиссары, – писал Нащокин, – затем и перемирие заключат, чтоб всякими мерами вперед стараться о возобновлении войны, а тогда и Литва от них не отстанет: так теперь надобно подлинным союзным миром их захватить». Нащокин оканчивает свое письмо любопытными указаниями о собственных отношениях: «Узнал я, что сынишка мой, Войка (возвратившийся в отечество), из Пскова поехал в Москву, и тебе, великому государю, бью челом, надеясь на твою государскую по боге бесчисленную ко всем виноватым милость, особенно же ко мне, беззаступному холопу твоему. Если бы вина его, Войкина, была отпущена и дошло бы до того, чтоб его послать ко мне, то твоему государеву делу будет помешка. Тебе, великому государю, известно: в нынешнее воинское время многие неудержательные речи в людях происходят перед прежним бесстрашно, а перед всеми людьми за твое государево дело никто так не возненавижен, как я; которым и службишка моя приказана, и те злыми разговорами возненавижены от думных людей. Крепче иных ближний окольный Федор Михайлович Ртищев, и тот в моей службишке от злых разговоров много пострадал и потому побоялся переписываться со мною по делам настоящего посольства, что причиняет большой вред в твоем и всего мира деле, в докладах. Воззри, государь, на божие и на свое государское всенародное дело, чтоб оно мною и сынишком моим от ненавистей людских разрушено не было, а я вины сынишка своего не укрываю, и в обращении его как тебе, великому государю, бог известит, пожаловать или казнить».

Самым ясным признаком возможности мира было то, что комиссары согласились на прекращение враждебных действий на всех пунктах: но в то время как явился уже такой благоприятный признак, вдруг Нащокин получает из Приказа тайных дел грамоту – оставить все замыслы и служить по обещанию. «Теперь ли мне замыслы иметь, когда гроб у меня в глазах!» – отвечал Нащокин государю. «Я милосердия твоего, что слепой света, ожидаю, жду, что ближние твои бояре к совершению посольства будут и мои злые дела покроются честным делом». 18 июня Нащокин уведомил, что вечный мир невозможен и потому приступлено к переговорам о перемирии. В ответ пришла милостивая грамота, чтоб Нащокин на милость государеву был падежен и заключал договор о перемирии, отложив всякий страх, немедленно. Нащокин доносил (в июле), что договору о перемирии сильно помешали козаки, которые стоят иод Гомелем, распустили войну и в дальние литовские места, везде пленят народ. Польские

комиссары на съездах говорили, что козаки нарочно нарушают договор о прекращении военных действий: им не хочется мира, чтоб быть всегда в своеволье, а не под началом на своих пашнях работать. В половине июля Нащокину стало легче спорить с комиссарами на съездах: государь писал ему, что за его верную и радетьельную службу он пожаловал сына его, вины отдал, велел свои очи видеть и написать по московскому списку с отпуском на житье в отцовские деревни; относительно условий перемирия царь позволил Нащокину уступить Витебск и Полоцк, но приказывал стоять упорно за Динабург и Малую Лифляндию, сулить за них в королевскую казну 10000 рублей и больше, а тех комиссаров, которые будут особенно противиться, подкупать, сулить тайно до 20000 рублей. Когда Нащокин предложил это комиссарам, то они отвечали, что уступкою Полоцка и Витебска ограничиться нельзя, не может Польша уступить Москве Украину, потому что тамошние служивые люди останутся без домов. Государь велел предложить им из заднепровской Украины город Канев с уездом, потом уступать Киевское воеводство, наконец даже и Киевский уезд, оставив при Киеве только по шести или по пяти верст в окружности, чтоб в этих верстах остались православные монастыри, но самый Киев, Кременчуг и Запорожье непременно удержать в государевой стороне; если Нащокин узнает подлинно, что комиссары готовы заключить и вечный мир, если им уступлен будет Киев и разделится все Днепром, то для вечного мира Киев уступить, но Запорожью и Кременчугу быть в государевой стороне. Потом государь велел требовать Киева только на пять лет. Нащокин послал в Москву свой душевный извет: «Ведаю правду, умолчать – противно богу и невозможно по крестному целованию великому государю: комиссарам силы в посольстве прибыло из Украины, потому что в прошлом году в Украину из Москвы переписчики посланы для сбора доходов со всяких жилецких людей; но тамошние люди и от польского короля многою кровью отбивались, чтобы жить в своей воле, им лучше кровопролитие и своеволье, чем покой; неудовольствие в Украине вследствие сбора доходов возбудило в поляках надежду к ее возвращению и произвело потому затруднение в мирных переговорах. В Малой Ливонии тоже неудовольствие: после отдачи Большой Лифляндии шведам на Двине проезжих людей грабят и всячески оскорбляют. Наконец, как нарочно, чтоб раздражить литовское войско, из Смоленска выслали пашенных людей: успели бы это сделать и после заключения перемирия, а теперь от порубежной жесточи война может возобновиться. Чтоб удовлетворить Литву, надобно уступить к Полоцку и Витебску Динабург с тамошними местами: тогда Литва и вперед на сеймиках и на Большом сейме будет противиться войне с нами, потому что Литве нечего будет больше желать. От польских же границ необходимо удержать Украину от Чернигова по Днепр и во время перемирья укрепить Чернигов и все северские города. Киев на пять лет и Динабург на все перемирье при том, что делается теперь на порубежье, отстоять невозможно; да если и перемирье будет, а не прекратится насилие порубежным крестьянам, то смоленские уезды и вперед пусты будут, крестьяне выбегут на льготы за рубеж. Для успеха в посольском деле надобно усилить порубежные места, в начале зимы в Смоленск и в другие порубежные города запасы и рати ввести, также ссылаться с курфюрстом бранденбургским, с Богуславом Радзивиллом и с Любомирским». Государь от 10 ноября отвечал Нащокину, чтоб заключал перемирье по прежнему наказу, вытребовавши Киев на пять лет, а

Динабург на все перемирие время. Но польские комиссары (10 декабря) с клятвою объявили, что по сеймовому указу им велено уступить Смоленское воеводство со всею Северскою землею, а взять без откладывания Киев с теми местами, которые через Днепр на переяславской стороне теперь за ними, да Запорожье, чтоб запорожские козаки ссорою не наводили на них войны с турками и крымцами, а на Двине – Динабург с другими волостями, которые прежде были за ними. Нащокин предлагал разъехаться до нового срока, подтвердив только прекращение неприятельских действий, но комиссары никак на это не соглашались, «Или перемирие на 12 лет на наших условиях, или война», – говорили они и грозили, что хан с ордами идет к ним на помощь, что подтверждал и воевода Шереметев из Киева. Нащокин уговорил комиссаров не разъезжаться до 25 декабря и, давши знать об этом государю, советовал принять условия, ибо других не будет. «А в Московском государстве, – писал он, – и в мысли того не бывало, что Смоленском владеть, не только Черниговом и всею Северскою землею, что теперь отдают. У полоцких и витебских служивых людей слышится сильный ропот, что живут без перемены, и если война продлится, то едва ли удержатся. Какая нужда в Киеве, тебе, великому государю, известно из грамот боярина Петра Васильевича Шереметева; а в Польше и Литве хорошо знают, что порубежные города не крепки и большое войско на оборону их скоро не придет; слава пущена во все государства, что денежной казны у вас в сборе нет; сибирская рухлядь и всякие поставки в жалованье служивым людям розданы, прежних доходов убыло, и на денежных дворах в Москве и по городам денег не делают. Если мир отложится, то чтоб турка и хан в Украине не усилились, ее и окольные места не разорили, когда выведут людей, то и мириться будет незачем; и началась война за то, чтоб турка и хана не допустить владеть Украиною, в посольствах и по всему свету об этом расславлено; а кроме мира с Польшею, возмущения в тамошних людях укротить нечем». Государь 17 декабря послал статьи, примериваясь к которым договариваться: перемирие на 12 лет или больше, уступить за Киев Динабург с Южною Ливониею, если же не согласятся, то по последней мере уступить и Киев с заднепровскими городами киевской стороны, а восточной стороне Днепра быть за царем, Запорожье поделить – здешней стороне быть за Москвою, а другую уступить Польше. Статьи объявлять не вдруг, а продержат комиссаров и войну задержать до последнего зимнего пути. «А тебе, Афанасию Лаврентьевичу, – писал государь, – к терпению еще терпение приложить, потому что гумна пшеницы и меры масла еще не исполнились, ибо мир в лукавстве лежит; претерпевши до конца, той спасен будет, и, как гумна пшеницы и меры масла исполнятся, тогда мы, великий государь, укажем к тебе отписать». Но скоро это решение переменялось вследствие известия, что хан побит в Украине; 22 декабря написан был новый наказ Нащокину: «За Киев и за здешнюю сторону Запорожья давать деньги, что пристойно, чтоб Киеву и здешней стороне Запорожья никак в уступке не быть; если же комиссары не согласятся, то съезды отсрочить и войну задержать». Нащокин донес, что после 30 съездов комиссары уступили наконец всю восточную сторону Днепра, но Киева все еще не уступают и вопреки договору польские войска двинулись в Смоленский уезд для сбора стаций. 6 января 1667 года государь отвечал: «Мы отправили окольного князя Великого-Гагина в Вязьму с двумя полками рейтар и с четырьмя приказами стрельцов и с 33 пушками, из Вязьмы им велено идти в Смоленск не для крови, но

для того, чтоб литовские войска отступили. Если польские войска из Смоленского уезда выйдут и комиссары будут к вам сходительнее прежнего, то тебе, от бога избранному и верному доброхоту нашему, уступать Динабург с Запорожьем, кроме берега здешней стороны против Запорожья, потому что по вашему договору комиссары уступают все черкасские города здешней стороны, а за Киев стоят; если же никакими способами Киева удержать будет нельзя, комиссары сходительны не будут, рати из Смоленского уезда не выведут, а захотят крови, то Киев уступить, но прежде настойте о выводе и задержании войск, чтоб отдавать было волею, а не по нужде. Смотреть накрепко, не своею ли службою хотят комиссары удержать Киев, но нарочно ли вам говорят, что указ им прислан с сейма; а нам подлинно известно, что сейм разорвался без всякого дела. Стойте всеми силами, чтоб нам в титлах по-прежнему киевским писаться».

«Свыше человеческой мысли», по выражению Нащокина, комиссары согласились уступить Киев на два года. Виновником этой уступчивости был Дорошенко. Еще 20 февраля 1666 года под городом Лысенкою Дорошенко предложил старшине (без черни) всех ляхов выслать из Украины в Польшу, самим со всеми заднепровскими городами приклониться к хану крымскому и по весне идти с ордою на восточную сторону; если ляхи не пойдут добровольно, то бить их, потому что поляки берут стацию многую и налоги чинят великие, а от московских ратных людей и от восточных козаков не защищают; стаций и хлеба на западной стороне давать нечего: уже три года хлеба не сеяли. Поднялся крик от старшины Серденева полка на Дорошенка. «Ты татарский гетман, татарами поставлен, а не Войском выбран; мы все поедем к королю». «Хоть сейчас поезжайте к королю, – отвечал Дорошенко, – вы мне не угрожите, я вас не боюсь; вы меня называете не гетманом: для чего же стации у меня просите? Королевского войска и вас нам не прокормить, только себя погубить». При этих словах Дорошенко положил булаву в знак, что отказывается от гетманства, и пошел в город. Но полковники и старшина догнали его, привели в раду и по-прежнему провозгласили гетманом. Дорошенко дал знать в Крым и Константинополь, что Украина в воле султана и хана, и вот пришел приказ из Константинополя новому крымскому хану Адиль-Гирею (сменившему Магмет-Гирея весною 1666 года), чтоб шел воевать короля польского. В сентябре толпы татар нагрянули на Украину под начальством нурадина Девлет-Гирея. Царевич остановился под Крыловом и отсюда разослал загоны за Днепр под Переяславль, Нежин и другие черкасские города и вывел пленных тысяч с пять. Схвативши эту добычу с восточного царского берега, нурадин отошел под Умань, два месяца кормил здесь лошадей, соединился с козаками и двинулся на короля. Под Межибожьем встретил он полковников польских Маховского и Красовского с 2000 гусар, рейтар, шляхты и драгунов: все это полегло на месте или было взято в плен, Маховского в оковах привезли в Крым. После победы татары и козаки рассыпались за добычею под Львовом, Люблином, Каменцом, побрали в плен шляхты, жен и детей, подданных их и жидов до 100000, а по рассказам польских пленников – 40000. Татары брали пленных, но козаки этим не довольствовались: они вырезывали груди у женщин, били до смерти младенцев. После этого Дорошенку уже не было возврата к королю. Чтоб не бояться мести от поляков, он хотел сдать их с двух сторон: в Крым явились от него посланники – браславский полковник Михайла Зеленский и Данила, сын Грицка Лесницкого, хлопотать, чтоб Адиль-Гирей помирился с

государем московским, не допускал его до мира с польским королем, чтоб воевать Польшу вместе с Москвою. Пленный боярин Шереметев получил такое письмо от Зеленского: «Ради бы были против давнего желательства и приятства вашу милость навестить и поклон нижайший отдать, но нам запрещено, для чего письменно вашу милость посещаем; потом желаем, чтоб против стародавности на Руси могли вашу милость видеть, даст бог, вскоре: когда уж с ляхами вновь в неприязни пребываем, тогда господь в соединение христиан сведет». Но если Дорошенко хлопотал о том, чтоб не допустить царя до мира с Польшею, то поляки должны были хлопотать о противном, и благодаря этому Киев остался за Москвою.

Нащокин объявил комиссарам государево жалованье, по десяти тысяч золотых польских: референдарю Брестовскому объявлено, что сверх товарищей своих получит еще 10000 золотых, а если приедет с подтверждением договора в Москву, то будет большая ему государская милость, «Королевскому величеству, – писал Нащокин комиссарам, – мы не можем назначить, но когда будут у него царские послы с мирным подтверждением, то привезут достойные дары, также и канцлеру Пацу прислано будет необходимо». 6 января приехал от комиссаров Иероним Комар и бил челом, чтоб сверх обещанных денег в тайную дачу пожаловал им государь явно соболями, чтобы им можно было хвалиться перед людьми; сам Комар бил челом, чтоб вместо обещанных ему ефимков дали золотыми червонными, потому что червонцы легче скрыть, так что и домашние не узнают; Комар объявил, что, как скоро комиссары получают государево жалованье, сейчас же станут писать договорные статьи. Деньги были высланы из Москвы немедленно, и 13 января, на 31-м съезде, написаны договорные статьи: заключалось перемирие на 13 лет, до июня месяца 1680 года; в это время уполномоченные с обеих сторон должны трижды съезжаться для постановления вечного мира, причем третья комиссия должна быть уже с посредниками. В королевскую сторону отходят города: Витебск и Полоцк с уездами, Динабург, Лютин, Резица, Мариенбург и вся Ливония, также Украина на западной стороне Днепра, но из Киева вывод московских ратных людей отлагается до 5 апреля 1669 года; в эти два года окрестности Киева на милую расстояния остаются во владении царском. Запорожские козаки остаются в обороне и под послушанием обоих государей, должны быть одинаково готовы на службу против неприятелей королевских и царских; но оба государя должны запретить им, как и вообще всем черкасам, выходить на Черное море и нарушать мир с турками. В сторону царского величества отходят: воеводство Смоленское со всеми уездами и городами, повет Стародубский, воеводство Черниговское и вся Украина с путивльской стороны по Днепр, причем католики, здесь остающиеся, будут беспрепятственно отправлять свое богослужение в домах; шляхта, мещане, татары и жида имеют право продать здесь свои имения и уйти в королевскую сторону. Козакам восточной стороны не мстить за то, что отступали в сторону королевскую, людей отсюда в Московское государство не выводить и новых крепостей не строить. Пленники, духовные, шляхта, военные люди, козаки, жида, татары, мещане, ремесленники, купцы отпускаются с обеих сторон безусловно, об отпуске же пашенных людей будет постановлено на будущей комиссии. Оба государя предложат крымскому хану приступить к перемирию; если он отвергнет предложение и пойдет войною на Московское государство, то король никакой

помощи давать ему не будет; если же он станет опустошать Украину по обеим сторонам Днепра или подговаривать козаков к себе, то оба государя общими силами дают отпор бусурманам. препятствуют, чтоб Украина не отошла к последним, и козакам такого самовольства не позволят. Оба государя будут употреблять короткие титулы: король будет писаться – польским, шведским, литовским, русским, белорусским и иных; царь – великим государем царем и великим князем и прочим; на царской печати не будет титулов литовского, киевского, волынского и подольского. Все захваченные бумаги, наряд, взятый в городах и замках, королевских и шляхетских, церковные вещи, часть животворящего древа, взятая в Люблине, мощи св. Калистрата в Смоленске возвращаются, сколько ни найдется. Торговым людям путь чистый в обоих государствах, сухим путем и реками, а именно Касплею и Двиною из Смоленска к Риге, с платежом обыкновенных пошлин; путь чистый всяких и других чинов людям, через Московское государство духовным особам, отправляющимся в Персию и Китай для распространения там христианской веры.

Для подтверждения перемирия в Москву приехали королевские послы Станислав Беневский и Киприан Брестовский. 21 октября в ответе с Ординым-Нащокиным они сказали: «У королевского величества и Речи Посполитой теперь болезнь большая: на королевство Польское встал великий неприятель всеми своими бусурманскими силами, так надобно обоим великим монархам против бусурманских войск вместе стоять. Есть еще у короля и Речи Посполитой другая болезнь, внутренняя, которую прежде всего надобно исцелить, чтоб больше турецкой войны мира не разорвала: надобно удовлетворить шляхту, выгнанную из уступленной Украины и Северщины, потому что от нее беспрестанная добука и вопль. Чтоб царское величество изволил об этих статьях договор учинить теперь с нами: тогда неприятель христианский, слыша о союзе обоих монархов, испугается, и народы христианские, находящиеся под властью бусурмана, – греки, сербы, болгары, волохи и молдаване – начнут искать освобождения из-под поганского насилия». «Чем же успокоить выгнанную шляхту?» – спросил Нащокин. «На это есть два способа, – отвечали послы, – пусть царское величество или пожалует их деньгами, или позволит им жить в прежних имениях». «Если позволить им жить в прежних маетностях, – спросил опять Нащокин, – то чьими подданными они будут называться и какая услуга будет от них царскому величеству?» Послы отвечали: «Они останутся подданными королевскими, а царскому величеству с имений своих будут давать подати». «От этого будет ссора, – сказал Нащокин, – лучше объявите, сколько этих изгнанников и сколько нужно дать денег, чтоб их удовлетворить?» «Это совершенная правда, – отвечали послы, – если они останутся в прежних маетностях, то без ссоры не обойдется, лучше дать им денег, но сколько именно для этого нужно казны, сказать, нам нельзя, потому что у лучших людей, у Вишневецких, Потоцких, Конецпольского и других сенаторов и шляхты имения были большие, с которых каждому сходило по 100, по 200 и по 300 тысяч дохода; мы полагаемся на милостивое рассуждение царского величества». Нащокин обещал донести об этом государю и потом спросил: «Не наказано ль что-нибудь вам о вечном мире?» «О вечном мире говорить теперь нельзя, – отвечали послы, – как узнал султан турецкий и про перемирие, то сейчас же начал на нас войну готовить и крымскому хану велел войска отправлять; теперь татары с Дорошенком

и с отступниками-черкасами разоряют Польшу, побрали в плен больше 100000 человек, и час от часу военный огонь распространяется, а как реки станут, то ждем от турок и татар конечного разорения. Король и Речь Посполитая прислали нас теперь для подтверждения перемирного договора и для заключения союза против бусурман, пока реки не станут, также поскорее решить дело о выгнанной шляхте, а если ее не удовлетворить, то надобно опасаться от нее всякого дурна, потому что голодный от нужды и то делает, чего ему не довелось; беда, если шляхта затеет смуту, а неприятель вторгнется». *Нащокин* : «Длинные разговоры ведете вы об удовлетворении выгнанной шляхты и о помощи на турок, а о вечном мире говорить не хотите; но царскому величеству из чего удовлетворять шляхту казною? Да и помогать вам против неприятеля не надежно, потому что мир у нас с вами временный, а не вечный». *Послы* : «Если царское величество нам не поможет и турки Польшу одолеют, то и Московскому государству будет от них теснота; в награждении же шляхты мы полагаемся на царское милостивое рассуждение, а не решивши этих двух дел, в другие вступать нельзя».

На следующем съезде, 26 октября, Нащокин сказал, что больших денег для удовлетворения шляхты царь дать не может, потому что и так казне расход большой: много идет денег калмыкам, чтоб они теснили Крымский юрт и не пускали хана на Польшу; кроме того, у государя войска много, на содержание которого идет казна большая. «Объявите подлинно, – спросил боярин, – чем шляхту удовлетворить? Да без больших запросов». Послы отвечали прежнее, что полагаются на милостивое рассуждение царского величества. «Милосердие великого государя в государстве нашем славится, – говорили они, – известно, что всех бедных он милостию своею призывает и жалует, а выгнанная шляхта – братья наши бедны и беспомощны, и, кроме государской, милости искать им негде. Царскому величеству надобно их пожаловать вместо милостыни: мы знаем, что у государя и на богадельни расходится не меньше того, чем бедную шляхту пожаловать; а Вишневецким и другой знатной шляхте позволил бы государь жить в черкасских городах на путивльской стороне: они люди честные и богатые, могут при себе держать войска немалые, которые будут обоим государствам на оборону». Нет, уж лучше удовлетворить шляхту казною, отвечал на это Нащокин. «Козаки люди самовольные, не только не дадут им владеть маетностями, но и самих побьют, и от того, боже сохрани, чтоб еще большие бунты не начались, и станут козаки прибегать к турецкому султану и крымскому хану». «Правда, – говорили послы, – козаки иссвоевольничались, под прежними своими панами жить не захотят, а надобно, чтоб теперь великие государи по братской дружбе и любви, общими силами, их смирили по-прежнему, как было до войны». После долгих разговоров Нащокин объявил наконец, что государь жалует шляхте 500000 золотых польских, разложив на сроки. Послы отвечали, что этим бедных изгнанников удовлетворить нечем; изволил бы великий государь пожаловать их не скудно, чтоб они, бедные, за его царское величество были вечно богомольцы. «Казна у его царского величества большая, – говорили они, – с одной Украины, по нашим ведомостям и росписям, можно со всех шляхетских маетностей собрать в год миллионов с двадцать, а по меньшей мере с десять. По государевой милости одному полковнику Константину Греку дан город Лохвица, что было прежде имение Вишневецкого, а он ставит с него по 100 человек козаков; гетману Брюховецкому и многим полковникам даны большие города, с



которых можно бы собрать много казны; а наш польский и литовский народ славный и вольный, и если будет ему от царского величества удовольствие, то будет на свете славно во всех государствах». После этого предисловия послы наконец высказали свое требование, чтоб государь на каждый перемирный год давал шляхте по 3000000. Им отвечали, что это дело нестаточное, запрос такой *неслушный*, что царскому величеству и донести об нем невозможно. Послы спустили до двух миллионов. Нащокин пошел доложить об этом государю и, возвратись, объявил послам, что государь позволил прибавить еще 500000 золотых польских. Послы били челом и приняли это в великую милость.

Статья о шляхте была порешена: оставалась другая, о союзе против турок и Крыма. 28 октября послы снова были в ответе с Ординым-Нащокиным и говорили: «Чтоб великий государь изволил для опасения от неприятельских безвестных приходов держать на Украине войска свои беспрестанно, и число войск надобно назначить, а королевские войска на Украине будут готовы указное же число, и как придет весть, что крымцы выступают, то громить бы их общими силами; а теперь изволил бы царское величество послать свое войско на Украину поскорее, и чтоб это войско, соединившись с войском королевским, шло на отступников, которые уже поддались султану турецкому и вместе с Ордою воюют королевские украиные места, и, смиря их общими силами, привести в прежнее подданство, чтоб они были в послушании обоих великих государей, а не под бусурманским игом; и наперед бы послать к черкасам грамоты, призывая их к возвращению в подданство и обнадеживая всяким милосердием, да и то им объявить, если они такого милосердия не поищут и из-под ига бусурманского не возвратятся, то на них посланы будут войска с обеих сторон». Нащокин отвечал: «От бусурманского прихода царского величества войска готовы, Белгородский полк стоит всегда; а числа войскам назначить не годится, чтоб неприятель не узнал и больше войска не приготовил, говорить надобно просто, что войска много; калмыки также наготове». *Послы*: «Государь бы изволил поиск учинить нынешнюю зиму, потому что Орда и козаки наше государство воюют, и постановить бы о том договор подлинный с нами». «Царского величества войскам где на Украине стоять и с коронными войсками где сходиться?» – спросил Нащокин. «Это укажет потребность», – отвечали послы. «Если, – продолжал Нащокин, – на Украине война продлится, а царским войскам становища спокойного не будет, то они потерпят нужду большую. Теперь царским войскам становище надежное – Киев, пока он в царской стороне, а как по договору Андрусовскому отойдет в королевскую сторону, то царским войскам надежного становища такого другого не будет, и про это как вы рассуждаете? От королевского величества о Киеве что вам наказано?» Послы поняли, к чему клонится речь боярина, и отвечали: «Без становища царские войска не будут, а о Киеве говорить нам и рассуждать нечего: как об нем в Андрусовских договорах постановлено, так и быть, и отменять Андрусовских договоров ни в чем нельзя, все равно что каменной стены: каменная стена до тех пор и крепка, пока цела, а выньте из нее хотя один кирпич, и станет рушиться». Наконец договорились, что царское величество отправит на помощь королю против татар и непокорных козаков 5000 конницы и 20000 пехоты, которые должны соединиться с королевскими войсками между Днепром и Днестром, а для отвлечения сил неприятельских калмыки и донские козаки будут воевать Крым. Б вознаграждение

изгнанной из Украины шляхте государь дает миллион золотых польских, а московским счетом 200000 рублей, из которых послам при отпуске отсчитано будет 150000 рублей, а остальные 50000 отправлены будут из Смоленска в феврале 1668 года. Так как по случаю союза между обоими государствами против бусурман и отступников-козаков будут частые пересылки, также и для усиления торговли учреждена будет еженедельная почта, начав от королевского местопребывания, чрез все его государство до местечка Кадина, на рубеже воеводства Мстиславского. Почта эта будет возить грамоты, как государские, так и торговые, и сдавать их в порубежном Смоленского воеводства местечке Мигновичах русскому начальнику почты, который пересылает их как можно скорее через Смоленск в Москву, и, наоборот, грамоты, присланные из Москвы, отсылает в Кадин; торговые люди за пересылку своих писем будут платить по обычаю, ведущемуся во всех государствах. Нащокин предложил также послам, чтоб в июне 1668 года был съезд в Курляндии уполномоченным русским, польским и шведским для постановления торгового договора между тремя государствами: «Чтоб торговые люди по всем государствам общим выбираньем пошлин изобижены не были, понеже все народы пожитками торговыми казну полнить извыкли». Послы обязались донести об этом королю и сейму.

4 декабря на отпуске подле государя послы видели недавно объявленного наследника, царевича Алексея Алексеевича, после чего боярин Ордин-Нащокин, царственной большой печати и государственных великих посольских дел оберэгатель, говорил им: «Видели вы пред лицом великого монарха бесценное сокровище, дражайшую светлость, которая незадолго до вашего пришествия ясностию луча московские народы просветила, видели вы благородного государя нашего царевича. Эту превысокую милость можете возвестить королевскому величеству и к желательной любви его подвигнуть. Если, по смерти королевской, государство ваше будет просить себе в короли которого-нибудь из царевичей, то великий государь божией воле противен не будет». Послы отвечали: «Когда будем у себя, то королевскому величеству и всей Речи Посполитой милосердие великого монарха и сына его объявим и так выхвалять и прославлять обещаемся, сколько в нас духа достанет. Приняты мы свыше прежнего обычая Московского государства, жалованьем и кормами обдарены больше прежних послов; посольство выслушано и в ответах было с великою честью, на славу перед посторонними народами; мы уже писали в Польское государство на прославление этой милости; надеемся, что из разных государств об этом скоро отзовутся и служба наша верна будет; объявление же о царевичах хотя и с радостью принимаем, но повеления королевского и Речи Посполитой на этот счет не имеем и потому безответны остаемся». Тут возвысил голос ближний боярин князь Никита Иванович Одоевский, «В прошлые годы в Вильне, – сказал он, – писали мы статьи об избрании царского величества или сына его в короли: и теперь этому быть можно же». «То посольство не совершилось по праведной воле божией, – отвечали послы, – а теперь лучше и крепче тогдашнего: дал господь бог между обоими государями и государствами святой покой, и в этом покое всякое доброе дело в свое время легко совершиться может». Этим разговор кончился; государь пожаловал послов к руке и велел отпустить.

Так окончилась в Восточной Европе опустошительная тринадцатилетняя война, по важности причин и следствий своих соответствующая Тридцатилетней

войне и вообще религиозным борьбам, потрясавшим Среднюю и Западную Европу в XVI и XVII столетиях. Война началась, как мы видели, далеко не вследствие одной извечной вражды между двумя народами, ждавшей первого удобного случая для своего обнаружения, далеко не по тому одному, что Москва не могла успокоиться на Поляновском мире, не могла сжиться с мыслью о потерях, ею понесенных по этому миру. Не за Смоленск и Северскую землю загорелась борьба. Москве так же не хотелось начинать ее, как и Польше. Она началась вследствие малороссийских событий, вследствие религиозной борьбы, разгоревшейся в западных русских областях и давшей такую силу козацким интересам, козацким движениям. Государь, царствовавший на Москве в это время, по господствовавшему направлению своего духа мог именно принять к сердцу тот интерес, во имя которого происходило историческое движение: «Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного; если же оба куска хлеба достанутся собаке вечно есть, – ох, кто может в том ответ сотворить? И какое оправдание примет отдавший святой и живой хлеб собаке? Будет ему воздаянием преисподний ад, прелютый огонь и немилосердые муки». Вот как выражался основной взгляд царя Алексея! Мы не примем на себя странного труда взвешивать и определять, во сколько к религиозному взгляду присоединялись политические расчеты и другие побуждения; но легко видеть, как все эти расчеты и побуждения обхватываются и связываются основным побуждением как в глазах деятелей, так и в массе народной: исход борьбы на Украине в XVII и даже в XVIII веке точно так, как исход Смутного времени в Московском государстве, объясняется тем громадным различием, которое в народном сознании существовало между понятиями: православный русский, лях-латынец, татарин-бусурман, и тот все будет рассуждать о народных интересах, кто обойдет интерес религиозный.

Таким образом, описанная тринадцатилетняя война была необходимым следствием религиозной борьбы, начавшейся в польско-литовских областях в XVI веке. Мы уже указывали на связь этой борьбы с общеевропейским религиозным движением, знаменующим так называемую новую историю: распространение протестантизма в Литве и Польше вызвало католическое противодействие, явились иезуиты, которые, осилив протестантизм, обратились против *русской* веры и тем вызвали к жизни русские народные силы, подняли народный вопрос, выяснили для русского человека различие его народности от сопоставленной народности польской. Борьба не могла ограничиться одною духовною сферою, ибо притеснение вызывало отпор; возможность материальной борьбы, материального отпора Западная Русь нашла в козачестве, которого борьба с государством Польским, с шляхтою за свои козацкие интересы как раз пришлась ко времени народной русской борьбы. Во время этой материальной борьбы противоположности разыгрались до такой степени, что примирения быть не могло, а между тем материальные силы козачества оказались недостаточными для борьбы и союз татарский не приносящим пользы: тут, естественно, явилась необходимость соединения Малой России с Великою для окончания совокупными силами той борьбы, которая уже давно велась порознь и относительно Москвы окончилась Поляновским миром.

Силен был неожиданный удар, нанесенный Польше Москвою в 1654 году; понятно, что успехам Москвы способствовало нападение шведов на Польшу с

другой стороны. Но это нападение, по-видимому грозившее Польше окончательною погибелью, удержало ее на краю пропасти: во-первых, произведя столкновение между Швециею и Москвою, оно остановило напор последней на Польшу; во-вторых, опять чрез поднятие религиозной борьбы, возбудило народные силы, произвело народную войну, которая окончилась изгнанием шведов. Обстоятельства переменились: несмотря на страшное опустошение, истощение страны, Польша нашлась в выгоднейших против Москвы условиях для продолжения войны: у нее были два союзника, первый – смута малороссийская, второй – хан крымский. И война длилась, и не видать было возможности окончить ее; Москва слишком много приобрела вначале, и потому ей было тяжело отказаться от всего приобретенного на верхнем Днепре и Двине, невозможно отказаться от всей Малороссии, «отдать оба куса православного хлеба собаке»; на это она могла решиться только при последней крайности, а этой крайности, несмотря на страшное истощение сил, еще не было, ибо Польша, вследствие своего истощения, не могла наносить решительных ударов и пользоваться победами своими. Но с другой стороны, положение ее вовсе не было так отчаянно, чтоб она могла согласиться на московские требования: не только возвратит все приобретенное Сигизмундом и Владиславом, но и уступить половину Украины, отнять земли у своей шляхты в пользу бунтливых козаков. Таким образом, несмотря на продолжительные съезды уполномоченных, мир был невозможен. Надобно было, чтоб одному из воюющих государств нанесен был откуда бы то ни было новый сильный удар, который бы заставил его согласиться на требование другого; этот удар нанесен был Польше усобицею, поднятою Любомирским, и грозою турецкою, накликаемую Дорошенком. Перемирие состоялось.

Это перемирие с первого взгляда могло назваться очень ненадежным: Киев был уступлен Москве только на два года, а между тем легко было видеть, что Москве он очень дорог, что Москва употребит все усилия оставить его за собою. Но к удивлению, война не возобновлялась до второй половины XVIII века, и Андрусовское перемирие перешло в вечный мир с сохранением всех своих условий. Напрасно поляки утешали себя мыслию, что на их отчизну во второй половине XVII века послано такое же испытание, какое было послано на Москву в начале века, и что Польша выйдет из него так же счастливо, как и Москва: для Польши с 1654 года начинается продолжительная, почти полуторавековая агония, условленная внутренним ослаблением, распадением; в 1667 году великая борьба между Россиею и Польшею оканчивается. С этих пор влияние России на Польшу усиливается постепенно без всякой борьбы, вследствие только постепенного усиления России и равномерного внутреннего ослабления Польши; Андрусовское перемирие было полным успокоением, совершенным *докончанием*, по старинному выражению. Россия покончила с Польшею, успокоилась на ее счет, перестала ее бояться и обратила свое внимание в другую сторону, занялась решением тех вопросов, от которых зависело продолжение ее исторического существования, вопросов о преобразованиях, о приобретении новых средств к продолжению исторической жизни. Таким образом, Андрусовское перемирие служит также одною из граней между древнею и новою Россиею.

После Андрусовского перемирия Москва успокоилась со стороны Польши, но не могла успокоиться со стороны Малороссии. В этой стороне, на восток от Днепра, произошел переворот: земельная собственность переменила своих

владельцев; польские паны исчезли, но это не успокоило страны, ибо на их место явились другие – войсковая, козацкая старшина, которая стремилась к господству, стремилась немедленно же выделиться из войсковой массы или в виде шляхты польской под руководством сенатора Выговского, или в виде дворянства московского под руководством боярина Брюховецкого; но это стремление старшины встречало сильное сопротивление в демократическом стремлении козачества, представителем которого было Запорожье. Толкуя о правах и вольностях бедной отчины Украины, старшина стремилась к господству, имея в виду только собственные выгоды; козачество требовало равенства, с ненавистью смотря на людей, которые, вышедши из его рядов, павлинились в дворянском или шляхетском звании; «мы знаем только гетмана и не хотим знать боярина!» – кричало Запорожье. Города, ненавидя козаков и старшину их, одинаково для них тяжелых, с радостью увидели бы уничтожение гетманского, козацкого *регимента*, лишь бы только оставались за ними их нравы; высшее духовенство, также толкуя о правах и вольностях, ставило себя в ложное положение, из-за этих прав и вольностей отвергая православную Москву и приклоняясь к латинской Польше, – положение, которого большинство народное не могло долго ему позволить. Так раздиралась Малороссия внутренне и этим, разумеется, облегчала работу государства Московского, которое незаметно приготавливало приравнение. Но прежде чем это приравнение последовало, отношения московского правительства в Малороссии были странные, как и следовало ожидать от господствовавшей в Малороссии безурядицы. Украина давала московскому правительству полное право не уважать того, что она называла своими правами и вольностями, ибо, во-первых, каждый в Малороссии понимал эти права и вольности по-своему; во-вторых, с самого начала стали нарушаться права, уступленные государству, права, которые оно необходимо должно было иметь. Еще в то время, когда сильная рука Богдана Хмельницкого держала Малороссию, было нарушено самим Хмельницким существенное право великого государя, право, без которого соединение Малой России с Великою было немислимо, право, чтоб Малороссия имела одинакую политику с Москвою. Но этого мало: условием присоединения было, чтоб доходы малороссийские собирались на жалованье войску, козакам; но вот в Москве узнают, что доходы собираются вовсе не на жалованье козакам, которые, не получая этого жалованья, охладели к службе; из Малороссии, для которой начата была тяжелая война, доведшая Московское государство до крайнего истощения, из Малороссии беспрестанно приходят требования, чтоб войска царского величества шли на помощь против ляхов, изменников западной стороны, и татар. Московское государство, которое начало войну в надежде действовать против Польши дружно с двух сторон, из двух Россий, должно теперь растягивать свои силы для защиты громадной пограничной линии, тогда как этих сил не доставало и для защиты приобретенного в Белоруссии и Литве. У преемника Богданова, у гетмана славного Войска Запорожского, было ничтожное число козаков, с которыми он не мог ничего предпринять. Разумеется, при таком печальном положении дел прежде всего необходимо было определить доходы малороссийские, ввести сколько-нибудь правильный сбор, определить число козаков, которых надобно было содержать этими доходами. На все это государство имело полное право по статьям Богдана Хмельницкого: но при первой попытке поднимается страшный ропот и волнение;

привыкли жить безо всякого надзора, привыкли брать, что кому было угодно, и вмешательство правительства, вытребованное необходимостью, страшным безнарядьем, явилось нестерпимым посягательством на права и вольности! Чьи права и вольности? На этот вопрос не могли отвечать в Малороссии. Вследствие невозможности отвечать на этот вопрос обнаружилось явление, что сами малороссияне начали диктовать московскому правительству, как действовать в пользу приравнения быта малороссийского к быту остальных областей государства. Но этими внушениями не ограничивались в Малороссии: и старшина светская, и старшина духовная твердили московскому правительству, что измена господствует в Малороссии, что козаки шатаются, положиться на них ни в чем нельзя: при первом появлении неприятеля, ляхов, передадутся к ним. С чем обыкновенно приезжало посольство малороссийское в Москву, чем наполнены были грамоты и информации, им привозимые? Обвинениями в измене; вспомним печальную историю междугетманства; вспомним, как гетман и епископ, блюститель Киевской митрополии, вели борьбу друг с другом доносами в Москву, и кто после этого мог пожаловаться, что слово *черкашенин* стало в Москве синонимом изменника? Московский воевода, московский ратный человек входил в Малороссию как в страну, кипящую изменою, где он не мог положиться ни на кого, где в каждом жителе он видел человека, замышляющего против него недоброе, выжидающего только удобного случая, чтоб вынуть нож из-за пазухи. Каких же дружеских отношений после того можно было ожидать между двумя братственными народонаселениями? Какое уважение мог чувствовать москаль к шатающимся, мятущимся черкасам? Чем он мог сдерживаться, особенно в то время солдатского своеволия и хищничества? Он не сдерживался тем, что находился в родной земле, между своими же русскими людьми: ему толковали и толковали в самой Малороссии, сами малороссияне, что он среди врагов, среди изменников; это, разумеется, вполне могло разнуздывать москаля, он мог легко оправдаться в своих и чужих глазах: что же щадить изменников? Но мы видели, что иное было поведение относительно козаков, иное относительно горожан, более верных.

Общество малороссийское вышло слишком юно на сцену, когда история решала самые важные для него вопросы. Отсутствие внутренней сплоченности, разброд составных начал, жизнь *особе* и вражда между живущими *особе* обуславливали слабость страны, не позволяли ей не только независимого, но и своеобразного политического существования. Отсюда эта шатость, колебание, которые мы видели в продолжение нашего рассказа и которые давали полный простор всякой силе пробиваться сквозь несплоченные ряды. Почти вся вторая половина XVII века представляет смутное время для Малороссии, подобное Смутному времени Московского государства в начале века: та же шатость, та же темнота, отсутствие ясно определенных целей и отношений, дающих твердость человеку и обществу, то же перелетство. Но в Московском государстве печальная эпоха была непродолжительна: кроме того, московские люди шатались между своими искателями власти, выставившими одинаково народное знамя, и как скоро явились чужие искатели, то это явление собрало шатающийся народ, поставило его на твердые ноги и повело к прекращению Смуты. Но несчастная Малороссия шаталась очень долго, шаталась и между поляками, и между турками. Уже не говоря о том, какой материальный ущерб понесла она от этого, как

Заднепровье было вконец опустошено и сильно досталось и восточной стороне, не говоря уже о материальном вреде, мы не можем не указать на вредное нравственное влияние, которое должно было испытать народонаселение страны от этой долгой шатости, долгой смуты; не можем не указать, как вредно должны были действовать эти явления на характер народа, расшатывая общество все более и более, ослабляя общественный смысл у народа, отучая его от общественных приемов, отучая его ходить твердо, смотреть прямо в лицо окружающим явлениям, укореня вредную привычку не верить никому и вместе верить всему и носиться в разные стороны по первому слуху. Общественное развитие было задержано; общество продолжало обнаруживать черты детства. Последующие события XVII и даже XVIII века должны подтвердить правду сказанного.

Андрусовское перемирие не могло прекратить смуты в Малороссии. Но прежде, нежели приступим к рассказу о дальнейших событиях здесь, обратимся к Московскому государству, в котором происходили любопытные и печальные события в продолжение тринадцатилетней войны: московский мятеж вследствие тяжкого состояния народа, раскол, падение Никона; взглянем и на борьбу Московского государства с козачеством юго-восточной Украины.

## Глава четвертая

### Продолжение царствования Алексея михайловича

*Расстройство финансов во время тринадцатилетней войны. – Выпуск медных денег. – Их упадок в цене. – Воровские деньги. – Московский бунт 1662 года. – Отмена медных денег. – Ссора царя с патриархом: причины ее. – Враги Никона. – Раскол: его причины. – Исправление книг при патриархе Иосифе. – Единогласное пение и проповедь: восстание против этих нововведений. – Исправление книг при Никоне. – Сопrotивление прежних исправителей. – Мысль об антихристе. – Монах Капитон. – Сопrotивление соловецких монахов исправленным книгам. – Челобитная царю на Никона. – Окончательный разрыв его с царем. – Удаление в Воскресенский монастырь. – Успокоение Никона. – Раздражение возобновляется. – Невозможность выбрать нового патриарха вследствие требований Никона. – Пребывание Никона, в Крестном монастыре. – Собор 1660 года. – Протест Славеницкого. – Дело об отраве. – Бабарыкинское дело. – Письмо Никона к царю по этому случаю. – Паусий Лигарид. – Его старание помирить Никона с царем. – Вопросы Стрешнева и ответы на них Лигарида. – Возражение Никона на эти вопросы и ответы. – Донос Бабарыкина на Никона. – Поездка князя Одоевского и Лигарида с товарищами в Воскресенский монастырь по этому случаю. – Отправление монаха Мелетия на Восток с вопросами к патриархам относительно поведения Никона. – Волнения между константинопольскими греками. – Патриархи дают ответы, осуждающие Никона. – Приезд Афанасия иконийского в Москву. – Затруднительное положение царя. – Он вторично отправляет Мелетия звать патриархов на собор в Москву. – Грамота патриарха Нектария иерусалимского в пользу Никона. – Сытинское дело. – Письмо Никона к царю с целью отвлечь собор. – Внезапный приезд Никона в Москву и Зюзинское дело. – Грамоты Никона*

*к восточным патриархам перехвачены. – Приезд патриархов александрийского и антиохийского. – Суд. – Осуждение. – Ссылка Никона в Ферапонтов монастырь. – Жизнь его там и сношения с царем.*

Два первые года тринадцатилетней войны были самым счастливым, самым блистательным временем в царствовании Алексея Михайловича, хотя и они омрачены были моровым поветрием. Блестящие успехи воинские, собственные походы подняли дух восприимчивого царя, что так ясно высказывается в приведенном выше письме его к Матвееву о сношениях с Швециею. Неудачный поход под Ригу был началом несчастий; смуты малороссийские затянули войну, принявшую дурной оборот: Конотоп, Чудново. поражения Хованского тяжело отдавались в Москве и хотя не имели таких губительных следствий, каких можно было ожидать с первого взгляда, однако война продолжалась и не видно было ее конца – страшное бедствие для государства бедного, малонаселенного, которое едва успело оправиться после Смутного времени, в котором недавно еще происходили волнения вследствие тяжкого состояния промышленного класса, которое недавно опустошено было моровою язвою. Тяжкие подати пали на народ, торговые люди истощились платежом пятой деньги. Уже в 1656 году казны не достало ратным людям на жалованье, и государь, по совету, как говорят, Федора Михайловича Ртищева, велел выпустить медные деньги, которые имели нарицательную цену серебряных; в 1657 и 1658 годах деньги эти действительно ходили как серебряные; но с сентября 1658 года начали понижаться в цене, именно на рубль надобно было наддавать шесть денег; с марта 1659-го должны были уже на рубль наддавать по 10 денег; наддача возрастала в такой степени, что в 1663 году за один рубль серебряный надобно было давать уже 12 медных. Наступила страшная дороговизна; указы, запрещающие поднимать цены на необходимые предметы потребления, не действовали; мы видели, в каком положении находились в Малороссии московские ратные люди, получавшие жалованье медными деньгами, которых никто у них не брал. Явилось множество воровских (фальшивых) медных денег; начали хватать и пытаться людей, которые попадались с воровскими деньгами, – один ответ: «Мы сами воровских денег не делаем, берем у других не знаячи». Стали присматривать за денежными мастерами, серебряниками, котельниками, оловянишниками, и увидели, что люди эти, жившие прежде небогато, при медных деньгах поставили себе дворы каменные и деревянные, платье себе и женам поделали по боярскому обычаю, в рядах всякие товары, сосуды серебряные и съестные запасы начали покупать дорогою ценою, не жалея денег. Причина такого быстрого обогащения объяснилась, когда у них стали вынимать воровские деньги и чеканы. Преступников казнили смертию, отсекали у них руки и прибывали у денежных дворов на стенах, дома, имения брали в казну. Но жестокости не помогли при неодолимой прелести быстрого обогащения; вору продолжали свое дело, тем более что богатые из них откупались от беды, давая большие взятки тестю царскому – Илье Даниловичу Милославскому да думному дворянину Матюшкину, за которым была родная тетка царя по матери; в городах вору откупались, давая взятки воеводам и приказным людям. Для рассмотрения, приема и расхода меди и денег на денежных дворах приставлены были верные головы и целовальники из



гостей и торговых людей, люди честные и достаточные. Но и они не одолели искушения: покупали медь в Москве и Швеции, привозили на денежные дворы с царскою медью вместе, приказывали из нее делать деньги и отвозили их к себе домой. Доносы на них не замедлили от стрельцов и денежных мастеров; обвиненные с пытки показали, что давали посулы Милославскому, Матюшкину, дьякам и подьячим. У дьяков и подьячих, у голов, целовальников отсекали руки и ноги, ссылали преступников в дальние города: на Милославского царь долго сердился, Матюшкина отставил от приказа. Но этим не были довольны и затеяли повторить расправу 1648 года.

Весною 1662 года, после Светлого воскресения, начали ходить по Москве слухи, что чернь собирается и быть от нее погрому дворянам боярина Ильи Даниловича Милославского, гостя Василия Шорина и других богатых людей за перемену в денежном деле, за то, что Шорин да еще какой-то кадашевец деньги делают. В двадцатых числах июля начали говорить, что пришли из Польши листы про окольного Ртищева. Царь жил в это время в Коломенском. 25 июля рано утром на Сретенке собрались мирские люди советоваться о пятинной деньге. Но совещания их скоро прекратились. «На Лубянке у столба письмо приклеено!» – начали кричать им люди, проходившие Сретенкою от Никольских ворот. Вся толпа хлынула на Лубянку смотреть, что за письмо? На столбе воском приклеена была бумажка, и на ней написано: «Изменник Илья Данилович Милославский, да окольный Федор Михайлович Ртищев, да Иван Михайлович Милославский, да гость Василий Шорин». Между тем Сретенской сотни соцкий Павел Григорьев уже дал знать о письме в Земский приказ, откуда приехали на Лубянку дворянин Семен Ларионов и дьяк Афанасий Башмаков и сорвали письмо. Толпа зашумела: «Вы везете письмо к изменникам, государя на Москве нет, а письмо надобно всему миру». Громче всех кричал, бросаясь на все стороны, стрелец Кузьма Ногаев: «Православные христиане! постойте всем миром; дворянин и дьяк отвезут письмо Илье Даниловичу Милославскому, и там это дело так и изойдет». Мир двинулся вслед за Ларионовым и Башмаковым, нагнали их, схватили Ларионова за лошадь и за ноги и кричали соцкому Григорьеву: «Возьми у него письмо, а не возьмешь, то придем тебя каменьями». Григорьев вырвал письмо у Ларионова, толпа окружила соцкого и двинулась назад на Лубянку, к церкви преподобного Феодосия; Ногаев вел Григорьева за ворот. Когда пришли все к церкви, Ногаев стал на лавку и читал письмо всем вслух и прибавил, что надобно за это всем стоять. С Лубянки пошли к земскому двору, поставили и тут скамью, взвели на нее Григорьева и велели ему читать письмо, но он отказался; тогда опять начал читать Ногаев, а на другую сторону читал какой-то подьячий. Григорьев воспользовался этим временем и отошел в сторону, велел взять письмо у подьячего десяцкому своей сотни Лучке Жидкому; но мир не хотел расстаться с письмом и, окружив Жидкого, повел его в Коломенское к государю.

Царь был у обедни, празднуя рождение дочери; взглянув в окно, он увидел, что толпы народа идут в село и на двор, безоружные, но с криком и шумом, повторяя имена Милославских и Ртищева. Государь догадался, в чем дело, велел Милославским и Ртищеву спрятаться в комнатах царицы и царевен, а сам остался в церкви дослушивать обедню; царица, царевичи и царевны сидели, запершись в хорах, ни живы ни мертвы от страха. Гилевщики не дали царю дослушать обедни; они подошли к дворцу; впереди шел Лучка Жидкий и нес в шапке письмо,

найденное на Лубянке. Государь вышел на крыльцо; нижегородец Мартын Жедринский взял у Жидкого шапку с письмом и поднес царю, говоря: «Изволь, великий государь, вычесть письмо перед миром, а изменников привести перед себя». «Ступайте домой, – отвечал царь, – а я, как только отойдет обедня, поеду в Москву и в том деле учиню сыск и указ». Но гилевщики держали его за платье, за пуговицы и говорили: «Чему верить?» Царь обещался богом, дал на своем слове руку, и когда один из гилевщиков ударил с ним по рукам, то все спокойно отправились в Москву. Государь не велел их трогать, хотя и было у него войско; он пошел назад в церковь дослушивать обедню, а в Москву перед собою послал боярина князя Ивана Андреевича Хованского, Здесь другая толпа гилевщиков занималась грабежом Шоринова дома. Старик Шорин успел скрыться в Кремле, в доме князя Черкасского; но мятежники захватили молодого, пятнадцатилетнего сына его, который должен был служить свидетелем против отца, должен был рассказывать, что отец его бежал в Польшу с боярскими грамотами. В это время приезжает Хованский и начинает уговаривать, чтоб прекратили смуту и не грабили ничьих домов, что нынче же приедет сам царь для сыску; но ему в ответ закричали: «Ты, боярин, человек добрый, и службы твоей к царю против польского короля много, нам до тебя дела нет, но пусть царь выдаст головою изменников-бояр, которых мы просим». Хованский отправился назад, в Коломенское, и вслед за ним туда же двинулась толпа, везя с собою на телеге молодого Шорина. За городом встретились они с первыми гилевщиками, шедшими уже из Коломенского, и уговорили их возвратиться назад; солдаты также пристали к ним; встретили боярина Семена Лукьяновича Стрешнева и погнались за ним с палками: тот едва ушел от них за реку. Царь садился уже на лошадь, чтоб ехать в Москву, когда гилевщики подвели к нему молодого Шорина, и тот начал выкрикивать заученную сказку, что отец отправился в Польшу с боярскими грамотами. Когда мальчик кончил, в толпе раздались крики: «Выдай изменников!» «Я государь, – отвечал Алексей Михайлович, – мое дело сыскать и наказанье учинить, кому доведется по сыску, а вы ступайте по домам; дела так не оставлю, в том жена и дети мои поруками». Но крики не прекращались. «Не дай нам погибнуть напрасно!» – кричали одни. «Буде добром тех бояр не отдашь, то мы станем брать их у тебя сами, по своему обычаю!» – кричали другие, махали палками. Тут Алексей Михайлович обратился к стоявшим около него стрельцам и придворным и велел двинуться на гилевщиков, которые, пришедши вовсе не за тем, чтоб сражаться, побежали врознь: их начали хватать, некоторые защищались, но напрасно. Человек сто утонуло в реке, больше 7000 было перебито и переловлено, тогда как настоящих гилевщиков было не больше 200 человек, остальные пришли из любопытства, посмотреть, что будет делаться. Перехватанных отвезли в монастырь к Николе на Угрешу и там расспрашивали. Главного заводчика, кто написал письмо и приклеил, не нашли и наказали тех, кто более других участвовал в самом гиле, волею или неволею: вешали, резали ноги, руки и ссылали в дальние города.

Москва утихла; но жалобы на медные деньги продолжались: воеводы доносили, что должники приносят к ним в съезжую избу медные деньги для платежа заимодавцам, а те не берут без царского указа, просят серебряных. Наконец в 1663 году вышел указ: в Москве, Новгороде и Пскове денежного медного дела дворы отставить, а старый денежный серебряного дела двор в

Москве завести и серебряные деньги на нем делать с 15 июня; а жалованье всяких чинов служилым людям давать серебряными деньгами, в казну таможенную пошлину и всякие денежные доходы брать серебряными деньгами, также и в рядах торговать всякими товарами на серебряные деньги, а медные отставить. Медные деньги во всех приказах, что ни есть налицо, по 15 июня переписать и запечатать и держать до указа, а в расход не давать; частным людям велено медные деньги сливать. Но последнее не было исполнено; указ 20 января 1664 года говорит: в Москве и в разных городах объявляются медные деньги портучены (натерты ртутью), а иные посеребрены и полужены. Государь подтверждает приказание не держать медных денег под страхом жестокого наказания, разоренья и ссылки в дальние города. Новгородский воевода князь Иван Борисович Репнин получил в 1663 году от государя похвалу за то, что рассмотрением своим для бедных людей всяким хлебным и съестным запасам положил уставную цену и запретил перекупщикам покупать прежде мирских людей, отчего запасы начали быть дешевы. Говорят, что за порчу денег переказнено было больше 7000 человек да больше 15000 наказано отсечением рук, ног, ссылкой, отобранием имения в казну. Царица от испуга во время коломенского гилля лежала больна больше году. Так печально кончилась первая попытка помочь расстроенному состоянию финансов выпуском своего рода государственных кредитных билетов, ибо что же такое были эти медные деньги с нарицательной ценою серебряных? Мы видели, что полтавский полковник Пушкарь объяснил, в чем дело. Когда Выговский, не понимая или не желая понимать значения медных денег, спрашивал: «Что это за деньги? как их брать?», то Пушкарь отвечал: «Хотя бы великий государь изволил нарезать бумажных денег и прислать, а на них будет великого государя имя, то я рад его государево жалованье принимать». При благоприятных для государства обстоятельствах кредит был силен и медные деньги держались два года; начали падать с сентября 1658 года, т.е. с измены Выговского, которая затянула войну. Тяжелый удар медным деньгам был нанесен, когда в Малороссии стали смотреть на них, как смотрел Выговский, а не как смотрел Пушкарь, перестали брать их у московских ратных людей; а другой, окончательный, удар нанесли воровские деньги.

Извне тяжкая, неудачная, разорительная война, которой и конца было не видно, внутри бедствия физические, истомление народа, его вопль и волнения и к этому еще соблазнительная, небывалая вражда царя с патриархом – вражда Алексея Михайловича с Никоном, *собинным его* приятелем! Мы видели, что в начале войны эта собинная дружба была во всей силе: самые видные, заслуженные, близкие к царю бояре с благоговением преклонялись пред могущественным патриархом, просили его заступления в случае неудачи своих действий. Патриарх принимал живое участие в предприятии, по характеру своему сильно увлекся успехом и поощрял царя к дальнейшим замыслам. Во время моровой язвы Никон находился при семействе царском и привез его в Вязьму, где находился Алексей Михайлович. Никон писался *великим государем*. Таким образом, опять явилось в Московском государстве два *великих государя*. Титул этот носил патриарх Филарет, но не как патриарх, а как отец царский и соправитель. Все очень хорошо помнили, что это не был пустой титул у Филарета; а теперь Никон получает этот титул уже как патриарх, следовательно, власть патриаршеская приравнивается к царской. Тон грамот Никоном прямо указывал на

двоевластие, например: «От великого государя, святейшего Никона, патриарха московского и всея Руси, на Вологду, воеводе князю Ухтомскому: указал государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси и мы, великий государь, со всех монастырей быть для его, государевы, службы под Смоленском подводе с телегами, с проводниками и прислать к государю под Смоленск. А однолично тебе государева нашего указу в оплошку не поставить, собрав подводы с телегами и с проводниками, прислать к нам, к Москве, тотчас». Когда великий государь царь был в походе, великий государь патриарх управлял государством из Москвы. Походы, деятельность воинская и полная самостоятельность в челе полков развили царя, закончили его возмужалость: благодаря новой сфере, новой деятельности в короткое время было пережито много, явились новые привычки, новые взгляды. Великий государь возвращается в Москву и застаёт там другого великого государя, который в это время, будучи неограниченным правителем, также развился вполне относительно своего характера, взглядов и приемов... Никон не был из числа тех людей, которые умеют останавливаться, не доходить до крайности, умеренно пользоваться своею властью. Природа, одарив его способностью пробиваться вперед, приобретать влияние, власть, не дала ему нравственной твердости умерять порывы страстей; образование, которого ему тогда негде было получить, не могло в этом отношении помочь природе; наконец, необыкновенное счастье разнуздало его совершенно, и неприятные стороны его характера выступили резко наружу. Звание патриарха, которое для природы более мягкой служило бы сильною нравственною сдержкою, заставляя быть постоянно образцом стаду, при жесткой природе Никона уничтожало всякую сдержку; ибо все внимание его было обращено на права высшего пастыря, высшего истолкователя божественного закона, и в этом значении он считал для себя все дозволенным. При недостатке христианского начала, духа кротости и смирения, обстановка святительской власти, глубокое уважение со стороны царя и всех, подражавших царю (а таких, разумеется, было очень много), легко отуманили Никона, заставили его действительно считать себя вязателем и решителем во всех делах, обладающим высшими духовными дарами. Наконец, обратим внимание на время, на общество, общество крайне юное, представлявшее так мало нравственных сдержек для всякого сильного, где всякий сильный так легко увлекался своим положением и считал себе все дозволенным в отношении к менее сильным, где природа самая мягкая, самая человеческая, какая, например, была у царя Алексея Михайловича, не могла удерживать от поступков, кажущихся теперь нам очень непривлекательными. Что же позволяли себе люди с природою более жестокою, когда праву сильного *смирять* подчиненных не поставлялось границ, когда это *смирение* обыкновенно было непосредственное и сила его зависела от силы волнения, происходившего в душе разгневанного смирителя? Эта же юность общества, недостаток образования, развитием ума сдерживающего порывы чувств, охлаждающего человека, дающего ему ровность в действиях, — эта же юность общества и недостаток образования производили шаткость, отсутствие последовательности, крутые переходы, сильное падение: все это мы увидим в Никоне.

Мы видели, что Никон благодаря своему характеру давно уже успел нажить себе врагов между вельможами, и царь Алексей должен был умолять еще новгородского митрополита сдерживать свое властелинство. Но возведение на

патриаршество с условием повиновения от возводивших, размеры политического влияния, уступленного царем патриарху, и, наконец, правительство во время отсутствия царя развили это властелинство до высшей степени и необходимо должны были вести к столкновениям с вельможами, к столкновению с самим царем, который нашел перемену в своем собинном приятеле, и тем легче нашел ее, что в нем самом произошла перемена, что он на многое стал теперь смотреть иначе. Всякий, кто считал себя вправе на какую-нибудь власть, на какое-нибудь влияние, необходимо сталкивался с Никоном, который не любил обращать внимания на чужие права и притязания, который считал для себя унижительным и ненужным приобретать союзников, который не боялся и презирал врагов. Сама царица, родственники ее Милославские, родственники государя по матери Стрешневы и все другие приближенные вельможи сделались врагами Никона. К ним пристали и духовные значительные лица, оскорбленные властелинством, крутостью нрава Никона, жестокостью наказаний, которым он подвергал виновных. Наконец Никон возбудил против себя сильное негодование исправлением книг и наказаниями, которым подвергались люди, не хотевшие принять этих исправлений.

Мы уже упоминали о неудовольствиях, возбужденных новизнами, вводимыми будто Морозовым, Ртищевым, Никоном. Мы видели также, что подобные новизны или по крайней мере попытки к ним начались уже давно: сначала при Иоанне III, сыне его Василии видим страдательное пользование чужим знанием, искусством, видим вызов иностранных мастеров. Иоанн IV хочет сделать этот вызов в более широких размерах, и помеха его желанию, сделанная ливонцами, ведет естественно к мысли о необходимости непосредственного сообщения с Западною Европою, о необходимости приобретения балтийских берегов, для чего начинается Ливонская война; несчастный исход этой войны еще более убеждает в необходимости сближения с Западною Европою. При Годунове являются иностранные дружины и слышатся жалобы на пристрастие русских к иностранным обычаям, на потаковничество царя этому пристрастию; русские люди отправляются учиться за границу. Лжедмитрий затевает преобразования в широких размерах, но гибнет; Смута останавливает движение к новому, особенно когда приверженцы нового явились по преимуществу в Тушинском стане и потом под Смоленском у польского короля, когда против них направилось народное восстание, восторжествовавшее во имя своей, отцовской веры. Но как скоро Смута утихла, стремление ко введению западных новизн усиливается все более и более; русские войска устраиваются на иностранный образец; происходит небывалый наплыв иностранцев в Москву; иностранные мастера заводят производства свои, получают привилегии с условием учить русских людей; пользование плодами цивилизации из чужих рук стремится стать более деятельным. Но если правительство, если люди, обладавшие более широким взглядом, чувствовали необходимость нового, необходимость преобразований и шли к ним, разумеется, сперва оцупью, колеблющимися шагами, то в этом движении своем они должны были встретить сильные препятствия, сильных и многочисленных противников. Эти препятствия происходили, естественно, от долговременного застоя, от долговременной особой жизни русских людей вдали от общества других образованных народов. от недостатка внутреннего движения. Горизонт русского человека был до крайности тесен, жизнь проходила среди

немногочисленного ряда неизменных явлений; эта неизменяемость явлений необходимо приводила к мысли о их вечности, божественном освящении, они получали религиозный характер, религиозную неприкосновенность, изменение их считалось делом греховным: так жили деды и отцы, изменение их образа жизни есть греховное оскорбление их памяти. Постоянная неподвижность внешних окружающих явлений давит дух человека, отнимает у него способность к движению, к стремлению возобладать над окружающим миром и изменять его согласно с своими потребностями; напротив, здесь внешний окружающий мир господствует над человеком, принимает для него религиозное значение. Такова обыкновенно бывает жизнь сельского народонаселения, которое потому так упорно держится старого, так тяжело на подъем: здесь все новое, каждое изменение является чем-то страшным, враждебным, греховным, является произведением высших, таинственных и враждебных сил. В обществе развитом начало движения представляется городом: здесь человек непрерывно сталкивается с новыми людьми, с новыми родами деятельности, чрез это горизонт его расширяется, он привыкает к перемене, перестает бояться новизны и начинает упражнять свои духовные силы, выказывать свое господство над веществом, изменяя его, выказывать свое господство над силами природы, заставляя их служить себе, тогда как в сельской жизни, в занятиях земледельческих человек особенно чувствует могущество сил природы, находится под их влиянием. Но в Московском государстве город не мог иметь такого значения, какое он имел в Западной Европе, не мог представлять в такой степени начала движения, развития. Московское государство было государство сельское в противоположность западным поморским государствам, государствам городским по преимуществу; в нем город был большое огороженное село, и земледелие принадлежало к числу занятий городских жителей; промышленность мануфактурная была на низкой ступени развития, торговля очень слаба: мы видели, как русские купцы объявляли, что им не стянуть с иностранными, которые и богаче и ловчее их, умеют действовать вместе, заодно.

Таким образом, сельский быт со всеми его неблагоприятными для развития условиями преобладал в Московском государстве. Отсюда понятно, почему введение повизн должно было так сильно взволновать общество: самая продолжительность застоя необходимо условливала силу упора против перемены, а сила упора в свою очередь условливала силу противоположного стремления, условливала тот переворот, к которому мы приближаемся в своем рассказе.

Если в обществе, подобном русскому XVII века, вообще вся внешняя обстановка жизни вследствие долговременной неизменяемости своей пользуется религиозным уважением, если считается грехом прикоснуться к ней, изменить, исправить, то понятно, что еще более греховным должно являться покушение произвести перемену во внешней обстановке религии, в обряде богослужебном. При отсутствии просвещения, дающего возможность различать существенное от несущественного, перемена во внешнем, могущем изменяться, кажется изменением существенного, изменением религии; мысль, что перемена есть исправление, не допускается: предки, святые отцы так молились и спаслись, угодили богу, прославились чудесами, а теперь говорят, что надобно молиться не так; говорят, что *святые* молились не так, как надобно! Легко понять, как должен был встревожиться древний русский человек при таких новизнах, или

новшествах, по тогдашнему выражению; легко понять, что первую мысль многих было: надобно стоять за веру, преданную отцами! Недавно Русская земля собиралась против Литвы из страха, что королевич литовский истребит веру православную, а теперь свои задумали переменить веру, вводят иное; но иное в вере, новое, чужое, представлялось не иначе как латинским, и вот мысль, что хотят у русских людей отнять православие, ввести латинские новшества, что надобно пострадать за веру, как страдали древние святые мученики. «Нам всем, православным христианам, подобает умирати за един аз, его же окаянный враг выбросил из Символа там, иде же глаголется о сыне божии Иисусе Христе: «Рожденна, а не сотворенна»; велика зело сила в сем аз сокровенна». Но древние мученики страдали, и страдания их повели к торжеству веры Христовой; что же такое теперь? зачем опять необходимость страданий? Откровение Богослова говорит, что в последние времена встанет страшный гонитель, враг Христа, антихрист, который будет отводить от истинной веры и мучить неповинующихся ему. Известно, какую силу имеют апокалипсические представления над людьми, у которых наука не умеряет еще излишней живости воображения: при каждой важной перемене, борьбе, бедствии им уже кажется, что наступают последние времена; известно, какое одушевление сообщается человеку убеждением, что он живет во времена, изображенные в таинственной книге Богослова, что борьба, которую ведет он, должна скоро окончиться торжеством агнца и всех верных ему. Протестанты в борьбе своей с католицизмом одушевлялись мыслию, что ратуют против апокалипсического Вавилона – Рима, против антихриста – папы. У нас, в Западной России, когда тот же Рим сделал попытку посредством унии отторгнуть русскую церковь от восточной, явилось немедленно представление об антихристовых временах. Наконец, в Московском государстве, когда произошло исправление книг и вслед за тем начались важные перемены гражданские, испуганному воображению приверженцев старины сейчас же представились времена, изображенные в Апокалипсисе, представились действия антихриста. Вследствие влияния западнорусской литературы, возникшей во времена унии, явилось представление о трех эпохах антихристовских: первая эпоха – отпадение Рима папского от православия, вторая – отпадение Западной России в унию, третья – отпадение Восточной России от православия вследствие перемен церковных и гражданских, Все эти представления, как ни легко рождались они при тогдашнем состоянии умов в Московском государстве, все эти представления не могли бы, однако, иметь такой силы, произвести раскол, если бы все пастыри церкви, все священство по образованию своему сознавало законность перемен и умело истолковать пастве, что перемены суть исправления, возвращение к древней правильности. Но между священниками, даже самыми видными, значительными, между монахами, привлекавшими общее внимание подвижничеством, даже между архиереями нашлись люди, которые взглянули на церковные новизны, исправления, как на нарушение истинной веры, и таким образом дали вождей, опору движению, направленному против преобразований, против науки. Страсти человеческие, разумеется как везде, так и здесь, оказали могущественное влияние. Стремление к просвещению, к новизнам, к преобразованиям преимущественно обнаруживалось в молодом поколении. Молодые люди, приобретя сведения, необходимо начинали указывать на неправильности, толковать об исправлениях, необходимо становились учителями;

кого же они учили? Людей старых, сановитых, привыкших считать свой авторитет неоспоримым, привыкших быть учителями; а теперь они видят, что яйца курицу учат, поднимают голос люди молодые потому только, что выучились грамматике у малороссийских монахов. Это оскорбляет стариков, они начинают вооружаться против новых мнений, против науки, которая вводит вредные новизны и побуждает молодых людей вооружаться против старших. Молодые, видя упорство стариков, теряют к ним всякое уважение и, чтоб поколебать их авторитет и укрепить свой, клеймят их невеждами, не понимающими дела; самолюбия в схватке, борьба разгорается.

Мы видели, как шло дело исправления церковных книг при царе Михаиле, каким гонениям подверглись исправители и как они в свою очередь отплачивали гонителям выходками против их невежества. Исправление продолжалось, ибо нельзя было печатать книг, не исправивши, не приведши текста к единству; но где было взять исправителей? Вследствие недостатка учености явилась возможность посредством видимого исправления вносить искажения в книги, что и было сделано при патриархе Иосифе исправителями: Степаном Вонифатьевым, благовещенским протопопом и духовником царским; Иваном Нероновым, ключарем Успенского собора, потом протопопом Казанского в Москве: Федором, дьяконом Благовещенского собора; Аввакумом, протопопом Юрьевца Поволжского; Лазарем, священником романовским; Никитою, священником суздальским; Логгином, протопопом муромским; Данилою, протопопом костромским, и другими. Они внесли в церковные книги утвердившееся еще в XVI веке и внесенное в Стоглав учение о сугубой аллилуия, о двуперстном сложении для крестного знамения, которое таким образом и сделалось господствующим в Московском государстве. Патриарх Иосиф крестился двумя перстами; Никон, будучи митрополитом новгородским и в начале патриаршества, крестился так же.

Но эти самые исправители, которых обыкновенно считают начальниками раскола, были в свое время людьми передовыми, требовали преобразований, улучшений и в свою очередь терпели нарекания как нововводители. Мудреный вопрос о книжном исправлении не мог быть доступен многим; но лучшим людям бросался в глаза страшный беспорядок в богослужении: в одно время в церквях пели и читали в два, три и несколько голосов, так что ничего нельзя было разобрать. Ртищев сильно хлопотал об уничтожении этого соблазна, говорил патриарху Иосифу, архиереям, боярам; помощником ему был протопоп Иван Неронов, который уговаривал священников московских ввести единогласие. Наконец оно было введено; вызваны певчие из Малороссии; оттуда же благодаря Ртищеву и его андреевским старцам явился в Москве обычай проповеди, неслыханный прежде здесь. Но мы уже видели, как некоторые смотрели на деятельность Ртищева, как смотрели на малороссийских монахов и вводимую ими науку, как смотрели на тех, которые для усовершенствования в науке отправлялись в Киев. Новшества – единогласное пение и проповедь – возбудили также негодование: никольский поп Прокофий, где ни сойдется с гавриловским попом Иваном, так начнет говорить ему: «Заводите вы, ханжи, ересь новую, единогласное пение да людей в церкви учить, а мы прежде людей в церкви не учивали, учивали их втайне, беса вы имате в себе, все ханжи, и протопоп благовещенский такой же ханжа!» 11 февраля 1651 года собрались священники в



сенях тиунской избы, и начался у них спор о единогласии; лукинский поп Савва с товарищами кричал: «Мне к выбору об единогласии руки не прикладывать, наперед бы велели руки прикладывать о единогласии боярам и окольниковым: любо ль им будет единогласие?» Гавриловский поп Иван возражал: «Вы презираете изволение божие, правило св. отец, устав, государево повеление и святительское благословение». «Ты ханжа, мальчишка! – кричали ему противники. – Ты уже был у патриарха в смиреннии, будешь и еще; а нам хотя умереть, а к выбору о единогласии рук не прикладывать!»

Ртищеву помогал Неронов; Степан Вонифатьев действовал также с ними заодно, потому что приверженцы старины и его называют ханжою. Но был вопрос, в котором Вонифатьев и Неронов с товарищами сильно расходились со ртищевскими малороссиянами, с Епифанием Славеницким и товарищами его: этот вопрос был об исправлении книг. Ученый Епифаний видел искажения, которые вносились в книги невежественными издателями, и не молчал: приверженцы старины жаловались, что ученики киевских старцев ни во что ставят благочестивых протопопов Ивана, Степана и других. В таком натянутом положении находились дела, когда на патриаршеский престол вступил Никон. Вонифатьев и Неронов с товарищами не имели причины опасаться нового патриарха, который был очень дружен с ними, когда был игуменом, архимандритом и митрополитом новгородским, часто приезжал на дом к духовнику и по-приятельски обо всем с ним советовался; о книгах вопрос не поднимался. Никон, подобно всем исправителям, крестился двумя перстами; что же касается до введения порядка в богослужении, то Никон не отставал от московских ревнителей, если и не опережал их, будучи митрополитом новгородским. Но через год с чем-нибудь, по вступлении Никона на патриаршество, отношения переменились. По указаниям Славеницкого, греческого духовенства и по собственному исследованию Никон убедился, что книги испорчены. Но легко понять, как этим убеждением оскорблялось самолюбие исправителей, являвшихся теперь искажителями. Никон не обратил внимания на их оскорбленное самолюбие. Во дворце, в присутствии царя (в конце 1653 или самом начале 1654 года), патриарх держал собор, указал разности в печатных русских книгах с греческими и древними рукописями славянскими и предложил вопрос: «Следовать ли новым нашим печатным служебникам или греческим и нашим старым?» Большинство отвечало утвердительно на вторую часть вопроса: но прямо воспротивился этому решению коломенский епископ Павел и старые исправители с некоторыми другими духовными лицами. Вонифатьев, впрочем, уклонился и остался на прежнем месте; но Неронов с товарищами и епископ Павел сильно упорствовали и были сосланы; дело исправления было поручено Епифанию с товарищами и греческому монаху Арсению, вызванному Никоном из Соловков, куда он был сослан, как человек, получивший образование в латинских, западных училищах и принимавший временно латинство, чтоб быть допущенным в эти училища. Собор греческих архиереев в Константинополе подтвердил решение московского. В Москве думали, что древних греческих и славянских книг, находившихся в России, еще мало, и потому отправлен был монах Арсений Суханов на Афон и в другие места для приобретения греческих рукописей. Арсений, ревностный старовер, содействовал, однако, делу исправления, привезши до 500 рукописей, греческие

архиереи прислали не менее 200. Приехавший в Москву антиохийский патриарх Макарий вместе с другими восточными архиереями торжественно объявил в Успенском соборе в неделю православия, что надобно креститься тремя перстами, и проклял тех, кто крестился двумя. Московский собор 1656 года подтвердил окончательно дело.

Но были люди, которые не хотели успокоиться на соборных решениях и свидетельстве греческих архиереев. Неронов с товарищами прислали царю челобитную: «Арсений Грек взят к Москве и живет у патриарха Никона в келии, Никон его, врага, свидетелем поставляет, а древних великих мужей и св. чудотворцев свидетельство отменяет. Ох, увы! Благодетель царю! Стани добре, церковное чадо, и вонми плачу и молению твоих государевых богомольцев. И паки молим тебя, государь, иностранных иноков, ересей вводителю, в совет не принимай: зрим в них ни едину от добродетелей: крестного знамения истинного на лице вообразить не хотят и сложению перстов противятся; на колени же поклониться господеву покою ради не хотят». Царь не обращал внимания на эти послания, передавал их Никону: но в народе обращали на них большое внимание, и мы видели, как в 1654 году, во время моровой язвы в Москве, толпа высказалась против Никона и Арсения Грека. Опасения потерять правую веру предков чрез новшества и страх пред временами антихристовыми волновали не одни низшие слои народные. Духовный сын Неронова, знатный человек Плещеев, писал к своему духовнику в место его заточения, в Спасо-Каменный монастырь: «И мноу нецни раздоры внити хошут вскоре и непокарающимся беда и мучения навестися хошут... Сбудутся хошущии быти раздоры, по проречению книги о вере, в ней же пишет о отпадении запада и отступлении юнитов к западному костелу, по числу еже от антихриста. Повеле бо и нам от таковых же вин опасение имети, егда исполнится от воплощения сына божия 1666 лет... Дух антихристов широким путем и пространым, ведущим в погибель, нача крепко возмушати истинный корабль Христов». Но Плещеев с товарищами напрасно обращался к Неронову за подтверждением своих страхов пред антихристом. Московские протопопы Неронов, Вонифатьев не были способны стать в челе раскольнического движения, сообщить ему особенную силу. Они сами были люди передовые, и если враждебно отнеслись к исправлению книг и Никону, то вследствие оскорбленного самолюбия, а не из фанатической приверженности к *азу*, из побуждений оскорбленного самолюбия Неронов готов был всеми средствами действовать против Никона и Никоновского дела, но не был способен из-за *аза* претерпеть не только смерти, но и заточения. Никон с своей стороны не относился фанатически к делу исправления: он был способен, по своей природе, очень жестоко поступить с теми, кто возвышал голос против него, против его власти, против его дела; но как скоро эти люди приносили свои вины перед святейшим, он готов был на уступки.

Благодаря посредничеству духовника Вонифатьева Неронов возвратился в Москву, объявил, что подчиняется решению вселенских патриархов; по просьбе самого Неронова, постригшегося в монахи под именем Григория, освобождены были и другие узники за раскол; Никон, в знак забвения прошлого, отдал Неронову все письма, которые они писали на него царю и Вонифатьеву; мало того: патриарх объявил Неронову, что все равно, можно служить и по старым служебникам, и не обращал внимания на то, что в самом Успенском соборе, по

увещаниям Неронова, говорили *аллилуиа* по дважды. Но эти уступки не могли быть тогда поняты большинством, ибо не могло быть понято самое главное, что дело идет о внешнем, несущественном: перемена относительно двоения или троения аллилуиа считалась переменою в вере, и потому не могли успокоиться на том, что можно исповедовать одинаково и правую и неправую веру, как кому угодно. Вонифатьев, Неронов могли идти на сделку; но не хотели идти на сделку товарищи их – Аввакум, Логгин, Лазарь, которые, по этой самой неспособности к сделкам, по ревности, не знающей границ, по готовности умереть за аз , производили сильнейшее впечатление и приобретали приверженцев делу, имевшему таких отчаянных бойцов. Скоро приобретен был новый сильный союзник: это был монах Капитон, обращавший на себя внимание необыкновенным постничеством и потому прославивший праведником. Наконец, против Никоновых новшеств объявил себя один из самых знаменитых монастырей. В августе 1657 года приехал в Холмогоры Софийского дома сын боярский с новыми печатными церковными книгами и с приказом от новгородского митрополита Макария раздавать книги по епархии. Он велел позвать к себе соловецкого старца Иосифа, накинул на него 18 книг и доправил денег 23 рубля 8 алтын две деньги. Иосиф отослал книги в монастырь; архимандрит Илья созвал черный собор и объявил присылку; священники и дьяконы посмотрели книги и сказали: «Будем служить по старым служебникам, по которым мы сперва учились и привыкли; мы, старики, и по старым служебникам очередей своих недельных держать не сможем, а по новым на старости лет учиться не можем же, да и некогда, что и учено было, и того мало видим; а по новым книгам нам, чернецам косным, непереимчивым и грамоте ненавычным, сколько ни учиться, а не навыкнуть, лучше с братьею в монастырских трудах быть». Тут братия закричали: «Если священники станут служить по новым служебникам, то мы от них и причащаться не хотим; если же на отца нашего, архимандрита Илию, придет какая кручина или жестокое повеление, то нам всею братьею патриарху и митрополиту бить челом своими головами, стоять всем заодно и ни в чем архимандрита не подать».

Но не все были согласны на это решение или по крайней мере некоторые отделились впоследствии, и в 1658 году явилась от них грамота к патриарху: «Бьют челом и извещают богомольцы твои, Соловецкого монастыря попы: Виталий, Кирилл, Садоф, Никон, Спиридон и Герман, на архимандрита Илию и его советников: в прошлом 1657 году присланы в Соловецкий монастырь служебники твоего, государева, исправления: архимандрит Илья принял их тайно с своими советниками и, не объявляя их никому из нас, положил в казенную палату, и лежат они там другой год переплетенные; но когда об них узнали, то стали между собою говорить: для чего это служебников нам не покажут? И вот в нынешнем 1658 году, на шестой неделе Великого поста, архимандрит с своими советниками написали приговор о служебниках, и, созвавши нас, всех попов, принудил архимандрит великими угрозами и прещением прикладывать руки к своему бездельному приговору, складывая смуту и беду с себя на нас, будто он служебники нам давал, а мы у него не приняли; но мы у него служебников просили посмотреть, а он нам и посмотреть не дал; меня, попа Германа, дважды плетью били за то только, что обедню пропел по новым служебникам. Как начали с Руси в монастырь приезжать богомольцы и стали зазирать, что в Соловках

служат по старым служебникам, то архимандрит, услышав это, вымыслил новый приговор, уже не тайно, а объявил всей братии, что отнюдь нынешних служебников не принимать, а нам, всей братии, за архимандрита стоять, и, написав приговор 8 июня, собрал он всю братию в трапезу на черный собор. Случились в то время богомольцы разных городов, и произошел шум великий, начал архимандрит говорить всей братии со слезами: „Видите, братья, последнее время: встали новые учителя, от веры православной и отеческого предания нас отвращают и велят нам служить на ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтоб нас бог сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши!“ Тут все закричали великими голосами: „Нам латинской службы и еретического чина не принимать, причащаться от такой службы не хотим и тебя, отца нашего, ни в чем не выдадим“. Да и все Поморье он. архимандрит, утверждает, по волостям монастырским и по усольям заказывает, чтоб отнюдь служебников новых не принимали. Мы к такому приговору рук прикладывать не хотели, так на нас архимандрит закричал с своими советниками, как дикие звери: „Хотите латинскую еретическую службу служить! Живых не выпустим из трапезы!“ Мы испугались и приложили руки».

Эта челобитная пришла в Москву, когда Никону было уже не до *Соловок*. Мы видели, сколько вражды накликал на себя патриарх своим *великим государствованием*. Враги новшеств подали государю длинную жалобу на Никона, в которой они вооружались против него не как против нововводителя только, но как против дурного патриарха: «Прежние пошлины с духовенства за рукоположение орать он не велел, только новый порядок установил: ставленникам велел привозить отписки от десятильников и от поповских старост, где кто в какой десятине живет: за такую отпискою пройдет недели по две и по четыре, да харчу станет рубль и два: приедет с отпискою к Москве и живет здесь недель по 15 и по 30, и становится поповство рублей по пяти и по шести, кроме своего харчу, дают посулы архидакону и дьякам; иные волочатся в Москве недель 10 и больше, да отошлет ставиться в Казань. Иные ставленники пропадают и безвестно живот свой мучат в Москве, к слушанью ходят, да насилу недели в две дождутся слушанья, ждут часу до пятого и до шестого ночи зимнею порою; побредет иной ночью к себе на подворье, да и пропадет без вести, а нигде на патриархове дворе пускать не велено. При прежних патриархах, кроме Иосифа, ставленники все ночевали в хлебне, а при Иоасафе-патриархе ставленники зимнею порою все дожидались в крестовой, а ночевали в хлебне безденежно; а ныне и в сенях не велят стоять, зимою мучатся на крыльце. При прежних святителях до самых крестовых сеней и к казначею, и к ризничему, и в Казенный приказ рано и поздно ходить было невозбранно; а ныне у святителя устроено подобно адову подписанию, страшно приблизиться и ко вратам, потому что одни ворота и те постоянно заперты. Священники не смеют ходить в церковь к благословию, не то что о неведомых вещах допросить; только всегда, во всякое время невозбранно ходят к благословию женки да девки: тем ныне время, и челобитные принимает от них невозбранно. Ныне на Москве вдовы попы служат: или они святые стали? Или об них знамение с небеси было? А бедным сельским запрещено, иной останется с сиротами, с пятью, шестью и больше, сами и землю пашут. Патриаршая область огромная: иные места верст на 800 от Москвы, и прежде попы отсюда ставились у ближних архиереев; патриарх Иосиф это запретил,

желая собрать себе имение, и теперь так остается. Иосиф же попам переходжих грамот давать не велел по городам с десятильнических дворов, а велел давать на Москве из Казенного приказа, хотя обогатить дьяка своего Ивана Кокошилова да подьячих. Перехожая становилась иному беззаступному попу рублей по 6, 7, 10 и 15, кроме своего харчу, волочились недель по 20 и по 30, а иной бедный человек поживет на Москве недель 10 и больше, да проест рублей 5, 6 и больше, и уедет без перехожей: многие по два и по три раза для переходжих в Москву приезжали, а без них попадьи и дети их скитаются меж дворов. Святитель Никон всего этого очень держится, а в правилах написано: от церкви к церкви не переходить. И священники отнюдь из воли от церкви к церкви не переходят, изо ста не найдется пяти человек попов, которые бы перешли из воли, без гонения, все переходят рыдая и плача, потому что попов и дьяконов по боярским и дворянским вотчинам в колоды и цепи сажают, бьют и от церкви отсылают. Хотя которому попу и бить челом тебе, государю, но за тем ходить будет полгода или год, да поп или дьяк насилу прав будет, потому что и в приказ даром сторожа никакими мерами не пустят, а к подьячему или дьяку и поминать нечего. Когда было у патриарха приказано в казне Ивану Кокошилову, то людям его раздавали по полтине и по рублю, а самому рублей по 5 и по 6 деньгами, кроме гостинцев, меду и рыбы, да еще бы рыба была живая, да жене его переносят гостинцев мылом и ягодами на рубль и больше, а если не дать людям, никакими мерами на двор не пустят. Если и придется кому заплатить за бесчестье попа или дьякона, то бояться нечего, потому что, по благому совету бояр твоих, бесчестье положено очень тяжкое: мордвину, черемисину, попу пять рублей да четвертая собака – пять же рублей! И ныне похвальное слово у не боящихся бога дворян и боярских людей: бей попа что собаку, лишь бы жив был, да кинь 5 рублей. Иноземцы удивляются, а иные плачут, что так обесчещен чин церковный! Года два тому назад нового города Корсуни протопоп приезжал с святительскою казною, дьяку Ивану Кокошилову и жене его и людям рублей на 10 перешло от него, и казну приняли; надобно было взять от него еще отписи, он тут денег не дал и за то волочился многое время и, не хотя умереть голодною смертию, голову свою закабалил в десяти рублях да жене дьяка отнес, и она у него взяла. В это время, по твоему указу, бит кнутом за посул Кропоткин; дьяк испугался, чтоб протопоп не стал бить на него челом, да и скажи патриарху, как будто протопоп подкинул жене его 10 рублей, и патриарх приказал его же, протопопа, посадить на цепь и, муча его в разряде многое время, в ссылку сослать велел, а вор по-старому живет да ворует. А того отнюдь не бывает, чтоб старосту поповского, приехавшего с доходами, взять к себе в крестовую да расспросить о всяких мерах. При прежних патриархах, из которой десятины приедет староста поповский, сперва будет у патриарха в крестовой у благословения, святитель его пожалует, велит кормить и приказывает дьяку казну принимать не задерживая, и отдача тогда становилась с большой десятины рубля три и четыре дьяку, а подьячему рубля два или три, да проживет в Москве за отдачею 10 дней, много недели две, да всякий день приходит к святителю, и святитель спрашивает о всяких мерах и подачами жалует мало не всякий день. А ныне, за свои согрешения, всего того лишились. Да он же, святитель, велел во всей области переписать в городах и уездах и данью обложил вновь, да в окладе же велел положить с попова двора по 8 денег, с дьяконова по алтыну, с дьячкова, Пономарева и просвирнина по грошу, с нищенского по две деньги, с четверти

земли по 6 денег, с копны сена по две деньги. Татарским абызам жить гораздо лучше! Никон же велел собрать во всем государстве с церковей лошадей, да челом ударил государю (1655 год), да и тут лошадей с 400 или с 500 разослал по своим вотчинам. Видишь ли, свет премилостивый, что он возлюбил стоять высоко, ездить широко. Есть ли обычай святителям бранные потребности строить? Сей же святитель принял власть строить вместо Евангелия бердыши, вместо креста топорки тебе на помощь, на бранные потребности».

Здесь Никона обвиняют, во-первых, в том, что он не отстранил тех тяжких для духовенства обычаев, какие ввел его предшественник по своему корыстолюбию; но главное положительное обвинение Никону состоит в том, что он уничтожил прежнюю общительность между верховным святителем и подчиненным ему духовенством, преимущественно белым. Патриарх окружил себя недоступным величием, «возлюбил стоять высоко, ездить широко». «Я под клятвою вселенских патриархов быть не хочу, – говорил однажды Неронов Никону, – да какая тебе честь, владыка святой, что всякому ты страшен и, друг другу грозя, говорят: знаете ли, кто он, зверь ли лютый, лев, или медведь, или волк? Дивлюсь: государевы царицы власти уже не слышать, от тебя всем страх, и твои посланники пуще царских всем страшны, никто с ними не смеет говорить, затвержено у них: знаете ли патриарха! Не знаю, какой образ или звание ты принял?» Но и подле царя было много людей, которые твердили ему, что царской власти уже не слышать, что посланцев патриаршеских боятся больше, чем царских, что великий государь патриарх не довольствуется и равенством власти с великим государем царем, но стремится превысить его; вступается во всякие царственные дела и в градские суды, памяти указные в приказы от себя посылает, дела всякие без повеления государева из приказов берет, многих людей обижает, вотчины отнимает, людей и крестьян беглых принимает. Когда Алексей Михайлович окончательно поверил этим внушениям, неизвестно; очень может быть, что и сам он не умел в точности определить этой печальной для него минуты, когда последняя, может быть ничтожная, капля упала в сосуд и переполнила его. Любовь и нелюбье подкрадываются незаметно и овладевают душою; человек уверен, что он все еще любит или что все еще хладнокровен, пока наконец какое-нибудь ничтожное обстоятельство не вскрыет состояния души, давно уже приготовленного. По природе своей и по прежним отношениям к патриарху царь не мог решиться на прямое объяснение, на прямой расчет с Никоном; он был слишком мягок для этого и предпочел бегство. Он стал удаляться от патриарха. Никон заметил это и также, по природе своей и по положению, к которому привык, не мог идти на прямое объяснение с царем и вперед сдерживаться в своем поведении. Холодность и удаление царя прежде всего раздражили Никона, привыкшего к противоположному; он считал себя обиженным и не хотел снизойти до того, чтоб искать объяснения и кроткими средствами уничтожить нелюбье в самом начале. По этим побуждениям Никон также удалялся и тем давал врагам своим полную свободу действовать, все более и более вооружать против него государя.

Как скоро вельможи, враждебные патриарху, уверились, что их сторона взяла верх, то не замедлили дать почувствовать врагу свое торжество. Летом 1658 года был обед во дворце по случаю приезда в Москву грузинского царевича Теймураза. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово очищал путь царевичу; он это делал по

известному обычаю, наделяя палочными ударами тех, кто слишком высовывался из толпы; случилось, что попался ему под палку дворянин патриарший. «Не дерись, Богдан Матвеевич! – закричал дворянин. – Ведь я не простой сюда пришел, а с делом». «Ты кто такой?» – спросил окольниковый. «Патриарший человек, с делом посланный», – отвечал дворянин. «Не чванься!» – закричал Хитрово, и с этими словами ударил его в другой раз по лбу. Дворянин побежал жаловаться патриарху, и тот своею рукою написал к царю, прося разыскать дело и наказать Хитрово. Алексей Михайлович отвечал также собственноручною запискою, что велит сыскать и сам повидается с патриархом. Но свидания не было. Наступило 8 июля, праздник Казанской богородицы, крестный ход: царь не был в Казанском соборе ни на одной службе; через день, 10-го числа, был также большой праздник в Москве, установленный с недавнего времени, праздник Ризы господней, принесенной из Персии при царе Михаиле; перед обеднею явился к патриарху князь Юрий Ромодановский с приказанием от царя, чтоб не дожидались его к обедне в Успенский собор. Но к этому приказанию Ромодановский прибавил еще другое. «Царское величество на тебя гневен, – сказал он, – ты пишешься великим государем, а у нас один великий государь – царь». «Называюсь я великим государем не сам собою, – отвечал Никон, – так восхотел и повелел его царское величество, свидетельствуют грамоты, писанные его рукою». «Царское величество, – продолжал Ромодановский, – почтил тебя как отца и пастыря, но ты этого не понял; теперь царское величество велел мне сказать тебе, чтоб ты вперед не писался и не назывался великим государем, и почитать тебя вперед не будет». Разговор этим кончился. Никон отправился в собор служить обедню и после причастия велел ключарю поставить по сторожу, чтоб не выпускать людей из церкви: поучение будет! Пропели «Буди имя господне», народ столпился около амвона слушать поучение и услышал странные слова. «Ленив я был вас учить, – говорил патриарх, – не стало меня на это, от лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени я вам больше не патриарх, если же помыслию быть патриархом, то буду анафема. Как ходил я с царевичем Алексеем Алексеевичем в Колязин монастырь, в то время на Москве многие люди к Лобному месту собирались и называли меня иконоборцем, потому что многие иконы я отбирал и стирал, и за то меня хотели убить. Но я отбирал иконы латинские, писанные по образцу, какой вывез немец из своей земли. Вот каким образом надобно верить и поклоняться (при этом указал на образ Спасов в иконостасе), а я не иконоборец. И после того называли меня еретиком, новые-де книги завел! И все это делается ради моих грехов. Я вам предлагал многое поучение и свидетельство вселенских патриархов, а вы, в окаменении сердец своих, хотели меня камением побить; но Христос нас один раз кровию искупил, а меня вам камением побить – и мне никого кровию своею не избавить, и чем вам камением меня побить и еретиком называть, так лучше я вам от сего времени не буду патриарх». Кончил и стал разоблачаться; послышались всхлипывания, голоса: «Кому ты нас, сырых, оставляешь!» «Кого вам бог даст и пресвятая богородица изволит», – отвечал Никон. Принесли мешок с простым монашеским платьем: но тут толпа двинулась и отняла мешок. Никон пошел в ризницу и написал письмо к царю: «Отхожу ради твоего гнева, исполняя писание: дадите место гневу, и паки: егда изженут вас от сего града, бежите во ин град, и еже аще не примут вас, грядуще отрясите прах от ног ваших». В ризнице Никон надел

мантию с источниками, а клобук черный, посох Петра-митрополита поставил на святительском месте, взял простую палку и пошел было из собора, но народ бросился к дверям и не пустил его, выпустил только крутицкого митрополита Питирима, который пошел во дворец сказать царю, что делается в соборе. Алексей Михайлович сильно встревожился. «Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу во сне», – сказал он и отправил в собор самого сановитого боярина, князя Алексея Никитича Трубецкого. Много переменялось с тех пор, как в 1654 году этот же самый Трубецкой перед отправлением в поход с благоговением принимал благословение Никона, бывшего во всей своей силе и славе! И теперь Трубецкой начал тем, что подошел под благословение к патриарху, но получил в ответ: «Прошло мое благословение, недостоин я быть в патриархах». «Какое твое недостоинство? Что ты сделал?» – спрашивал простодушно Трубецкой. «Если тебе надобно, то я стану тебе каяться», – отвечал Никон. Трубецкой еще больше смутился: «Это не мое дело, не кайся, скажи только, зачем бежишь, престол свой оставляешь? Живи, не оставляй престола! Великий государь наш тебя жалует и рад тебе». «Поднеси это государю, – сказал Никон, подавая Трубецкому письмо, – попроси царское величество, чтоб пожаловал мне келью». Трубецкой отправился во дворец; Никон, в сильном волнении, то садился на нижней ступени патриаршего места, то вставал и подходил к дверям; но народ с плачем не пускал его; наконец и сам Никон заплакал. Все ждали, что царь явится, последует объяснение и примирение между ними: но вместо царя вошел опять Трубецкой и, отдавая Никону письмо его назад, говорил именем царским, чтоб он патриаршества не оставлял, а келий на патриаршем дворе много. «Уже я слова своего не переменю, – отвечал Никон, – да и давно у меня обещание, что патриархом не быть». Поклонившись боярину, патриарх вышел из церкви, но когда хотел сесть в карету, то народ бросился на нее и выпряг лошадь: Никон пошел пешком через Кремль к Спасским воротам, но народ забежал вперед и запер ворота; Никон сел в одном из углублений (в печуре). Тут явились посланные из дворца и заставили отворить ворота; Никон встал и опять пошел пешком через Красную площадь на Ильинку, на подворье построенного им Воскресенского монастыря (Нового Иерусалима), благословил плачущий народ, отпустил его и чрез несколько времени сам отправился в Воскресенский монастырь.

На третий день, 12 июля, туда поехали к нему князь Алексей Никитич Трубецкой и дьяк Ларион Лопухин. «Для чего ты, святейший патриарх, – спрашивал Трубецкой, – поехал из Москвы скорым обычаем, не доложив великому государю и не подав ему благословения? А если бы великому государю было известно, то он велел бы тебя проводить с честью. Ты бы, – продолжал боярин, – подал великому государю, государыне царице и детям их благословение: благословил бы и того, кому изволит бог быть на твоём месте патриархом, а пока патриарха нет, благословил бы ведать церковь крутицкому митрополиту». «Чтоб государь, государыня царица и дети их пожаловали меня, простили, – отвечал Никон, – а я им свое благословение и прощение посылаю и, кто будет патриархом, того благословляю; бью челом, чтоб церковь не вдовствовала и беспастырна не была, а церковь ведать благословляю крутицкому митрополиту; а что поехал я вскоре, не известив великому государю, и в том перед ним виноват: испугался я, что постигла меня болезнь и чтоб мне в патриархах не умереть; а вперед я в патриархах быть не хочу, а если захочу, то проклят буду, анафема».



По-видимому, Никон совершенно успокоился, приняв твердое намерение не возвращаться на патриаршество и занявшись исключительно заботами о своем любимом Воскресенском монастыре; необыкновенным смирением дышит письмо его к царю, отправленное с Трубецким или вслед за ним: «Многогрешный богомолец ваш, смиренный Никон, *бывший* патриарх, о вашем душевном спасении и телесном здравии господа бога ей-ей со слезами молю и милости у вас, государей, и прощения прошу, бога ради, простите мне многое к вам согрешение, которому воистину нет числа. По отшествии вашего боярина князя Алексея Никитича с товарищами ждал я от вас, великих государей, по моему прошению милостивого указа, не дождался и многих ради болезней своих велел отвезти себя в Воскресенский монастырь». Приехал в Воскресенский монастырь окольный Иван Михайлович Милославский и объявил Никону от имени царского, что боярин Борис Иванович Морозов опасно болен, и если патриарху была на него какая-нибудь досада, то он бы простил умирающего. Никон письменно отвечал государю: «Мы никакой досады от Бориса Ивановича не видали, кроме любви и милости; а хотя бы что-нибудь и было, то мы – Христовы подражатели, и его господь бог простит, если, как человек, в чем-нибудь виноват пред нами. Мы теперь оскудели всем и потому молим твою кротость пожаловать что-нибудь для созидания храма Христова Воскресения и нам, бедным, на пропитание, а мы ради поминать его, боярина; ничто так не пользует нашей души, как создание св. церквей; а всего полезнее для души его было бы, если б он изволил положиться в доме живоносного Воскресения, при св. Голгофе: и память бы такого великого боярина не престала вовеки, и бог бы, ради наших смиренных молитв, успокоил его».

Но скоро тон писем Никона и разговор его с посланными царскими изменяется. Раздраженный окончательно речами Ромодановского 10 июля, Никон решился поразить царя и народ своим удалением; впечатление было произведено сильное, как мы видели, но все не такое, какого мог ожидать Никон: царь не пришел для объяснения с ним в Успенский собор, не умолял его остаться, не просил торжественно прощения, сцена, происходившая при избрании Никона на патриаршество, не повторилась. Но зато и речи, которые позволил себе Ромодановский, не повторялись более; посланные царские относились к Никону с уважением, царь присылал с теплыми словами, напоминавшими прежние отношения. Эти присылки и медленность царя относительно избрания нового патриарха испугали врагов Никона; они видели, как царь волнуется тяжелыми сомнениями: хорошо ли поступлено с Никоном, действительно ли он виновен? И вот враги Никона стараются убедить Алексея Михайловича, что бывший патриарх действительно виновен. Сам царь дал знать Никону об опасности, пославши сказать ему, что только он, государь, да еще князь Юрий (Долгорукий?) добры до него. Скоро после этого Никон узнает, что враги под ним подыскиваются, хотят показать его неправды, его грехи, его недостойнство, показать, что напрасно Никон старается внушить, будто удалился вследствие гонения несправедного, не стерпя неправды царской и грехов народных, но что ому следовало оставить патриаршество по своему собственному недостойнству. Никон увидал перед собою ту бездну, к которой привел его поступок 10 июля; возврата не было, и вот поднимаются искушения: человек, привыкший стоять на первом плане, привыкший, чтоб всё и все к нему относились, все пред ним преклонялись,

оставлен, забыт! Мало того: отдан на жертву врагам, которые позорят его! Человек, привыкший к обширной и видной деятельности, принужден ограничиться мелкими заботами о постройке монастыря. Явились и другие искушения: привыкши к роскоши, изобилию во всем, Никон сильно чувствовал отсутствие этой роскоши, этого изобилия в Воскресенском монастыре. Все это начало волновать, раздражать натуру, столь способную волноваться и раздражаться: нравственного величия, христианского духа Никону недоставало для преодоления искушений, и вот он ищет средств, как бы удержаться в выгодном положении и относительно чести, и относительно средств жизни, выставляет такие права свои, которые могли казаться незаконными и опасными даже и не врагам его. Раздражение, борьба и соблазн усиливаются.

Патриарху дали знать, что пересматривали его бумаги, что всяких чинов людям запрещено ездить к нему в Воскресенский монастырь, и Никон пишет к государю: «Молю не прогневаться на богомольца вашего, решаюсь писать к тебе о нужнейших делах, уповаю на прежде бывший твой благий нрав о бозе. Слышал я, что ты велел возвратить, что прежде дал святой великой церкви: умоляю тебя господом не делать этого. Ты, великий государь, чрез стольника своего Афанасия Ивановича Матюшкина прислал мне свое милостивое прощение, а теперь, как слышу, ты поступаешь со мною не как с человеком прощенным, но как с последним злодеем: пересмотрены худые мои вещи, оставшиеся в келье, пересмотрены письма, а в них много тайн, которых никому из мирских людей не следует знать, потому что я был избран как первосвятитель и много ваших государевых тайн имею у себя: также много писем от других людей, которые требовали у меня разрешения в грехах, – этого никому не должно знать, ни самому тебе. Дивлюсь, как ты скоро дошел до такого дерзновения! Прежде ты боялся произнести суд над простым церковным причетником, а теперь захотел видеть грехи и тайны того, кто был пастырем всего мира, и не только сам видеть, но и мирским объявить. Вскую наше ныне судится от неправедных, а не от святых? Слышим, что все это делается для того, чтоб отобрать твои грамоты, в которых ты писал нас великим государем, не по нашей воле, а по своему изволению; не знаю, откуда взялось это название, но думаю, что от тебя: ты писал так во всех своих грамотах, и к тебе так писано в отписках изо всех полков, во всяких делах, и невозможно этого исправить. Да потребится злое мое и горделивое проклятое название, хотя и не по своей воле получил я его; надеюсь на господу, что нигде не найдется моего хотения и веления на это, разве ложно сочинят: ради этих ложных сочинений я много пострадал и стражду господу ради от лжебратии: что сказано мною со смирением, то передано гордо; что сказано благохвально, то передано хульно, и такими лживыми словами возвеличен гнев твой на меня; истязуют от меня то, чего не хотел, не искал, – называться великим государем, перед всеми людьми укорен и поруган понапрасну; думаю, и ты помнишь, что и во св. литургии, слышал, по нашему указу кликали великим господином, а не великим государем. Был я некогда во всяком богатстве и единотрапезен с тобою, не стыжусь этим похвалиться; и питан был как телец на заклание жирными многими пищаами, по обычаю вашему, государеву; много этим насладившись, скоро не могу забыть: так теперь, 25 июля, все веселились, все праздновали рождение благоверной царевны Анны Михайловны; один я, как пес, лишен богатой вашей трапезы, но и псы питаются от крупниц, падающих от

трапезы господ своих; если бы я не считался врагом, то не был бы лишен малого ломтя хлеба от богатой вашей трапезы. Пишу это не потому, что хлеба лишаясь, но требуя милости и любви от тебя, великого государя. Молю: перестань, господа ради, понапрасну гневаться: я больше всех людей оболган тебе, поношен и укорен неправедно; потому молю, переменись ко мне, господа ради, и не делай мне, грешному, немилосердия; чего себе не хочешь, другим не делай. Разве тебе хочется, чтоб все знали твои тайны против твоей воли? Как будешь помилован, сам не бывши милостив? И не один я, но многие ради меня страдают. Недавно ты приказывал ко мне с князем Юрием, что только ты да князь Юрий до меня добры; а теперь один ты ко мне, убогому богомольцу, очень немилостив явился, хотящим меня миловать возбраняешь, всем накрепко запрещено приходить ко мне. Господа бога ради, молю, перестань! Если ты и царь великий, от бога поставленный, но поставленный для правды; а какая моя неправда пред тобою? что ради церкви просил суда на обидящего? и вместо суда праведного получил ответы, полные немилосердия! Ныне же слышу, что вопреки законам церковным сам дерзаешь судить церковный чин, чего не поведено тебе богом. Некоторые говорят, что я много казны взял с собою; не взял, но сколько будет издержано на церковное строение, и по времени хотел отдать, и что дано Воскресенскому казначею во время моего отъезда, и то дано не ради корысти, но чтоб не оставить братию в долгу, потому что с работниками печем было расплатиться. А другие издержки сделаны на глазах всех людей: двор московский выстроен – стал тысяч десятков и два и больше; насадный завод тысяч в десять стал; тебе, великому государю, десять тысяч поднес на подъем ратных людей; тысяч с десять в казне налицо, 9000 дано теперь на насад, прошлым летом на 3000 рублей лошадей куплено; шапка архиерейская тысяч пять-шесть стала, а иного расхода, святой бог весть, сколько убогим, сиротам, вдовицам, пищим роздано; тому всему книги есть в казне; но во всем каюсь, господа ради, прости да сам прощен будешь».

Никону доносили справедливо, что к нему запрещено ездить: в 1659 году певчие дьяки Иван Тверитинов и Савва Семенов вопреки указу были у патриарха в Воскресенском; их взяли к допросу, и они рассказали свой разговор с Никоном. «Услышите, – говорил патриарх, – какие к вам вести недобрые будут вскоре!» Говорил и про Выговского: «Когда я был на Москве, то на меня роптали, будто я Выговского принял; но ведь при мне никакой от него неправды не было, а теперь он отошел от великого государя неведомо почему; когда я был, то великому государю о них бивал челом и во всем заступался; и теперь стоит мне только две строчки написать Выговскому, и он будет по-прежнему служить великому государю и меня слушает; и прежде во всем добром меня слушивал, только надобно их держать умеючи».

Подобные разговоры Никона с посетителями, старание его выставить, как он необходим для государства, как все было хорошо при нем и все стало дурно после него, разумеется, не могли возбудить в Москве желания позволить всем ездить в Воскресенский монастырь. Царь отправил к Никону дьяка Дементия Башмакова объявить, что *духовенству* не было никакого запрета ездить к нему в Воскресенский монастырь. Башмаков нашел патриарха в пустыни близ монастыря, спросил от имени государева о спасении и поднес жалованье: вино церковное, муку пшеничную, мед-сырец, рыбу. Никон бил челом за жалованье, спрашивал о государевом многолетнем здоровье и потом пошел к обедне. После

обедни патриарх отправился из пустыни в большой монастырь, перед ним шли дети боярские; у монастырских ворот по сторонам стояли стрельцы, человек с десять, на монастыре встречал архимандрит с братиею. Вошедши в келью с Башмаковым, Никон начал жаловаться, что его забывают, что его не считают больше патриархом. «Между властями, – говорил он, – много моих ставленников, они обязаны меня почитать, они давали мне письмо за своими руками, что будут почитать меня и слушаться. Я оставил святительский престол в Москве своею волею, московским не зовусь и никогда зваться не буду; но патриаршества я не оставлял, и благодать св. духа от меня не отнята: в Воскресенском монастыре были два человека, одержимые черным недугом, я об них молился, и они от своей болезни освободились; и когда я был на патриаршестве, и в то время моими молитвами многие от различных болезней освободились».

Эти притязания Никона сильно смутили царя, должны были смутить многих, даже и не врагов Никона: теперь нельзя было приступить к избранию нового патриарха, не решивши вопроса, в каком же отношении будет находиться новый патриарх к старому? Притязания Никона явно показывали, что он хочет сохранить первенствующее положение, хочет сохранить прежнюю власть над владыками, указывая на то, что они поставлены им и клялись быть ему послушными. Будет, следовательно, два патриарха? И как выбирать нового? Какое значение дать при этом Никону, а Никон малым значением не удовольствуется! Он говорит, что благодать осталась с ним, что он чудотворец! Скоро Никон высказался, какое он хочет иметь значение при избрании нового патриарха. Крутицкий митрополит, который вследствие его удаления принял управление делами патриаршества, счел себя вправе заменить патриарха и в известной церемонии в Вербное воскресенье, когда патриарх ездил на осляте, представляя Христа, въезжавшего таким образом в Иерусалим. Никон, узнавши об этом, послал такое письмо государю: «Некто дерзнул седалище великого архиерея всея Руси олюбодействовать, в неделю ваий деяние действовать. Я пишу это не сам собою и не желая возвращения к любоначалию и ко власти, как пес к своей блевотине. Если хотите избирать патриарха благозаконно, праведно и божественно, да призовется наше смирение с благоволением, честно. Да начнется избрание соборно, да сотворится благочестиво, как дело божественное; и кого божественная благодать избрет на великое архиерейство, того мы благословим и передадим божественную благодать, как сами ее приняли; как от света воссиявает свет, так от содержащего божественную благодать приидет она на новоизбранного чрез рукоположение, и в первом не умалится, как свеча, зажигая многие другие свечи, не умалится в своем свете».

После этого было ясно, что русской церкви предстоит дупатриаршество, 1 апреля 1659 года отправились к Никону от царя думный дворянин Прокофий Елизаров и думный дьяк Алмаз Иванов напомнить ему, что он от патриаршества отказался и потому уже не следует ему вмешиваться в дела церковные. «Ты с князем Трубецким приказывал, – говорил Елизаров, – что московским патриархом никогда не будешь и дела тебе до архиерейского чина нет: а теперь пишешь, что крутицкий митрополит дерзнул седалище великого архиерея олюбодействовать; оставя паству свою, писать тебе этого не довелось; действие учинил митрополит по государеву указу, и прежде всегда так бывало». «Первый архиерей, – отвечал Никон, – во образ Христов, а митрополиты, архиепископы и епископы во образ

апостолов, и рабу на седалище господина дерзать не достоин; прежде делали это по неведению, и сам я в Новгороде делал по неведению, а во время архиерейства своего во многих суетах исправить этого не успел. А престол святительский оставил я своею волею, никем не гоним, имени патриаршеского я не отрицался, только не хочу называться московским, о возвращении же на прежний престол и в мыслях у меня нет». Елизаров продолжал свое: «Вперед о таких делах к великому государю не пиши, потому что ты патриаршество оставил». *Никон*: «В прежних давних летах благочестивым царям греческим об исправлении духовных дел и пустынноики возвещали: я своею волею оставил паству, а попечения об истине не оставил и вперед об исправлении духовных дел молчать не стану». *Елизаров* : «При прежних греческих царях процветали ереси, и те ереси пустынноики обличали, а теперь никаких ересей нет и тебе обличать некого». *Никон* : «Если митрополит действовал по указу великого государя, то я великого государя прощаю и благословение ему подаю».

Мы видели, каким ужасом поражена была Москва, когда пришла весть о конотопском поражении: ждали хана и Выговского под царствующий град. Царь вспомнил о Никоне и послал предложить ему более безопасное убежище, именно крепкий монастырь Макария Колязинского. Никон встретил жестко это предложение и сказал посланному: «Возвести благочестивейшему государю, что я в Колязин монастырь неиду, лучше мне быть в Зачатейском монастыре; а есть у меня и без Колязина монастыря, милостию божию и его, государевою, свои монастыри крепкие – Иверский и Крестный, и я, доложась великому государю, пойду в свои монастыри, и ныне возвести великому государю, что иду в Москву о всяких нуждах своих доложиться ему». Посланный не понял, о каком Зачатейском монастыре говорит патриарх, и спросил объяснения; Никон отвечал: «Тот, что на Варварском Крестце под горою у Зачатия». «Ведь там только тюрьма большая, а не монастырь», – возразил посланный. «Ну вот этот самый и Зачатейский монастырь», – отвечал Никон. Патриарх приехал в Москву, виделся с царем, с царицею, принят почтительно, одарен, но развязки никакой не последовало. Сохранилось любопытное известие одного иностранца, бывшего тогда в Москве: приехавши в столицу, Никон хотел приклонить к себе народ, устроил трапезу для странных, сам обмывал им ноги; желая сложить вину продолжительной, тяжелой войны на государя, спрашивал, как будто ничего не зная, заключен ли мир с поляками? Когда ему отвечали, что нет, глубоко вздохнул и сказал: «Святая кровь христианская из-за пустяков проливается» и т.д. Узнавши об этих разговорах, царь немедленно велел Никону выехать из Москвы.

Никон отправился в Крестный монастырь. В начале 1660 года царь велел созвать духовный собор и предложил ему решить трудный вопрос. Собор открылся 17 февраля: прежде всего боярин Петр Михайлович Салтыков принес письменные сказки о том, как Никон оставил патриаршество: преосвященные приняли сказки и начали допрашивать свидетелей, священного чина людей по священству, а прочих по евангельской заповеди. В сказках крутицкого митрополита Питирима и князя Трубецкого было написано: «Патриарх Никон патриаршества своего отрекся с клятвою»; в остальных сказках о клятве не было упомянуто, но во всех говорилось согласно, что Никон от патриаршества отрекся и вперед на нем обещался не быть. Собор послал боярина Салтыкова доложить великому государю, что святейший патриарх Никон, как дознано, оставил

патриаршеский престол своею волею, и как великий государь укажет? Салтыков возвратился с ответом, что государь указал собору выписать из правил св. апостол и св. отец все относящееся к подобным случаям и у выписки велел быть архиепископу Маркелу вологодскому, архиепископу Илариону рязанскому, Макарию псковскому, Чудова монастыря архимандриту Павлу, Свирского Александрова монастыря игумену Симону. 27 февраля собор слушал выписи и рассуждал: Никон не внял прошению великого государя, объявленному князем Трубецким; не внял прошению архиереев и прочего духовенства, бывшего при его отречении в Успенском соборе; не объявил причину отречения ни великому государю, ни архиереям, ни собору, не оставил никакого объяснения, объявил только, что отрекается ради своего невежества и грехов. После этого рассуждения собор определил по правилам: когда епископ отречется от епископии без благословной вины, то по прошествии шести месяцев поставлять другого епископа; кроме того, определил, что Никон должен быть чужд архиерейства, и чести, и священства. Трижды подносили государю правила, на которых основывался собор: царь медлил, наконец приказал пригласить на собор греков, бывших в Москве: Парфения, митрополита фивского, Кирилла, бывшего архиепископа андросского, Нектария, архиепископа паганиатского. Греки подтвердили приговор русских, и царь велел подкрепить этот приговор в Успенском соборе при себе и при боярах. Дело оканчивалось: решением собора уничтожались все притязания Никона на сохранение прежнего значения, на право рукоположить нового патриарха: он терял архиерейство, терял священство! Но вот Епифаний Славеницкий, первый ученый авторитет тогда в Москве, подает протест. «Греки на соборе, – пишет он, – прочли из своей греческой книги выражение: „Безумно убо есть епископства отрещися, держати же священства“ – и сказали, что это 16 правило первого и второго собора. Я думал, что это правда, не дерзнул прекословить и дал мое согласие на низвержение Никона, бывшего патриарха; но потом я стал искать и не нашел в правилах этого речения, вследствие чего беру назад свое согласие на низвержение Никона и каюсь. Ваше царское величество приказали мне составить соборное определение: я готов это сделать относительно избрания и поставления нового патриарха, потому что это праведно, благополучно и правильно; о низвержении же Никона не дерзаю писать, потому что не нашел такого правила, которое бы низвергало архиерея, оставившего свой престол, но архиерейства не отрешившегося».

Это письмо учнейшего старца остановило дело: выбрать нового патриарха? но что делать со старым, который не перестает предъявлять своих притязаний на высшую власть в церкви, который будет протестовать, что нового патриарха поставили незаконно, ибо без ведома и рукоположения старого, и протест этот даст повод сомневаться в законности нового, произведет соблазн и разделение в церкви, когда уже и без того было много соблазна и разделения? Притом же письмо Епифания показало, что собору московского духовенства и пришлых греков верить нельзя, что царь мог согрешить, приведши в исполнение приговор собора, чего Алексей Михайлович боялся больше всего. Он был в тяжком недоумении, тем более что Никон упорно стоял на своем. В то самое время, как в Москве собор рассуждал о Никоновом деле, в феврале 1660 года стольник Матвей Пушкин ехал к патриарху в Крестный монастырь с ласковыми словами от царя, имевшими целью выпросить у Никона письменное благословение на избрание

нового патриарха. «Ты патриарший престол изволил оставить, – говорил ему Пушкин, – в то время великий государь посылал к тебе князя Трубецкого не один раз, велел тебе говорить, чтоб ты на патриарший престол возвратился, ты отказал, не возвратился и великому государю благословение подал выбрать патриарха, кого он изволит. После того посланы к тебе думный дворянин Прокофий Елизаров и дьяк Алмаз Иванов, ты и им сказал те же речи, что на патриаршеском престоле вперед быть не хочешь: так ты бы о избрании патриарха на свое место благословение подал и к великому государю о том отписал». «Князь Алексей Никитич Трубецкой на патриаршество меня не зывал, – отвечал Никон, – он мне только в Москве в соборной церкви сказал, чтоб я возвратился. Елизаров меня на патриаршество не зывал, а только мне выговаривал; великому государю благословение мое всегда готово: невозможно рабу государя своего не благословлять; но патриарха поставить без меня я не благословляю: кому его без меня ставить и митру возложить, митру дали мне вселенские патриархи, митрополиту митры на патриарха положить невозможно, да и посох с патриархова места кому снять и новому патриарху дать? Я жив, и благодать св. духа со мною; оставил я престол, но архиерейства не оставлял; великому государю известно, что и патриаршеский сан, и омофор взял я с собою, а то у меня отложено давно, что в Москве на патриаршестве не быть. У вас все власти моего рукоположения: когда ставятся, в исповедании своем проклинают они Григория Симвлака за то, что он при живом митрополите похитил святительский престол; да архиереи же обещаются на поставлении, что им другого патриарха не хотеть: так как же им новоизбранного патриарха без меня ставить? Если же великий государь позволит мне быть в Москву, то я новоизбранного патриарха поставлю и, приняв от государя милостивое прощение, постясь с архиереями и подав всем благословение, пойду в монастырь. А которые монастыри я строил, тех бы великий государь отбирать у меня не велел, да указал бы от соборной церкви давать мне часть, чем мне быть сыту».

Требую позволения приехать в Москву и права рукоположить нового патриарха для обеспечения своей власти и своего материального благосостояния, Никон в то же время не сомневался сравнивать себя с Афанасием, Василием Великим, с св. Филиппом-митрополитом. Из всех бояр один Зюзин находился в сношениях, в переписке с патриархом. «Мы прочли в письме вашем, что о нас жалуете, – писал ему Никон из Крестного монастыря, – но мы радуемся о покое своем и вовсе не опечалены. Добро архиерейство во всезаконии и в чести своей, надобно попечаловаться о всенародном последнем сбытии. Когда вера евангельская начала сиять, тогда и архиерейство почиталось, когда же злоба гордости распространилась, то и архиерейская честь изменилась. И здесь, в Москве, невинного патриарха отставили, Ермогена возвели при жизни старого: и сколько зла сделалось! Твоему благородию известно, что все архиереи нашего рукоположения, но не многие по благословию нашему служат господу; но неблагословенный чем разнится от отлученного: а нам первообразных много, вот их реестр: Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Василий Великий, из здешних Филипп-митрополит». По письму от 28 июня Зюзин мог действительно признать в Никоне страдальца, от которого враги хотят освободиться какими бы то ни было средствами. «Мне о себе другого, кроме болезней и скорбей многих, писать нечего, – так начинает Никон, – едва жив в болезнях своих: крутицкий

митрополит да чудовский архимандрит прислали дьякона Феодосия со многим чаровством меня отравить, и он было отравил, едва господь помиловал; безуем камнем и индроговым песком отпился; да иных со мною четырех старцев испортил, тем же, чем и я, отпились и ныне вельми животом скорбен». К сентябрю преступники были уже в Москве; 5-го числа боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, думный дворянин Прокофий Елизаров и думный дьяк Алмаз Иванов расспрашивали черного дьякона Феодосия да портного мастера Тимошку Гаврилова против обвинительной отписки патриарха Никона, Тимошка сказал, что он по научению Феодосия состав делал, жег муку пшеничную, волосы у себя из головы вырывал и в поту валял, велел ему тот состав делать дьякон для с..... б..... и для привороту к себе мужеска пола и женска. Феодосий отрекся. На очной ставке Тимошка говорил то же и прибавил, что Феодосий одал патриарху повинную челобитную. Феодосий не винился, говорил, что повинную писал по научению и поневоле, за пристрастием поляка Николая Ольшевского, который бил его плетьюми девять раз. У пытки Тимошка повинился и с дьякона сговорил, объявил, что велел ему на дьякона говорить Савинского монастыря сотник Осип Михайлов, который теперь у патриарха; этот Михайлов вместе с Ольшевским пыткой заставляли его говорить на Феодосия, а состав делать учил его патриарший кузнец, ошашковец Кузьма Иванов; то же повторил Тимошка и на пытке, Феодосий у пытки и на пытке говорил прежние речи, ни в чем не винился.

Это соблазнительное дело еще более усилило раздражение с обеих сторон. При таких-то обстоятельствах возвратился Никон из Крестного в Воскресенский монастырь, и тут в 1661 году завязалось у него новое соблазнительное дело с соседом по земле, окольным Романом Бабарыкиным. Никон бил челом государю, что Бабарыкин завладел землею Воскресенского монастыря, просил сыскать по крепостям. Указа на челобитную не последовало. Никон писал вторично, что если государевой милости не будет, то он станет сам себя оборонять. Угроза была исполнена: крестьяне Воскресенского монастыря, по приказанию патриарха, сжали рожь на спорных полях и отвезли в монастырь. Бабарыкин бил челом государю, и дело велено исследовать, взять крестьян Воскресенского монастыря к допросу. Никон вспыхнул и написал длинное письмо государю: «Начинается наше письмо к тебе словами, без которых никто из нас не смеет писать к вам; эти слова: „Бога молю и челом бью“. Бога молю за вас по долгу и по заповеди блаженного Павла-апостола, который повелел прежде всего молиться за царя. И словом и делом исполняем свои обязанности к твоему благородию, но щедрот твоих ничем умолить не можем. Не как святители, даже не как рабы, но как рабочища отовсюду мы избижены, отовсюду гонимы, отовсюду утесняемы. Видя святую церковь в гонении, послушав слова божия: аще гонят вы во граде, бегите во ин град, удалился я и водворился в пустыне, но и здесь не обрел покоя. Воистину сбылось ныне пророчество Иоанна Богослова о жене, которой родящееся чадо хотел пожрать змий, и восхищено было отроча на небо к богу, а жена бежала в пустыню, и низложен был на земле змий великий, змий древний. Богословы разумеют под женою церковь Божию, за которую страдаю теперь заповеди ради божия: болши сея любви никто же имать, да аще кто душу свою положит за други своя; и мы, видев братию нашу биенными, жаловались твоему благородию, но ничего не получили, кроме тщеты, укоризны и уничижения: тогда удалились мы в место пусто. Но злоначальный змей нигде нас



не оставляет в покое; теперь наветует на нас сосудом своим избранным, Романом Бабарыкиным, без правды завладевшим церковною землею. Молим вашу кротость престать от гнева и оставить ярость. Откуда ты такое дерзновение принял – сыскивать о нас и судить нас? Какие законы божии велят обладать нами, божиими рабами? Не довольно ли тебе судить вправду людей царства мира сего? В наказе твоём написано новое повеление – взять крестьян Воскресенского монастыря: по каким это уставам? Послушай, господи ради, что было древле за такую дерзость над Египтом, над Содомом, над Навуходоносором-царем? Изгнан был Богослов в Патмос: там благодати лучшей сподобился – благовестие написать и Апокалипсис; изгнан был Иоанн Златоуст и опять на свой престол возвратился; изгнан Филипп-митрополит, но паки стал против лица оскорбивших его; и что еще прибавим? Если этими напоминаниями не умилишься, то хотя бы и все писание предложил тебе, не поверишь. Еще ли твоему благородию надобно, да бегу, отрясая прах ног своих ко свидетельству в день судный? Великим государем больше не называюсь и какое тебе прекословие творю? Всем архиерейским рука твоя обладает: страшно молвить, но терпеть невозможно, какие слухи сюда доходят, что по твоему указу владык посвящают, архимандритов, игумнов, попов ставят и в ставленных грамотах пишут равночестна св. духу так: по благодати св. духа и по указу великого государя: недостаточно св. духа посвятить без твоего указа! Но если кто на св. духа хулит, не имеет оставления: если это тебя не устрашило, то что устрашить может, когда уже недостоин сделался прощения по своему дерзновению? К тому же повсюду, по св. митрополиям, епископиям, монастырям, безо всякого совета и благословения, насилием берешь нещадно вещи движимые и недвижимые и все законы св. отец и благочестивых царей и великих князей греческих и русских ни во что обратил, также отца своего, Михаила Федоровича, и собственные свои грамоты и уставы: уложенная книга хотя и по страсти написана многонародного ради смущения, но и там постановлено: в Монастырском приказе от всех чинов сидеть архимандритам, игумнам, протопопам, священникам и честным старцам; но ты все это упразднил: судят и насилуют мирские судьи, и сего ради собрал ты на себя в день судный велик собор вопиющих о неправдах твоих. Ты всем проповедуешь поститься, а теперь и неведомо кто не постится ради скудости хлебной; во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего. Нет никого, кто бы был помилован: нищие, слепые, хромые, вдовы, чернецы и черницы – все данями обложены тяжкими, везде плач и сокрушение, везде стенание и воздыхание, нет никого веселящегося во дни сии. Хотим объявить нехитрую речью: 12 января 1661 года были мы у заутрени в церкви св. Воскресения; по прочтении первой кафизмы сел я на место и немного вздремнул: вдруг вижу себя в Москве, в соборной церкви Успения, полна церковь огня, стоят прежде умершие архиереи; Петр-митрополит встал из гроба, подошел к престолу и положил руку свою на Евангелие, то же сделали и все архиереи и я. И начал Петр говорить: брат Никон! говори царю, зачем он св. церковь преобидел, недвижимыми вещами, нами собранными, бесстрашно хотел завладеть, и не на пользу ему это: скажи ему, да возвратит взятое, ибо мног гнев божий навел на себя того ради: дважды мор был, сколько народа перемерло, и теперь не с кем ему стоять против врагов. Я отвечал: не послушает меня, хорошо, если б кто-нибудь из вас ему явился. Петр продолжал: судьбы божии не повелели этому быть, скажи ты; если тебя не послушает, то, если

б кто из нас явился, и того не послушает, а вот знамение ему, смотри: по движению руки его я обратился на запад к царскому двору и вижу: стены церковной нет, дворец весь виден, и огонь, который был в церкви, собрался, устремился на царский двор, и тот запылал. „Если не уцеломудрится, приложатся больше первых казни божи“, – говорил Петр; а другой седой муж сказал: „Вот теперь двор, который ты купил для церковников, царь хочет взять и сделать в нем гостиный двор мамоны ради своея; но не порадуется о своем прибытке“. Все это было так, от бога, или мечтанием – не знаю, но только так было; если же кто подумает человечески, что я это сам собою замыслил, то сожжет меня оный огонь, который я видел».

Понятно, как тяжело должна была лечь эта грамота на сердце у царя, как обрадовались ей враги Никона, которым она дала возможность представить Алексею Михайловичу, что с Никоном нет возможности разделаться добром. В это время в Москве находился греческий архиерей Паисий Лигарид, митрополит газский, самый образованный, самый представительный из греческих духовных лиц, являвшихся в Москву, и потому приобретший здесь важное значение. Известный исправитель книг, монах Арсений, указал Никону на Паисия как на человека обширной учености и потому могущего быть очень полезным в Москве, и Никон, когда еще не оставлял патриаршества, в 1657 году, писал к государям молдавскому и волошскому, чтоб пропустили в Москву Лигарида чрез свои земли, а к самому ему писал: «Слышали мы о любомудрии твоем от монаха Арсения и что желаешь видеть нас, великого государя: и мы тебя, как чадо наше по духу возлюбленное, с любовью принять хотим». Приехавши в Москву в начале 1662 года под именем митрополита иерусалимского Предтечева монастыря, Лигарид был обласкан и царем, вследствие чего нашелся в затруднительном положении между царем и патриархом, одинаково к нему расположенными. Он сделал попытку помирить их и 12 июля 1662 года написал Никону мягкое письмо, уговаривая его возвратиться на патриаршество, подчинившись преданиям восточной церкви, уступив царской власти. «Не знаю, куда мне обратиться, потому что никто не может работать двоим господам, – так откровенно начинает Лигарид свое письмо, – без ласкательства скажу: Алексей и Никон, самодержец и патриарх: один всякий день оказывает милости, другой молится и благословляет. Не благо многогосподствие, один господин да будет (из Гомера!) один царь, потому что и бог один, как и солнце одно между планетами. Знаю, что в своих поступках ты всегда имел добрую цель, но добрая цель должна достигаться и добрыми средствами. Блаженнейший! не всякий раб царский изображает царя, не всякий раб патриаршеский представляет патриарха. Имея важные причины, ушел ты с престола и отряс прах с ног своих на Москву за ее непокорство; но сказано: да не будет бегство ваше в субботу и зимою, во время крамол и браней. Какую пользу принесло твое гневливое отшествие?» Потом Лигарид распространяется о терпении царя. «Кто паче возблагоискустит добродетелию? Никон „покайтесь!“ вопиет; самодержец Алексей общую песнь поет: претерпевый до конца, той спасется. Будь пастырем добрым, а не наемником! Вознеси вокруг очеса твоя и виждь чада твоя, отеческого руководства требующие. Послушайся моих слов, о золотая глава златорунные сея паствы! и соединишь с своими членами. Вредно для церкви, бедственно для государства, недостойно тебя пребывать вне престола. Становлюсь проповедником громогласным, потому что ревность моя не

позволяет мне молчать. Все восклицают на тебя, все упокоиться от гнева наказуют; да замолкнут толки охотников до порицания, да исчезнут словоборения грызущих неистовых мужей! Смотри: четыре патриарха жаждут видеть конец ссоре. Иди и не отказывайся отдать кесарево кесареви, и какому кесарю? смиренномудрейшему! И тебе смириться подобает».

Не знаем ответа Никонова; можем догадываться, как отвечал Никон человеку, убеждавшему его смириться; знаем одно, что Паисий вскоре после этого перешел на сторону врагов Никона. Боярин Семен Лукьянович Стрешнев подал ему статьи, в которых излагалось поведение Никона, и требовал отзыва на них. 15 августа того же 1662 года Паисий представил ответы, все клонящиеся к осуждению патриарха. Стрешнев обвинял Никона в том, что он при поставлении своем на патриаршество переосвятился, хиротонисался снова, явно перед всеми; не позволил исповедовать и приобщать преступников; когда облачался, чесался и в зеркало смотрелся; после отречения посвящает священников и дьяконов; никогда не называл архиереев братьями, но почитал их гораздо ниже себя, потому что им были посвящены, Никон строит теперь по сие время монастырь, который назвал Новым Иерусалимом: хорошо ли, что имя св. града так перенесено, иному месту дано и опозорено? Никон разорил епископию Коломенскую для своего монастыря, говоря, что это было ближнее епископство от Москвы и непригоже быть епископам под боком у патриарха; хорошо ли архиереям строить обозы и грады, потому что Никон полюбил жить на местах пустых и наполняет их наемниками и боярскими подданными? Никон говорит, что не обретается вне своего престола и епархии, только съехал по некоторым причинам, которые он объявит перед престолом истинного судии праведного. Паисий на все эти статьи отвечал осуждением поступков Никона. Были предложены и другие вопросы: 1) Может ли царь созвать собор на Никона, или надобно повеление патриаршеское? Царь может созвать собор по примеру римских кесарей, отвечал Паисий. 2) Собор, созванный царем, Никон почел за ничто и назвал сонмищем жидовским! *Ответ* : Его надобно как еретика проклинать. 3) Можно ли составам судить главу своего, начальника? *Ответ* . Все священники, как преемники апостолов, имеют власть вязать и решить. 4) Нарекся Никон великим государем, потому что так назвал его наш государь, желая почитать его более обыкновенного: согрешил ли Никон, что принял на себя такой высочайший титул? *Ответ* : Истинно согрешил. 5) Подобало ли Никону убегать страха ради? *Ответ* : Кто творит добрые дела, никогда не боится. 6) Согрешает ли государь, что оставляет во вдовстве церковь божию? *Ответ* : Если он это делает для достойных причин, не имеет смертного греха; однако не свободен от меньшего греха, потому что многие соблазняются и думают, что он это делает по нерадению. 7) Архиереи и бояре, которые не бьют челом и не приводят царя к тому, чтоб дал по этому делу решительный указ, грешат ли? *Ответ* : И очень грешат. 8) Никон проклинает: важно ли его проклятие? *Ответ* : Клятва подобна молнии, сожжет виновного; если же произнесена не по достоинству, то падает на того, кто произнес ее. 9) Прилично ли архиерею драться и в ссылку ссылать! все это делает Никон. *Ответ* : Терпение есть высшая добродетель, гнев – худшее зло. 10) Тишайший государь и всесчастливый царь поручил Никону надзор над судами церковными, дал ему много привилегий, подобно Константину Великому, давшему привилегии папе Сильвестру. *Ответ* : Надобно принимать почести от царя осторожно; полезнее

было бы Никону иметь меньше привилегий, потому что иные надмили его, смотрелся он в них как в зеркало, и случилось с ним то же, что пишут виршописцы о Нарциссе, который в речной воде смотрел на свое лицо, хотел поцеловать и утонул. 11) Можно ли государю отобрать привилегии? *Ответ* : Можно, если тот, кому дано, дурно пользуется ими. 12) Никон бранит Монастырский приказ, где посадил царь судить мирских людей, порицает царя за то, что назначает по монастырям архимандритов и игуменов, кого захочет. *Ответ* : Пусть прежде не было Монастырского приказа: дело в том, что царь учредил его для лучшего порядка и лучшего суда. Устроил ли Никон лучший суд? Сидел ли когда-нибудь на своем судейском месте? Никогда, но держал мирских же людей, которые судили в его приказах, челобитные раздавал своим дворовым людям, и они прямое делали кривым. 13) Кто называет царя нашего мучителем, обидчиком, хищником, что тому подобает по св. правилам? *Ответ* : Если он духовного чина, да извержется. 14) Никон оправдывается тем, зачем его не позвали на собор, где бы он объявил причины своего ухода? *Ответ* : Никон должен был сам явиться на собор или прислать письмо. 15) Никон винит архиереев своих, что не сдержали присяги своей, данной перед ним, но отверглись его, вышли из послушания к нему. *Ответ* : Обещание не присяга; архиереи не присягают; обещали они послушание в делах, которые справедливы. 16) Проклял Никон боярина Семена Лукьяновича Стрешнева, будто тот выучил собаку свою благословлять подобно патриарху: достойно ли проклинать за это? *Ответ* : Если б мышь взяла освященный хлеб, нельзя сказать, что причастилась: так и благословение собаки не есть благословение; шутить святыми делами не подобает; но в малых делах недостойно проклятия, потому что считают его за ничто.

Никону доставили вопросы и ответы; с обычным своим пылом он принялся писать возражения, исписал большую тетрадь. Ему легко было опровергнуть обвинения в присвоении титула великого государя, в названии Воскресенского монастыря Новым Иерусалимом. «Какого еще другого толку ищешь ты, вопрошатель, – обращается он к Стрешневу, – когда сам свидетельствуешь, что царь назвал меня великим государем? На нем господь бог и взыщет и рассудит в день судный по его рукописным грамотам. Он же был в Воскресенском монастыре на освящении церкви, ему захотелось называть монастырь Новым Иерусалимом, и в своих грамотах написал собственною рукою на утверждение». Легко опровергает Никон и упрек относительно присоединения Коломенской епархии к патриархии: «Вы говорите, что я разорил Коломенскую епископию. Епископия эта лежит подле патриаршеской области, а земля Вятская и Великопермская отстоит больше 1500 верст, страна обширная, и людей множество, не мало там остатков языческих обычаев, а говорят, что даже сохранилось и идолопоклонство. На этом основании, по совету с великим государем, Коломна присоединена к Москве, а вместо нее учреждена епархия Вятская и Великопермская, а не для Воскресенского монастыря: еще в то время и зачатков Воскресенского монастыря не было; сколько было доходов у Коломенской епископии, столько же дано и туда из патриаршей епархии; какое число крестьянских дворов было в епископии, столько же и там дано, а коломенские деревни взяты на государя; а после государь пожаловал их в Воскресенский монастырь, будучи на освящении церковном, говоря: святая святым достойна; а не я взял или разорил». Мы видели, что в числе обвинений Никону были крутые поступки его, побои, ссылки; он отвечает на это

обвинение: «И теперь не отказываемся так поступать с врагами и бесстрашными людьми по образу Христову, по правилу св. апостол и ев, отец». Но всего более рассердило Никона утверждение Стрешнева, что всесчастливый царь поручил ему надзор над судами церковными и дал много привилегий; тут Никон высказал свой взгляд на отношения царской власти к патриаршеской, – взгляд, который никак не сходил с преданиями восточной церкви, утвержденными в России историей: «Про всесчастливство царское отвечать нам не нужно, знают все счастье и несчастье царское, какую каждый благодать принял от его царского счастья; ты говоришь, что он нам поручил надзор над всякими судами церковными; это скверная хула и превосходит гордость денницы: не от царей начальство священства приемлется, но от священства на царство помазуются; явлено много раз, что священство выше царства. Какими привилегиями подарил нас царь? Привилегиею вязать и решить? Мы другого законоположника себе не знаем, кроме Христа. Не давал он нам прав, а похитил наши права, как ты свидетельствуешь, и все дела его незаконные. Какие же его дела! Церковию обладает, священными вещами богатится и питается, славится в них, ибо митрополиты, архиепископы, священники и все причетники покоряются, работают, оброки дают, воюют, судом, пошлинами владеет. Господь бог всемогущий, когда небо и землю сотворил, тогда двум светилам, солнцу и месяцу, светить повелел и чрез них показал нам власть архиерейскую и царскую: архиерейская власть сияет днем, власть эта над душами; царская в вещах мира сего, меч царский должен быть готов на неприятелей веры православной; архиерейство и все духовенство требует, чтоб их обороняли от всякой неправды и насилий, это мирские люди делать обязаны; мирские нуждаются в духовных для душевного избавления; духовные нуждаются в мирских для обороны внешней; в этом власть духовная и мирская друг друга не выше, но каждая происходит от бога». Наконец, так как Паисий объявил, что духовное лицо за порицание царя достойно низвержения, то Никон отвечает: «Досаждать царю всем запрещено, но обличать по правде не возбранено. Уже собран много лик злопострадавших у господина обличения ради неподобных дел царских, злыми смертями и муками скончавшихся».

В декабре 1662 года, говорит официальное известие, царь Алексей Михайлович, слушая всеночную в Успенском соборе на праздник Петра-митрополита, пришел в умиление, что соборная церковь вдовствует без пастыря уже пятый год, патриарх Никон о вдовстве ее не радит, ушел и живет в новопостроенных им монастырях, церковная служба отправляется несогласно, а патриарх проклинает митрополита Питирима Сарского и других без собора и безо всякого испытания и другое подобное тому творит. Поэтому великий государь изволил созвать собор и писать ко вселенским патриархам, чтоб они или кто-нибудь из них изволил прибыть в Москву, а ко всем преосвященным государь велел написать, чтоб они приехали на собор из дальних городов к 25 марта, а из ближних к 9 мая: немедленно же должен был явиться в Москву рязанский архиепископ Иларион для собрания к тому собору «всяких вин», и с ним вместе у этого дела велено быть боярину Петру Михайловичу Салтыкову, думному дворянину Елизарову и дьяку Голосову. Они должны были собрать сведения: сколько Никон во время своего патриаршества взял из Успенского собора образов и всякой церковной утвари с распискою и без расписки; сколько взял из домовой

казны денег, хлеба, лошадей, поехавши из Москвы; сколько при нем было выходов книг печатных и каких, и одних книг выход с выходом во всем ли сходны были, и в чем разница, старые печатные книги и рукописи и с греческих присыльных книг переводы, с которых новые книги печатаны, все ли целы на печатном дворе, или некоторых нет и где они; из монастырей взять сведения, сколько чего из них взял Никон; у старца Арсения Суханова отобрать сведение, сколько он купил книг в Палестине, каких, сколько заплатил за них денег и кому книги отданы. В том же декабре иеродиакон грек Мелетий, бывший в Москве для устройства певческого дела, друг Лигарида, отправлен был к восточным патриархам с приглашением прибыть в Москву: «Любве ради всех содетеля, подражая того смиренню, печалующую мать нашу присетити подвигнася, болезнующую родительницу нашу, яко врач духовный, искусный сего художества, исцелити понудися, и в царствующий наш град приити к нам самолично потщися, и матери нашея св. церкви дряхлование, яко светило некое, от высоты разума твоего исходящим рассуждением, вспомогаем вышнего силою, просветиши».

Между тем бабарыкинское дело продолжалось: поллюбовная сделка, на которую соглашался Никон, не состоялась, потому что Бабарыкин, по свидетельству патриарха, потребовал слишком много вознаграждения за свои убытки. Никон показывал, что сжато ржи только 67 четвертей, а Бабарыкин утверждал, что 600 четвертей. «На ложное твое челобитие денег не напасть и не откупиться и всем монастырем!» – сказал Никон и порвал сделку, после чего прибегнул к обычному своему средству против врагов – к проклятию. Но Бабарыкин донес, что Никон проклинает царя и семейство его. Алексей Михайлович призвал архиереев и сказал: «Я грешен; но чем согрешили дети мои, царица и весь двор? Зачем над ними произносить клятву истребления?» Решили, что надобно разыскать дело, и отправили в Воскресенский монастырь боярина князя Никиту Ивановича Одоевского, окольного Родиона Стрешнева, дьяка Алмаза Иванова; из духовных поехали: Лигарид, астраханский архиепископ Иосиф и богоявленский архимандрит. 18 июля 1663 года приехали они в Воскресенский монастырь; патриарх был у вечерни; Одоевский послал сказать ему о приезде посланных царских, и все собирались идти к нему вместе; но Никон прислал сказать, чтоб приходили все, кроме Паисия, если только он не имеет к нему грамоты от вселенских патриархов. Несмотря на то, Паисий отправился и хотел было первый говорить, но Никон, увидав его, вышел из себя, и бранные речи полились на Лигарида: «Вор, нехристь, собака, самоставленник, мужик! Давно ли на тебе архиерейское платье? Есть ли у тебя от вселенских патриархов ко мне грамоты? Не в первый раз тебе ездить по государствам и мутить! И здесь хочешь сделать то же!» Заговорил Иосиф астраханский; Никон бросился на него: «Помнишь ли ты, бедный, свое обещание? Обещался ты и царя не слушать, а теперь говоришь! Разве тебе, бедному, дали что-нибудь? Я тебя слушать и говорить стобою не стану». Духовные были отделаны: дошла очередь до светских. Одоевский начал говорить: «Митрополита, архиепископа и архимандрита выбрали освященным собором и о том докладывали великому государю, а ты их бесчестишь; этим бесчестьем и великому государю досаждения много приносишь; а газский митрополит приехал к великому государю, и грамоту с ним прислал к царскому величеству иерусалимский патриарх». Паисий оправился и начал: «Ты, патриарх, меня вором, собакою и самоставленником называешь напрасно; я

послан к тебе выговаривать твои неистовства, послан от освященного собора, с доклада великому государю; ты бесчестишь не меня, а великого государя и весь освященный собор; я опишу об этом к вселенским патриархам; а что ты называешь меня самоставленником, за это месть примешь от бога: я поставлен иерусалимским патриархом Паисием, и ставленная грамота за его рукою у меня есть; если бы ты был на своем патриаршеском престоле, то я бы тебе свою ставленную грамоту показал; а теперь ты не патриарх, достоинство свое и престол самовольно оставил, а другого патриарха на Москве нет, потому и грамоты от вселенских патриархов к московскому патриарху со мною нет». Масло было подлито в огонь, тронута самое чувствительное место. «Я с тобою, вором, ни о чем говорить не стану!» – закричал Никон. Тут Иосиф и светские посланные решились прямо приступить к делу и спросили его, на основании извета Бабарыкина: «Для чего ты на молебнах жалованную государеву грамоту приносил, клал под крест и под образ богородицы, читать ее приказывал и, выбирая из псалмов, клятвенные слова говорил?» «26 июня, – отвечал Никон, – на литургии, после заамвонной молитвы, со всем собором я служил молебен, государеву жалованную грамоту прочесть велел, под крест и под образ богородицы клал, а клятву износил на обидящего, на Романа Бабарыкина, а не на великого государя, а за великого государя на ектеньях бога молил». Но посланные не удовольствовались этим объяснением. «Хотя бы тебе, – говорили они, – от Бабарыкина или от другого кого-нибудь какая обида и была, и тебе их проклинать не довелось, а в государевой жалованной грамоте Бабарыкинской земли не написано; скажи правду: для чего ты государеву грамоту в церковь приносил, под образ клал и на кого клятвы произносил?» «Проклинал я Бабарыкина, а не великого государя, – повторил Никон, – если я проклинал великого государя, то будь я анафема: приносил я в церковь государеву грамоту потому, что в ней написаны все земли Воскресенского монастыря, а Бабарыкинская вотчина записана в Поместном приказе по государеву же указу; а за великого государя я на молебне бога молил, а после молебна читал над грамотою молитву». Тут Никон пошел в заднюю комнату и вынес тетрадку. «Вот какую молитву, – сказал он, – читал я над грамотою» – и начал было читать: но посланные прервали его. «Вольно тебе, – сказали они, – показывать нам другую молитву; на молебне ты говорил из псалмов клятвенные слова и в том и сам не запирался, что такие псалмы на молебне говорил». Это могло вывести из терпения и человека более хладнокровного, чем Никон; если говорилось с тем, чтоб раздражить его, заставить выйти из себя и наказать вредных для себя вещей, то цель была достигнута. «Хотя бы я и к лицу великого государя говорил, – закричал Никон, – так что ж! Я за такие обиды и теперь стану молиться: приложи, господи, зла славным земли!» «Как ты забыл премногую государеву милость, – отвечали посланные, – великий государь почитал тебя больше прежних патриархов, а ты не боишься суда праведного божия, такие непристойные речи про государя говоришь! Какие тебе от великого государя обиды?» «Он закона божия не исполняет, – продолжал Никон, – в духовные дела и в святительские суды вступается, делают всякие дела в Монастырском приказе и служить нас заставляют». «Царское величество, государь благочестивый, – отвечали посланные, – закон божий хранит, в духовные дела и святительские суды не вступается; а Монастырский приказ учрежден при прежних государях и

патриархах, а не вновь, учрежден для расправы мирских обидных дел; а даточных людей и поборы с монастырских крестьян берут для избавления православных христиан от нашествия иноплеменных, а не для прибыли и корысти; а неправды всякие начал делать ты, будучи на патриаршестве, начал вступаться во всякие царственные дела и в градские суды, начал писаться великим государем, памяти указные в приказы от себя посылал, дела всякие, без повеления государева, из приказов брал и стал многих людей обижать, вотчины отнимать, людей и крестьян беглых принимать; великому государю на тебя было много челобитья, что ты делал не по-архиерейски, противно преданию св. отец: за такие обиды бог тебе не потерпел; возгордившись пред великим государем, ты престол свой патриаршеский самовольно оставил и, живя в монастыре, гордости своей не покинул и делаешь такие злые дела, чего тебе и помыслить не годилось; повелению великого государя и всему освященному собору во всем противишься и делаешь все по своему праву». Никон не стал отвечать светским посланным, но обратился к духовным: «Какой у вас теперь собор и кто приказывал вам его сзывать?» «Этот собор, – отвечали духовные, – мы созвали но приказанию великого государя, для твоего неистовства: а тебе до этого собора дела нет, потому что ты достоинство свое патриаршеское оставил». «Я достоинства своего патриаршеского не оставлял», – сказал Никон. «Как не оставлял? – начали все вместе, и светские и духовные. – А это разве не твое письмо, где ты пишешь, что не возвратишься на патриаршество, как пес на свою блевотину? Разве не ты сам писался бывшим патриархом? И после этого годится ли тебе называться патриархом?» Опять затронули самое чувствительное место. «Я и теперь государю не патриарх!» – закричал Никон с сердцем. Иосиф с товарищами продолжали вонзать оружие все глубже и глубже: «По самовольному с патриаршеского престола удалению и по нынешним неистовствам ты и всем нам не патриарх; достоин ты за свои неистовства ссылки и подначальства крепкого, потому что великому государю делаешь многие досады и в мире смуту». Никон вышел из себя. «Вы пришли на меня, как жида на Христа!» – закричал он. Долго он шумел; посланные не говорили ни слова и отправились; Одоевский, уходя, сказал Никону: «Пришли к нам к допросу архимандрита, наместника, попов и дьяконов, которые с тобою служили, да пришли крестника своего и других иноземцев». «Не пришлю я из своих никого под мирской суд, – отвечал Никон, – кто вам надобен, берите его сами!» Упомянутые лица вызваны были на гостиный двор, где Иосиф с товарищами расспрашивали архимандрита и наместника по священству и по иноческому обещанию насчет извета Бабарыкина; единогласный ответ был, что на ектениях патриарх за государя бога молил, а псалмы к какому лицу читал, того они не знают, Никон не называл это лицо по имени. Посланные, отправив допросные речи к государю, писали ему: «Про уход свой из монастыря патриарх не говорил ни слова, и мы потому на монастыре караула поставить не смели до твоего государева указа». Потом они взяли под стражу крестника Никонова, немца Долмана, и белоруса Николая. Но автор жития Никонова, Шушера, и Паисий Лигарид, смотревшие на дело совершенно разными глазами, сходятся в том, что Никону закрыт был выход из монастыря: Шушера пишет, что около монастыря была расставлена стрелецкая стража и Никону прямо объявили, что его не выпустят до государева указа; по словам же Лигарида, Никон бежал, был схвачен и лишен свободы. Посланные оставались в монастыре довольно



долго, и тут происходили разные сцены. Однажды в воскресенье Никон вошел на возвышение, представлявшее Голгофу, и начал говорить: «Вот уже пришла воинская спира, Ирод и Пилат явились в суд, приблизились архиереи – Анна и Каиафа!» Одоевский и архиереи пришли опять допрашивать Никона по Бабарыкинскому извету. «Дайте мне только дождаться собора, – отвечал им Никон, – я великого государя оточту от христианства, уже у меня и грамота заготовлена». «Ты забыл страх божий, что говоришь такие неподобные речи! – кричали посланные царские. – За такие твои непристойные речи поразит тебя бог; нам такие злые речи и слышать страшно; только бы ты был не такого чина, то мы бы тебя живого не отпустили».

Когда Одоевский и Паисий дали знать государю о происходивших у них с Никоном разговорах, созвана была дума из духовных и светских особ, долго рассуждали и решили написать соборное письмо, которое и отправлено было к Паисию в Воскресенский монастырь: по этому соборному письму газский митрополит должен был говорить Никону о его неправдах и о его неправой клятве, и если бывший патриарх Никон против соборного письма в речах своих подательства никакого не покажет и на добро ни в чем не склонится и станет говорить дерзко по-прежнему, то князь Одоевский с товарищами должны сказать ему с большим выговором, что если он, забыв страх божий и не памятуя воздаяния на Страшном суде, от своей дерзости не уймется, то великий государь предаст его суду великого бога; да сказать ему, что великий государь приказал оставить у Воскресенского монастыря отряд московских стрельцов, а савинских стрельцов отпустить в Савин монастырь, потому что посланы они были в Воскресенский монастырь для всякого обереганья, а они вместо того плутовали, перед ним, бывшим патриархом, ходили с батожками, как бывает чин перед великим государем. Но когда Паисий хотел говорить по соборному письму, то Никон сказал, что речей его слушать не станет, потому что он неведомо какой митрополит, и называл его врагом Божиим и ссорщиком, а по правилам таких слушать не велено. Начались опять упреки и перебранки. Когда Никону объявили, что он не должен выходить из монастыря до собора, то он сказал: «Где разделится дом надвое, запустеет». Ему отвечали, что разделение произошло от него, а не от кого другого. «Для чего ты ввел в мир великий соблазн, выдал три служебника, и во всех рознь, и в церквах оттого несогласие большое?» – спрашивали Никона Паисий с Одоевским. «Теперь поют кто как хочет, – отвечал Никон, – и все это делается от непослушания; а если я в книгах речи переменял, то переправлял я по письму и свидетельству вселенских патриархов». У Паисия была важная улика против Никона: «Ты ко мне прислал выписку из правил, и в ней написано о папском суде; но ведь это написано в правилах потому, что в то время папы были благочестивые, а после того отпали, и ты не прибавил, что после них вышний суд предан вселенским патриархам?» Что же отвечал Никон? «Папу за доброе отчего не почитать? Там верховные апостолы Петр и Павел, а он у них служит». «Но ведь папу на соборах проклинаяем!» – возразил Паисий. «Это я знаю, – отвечал Никон, – знаю, что папа много дурного делает».

Одоевский и Паисий с товарищами наконец уехали из Воскресенского монастыря. Три месяца прошло покойно; в начале ноября Никон дал о себе весть, прислал грамоту к государю от своего имени, также и от имени архимандрита Воскресенского монастыря Герасима и наместника Иова: «Пришли вести, что

польские и литовские люди идут в твои государевы города и стоят недалеко от Вязьмы, пойдут и дальше; а мы живем на пустом месте, прискудали до конца, хлеба и денег нет! Милосердый великий государь! Выдай милостивый свой указ, чем нам пропитаться и защититься на пустом месте. Помяни святое слово, как присылал ясельничего своего Афанасия Ивановича Матюшкина и он говорил пред Христовым святым образом много раз: великий государь тебе велел сказать, что не покинет тебя вовеки. А когда в прошлых годах объявили о татарском приходе и я был на Москве, то думный дьяк Алмаз Иванов сказывал мне твоим государевым словом: ступай, живи в своих монастырях, а великий государь тебя не покинет, велит уберечь. Когда ты, великий государь, был на освящении церкви в Воскресенском монастыре и я тебе говорил, что место хорошо, да строить нечем, то ты дал слово свое: строй, а мы не покинем. Вспомнивши все это, обратись на милость! А что тебе лихие люди клеветуют на меня, ей-лгут; а я ныне за твоим государевым словом хотя и умереть рад здесь; если не помнишь слова и обещания своего, то на тебе бог взыщет, а мне смерть – покой, по-писаному». Письмо это прислал Никон к Ртищеву с просьбою, чтоб отдал его государю; к самому Ртищеву Никон писал: «Пишем, надеясь на твое незлобие и вспомнив, как ты здесь был, после отъезда нашего из Москвы, и слово свое дал быть нашим братом и строить о всяких монастырских нуждах; да и в прошлом 1662 году, как ты присылал брата своего, Федора Соковнина, а в другой раз Порфирья, то приказывал, чтоб нам тебя иметь в любви своей, как прежде».

Но мягкие грамоты опоздали: мы видели, что иеродиакон грек Мелетий отправился к восточным патриархам; он повез следующие вопросы: «Должен ли местный епископ или патриарх повиноваться царю во всех светских (политических, *kata pasas tas politikas upotheseis kai kriseis*) делах, чтоб быть одному правителю, или нет? Может ли епископ или патриарх отлучать кого-нибудь по собственному произволу и будут ли отлученные таким образом в самом деле виновны пред богом, или тот, кто отлучил без суда, повинен правилам? Если кто скажет, что епархии патриаршеские пленены бусурманами, находятся под игом, потеряли древнюю честь и прежнее достоинство, и как патриархам судить и распоряжаться церковными делами? Если кто из архиереев, по гордости, начнет писаться государем? Может ли архиерей тратить доходы свои по произволу, строить монастыри, населять пустынные места? Может ли епископ или патриарх управлять мирскими делами? Епископ, нисшедший в число кающихся, может ли опять воспринять сан архиерейский? Может ли архиерей, отрекшийся от своего сана, свергнувший с себя одежды архиерейские, опять принять прежний сан? Если случится, что после этого отречения отрекшийся будет призываем местною властью, но, по гордости, пренебрежет этим зовом и не возвратится, то что делать в таком случае? Если после отречения отрекшийся снова станет хиротонисать? Могут ли судить митрополита или патриарха епископы, от него поставленные? Если кто ударит раба архиерейского, то обида эта относится ли к господину и может ли последний один судить такое дело или должен отнести к суду мирскому?»

Патриархи дали ответы, желанные в Москве: они осудили все изложенные в вопросах поступки: за некоторые из них прямо произнесли приговор низвержения виновному архиерею; провозгласили, что царь должен быть единственным владыкою во всех светских делах, патриарх должен ему быть подчинен и в

светских делах не должен делать ничего противного царскому решению, а в делах церковных не должен переменять древних уставов; определили, что ни епископ, ни патриарх не должен никого отлучать от причастия прежде объявления вины; на патриарха может быть подана жалоба к престолу константинопольскому, и если остальные патриархи согласятся с константинопольским, то уже это решение верховное; это право верховного суда дано римскому папе, но так как последний, но гордости и злонамеренности своей, отлучен от кафедральной церкви, то означенное право перенесено к патриарху византийскому; если бы патриархи и были совлечены славы своих престолов, но благодать духа святого никогда не стареет, и, кто не приемлет их верховного суда, тот подлежит наказанию, как противящийся божию изволению, повинующийся только чувствам и ничего высшего не разумеющий. Патриархи утвердили за поместным собором право ставить другого архиерея на место отрекшегося, право епископов судить митрополита или патриарха, их поставившего.

Патриархи прислали грамоты, но сами не поехали. Притом у Никона была сильная сторона между греками, которая с южною страстностию начала волноваться, узнав о приезде Мелетия, начала употреблять все средства, чтоб помешать ему. От приверженных к Никону греков из Москвы пошли письма в Константинополь, что Никон – это второй Златоуст, царь его любит, ночью приходил к нему для беседы, но бояре ненавидят за то, что он уговаривает царя выйти на войну против татар, пленящих москвичей и козаков, а боярам не хочется выступить в поход и расстаться с покойным житьем московским; писали, что Никон любит греков и ревностный защитник догматов восточной церкви; писали, что грамоты, привезенные Мелетием, сочинены Лигаридом, которого бояре подкупили деньгами и почестями; что Мелетию дано 8000 золотых, с помощью которых он и успел в том, что ответы даны были против Никона. Антиохийский архимандрит высказал все это пред самим патриархом и потом ходил и кричал по всему Константинополю, ища Мелетия; еще сильнее волновал константинопольских греков какой-то клирик Михаил, получивший от зятя своего Анастасия из Москвы письмо о 8000 золотых, привезенных Мелетием, а Мелетий, с своей стороны, писал Лигариду, что какой-то Еммануил Маивал тайно обещал двоим патриархам 15000 золотых, чтоб только не давали ответов, осуждавших Никона, и, не успев в этом, искал убить Мелетия. Письма, что Никон страдает за увещания к войне против татар, опустошающих Великую и Малую Россию, должны были производить особенное впечатление на константинопольских греков: к их городу ежедневно приставали по три и по четыре корабля, наполненные русскими пленниками; на торговых площадях стояли священники, девицы, монахи, юноши; толпами отвозили их в Египет на продажу; некоторые добровольно отрекались от христианства, другие принуждаемы были к тому насильем.

Приверженцы Никона не довольствовались тем, что возбуждали константинопольских греков против Мелетия: они решились употребить отчаянное средство в самой Москве: Государю дали знать, что приехал иконийский митрополит Афанасий в звании экзарха, племянник он константинопольскому патриарху, прислан от него и от всего собора. На представлении царю Афанасий начал говорить с необыкновенной торжественностью: «Прислали меня константинопольский патриарх и весь собор,

велели сказать: как господь бог пришел к ученикам своим дверям затворенным и сказал: мир вам! так я от имени константинопольского патриарха и всего собора говорю тебе, государь: помирись с Никоном-патриархом и призови его на престол по-прежнему», Алексею Михайловичу показалось странным, что этот проповедник мира прислан без грамоты и велит на словах призвать Никона. «Знаешь ли ты о посольстве Мелетия?» – спросил государь у Афанасия. «Знаю, – отвечал тот, – патриархи Мелетия не приняли, твоих грамот и милостыни не взяли». «Как же это так? – продолжал царь. – Мелетий писал мне совершенно иное!» Афанасий, стоя перед Спасовым образом, объявил, что Мелетий писал ложно. Но вот 30 мая 1664 года приехал Мелетий и привез ответы, подписанные патриархами; царь созвал собор из русского и греческого духовенства для свидетельствования подписей; собор объявил, что подписи настоящие; один Афанасий сначала отвергал подлинность их, но потом и он согласился, что подписи подлинные. После открылось, почему он решился так смело обличать Мелетия во лжи: он спрашивал иерусалимского патриарха Нектария, как порешили с Никоновым делом? И тот, из осторожности, сказал ему, что они Мелетию никакого ответа не дали и рук своих ни к какой грамоте не прикладывали.

Как бы то ни было, царь не был успокоен: патриархи могли подписать ответы и в то же время просить, чтоб соблазнительное дело было оставлено, чтоб последовало примирение с Никоном; действовать против Никона на основании ответов, присланных патриархами, царь не решился: он знал, с кем имеет дело, знал, как Никон начнет громить собор, опирающийся на мертвых грамотах, недавно еще бывших предметом спора и в которых не было даже упомянуто имени Никонова. Чтоб окончательно уничтожить смуту и успокоить свою совесть, ему нужно было присутствие самих патриархов, тем более что при сильно разыгравшейся борьбе сторон трудно было полагаться на чистоту средств, употреблявшихся при этих отдаленных сношениях и переговорах с патриархами. Ложное посольство Афанасия иконийского не было единственным. К византийскому патриарху Дионисию отправился монах Савва. «Агие деспота! – говорил он Дионисию. – Царь Алексей Михайлович молит тебя, приди в Москву, благослови дом его и разные нужные вещи исправь, реши, что сделать царю? Умолять ли Никона-патриарха, чтоб возвратился, или другого поставить? Да иконийский митрополит Афанасий от тебя ли прислан и родственник ли тебе? Приказывал ли ты ему словесно, чтоб умолять Никона о возвращении? С Мелетием-дьяконом сколько грамот ты прислал? Стефан Грек был ли у тебя, и послал ли ты с ним грамоту, что митрополиту газскому быть экзархом?» «Ехать в Москву никак не могу, – отвечал Дионисий, – благословляю государя, чтоб он или простил Никона, или другого поставил, смиренного и кроткого; если он боится другого поставить, то мы принимаем грех на свои головы; царь – самодержец: все ему возможно. Мелетий приезжал сюда не смиренно, все турки об нем узнали, и сделал мне убытку на 200 мешков. Иконийский митрополит Афанасий мне не родня; на нем был турецкий долг, он упросил срока на неделю да и ушел, а я с ним ни одного слова не приказывал, пусть держат его крепко и отнюдь не отпускают; если царь его отпустит, то большую беду церкви сделает. Как Мелетий-дьякон приходил, то мы с Нектарием-патриархом написали две грамоты слово в слово и руки свои приложили и одну послали с Мелетием в Александрию, а другую

Нектарий послал с своим колугером в Антиохию. Стефан Грек у меня не был, только артофилаксий докучал мне, чтоб я написал в грамоте быть газскому экзархом; но я ему этого не позволил, и если такая грамота объявилась у царя, то это плевелы, посеянные артофилаксием; а Паисий Лигарид – лоза не константинопольского престола, я его православным не называю, ибо слышу от многих, что он папезник, лукавый человек. Стефана Грека не отпускайте ж потому, что и он великое разорение церкви православной сделал, как и Афанасий иконийский».

Решительнее в пользу Никона отозвался иерусалимский патриарх Нектарий: в марте 1664 года он отправил в Москву посланца своего Савелия с двумя грамотами, к царю и Никону, с наказом, кроме них, не отдавать этих грамот никому. В грамоте к царю Нектарий увещевал призвать снова Никона на патриарший престол, показав ему присланные с Мелетием статьи вселенских патриархов, как руководство для его будущего поведения, и если он обещает руководствоваться ими, то достоин прощения; просил царя не приклонять уха к советам людей завистливых, любящих смуты, особенно если такие будут из духовенства. «В настоящем положении нашем, – пишет Нектарий, – когда наша церковь находится под игом рабства, мы уподобляемся кораблям, потопляемым беспрестанными бурями, и в одной вашей русской церкви видим ковчег Ноев». Нектарий увещевает царя последовать кротости Давидовой и не полагать во время своего царствования злого и губительного начала сменять патриархов, правомыслящих о догматах веры; говорит, что нельзя обращать большого внимания на отречение Никона: указывает примеры, когда отречения иерархов были уничтожаемы; что же касается до Никона, то он не подал даже письменного отречения, царь и народ не принимали этого отречения, которое состоит только в словах. Нектарий заключает, что непременно должно или возратить Никона, или возвести на его место другого, но гораздо лучше решиться на первое. Нектарию дано было знать, что Лигарид ищет титула экзарха патриаршеского и уже называется так в Москве; поэтому патриарх наказал своему посланному объявить в Москве, что это самозванство, что никто не облечен званием экзарха; Нектарий просил также, чтоб никого не принимали в качестве послов патриаршеских, если на грамотах не будет патриаршеской печати; переводить грамоты патриаршеские просит отдавать не грекам, но царским переводчикам, потому что греки искажают смысл грамот. Савелий объявил также: «Я слышал от патриарха, что, кроме Никона, на престоле другому никому быть нельзя, потому что вины его никакой нет».

Но еще до получения грамоты Нектария тот же Мелетий отправился опять на Восток с таким наказом от царя: «Непременно так сделать, чтоб александрийский, антиохийский, иерусалимский и бывший Паисий, а по нужде два, антиохийский и иерусалимский, приехали бы, А которые захотят прислать вместо себя, то говорить накрепко, чтоб прислали архиереев добрых, ученых, благоразумных, однословных, крепких, правдивых, могущих рассудить дело божие вправду, не желая мзды и ласкания, не бояся никакого страха, кроме страха суда божия. И ты, Мелетий, будучи у вселенских патриархов, памятуя страх божий, про патриарха Никона никаких лишних слов не говори, кроме правды».

Мелетий в январе 1665 года нашел Нектария иерусалимского в Молдавии: сам не поехал к нему, но послал с государевою грамотою Стефана Грека и

подьячего Оловенинова. «Великий государь, – говорили они Нектарию, – просит и молит тебя, чтоб изволил потрудиться для христианского дела, пошел в Московское государство». «От великого государя, – отвечал Нектарий, – прислан был ко всем нам Мелетий Грек, и он знает, что я именно за тем и приехал в Молдавскую землю, чтоб отсюда идти в Москву, но за войною мне никак нельзя было проехать. С Мелетием мы послали к великому государю правила, и по ним для чего до сих пор ничего не сделано?» Оловенинов рассказал о приезде Афанасия иконийского, о свидетельствовании подписей, и когда Нектарий вторично спросил, почему же ничего не сделано по правилам, подлинность которых была засвидетельствована, то Оловенинов отвечал: «Без вселенского патриарха призывать Никона и другого на его место ставить невозможно; да у великого государя и другие дела есть, которых без вас никак устроить нельзя, весь церковный чин в несогласии, в церквах служит всякий по-своему, а пастыря нет». Узнавши, что во время отъезда Оловенинова государь еще не получил грамоты, отправленной с Савелием, патриарх очень горевал. «Если б моя грамота до государя дошла, – говорил он, – то и без нас давно дело сделалось бы». Нектарий обещал идти в Москву. «Пойду, хотя бы мне и смерть принять, – говорил он, – потому что я считаю великого государя вселенским царем; это единственный христианский царь, единственная наша надежда и похвала». Несмотря на то, Нектарий не поехал в Москву; Мелетию удалось уговорить ехать туда двоих патриархов: Макария антиохийского и Паисия александрийского.

Что же делал в это время человек, которого имя повторялось беспрестанно и в Константинополе, и в Яссах, в Египте и Сирии, что делал Никон? В 1663 году началось новое соблазнительное дело. Опять сосед Никона по землям Воскресенского монастыря, Иван Сытин, подал государю челобитную, что патриарх его крестьян пыткой пытал, а иных перевешал. Никон написал оправдательное письмо: «Извещаю о себе св. Евангелием, что ни, не знаю того дела, ни ведаю, сделал то дело малый иноземец: поймавши на озере Ивановых крестьян, побил батогами без нашего ведома, а у меня такого указа не было; бил он их за то, что у него рыбу покрали; я послал малого к тебе, великому государю: изволь его расспросить, хотя и с пристрастием. Сотвори суд праведный, припомни свое обещание, на избрании нашем пред всем собором и синклитом данное, что тебе ни во что священное не вступаться; а теперь делаешь над нами неправды великие, клеветников, врагов божиих, слушаешь и всех чинов людей в грех вводишь тем, что в патриаршей крестовой делается». Призванный к допросу патриарший сын боярский Лускин показал, что он действительно бил сытинских крестьян без Никонова ведома, но когда они стали похваляться поджогом, то он отвел их к патриарху, и тот велел бить их батогами в другой раз. В феврале 1664 года окольный Сукин и дьяк Врехов отправились в Воскресенский монастырь с страшными, сокрушительными словами: «Ты писал, что про дело не ведаешь, а малый твой сказал, что ты крестьян батогами бить велел в монастыре в другой раз, значит, ты очень хорошо про дело знаешь. Ты писал, чтоб учинить суд праведный; но суд чинить здесь не в чем, потому что крестьяне биты батогами дважды без розыску и без свидетельства. Да объяви против своего письма, во что священное великий государь вступается, над тобою какие неправды чинит и клеветников кого слушает? Когда присылают ему бить челом на тебя и на твои монастыри, то он о розыске посылает говорить тебе, как и теперь по сытинскому

делу. Объяви, чем великий государь в грех вводит в патриаршей крестовой? В патриаршей крестовой сидят теперь власти: рязанский архиепископ Иларион да боярин Петр Михайлович Салтыков – и розыскивают, что при твоём патриаршестве из соборной церкви и из монастырей взяты какие церковные утвари и книги, потому что этим церквам и монастырям взятые тобою утвари и книги даны при прежних великих князьях и царях и при нём, государе, а не келейной какой-нибудь казны сыскивают: за церковные вещи великий государь будет стоять и сыскивать и вперед».

Никон стал изворачиваться и погрузился еще глубже: «Я сказал, что не знаю про побои крестьянам на озере, а в монастыре велел я их бить за невежество, велел побить их слегка, и в том воля государева». Чтоб понравиться, он из обвиненного спешил перейти в обвинителя. «Как вы говорите, – сказал он, – что великий государь в священное не вступается? Он всем духовным чином владеет: кого в попы и в дьяконы поставить, об этом и об всяких духовных делах челобитные подписывают его указом; это не его дело, его обещание не исполнено, и за это он примет суд от бога. А неправды ко мне великие: выискивают, научают и накупают многих людей, чтоб на меня говорили и писали неправды всякие. Меня же поносят и бесчестят всячески, ко псу меня приравнивают, а государь не пожалует, оборонить меня от тех людей не велит. А клеветники на меня Роман Бабарыкин да Иван Сытин». «Патриарший престол, – отвечали ему посланные, – оставил ты своею волею, а не по изгнанию какому-нибудь, и такое долгое время церкви было не без пеня стоять? Митрополитам и епископам в попы и дьяконы как не ставить и духовных дел как не ведать? А если в чем учинилось какое-нибудь неисправление, то это бог възыщет на тебе, потому что ты престол свой самовольно оставил». *Никон* : «В соборной церкви нет теперь пеня; из нее сделали теперь вертеп или пещеру, она теперь вдовствует: а и патриарх новый будет, будет он прелюбодейца, потому: пошел я из Москвы от многих неправд и от изгнания, а неправды и изгнания от великого государя. Не только в мои дела вступались, но и бить моих людей начали: Хитрово сына моего боярского бил напрасно, а великий государь сыску о том учинить не велел». *Посланные* : «Не знаем, кто тебя бесчестит и ко псу приравнивает и кто тебе про это сказывал; а мы оо этом ни от кого никогда не слыхивали». *Никон* : «Всякая тайна откровенна бывает от бога». *Посланные* : «Разве ты дух прозорлив имеешь?» *Никон* : «Так-таки и есть». *Посланные* : «Как же! чай, приезжают да лгут ссорщики». *Никон* . «В патриаршей крестовой людей в грех вводят потому: многих людей на меня накупают и всякие неправды сочиняют. Архиепископам владеть и распоряжаться кто власть дал? Келейную мою рухлядь князь Алексей Никитич Трубецкой перебирал и переписывал, и из нее лучшее все изволил великий государь взять на себя. Да и теперь не про одно церковное сыскивают, про посулы и про взятки сыскивают, и государевы грамоты по всем монастырям о том посланы. И то я знаю, что по указу великого государя газский митрополит на меня сочиняет и выписывает и других таких же лжесвидетелей, которым быть на соборе, накуплено с 500 человек, а иных в Палестины накупать послано и денежной казны для того отправлено 30000 рублей. Собору я сам рад, только пусть будет собор праведный, а не накупной, а газскому я во всем ответ дам, не только правилами, но св. Евангелием». *Посланные* : «Если ты лжесвидетелями называешь властей Московского государства, то за это примешь мечь от бога».

*Никон* : «Какие власти? и кому книжным учением и правилами говорить? Они и грамоте не умеют!» *Посланные* : «Один ли ты в Московском государстве грамоте умеешь, и есть ли кто другой?» *Никон* : «Есть не много, а Питирим-митрополит и того не знает, почему он человек». *Посланные* : «Напрасно ты это говоришь, что ты только один грамоте умеешь; из всяких чинов люди книжным учением и правилами с тобою говорить готовы, и говорить есть что; только все удержано государскою милостию до собора, а на соборе будут вселенские патриархи».

Услыхав эту страшную для себя весть о приезде патриархов на собор, Никон написал царю письмо с целью напугать его тем, что на соборе откроется много такого, что ему будет очень неприятно; хотел вместе напугать и архиереев русских. «Мы не отметаемся собора, – писал Никон, – и хвалим твое изволение, как божественное, если сами патриархи захотят быть и рассудить все по божественным заповедям евангельским, св. апостол и св. отец канонам – ей не отметаемся. Но прежде молим твое благородие послушать малое это наше увещание с кротостию и долготерпением. Твое благородие изволил собрать по нашем отшествии митрополитов, епископов и архимандритов на суд, вопреки Божиим заповедям, потому что нет такой заповеди, по которой епископы могли бы судить своего патриарха, особенно же от него рукоположенные, и судить заочно». Выписавши евангельские повествования о суде над Христом, Никон продолжает: «Зри, христианнейший царь! даже в такой лютой зависти иудейской ничего не сделано не по закону и без свидетелей и заочно, хотя во всем поступлено несправедливо: того ради рече: предавый мя тебе болий грех понесет. Так и здесь, смутивший твое благородие болий грех понесет. Если собор хочет меня осудить за один уход наш, то подобает и самого Христа извергнуть, потому что много раз уходил зависти ради иудейской. Когда твое благородие с нами в добром совете и любви был, и однажды, ненависти ради людской, мы писали к тебе, что нельзя нам предстательствовать во святой великой церкви, то каков был тогда твой ответ и написание? Это письмо спрятано в тайном месте одной церкви, которого никто, кроме нас, не знает. Ты же смотри, благочестивый царь! чтоб не было тебе чего-нибудь от этих твоих грамот, не было бы тебе это в суд пред богом и созываемым тобою вселенским собором. Я это пишу не из желания патриаршего стола, желаю, чтоб св. церковь без смущения была и тебе пред господом богом не вменился грех, пишу, не бояся великого собора, но не давая св. царствию зазора, занеже между двумя или тремя станет всяк глагол, кольми паче во множестве. Епископы наши обвиняют нас одним правилом первого и второго собора, которое не о нас написано. Но как о них предложится множество правил, от которых никому нельзя будет избыть, тогда, думаю, ни один архиерей, ни один пресвитер не останется достойный! Константинопольского патриарха русские епископы при поставлении клянут все. Тогда как нетопыри усмотрят свои деяния, смущающие твое преблаженство, крутицкий митрополит с Иоанном Нероновым и прочими советниками. Ты послал Мелетия, а он злой человек, на все руки подписывается и печати подделывает; и здесь такое дело за ним было, думаю, и теперь есть в Патриаршем приказе; есть у тебя, великого государя, и своих много, кроме такого воришки».

Ответа не было. Все в тревожном состоянии ждали развязки дела от прибытия патриархов; наступила зима 1664 года, приближался праздник Рождества Христова. Ночью с 17 на 18 декабря во время заутрень подъехало к



заставе несколько саней. «Кто едет?» – закричали сторожа. «Власти Савина монастыря», – был ответ. Поезд был немедленно пропущен и направился в Кремль. В Успенском соборе служили заутреню, присутствовал ростовский митрополит Иона. На второй кафизме вдруг сделался шум, двери загремели, растворились, и вошла толпа монахов, за ними внесли крест, а за крестом явился патриарх Никон и стал на патриаршем месте. Раздался знакомый повелительный голос, которого давно было не слышать в Успенском соборе: «Перестань читать!» Подьяк ростовского митрополита, читавший псалтырь, повиновался, и воскресенские старцы, приехавшие с Никоном, запели «Исполаэти деспота!» и потом: «Достойно есть». Когда пение кончилось, Никон велел соборному дьякону говорить ектенью, а сам пошел прикладываться к образам и мощам; приложившись, вошел опять на патриаршее место, проговорил молитву «Владыко многомилостиве!» и велел позвать к себе под благословение ростовского митрополита Иону; тот подошел, за ним протопоп и все духовенство. «Поди, – сказал Никон Ионе, – возвести великому государю о моем приходе». Иона отправился вместе с успенским ключарем Иовом. Они нашли государя у заутрени в церкви св. Евдокии. «В соборную церковь пришел патриарх Никон, стал на патриаршем месте и послал нас объявить о своем приходе тебе, великому государю», – проговорил Иона. Немедленно забегали огни во дворце, отправились посланцы за архиереями и комнатными боярами; шум, смятение, точно пришла весть, что татары или поляки под Москвою; архиереи, бояре перемешались, все спешило вверх по лестнице. Наконец собрались архиереи: Павел, митрополит сарский (крутицкий), Паисий газский, Феодор сербский; собрались и комнатные бояре. Царь, в сильном волнении, объявил им новость; бояре начали кричать, архиереи, качая головами, повторяли: «Ах, господи! ах, господи!» Совещание, впрочем, не было продолжительно; в собор отправились люди, которых появление не предвещало Никону ничего доброго, – бояре князя Никита Иванович Одоевский и Юрий Алексеевич Долгорукий, окольный Родион Стрешнев, дьяк Алмаз Иванов; они обратились к Никону с вопросом: «Ты оставил патриарший престол самовольно, обещался вперед в патриархах не быть, съехал жить в монастырь, и об этом написано уже к вселенским патриархам; а теперь ты для чего в Москву приехал и в соборную церковь вошел без ведома великого государя и без совета всего освященного собора? Ступай в монастырь по-прежнему». Никон: «Сшел я с престола никем не гоним, теперь пришел на престол никем не званный для того, чтоб великий государь кровь утолил и мир учинил, от суда вселенских патриархов я не бегаю, а пришел я на свой престол по явлению; вот письмо, отнесите его к великому государю». «Без ведома великого государя мы письма принять не смеем, – отвечали посланные, – пойдем известим об этом великому государю». Отправились во дворец, чрез несколько времени снова вошли в собор и сказали Никону: «Великий государь приказал нам объявить тебе прежнее, чтоб ты шел назад, в Воскресенский монастырь, а письмо взять». «Если великому государю проезд мой ненадобен, – отвечал Никон, – то я в монастырь поеду назад, но не выйду из церкви до тех пор, пока на письмо мое отповеди не будет». Письмо понесли к государю, начали читать: «Слыша смятение и молву великую о патриаршеском столе, одни так, другие иначе говорят развращенная, каждый что хочет, то и говорит, – слыша это, удалился я 14 ноября в пустыню вне монастыря на молитву и пост, дабы известил господь бог, чему подобает быть;

молился я довольно господу богу со слезами, и не было мне извещения. С 13 декабря уязвился я любовью божиею больше прежнего, приложил молитву к молитве, слезы к слезам, бдение к бдению, пост к посту и постился даже до 17-го дня. не ел, не пил, не спал, лежал на ребрах, утомившись, сидел с час в сутки. Однажды, севши, сведен я был в малый сон и вижу: стою я в Успенском соборе, свет сияет большой, но из живых людей нет никого, стоят одни усопшие святители и священники по сторонам, где гробы митрополичьи и патриаршие. И вот один святолепный муж обходит всех других с хартиєю и киноварницею в руках, и все подписываются. Я спросил у него, что они такое подписывают? Тот отвечал: о твоём пришествии на святой престол. Я спросил опять: а ты подписал ли? Он отвечал: подписал – и показал мне свою подпись: смиренный Иона, божиею милостию митрополит. Я пошел на свое место и вижу: на нем стоят святители! Я испугался, но Иона сказал мне: не ужасайся, брате, такова воля божия: взыди на престол свой и паси словесные Христовы овцы. Ей-ей так, мне господь свидетель о сем. Аминь. Обретаюсь днесь в соборной церкви св. богородицы, исповедая вашему царскому величеству, понеже отхождения своего вину исполнил, что задумал, то и сотворил и теперь пришел видеть пресветлое лицо ваше и поклониться пресвятой славе царствия вашего, взявши причину от св. Евангелия, где написано: „Вы, рече, взыдете в праздник сей, аз не взыду в праздник сей, яко время мое не уисполнися; егда же взыдоша братия его в праздник, тогда и сам взыде не яве, но яко тай“. И паки ино писание: рече Павел к Варнаве: возвращешся посети братию нашу во всех градах, в них же возвестихом слово божие, како суть. Такожде и мы пришли: како суть у вас, государей, и у всех сущих в царствующем граде Москве и во всех градах? Пришли мы в кротости и смирении. Хочешь ли самого Христа принять? Мы твоему благородию покажем, како господу, свидетельствующу: приемля вас, меня приемлет и слушай вас, мене слушает. Во имя господне приими нас и дому отверзи двери, да мзда твоя по всему не отменит. Это написал я твоему царскому величеству не от себя что-либо, мы не корчемствуем слово божие, но от чистоты яко от бога пред богом о Христе глаголем, ни от прелести, ни от нечистоты, ниже лестию сице глаголем, не яко человеком угождающе, но богу, искушающему сердца наша. Аминь».

В третий раз отправился митрополит Павел с боярами в собор и объявил Никону: «Письмо твое великому государю донесено: он, власти и бояре письмо выслушали, а ты, патриарх, из соборной церкви ступай в Воскресенский монастырь по-прежнему». Никон приложился к образам, взял посох Петра-митрополита и пошел к дверям. «Оставь посох», – говорили ему бояре. «Отнимите силою», – отвечал Никон и вышел из церкви. Еще оставался час до света; на небе горела хвостатая комета. Садясь в сани, Никон начал отрясать ноги, произнося евангельские слова: иде же аще не приемлют вас, исходя из града того, и прах, прилипший к ногам вашим, отрясите во свидетельство на ня. Стрелецкий полковник, наряженный провожать Никона, сказал: «Мы этот прах подметим!» «Да разметет господь бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи!» – отвечал ему Никон, указывая на комету. Сани двинулись; окольный князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий и любимец царский, Артамон Сергеевич Матвеев, ехали за патриархом; выехавши за Земляной город, остановились; Долгорукий подошел проститься и сказал Никону: «Великий государь велел у тебя, святейшего патриарха, благословения и прощения просить». «Бог его

простит, если не от него смута», – отвечал Никон. «Какая смута?» – спросил Долгорукий. «Ведь я по вести приезжал», – отвечал Никон.

Возвратившись во дворец, Долгорукий немедленно передал Никоновы слова царю, и вот по Воскресенской дороге поскакали митрополит Павел крутицкий, чудовской архимандрит Иоаким, Родион Стрешнев, Алмаз Иванов с наказом взять у Никона посох Петра-митрополита и дознаться, по какой вести он приезжал? Посланные нагнали патриарха в селе Черневе. «Приезжал я в Москву не самовольно, по вести из Москвы, – начал Никон, – посоха не отдам, отдать мне посох некому; оставил я патриарший престол на время за многое внешнее нападение и за досады». Потом, обратившись к крутицкому митрополиту, продолжал: «Тебя я знал в полах, а в митрополитах не знаю; кто тебя в митрополиты поставил – не ведаю; посоха тебе не отдам и с своими ни с кем не пошлю, потому что не у кого посоху быть. Кто ко мне весть прислал, объявлю но времени; вот и письмо! а письмо это принял я потому: как великий государь был в Савине монастыре, то я посылал к нему архимандрита своего, и великого государя милость была ко мне такая, какой по уходе моем из Москвы никогда не бывало». Но посланные от него не отставали; они просидели в Черневе с 5-го часа дня до одиннадцатого часа ночи; наконец после многих разговоров Никон сказал: «Посох и письмо отошлю я сам к великому государю; ведомо мне, что великий государь посылал к вселенским патриархам, чтоб они решили дело об отшествии моем и о поставлении нового патриарха: я великому государю бью челом, чтоб он к вселенским патриархам не посылал; я как сперва обещался, так и теперь обещаюсь на патриарший престол не возвращаться; и в мысли моей того нет; хочу, чтоб выбран был на мое место патриарх, и когда будет новый патриарх поставлен, то я ни в какие патриаршие дела вступаться не стану, и дела мне ни до чего не будет; велел бы мне великий государь жить в монастыре, который построен по его государеву указу, а новопоставленный патриарх надо мною никакой бы власти не имел, считал бы меня братом, да не оставил бы великий государь ко мне своей милости в потребных вещах, чтоб было мне чем пропитаться до смерти, а век мой не долгий, теперь уже мне близко 60 лет». Никон исполнил обещание, отправил посох и письмо с своим посланцем, который должен обратиться к духовнику царскому с просьбою доложить государю, чтоб позволил ему. Никону, приехать в Москву помолиться богородице и видеть государевы очи. В ответ получен был прежний отказ, приправленный выговором и угрозою: «Великий государь указал тебе сказать: для мирской многой молвы ехать тебе теперь в Москву непристойно, потому что в народе теперь молва многая о разности в церковной службе и печатных книгах, и от твоего в Москву приезда и по готову ждать в народе всякого соблазна, потому что патриарший престол оставил ты своею волею, а не по изгнанию; так для всенародной молвы и смятения изволь теперь ехать назад, в Воскресенский монастырь, пока будет об этом собор в Москве, и к собору приедут вселенские патриархи и власти; в то время тебе дадут знать, чтоб и ты приезжал на собор, а на соборе великий государь станет говорить обо всем. Ты писал от себя к газскому митрополиту Паисию и жаловался, будто невинно с престола своего изгнан, и об иных тому подобных делах; во всем этом великого государя терпение от тебя многое, а как приспеет время собору, и в то время он, великий государь, обо всех этих вещах говорить будет».

Исчезла последняя надежда покончить дело мирным образом. Никон отправился в Воскресенский монастырь, а в Москве занялись следствием по письму, которым Никон был вызван в Москву. Оказалось, что письмо писано боярином Никитою Ивановичем Зюзиным, которого мы сначала видели в посольских делах, потом воеводою в Путивле; видели, что изо всех бояр он один продолжал переписку с Никоном по удалении последнего из Москвы. Письмо было такого содержания: «Являлись ко мне Афанасий (Ордин-Нащокин) и Артемон (Матвеев) и сказывали: 7 декабря у Евдокеи в заутреню наедине говорил с нами царь: „Присылал ко мне патриарх архимандрита в Савин монастырь; я его совету обрадовался, хороший архимандрит! Сидел я с ним наедине, и он со слезами говорил, чтоб нам ссоре не верить, и я с клятвою говорю, что никакой ссоре отнюдь не верю; вот теперь на Николин день приезжал ко мне чернец Григорий Неронов с наносными словами всякими на патриарха: я знаю, кто с ним и в заводе, только я этому ничему не верю; а наш совет и обещание наше господь един весть, и душою своею от патриарха ей я не отступен, да духовенства и синклита ради, по нашему царскому обычаю, собою, мне патриарха звать нельзя и писать к нему о том, потому что он ведает, для чего ушел, а ныне в церкви и во всем кто ому бранит? Как пошел, так и придет – его воля, я ей-ей в том ему не противен. А мне к нему нельзя о том отписать, ведая его нрав: в сердцах на архиереев и на бояр не удержится, скажет, что я ему велел приехать, или по письму моему откажет, и мне то будет, конечно, в стыд, в совете нашем будет препона, и все поставят мне то в непостоянство; а хотя и пришлю спросить в церковь для прилика, отводя подозрение и скрывая совет, и он скажет, что по своей воле ради церковных потреб отъезжал и опять пришел; кто, скажет, мне возбранит? кто мне в церкви указчик? а что, скажет, духовные письмо давали на меня, и я им дам ответ, они сами не знают ничего, почему я ушел, почему опять прихожу, а суд износят на меня не по своей мере и не по правилам; и если станут просить прощения, то за неведение их изволил бы сказать: бог простит! А я, продолжал государь, свидетеля бога поставляю, что ему ни в чем противен не буду, и душевно советую так сделать. Сколько уже времени между нами продолжается несогласие? Врагу лишь в том радость да неприятелям нашим, которые для своих прихотей не хотят, чтоб нам в совете быть: это я узнал досконально. Только бы пожаловал, изволил патриарх прийти к 19 декабря к заутрени в соборную церковь, прежде памяти чудотворца Петра, и он нам, чудотворец и посредник любви нашей, и всех врагов наших отженет: для того пришел бы, чтоб кровь христианскую остановил вместе с нами, и его слово надобно будет во всенародное множество, и любо им, конечно, будет, и все ему за то, конечно, ради будут и послушны; а мне то в помощь от него и заступление; да и мне надобно душевно: начал я это ратное дело и всякие свои царственные и духовные дела вместе с ним: так чтоб господь бог молитвами его святительскими и совершить сподобил во благая, вместе, по совету: и ты, Афанасий, моим словом прикажи Никите отписать ему все это тайно: а вот мне к тому числу надобно с ним вместе порешить, с чем отпустить тебя на посольское дело, пособоровать о том со всеми чинами и пост заповедать, у поляков и венгров пост был о соединении, а нам и больше надобно то и всякую вражду и ненависть оставить, а время тому последнее наступило, все поставим на мере и переговорим обо всем, как чему быть. Но опять молю, чтоб в тишине, без больших выговоров, чтоб не

ожесточил всех, все опасаются, ждут от него жестокости. Покинул он меня в таких напастях одного, борима от видимых и невидимых врагов, а не на том мы между собою обещались, что до смерти друг друга не покинуть, и клятва есть в том между нами“.

Призвали Зюзина к допросу: он сказал, что письмо его руки, посылал он такое письмо патриарху дважды с поддиаконом Никитою, патриарх отвечал ему письменно; он его письма и свои жег, патриарх присылал ему его письма назад, кроме последнего. Никита-поддиакон сказал, что когда он привез к Никону грамотку, то патриарх, прочтя, сказал: «Буди в том воля божия, сердце цареву в руке божией, я миру рад». Ордин-Нащокин показал: «Приехал Никита Зюзин в Москву из Новгорода и сказывал мне: писал ему в Новгород патриарх Никон из Воскресенского монастыря о видении ему Петра-митрополита, и как он, Зюзин, из Новгорода ехал в Москву и был в Воскресенском монастыре у патриарха, то Никон ему сказывал, что о видении писал он к государю, и в Москве решили, что он пророчествует о Вельзевуле, а скоро потом у великого государя во дворце погорели сушильни. Зюзин, – продолжал Нащокин, – хотел деньги занимать для отвоза поташу в Вологду и говорил: патриарх Никон меня в бедности не покинул бы, да не смею я ему бить челом для людских переговоров: слышу, что патриарх горько плачет и говорит на людей, что великому государю приносят на него ссоры невместные; за грехи наши всенародные, чего и не ждали, случилось: между великим государем и патриархом учинилась ссора! А здесь я не слыхал, чтоб великий государь говорил что про патриарха, и, будучи в Савине монастыре, он посылал к патриарху стольника Григория Собакина с своею милостью. Говоря это, Зюзин плакал. Я к тем его речам ему молвил: слышал я от великого государя, как возвратился он из Савина монастыря, что приходил к нему от патриарха воскресенский архимандрит, а в село Хорошово приходил старец Григорий Неронов и говорил про патриарха вздорные речи, что и слушать нечего». При вторичном допросе Зюзин объявил, что Нащокина и Матвеева он поклепал, Нащокин говорил ему: хорошо бы, если бы к моему посольству был и патриарх, и что у государя на патриарха гнева нет; тут он, Зюзин, сказал ему, что будет писать к патриарху, звать его в Москву, и Нащокин отвечал: «Хорошо, если тебе патриарх советен, кабы то господь бог церковь умирил!» Нащокин на это показал, что ничего подобного не бывало: прибавил только, что Зюзин занял у него денег 50 рублей, а потом, когда Нащокин был болен, приезжал сказать, что этих денег мало на провоз поташу. Нащокин просил у государя прощения: «В 1662 году, в сентябре или октябре месяце, государь мне говорил, чтоб мне с Зюзиным не знаться, потому что он многоязычен и приплетет меня к ненадобным делам, и как я приехал в Москву из Львова, то при первой встрече с Зюзиным объявил ему, чтоб он со мною нигде не видался, потому что он человек опальный: но теперь для его, Никитиных, слез двора своего от него запереть не велел: в том я перед великим государем виноват, достоин казни и без повеления великого государя по исповеди к причастию сего декабря 24-го числа приступить не смею». При пытке Зюзин сказал, что все Никоновы письма показывал Нащокину; сказывал ему и про те письма, которые писал к Никону. только не тем лицом, как он в письмах писал, и Нащокин ему сказал: «Хорошо». Что же это значит? По всем вероятностям, Нащокин говорил Зюзину, что со стороны царя не будет препятствий к примирению, что у государя гнева нет на патриарха; вероятно, и одобрил

намерение Зюзина склонить Никона сделать первый шаг; а Зюзин, чтоб сильнее подействовать, написал письмо известного нам содержания, причем действительно поклепал Нащокина и Матвеева, написавши не тем лицом. Бояре приговорили Зюзина к смертной казни; но царь, по просьбе сыновей своих, как объявлено, изменил приговор боярский, приказал сослать Зюзина в Казань, где записать на службу, а поместья и вотчины отписать в казну, двор же и движимое имение отдать ему на прокормление.

Увидавши, что в Москве нельзя ничего сделать, Никон обратился к патриархам, хотел заранее подробно объяснить им дело с своей точки зрения, оправдать свое поведение. Но трудно было переслать грамоты к патриархам. Случай представился, когда в 1665 году приехал в Москву гетман запорожский Иван Мартынович Брюховецкий. У Никона в Воскресенском монастыре жил в детях боярских двоюродный племянник его от сестры, курмышский посадский Федот Тимофеев Марисов; этого Марисова патриарх прислал к Брюховецкому с просьбою взять его с собою в Малороссию и оттуда отпустить в Константинополь. Но гетман отказался. Тогда служба патриарший, Иван Шушера, автор известного жития Никонова, подкупил козака васильковца Кирилла Давыдовича, который взял с собою Марисова, объявив, что это его племянник, взятый в плен во время похода Бутурлина на Львов; дело было обделано за 50 рублей и 50 золотых. Из Москвы Марисов выехал благополучно; но скоро здесь проведали об его отъезде, и в январе 1666 года послан гонец к Брюховецкому с требованием захватить патриаршего посланца; Марисова поймали и прислали в Москву вместе с грамотами: грамоты эти были прочтены: в них Никон подробно описывал патриархам, что случилось с ним с того времени, как вступил он на патриарший престол, описывал, как по возвращении из Соловков силою взяли его из дому, привели в собор, и здесь царь со всем народом, приклоняясь к земле, со слезами умолял принять патриаршество; как он согласился с условием, чтоб все слушались его во всем как начальника и пастыря. Сперва царь был благоговеен и милостив и во всем божиих заповедей искатель, но потом начал гордиться и выситься. Дело дошло и до явных оскорблений: Хитрово прибил во дворце слугу патриаршего и остался без наказания: царь перестал являться в соборную церковь, когда служил там он, патриарх; князь Юрий Ромодановский прямо объявил ему гнев царский; тогда он, от этого гнева и от бесчиния народного, удаляется из Москвы в Воскресенский монастырь. «Уезжая из Москвы, — пишет Никон, — я взял архиерейское облачение, всего по одной вещи для архиерейской службы: я ушел, но не отказался от архиерейства, как теперь клеветуют на меня, говоря, будто я своею волею отрекся от архиерейства. Я ждал, что царское величество помиритя со мною; царь, узнав, что я хочу уехать в Воскресенский монастырь, прислал бояр сказать мне, чтоб я не ездил до тех пор, пока не увижусь с ним; я ждал на подворье три дня и только по прошествии трех дней уехал в Воскресенский монастырь. За нами прислал царское величество в монастырь тех же бояр, которые спрашивали нас: зачем ты без царского повеления ушел из Москвы? Я отвечал, что ушел не в дальние места; если царское величество на милость положит и гнев свой утолит, опять придем: и после этого о возвращении нашем от царского величества ничего не было. Приказали мы править на время крутицкому митрополиту Питириму: и по уходе нашем царское величество всяких чинов людям ходить к нам и слушаться нас не велел, потребное от патриаршества

давать нам запретил; указал – кто к нам будет без его указа, тех людей да истяжут крепко и сошлют в заключение в дальние места, и потому весь народ утрашился. Крутицкому митрополиту велел спрашивать себя, а не нас. Учрежден Монастырский приказ, повелено в нем давать суд на патриарха, митрополитов и на весь священный чин, сидят в том приказе мирские люди и судят. Написана книга (уложение), св. Евангелию, правилам св. апостол, св. отец и законам греческих царей во всем противная, почитают ее больше Евангелия: в ней-то в 13-й главе уложено о Монастырском приказе; других беззаконий, написанных в этой книге, не могу описать – так их много! Много раз говорил я царскому величеству об этой проклятой книге, чтоб ее искоренить, но, кроме уничтожения, не получил ничего. Я исправил книги – и они называют это новыми уставами и Никоновыми догматами. Главный враг мой у царя – это Паисий Лигарид; царь его слушает и как пророка божия почитает; говорят, что он от Рима и верует по-римски, хиротонисан дьяконом и пресвитером от папы, и когда был в Польше у короля, то служил латинскую обедню. В Москве живущие у него духовные греческие и русские рассказывают, что он ни в чем не поступает по достоинству святительского сана, мясо ест и пьет бесчинно, ест и пьет, а потом обедню служит, муже...; я с этим свидетельством послал письмо к царю, но он не обратил на него внимания. Наклеветали на меня царю, что я его проклинал, но я в этом неповинен, кроме моей тайной молитвы. Теперь все делается царским хотением: когда кто-нибудь захочет ставиться во дьяконы, пресвитеры, игумены или архимандриты, то пишет челобитную царскому величеству, и царским повелением на той челобитной подпишут: по указу государя царя поставить его, и в ставленной грамоте пишут: хиротонисан повелением государя царя. Когда повелит царь быть собору, то бывает, и кого велит избирать и поставить архиереям, избирают и поставляют, велит судить и осуждать – судят, осуждают и отлучают. Царь забрал себе патриаршеские имения, также берут, по его приказанию, имения и других архиереев и монастырские, берут людей на службу, хлеб, деньги, берут немилостивно, весь род христианский отягчил данями, сугубо, трегубо и больше, но все бесполезно. Много раз писали мы царскому величеству, представляя ему примеры царей благочестивых, благословенных богом за добрые дела, и нечестивых, принявших от бога мучения; но он ни во что вменил наши увещания, только гневался на нас и прислал сказать нам: „Если не перестанешь писать, унижая и позоря нас примерами прежних царей, то более не будем терпеть тебя“. Боярин Семен Лукьянович Стрешнев научил собаку сидеть и передними лапами благословлять, ругаясь благословению божию, и называл собаку Никоном-патриархом; мы, услышав о таком бесчинии, проклинали его, а царское величество не обратил на это никакого внимания и держит Стрешнева у себя по-прежнему в чести. Мы предали анафеме и крутицкого митрополита Питирима, потому что перестал поминать на литургии наше имя, и которые священники продолжали поминать, тех наказывал; он же хиротонисал епископа Мефодия в Оршу и Мстиславль, и послали его в Киев местоблюстителем, тогда как Киевская митрополия под благословением вселенского патриарха; когда мы были в Москве, то царское величество много раз говорил нам, чтоб хиротонисать в Киев митрополита, но мы без вашего благословения и без вашего совета не захотели этого сделать и никогда бы не сделали».

Письмо это всего более раздражило царя против Никона: если и прежде Никон не щадил жестких выражений относительно Алексея Михайловича, то это было дело свое, домашнее, о котором знали свои, немногие; а теперь Никон решился выставить в черном свете поведение государя относительно себя, относительно церкви и всего народа перед чужими, и именно перед людьми, добрым мнением которых, по религиозности своей, Алексей Михайлович очень дорожил. В сильном волнении и с досадою читал он это письмо, что видно из собственноручных заметок его на полях; так, например, против того места, где Никон говорит, что тяжкие дани, налагаемые царем на народ, не приносят никакой пользы, Алексей Михайлович написал: «А у него льготно и что в пользу?»

Пришла весть, что патриархи едут в Москву; по военным обстоятельствам они не могли ехать европейским путем, чрез европейские украины, ехали дорогою азиатскою через Астрахань, поднимаясь оттуда Волгою. 11 марта 1666 года царь писал астраханскому архиепископу Иосифу: «Как патриархи в Астрахань приедут, то ты бы ехал из Астрахани в Москву с ними вместе и держал к ним честь и береженье; если они станут тебя спрашивать, для каких дел вызваны они в Москву, то отвечай, что Астрахань от Москвы далеко, и потому ты не знаешь, для чего им указано быть в Москву, думаешь, что велено им приехать по поводу ухода бывшего патриарха Никона и для других великих церковных дел, а того не сказывай, как ты был у него вместе с князем Никитою Ивановичем Одоевским, во всем будь осторожен и бережен, да и людям, которые с тобою будут, прикажи накрепко, чтоб они с патриаршими людьми о том ничего не говорили и были б осторожны».

Издержек для дорогих гостей не щадили: под патриархами было 500 лошадей! Но скоро царю дали знать, что патриархи везут с собою из Астрахани в Москву наборщика печатного двора Ивана Лаврентьева, который по царскому указу сослан был на Терек за то, что завел латинское воровское согласие и многие римские соблазны; везут с собою слугу гостя Шорина Ивана Туркина, писавшего к воровским козакам воровские грамотки, по которым козаки грабили царский насад, торговые суда и многих людей побили до смерти. 5 сентября царь писал к *многострадальному* иеродиакону Мелетию Греку, провожавшему патриархов, чтоб он обходился с гостями учтиво, во всем их государскою милостию обнадеживал, но сказал им, чтоб они с великим государем не ссорились, воров в Москву не возили, а отдали бы их воеводам. Приставы, находившиеся при патриархах, доносили, что по дороге, по городам и селам, патриархи принимают челобитные и розыски чинят: в Симбирске остригли и велели посадить в тюрьму протопопа Никифора за крестное знамение и за то, что не служит по новым служебникам; там же остригли дьякона девичья монастыря за связь с монахиною; в городке Урене остригли попа по челобитной дочери его духовной и по сыску сторонних священников и многих людей. В этих распоряжениях в Москве не могли найти ничего противозаконного.

В Москве патриархов ждала великолепная встреча, богатые подарки, приветственные речи. «Вас благочестие, яко самих святых верховных апостол, приемлем, — говорил им сам царь, — любезно, яко ангелов божиих, объемлем, верующе, яко всесильного монарха всемогущий промысл, вашим zde архиераршеским пречестным пришествием всяко в верных сомнение искоренити, всяко желаемое благочестивым благое исправление насадити и благочестие, еже



паче солнца в нашей державе сияет, известными свидетелями быти и св. российскую церковь и всех верных возвеселити, утешити. О святая и пречестная двоице! Что вас наречем толик душеспасительный труд подъемших? Херувимы ли, яко на вас почил есть Христос? Серафимы ли, яко непрестанно прославляете его?» и т.д.

Приступили к делу. 5 ноября патриархи три часа сидели с царем наедине; седьмого числа к совещанию были допущены архиереи, бояре, окольные и думные люди. Государь говорил об уходе из Москвы Никона-патриарха, архиереи подали сказки и выписку из правил. 28 ноября третье заседание: царь вычитал обвинения Никону и просил патриархов решить дело по правилам и по своему рассмотрению. Патриархи отвечали, что надобно позвать Никона на собор и потребовать от него ответа. На другой день отправились за Никоном в Воскресенский монастырь Арсений, архиепископ псковский, Сергей, архимандрит Спасо-Ярославского, и Павел, суздальского Евфимиева монастыря. «Я поставление святительское и престол патриаршеский имею не от александрийского и не от антиохийского патриархов, но от константинопольского, – отвечал им Никон, – александрийский и антиохийский патриархи и сами живут не в Александрии и не в Антиохии: один живет в Египте, а другой в Дамаске: если же патриархи пришли по согласию с константинопольским и иерусалимским патриархами для духовных дел, то я в царствующий град Москву приду для духовных дел известия ради». 30 ноября патриархи, архиереи и синклит собрались в столовой избе: государь сидел на царском месте, патриархи подле него на левой стороне в креслах, архиереи на правой стороне на скамьях, бояре, окольные и думные люди по левую сторону на скамьях. Объявлен был ответ Никона и показался досадителен; определили послать вторично Филарета, архимандрита владимирского Рождественского монастыря, и новоспасского келаря Варлаама Палицына. которые повезли Никону такую грамоту: «Ты великого государя указа и св. патриархов повеления не послушал, в Москву не поехал, отказал нечестно: и великий государь за премное свое беззлобие и долготерпение и св. патриархи и преосвященный собор, презревши твои досады и непослушание, прислали к тебе в другой раз, чтоб ты приезжал в Москву 2 декабря во втором или третьем часу ночи, не раньше второго и не позднее третьего часа, и остановился бы на Архангельском подворье в Кремле у Никольских ворот: ехать тебе смиренным образом в 10 человеках или меньше».

Отправив посланцев, собор занялся чтением правил, присланных патриархами. Паисий и Макарий подтвердили, что правила действительно посланы ими, и спросили: «По этому свитку Никон повинен ли?» «Повинен», – отвечали архиереи и бояре. Между тем Филарет и Варлаам встретили Никона уже на дороге в Москву, куда он приехал в 12 часов ночи. На другой день, 1 декабря, в третьем часу дня собор в прежнем порядке уже заседал в столовой избе. За Никоном были посланы наш старый знакомый Мефодий, епископ Мстиславский, и два архимандрита; они должны были сказать Никону, чтоб шел на собор смиренным обычаем: но он пошел, как всегда ходил: перед ним несли крест. По-патриаршески вошел он и в столовую избу: говорил вход и молитву за здоровье государя и всего царствующего дома, патриархов и всех православных христиан; присутствующие все стояли во время молитвы: изговоря вход,

поклонился государю до земли трижды, патриархам дважды; те обратились к нему с приглашением сесть по правую сторону близ государева места. Но Никон, увидав, что его приглашают садиться на одной лавке с другими архиереями, что особого места для него нет, отвечал: «Я места себе, где сесть, с собою не принес, разве сесть мне тут, где стою; пришел я узнать, для чего вселенские патриархи меня звали?» Тут царь сошел с своего места, стал перед патриархами и начал говорить: «От начала Московского государства соборной и апостольской церкви такого бесчестия не бывало, как учинил бывший патриарх Никон: для своих прихотей самовольно, без нашего повеления и без соборного совета церковь оставил, патриаршества отрекся никем не гоним, и от этого его ухода многие смуты и мятежи учинились, церковь вдовствует без пастыря девятый год: допросите бывшего патриарха Никона, для чего он престол оставил и ушел в Воскресенский монастырь?» Патриархи обратились с этим вопросом к Никону, и тот отвечал: «Есть ли у вас совет и согласие с константинопольским и иерусалимским патриархами, что меня судить? А без их совета я вам отвечать не буду, потому что хиротонисан я от константинопольского патриарха». Паисий и Макарий указали ему на свитки, содержащие полномочие от двух остальных патриархов. Тогда Никон бил челом государю и патриархам, чтоб выслали из собора недругов его, Питирима, митрополита новгородского, и Павла сарского, которые хотели его отравить и удавить. Питирим и Павел отвечали, что это ложь и что у государя есть дело чернеца Феодосия.

Царь поднес это дело патриархам. Патриархи снова повторили вопрос Никону: для чего отрекся от патриаршества? Никон стал говорить о теймуразовском обеде, повторил исчисление всех полученных им оскорблений, как он это сделал в письме к патриархам. Царь отвечал: «Никон писал ко мне и просил обороны от Хитрово в то время, как у меня обедал грузинский царь, и в ту пору розыскивать и оборону давать было некогда». Ответ этот был очень неудовлетворителен: если некогда было во время стола, то было время после; впрочем, царь спешил дать более благоприятный для себя оборот делу. «Никон-патриарх говорит, – продолжал он, – будто человека своего присылал для строения церковных вещей, но в ту пору на красном крыльце церковных вещей строить было нечего, и Хитрово зашиб его человека за невежество, что пришел не вовремя и учинил смятение, и это бесчестие к Никону-патриарху не относится: а в праздники выходу мне не было за многими государственными делами. Я посылал к нему боярина князя Трубецкого и Родиона Стрешнева, чтоб он на свой патриарший стол возвратился, а он от патриаршества отрекался, сказывал: как-де его на патриаршество обирали, то он на себя клятву положил – быть на патриаршестве только три года. Посылал я князя Юрия Ромодановского, чтоб он вперед великим государем не писался, потому что прежние патриархи так не писывались, но того к нему не приказывал, что на него гневен». Ромодановский объявил, что он о государеве гневе не говаривал. Патриархи спросили Никона: «Какие обиды тебе от великого государя были?» «Никаких обид не бывало, – отвечал он, – но когда он начал гневаться и в церковь ходить перестал, то я патриаршество и оставил». *Царь* : «Он писал ко мне по уходе: будешь ты великий государь один, а я, Никон, как один от простых». *Никон* : «Я так не писывал».

Патриархи обратились к архиереям с вопросом: «Какие обиды были Никону от государя?» «Никаких», – был ответ. *Никон* : «Я об обиде не говорю, а говорю о

государеве гнев; и прежние патриархи от гнева царского бегали, Афанасий александрийский и Григорий Богослов». *Патриархи* : «Другие патриархи оставляли престол, да не так, как ты: ты отрекся, что вперед не быть тебе патриархом, если будешь патриархом, то анафема будешь». *Никон* : «Я так не говаривал, а говорил, что за недостойнство свое иду; а если б я отрекся от патриаршества с клятвою, то не взял бы с собою святительской одежды». *Патриархи* : «Когда ставят в священный чин, то говорят: *достойн* ; а ты как святительскую одежду снимал, то говорил: *недостойн*». *Никон* : «Это на меня выдумали». *Царь* : «Никон писал в грамотах своих к св. патриархам на меня многие бесчестья и укоризны, а я на него ни малого бесчестья и укоризны не писывал. Допросите его: все ли он истину безо всякого прилога писал? за церковные ли догматы он стоял? Иосифа-патриарха святейшим и братом себе почитает ли и церковные движимые и недвижимые вещи продавал ли?» *Никон* : «Что в грамотах писано, то и писано, а стоял я за церковные догматы; Иосифа-патриарха почитаю за патриарха, а свят ли он – того не ведаю; церковные вещи продавал я по государеву указу».

Царь велел читать грамоту Никона к патриарху Дионисию. Когда читали: «Посылан я в Соловецкий монастырь за мощами Филиппа-митрополита, которого мучил царь Иван неправедно», Алексей Михайлович прервал чтение и сказал: «Для чего он такое бесчестие и укоризну царю Ивану Васильевичу написал, а о себе утаил, как он низверг без собора Павла, епископа коломенского, ободрал с него святительские одежды и сослал в Хутынский монастырь, где его не стало известно: допросите его, по каким правилам он это сделал?» Никон промолчал о царе Иване и отвечал только относительно Павла: «По каким правилам я его низверг и сослал, того не помню и, где он пропал, того не ведаю, есть о нем на патриаршем дворе дело». «На патриаршем дворе дела нет и не бывало, отлучен епископ Павел без собора», – возразил митрополит сарский.

Никон молчал; стали опять читать письмо. Когда дошли до того места, где говорилось, что царь начал вступаться в патриаршеские дела, то Алексей Михайлович сказал патриархам: «Допросите. в какие архиерейские дела я вступаюсь?» «Что я писал, того не помню», – отвечал Никон. Продолжали читать: «Оставил патриаршество вследствие государева гнева». «Допросите, – прервал царь, – какой гнев и обида?» *Никон* : «На Хитрово не дал обороны, в церковь ходить перестал; ушел я сам собою, патриаршества не отрекался, государев гнев объявлен небу и земле, кроме сакоса и митры, с собою не взял ничего». *Патриархи* : «Хотя б Богдан Матвеевич человека твоего и зашиб, то тебе можно бы терпеть и последовать Иоанну Милостивому, как он от раба терпел; а если б государев гнев на тебя и был, то тебе следовало об этом посоветоваться с архиереями и к великому государю посылать, бить челом о прощении, а не сердиться». Тут послышался голос Хитрово, ободренного словами патриархов. «Во время стола я царский чин исполнял, – начал Богдан Матвеевич, – в это время пришел патриархов человек и учинил мятеж, и я его зашиб не знаячи, и в том у Никона-патриарха просил прощения, и он меня простил». Раздались голоса с обеих сторон, с архиерейской и боярской: «От великого государя Никону-патриарху обиды никакой не было, пошел он не от обиды, с сердца». «Когда он снимал панагию и ризы, – говорили архиереи, – то говорил: „Аще помыслю в патриархи, анафема да буду“, панагию и посох оставил, взял клюку, а

про государев гнев ничего не говорил; как поехал в Воскресенский монастырь, то за ним повезли его люди много сундуков с имением, да к нему же отослано из патриаршей казны денег 2000 рублей». *Патриархи* : «Ты отрекся от архиерейства: снимая митру и омофор, говорил: *недостойн*». *Никон* : «В отречении лжесвидетельствуют, если б я вовсе отрекся, то архиерейской одежды с собою не взял бы».

Дочли в письме до выходки Никона против Уложения. «К этой книге, – сказал царь, – приложили руки патриарх Иосиф и весь освященный собор, и твоя рука приложена: для чего ты, как был на патриаршестве, эту книгу не исправил и кто тебя за эту книгу хотел убить?» «Я руку приложил поневоле», – отвечал Никон. Дочли до рассказа о приезде князя Одоевского и Паисия Лигарида в Воскресенский монастырь. «Митрополит и князь, – сказал царь, – посланы были выговаривать ему его неправды, что писал ко мне со многим бесчестьем и с клятвою, мои грамоты клал под Евангелие: позорил он газского митрополита, а тот свидетельствован отцом духовным, и ставленная грамота у него есть». *Никон* : «Я за обидящего молился, а не клял; газскому митрополиту по правилам служить не следует, потому что епархию свою оставил и живет в Москве долгое время: слышал я от дьякона Агафангела, что он иерусалимским патриархом отлучен и проклят: у меня много таких мужиков; мне говорил боярин князь Никита Иванович государевым словом, что Иван Сытин хочет меня зарезать». *Одоевский* : «Таких речей я не говаривал, а Никон мне говорил: „Если хотите меня зарезать, то велите“ – и грудь обнажал». *Патриарх Макарий* : «Митрополит газский в дьяконы и попы ставлен в Иерусалиме, а не в Риме, я про это подлинно знаю». *Алмаз Иванов* : «Когда Никон, по вестям о неприятеле, приезжал в Москву, то мне говорил, что от престола своего отрекся». *Никон* : «Никогда не говорил».

Когда прочли в грамоте, что царь посылал к патриархам многие дары, то Алексей Михайлович, обратясь к Никону, сказал: «Я никаких даров не посылавал, писал, чтоб пришли в Москву для умирения церкви; а ты посылал к ним с грамотами племянника своего и дал черкашенину много золотых». *Никон* : «Я черкашенину не давал, а дал племяннику на дорогу».

Читали о Зюзине, о его ссылке, о смерти жены его с горя. *Царь* : «Зюзин достоин был за свое дело смертной казни, потому что призывал Никона в Москву без моего повеления и учинил многую смуту, а жена умерла от Никона, потому что он выдал мужа ее, показав его письмо». *Никон* : «Я письма Зюзина прислал к великому государю, оправдывая себя, что приезжал по письмам, а не сам собою». Царь поднес патриархам зюзинское дело и говорил: «Никон приходил в Москву никем не званный и из соборной церкви увез было Петра-митрополита посох, а ребята его отрясали прах от ног своих: и то он какое добро учинил? и ребята его какие учителя, что так учинили?» «Ребята прах от ног своих как отрясали, того я не видал, – отвечал Никон, – а как приезжали за посохом в Чернево, то меня томили, а иных хотели побить до смерти». «До смерти побивать никого не было велено, и не биты», – возразил царь.

Читали: «Которые люди за меня доброе слово молвят или какие письма объявят, те в заточение посланы и мукам преданы: поддьякон Никита умер в оковах, поп Сысой погублен, строитель Аарон сослан в Соловецкий монастырь». «Никита, – прервал царь, – ездил от Никона к Зюзину с ссорными письмами, сидел за караулом и умер своею смертию от болезни; Сысой – ведомый вор и

ссорщик и сослан за многие плутовства; Аарон говорил про меня непристойные слова и за то сослан; допросите, кто был мучен?» *Никон* : «Мне об этом сказывали». *Царь* : «Ссорным речам верить было ненадобно и ко вселенским патриархам ложно не писать».

Читали: «Архиереи по епархиям поставлены мимо правил св. отец, запрещающих переводить из епархии в епархию». «Когда Никон, – сказал на это царь, – был на патриаршестве, то перевел из Твери архиепископа Лаврентия в Казань и других многих от места к месту переводил». *Никон* : «Я это делал не по правилам, по неведению». *Питирим* : «Ты и сам на Новгородскую митрополию возведен на место живого митрополита Авфония». *Никон* : «Авфоний был без ума; чтоб и тебе также обезуметь!»

«От сего незаконного собора, – продолжали читать в грамоте, – престало на Руси соединение с восточными церквами и от благословения вашего отлучились, от римских костелов начаток прияли волями своими». *Царь* : «Никон нас от благочестивой веры и от благословения св. патриархов отчел и к католической вере причел и назвал всех еретиками! только бы его, Никоново, письмо до св. вселенских патриархов дошло, то всем православным христианам быть бы под клятвою, и за то его ложное и затейное письмо надобно всем стоять и умирать и от того очиститься». «Чем Русь от соборной церкви отлучилась?» – спросили патриархи Никона. «Тем, – отвечал он, – что Паисий газский Питирима перевел из одной митрополии в другую и на его место поставил другого митрополита; и других архиереев с места на место переводили же; а ему то делать не довелось, потому что от иерусалимского патриарха он отлучен и проклят; да хотя б газский митрополит и не еретик был, то ему на Москве долго быть не для чего; я его митрополитом не почитаю, у него и ставленной грамоты нет; всякий мужик наденет на себя мантию – так он и митрополит! я писал все об нем, а не о православных христианах». Оправдание было слишком ничтожно; враги Никона торжествовали; отовсюду поднялся крик: «Он назвал еретиками всех нас, а не одного газского митрополита; надобно учинить об этом указ по правилам!» Никон увидал, куда завела его привычка употреблять сильные, необдуманые речи; но опять по привычке всегда во всем обвинять других, а не себя он обратился к государю и сказал: «Только б ты бога боялся, то так бы надо мною не делал».

Царь не отвечал ничего. Когда все успокоились, стали опять читать грамоту Никона к патриархам; читали жалобу его на поставление духовных по государеву указу, на тяжелые сборы с церковью и монастырями; царь объяснил дело. «Как прежде бывало во время междупатриаршества, – сказал он, – так делается и теперь насчет поставления духовных лиц: возводят в степени архиереи собором. Если что из патриаршей казны взято, то взято взаймы; с архиереев и монастырей брались даточные люди, деньги и хлеб по прежнему обычаю; а он, Никон-патриарх, на строение Нового Воскресенского монастыря брал из домовою казны большие деньги, которые взяты были с архиереев и монастырей вместо даточных людей; да он же брал с архиереев и монастырей многие подводы самовольством». Никон отвечал, что ничего никогда не брал. Когда прочли место о Мефодии Мстиславском, то царь сказал: «Епископ Мефодий послан в Киев не митрополитом, а блюстителем, и об этом писал я к константинопольскому патриарху». Относительно поведения Питирима отвечал сам обвиненный: «В божественных службах в соборной церкви я стоял и сидел, где мне следует, а не на

патриаршеском месте: в неделю ваий действовал по государеву указу, а не сам собою». *Никон* : «Тебе действовать не довелось: то действие наше патриаршеское». *Царь* : «Как ты был в Новгороде митрополитом, то сам действовал; а в твое патриаршество в Новгороде, Казани и Ростове митрополиты действовали же». *Никон* : «Это я делал по неведению». Дошли и до стрешневской собаки. «Никон, – сказал при этом царь, – ко мне ничего не писал, а боярин Семен Лукьянович передо мною сказал с клятвою, что ничего такого не бывало». Духовенство свидетельствовало, что Никон проклял Стрешнева понапрасну без собора, а боярин Петр Михайлович Салтыков прибавил, что патриарх разрешил Стрешнева от клятвы и простил и грамоту к нему прощальную прислал. Никон не говорил ничего, но когда чтение грамоты кончилось, то он сказал царю: «Бог тебя судит; я узнал на избрании своем, что ты будешь ко мне добр шесть лет, а потом буду я возненавиден и мучен». Царь обратился к патриархам: «Допросите его, как он это узнал на избрании своем?» Никон на этот вопрос не отвечал ничего. Тут Иларион рязанский воспользовался случаем, чтоб упомянуть о других пророчествах Никона. «Он говорил, – начал Иларион, – что видел звезду метлою и от того будет Московскому государству погибель: пусть скажет, от какого духа он это уведет?» *Никон* : «И в прежнем законе такие знамения бывали, на Москве это и сбудется; господь пророчествовал на горе Элеонской о разорении Иерусалима за четыреста лет». Все утомились, особенно царь и Никон, стоявшие все время на ногах. Патриархи кончили заседание, велел Никону идти на подворье.

Между разными голосами, поднимавшимися против Никона на соборе, мы не слышали голоса Паисия Лигарида. Он даже почел за полезное для себя уклониться от развязки дела, в котором так сильно участвовал прежде, и подал царю просьбу: «Я пришел сюда не для того, чтоб спорить с Никоном или судить его, но для облегчения моей епархии от долга, на ней тяготеющего. Я принял щедрую милостыню твою, которой половину украл вор Агафангел: предаю его вечному проклятию как нового Иуду! Прошу отпустить меня, пока не съедется в Москву весь собор; если столько натерпелся я прежде собора, то чего не натерплюсь после собора? довольно, всемилостивейший царь! довольно! не могу больше служить твоей святой палате; отпусти раба своего, отпусти! как вольный, незванный пришел я сюда, так пусть вольно мне будет и отъехать отсюда в свою митрополию». Паисия не отпустили из Москвы, но он счел нужным для себя молчать во время споров с Никоном.

3 декабря было второе заседание без Никона. Царь объявил патриархам, что вчера, 2-го числа, он посылал Никону еду и питье, но тот не принял и сказал, что у него и своего есть много и будто он о том к нему, великому государю, не приказывал. «Никон делает все исступя ума своего», – отвечали патриархи. Когда подсудимый вошел, царь, опять сойдя со своего места, говорил патриархам речь, и все присутствующие били челом на Никона: «Бранясь с митрополитом газским, писал он в грамоте к константинопольскому патриарху, будто все православное христианство от восточной церкви отложилось к западному костелу, тогда как святая соборная восточная церковь имеет в себе спасителя нашего бога многоцелебную ризу и многих святых московских чудотворцев мощи и никакого отлучения не бывало, держим и веруем по преданию св. апостолов и св. отец истинно: бьем челом, чтоб патриархи от такого названия православных христиан очистили». Тут царь и весь собор патриархам поклонились до земли. «Это дело

великое, – отвечали патриархи, – за него надобно стоять крепко; когда Никон всех православных христиан еретиками назвал, то он и нас также назвал еретиками, будто мы пришли еретиков рассуждать, а мы в Московском государстве видим православных христиан; мы станем за это Никона-патриарха судить и православных христиан оборонять по правилам». Выставивши с такою торжественною обстановкою главный пункт обвинения против Никона, показавши, что не может быть примирения с пастырем, так жестоко оскорбившим паству, обвинившим ее в неправославии, для усиления впечатления представили патриархам самую важную улику на Никона, потрясавшую доверие к его словам, к его оправданиям: до сих пор Никон постоянно утверждал, что он не отказывался от патриаршества; теперь царь подал патриархам три письма, в которых Никон называл себя *бывшим* патриархом. Патриархи объявили: «В законах написано: кто уличится во лжи трижды, тому вперед верить ни в чем не должно; Никон-патриарх объявился во многих лжах, и ему ни в чем верить не подобает: кто кого оклеветал, подвергается той же казни, какая присуждена обвиненному им; кто на кого возведет еретичество и не докажет, тот достоин: священник низвержения, а мирской человек проклятия». Царь поднес письмо Никона о поставлении нового патриарха на его место. Патриархи продолжали: «Когда Теймураз был у царского стола, то Никон прислал человека своего, чтоб смуту учинить, а в законах написано: кто между царем учинит смуту, тот достоин смерти, и кто Никонова человека ударил, того бог простит, потому что подобает так быть». При этих словах антиохийский патриарх встал и осенил Хитрово, потом продолжал: «Архиепископа сербского Гавриила били Никоновы крестьяне в селе Пушкине, и Никон обороны не дал: да он же, Никон, в соборной церкви, в алтаре, во время литургии с некоторого архиерея снял шапку и бранил всячески за то, что не так кадило держал; он же, Никон, на ердань ходил в навечерии Богоявления, а не в самый праздник».

5 декабря – третье заседание собора в присутствии Никона. *Еще* до прихода последнего государь обратился к патриархам. «Никон, – сказал он, – приехал в Москву и на меня налагает судьбы божии за то, что собор приговорил и велел ему в Москву приехать не с большими людьми. Когда он ехал в Москву, то по моему указу у него взят малый (Шушера) за то, что он в девятилетнее время к Никону носил всякие вести и чинил многую ссору.

Никон за этого малого меня поносит и бесчестит, говорит: царь меня мучит, велел отнять малого из-под креста; если Никон на соборе станет об этом говорить, то вы, св. патриархи, ведайте; да и про то ведайте, что Никон перед поездкою своею в Москву исповедовался, приобщался и маслом освящался». Патриархи подивились гораздо. Когда Никон вошел, то патриарх Паисий начал говорить ему, что он отрекся от патриаршеского престола с клятвою и ушел без законной причины. «Я не отрекался с клятвою, – отвечал Никон, – я засвидетельствовался небом и землею и ушел от государева гнева и теперь иду, куда великий государь изволит, благое по нужде не бывает». *Патриархи* : «Многие слышали, как он отрекся от патриаршества с клятвою». *Никон* : «Это на меня затеяли; а если я негоден, то куда царское величество изволит, туда и пойду». *Патриархи* : «Кто тебе велел писаться патриархом Нового Иерусалима?» *Никон* : «Не писывал и не говаривал». Тут Иларион рязанский показал письмо его, где именно так было написано. *Никон* : «Рука моя, разве описался. Слышал я от греков, что на

антиохийском и александрийском престолах иные патриархи сидят: чтоб государь приказал свидетельствовать, пусть патриархи положат Евангелие». *Патриархи* : «Мы патриархи истинные, не изверженные и не отрекались от престолов своих; разве турки без нас что сделали; но если кто дерзнул на наши престолы незаконно, по принуждению султана, тот не патриарх, прелюбодей; а св. Евангелию быть не для чего, архиерею не подобает Евангелием клясться». *Никон* : «От сего часа свидетельствуюсь богом, что не буду перед патриархами говорить, пока константинопольский и иерусалимский сюда будут». *Иларион рязанский* : «Как ты не боишься суда божия и вселенских-то патриархов бесчестишь!» Патриархи, обратясь к собору: «Скажите правду про отрицание Никоново с клятвою!» Питирим новгородский и Иоасаф тверской показали, что Никон отрекся и говорил: если буду патриарх, то анафема буду. *Никон*: «Я назад не поворачиваюсь и не говорю, что мне быть на престоле патриаршеском; а кто по мне будет патриарх, тот будет анафема; так я и писал к государю, что без моего совета не поставлять другого патриарха. Я теперь о престоле ничего не говорю; как изволит великий государь и вселенские патриархи». Патриархи велели читать правила амасийскому митрополиту по-гречески, а по-русски читал Иларион рязанский. *Читали* : «Кто покинет престол волею, без наветов, тому впредь не быть на престоле». *Никон*: «Эти правила не апостольские, и не вселенских соборов, и не поместных, я этих правил не принимаю и не внимаю». *Павел крутицкий* : «Эти правила приняла церковь». *Никон* : «Их в русской Кормчей нет, а греческие правила не прямые, их патриархи от себя написали, а печатали их еретики; а я не отрекался от престола, это на меня затеяли». *Патриархи* : «Наши греческие правила прямые!» *Тверской иерусалимский Иоасаф* : «Когда он отрекался с клятвою от патриаршеского престола, то мы его молили, чтоб не покидал престола: но он говорил, что раз отрекся и больше не будет патриархом, а если возвратится, то будет анафема». Никон по-прежнему отвергал это показание. Тут встал Родион Стрешнев и объявил: «Никон говорил, что обещал быть на патриаршестве только три года». *Никон*: «Я не возвращаюсь на престол; волен великий государь». *Алмаз Иванов* : «Никон писал государю, что ему не подобает возвратиться на престол, яко псу на своя блевотины». Никон отперся и прибавил: «Не только меня, и Златоуста изгнали неправедно»; потом, обратясь к царю, сказал: «Когда на Москве учинился бунт, то и ты, царское величество, сам неправду свидетельствовал, а я, испугавшись, пошел от твоего гнева». *Царь* : «Непристойные речи, бесчестя меня, говоришь: на меня никто бунтом не прихаживал, а что приходили земские люди, и то не на меня, приходили бить челом мне об обидах». Со всех сторон поднялись крики: «Как ты не боишься бога непристойные речи говорить и великого государя бесчестить!» *Патриархи* : «Для чего ты клобук черный с херувимами носишь и две панагии?» *Никон* : «Ношу черный клобук по примеру греческих патриархов; херувимов ношу по примеру московских патриархов, которые носили их на белом клобуке; с одною панагиею с патриаршества сошел, а другая – крест, в помощь себе ношу». *Архиереи* : «Когда отрекся от патриаршества, то белого клобука с собою не взял, взял простой монашеский, а теперь носишь с херувимом». *Антиохийский патриарх* : «Знаешь ли, что антиохийский патриарх судья вселенский?» *Никон* : «Там себе и суди; в Александрии и Антиохии ныне патриархов нет: александрийский живет в Египте, антиохийский в Дамаске». *Патриархи* : «Когда благословили вселенские



патриархи Иова-митрополита московского на патриаршество, в то время где они жили?» *Никон* : «Я в то время не велик был». *Патриархи* : «Слушай правила святые». *Никон* : «Греческие правила не прямые, печатали их еретики». *Патриархи* : «Приложи руку, что наш номоканон еретический, и скажи именно, какие в нем ереси?» *Никон* отказался это сделать. *Патриархи* : «Скажи, сколько епископов судят епископа и сколько патриарха?» *Никон* : «Епископа судят 12 епископов, а патриарха вся вселенная». *Патриархи* : «Ты один Павла-епископа низверг не по правилам». *Царь* : «Веришь ли всем вселенским патриархам? они подписались своими руками, что антиохийский и александрийский пришли по их согласию в Москву». *Никон* посмотрел на подписи и сказал: «Рук их не знаю». *Антиохийский патриарх* : «Истинные то руки патриаршеские!» *Никон – антиохийскому* : «Широк ты здесь; как-то ты ответ дашь пред константинопольским патриархом!» Голоса с разных сторон: «Как ты бога не боишься, великого государя бесчестишь и вселенских патриархов и всю истину во лжу ставишь!» Патриархи велели взять у Никона крест, который перед ним носили, на том основании, что ни у одного патриарха нет такого обычая, а *Никон* взял от латынников. Начался опять спор об отречении; наконец патриархи сказали: «Написано: по нужде и дьявол исповедует истину, а *Никон* истины не исповедует». Произнесли приговор: «Отселе не будешь патриарх и священная да не действуешь, но будешь яко простой монах».

8 декабря патриархи сидели у государя наедине три часа. 12 декабря они собрались с духовенством в крестовой патриаршей и послали просить государя, чтоб отрядил к ним кого-нибудь из синклита; царь прислал князя Никиту Ивановича Одоевского, боярина Петра Михайловича Салтыкова, думного дворянина Елизарова, думного дьяка Алмаза Иванова. *Никон* дождался в сенях перед крестовою. Патриархи отправились в церковь, которая была на воротах Чудова монастыря, и стали на своих мостах в саккосах, другие архиереи в саккосах же стояли по чину. Позвали *Никона*; он вошел, помолился иконам, поклонился патриархам дважды в пояс и стал по левую сторону западных дверей. Начали читать выписку из соборного деяния по-гречески и по-русски; когда чтение кончилось, патриархи сошли с своих мест, стали у царских дверей, подзвали *Никона* к себе и перечислили его вины, которые состояли в следующем: «Проклинал российских архиереев в неделю православия мимо всякого стязания и суда; покинутием престола заставил церковь вдовствовать восемь лет и шесть месяцев: ругаясь двоим архиереям, одного называл Анною, другого Каиафою; из двоих бояр одного называл Иродом, другого Пилатом; когда был призван на собор, по обычаю церковному, то пришел не смиренным обычаем и не переставал порицать патриархов, говоря, что они не владеют древними престолами, но скитаются вне своих епархий, суд их унижил и все правила средних и поместных соборов, бывших по седьмом вселенском, всячески отверг; Номоканон назвал книгою еретическою, потому что напечатан в странах западных; в письмах к патриархам православнейшего государя обвинил в латинстве, называл мучителем несправедным, уподоблял его Иеровоаму и Осии, говорил, что синклит и вся российская церковь приклонились к латинским догматам: но порицающий стадо, ему врученное, не пастырь, а наемник; архиерея один сам собою низверг; по низложению с Павла, епископа коломенского, мантию снял и предал на лютое биение, архиерей этот сошел с ума и погиб безвестно, зверями ли заеден, или в

воде утонул, или другим каким-нибудь образом погиб; отца своего духовного повелел без милости бить, и патриархи сами язвы его видели; живя в монастыре Воскресенском, многих людей, иноков и бельцов, наказывал не духовно, не кротостию за преступления, но мучил мирскими казнями, кнутом, палицами, иных на пытке жег». Когда вины были объявлены, патриарх александрийский снял с Никона клобук и панагию и сказал ему, чтоб вперед патриархом не назывался и не писался, назывался бы просто монахом Никоном, в монастыре жил бы тихо и безмятежно и о своих согрешениях молил всемилостивого бога. «Знаю я и без вашего поучения, как жить», – отвечал Никон. «А что вы клобук и панагию с меня сняли, то жемчуг с них разделите по себе, достанется вам жемчугу золотников по пяти и по шести, да золотых по десяти. Вы султанские невольники, бродяги, ходите всюду за милостынею, чтоб было чем заплатить дань султану; откуда взяли вы эти законы? зачем вы действуете здесь тайно, как воры, в монастырской церкви, в отсутствие царя, думы и народа? при всем народе упросили меня принять патриаршество; я согласился, видя слезы народа, слыша страшные клятвы царя; поставлен я в патриархи в соборной церкви, пред всенародным множеством; а если теперь захотелось вам осудить нас и низвергнуть, то пойдем в ту же церковь, где я принял пастырский жезл, и если окажусь достойным низвержения, то подвергните меня чему хотите». Ему отвечали, что все равно, в какой бы церкви ни было произнесено определение собора, лишь было бы оно по совету государя и всех архиереев. На Никона надели простой клобук, снятый с греческого монаха; но архиерейского посоха и мантии у него не взяли, страха ради народного, но одним известиям, по просьбе царя – по другим.

Местом заточения для низверженного патриарха назначен был Ферапонтов Белозерский монастырь, куда отправились с ним два священника черных, два дьякона, один простой монах и два бельца. Садясь в сани, Никон стал говорить, обращаясь к самому себе: «Никон! отчего все это тебе приключилось? не говори правды, не теряй дружбы! если бы ты давал богатые обеды и вечерял с ними, то не случилось бы с тобою этого». Никона везли из Чудова монастыря под прикрытием ратных людей, но толпа народа следовала за ним. Позади саней шел спасоярославский архимандрит Сергей, и, когда Никон начинал что-нибудь говорить, Сергей кричал: «Молчи, Никон!» Тот обратился к своему прежнему эконому: «Скажи Сергию, что если он имеет власть, то пусть придет и зажмет мне рот». Эконом исполнил поручение, причем назвал Никона святейшим патриархом. «Как ты смеешь, – закричал Сергей, – называть патриархом простого чернеца!» В ответ послышался голос из толпы: «Что ты кричишь! имя патриаршеское дано ему свыше, а не от тебя гордого». Сергей обратился к стрельцам с требованием, чтоб схватили дерзкого; ему отвечали, что он уже схвачен и отведен куда следует. Никон ночевал на земском дворе. На другой день, 13 декабря, назначен был выезд; царь прислал Никону денег и шубу на дорогу: тот не взял: царь просил благословения себе и всему семейству своему: Никон не дал благословения. Народ стал собираться в Кремль; ему сказали, что Никона повезут по Сретенке; но когда толпы отхлынули в Китай, Никона повезли по другой дороге. Наблюдать за Никоном был послан нижегородского Печерского монастыря архимандрит Иосиф.

21 декабря Никон был уже в Ферапонтове; первым делом Иосифа было потребовать от него архиерейскую мантию и посох; Никон отдал безо всякого возражения; просил только, чтоб монахов и бельцов, которые с ним приехали,

пускать по воле всюду, куда они ни захотят. На смену Иосифу нижегородскому отправился другой Иосиф, архимандрит новоспасский, которому дан был наказ: «Беречь, чтоб монах Никон писем никаких не писал и никуда не посылал; беречь накрепко, чтоб никто никакого оскорбления ему не делал; монастырским ему владеть ничем не велеть, а пищу и всякий келейный покой давать ему по его потребе». Но этот наказ не мог быть легко исполнен относительно феррапонтовского заточника. Никон по своей природе не мог оставаться в покое и оставлять других в покое; значение патриарха было слишком велико на Руси; Никон, и будучи в Москве, и будучи в Воскресенском монастыре, наделал слишком много шума, произвел слишком сильное впечатление, которое не теряло этой силы по мере отдаления от главной сцены действия; русские люди того времени так легко подчинялись влиянию лица, умевшего внешними средствами выставить права, хотя бы даже мнимые, хотя бы даже исчезнувшие; наконец, сам царь Алексей Михайлович, по природе своей, не давал Никону успокоиться, сам поддерживал в нем мечты о возможности перемены, сам поддерживал в нем притязания на значение, высшее того, какое оставил при нем собор. Сильно раздраженный письмом Никона к патриархам, Алексей Михайлович схватился враждебно на соборе с прежним своим *собинным* приятелем, когда увидел его лицом к лицу, также гневного, по-прежнему гордого, неуступчивого, скорого на обиду. Но когда дело кончилось, приговор был произнесен – и вместо святейшего патриарха, великого государя Никона, в воображении царя явился бедный монах Никон, ссыльный в холодной пустыни Белозерской, гнев прошел, прежнее начало пробуждаться, Алексей Михайловичу стало жалко, ему стало страшно... В религиозной душе царя поднимался вопрос: по-христиански ли поступил он? не должен ли он искать примирения с Никоном, хотя и не был вправе изменять приговора соборного? Мы видели, как он перед отъездом Никона в Феррапонтов послал просить у него благословения; потом, когда в 1667 году на перемену приставу Шепелеву послан был из Москвы в Феррапонтов новый пристав, Наумов, то царь поручил ему также просить у Никона себе благословения и прощения. Но Никон не понял или не хотел понять побуждений, руководивших царем в этом случае; не в его характере было сообразоваться с христианскою заповедью о прощении врагов, о примирении с братом прежде приступления к алтарю; он хотел воспользоваться совестью царя в этом отношении для улучшения своей участи: «Ты боишься греха, просишь у меня благословения, примирения; но я даром тебя не благословлю, не помирюсь; возврати из заточения, так прощу». «Когда перед моим выездом из Москвы, – писал Никон царю, – ты присылал Родиона Стрешнева с милостынею и с просьбою о прощении и благословении, я сказал ему – ждатель суда божия. Опять Наумов говорил мне те же слова, и ему я то же отвечал, что мне нельзя дать просто благословения и прощения: ты меня осудил и заточил, и я тебя трикраты проклинал по божественным заповедям, паче Содома и Гоморра: в первый раз, как уходил с патриаршества ради гнева твоего, выходя из церкви, отряс прах от ног своих; во второй раз, как приходил перед Рождеством и был изгнан – во всех воротах городских отрясал прах; в третий раз, как был у тебя в столовой в другой раз, выходя, стал посреди столовой и, обратясь к тебе, отрясая прах ног, говорил: кровь моя и грех всех буди на твоей главе!»

С этой же целью – напугать царя Никон в Феррапонтове вздумал повторить то же, что он сделал в Москве во время суда над ним. 6 марта 1667 года является к

Наумову монах и говорит ему от имени Никона: «Пошли за всякими запасами в Воскресенский монастырь, а государевых запасов принимать и есть мы не хотим, потому что Никон-патриарх на государя гневается, государь его сослал в ссылку, а не вселенские патриархи, и за это нам государева подаяния принимать и есть нельзя». «Как ты смеешь называть Никона патриархом!» – сказал Наумов монаху. «Тебя я не слушаю, – отвечал тот, – а Никона и впредь буду называть патриархом и под благословение ходить: слышали мы и то, что теперь поставлен новый патриарх, Иосаф, и то непрямой патриарх, и вселенские патриархи не прямые, отставные и нанятые, просили они у нашего Никона-патриарха посулу 3000 и говорили: ты у нас по-прежнему будешь патриарх; Никон 3000 им не дал, и они, за то на него осердясь, и отставили». Еще более придал духа Никону приезд стряпчего Ивана Образцова в июле 1667 года. Видя, что Наумов слишком строго держит заточника, Образцов посадил Наумова в сторожку, где тот и сидел часа с три. Никон сердился и говорил: «Степан мучил меня тридцать недель, а его посадили только на три часа». Наумов пришел к нему просить прощения, кланялся и говорил: «Я человек невольный: как мне приказано, так и делал». Никон за эти слова его простил, и с тех пор началась у них дружба. Пристав начал приходить к Никону и рассказывать всякие вести из Москвы. Оба – и пристав и заточник с одинаковою легкостью верили всяким слухам: так, однажды люди Наумова, возвратясь из Москвы, рассказывали, что Никону быть папою. Наумов испугался, начал Никона патриархом звать и под руки водить; толковал: «Дай государю благословение и прощение, а государь тебе ни за что не постоит, голова моя в том!»; рассказывал, будто государь, отпуская его в Ферапонтов, наказывал умаливать Никона о благословении и прощении; а когда он запросил наказа на письме, то Алексей Михайлович рассердился и сказал: «Что ж мне тебе записать дать, чтоб ты ее с женою дома читал, а словам моим не веришь!» С 23 июля начали к Никону приезжать всяких чинов люди, из городов посадские, с Белоозера земской избы староста да кружечного двора голова, каргопольцы, из разных монастырей монахи, из девичья Воскресенского монастыря игуменья Марфа; все эти гости подходили к Никону под благословение, целовали его руку, величали патриархом, сидели у него в келье с утра до вечера; в девичий монастырь за монахинями Никон посылал на монастырских подводах, стал владеть всем монастырем и монастырскою вотчиною; на представления Наумова отвечал с сердцем: «Не указал тебе государь ни в чем меня ведать». Из старых вотчин его, из села Короткова и из села Богословского, начали приезжать монахи и крестьяне с челобитьями об указе и привозили деньги. Наумов, по наказу, запрещал давать Никону бумагу и чернила; тот дразнил его: «Ты мне запрещаешь давать бумаги и чернил, а я с Москвы с собою привез четыре чернильницы и бумагу, вот смотри!» – и показывал бумаги дестей с восемь. Архимандрит Иосиф и ферапонтовский игумен Афанасий увлеклись общим примером, начали Никона называть патриархом, целовать в руку, поминать на ектениях по-прежнему; Иосиф дурно отзывался о новом патриархе Иоасафе; Никону это очень нравилось и он дарил Иосифа сукнами и шубами.

Но почет, оказываемый в Ферапонтове, не мог утешить Никона, который жаждал возвращения из ссылки, а об этом возвращении не было слуху. В августе пришел указ из Москвы – взять и сослать служку Яковлева за то, что он, не спросясь с Наумовым, ездит всюду по поручению Никона. Никон, по своему

обычаю, вспылит, называл Наумова вором, царскую грамоту ложною, кричал: «Это все делает Дементий Башмаков без государева указа!» Покричавши, наконец выдал служку. Этот случай показал ему, что в Москве не только не думают о его возвращении, но даже и о смягчении наказа приставу. Никон попробовал, нельзя ли уступчивостью получить то, что прежде хотел взять жесточью, угрозою. Прежде он отказывал дать царю благословение и прощение, требуя, чтоб царь сперва возвратил его из ссылки; теперь он посылает благословение и прощение в надежде, что следствием этого будет возвращение из Ферапонтова. Он призвал Наумова и спросил: «Какой с тобою ко мне приказ от великого государя?» Наумов повторил, что государь приказывал просить его о благословении и прощении. Тогда Никон отдал ему письмо для отсылки к государю: «Великому царю государю и великому князю богомолец ваш смиренный Никон, милостию божиею патриарх, бога моля, челом бью. В нынешнем 176 (1667) году сентября 7 приходил ко мне Степан Наумов и говорил мне вашим государским словом, что велено ему с великим прощением молить и просить о умирении, чтоб я, богомолец ваш, тебе, великому государю, подал благословение и прощение, а ты меня, по своему государскому рассмотрению, милостию своею пожалуешь. И я тебя, царицу, царевичей и царевен благословляю и прощаю, а когда ваши государские очи увижу, тогда вам, государям, со святым молитвословием наипаче прощу и разрешу, яко же св. Евангелие наказует и деяния св. апостол всюду с возложением рук прощение и цельбу творить».

Но прошел год – из Москвы ответа не было; Никон вышел из терпения и решился напомнить о себе другим способом. В октябре 1668 года явился в Москву от него монах Флавиан и подал царю письмо: «Иже жив сый привнесенный с нисходящими в ров, седяй во тьме и сени смертней, окован нищетою паче желез, богомолец ваш смиренный Никон, милостию божиею патриарх. Извещаю вам, великим государям, за собою великое ваше слово, а писать тебе нельзя, боюсь изменников твоих: послыша такое твое большое дело, меня изведут, а твое дело погаснет без вести. Пристав Степан Наумов, приходя, сказывал мне милость твою с часу на час, со дня на день, с месяца на месяц: но твоя милость удалилась от меня, зане прогневал ярость твою, и я, видя, что дело твое замедлилось, 7 сентября призывал к келье новоспасского архимандрита Иосифа, стрелецкого сотника Саврасова, ферапонтовского игумена, келаря и всех стрельцов и сказывал твое великое слово, чтоб архимандрит и сотник дали мне подводу и провожатых добрых, с кем бы мне к тебе с этим великим делом отпустить своего человека, и дело им объявил твое безголовное, что на Москве изменники твои хотят тебя очаровать или очаровали. Архимандрит, сотник и стрельцы согласились; но изменник келарь Макарий начал кричать: „Нам через государев указ подвод давать нельзя“. Я сотнику и стрельцам велел взять моих лошадей и велел к тебе писать, что от меня слышали; но келарь для письма подьячего не дал; я говорил сотнику, чтоб ехал он сам и без письма; сотник хотел ехать, но Степан Наумов прислал человека своего: холоп, прибежав на монастырь, кричал, что Степан не велел никого отпускать и лошадей давать; приехал и сам Степан на конюший двор с ослопом, сотника и стрельцов хотел бить, лошадей всех взял к себе в руки и никому не дал, кричал: „Увижу, кто поедет! что он меня страшит! я не малый ребенок; у меня есть великое дело и на самого патриарха, и мне это дело надобно отпустить“. Я говорил, чтоб сотник и стрельцы шли пешком в Кириллов; но

Степан и в Кириллов пускать их не велел, кричал: „Моя в том голова!“, но ведь его голова перед твоею очень недорога! На другой день отпустил он в Москву человека своего Андрюшку да вора стрельца Якимка, а меня велел заковать и около кельи поставить семь караулов».

20 октября бояре, в присутствии царя, допрашивали старца Флавиана, в чем состоит великое дело, с которым прислал его Никон? Флавиан объявил: «В Петров пост пришел в Ферапонтов монастырь из Москвы Воскресенского монастыря черный поп Палладий и сказал Никону, что был он в Москве, на Кирилловском подворье, и сказывал ему черный поп Иоиль про окольного Федора Ртищева; говорил Ртищев Иоилу: „Сделай то, чтоб мне у великого государя быть первым боярином“. Иоиль окольному сказал: „Мне сделать этого нельзя, а есть у тебя во дворе жонка цыганка, которая умеет эти дела делать лучше меня“. Ртищев отвечал: „Жонке говорить об этом нельзя, потому что она хочет за меня замуж“. Но вслед за Флавием Никон прислал письмо, в котором также излагал речи Палладия, но вместо Ртищева являлся тут боярин Богдан Матвеевич Хитрово с жонкою-литовкою; в письме Никона Иоиль говорил Палладию: „Никон меня не любит, называет колдуном и чернокнижником; а за мною ничего того нет, только я умею звездочетие, то у меня гораздо твердо учено; меня и вверх государь брал, как болела царевна Анна, и я сказал, что ей не встать, что и сбылось, и мне государь указал жить в Чудове, чтоб поближе; мне и Богдан Хитрой друг и говорил мне, чтоб я государя очаровал, чтоб государь больше всех его, Богдана, любил и жаловал, и я, помня государеву милость к себе, ему отказал, и он мне сказал: „Нишкни же!“, и я ему молвил: „Да у тебя литовка то умеет; здесь, на Москве, нет ее сильнее“. И Богдан говорил: «Это так, да лихо запросы велики, хочет, чтоб я на ней женился, и я бы взял ее, да государь не велит».

Призвали к допросу Иоиля: тот объявил, что приходил к Палладию лечить его, но ни об чем другом с ним не разговаривал, а у Хитрова никогда и на дворе не бывал. Призвали Палладия: тот объявил, что лечился у Иоиля, но ни о чем с ним не говаривал и в Ферапонтове Никону ни о чем не сказывал: «Вольно старцу Никону меня поклепать, он затевать умеет. В то время как я жил в Ферапонтове монастыре, приезжал стряпчий Иван Образцов и привез Никону государева жалованья 500 рублей, да старцам, которые с ним, 200 рублей; Никон им этих денег не дал: я об этом с старцами поговорил, и Никон, узнавши, велел меня из Ферапонтова выбить дубьем». Иоиля обыскали и нашли книги: одна книга латинская; одна по-латыни и по-польски; книга печатная счету звездарского, печатана в Вильне и 1586 году: книга письменная с марта месяца во весь год лунам и дням, и планитам и рождениям человеческим в месяцах и в звездах: тетрадь письменная о пускании крови жильной и рожечной: записка, кого Иоиль излечил, и те люди приписывали руками своими.

В ноябре отправился в Ферапонтов стрелецкий голова Лутохин: он должен был рассказать Никону все дело, как найдена разница между его письмом и изветом Флавиана: в одном Хитров, в другом Ртищев, и объявить, что Иоиль не винится. Лутохин должен был также спросить Никона: в келию воду сам он носит и дрова рубит своею ли волею или поневоле? Никон отвечал: «Я приказывал Флавиану известить о Хитрове, а не о Ртищеве, да и не пристало про Федора Михайловича тому быть, потому что он человек женатый; Флавиан ослышался. Я не задержал Палладия и не отправил к государю потому, что надеялся вскоре сам

государевы очи видеть: сказывал мне Наумов, что меня великий государь пожалует, велит взять в Москву скоро, выманил у меня Наумов великому государю и его дому благословение и прощение тем, что государь меня пожалует, велит из Ферапонтова освободить и все мои монастыри отдать. Терпел я после того договора год два месяца в заточении и никаких клятвенных слов не говорил; вперед еще мало потерплю, а если по договору ко мне государственной милости не будет, то я по-прежнему ничего государева принимать не стану и перед богом стану плакать и говорить те же слова, что прежде говорил с клятвою». *Лутохин* : «Дай мне росписи тому, чего тебе не дают из кушанья?» *Никон* : «Что мне росписи давать! у меня никогда, кроме щей да квасу худого, ничего не бывает, морят меня с голоду». Лутохин справился; Наумов и монастырские власти показали, что у Никона никогда без живой рыбы и без пива не бывало; показали и садки, где для него рыба, стерляди и щучки, язи, окуни и плотва. Но Никон сказал, что этой рыбы есть нельзя, иссиделась; что дрова и воду сам носил за безлюдством, а теперь не носит. Лутохину показали кресты, которые водрузил Никон в разных местах с надписями: «Никон, божиею милостию патриарх, поставил сии крест Христов, будучи в заточении в Ферапонтове монастыре».

Но в то время как Никон объявлением великого государева дела про Хитрово хотел показать свое усердие и проложить себе дорогу к возвращению из ссылки, про него самого объявилось великое государственное дело, давшее новое блистательное торжество Хитрово с товарищами и отяготившее участь заточника. Из Ферапонтова приехал архимандрит Иосиф и донес: «Весною 1668 года были у Никона воры, донские козаки; я сам видел у него двоих человек, и Никон мне говорил, что это донские козаки, и про других сказывал, что были у него в монашеском платье, говорили ему: „Нет ли тебе какого утеснения: мы тебя отсюда опростаем“. Никон говорил мне также: „И в Воскресенском монастыре бывали у меня донские козаки и говорили: если захочешь, то мы тебя по-прежнему на патриаршество посадим, сберем вольницу, боярских людей“. Никон сказывал мне также, что будет о нем в Москве новый собор по требованию цареградского патриарха: писал ему об этом Афанасий иконийский». Монах Пров донес, что Никон хотел бежать из Ферапонтова и обратиться к народу с жалобой на напрасное заточение.

Афанасия иконийского сослали в Макарьев монастырь на Унжу; Никона затворили в келье.

Кончина царицы Марии Ильиничны опять напомнила царю о старом *собинном* приятеле. Он отправил в Ферапонтов близкого человека, Родиона Матвеевича Стрешнева, с деньгами Никону на помин души царицыной. Никон не взял денег. Но это было последнее проявление твердости с его стороны. Летом 1671 года он попытался напомнить о себе, выставить свое достоинство, прозорливость и заслугу для государства; он призвал пристава, князя Шайсупова, который заменил Наумова, и начал ему говорить: «Когда приезжал ко мне от государя с милостиною по царице Родион Матвеевич Стрешнев, то я ему о преставлении царевича Алексея Алексеевича и о разорении козацком, чему быть, назначил, а мне это было объявлено от господа бога; да и впредь, если вселенских и московского патриархов на весь православный российский народ безрассудная запретительная клятва не снимется, добра ждать нечего; обо всем этом писал я к великому государю. При Степане Наумове в Ферапонтов монастырь приходили

три человека козаков, Федька да Евтюшка, а третьего позабыл, как звали, которые прежде были на службе с князем Юрием Алексеевичем Долгоруким, сказались, будто они идут богу молиться в Соловецкий монастырь, а они не богомольцы, не в Соловецкий шли, приходили они для меня, собравшись нарочно, звали меня с собою, пришло их двести человек; Степана Наумова хотели убить до смерти, Кириллов монастырь разорить и с казною его, запасами и пушками хотели идти на Волгу; но я на ту их воровскую прелесть не подался, во всем отказал, от воровства их унял и с клятвою им приказывал, чтоб великому государю вины свои принесли, и они пропали неведомо куда».

Шайсупов, разумеется, немедленно дал знать об этом разговоре в Москву. Ответа не было. Тогда Никон решился сделать третий, последний шаг для получения свободы: сначала он угрозою хотел вынудить у царя возвращение из ссылки, обещал дать благословение и прощение царю только под условием освобождения из Ферапонтова; потом сам послал прощение и благословение в надежде, что за этим немедленно последует освобождение; наконец теперь решился сам просить прощения у царя в прежнем своем поведении. 25 декабря 1671 года он отправил к государю такое письмо: «В прошлом 160 году божиею волею и твоим, великого государя, изволением и всего освященного собора избранием был я поставлен на патриаршество не своим изволом; я, ведая свою худость и недостаток ума, много раз тебе бил челом, что меня с такое великое дело не станет, но твой глагол превозмог. По прошествии трех лет бил я тебе челом отпустить меня в монастырь, но ты оставил меня еще на три года; по прошествии других трех лет опять я тебе бил челом об отпуске в монастырь, и ты милостивого указа не учинил. Я, видя, что мне челобитьем от тебя не отбыть, начал тебе досаждать, раздражать тебя и с патриаршего стола сошел в Воскресенский монастырь. Ты, подражая небесному отцу в щедротах, и в Воскресенском монастыре милостию своею меня не забыл, пироги именинные и милостыню присылал, а я твою милость с презорством принимал и все это делал нарочно, чтоб ты меня забыл. Случилось мне однажды в Воскресенском монастыре заболеть: ты, узнавши об этом, прислал ко мне Афанасия Матюшкина с обещаниями и утешительными словами, что не оставишь меня до смерти; я этой милости не очень порадовался, а потом, наветами врагов моих. Романа Бабарыкина, Ивана Сытина и других, возросла между нами великая смута; они же меня обидели, они же тебе на меня и наклеветали. Да у меня же в Воскресенском монастыре были два жида крещеных, и, оставя православную веру, начали они старую жидовскую держать и молодых чернецов развращать; я, сыскав об этом подлинно, велел жида Демьяна посмирить и сослать в Иверский монастырь, а Демьян другому жиду, Мишке, сказал: не пробывать и тебе без беды, беги в Москву и скажи за собою государево слово: тот так и сделал: ты по этому делу присылал ко мне думного дьяка Дементия Башмакова, а в это время молодые чернецы, бывшие в жидовской ереси, покрали у меня деньги, платье и тем жидам помогали, да им же помогал архимандрит чудовский потому: был он у меня в Воскресенском и в Иверском монастырях строителем долгое время и не считан, а как захотел я его считать, то он ушел в Москву, добрыми людьми тебе одобрен, и ты начал жаловать его знать. Когда ты послал Мелетия к восточным патриархам, то я, ведая лукавство, убоясь тамошнего осуждения, писал к патриархам; но от тебя мое письмо не утаилось, как от ангела божия, и в том прощения прошу себе и прочим,



которые тому делу повинны, родшегося ради Христа бога, остави! Да ты же созвал собор и на соборе, подойдя ко мне, говорил: „Мы тебя позвали на честь, а ты шумишь!“, и я тебе говорил, чтоб ты мою грамоту не велел читать на соборе, а переговорил бы наедине, и я бы все сделал по твоей воле; ты так не соизволил, и я поневоле, соображаясь с своими писанными словами, говорил тебе прекословно и досадно; в том прощения прошу. Да ты же присылал ко мне на Лыков двор стол такой же, какой был и патриархам, и я твое жалованье отринул и тем тебя обесчестил: господа ради, прости. Да ты же прислал с Родионом Матвеевичем Стрешневым денег и мехов, я, грешный, и того не принял: Христова ради Рождества, прости. Ради всех этих моих вин отвержен я в Ферапонтов монастырь шестой год, а как в келье затворен – тому четвертый год. Теперь я болен, наг и бос, и креста на мне нет третий год, стыдно и в другую келию выйти, где хлебы пекут и кушанье готовят, потому что многие части зазорные не покрыты; со всякой нужды келейной и недостатков оцынжал, руки больны, левая не подымается, на глазах бельма от чада и дыма, из зубов кровь идет смердящая, и не терпят ни горячего, ни холодного, ни кислого, ноги пухнут, и потому не могу церковного правила править, а поп один, и тот слеп, говорить по книгам не видит; приставы ничего ни продать, ни купить не дадут, никто ко мне не ходит, и милостыни просить не у кого. А все это Степан Наумов навел на меня за то, что я ему в глаза и за глаза говорил о неправдах его, что многих старцев, слуг и крестьян бил, мучил и посулы брал; я его мучителем, лихоимцем и дневным разбойником называл, а он за то затворил меня в келию с 9 мая до Ильина дни насмерть и запасов давать никаких не велел, я воду носил и дрова сек сам. До тебя это дошло, и ты прислал Ивана Образцова с милостивым указом; он поосвободил нас, но Степану никакого наказания не учинил, как было велено, только в хлебной избе часа на два посадил. А Степан, немного спустя, начал мучить меня пуще прежнего: служка мой ходит к нему раз десять для одного дела, все времени нет! а если выглянет в окно, с шумом говорит: „Я в монастыри писал, чтоб прислали запасное, но они не слушают, а у меня указа нет, что на них править; пора прихоти оставить, ешь что дадут“. Когда ты прислал Родиона Матвеевича Стрешнева с вестию о кончине царицы и милостынею по ней и просил, чтоб я ее простил и поминал вечно, то я Родиону сказал, что господь бог простит, а поминать государыню рад за многую ее милость прежнюю, денег же не взял для того, что я у вас, государей, не наемник, за вашу милость должен и так бога молить, как и молю: Родион мне говорил: „Возьми теперь государево жалованье, будет к тебе большая присылка, а потом все доброе будет“. Я ему сказал: если государева милость будет, тогда и деньги не уйдут, а ты этому доброму делу будь ходатай, а иное, ей, от великой скорби по государыне царице и по детках ваших, обеспамятовался и в том прощения прошу, а по государыне царице во всю Четырдесятницу псалтырь и канон пел и поминаю доднесь незабытно. Когда к Степану весть пришла, что сына твоего, царевича Алексея, не стало, то девка его пришла в другую избу и говорила: ныне на Москве кручина, а у нашего боярина радость, говорит: теперь нашего колодника надежда вся погибла, на кого надеялся, и того не стало, кротче будет. А теперь князь Самойла Шайсупов делает все по Степанову ж. Прошу тебя: ослаби ми мало да почию прежде даже не отъиду, прошу еже жити ми в дому господни во вся дни живота моего».

Письмо достигло цели. Алексей Михайлович всегда готов был отозваться на кроткий призыв старого собинного приятеля. Немедленно по получении письма, в январе 1672 года, поскакал в Ферапонтов Ларион Лопухин. «Тебе, святому и великому отцу, указал государь говорить, – начал свою речь царский посланный, – с начала дела соборного и до соборного деяния всегда он, государь, желал умирения, но этого не учинилось, потому что хотел ты в Московском государстве учинить новое дело против обычая вселенских патриархов, как они сходили с престолов. А теперь государь всякие враждотворения паче прежнего разрушить и во всем примирения с любовью желает и сам прощения просит. Государь велел тебе говорить, что ничего того не бывало, что ты в письме написал про разговор свой с ним на соборе: ты перед государем не шумливал, государь тебя не унимал, и, чтоб грамоту прочесть наедине, о том ты не говаривал; шумно было про статьи, которые писаны в грамоте твоей неправдою, да за книги, которые ты по совету с государем исправил, а после сам укорял напрасно, досадных же никаких слов не бывало, изволь помятовать. Послан ты в Ферапонтов монастырь вселенскими патриархами и собором, а не государем; дворянин и стрельцы посланы с тобою для твоего бережения, а не для утеснения; если же Степан Наумов какое тебе утеснение чинил, то он делал собою, а не по государеву указу, и про это приказал государь сыскать. Родион Матвеевич допрашиван и с клятвою извещал, что он тебе говорил упорно, чтоб ты деньги принял и государыню поминал, а других никаких слов, что в письме твоём написано, он не говаривал. Объяви, кто на Вологде хотел начать кровопролитие: вор Ильюшка шел из Галича от тех мест недалеко; да и вор Стенька Разин в расспросе говорил, что приезжал к нему под Симбирск старец от тебя и говорил, чтоб он шел вверх Волгою, а ты с своей стороны пойдешь, потому что тебе тошно от бояр, которые переводят государские семена, а у тебя есть наготове с 5000 человек на Белоозере; старец этот и на бою был и заколол своими руками сына боярского в глазах Разина и потом из-под Симбирска ушел. Пророчества, какие ты говорил князю Шайсупову, узнал ты не от господ бога, а от воровских людей, которые к тебе приезжали, надобно думать, что то смятение и кровопролитие сделалось от них. Если бы ты хотел всякого добра по Христовой заповеди, то ты бы про такое превеликое дело не умолчал и тех воровских козаков велел переловить, а трех человек можно было тебе поймать. Ты объяви теперь обо всем подлинно, а то просишь у государя всякой милости и прощения, а сам к нему никакой правды не объявишь». «Престол я свой оставил и паки было возвратился – дело не новое, – отвечал Никон, – и прежние вселенские патриархи престолы свои оставляли и назад возвращались. Я своего прежнего сана не взыскую, только желаю великого государя милости, а ничем я, кроме своих монастырей, не владел. Собор патриархов Паисия и Макария ставлю я ни во что, потому что они престолов своих отбыли и на их места поставлены другие; повинуюсь я константинопольскому патриарху и прочим вселенским, которые на престолах своих. О том, что говорено было на соборе, я писал правду, государю это известно; да и после, при Степане Наумове и присыльщиках, много раз я досадительные слова говорил и к государю писывал, в том милости и прощения прошу; а что великий государь за многие мои досадительства мне не мстил, за то великую мзду от бога восприимет. Новоисправленных книг я ничем не укорял и не укоряю. Денег я у Стрешнева не принял потому, что государь меня на соборе укорял, говорил: „Боярин Семен Лукьянович Стрешнев был у тебя в запрещении,

и ты с него взял 100 рублей и его простил“, а я его простил для того, что он добил челом и обещался Воскресенскому монастырю работать и о многих делах того монастыря государю докладывал, деньги же прислал вкладом в монастырь после прощения спустя года с полтора. О Вологде и Разине ничего не знаю: козаки, три человека, мне говорили, что по указу государеву посланы они были на Невль, велено их устроить землями, но они так жить и пашни пахать не привыкли, а государева жалованья и корму им не было, и они идут воли искать: а не сказал я Наумову про козаков потому, что они сказывали про свое многолюдство, так я боялся, чтобы смуты не учинить, а оборониться от них было нечем; к государю же о козаках этих я тогда писал и архимандриту Иосифу сказывал. Родиону Стрешневу я не говорил про смерть царевича и про смуту именно, а говорил, что по смерти царицы будет другая беда, не меньше, а после этой еще хуже будет, потому что мне это объявлено от господа бога; а говорил я эти слова сердито, досаждая великому государю; князю же Самойле я говорил о смерти царевича и о разорении от воров именно, потому что уже сделалось. Великий государь пожаловал бы меня, велел быть в Воскресенском монастыре или в другом каком моего строения, лучше в Иверском, и указал бы у меня быть, кому он верит; лета мои не малые, постигло увечье, а призреть меня стало некому; да пожаловал бы государь, простил всех, кто наказан из-за меня».

Никона не перевели ни в Воскресенский, ни в Иверский монастырь; но положение его в Ферапонтове стало иное, как скоро государь возобновил с ним сношения, стал присылать богатые подарки, величать великим и святым старцем. И вот Никон, как нарочно, спешит доказать, что ни то, ни другое название нейдут к нему, спешит подтвердить то наблюдение, что скорбь располагает мягкие натуры к уединению, к жизни внутренней, созерцательной, натуры же беспокойные становятся от скорби еще беспокойнее. С 1672 года у Никона начинается мелкая, неприличная борьба с монахами Кирилловского Белозерского монастыря, на который была возложена обязанность снабжать его съестными припасами. Начинается ряд жалоб, доносов царю, причем новый пристав, князь Шайсупов, не был забыт. Так, однажды Никон просит царя: «Не вели, государь, кирилловскому архимандриту с братиею в мою кельишку чертей напускать! Дворецкий Кириллова монастыря говорил про меня: „Что он с Кирилловым монастырем заедается? Кому он хоромы строит? чертям что ли в них жить?“ И вот того же вечера птица, неведомо откуда взявшись, яко вран черна, пролетела сквозь келии во все двери и исчезла неведомо куда, и в ту ночь демоны не дали мне уснуть, одеялишко с меня дважды сволочили долой и беды всякие неподобные многие творили, да и по многие дни великие беды бесы творили, являясь овогда служками кирилловскими, овогда старцами, грозяся всякими злобами, и в окна теперь пакостят, овогда зверьми страшными являются грозяся, овогда птицами нечистыми». Тяжек приходился Никон кирилловским монахам; они говорили ферапонтовским: «Кушает ваш батька нас». И эти слова подают Никону повод к новой жалобе. «Я, благодатию божиею, не человекоядец», – пишет он царю. Шайсупов доносил царю: «В великий четверток (1674 года) монах Никон пошел было к обедне в соборную церковь, перед ним пошли два человека стрельцов, а позади пошел сотник да еще шесть стрельцов. Не дошед до церкви, он вдруг осердился и пошел назад в келию, а идучи, говорил, что он под стражею в церковь идти не хочет. Я в праздник Светлого Воскресения после заутрени приходил к

нему в келию о Христе целование получить, но он в келию меня к себе не пустил и выслал монаха сказать мне, будто я его в великий четверг от причастия отлучил, и с того времени он, Никон, яко от огня с кручины разгорелся, видеться со мною и христосоваться не захотел». До какой степени доходила запальчивость Никона, всего лучше можно видеть из письма его к вологодскому архиепископу Симону. Узнав, что Никон не ходит в церковь, Симон писал к Шайсунову, чтоб тот попросил его объявить причину этого, не заражены ли игумен с братьею расколом, так ли идет у них служба церковная, как предписывает православная церковь? Что же отвечал Никон? «Никон, божиею милостию патриарх, Симону, епископу: ты, чернец, забыв священное евангельское приточное наказание фарисейское, паки и другое о малом сучце во очеси брата, в своем глазе бревна не чуеши. Забыл еси то, как ты в Александрове монастыре на кобыле пахивал, а ныне...» Но мы отказываемся передавать читателям дальнейшие обличения.

Чего только не виделось и не слышалось Никону? У повара Лариона была привычка, когда кто ему что-нибудь скажет, отвечать *добро-ста* ; но Никону в этом *добро-ста* слышалось совсем другое, и вот царь получает письмо: «Оглашают меня кирилловские, будто я их монастырских людей бью, а я никого не бивал. А как строитель Исаия в Ферапонтове монастыре у келейного дела был, в то время был поварок их Ларка и ко всякому делу говорил, о чем я ему молвлю: *добр Астарт* , а в древнем писании идол был некий сидонский Астарт, и которые его за бога почитали, приглашали: *добр Астарт* . Я ему. Ларке, говаривал много раз: не зови меня Астартом, я, благодатию божиею, христианин, а не Астарт, и он, Ларка, не перестал зовучи Астартом; я жаловался на него строителю Исаии, и строитель смирял его перед нашею келиею плетьюми, а не я его бил».

Царь терпеливо принимал все эти жалобы и объяснения, посылал разыскивать, в чем дело, успокаивать Никона, устраивать его хозяйство, помещение, посылал подарки, деньги, лакомства. Однажды государь послал ему кроме денег пять белуг, десять осетров, две севрюги, две лосося свежих, коврижек. Никон писал, благодаря за эту присылку: «А я было ожидал к себе вашей государственной милости и овощей, винограду в патоке, яблочек, слив, вишенок, только вам господь бог о том не известил, а здесь этой благодати никогда не выдаем, и аще обрел буду благодать пред вами, государи, пришлите, господа ради, убогому старцу». В другой раз царь послал именной пирог, денег 200 рублей, от царицы 25 полотен и 20 полотенец, от царевича Петра мех соболий. Никон отвечал, что из меха шубы не выйдет, надобно два вершка в прибавку, прикупить здесь негде: и прежде присланные меха, соболий и лисий, лежат затем, что шуб из них сделать нельзя: «Сотворите, господа ради, милость, велите свое жалованье исполнить». Добавка к мехам была послана.

Но неужели Никон позволил всего себя поглотить мелким заботам о келиях, поварнях, погребах, шубах, яблоках, винограде? Нет, выказывались и стремления к высшей деятельности: в келию к Никону стекались больные; он говорил над ними молитвы, давал лекарства; находившийся при нем монах Мардарий ездил в Москву покупать эти лекарства: масло деревянное, ладон росный, скипидар, траву чечуй, целибоху, зверобойную, нашатырь, квасцы, купорос, канфору, камень безуй. Враги Никона старались опозорить и эту деятельность его: но имеем ли право верить врагам-обвинителям? К сожалению, Никон сам старался показать, как чистое смешивалось у него с нечистым: так, он не преминул прислать царю

список излеченных им людей и посланному царскому рассказывал, что был ему глагол: «Отнято у тебя патриаршество, зато дана чаша лекарственная: лечи болящих».

## Глава пятая

### Продолжение царствования Алексея Михайловича

*Московские соборы 1666 и 1667 годов. – Соловецкое возмущение. – Козацкие движения на восточной уkraine и причины их. – Воровство на Волге. – Городок Рига. – Возмущение Васьки Уса в воронежских и тульских местах. – Стенька Разин. – Его воровство на Волге. – Разин в Яицком городке. – Его морской поход. – Стенька в Астрахани с повинною. – Впечатление, им здесь произведенное. – Стенька бушует в Царицыне. – Вызов его воеводам. – Разин на Дону. – Его вторичный поход на Волгу. – Взятие Царицына. – Разбитие московских стрельцов. – Измена стрельцов астраханских. – Взятие Астрахани и кровавые следствия. – Приход Разина под Симбирск и отступление князя Борятинского. – Вторичный приход Борятинского, под Симбирск и поражение Разина. – Бунт по всей восточной уkraine. – Движения Мишки Харитонов, Васьки Федорова и Максима Осипова. – Осада Желтоводского монастыря. – Волнения в Нижнем Новгороде. – Главный воевода князь Юрий Долгорукий. – Удачные действия воевод Леонтьева и Щербатова. – Действия воеводы Якова Хитрово. – Движения Долгорукого. – Победы Борятинского на Урени, Кандаратке и у Тургенева. – Победы Щербатова, Хитрово, Леонтьева и Данилы Борятинского. – Неудача Разина на Дону. – Он схвачен и казнен в Москве. – Действия козаков в Астрахани. – Гибель митрополита Иосифа. – Неудача козаков под Симбирском. – Сдача Астрахани воеводе Милославскому. – Осада Соловецкого монастыря. – Его взятие.*

Еще в то время, как участь Никона не была решена, еще до приезда патриархов восточных, собор духовенства русского решил участь противников Никона, которые ратовали против его новшеств, против исправления книг. В феврале 1666 года десять архиереев решили предварительно признавать православными патриархов греческих, несмотря на то что они живут под властью султана; признавать православными и греческие книги, ими употребляемые; наконец, признавать правильным Московский собор 1654 года. Вятский епископ Александр, архимандрит Спасского Муромского монастыря Антоний, игумны – Златоустовского монастыря Феоктист и Бизюкова Сергей Солтыков; монахи – Ефрем Потемкин, Сергей, Серапион, Григорий (Иоанн Неронов), поп Никита принесли собору покаяние в сопротивлении своем новоисправленным книгам и получили разрешение. Нераскаившиеся были преданы анафеме и наказаны: протопоп Аввакум заточен в Пустозерский острог; дьякон Феодор и после поп Лазарь лишены языка и сосланы туда же. В одиннадцать заседаний дело об исправлении книг было окончено: написали наставление духовенству с увещанием употреблять новоисправленные книги, а во всех спорных пунктах

относительно крестного знамения, аллилуйи и проч. сообразоваться с восточную православную церковь. Кроме того, собор рассмотрел и издал *Жезл Правления*, книгу ученого белорусского монаха Симеона Полоцкого, направленную против раскольников. Восточные патриархи, осудившие Никона, вместе с новым московским патриархом Иоасафом II подтвердили определения собора 1666 года; тут же решено было не перекрещивать латын при переходе их в православие. Антиохийский патриарх Макарий с дороги из Макарьевского Желтоводского монастыря писал в Москву к патриарху Иоасафу: «В здешней стране много раскольников и противников не только между невеждами, но и между священниками: вели их смирать и крепким наказанием наказывать».

Эти меры пришлось принять против одного из самых знаменитых монастырей в государстве. Мы уже упоминали о смуте, происшедшей в Соловках по поводу новоисправленных книг. В то самое время, как вопрос об этих книгах окончательно решался в Москве, соловецкие монахи опять напомнили о себе челобитием на нового архимандрита своего, Варфоломея, и «на угодника его, а монастырю владельца, келаря Савватия Обрютина, которые пьянственным и всяким нестройным житием устав и чин св. Зосимы и Савватия нарушили и во всю Русскую землю св. обитель сотворили бесчестну и поносну, священников и дьяконов и рядовую братию напрасно плетями бьют насмерть, в тюрьмы глухие сажают, голодом морят и, ограбив, вон высылают из монастыря, чтоб про них впредь никто ничего не говорил». В 1666 году Варфоломей был вызван в Москву и подал сказку: «В 1663 году в январе месяце призвал я в алтарь священников и дьяконов и говорил им, чтоб быть в пении и службе по указу великого государя и соборному изложению. В это время начал на меня кричать дьякон Нил: держись ты уставщика еретика попа Геронтия, да и сам ты еретик: он тебя ереси научил; Арсений Грек научил ереси патриарха Никона, а Никон научил ереси государя. За это дьякон Нил бит безо всякой пощады». Несмотря на то что Варфоломей указал причину нерасположения к себе соловецкой братии, его не хотели снова послать к ней архимандритом, дали ему другой монастырь, а в Соловецкий на его место поставили Иосифа, соловецкого же монаха.

Осенью 1666 года отправился в Соловецкий монастырь ярославского Спасского монастыря архимандрит Сергей. Он собрал монахов и прочел им указ государев, грамоты и наказ архиерейского собора. В ответ раздалась крики: «Указу великого государя мы послушны и во всем ему повинемся, а повеления о символе веры, о сложении перстов, о аллилуйи и новоизданных печатных книг не приемлем!» Тут встает Никанор, бывший архимандрит Саввина монастыря, живший в Соловках на покое; Никанор поднимает руку, складывает три первые пальца и кричит: «Это учение и предание латинское, предание антихристово, я готов пострадать! Да у вас теперь и главы, патриарха, нет, и без него вы не крепки!» «Выберите кого-нибудь, с кем бы можно было говорить без шума», – сказал Сергей монахам. «Геронтий! Геронтий!» – раздалось со всех сторон. Выступает Геронтий и начинает: «Зачем вы в молитве „Господи Иисусе!“ отъемлете сына божия?» Оратор был прерван страшным воплем: «Ох, ох! горе нам! отнимают у нас сына божия! где вы девали имя сына божия!» Когда крики утихли, Геронтий взял книгу с житием Евфросина, стал на стул, начал читать и увещевать: «Не прельщайтесь и не слушайте такового учения!» От этих речей встал мятеж и крик больше прежнего. С толпою нельзя было сладить; Сергей

попробовал поговорить с Геронтием в келье при немногих свидетелях; но и этот спор кончился ничем; Геронтий говорил: «Прежде от Соловецкого монастыря вся Русская земля всяким благочестием просвещалась и ни под каким зазором Соловецкий монастырь не бывал, яко столп и утверждение и светило сиял; вы теперь новой вере от греков учитесь, а греческих архиереев самих к нам в монастырь под начал присылают, они креститься не умеют, мы их самих учим, как креститься». Сергей, чтоб сломить противника, прибег к страшному средству; он стал спрашивать: «Великий государь царь Алексей Михайлович благоверен ли, благочестив ли, и православен ли, и христианский ли царь?» «Благоверен, благочестив и православен», – отвечал Геронтий с товарищами. Сергей продолжал спрашивать: «А повеления его, к вам присланные, православны ли?» Застигнутые врасплох, принуждаемые или к противоречию, или к произнесению страшных слов против царских повелений, противники замолчали. Сергей продолжал: «Освященный собор православен ли?» «Прежде патриархи были православны, – отвечал Геронтий, – а теперь бог весть, потому что живут в неволе, а российские архиереи православны». «Соборное повеление, с нами присланное, православно ли?» – спрашивал Сергей. «Повеления соборного не хулим, – отвечал Геронтий, – а новой веры и учения не приемлем, держимся предания св. чудотворцев и за их предания хотим все умереть».

Сергию велено было взять из монастыря книги, которые будут годны к «соборному деянию», но монахи не пустили его в *книгохранительную* палату; росписи именам своим не дали. Сергей и товарищи его все время пребывания их на острове жили за монастырским караулом, а московские стрельцы подслушали, как мирские соловецкие люди переговаривали между собою: «Которые московские стрельцы теперь здесь, в монастыре, тем мы указ учиним, и которые за монастырем в ладьях, и тех захватим, будто морем разбило: следует их побить камнем, потому что посланы от антихриста прельщать нас».

Но монахи попытались, нельзя ли отстоять свои убеждения, не прибегая к силе, не разрывая с верховною властью; они послали к царю челобитную: «Бьют челом богомольцы твои государевы: Соловецкого монастыря келарь Азарий, бывший Саввина монастыря архимандрит Никанор, казначей Варсанофий, священники, дьяконы, все соборные чернецы и вся братия рядовая и болничная и служки и трудники все. Прислан с Москвы к нам *архимандрит* Сергей с товарищи учить нас церковному преданию по новым книгам и во всем велят последовать и творить по новому преданию, а предания великих святых апостол и св. отец седми вселенских соборов, в коем прародители твои, государевы, и начальники преподобные отцы Зосима, и Савватий, и Герман, и преосвященный Филипп-митрополит, ныне нам держаться и последовать возбраняют. И мы чрез предания св. апостол и св. отец священные уставы и церковные чины пременять не смеем, понеже в новых книгах выходу Никона-патриарха, по которым нас учат новому преданию, вместо Иисуса написано с приложением излишней буквы Иисус, чего страшно нам, грешным, не точию приложити, но и помыслити» и т.д. «Милосердый государь! помилуй нас, нищих своих богомольцев, не вели *архимандриту* Сергию прародителей твоих и начальников наших, преподобных Зосимы, Савватия, Германа и Филиппа, предания нарушить, и вели, государь, нам в том же предании быть, чтоб нам врознь не разбрестись и твоему богомолию крайному и порубежному месту от безлюдства не запустеть». Вслед за этою

челобитною монахи дали знать в Москву, что они за предания великих чудотворцев готовы с радостью смерть принять, и многие старцы, готовясь на тот вечный путь, посхимились.

Никанор был вызван в Москву; но здесь, как видно, повел себя иначе, дал обещание перед собором ни в чем не прекословить и, кого прежде прельщал, тех приводить на путь истинный. В надежде на это его снова отправили в Соловки в 1667 году вместе с новым архимандритом Иосифом и старым – Варфоломеем, который ехал для сдачи монастыря. Но в июле месяце управляющий монастырем келарь Азарий и казначей Геронтий получают грамотку руки Фадейки Петрова, служки архимандрита Никанора. «Едут к вам, – пишет Фадейка, – новый архимандрит Иосиф, старый – Варфоломей и Никанор: смотрите, Иосифа к себе не принимайте, под благословение к нему не ходите и другим ходить запретите; он едет без государева указа, стакнувшись с бывшим архимандритом Варфоломеем». Грамота произвела желанное действие: Иосиф не был принят; но пуще всего досталось старому – Варфоломею: у него в соборной церкви изодрали клобук на голове, выдрали волосы; он слышал крики: «Когда собака вскочит в церковь, церковь святить надобно; а это тоже собака, хотя и ушибить его, то греха не будет, все равно что собаку ушибить».

Странная судьба царя Алексея Михайловича! Кто меньше его имел желания бороться с духовными лицами? И, несмотря на то, ему суждено было вынести на своей душе тяжелое бремя Никоновского дела и потом вести настоящую войну с Соловецким монастырем! Получив челобитную, царь посылает новые увещания; на них прежний ответ и прямо вызов на бой: «Вели, государь, на нас свой царский меч прислать и от сего мятежного жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие». Монахи вызывали мирскую власть на тяжелую борьбу, выставя себя беззащитными жертвами, без сопротивления подклоняющими головы под меч царский. Но когда в 1668 году под стенами монастыря явился стряпчий Игнатий Волохов с сотнею стрельцов, то вместо покорного подклонения голов под меч встречен был выстрелами. Такому ничтожному отряду, какой был у Волохова, нельзя было одолеть осажденных, у которых были крепкие стены, множество запасов, 90 пушек. Осада затянулась на многие годы; государство не могло послать больших сил на Белое море: страшный бунт кипел на конце противоположном.

Выход известной части народонаселения в козаки продолжался и в описываемое время и должен был еще усилиться, ибо мы видели, как тяжело было состояние народа в тринадцатилетнюю войну. После присоединения Малороссии беглые крестьяне и холопы направились было сюда; но правительство московское не хотело признавать Малороссии козацкою странною, постоянно требовало выдачи беглецов, и по-прежнему вольною *«сиротскою»* дорогою оставалась дорога на Дон, откуда не было выдачи. Но бедствия тринадцатилетней войны коснулись и Дона; крымцы загородили дорогу в море и навещали козаков в их жилищах. Азовское, Черное море заперты; чем же жить козакам, где добывать себе зипуны? Оставался один способ: переброситься на Волгу и ею выплыть в Каспийское море, погромить тамошние бусурманские берега. Но это не так было легко сделать. Прежде из Дона можно было выходить в море: Дон был в козацких руках, но устье Волги в руках у государства: оно не пустит козаков! И вот сначала образуются небольшие разбойничьи шайки на Волге; государство преследует их;



отталкиваемые от выхода в море, они естественно опрокидываются внутрь государства, ищут здесь себе союзников в низших слоях народонаселения. Сперва это движение произошло в малых размерах; но потом, найдя способного вождя, образуется огромная шайка, прорывается в Каспийское море, громит бусурманские берега, возвращается с богатыми зипунами; но как возвратиться на Дон? государство не пропускает; надобно мнимою покорностью вымолить пропуск, обязавшись не ходить вторично на море; и действительно, как идти вторично? опять государство не пропустит, опять надобно будет пробиваться силою; удастся пробиться, удастся погромить бусурманские суда и берега; но как опять возвратиться? государства уже нельзя будет обмануть во второй раз, оно возьмет свои меры. Лишенная таким образом надежды гулять по Каспийскому морю, огромная шайка опрокидывается внутрь государства в надежде воспользоваться его неприготовленностью и поднять низшие слои народонаселения на высшие. Таков смысл явления, известного в нашей истории под именем бунта Стеньки Разина. Не забудем, что то же самое произошло на западной Украине, когда Польша заперла козакам выход из Днепра в Черное море.

29 сентября 1659 года в саратовской приказной избе с озабоченным видом сидел воевода Данила Хитров; перед ним стоял прикащик московского купца Селиванова и рассказывал: «Ехал я из Астрахани на хозяйском соляном стругу вверх до Саратова, и, как был в царицынских водах от Саратова 170 верст, ночью приехали ко мне воровские козаки, человек с 80, били меня и пытали, на огне жгли, рабочих людей моих ограбили. В ту пору подплыли сверху в двух стругах черкесы, которые ехали с Москвы в Астрахань, уздени Казбулата мурзы князь Муцалова сына Черкасского, Муртоза Алексеев с товарищами; воровские козаки к тем черкесам приступали, с ними и с служивыми людьми, которые были у черкес в гребле и в провожатых, был бой долгое время, черкесов козаки всех порубили, животы взяли и пошли с Волги-реки степью на Иловлю-реку, а чтоб грабежные животы нести, взяли они рабочих многих людей, которых потом отпустили, а иные пошли сами к ним охотою в козаки».

Выслушав рассказ, воевода отправил за разбойниками 200 человек конных и пеших стрельцов по нагорной стороне; стрельцы догнали козаков на реке Иловле за день пути до Дону, побили их, двоих взяли в плен, другие ушли по Иловле крепкими местами, займищами. Пленники с пытки и огня рассказали свою историю: «Зовут нас Кондрашка Ходеряхин и Нефедка Золотарев; родились мы в Соколинском городке и пошли на Дон своею охотою, жили в *Сиротском* (!) городке. Нынешнею весною ведомость нам учинилась от проезжих торговых людей, что объявились на Волге с Дону воровские козаки; вот мы летом и пошли из городка на реку Иловлю за зверем с капканами: отпустил нас донской козак Немытовский для зипуна. На дороге встретили мы 80 человек донских козаков и пристали к ним для воровства, были с ними в двух походах, по насадам и по стругам людей грабили, прикащиков били, мучили и огнем жгли. И воровав по Волге-реке, отъезжали мы с грабежными животами в свой воровской городок на Иловле, между козачьими городками Паншинским и Иловлинским, имя ему Рига; взять его летом до зимнего пути нельзя никак потому: пришли около городка со всех сторон воды».

Когда в Москве узнали о существовании этой новой Риги, на Дон пошла царская грамота: «Вы бы послали на тех воровских козаков и велели атамана и

есаула с товарищами перехватить и привести к себе и учинить по войсковому праву казнь смертную». Царский приказ был исполнен: отряд верных козачков отправился к Риге; но воровские сели в ней насмерть, начали отстреливаться из пушек и переранили многих осаждающих; наконец последние взяли их за большим боем и подкопами, многих побили и живых захватили, городок сожгли и разорили совсем, а старшин их *забродчиков*, атаманишка Ивашку да есаулишка Петрушку с товарищи, 10 человек, привезли для вершенья к войску. Здесь собрался круг, воров расспросили и повесили, чтоб «впредь иным неповадно было так воровать, с таким воровством на Дон переходить, на войско и на всю реку напрасное *оглашенство* наводить». «Эти воруны, – писали донцы в Москву, – и на Дону во все лето торговых людей с Руси Доном ни одной будары с запасами к нам не пропустили, брали запасы у них грабежом; только бы, государь, да не твоя милость и жалованье, то нам пришлось бы с голоду помирать».

Рига была взята; но вести о козацких разбоях на Яике и на Каспийском море не прекращались, потому что донцы не переставали жаловаться: «Теперь у нас на Дону добычи никакой нет, на море ходить стало нельзя, реку Дон и Донец с нижнего устья крымский хан укрепил, государева жалованья на год не станет». Летом 1666 года искатели зипунов затеяли дело поопаснее волжских разбоев. Шайка в 500 человек под начальством атамана Васьки Уса разбойничала в воронежских и тульских местах, подговаривала крестьян и холопей, разоряла помещиков и похвалялась всяким дурном. Донцы писали государю, что они учинили Усу с товарищами наказание жестокое без пощады. Наказание не подействовало, если только было учинено: Ус приготавлился к новым подвигам в том же роде; но тут он явился уже на втором плане.

Был в донском войске козак известный, ловкий, Степан Тимофеевич Разин, был он росту среднего, крепкого сложения, лет около сорока. Весною 1661 года войско посылало его к калмыкам уговаривать их быть заодно с донцами, служить государю на крымского хана. Возвратясь от калмыков, осенью того же года Степан Тимофеевич явился в Москву: он отправлялся на богомолье в Соловецкий монастырь. Такое благочестие не было диковиною между козаками: «за многие войсковые службы, за кровь и раны» пожалован им был в Шацком уезде Чернеев монастырь; козаки его строили, многие вклады давали, а старики и раненые постригались в нем.

Прошло пять лет – о Разине нет слухов. Но вот в 1667 году астраханские воеводы получают царскую грамоту. «В Астрахани и в Черном Яру живите с великим береженьем, – писал государь, – на Дону собираются многие козаки и хотят идти воровать на Волгу, взять Царицын и засесть там». Грамота объясняет, отчего происходит это козацкое движение: «Во многие донские городки пришли с украины беглые боярские люди и крестьяне с женами и детьми, и оттого теперь на Дону голод большой». Кто же был атаманом этой толпы, питавшей такие опасные замыслы? Наш знакомый паломник Степан Разин! Как же произошло это чудесное превращение из странника в разбойничья атамана?

Иностранные известия говорят, что брат Разина, находясь со своим козацким отрядом при войске князя Юрия Долгорукого, просил у воеводы отпуска на Дон; воевода отказал, и козаки ушли самовольно; но их догнали, закон определял смертную казнь беглецам со службы, и Долгорукий исполнил закон. Разин был

повешен, и двое братьев его, Степан и Фрол, задумали отомстить боярам и воеводам.

Не знаем, верить ли этому известию иностранцев? Ни акт правительственный, ни дума народная его не подтверждают. Притом же дело объясняется и без того так просто.

Разин был истый козак, один из тех стародавних русских людей, тех богатырей, которых народное представление еднает с козаками, которым обилие сил не давало сидеть дома и влекло в вольные козаки, на широкое раздолье в степь, или на другое широкое раздолье – море, или по крайней мере на Волгу-матушку. Мы уже видели, что это был за человек Разин; весною сходит он в посольстве к калмыкам, а осенью готов уже идти на богомолье на противоположный край света, к Соловецким: «Много было бито, граблено, надо душу спасти!» Воротился Разин с богомолья на Дон, на Дону тесно, точно в клетке, а искателей зипунов, голутьбы накопилось множество. Все они, и русские, и козаки, и хохлачи, говорили, что им идти на Волгу воровать, а на Дону жить им не у чего: государева жалованья в дуване досталось по кусу на человека, а иным и двоим кус, денег по 30 алтын, сукна по два аршина человеку, а иным по аршину, и этим прокормиться нечем, а тут еще на море путь заперт, и зипуна достать стало негде. Разин принял начальство над голутвенными и рванулся было в море Доном, но сами донцы загородили эту дорогу, потому что были в мире с азовцами. Отброшенный снизу, Разин поплыл вверх по Дону, туда, где эта река близка к Волге; воронежцы, посадские люди Иван Горденев и Трофим Хрипунов, ссудили его порохом и свинцом; и от многих воронежцев было воровство: порох и свинец привозили и вора́м продавали, а у них покупали рухлядь. Да и не воровать воронежцам было нельзя, говорили современники, потому что у многих на Дону сродичи.

Снова поднялись козаки, поднялась и новая Рига между рек Тишины и Иловли, близ Паншинского городка; стоял Разин на высоких буграх, а кругом его полая вода: ни пройти, ни проехать, ни проведать, сколько их там, ни языка поймать. Подъехали было посланцы царицынского воеводы, протопоп да монах, и воротились назад: за водою проехать нельзя, а перевезти их никто не смел.

Разин сидел в своем гнезде, пока добыча стала показываться на Волге. Поплыл вниз большой караван: тут был казенный струг с ссыльными, ехавшими на житье в Астрахань, был струг знаменитого московского богача Шорина с казенным хлебом, был струг патриарший и струга других лиц. Стрельцы провожали караван: но стрельцы не тронулись, когда нагрянул на них Стенька с 1000 своей голутьбы. Ладя с государевым хлебом пошла ко дну, начальные люди лежали изрубленные, с почернелыми от огненной пытки телами, или качались на виселицах; старинный соловецкий богомолец сам переломил руку у монаха патриаршеского; не тронули работников, ярыжек, дали волю куда хотят; 160 ярыжек пристало к Разину, и с ними патриарший сын боярский Лазунка *Жидовин*, ссыльные были раскованы, и стали они всяким людям чинить всякое разоренье, мучить и грабить пуще прямых донских козаков.

Народное воображение разыгралось: счастливый атаман вырос, превратился в чародея, которого пуля не брала, которому ничто не могло противостоять. Стенька плыл мимо Царицына, воевода велел стрелять по воровским судам: ни одна пушка не выстрелила, запалом весь порох выходил. Воевода обомлел от ужаса, и когда

явился к нему есаул от Разина, то он исполнил все его требования: отдал наковальню, мехи, кузнечную снасть.

Настращав царицынского воеводу, Стенька поплыл дальше; плыл он теперь на тридцати пяти стругах; вместо тысячи было уже у него 1500 человек, проплыл мимо Черного Яра, ограбил, прибил, высек плетью встретившегося ему воеводу Беклемишева, выплыл морем к устью Яика, где уже ждали его свои: старый богомолец, взявши с собою сорок человек, подошел к воротам Яицкого городка и послал к стрелецкому голове Яцыну, чтоб пустил их в церковь помолиться; Разин с товарищами был впущен, ворота за ним заперли, но он уже был хозяином в городке: товарищи его отперли ворота и впустили остальную толпу; Яцын с своими стрельцами не сопротивлялся, но и не приставал явно к ворам. Это не понравилось атаману: вырыли глубокую яму, у ямы стоял стрелец Чикмаз и вершил своих товарищей, начиная с Яцына: сто семьдесят трупов попадало в яму. Зверь насытился и объявил остальным стрельцам, что дает им волю: хотят – остаются с ним, хотят – идут в Астрахань. Одни остались, другие пошли; но при виде людей, которые уходили, не сочувствуя искателям зипунов, уходили, чтоб увеличить средства страшного и ненавистного государства, Стенька снова расsvирепел и поплыл в погоню за ушедшими; козаки нагнали стрельцов и начали им кричать, чтоб были с ними вместе; видя, что они не слушаются, воры начали их рубить и бросать в воду; тогда некоторые послушались и пристали к козакам, другие успели спрятаться в камышах.

Стенька расположился надолго в Яицком городке. Осенью его голутьба успела еще позаняться козацким делом: погромили татар в устьях Волги, пограбили на море бусурманские суда. В ноябре приехали в Яицкой гости, посланцы с Дону, привезли грамоту великого государя и войсковую отписку с увещанием отстать от воровства и возвратиться на Дон. Собрался круг, прочли и царскую грамоту, и войсковую отписку. «Когда вперед ко мне государева грамота придет, – сказал Разин посланным, – то я великому государю вину свою принесу». С этим посланные и отправились назад, на Дон. Они возвратились по крайней мере все целы. Не так были счастливы посланцы нового астраханского воеводы, князя Ивана Семеновича Прозоровского, посланного на смену князя Хилкова. С дороги из Саратова Прозоровский отправил к Разину двоих посланцев с увещаниями принести свои вины: один посланный возвратился в Саратов, а другого ночью Разин убил и бросил в воду.

Проходила зима. Голутьбе было привольно в Яицком: они завели дружбу с соседними калмыками, торги между ними были беспрестанные. Между тем весть о счастье Разина, которому удалось перекинуться на Яик, засесть в государевом городке, добыть свободный выход в море, – эта весть волновала Дон: в Войске и во всех низовых городках воровские козаки собирались многим собранием, чтоб идти на Волгу к Царицыну, грозя побить атамана Корнила Яковлева и старшин, которые не одобряли их намерения. Товарищи Разина ждали своих, но вместо своих пришли государевы ратные люди. Старый астраханский воевода князь Хилков прежде сдачи должности своему преемнику хотел промыслить над ворами и отправил к Яицкому степью товарища своего Якова Безобразова; но прежде чем начать промысл, Безобразов послал к Стеньке двоих стрелецких голов для *сговору*, чтоб козаки добились челом и шли на Саратов к новому воеводе, князю Прозоровскому. Несчастных посланцев ждала виселица в Яицком; Безобразов

начал промышлять над нераскаянными ворами, но промысл был неудачен: больше пятидесяти человек стрельцов и солдат было у него побито, некоторые перешли к ворам, и весной 1668 года Стенька уже гулял по морю, направляясь к шаховой области.

Стенька ушел в море; но Волга не осталась покойна, воровской путь был указан. Толпа человек в 700 собралась на Дону под начальством Сережки Кривого и перекинулась на Волгу, царицынские служилые люди ей не помешали. На переем Кривому отправился из Астрахани письменный голова Аксентьев; он нагнал козаков и схватился с ними ниже Красного Яру, на Карабузане: Кривой одолел государевых людей, и 100 человек стрельцов передались к ворам; Аксентьев ушел в лодки с небольшими людьми, но солдатского строю поручик-немец и стрелецкий пятидесятник попались в плен и были повешены за ноги, других пленных били ослопьями и посажали в воду. Победители ушли на море, к Разину. В июне пришла весть в Астрахань, что в 50 верстах от козачьих гребенских городков стоят 100 человек донских конных козаков с атаманом Алешкою Протокиным, на Куме 400 и ждут с Дону Алешку Каторжного с 2000 казаков; во многих городах, на Дону и на Хопре, козаки похвалялись идти на Волгу, похвалялись идти прямо на Царицын и сделать лучше, чем сделал Разин и Сережка Кривой.

Но это была только похвальба, у хвастунов недоставало атамана, недоставало другого Разина, и они должны были ждать, пока Степан Тимофеевич возвратится из своего морского похода. Разину хорошо гулялось по морю; он страшно разорил берег от Дербента до Баку и, достигнув Решта, предложил свою службу шаху, прося земель для поселения. Переговоры затянулись; жители Решта напали врасплох на козаков и убили у них 400 человек. Разин отплыл от Решта и жестоко отомстил свое поражение на Фарабате: он дал знать жителям, что приплыл к ним для торговли, торговал пять дней, на шестой поправил шапку на голове: это был условленный знак: козаки бросились на беззащитную добычу и разделались с нею по-козацки. Нахватавши много пленных, Стенька укрепился на зимовку на острове и завел с персиянами размен невольников: за трех и четырех христиан козаки давали по одному персиянину.

Весною 1669 года Разин перекинулся на восточный берег моря, погромил Трухменские улусы, но потерял удалого товарища – Сережку Кривого. Козаки расположились на Свином острове, с которого делали набеги на твердую землю; тут в июле месяце напал на них персидский флот с 4000 войска и потерпел совершенное поражение, только три судна успели спастись с предводителем Менеды-ханом; но сын и дочь его попали в плен к победителям, и дочь ханская сделалась наложницею счастливого атамана.

«Но не все же будет счастье!» – мог думать атаман в минуту трезвости. Вечно странствовать по Каспийскому морю нельзя, берега опустошены, хлеба нет, часто воды нет, и от соленой воды козаки заболевают, их уже недосчитывалось 500 человек, а персы могли выслать вместо 4000 и 8000, 10000. Долго оставаться на море козакам было дело необычное: погромивши берега и суда, они привыкли возвращаться домой, на пресловутую реку Дон. Но как возвратиться? чрез области государства, с которым было поступлено так враждебно? Делать было нечего, надобно было помириться с государством, принести повинную.

В начале августа в Астраханском государстве снова услышали о Разине: прибежал митрополичий сын боярский с митрополичьего учуга с вестью, что учуг пограблен козаками: вслед за ним явился персидский купец с вестью, что козаки ограбили его судно, взяли в плен его сына, захватили подарки, которые он вез великому государю. В тот же день отправилась против воров государева рать: второй воевода князь Семен Иванович Львов поплыл с 4000 стрельцов на тридцати шести стругах. Но мы знаем постоянное поведение московского правительства относительно козаков: прощать, как только будет принесена повинная; слабость государства условливала существование козаков подле него, условливала безнаказанность их воровства. Увидавши государевы суда, козаки убежали в море; Львов гнался за ними двадцать верст, утомился и послал милостивую царскую грамоту. Стенька воротился, и начались переговоры; к воеводе явились двое выборных козаков. «Все войско бьет челом, – говорили они, – чтоб великий государь пожаловал, велел вины их отдать и отпустить на Дон с пожитками, а мы за свои вины ради великому государю служить и головами своими платить, где великий государь укажет; пушки, которые мы взяли на Волге в судах, в Яицком городке и в шаховой области, отдадим, служилых людей отпустим, а струга и струговые снасти отдадим в Царицыне». Князь Семен велел этих двух козаков привести к вере за все войско и поплыл назад в Астрахань, за ним плыл Стенька с своими *голутвенными*, теперь разбогатевшими от частых дуванов.

25 августа в Астраханском государстве было большое торжество: в приказной избе сидел воевода; туда же шел Разин с товарищами; подойдя к избе, козаки положили бунчук, знамена, сдали пленных персиян, объявили, что и пушки отдадут, и русских служилых людей отпустят без задержки. Разин бил челом пред воеводою, чтоб великий государь велел отпустить их на Дон, а теперь бы шестерых выборных из них отправить в Москву бить великому государю за вины свои головами своими. Выборные были отправлены. В Москве их спросили: «Пошли вы с Дону на такое воровство и то учинили, забыв страх божий и великого государя крестное целование: так теперь скажите правду – на такое воровство где у вас зачалась мысль? и кто у вас в той мысли в заводе был?» «На Дону нам начала быть скудость большая, – отвечали козаки, – на Черное море проходить стало нельзя: сделаны турецкими людьми крепости, и мы, отобравшись, охочие люди, пошли на Волгу, а с Волги на море, без ведома войскового атамана Корнила Яковлева, а начальный человек к тому делу был у нас Стенька Разин». По указу царскому козакам вины их выговорены и сказано, что великий государь по своему милосердому рассмотрению пожаловал, вместо смерти велел дать им живот и послать их в Астрахань, чтоб они вины свои заслуживали.

Но козаки отведали широкого раздолья и богатых дуванов: тяжело им было вины свои заслуживать, не слуги они были больше государству. На возвратном пути в Астрахань, за Пензою, в степи, за рекою Медведицею, козаки напали на своих провожатых, прибили их, отняли лошадей и помчались в степь бездорожно. «В Астрахань не поедем, боимся государева гнева», – говорили они. Они проведали, что Разин отпущен на Дон.

Перед отпуском на Дон воеводы хотели рассчитаться с Разиным; но мы знаем, как труден был расчет с козаками: отдать даром добычу, приобретенную саблею, было хуже всего для козаков; мы видали уже и прежде, как дерзко

отказывали они правительству, требовавшему безвыкупного освобождения пленных. Воеводы начали приступать к Разину и товарищам его, чтоб дали себя переписать да чтоб отдали все пушки, дары, которые персидский купчина вез государю, все его товары и всех пленных персиян. «Товары, – отвечал Разин, – у нас раздуванены, после дувану у иных проданы и в платье переделаны, отдать нам нечего и собрать никак нельзя; за все это идем мы к великому государю и будем платить головами своими; полон в шаховой области взят у нас за саблею, много нашей братаи за тот полон на боях побиты и в полон взяты, и в разделе один полонянин доставался пяти, десяти и двадцати человекам. А что нас переписывать, то переписка козакам на Дону и Яике и нигде по нашим козачьим правам не повелась, и в милостивой государевой грамоте не написано». Стенька отдал 21 пушку и морские струга, но 20 пушек удержал у себя. «Эти пушки, – говорил он, – надобны нам на степи для проходу от крымских, азовских и всяких воинских людей, а как дойдем, то пушечки пришлем тотчас же».

Воеводы не настаивали больше, велели персиянам выкупать своих пленных у козаков беспошлинно. «Взять этот полон без окупы, взять силою у козаков дары, которые вез шахов купчина, и товары его мы не смели, – писали воеводы в Москву, – мы боялись, чтоб козаки вновь шатости к воровству не учинили и не пристали бы к их воровству иные многие люди, не учинилось бы кровопролитие».

Воеводы были правы, ибо государство было слишком слабо в застепной украине, широком раздолье козачества. Мы уже знаем, какое очарование в молодом русском обществе производил козак и его вольная, удалая жизнь. Поэтические представления тогдашнего русского человека, отрывавшие его от повседневной, однообразной жизни, переносившие его в иной, фантастический мир, – эти поэтические представления сосредоточивались главным образом около козака и его подвигов; старинные богатыри народных песен и сказок превратились в козаков, и все чудесное, соединявшееся с представлением об Илье Муромце и его товарищах, естественно, переходило теперь к козакам, которые выдавались вперед своею удалью. Русь, особенно низшие слои народонаселения, и в XVII веке жила еще понятиями IX и X веков; вспомним, какое впечатление произвел на киевлян старый Олег, когда возвратился с моря с богатою добычею, погромив греческие берега: вещим, чародеем прозвал его народ. Вещим, чародеем явился и богатый Разин астраханцам: «По истине Стенька Разин богат приехал, что и невероятно быти мнится: на судах его веревки и канаты все шелковые и паруса также все из материи персидской шелковые учинены». То же самое рассказывалось и о судах Олеговых и внесено в летопись. Легко понять, какое впечатление в низших слоях тогдашнего общества должно было производить появление козака, вольного молодца, о котором так много рассказывалось и пелось и который мог сам о себе так много рассказать. Среди этой однообразной и бедной во всех отношениях жизни являлся козак, богато, роскошно, ярко одетый, он звенит оружием, звенит деньгами, деньги ему нипочем, он гуляет, и вся жизнь его представляется как непрерывная гульба. Понятно, какое впечатление производило это на людей, которым более других хотелось погулять, которым их собственная жизнь представлялась непрерывною тяжелою, печальною работою. А прелесть добычи, так искусительно действовавшая на человека тогдашнего общества! Мы видели, что торговые люди, приехавшие на Дон для мирных промыслов, как скоро узнавали о сборе донцов в поход, бросали свою торговлю и

шли вместе с козаками за зипунами. Кроме прелести добычи прелесть подвига, дававшего выход силам, беспокойно, тяжело и празднично волновавшим человека. И не забудем, что описываемые события происходили в Астраханском государстве, в степной Украине, где постоянно пахло козацким духом, на этой подвижной почве, где было так мало установленного, где еще продолжалось время, пережитое Европой в начале средних веков, – время хаотического брожения народных сил, время образования дружин.

Самое сильное обаяние, разумеется, козацкий дух производил на стрельца. Стрелец вышел из тех же слоев общества, как и козак, он человек военный, привык владеть оружием, но он недисциплинирован как солдат, он полукозак, и легко понять, как при первой встрече с настоящим вольным козаком, при первой возможности повоевать на себя, т.е. пограбить, добыть зипун, стрелец бросает знамена государства и присоединяется к козакам. А вся сила астраханских воевод основывалась на стрельцах, и воеводы были сто раз правы, не употребляя крутых мер с Стенькою, желая как можно скорее выпроводить его на Дон, удалить страшное искушение от своих подвластных.

Искушение было действительно страшное: козаки расхаживали по городу в шелковых, бархатных кафтанах, на шапках жемчуг, дорогие камни; они завели торговлю с жителями, отдавали добычу нипочем: фунт шелку продавали за 18 денег. А он-то, богатырь, чародей, державший в могучих руках всех этих удалцов, козацкий батюшка, Степан Тимофеевич! прямой батюшка, не то что воеводы и приказные люди: со всеми такой ласковый, а уж добрый-то какой, кто ни попроси – нет отказа! Степана Тимофеевича величали как царя: становились на колени, кланялись в землю. И ничто не было пощажено, чтоб усилить обаяние. Но чем производилось тогда самое сильное обаяние? Широкостью размеров во всем, чудовищною силою, чудовищною властью; могучее обаяние производил человек, которому все было нипочем, который не сдерживался ничем, никакими привязанностями, никакими отношениями, который дикими выходками своего произвола озадачивал, оцепенял простого человека, низлагал, поработал его. Таковы обыкновенно понятия неразвитых обществ о силе и власти; во сколько общество образованное требует меры и ненавидит безмерие, во столько необразованное увлекается последним, ибо здесь молчит ум и тем сильнее разыгрывается воображение; выходки слепой силы, бесчувственного насилия всего более его поражают, для него сильный человек прежде всего не должен быть человеком, а чем-то вроде грома и молнии. И козацкий батюшка Степан Тимофеевич как нельзя больше приходился по этим понятиям, был как нельзя больше способен обаять толпу своею силою, своим произволом, ничем не сдерживающимся. Однажды Разин катался по Волге; подле него сидела его наложница, пленная персиянка, ханская дочь, красавица, великолепно одетая. Вдруг пьяный атаман вскакивает, хватает несчастную женщину и бросает ее в Волгу, приговаривая: «Возьми, Волга-матушка! много ты мне дала серебра и золота и всякого добра, наделила честью и славою, а я тебя еще ничем не поблагодарил!»

Четвертого сентября Разин отправился из Астрахани; до Царицына отпущен был с ним в провожатых жилец Леонтий Плохово, а от Царицына до Паншина городка должен был провожать сотник с 50 стрельцами. При отпуске воеводы наказывали козакам, чтоб они дорогою никаких людей с собою на Дон не



подговаривали, а которые сами станут к ним приставать, тех бы не принимали и опалы государевой на себя не наводили. На Черный Яр и в Царицын послана была грамота, чтоб там козаков в города не пускали, вина им не продавали, чтоб у козаков с городскими и сельскими жителями никакой ссоры и никакого дурна не было. Но скоро воеводы получили известия, что козаки не думают исполнять их наказа, буйствуют по дороге, останавливают струга, подговаривают к себе стрельцов. Воеводы послали приказ Плохово – выговорить Стеньке и его товарищам их дурости. Но в ответ пришло известие о новых, больших дуростях.

1 октября приплыл Стенька к Царицыну. Хорошо было астраханским воеводам давать приказания царицынскому воеводе Андрею Унковскому, чтоб не пускал козаков в город: но какие у последнего были средства не пускать козаков? Гости без всякого сопротивления вошли в город. Астраханские воеводы писали также, чтоб не продавать вина козакам: но опять, какие средства для этого у воеводы царицынского? Чтоб удержать козаков от пьянства и его следствий – ссор с жителями, Унковский мог придумать одно – велел продавать вино по двойной цене. Но дорого поплатился воевода за это распоряжение. Козаки завопили на притеснение; обязанность атамана – заступиться за своих; а тут еще подлили масла в огонь. «Воевода этот, – говорили козаки, – уже давно нас притесняет: которые наша братья приезжают с Дону на Царицын за солью, у тех он берет с дуги по алтыну; да у наших же козаков он отнял у одного две лошади с санями и хомутами, у другого пицаль». И вот Разин двинулся с своею толпою на воеводский двор, грозясь зарезать Унковского; дверь у горницы уже была выбита бревном; воевода выкинулся из горницы в окно, вышиб себе ногу, но успел спрятаться. Стенька искал его по всем хоромам, искал в соборной церкви, в алтаре. Не нашедши воеводу, Разин велел сбить замок у тюрьмы и выпустить колодников. Когда козаки схлынули, Унковский вышел из места своего убежища и сел в приказной избе, но не долго насидел покойно: в избу явился козачий старшина, запорожец, навеселе и не мог отказать себе в удовольствии поругать воеводу всякою неподобною бранью и подрать его за бороду. Но этим дело не кончилось: сам Степан Тимофеевич, узнав, что воевода в приказной избе, шел с ним разделаться; Унковский спрятался в задней избе. Дело, впрочем, обошлось без крови: воевода заплатил козакам деньги за лошадей и за пицаль, и Стенька удовольствовался острасткою. «Если ты, – сказал он воеводе, – станешь вперед нашим козакам налоги чинить, то тебе от меня живу не быть». Объявились и другие обычные козацкие дурости: ехал на частном струге сотник, посланный из Москвы в Астрахань с государевыми грамотами; ночью козаки напали на него, струг пограбили, государевы грамоты пометали в воду. Леонтий Плохово, расставаясь с Стенькою в Царицыне, говорил ему, чтоб выдал беглых и подговорных людей. «У козаков того не повелось, что беглых людей отдавать», – отвечал Разин и не отдал. С тем же требованием выдачи беглых явился посланец от самого наибольшего воеводы, астраханского князя Прозоровского. Посланный приправил требование угрозою; Стенька вспыхнул. «Как ты смел прийти ко мне с такими речами? – закричал он. – Чтоб я выдал друзей своих? Скажи воеводе, что я его не боюсь, не боюсь и того, кто повыше его; я увижусь и рассчитаюсь с воеводою. Он дурак, трус! Хочет обращаться со мною как с холопом, но я прирожденный вольный человек. Я сильнее его; я расплачусь с этими негодьями!»

Это не была простая угроза: это был прямой вызов. Стенька был действительно сильнее Прозоровского, но что ему было делать с своею силою? она исчезнет без употребления, исчезнет и значение Разина, его атаманство. Но куда употребить силу? К Азову турки не пустят; опять пробиться на Каспийское – можно, но как возвратиться? в другой раз уже не обмануть государства! И вот Стенька опрокидывается на государство; где же средства для борьбы? поднять всех голутвенных против бояр и воевод, поднять крестьян и холопей против господ. Васька Ус уже указал дорогу.

По известному обычаю, Стенька сделал земляной городок между Кагальником и Ведерниковом, перезвал к себе сюда из Черкаска жену и брата Фрола. Дон разделился: в Черкаске сидело старое войсковое правительство, атаман Корнило Яковлев с старшиною; но сильнее его был атаман нового войска, Степан Разин, который сидел в своем новом городке и которого силы увеличивались со дня на день. Вести о подвигах батюшки Степана Тимофеевича, о богатой добыче разнеслись быстро: Разин распустил донских жильцов на сроки за крепкими поруками в козачьи городки для свидания с родственниками и для исполнения обязательств; мы видели уже, что в козачестве был такой обычай: домовитые козаки ссужали оружием и платьем голутвенных, которые отправлялись за добычею, с условием, чтоб по возвращении добыча была разделена пополам. Теперь Стенькины сподвижники делили добычу с своими *посыльщиками*. Добыча была богатая, и вот охотники до зипунов потянулись со всех сторон к счастливому вождю: шли к Разину голутвенные из донских и хоперских городков, гулящие люди с Волги, черкасы запорожские; и не нужно им было ни у кого ссужаться: батюшка Степан Тимофеевич принимал каждого с распростертыми объятиями, ссужал и уговаривал всячески. В ноябре месяце было у него уже 2700 человек. Беспреданно говорил он им, чтоб были готовы, но куда будет поход – про то знали немногие козаки, и у них никакими мерами доведаться о том было нельзя. Старое правительство войсковое, бывшее в Черкаске, старые козаки сильно тужили: «Приехали в Черкасск из Азова присыльщики для заключения перемирья; козаки им отказали и объявили прямо причину: приехал Стенька Разин с товарищами, и если он мимо нас сделает над Азовом какое дурно, то вы нам, козакам, вперед ни в чем верить не станете». Не знали, что делать, Корнило Яковлев с товарищами: принимать ли Стеньку в войско или промысл над ним чинить? Решили послать за этим нарочно к великому государю бить челом об указе. Но Разин спешил вывести их из нерешительного положения.

Весною 1670 года, в Фомино воскресенье, приехал на Дон жилец Герасим Евдокимов с царским милостивым словом; атаман Корнило Яковлев созвал круг. Евдокимов был принят честно, грамоту вычли, на государственной милости челом ударили и объявили посланному, чтоб он был готов к отъезду: его скоро отпустят назад к великому государю вместе с козацкою станицею, как водилось. Но в понедельник явился в Черкасск другой гость, Степан Тимофеевич Разин, и когда во вторник Корнило Яковлев созвал круг для выбора станицы в Москву, то пришел и Разин с своими голутвенными. «Куда станицу выбираете?» – спросил он. «Отпускаем с жильцом Герасимом к великому государю», – был ответ. «Позвать Герасима сюда!» – закричал Разин, и приказ немедленно был исполнен, побежали за Евдокимовым и привели в круг. «От кого ты поехал, от великого государя или от бояр?» – спросил его Разин. «Послан я от великого государя с

милостивою грамотою», – отвечал тот. «Врешь! – закричал Стенька. – Приехал ты не с грамотою, приехал к нам лазутчиком, такой-сякой!» – бросился бить Евдокимова и, избивши до полусмерти, велел бросить в Дон. «Непригоже ты так учинил», – отозвался было атаман Корнило Яковлев. «И ты того же захотел, – закричал на него Разин, – владей своим войском, а я владею своим!» Атаман замолчал, видя, что не его время; Разин с голутвенными начал господствовать в Черкасске. Несколько добрых козаков возвысили было голос и отведали донской воды. Разин начал сбивать с Дону священников, этих подозрительных для него «царских богомольцев»; церковь составляла связь козачества с государством, и вот Разин износит хулу на церковь; после, пожалуй, он опять пойдет к соловецким: «Смолоду было много бито, граблено, под конец надо душу спасти!», но теперь Разину было не до богомолья, дикие силы кипели в нем и требовали выхода; козак гулял и не верил ни во что, «верил только в свой червленый вяз», как богатырь старой песни. Говорят, Стенька венчал голутьбу, заставляя их плясать вокруг дерева. Это не была новость: кто не знал песни, как богатыри «круг ракитова куста венчались»?

Из Черкаска Разин отправился вверх, в Паншин городок, куда пришел к нему знаменитый Васька Ус с толпою голутвенных. Всего набралось тысяч с семь козаков. Собрался круг, и атаман объявил, что идет судами и конями под Царицын. На другой день войско выступило, через два дня, ночью, подошло к Царицыну, и, как только началась занимать заря, козаки с сухого пути и с реки обступили город. Здесь начали бить в набат, выстрелили раз из пушки, но уже пять человек царицынцев перекинулись к козакам и объявили Стеньке, сколько в городе казны, запасов, какие крепости. Оставив Уса осаждать город, Стенька отправился за тридцать верст, погромил едисанских татар и привел под Царицын пленных, пригнал лошадей, животину. Между тем 13 апреля в табор к Ваське Усу явились еще пять человек царицынцев с просьбою позволить им выходить из города, брать воду, выгонять скот на пастбище. «Уговаривайте воеводу, – отвечал Ус, – чтоб он город отпер, а если он заупрямится, то вы сами отбейте городской замок». В тот же день приказание было исполнено: ворота отворились, и воевода Тургенев с племянником своим, прислугою, десятком московских стрельцов и тремя человеками царицынцев заперся в башне. В городе начались пиры, попойки с козаками, сам Разин приехал в город и угостился допьяна. В этом виде он повел козаков на приступ к башне и взял ее после долгого боя. Несчастный Тургенев достался живой козакам, и на другой день они угостили себя приятным зрелищем: привели Тургенева на веревке к реке, прокололи копьем и утопили.

Стенька укрепил Царицын, созвал круг и объявил свой широкий замысел: идти вверх по Волге под государевы города, выводить воевод, или идти к Москве против бояр. Козаки закричали в ответ, что полагаются на слово своего батюшки атамана. Но скоро оказалось препятствие: пришла весть, что астраханский воевода князь Прозоровский высылает людей к Черному Яру. Стенька тотчас выслал конную станицу для проведыванья; посыльщики возвратились и сказали, что в Черном Яру стоит астраханская рать; но вслед за этим другая весть, что сверху идут московские стрельцы к Царицыну. Стенька не унывал, зная, что ни из Астрахани, ни из Москвы не может быть послано много войска; он бросился на московских стрельцов, которых было 1000 человек под начальством Лопатина. Стрельцы стояли спокойно на Денежном острове, в семи верстах от Царицына,

как вдруг пули посыпались на них с двух сторон: с луговой стороны напал в судах сам Разин, а с нагорной конные козаки; несмотря на превосходную силу козаков, которых было тысяч с пять, стрельцы начали пробиваться к Царицыну, думая, что оттуда будет им выручка; но только что они подплыли под город, как оттуда встретили их пушечными ядрами. 500 стрельцов было убито, остальных разобрали под городом. Лопатин с другими начальными людьми имел участь Тургенева; более 300 стрельцов Стенька посажал на свои суда в гребцы неволею, они слышали от козаков удивительные слова: «Вы бьетесь за изменников, а не за государя, а мы бьемся за государя».

Московских стрельцов надобно было доставать боем; астраханские передались без сопротивления; в Астрахани уже работали разинские посланцы, и легко им было там работать: почва была удобная и подготовленная прежним пребыванием Стеньки. Навстречу ворами плыли 2600 стрельцов и 500 вольных людей под начальством товарища воеводского князя Семена Ивановича Львова; но только что у Черного Яра показались воровские суда, как все стрельцы взволновались и начали вязать начальных людей, громко приветствуя своего батюшку Степана Тимофеевича, своего освободителя. Разин отвечал им обещаниями вольной, богатой, разгульной жизни; восторженные крики не прерывались, и под эти крики падали обезображенные трупы начальных людей. Но уцелел как-то воевода князь Львов.

Вести, полученные от стрельцов, переменили намерение Разина: сперва он хотел идти под верхние государевы города, там переводить воевод; теперь он узнал, что в Астрахани *свои* ждут его с нетерпением и сдадут город, только что покажутся удалые. Стенька поплыл к Астрахани.

Здесь давно уже ждали чего-то недоброго: давно были напуганы знаменами, шумом в церквях, точно колокольный звон, землетрясениями. С 25 мая, с того дня, как отправился князь Львов с стрельцами, между астраханцами начался ропот и непослушание воеводе, и вот 4 июня приходит страшная весть, что стрельцы передались Разину. Князь Прозоровский не потерял духа и начал сколько мог хлопотать об укреплении города. Помощником ему в этом деле был немец Бутлер, капитан первого русского корабля «*Орел*», стоявшего в Астрахани. В тот же день воевода велел Бутлеру пересмотреть все пушки по валам и раскатам и корабельным людям приказал быть у наряда. На другой день, 5–10 числа, волнение между астраханцами усилилось: как видно, и в народе узнали уже об измене стрельцов. 9 июня Прозоровский велел Бутлеру осмотреть каменный город, а на другой стороне вала хлопотал англичанин, полковник Фома Бойль; вал и раскаты починивали, везде расставили крепкий караул, стрельцы всю ночь стояли по валам: в Нижней башне стояли персияне, калмыки, черкесы. 13 июня ночью караульные стрельцы увидели, как надо всею Астраханью отворилось небо и просыпались из него на город точно печные искры. Стрельцы побежали в собор и рассказали об этом митрополиту Иосифу. Тот долго плакал и, возвратившись в келью от заутрени, говорил: «Излиялся с небеси фиал гнева божия!» Иосиф имел право не ждать ничего доброго от козаков, зная их очень хорошо. Он был родом астраханец; восьми лет он был свидетелем неистовств, которые позволяли себе козаки Заруцкого в Астрахани, как бесчестили архиепископа Феодосия за то, что называл их ворами, как перебили всех его дворовых, разграбили дом, самого посадили в Троицком монастыре в каменную тюрьму. Иосиф на самом себе носил

тяжелый знак памяти от этого страшного времени: голова его постоянно тряслась от удара, нанесенного ему козаками.

Прозоровский, услышав о видении, также заплакал: он не ждал ничего доброго от стрельцов и астраханцев и хотел по крайней мере приласкать иноземцев: 15-го числа он позвал к себе обедать Бутлера, подарил ему кафтан из желтого атласа, нижнее платье, белье, велел приходить каждый день обедать.

Но в то время как воевода задабривал Бутлера, стрельцы искали только предлога к возмущению. Они являются к воеводе и требуют жалованья за прошлый год. «Казны великого государя из Москвы еще не бывало, – отвечал Прозоровский, – разве что даст от себя взаймы митрополит или из Троицкого монастыря, и я вам роздам, по сколько придется, чтоб вам богоотметника и изменника Стеньки Разина не слушать и радеть великому государю». Объяснившись так откровенно с стрельцами, Прозоровский идет к митрополиту: «Как быть? надобно дать, иначе беда!» «Надобно дать, – отвечает митрополит, – злоба велика, прельстились к богоотступнику!» – и вынес своих келейных денег 600 рублей, да из Троицкого монастыря велел взять 2000. Воевода роздал эти деньги стрельцам; предлог к возмущению исчез, но не исчезло желание, и с нетерпением ждали батюшки Степана Тимофеевича.

И вот пошли толки о новом знамени: ранним утром караульные стрельцы увидели три столпа разноцветных, точно радуга, а наверху три венца. Видел и сам митрополит Иосиф. Не к добру! Не к добру и то, что в Петровки, когда бывало негде деться от жара, теперь ходят все в теплом платье: холод, дожди с градом!

22-го числа воровские козаки уже были в виду города. Стенька стал у Жареных Бугров и прислал в Астрахань с прелестными грамотами Воздвиженского священника и человека князя Львова, попавшихся к нему в плен; была у них и грамотка к Бутлеру на немецком языке! Стенька уговаривал немцев поберечь свою жизнь и не стоять против козаков. Бутлер отдал грамоту воеводе; тот разодрал ее, велел пытать холопа и отсечь голову; попа посадили в тюрьму, заклепавши рот. Воевода укреплял город, закладывал ворота кирпичом, митрополит с духовенством обходил город крестным ходом, 23-го числа козаки пристали к городу у речки Кривуши под виноградными садами; запылала Татарская слобода: ее зажгли свои намеренно, чтоб не давать приюта неприятелю. Но вот приводят к воеводе другого рода зажигальщиков: двое нищих перебежали к Разину и возвратились от него с поручением зажечь Белый город во время приступа. Нищие были казнены для острастки; но воевода мало надеялся на одну острастку и спешил употребить другое средство: на митрополичий двор созваны были пятидесятники и старые лучшие люди: митрополит и воевода долго уговаривали их постараться за дом пречистые богородицы, послужить великому государю верою и правдою, биться с изменниками мужественно, обещали царскую милость живым, вечное блаженство падшим. Все на словах уверяли, что не будут щадить живота своего, но иначе вышло на деле.

Вечером боярин, принявши благословение у митрополита, ополчился в ратную сбрую и выступил, как обыкновенно воеводы выступали в поход, – пошел со всеми своими держальниками и дворовыми людьми, перед ними вели коней под попонами, били в тулунбасы, трубили в трубы. Прозоровский стал у Вознесенских ворот, куда ждал самого сильного напора от воров.

Ночь проходила. В три часа утра 24-го числа тревога, приступ, пушки загремели с города. Но козаки, не обращая на них внимания, приставили лестницы к стенам – и не копьями, не варом были встречены: изменники принимали их как друзей, давно жданных: по всему городу раздались козацьи крики, и кричали не одни воровские козаки, кричали стрельцы, кричали астраханцы и первые бросились бить дворян, сотников, боярских людей, верных господам своим, и пушкарей. В одном углу, еще ничего не зная, стоял Бутлер и продолжал работать из пушек, как вдруг является к нему англичанин Бойль, с окровавленным лицом, шатающийся. «Что вы тут делаете? – кричит он. – Весь город изменил; стрельцы моего полка прокололи мне лицо и ноги копьем, до смерти бы убили, если б не латы; я говорил им, чтоб верно служили, а они мне велели молчать». Бутлер бросился бежать.

Между тем народ спешил к соборной церкви: туда верные холопы принесли на ковре Прозоровского, раненного копьем в живот. Скоро прибежал и митрополит Иосиф и со слезами бросился к воеводе, с которым жил очень дружно; но плакать было некогда: Иосиф спешил приобщить страдальца св. тайн. Церковь все больше и больше наполнялась народом: вбегали дьяки, головы стрелецкие, подьячие, все те, которым нечего было ждать добра от воров. Думали еще защищаться; заперли церковные двери, и у них с большим ножом стал стрелецкий пятидесятник Фрол Дура, решившийся дорого отдать ворами святое место. Он недолго дожидался: козаки прибежали и начали ломиться; резные железные двери не подавались, они выстрелили сквозь них из самопала. Раздался вопль: на руках у матери трепетал в крови полутороговой ребенок. Наконец двери поддались; Фрол Дура начал работать ножом; разъяренные козаки выхватили его из церкви и у паперти иссекли на части; Прозоровского, дьяка, голов стрелецких, дворян и детей боярских, сотников и подьячих всех перевязали и посадили под раскат дожидаться козацкого суда и расправы. Суд и расправа были коротки: явился атаман и велел взвести воеводу на раскат и оттуда ринуть на землю. Других несчастных не удостоили такого почета: их секли мечами и бердышами перед соборною церковью, кровь текла ручьем мимо церкви до Приказной палаты; трупы бросали без разбору в Троицком монастыре в братскую могилу; подле могилы стоял монах и считал: начел 441.

После убийств начался грабеж: пограбили Приказную палату, дворы убитых, дворы богатых людей, гостиные дворы: русский, гилянский, индейский, бухарский, и все свезено было в кучу для ровного дувана. Но в то время, когда целый уже город со всеми своими богатствами был в руках Стеньки и его товарищей, в одном месте слышалась стрельба: в пыточной башне сели насмерть люди Каспулата Муцаловича Черкасского, двое русских да пушкари, всего девять человек, и бились с ворами до полудня: не стало свинцу, стреляли деньгами: не стало пороху – покинулись за город: некоторые пришиблись до смерти, других схватили и посекли.

Это было последнее сопротивление. Начальных людей не было: они лежали все в Троицком монастыре, в общей могиле. Стенька владел Астраханью. Он сделал из нее козацкий городок, разделил жителей на тысячи, сотни, десятки с выборными атаманами, есаулами, сотниками и десятниками; зашумел круг, старинное вече. В одно утро все это козачество двинулось за город: там на просторном, открытом месте приводили к присяге, клялись: за великого государя

стоять, атаману Степану Тимофеевичу и всему войску служить, изменников выводить; два священника стали обличать вора – одного посадили в воду, другому отсекли руку и ногу. Разин велел сжечь все бумаги и хвалился, что сожжет все дела и в Москве, *вверху*, т.е. во дворце государевом.

Козаки, старые и новые, гуляли, с утра все уже пьяно; Стенька разъезжал по улицам или пьяный сидел у митрополичьего двора на улице, поджавши ноги по-турецки. Каждый день кровавые потехи: по мановению пьяного атамана одному отсекут голову, другого кинут в воду, иному отрубят руки и ноги; то вдруг смилуется Стенька, велит отпустить несчастного, ожидающего казни. Детям понравилась потеха отцов: и они завели круги и, кто провинится, бьют палками, вешают за ноги, одного повесили за шею – и сняли мертвого. Женам и дочерям побитых дворян, сотников и подъячих не было проходу от ругательства козацких жен: но ругательствами дело не кончилось: атаман начал выдавать их замуж за своих козаков, священникам приказано было венчать по печатям атамана, а не по архиерейскому благословению. Митрополит молчал; в день именин царевича Феодора Алексеевича он имел слабость позвать или допустить к себе на обед Стеньку и всех старших козаков: гостей нагрянуло больше ста человек.

У митрополита в кельях скрывалась вдова воеводы княгиня Прозоровская с двумя сыновьями: одному было 16, другому 8 лет. Стенька вспомнил о княжатах и велел привести к себе старшего: «Где казна, что сбиралась в Астрахани с торговых людей?» «Вся пошла на жалованье служилым людям», – отвечал мальчик и сослался на подъячего Алексеева, который подтвердил его слова. «А где ваши животы?» «Разграблены, – отвечал князь, – наш казначей отдавал их по твоему приказу, возил их твой есаул». После этого допроса Прозоровский висел вверх ногами на городской стене, подъячий на крюке за ребро. Аппетит был возбужден: Стенька велел вырвать у княгини Прозоровской и другого сына и повесить за ноги подле брата. На другой день старшего Прозоровского сбросили с стены; младшего сняли живым, высекли и отослали к матери; подъячий уже не дышал. Другой воевода, князь Семен Львов, был пощажен, и сохранилось известие о причине этой пощады: когда Разин приехал из персидского похода в Астрахань, то очень сошелся с князем Семеном Львовым: они побратались, и Стенька не выходил из дому воеводы, пил, ел и спал тут; поэтому когда Разин пришел в Другой раз под Астрахань, то пощадил князя Семена и даже имение его не пограбил.

Стенька протрезвился и увидел, что загостился в Астрахани. Он хотел прямо из Царицына нагрнуть на государевы города, и тогда трудно сказать, где бы он был остановлен силою государства; по всем вероятностям, ему удалось бы зимовать в Нижнем, как намеревался. Но вести о выходе князя Львова из Астрахани заставили его спуститься вниз, а рассказы передававшихся стрельцов, представивших Астрахань легкой добычей, заставили его идти к этому городу. Таким образом Стенька потерял много дорогого времени. В конце июля он стал собираться вверх; сборы эти протрезвили астраханцев, побратавшихся с козаками: хотя они и присягали великому государю, однако хорошо знали, что по уходе Стеньки могут скоро явиться под их городом государевы воеводы, и, как Стенька успел овладеть Астраханью благодаря *своим людям*, так и у воевод найдутся свои же люди, теперь смолкнувшие из страха или успевшие укрыться от истребления. Астраханцы явились к Стеньке: «Многие дворяне и приказные люди

перехоронились: позволь нам, сыскав их, побить для того, когда от великого государя будет в Астрахань какая присылка, то они нам будут первые неприятели». «Когда я из Астрахани пойду, – отвечал Стенька, – то вы делайте как хотите, и для расправы оставляю вам козака Ваську Уса».

На двухстах судах поплыл Разин вверх по Волге, по берегу шло 2000 конницы. Отпустив из Царицына астраханскую добычу на Дон, Стенька пошел дальше, занял Саратов, Самару с обычными церемониями: воевода утоплен, дворяне и приказные люди перебиты, имение их пограблено, жители покозачены. Из Самары Разин двинулся к Симбирску, где сидел окольный Иван Богданович Милославский, а на помощь ему спешил из Казани окольный князь Юрий Никитич Борятинский и успел прийти к Симбирску 31 августа, прежде Разина. «Нельзя мне было не спешить, – писал Борятинский, – чтоб Симбирск не потерять и в черту вора не пропустить». Но воевода имел мало надежды на успех. «Со мною пришло ратных людей немного, – доносил он царю, – начальные люди Зыковского и Чубаровского полков взяли на Москве жалованье, а в полки до сих пор не бывали, живут по деревням своим, а полков держать некому. Алексей Еропкин разбирает служилых людей не по указу; для своей бездельной корысти, вместо того чтоб оставить у себя самых меньших статей, оставил лучших людей, кому было можно служить; рейтарским полкам прислал списки, а в списках написаны многие мертвые, одно имя дважды и трижды, налицо 1300 человек в обоих полках, и в том числе треть пеших. А без пехоты мне быть нельзя. Пока над ворами промыслу не учинить, станут ходить и прельщать безопасно; а если б над ними промысл учинили, то он бы убавил вымыслу своего воровского. Промысл чинить буду. сколько милосердый бог помощи подаст, а по спискам у меня в полку гораздо малоллюдно, и с малоллюдством над таким воровом без пехоты в дальних местах промыслу учинить нельзя».

Таким образом, воевода загодя уже спешил объяснить причину своей будущей неудачи. Борятинский недолго ждал оправдания своих опасений. 4 сентября явился и Разин под Симбирском, ночью обошел город, остановил свои струга за полверсты выше города и в отдачу ночных часов, выйдя из стругов, направился к городу на приступ; но Борятинский загородил ему дорогу; Стенька бросился на него, и завязался ожесточенный бой, длившийся с утра до вечера; ни та, ни другая сторона не получила верха: разошлись от усталости и целые сутки стояли на одном месте, смотря друг на друга. Но Разин не был без дела: он пересылался с жителями Симбирска и, уверившись, что они на его стороне, ночью напал на Борятинского и учинил бой великий, а за полчаса до света воры начали приступать к Симбирску, именно к тем пряслам стены, где стояли симбирцы.

Пострелявши сначала для виду пыжами, они впустили козаков в острог и сами бросились рубить людей боярских, не бывших с ними в одной думе. Овладев острогом, воры бросились к городу, но тут явился Борятинский; воры обратили на него острожные пушки и не допустили без пехоты пробиться к городу, но зато и сами должны были отступить. Борятинский, видя, что без пехоты ничего не сделает, отступил от Симбирска к Тетюшам, написав государю: «Татары, которые в рейтарах и сотнях, худы и ненадежны, с первого боя многие уткли в дома свои, нельзя на них надеяться, и денег на них нечего терять. Начальные люди в полк ко мне не бывали, живут по деревням. Окольный Иван Богданович Милославский сел в малом городке, с ним головы стрелецкие,



солдаты и иных чинов люди; малый городок крепкий, скоро взять не чаю, только безводен, колодцев нет, а они воды навозили много. Я пошел в Тетюши и дожидаюсь князя Петра Семеновича Урусова, чтоб нам пойти опять к Симбирску: и будет Иван (Милославский) сидит, чтоб его от осады освободить; а будет Ивана взяли, и нам идти на Разина; а у него не многолюдно, больше пяти тысяч нет худого и доброго, а нынче у него на боях и на приступе безмерно побито лучших людей. Хотя бы у меня было 2000 пехоты, и он бы совсем пропал, не только бы к Симбирску. и к берегу бы не допустил; но, видя, что без пехоты с ним делать нечего, я отошел и полк твой отвел в целости».

Иван сидел, несмотря на то что силы Разина день ото дня увеличивались приходом чуваш, мордвы и русских крестьян. Четыре раза козаки приступали к городку, все по ночам: чтоб зажечь городок, возили из уездов солому, делали туры, в туры клали зелье, смолу, сухие драницы: но все приступы были отбиты, и городок оставался невредим. Целый месяц сидел Иван и 1 октября увидел движение в козацком стане. Стенька уходил: в семи верстах стоял обозом князь Юрий Борятинский, выдержавший на дороге с устья Казани-реки четыре боя с воровскими козаками, татарами, чувашами, черемисою и мордвою. В двух верстах от Симбирска, у реки Свяги, Стенька схватился с своим старым знакомым. В первой схватке Стеньку сорвали и прогнали: но он собрался со всеми силами, взял пушки и схватился в другой раз: «Люди в людях мешались, и стрельба на обе стороны ружейная и пушечная была в притин»; с козацкой стороны пало бесчисленное множество народа, сам Стенька получил две раны, один алатырец схватил было его и повалил, но был застрелен ворами. Стенька был разбит в пух, побежал к острожному симбирскому валу и заперся в башне, 2-го числа он мог вздохнуть, оглядеться; Борятинский наводил мосты на Свяге и 3-го числа подошел к городку: Милославский был освобожден. Но дело еще не кончилось: Стенька стоял по ту сторону города, у Казанских ворот, весь острог занял воровскими людьми. Стенька не оставлял намерения зажечь город и взять его. Борятинский употребил хитрость: ночью велел полковнику Чубарову зайти за Свягу с полком своим и там делать окрики, как будто бы пришло новое царское войско. Хитрость удалась вполне: на Стеньку напал страх, и он решился убежать тайком с одними донскими козаками, потому что бегство целого войска было бы замечено и нужно было бы выдержать преследование от воевод. Он объявил собравшейся около него толпе астраханцев, царицынцев, саратовцев и самарцев, чтоб они стояли у города, а сам он с донцами пойдет на царских воевод; но вместо того кинулся на суда и поплыл. Борятинский, узнав о бегстве Разина, решился покончить с оставшимися ворами: он вышел с конницею на поле и стал около города, а пехоту пустил на покинутый Разинным обоз и в острог; Милославский с другой стороны входил в острог, который запылал в разных местах. Поражаемые с двух сторон и особенно вытесняемые пламенем, вору бросились к реке, к судам, но были все перетоплены: в плен попало 500–700 человек, и все были истреблены: заводчиков четвертовали, других рубили и вешали по всем дорогам и по берегу Волги. По черте и по уездам разсланы были повестки, чтоб все изменившие добились в винах своих челом государю и жили в домах своих по-прежнему; пригородные служилые люди добились челом: из них выбирали слободы по человеку и били кнутом. Последний успех свой в Симбирске

Борятинский приписывал зажжению острога. «Если бы не зажгли острогу, – писал он государю, – то долго было бы около них ходить за многолюдством».

Гостьба козаков в Астрахани, упорная защита Симбирского городка Милославским и победа Борятинского погубили Стеньку и его дело, которое начало было разыгрываться в обширных размерах.

Как только еще Стенька подошел к Симбирску и заставил Борятинского удалиться на север, воровские козаки с прелестными листами рассеялись вверх по Волге. В прелестных листах говорилось, что козаки идут против изменников-бояр и с ними идут *Нечай* –царевич, Алексей Алексеевич (недавно умерший) и патриарх Никон, изгнанный боярами. Бунт запыхал на всем пространстве между Окою и Волгою; повторилось то, что мы уже видели в Смутное время здесь же, на восточной уkraine, и во время восстания Хмельницкого на западной: в селах крестьяне начали истреблять помещиков и прикащиков их и толпами поднялись в козаки; слышав приближение этих воровских шаек, в городах чернь бросалась на воевод и на приказных людей, впускала в город козаков, принимала атамана вместо воеводы, вводила козацкое устройство; воеводы и приказные люди, *облихованные* миром, на которых было много жалоб, истреблялись, *одобренных* не трогали. Как в Смутное время, поднялись варварские инородцы – мордва, чуваша и черемисы.

Поднимая бунт, воровские козаки держались двух главных направлений: от Симбирска на запад, по нынешним губерниям Симбирской, Пензенской и Тамбовской, и потом к северо-западу, по Симбирской и Нижегородской. Первое ополчение, отделившееся от Разина под Симбирском в сентябре, направилось к Корсуни под начальством Мишки Харитонова; цель была объявлена: идти в русские города, побить бояр, жен их и детей и дома разорить. Корсунские городские люди пристали к ворами и пошли с ними вместе бить помещиков по селам и деревням. 18 сентября атемарцы сдали свой город; 19-го сдался Инсарский острог; первое сопротивление оказал Саранск: с утра до вечера приступали воры к Саранску, наконец ворвались в него, побили воеводу и ратных людей. Атаманы собрали круг и объявили, что пойдут по черте до Тамбова. Царские воеводы, сидевшие в городках по этой черте, предвидели свою горькую участь; керенский воевода Безобразов писал в Тамбов: «Здесьние люди все в отчаяние пришли; хотя и не много воров придет, но я от здесьних людей добра ничего не чаю и в печалях своих чуть жив; да их же воровская прелесть во всех людей всеяла, будто с ними идет Нечай-царевич, Алексей Алексеевич да Никон-патриарх; и малоумные люди все то ставят в правду, и оттого пуцкая беда и поколебание в людях». Нижнеломовский воевода Андрей Пекин писал воеводе Якову Хитрову (23 сентября): «В Нижнем Ломове козаки знатно что изменили: поминай меня, убогого, да и великому государю извести, чтоб указал в синодик написать с женою и детьми».

Но долго ждали воеводы своей участи. Из Саранска Мишка Харитонов отправился к Пензе: здесь как только завидели воровские знамена – конские хвосты, развевавшиеся на шестах, так тотчас же взволновались, убили воеводу и побратались с козаками. В Пензу из Саратова явилась новая толпа воров, атаманом которой стал донской козак из беглых солдат Васька Федоров. Взявши две пушки, воры вышли из Пензы и заняли Наровчат. Предчувствия Андрея Пекина оправдались: нижнеломовцы схватили его, посадили в тюрьму и послали

в Наровчат к воровским козакам; те явились и подняли на копьа обливованного воеводу, что считалось ругательною смертию: из Нижнего Ломова отправился козачий отряд к Верхнему, где жители также выдали своего воеводу Корсакова: его привезли в Нижний Ломов и умертвили; но керенского воеводу Безобразова отпустили в Шацк. Двигаясь туда же, воры вошли в Кадомский уезд; здесь к Мишке Харитонову и Ваське Федорову пристал в Жуковщине третий атаман, Мишка, а в селе Конобееве – четвертый, Шилов: в каждой деревне, через которую проходили козаки, они брали к себе по мужику с дыма; кроме того, толпы их увеличивались татарами и мордвою. В разорении помещичьих домов особенно отличался крестьянин Жуковых, Кадомского уезда, Острогожского села, прозвищем Чирок.

Другая толпа воров, посланная Разиным из-под Симбирска с атаманом Максимом Осиповым, который выдавал себя за царевича Алексея, двигалась на северо-запад, к Алатырю; город был взят и сожжен; воевода Акинф Бутурлин с женою и детьми и дворяне, запершиеся в соборной церкви, все сгорели; Темников также был взят: воевода Челищев убежал, но брата его, племянника и подьячих воры нобили. В Курмыше козаки встретили почетный прием: городские и уездные люди вышли к ним с образами и вместе с ними встречал воевода: курмышцы все миром его одобрили, и он остался на воеводстве, грабежу и никакого разоренья воеводе и городским людям не было. И в Ядрине воевода остался жив, потому что его миром одобрили. Из Василя воевода убежал; козьмодемьянцы убили своего воеводу, подьячего, выбрали в старшины посадского человека, освободили тюремных сидельцев, и один из них, Долгополов, пошел поднимать Ветлугу. Взволновались жители Лыскова и прислали в Курмыш звать к себе атамана Осина: воевода ушел; мурашкинцы отсекали голову своему воеводе Племянникову. В Лыскове козаки были приняты с торжеством; но на другой стороне Волги не хотел сдаваться им Макарьевский Желтоводский монастырь, привлекавший воров богатую добычею. 8 октября воры приступили к монастырю с страшным криком: «Нечай! Нечай!» (мы знаем, что это значило) – и старались зажечь монастырь; но монахи, служки, крестьяне и богомольцы затушили пожар и отбили воров, козаки отступили в Лысково, оттуда в Мурашкино и все более и более набирали к себе людей; у Осипова было уже тысяч пятнадцать народа, мордвы, черемис и русских крестьян, и между ними сто человек донских козаков, товарищей Разина. Отряд этого войска под начальством атамана Янка Микитинского пошел в другой раз под Макарьев монастырь и успел захватить его: пожитки частных людей, отданные в монастырь на сбережение, были разграблены, но монастырского ничего не тронули. Между тем к Осипову в Мурашкино нахлынули новые толпы татар, мордвы и чуваш, и он собирался идти под Нижний, потому что нижегородская чернь уже дважды присылала к нему с приглашением прийти: город будет сдан и государевы люди побиты. Но во время сборов к Нижнему прискакал гонец от Разина с приказом идти к нему на помощь со всеми силами, потому что его, Стеньку, князь Борятинский под Симбирском побил.

Таким образом, нечего было ждать главного атамана для поддержания и распространения мятежа, а между тем царские воеводы стали двигаться с разных сторон, и нестройные толпы черни, кое-как вооруженной, не могли стоять против государевых ратных людей. Остановка Разина в Астрахани и потом под

Симбирском дала воеводам возможность собраться с силами, которых вначале, как мы уже могли видеть из донесения Борятинского, было очень недостаточно. Знаменитый боярин и воевода князь Юрий Алексеевич Долгорукий стоял в Арзамасе и оттуда доносил царю: «Пушице заводчики в воровстве те, которые присланы от Стеньки Разина, из симбирской черты стрельцы и козаки да будники, которые были на будах. Пушице заводы воровские от Нижегородского уезда, от Лыскова, Мурашкина и от Тетюшевской волости; этих воров умножилось; ратных людей, которые идут к нам в полки, побивают и грабят; а с другой стороны, от Шацка, Кадома и Темникова, воровство большое ж; на таких воров малые посылки посылать опасно, а многолюдную посылку послать – и у нас малоллюдно: стольников объявилось в естях 96 человек, а в нетях 92, стряпчих в естях 95, а в нетях 212, дворян московских в естях 108, а в нетях 279, жильцов в естях 291, а в нетях 1508, разных городов дворян и детей боярских зело мало в приездах, а рейтарские полковники и рейтары из Переяславля-Залесского и Рязанского не бывали». Долгорукий уже объяснил, почему было такое количество нетей: «Ратных людей, которые идут к нам в полки, побивают и грабят». Нижегородские воеводы подтверждали это объяснение: «Пришли к Нижнему Новгороду ратные люди, велено быть им в полку боярина князь Юрья Алексеевича Долгорукого. И ныне те ратные люди стоят под Нижним для того, что в Нижегородском уезде воры дороги все переняли и учинили по дорогам крепости и засеки и заставы крепкие и многолюдные, конных и пеших людей не пропустят, побивают до смерти. В Нижегородском уезде многие села и деревни разорили и выжгли, дворян их, жен и детей и людей их побили; к Нижнему Новгороду подъезжают и всяким жилецким людям говорят с угрозами и воровские письма привозят, чтоб жилецкие люди им город сдали и их встретили; из тех воров два человека, приехавшие с воровскими письмами, пытаны накрепко и казнены смертию».

Бунт обхватывал Долгорукого с трех сторон: с юга, востока и севера; воевода не мог думать о наступательных движениях и должен был ограничиваться оборонительными действиями от наступавших воров. Оборона была удачна. 28 сентября воевода думный дворянин Федор Леонтьев побил воров в селе Путятине; узнав, что новые толпы движутся из Алатыря прямо к Арзамасу, Леонтьев соединился с окольным князем Константином Щербатовым, и 30 сентября побили воров в селе Панове; но через пять дней узнали, что воры в деревне Исупове, только в 12 верстах от Арзамаса: на них пошел Щербатов и разбил; 9 октября Леонтьев разбил другую шайку, в селе Кременках; 13 октября Щербатов встретил и разбил воров по саранской дороге, в селе Пое; другой большой бой загорелся у села Мамлеева и кончился также поражением козаков.

Воровской напор на Арзамас был сдержан, и Долгорукий мог перейти к наступательным движениям. Важнее всего ему было очистить север, нижегородские места и не дать ворами Нижнего. С этой целью он отправил Щербатова и Леонтьева к Мурашкину, на самое сильное скопище, гнездо самозванства и воровских прелестей. 22 октября, не доходя пяти верст до Мурашкина, воеводы встретили воров и начали бой; воры стали отступать, вели государевых людей полторы версты и навели на главные свои полки к пушкам; тут, в трех верстах от Мурашкина, загорелся большой бой; нестройные толпы, несмотря на свою многочисленность и пушки, не выдержали натиска государевых людей и побежали, оставив победителям 21 пушку, 18 знамен и 61 пленника.

Участь последних была решена немедленно у Мурашкина же: одни повешены, другим отсечены головы; победа стоила воеводам 2 человека убитыми и 48 ранеными. От Мурашкина воеводы двинулись к Лыскову: лысковцы сдались 24 октября. 28 октября воеводы-победители пришли в Нижний и остановились здесь на три дня для расправы: «В нижегородских жителях была к воровству шатость; воеводы этих воров перехватывали и велели казнить смертью: повесить около города по воротам; иным отсечь головы, других четвертовать в городе».

После этих мер Нижний стих; но уезд его еще далеко не был очищен. 10 ноября Леонтьев поразил воров под селом Ключищи и на другой же день выступил снова в поход. За Ключищами по большой дороге у воров сделана была по обе стороны засека крепкая, в длину на версту, а поперек на обе стороны по полверсте.

Леонтьев велел стрельцам приступать к засеке, а сам бился с конными людьми: воры были выгнаны из засеки: но у них оставались еще другие крепости: они перекопали всю большую Курмышскую дорогу, сделали большой ров, ко рву насып земляную высокую, по обе стороны насыпи поделали шанцы и большие дубовые надолбы: вытесненные из засеки воры в числе 4500 засели в этой крепости и учинили бой большой с государевыми людьми: здесь большая часть их была истреблена, остальные бросились бежать к селу Маклакову и засели здесь в дворах и гумнах: государевы люди запалили село и сожгли в нем воров.

После этих успехов на севере Долгорукий нашел возможность двинуть часть войска и на юг: сюда двинулся воевода Лихарев: когда он стоял обозом в селе Веденяпине, воры напали на него в числе 5000 человек и были разбиты, потеряли 4 пушки, 16 знамен, 30 человек пленными. 19 ноября Лихарев вошел в Кадомский лес: языки сказали, что воры числом 500 человек с атаманом крестьянином Сенькою Белоусом стоят близ реки Варнавы в засеке, которая засечена в длину на три версты, а поперек на версту. Лихарев 20 ноября взял засеку и убил атамана: к ворами шло на помощь триста человек, и тех в шести верстах от засеки побили. Навстречу этому движению государевых людей двинулись воры из Саранска большими толпами к Красной слободе; но теперь вследствие успехов царских войск страх перед ворами начал исчезать: краснослободцы отсиделись; пришел черед ворами бегать из городов: как только Лихарев послал отряд к Темникову, 30 ноября, воры побежали в лес, а темниковцы лучшие люди сдались государевым людям.

Здесь, в северной части нынешней Тамбовской губернии, уже давно с успехом действовали другие царские воеводы, двигавшиеся с юга. Из Тамбова 11 октября выступил на север воевода Яков Хитрово с 2670 человеками войска, оставляя в Тамбове с воеводою Пашковым 2118 человек: Пашкову казалось это мало; он сильно боялся и писал: «На тамбовцев в нынешнее смутное время надеяться не на кого, потому что у них на Дону братья, племянники и дети, а иные у Стеньки Разина». Мы видели, что воровские толпы, возмущившие нынешнюю Пензенскую губернию под начальством Мишки Харитонова и Васьки Федорова, решили овладеть Шацком. Бывшие здесь рейтарские полковники Зубов и Зыков предупредили воров и 14 октября напали на часть их, стоявшую в селе Конобееве. Воры были все побиты, два атамана попались в плен с десятью козаками. Но этот успех не отвратил опасности от Шацка, и 17 октября полковники увидели у себя гостей: под город подступили главные толпы: с одной стороны Мишка Харитонов,

с другой – Васька Федоров. Воры были отбиты и принуждены отступить в заповедный лес; рейтары преследовали их сюда и побили. Но кроме этих пензенских шаек в 20 верстах от Шацка, в деревне Печинищах, образовалось новое воровское гнездо особого рода: вместе с забунтовавшими крестьянами стояли здесь тамбовские козаки и солдаты разных слобод и сел, которым было велено идти на службу в Шацкий полк и к Хитрово. Из Печенищ они перебросились в Тамбовский уезд, на Рыбную пустошь, в село Алгасово, где и стали обозом под начальством Тимофея Мещерякова, разбойничая в окрестностях и призывая к себе крестьян Рыбной пустоши. 22 октября, в тот самый день, как Щербатов и Леонтьев бились с ворами под Мурашкином, Хитрово осадил воровской обоз под Алгасовом, приступал жестокими приступами, а село велел зажечь и разорить, потому что крестьяне его сидели в воровском же обозе. На другой день, 23 октября, Мещеряков с товарищи начали бить челом, и Хитрово привел их к присяге на том, чтоб козаки и солдаты вперед служили государю, и отпустил их в Тамбов. Но Мещеряков не пошел на службу, а стал опять наговаривать на воровство и на измену тамбовских служилых людей; многие послушались его и выбрали себе притоном село Червленое, в 20 верстах от Тамбова. И около Шацка не вдруг стало тихо: разбитые шайки Харитонова и Федорова стягивались несколько раз в разных местах: три раза еще схватывались с ними государевы люди, и только после 19 ноября Шацкий уезд успокоился.

В это время Долгорукий по прочищенному Лихаревым пути двигался к Темникову. 4 декабря за две версты от города встретили его темниковцы, духовенство и всяких чинов люди и уездных церковей священники и крестьяне с образами и крестами, били челом и говорили с великим плачем, что они у воровских людей были поневоле, воры их разоряли, а которые городские и уездные люди были с ворами заодно, тех они переловят и приведут. Долгорукий велел привести всех к присяге, и темниковцы исполнили обещание, привели попа Савву и 18 человек крестьян, которые были вместе с ворами, против государевых людей бились, бунты многие заводили, дома грабили, женскому полу поругание чинили и иных запытали до смерти; на пытке поп с товарищами признались в своих преступлениях. Потом темниковцы привели к Долгорукому вора особенного рода, *вора-еретика-старицу*. «Меня, – говорила вор-старлица в расспросе, – меня зовут Аленою, родом из выездной Арзамасской слободы, крестьянская дочь, была замужем за крестьянином же, а как муж мой умер, то я постриглась и была во многих местах на воровстве и людей портила; и в нынешнем году пришла я из Арзамаса в Темников, собирала с собою на воровство многих людей и с ними воровала, стояла в Темникове на воеводском дворе с атаманом Федькою Сидоровым и учила его ведовству». Попа с товарищами повесили около Темникова, а богатыря-ведьму XVII века сожгли в срубе, как еретицу, вместе с чародейными бумагами (заговорами) и кореньями.

7 декабря Долгорукий выступил из Темникова в Красную слободу (Краснослободск) и здесь имел такую же встречу с челобитьем: приведено было 56 человек воров и после розыску повешено около города и слобод по большим, дорогам. Долгорукий, таким образом, вошел в северо-западную часть нынешней Пензенской губернии, главный притон мятежа. В Москве распорядились, чтоб он остановился в Красной слободе или в Троицком остроге, в Шацк послал воеводу, ссылался с Хитрово и Бутурлиным и промысл чинили все заодно. Чтоб сообщить

еще более единства воеводским действиям против мятежников, отозван был из Казани князь Петр Семенович Урусов, обвиняемый в медленности, и главное начальство над всеми действующими войсками поручено Долгорукому. Он получил указ отправить воеводу Панина для промыслу над Алатырем и Алатырским уездом и велеть ему сходить к князем Юрием Никитичем Борятинским, который должен был двигаться туда же из Симбирска; а другому Борятинскому, князю Даниле, идти к Долгорукому на Ядрин и Курмыш, очищая эти города от воровства. Указ был в точности исполнен Долгоруким.

Мы оставили князя Юрия Борятинского под Симбирском после поражения Разина. Здесь он оставался довольно долго, вероятно поджидая вестей о дальнейших замыслах Стеньки. Не ранее конца октября Борятинский двинулся по Симбирской черте и на реке Урени столкнулся с ворами, которых было тысяч восемь; они были побиты наголову; 170 человек пленных, 16 знамен и 4 пушки достались победителю. Побежденные бросились за Суру, но и там преследовали их государевы; люди, били, побрали обозы: некоторых пленных Борятинский отпустил в Корсунь и на Урень уговаривать тамошних жителей к повиновению. Средство удалось: многие уренцы в винах своих добились челом. После уренского бою Борятинский отошел в Тагаев и тут 5 ноября узнал, что донские козаки Ромашка и мурза Калка, собравши 15000 народа, стоят у реки Барыша, в Кандарате. На другой же день Борятинский выступил из Тагаева; узнав, что Усть-Уренская слобода занята воровским ертоулом, он приступил к ней и, выбивши воров, казнил пленных – заводчика попа села Никитина и других козаков. 12 ноября князь, построив три моста, перебрался через Барыш и увидел воров: они стояли за речкою Кандараткою под слободою в обозе, конные и пешие, с 12 пушками. Речка мешала схватиться, и стояли полки с полками с утра и до обеда на расстоянии меньше полуверсты; Борятинский все ждал, что вору переберутся за речку, на его сторону, но они не двигались. Князь начал искать удобных мест, нашел и велел пехоте с обозом и пушками наступать на воров, а сам с конницею перенравился через речку, наметавши в нее сена. Пехота схватилась с пехотой, конница с конницей, и государевы люди одолели, взяли 11 пушек, 24 знамени; вору побежали врознь разными дорогами, их преследовали: побито было воров такое множество, что на поле, в обозе и на улицах в слободе между трупами нельзя было конному проехать. пролилось крови столько, как от дождя большие ручьи текут. Победители потеряли 13 человек убитыми, раненых оказалось 108. 323 пленных были приведены к воеводе: он велел посечь заводчиков, остальных, приведя к присяге, отпустил и пошел к реке Суре. И вот с того берега начали показываться толпы, но то были не вооруженные вору, а челобитчики из деревень Алатырского и Саранского уездов, с образами: *плач неутешимая*, обещания, что ни к каким воровским прелестям вперед приставать не будут. 17 ноября выступила толпа огромная: строитель Алатырского монастыря, священники с образами, посадские люди, стрельцы, пушкари, козаки – все со слезами принесли свои вины, били челом, чтоб князь или сам шел в Алатырь, или воеводу прислал. Борятинский отпустил к ним воеводу Шилникова с стрельцами и солдатами, а сам пошел по черте к Корсуню и остановился в мордовской деревне Котякове: тут явились челобитчики из Корсуни, Корсунова и Талского. Борятинский удовольствовался этим и поспешил в Алатырь, боясь, чтоб

воры, собравшись, не заняли этого важного места. Он пришел туда 23 ноября и сделал острог.

Опасения Борятинского не были напрасны: в начале декабря воровские атаманы: мурза Калка, Алешка Савельев, Янка Никитинский, Ивашка Маленький, Петрушка Леонтьев, собрав последние силы, двинулись к Алатырю. Но об этом движении проведал воевода Василий Панин, отправленный, как мы видели, для соединения с Борятинским. Панин поспешил наперерез ворами, встретил их недалеко от мордовской деревни Баевой, вступил в бой, побил их, взял десять знамен, пушку, много пленных и вогнал бегущих в обоз, находившийся в селе Тургенева, но обоза взять не мог и ночью отступил с версту, к деревне Баевой. В эту же самую ночь явился в Баеву и князь Юрий Борятинский с конными и пешими людьми. На другой день, 8 декабря, рано, оба воеводы отправились к Тургенева на воровские обозы, взяли их приступом и секли бегущих на пятнадцати верстах, добыли три пушки медных, три бочки пороху, 8 знамен, воз фитилю, тридцать семь мушкетов.

Думая, что опасность, грозившая Алатырю, исчезла, 11 декабря Борятинский и Панин двумя дорогами выступили под Саранск: Борятинский шел прямою дорогою, Панин подле Сурского леса. До самого Атемара, куда воеводы пришли 16 декабря, они не встречали никакого сопротивления, встретили только русских крестьян, татар и мордву, бивших челом о пощаде. Русские шли к присяге, татары и мордва давали шерть по своей вере и указывали места, где укрывались раненые, получившие эти раны на воровских боях с государевыми людьми: их казнили смертью; в Атемаре были повешены старшины и есаулы, бывшие с воровскими козаками. В то же время Долгорукий из Красной слободы отправил уже известного нам воеводу князя Константина Щербатого для очистки пензенских мест, где прежде всего утвердились мятежники. Щербатов поразил воров 12 декабря за восемь верст от Троицкого острога и потом выгнал их из Троицкого острога; оба Ломовы и Пенза сдались без сопротивления. С другой стороны, из Шацка, туда же, по направлению к юго-востоку, шел воевода Яков Хитрово, шел на воровские засеки через большой лес; в деревне Ачадове он должен был выдержать с ворами самый упорный бой: «Полковник Денис Швыйковский с своею смоленскою, бельскою и рославскою шляхтою приступали к деревне жестокими приступами, не щадя голов своих, приезжали к воровскому обозу, на воровских людей на пику, пику секли и обоз ломали; много шляхты было переранено тяжелыми ранами, пробиты насквозь пиками и рогатинами, иные из пищалей и луков прострелены». Наконец воры увидели невозможность держаться долее и сдались. Хитрово распустил их, и они, пришедши в Керенск, напугали его жителей рассказами про шляхетские жестокие напуски. Следствием было то, что керенчане вышли навстречу к Швыйковскому и впустили его в город. Хитрово в донесении государю не может нахвалиться храбростью Швыйковского и шляхты его полка.

Но когда внимание Долгорукого было сосредоточено на военных действиях, происходивших к югу от его главной стоянки, Красной слободы, бунт отпрыгнул на северо-востоке: защитник Симбирска окольный Иван Богданович Милославский, приехав из Симбирска в Москву, дал знать, что на дороге между Арзамасом и Алатырем приходили на него многие воровские люди с нарядом. Против них двинулся воевода Леонтьев, разбил их в Алатырском уезде у села



Апраксина, и, как обыкновенно бывало, разбитые бросились в лес, в свои засеки, расположенные под деревнею Селищами; здесь сидели они с женами, детьми и со всем воровским обозом. Засеки были взяты; пленные рассказывали, что было их в сборе больше 3000 русских людей и мордвы, собирались идти к Арзамасу и к Нижнему. Отряд из 500 воров стоял в мордовской деревне Андреевке; узнав о селищевском поражении своих, они добились челом. Бежавшая с бою мордва спряталась в своих деревнях: Леонтьев велел сжечь эти деревни. Арзамасский и Алатырский уезды были успокоены.

Далее на востоке для усмирения черемисы и чуваш, волновавшихся вместе с русскими ворами по нагорному берегу Волги, для очистки Свияжска, Цивильска, Чебоксар, Кузьмодемьянска и других городов еще с половины октября действовал князь Данила Борятинский: в продолжение октября он разбил воров на осьми боях, выручил Цивильск, Чебоксары и, приблизившись к Кузьмодемьянску, 2 ноября написал к его жителям, чтоб добились челом государю. Ответа не было. 3-го числа воевода подошел еще ближе к городу и увидел, что идут священники с крестами, но подле духовенства не было никого из других чинов; священники объявили, что городские и уездные люди, выпустив их, священников. из города с крестами, заперли за ними город с угрозою, что порубят их жен и детей, пушки и всякое оружие против государевых людей у воров приготовлено. Борятинский немедленно велел солдатам и стрельцам идти на приступ; приступ удался: воры были перебиты и побраны в плен, между прочими и воровские старшины – посадский Шуст да соборный поп Федоров. Василь-город, узнав о судьбе Кузьмодемьянска, прислал повинную. В Кузьмодемьянске Борятинский остановился для розыску: 60 человек пущих воров казнено смертью, у сотни отсечены руки или по пальцу у правой руки, 400 биты кнутом нещадно. Но строгости и увещания мало помогли: черемиса нагорной стороны Кузьмодемьянского уезда вся воровала с воровскими козаками: дадут шерть и тотчас же опять заворуют, бьются с государевыми людьми: русские воры собрались в Ядрице. Борятинский послал уговаривать их монаха Герасима и посадского Тихонова: монах был сброшен с башни, посадский положен на огонь. Воры были так смелы, что не хотели ждать прихода на себя государевых людей: в половине ноября напали в числе 13000 на Кузьмодемьянск и зажгли слободы, но потерпели сильное поражение, потеряли две пушки и семь знамен. После этой победы Борятинский послал в Василь за подводами, чтоб везти пушки под Ядрин; вору, засевавшие здесь, испугались и бежали. Ядринцы присягнули государю, курмышане последовали их примеру. На Ветлуге бунт не распространился: там прикащики разных поместий и вотчин и без государевых воевод управились с воровского шайкою. Другая шайка перебросилась было на Унжу, но изгибла неизвестно как. К январю 1671 года восточная Украина утихла. Мятаж вспыхивал и во многих местах южной Украины, но не разгорался: главного заводчика не было.

Под Симбирском Стенька потерял и силы и власть. Он так растерялся, что, прибежав на Самару, стал рассказывать жителям Самары, как пушки у него не стали стрелять и оттого он бежал на низ. Сам богатырь-чародей признался, что сверхъестественная его сила оставила и самарцы не пустили его к себе в город. Саратовцы сделали то же самое. Пока еще Стенька был силен и держал Симбирск в осаде, сторона его на Дону держала верх и не давала Корнилу Яковлеву с

товарищами высказаться в пользу государства. В сентябре приехал в Черкасск из Москвы донской козак Артемий Михайлов с товарищами, привез царскую грамоту. Собрался круг, и, когда грамоту вычли, Корнило Яковлев начал говорить: «Мы от веры христианской и от соборной церкви отступили: пора нам успокоиться, дурость отложить и великому государю служить по-прежнему». Трижды со слезами повторял он эти речи козакам в кругу, и решили не порывать сношений с Москвою. отпустить туда станицу; но волжские козаки закричали: «Зачем посылать станицу в Москву, разве захотел в воду, кто поедет?» Потом, обратись к приехавшим из Москвы козакам, закричали: «А вы зачем из Валук вожу и провожатых брали? будто вы сами дороги не знаете? знатное дело: отпущены вожу и провожатые для проводывания вестей!»

Но когда пришли вести, что Разин разбит государевыми людьми, когда он сам явился на Дону с подтверждением этого известия, то дела переменялись: старые козаки взяли верх. Стенька свирепствовал, жег попадавшихся ему врагов в печи вместо дров, но ничто не помогало; Дон не поднимался на его защиту. В феврале 1671 года он подошел было с своею шайкою к Черкасску, но его не пустили; он отошел с угрозою, что возвратится и изведет всех, и засел в Кагальницком городке. А между тем Корнило Яковлев сносился с Москвою, как бы промыслить над Стенькою: в Москве в неделю православия прокричали анафему Стеньке Разину и велели старому нашему знакомому, стольнику Касогову, привыкшему жить между козаками, двинуться на Дон с тысячею человек выборных рейтар и драгун. Дело покончилось скорее, чем ждали: 14 апреля старые козаки подступили к Кагальницкому, сожгли городок, схватили Стеньку с братом Фролом, сообщников его перевешали. 6 июня Стеньку после обычного допроса четвертовали в Москве.

Оставалось покончить с Астраханью. Мы видели, что Разин, уезжая, оставил здесь вместо себя атамана Ваську Уса и объявил астраханцам, что они могут управиться сами с остальными своими лиходеями. Астраханцы не долго медлили: 3 августа бунт, порубили бердышами подъячих Якова Трофимова и Ивана Бесчастного с товарищами, одних в сугон, других в домах, иных в тюрьмах; прибежали на митрополичий двор, начали искать здесь государева дворцового промышленника Ивана Турчанина, не нашли и напустились на митрополита и на его домовых людей, зачем спрятали Турчанина, грозились всех побить до смерти, ругали Иосифа скверными словами. «Ты угождаешь боярам, – кричали они ему, – только тебе у нас не уцелеть!» На этот раз митрополит спасся, что предсказано ему было и в сонном видении: видел он «палату вельми чудну и украшенну, сидят в ней трое убиенных князей Прозоровских и пьют питье сладкое паче меда, над ними венцы златы с драгим и многоценным камением; и он, митрополит, обретется в той же палате, токмо от них подале сидел, и питья своего ему не дали пить, глаголюще: он к нам еще не поспел». Рассказывая этот сон, митрополит плакал и говорил: «Еще не пришел час мой смертный!»

Начали ходить слухи, что Стеньке плохо, разбит под Симбирском и бежал; но бунт кипел еще на восточной Украине, царские воеводы еще были заняты там, и воровские козаки не отчаивались. 2 ноября явился к митрополиту татарин и подал царскую грамоту, в которой государь увещевал астраханцев принести повинную. Митрополит велел списать несколько списков с грамоты и распорядился так: ключаря своего Негодяева и Вознесенского игумена Сильвестра отправил к есаулу

Лебедеву (на которого, как видно, больше надеялся, чем на атамана Уса) убедить его, чтоб уговаривал своих воровских козаков отстать от воровства, а сам хотел увещевать народ в церкви. Но Лебедев, выслушав игумена и ключаря, «учинился неистов и на другой день поутру начал являть козакам, что митрополит со властями, с попами и дворовыми детьми боярскими складывает у себя грамоты, хочет нас всех отдать боярам руками». Козаки стали собираться на двор к атаману своему, Усу, туда же собирались и приставшие к ним астраханцы, а между тем гудел большой колокол, и народ толпился у соборной церкви. Пришел митрополит, велел ключарю облачиться и прочесть подлинную государеву грамоту вслух перед всем народом; в это время подошли с атаманова двора и козаки с оказавшимися астраханцами и также слушали грамоту. Ключарь кончил чтение и отдал грамоту митрополиту, но тут козаки бросились к последнему и вырвали у него из рук грамоту. Раздраженный таким бесчинством, Иосиф начал бранить Козаков, называл их еретиками, изменниками; те не остались безответными, начали ругать митрополита позорными словами, кричали: «Чернец! знал бы ты свою келью! что тебе до нас за дело? знаешь ли ты раскат?» «Посадить его в воду!» – раздавалось в одном месте. «Послать в заточение!» – в другом. Однако ни одна из угроз не была исполнена: козаки с государевою грамотою отошли к своему воровскому атаману. За митрополита поплатился ключарь: на другой день козаки схватили его, связали и били палками, допрашивали: «Скажи, кто ту грамоту писал? вы с митрополитом, попами и детьми боярскими ее здесь сложили?» «Государева грамота прямая, – отвечал ключарь, – прислана из Москвы». «А есть ли с нее список? – спрашивали вору. Ключарь, не стерпя палок, сказал, что списки есть. Явился к митрополиту есаул и с нечестью отобрал у него списки.

Слухи все приходили хуже и хуже для козаков: бунт улегался на восточной Украине, и вот в апреле пришла страшная весть – Разин взят старыми козаками в Кагальницком. Вору переполошились, но еще не потеряли всей надежды; решили, чтоб одна шайка с атаманом Федором Шелудяком отправилась вверх по Волге к Симбирску; Васька Ус по-прежнему оставался в Астрахани.

Здесь 21 апреля, в великую пятницу, митрополиту дали знать, что юртовские татары привезли из Москвы новую государеву грамоту и стоят за Волгою; Иосиф тотчас послал к новоучрежденным воровским астраханским старшинам, чтоб пришли к нему на совет. Посланный возвратился с ответом, что старшины нейдут, а стоят на базаре. Тогда митрополит пошел сам на базар и стал говорить пароду: «Православные христиане! ведомо мне учинилось, что есть к вам великого государя милость, призывная грамота, привезли татары, стоят они за Волгою; я государевой грамоты принять не смею, потому что вы меня и первую грамотою поклепали, будто я ее со властями и с попами складывал и писал дома; так вы теперь ступайте, возьмите грамоту сами и привезите ее ко мне; а великий государь-свет милостив, вины вам отдаст». Митрополиту отвечали старшины: «Мы не смеем без атамана Васьки Уса» – и пошли к атаману, а митрополит в собор. Тут подошел к нему Васька Ус с есаулом Топорком: Топорок начал бранить митрополита; тот рассердился и кинулся на него с посохом: «Враг ты окаянный, еретик и богоотступник! Что вы не повинуетесь великому государю?» Пошумев у собора, козаки пошли прочь, ругаясь скверными словами.

На другой день, в великую субботу, вору несколько раз присылали к митрополиту есаулов, чтоб отдал государевы грамоты. «А если не отдашь, – говорили есаулы, – всех твоих людей побьем, и самому тебе достанется!» «Государевы грамоты за Волгою у татар, – отвечал Иосиф, – пошлите за ними кого хотите». Наконец за грамотами послали: их привезли прямо в соборную церковь, где митрополит распечатал их при Ваське Усе с товарищами: но когда Иосиф хотел их читать, козаки повернулись и вышли из церкви в свой круг; митрополит пошел за ними в круг с священниками, домовыми детьми боярскими и дворовыми людьми и велел в кругу читать грамоты. Но когда чтение кончилось, козаки закричали: «Вольно писать им боярам и самим; если б была государева грамота, то была бы за красною печатью; ее митрополит сам сложил со властями и с попами; тужит по нем раскат; еще того раскату осталось; не те дни теперь захватили, а то бы он, митрополит, узнал у нас, как атаманы-молодцы смуту чинят: вся смута и беда от него, митрополита: он переписывается с московскими боярами, с Терекком и Доном; по его письму Терек и Дон от нас отложились. Несмотря на эти крики, митрополит обратился к астраханцам: „Астраханские жители! велено по грамоте великого государя воров донских всех перехватать и посадить в тюрьму до указа, а вам велено во всем вины свои принести: он, государь-свет, милостив, вины ваши отдаст; вы то все положите на мне. что великий государь вас, окаянных, ничем не велит тронуть“. „Кого нам хватать и сажать в тюрьму, – закричали в ответ, – мы все вору; возьмите его, митрополита, и посадите в тюрьму или в каменную будку; счастье твое, что пристигла Святая неделя, а то мы бы тебе дали память!“

Велик день помешал преступлению; но оно было неминуемо: враги стояли лицом к лицу; Иосиф высказался окончательно; на его призыв броситься на воров и посадить их в тюрьмы астраханцы не двинулись, но не нынче-завтра могли двинуться; в городе была власть, начальный человек, и этот человек прямо, открыто действовал против воров, вооруженный крестом и грамотою великого государя.

Только что прошла Святая неделя, в Фомино воскресенье козаки принялись за врагов своих; опять привели в круг несчастного ключаря и спрашивали, кто сочинял и писал грамоты? «Вы сами знаете, что они не здесь сочинены, – отвечал ключарь, – сами вы взяли их у татар». Ключаря повели за город и срубили. Схватили митрополичьих детей боярских и повели их пытать; но в кругу слышались голоса: «Что их пытать, или рубить, или казнить? их казним, а после них у митрополита другие будут писцы; пора нам приниматься за самого митрополита: его убьем, так в городе у нас смуты не будет». Детей боярских сперва посадили за крепкий караул, но потом выпустили. Поджигали себя, чтоб убить митрополита, но дело было страшное, не решались; нужна была сильная поджога, и она явилась.

Шелудяк плыл к Симбирску с тяжелою думою: это была последняя попытка, и что если она не удастся? Астрахань оставалась последним убежищем; но ее нужно было очистить от врагов, а то, пожалуй, прибегут к Астрахани, а там и ворота для них заперты. Шелудяк на дороге созвал круг, и приговорили: убить митрополита Иосифа и воеводу князя Семена Львова; чтоб заставить товарищей поднять руки на архиерея, послали сказать Усу, что Иосиф и князь Семен

ссылаются с донскими козаками, по их письму Разин пойман и всякое зло промышляется над его товарищами.

11 мая Иосиф был за проскомидиею в соборе, когда воры пришли звать его к себе в круг. «Добро, – отвечал митрополит, – вот я облачусь во всю святительскую одежду» – и пошел в алтарь облачаться, а воры дожидались на паперти; показалось им долго; начали говорить: «Что это, митрополит с попами не заперся ли в алтаре? мы пойдем в круг и, возвратясь, нечестью вытащим из церкви». Митрополит облачился и велел благовестить в большой колокол, чтоб собирались священники идти с ним вместе в круг. Войдя в круг в полном облачении, с крестом в руках, Иосиф спросил Уса: «Зачем вы меня призвали, воры и клятвопреступники?» Ус обратился к козаку, приехавшему от Шелудяка: «Что ты стал, выступи! с чем приехал от войска – говори теперь!» Козак начал говорить митрополиту: «Прислан я от войска с речами, что ты воровски переписываешься с Терекком и Доном и по твоему письму Терек и Дон отложились от нас». «Я с ними не переписывался, – отвечал Иосиф, – а хотя бы и переписывался, так ведь это не с Крымом и не с Литвою; я и вам говорю, чтоб и вы от воровства отстали и великому государю вины свои принесли». Ответ сильно не понравился. «Что он таит свое воровство, что не переписывался будто? – закричали в кругу, – какой он правый человек! что он пришел в круг с крестом? мы ведь и сами христиане, а ты будто пришел к иноверным». Крикуны начали уже выходить из круга, чтоб снять с митрополита облачение; но тут из толпы рванулся донской козак Мирон: «Что вы, братцы, на такой великий сан хотите руки поднять? нам к такому великому сану и прикоснуться нельзя». В ответ козак Алешка Грузинкин кинулся на Мирона. схватил его за волосы, другие воры пристали к Грузинкину, начали Мирона колоть, рубить, вытащили за круг и убили. Мирона убили, но слова его произвели впечатление: точно, показалось страшно дотронуться до архиерейского облачения, и козаки начали приступать к священникам, толкать и бранить их скаредною бранью: «Снимайте с митрополита сан! он снимал же и с Никона-патриарха сан». Иосиф сам снял с себя митру, панагию и, обратившись к протодиакону, сказал: «Что же ты стал, не разоблачаешь? уже пришел час мой!» Протодиакон в ужасе снял омофор, снял саккос. Тут козакст выбили все духовенство из круга, крича: «До вас дела нет!», и повели Иосифа пытать на пороховой двор. Митрополита положили на огонь и спрашивали: «Откажи свое воровство, как ты переписывался?» Иосиф не отвечал ни слова, только творил молитву и проклинал палача. Спросили о казне: Иосиф объявил, что у него только 150 рублей, а поклажи ничьей нет. После пытки митрополита повели на казнь, на раскат: проходя тем местом, где лежал еще труп убитого за него Мирона, Иосиф осенил его и поклонился. Взвели на раскат, посадили на край и хотели сринуть: Иосиф испугался последней минуты, ухватился за козака и поволок было его с собою; тогда воры положили его на бок на краю раската и столкнули. Это были самые отчаянные воры, которые работали на раскате, Алешка Грузинкин с немногими товарищами. Самая деятельность поддерживала их ожесточение, их опьянение. Но с другим чувством стояло большинство воров внизу, подле раската; их страх увеличивался все более и более с приближением дела к развязке, и, когда наконец тело Иосифа ударилось об землю, козакам послышался страшный стук: они обомлели и минут с двадцать стояли в глубоком молчании, повеся головы. Потом опохмелились пыткой и казнию воеводы князя Семена Львова.

Наказ Шелудяка был исполнен: Астрахань очищена от опасных людей. На другой день после убийства Иосифа и князя Львова воры написали запись и силою заставили духовенство приложить к ней руки за себя и за детей духовных: обязывались стоять против бояр и изменников и умирать друг за друга. Но запись не помогла. Федька Шелудяк в июне доплыл до Симбирска, но это важное место успели уже защитить: здесь сидел старый наш знакомый, перебравшийся, подобно другим воеводам, с запада на восток, боярин Петр Васильевич Шереметев. Воры были отбиты и завели переписку с Шереметевым, обещаясь принести повинную: Шереметев отвечал им, что пошлет к великому государю за указом, воры отступили в Самару дожидаться этого указа. Этот поступок Шереметева с шайкою воров, более не опасною, не понравился в Москве, особенно когда там прочли подлинные воровские грамоты к воеводе. В Симбирск явился стольник князь Волконский с похвалою Шереметеву за его подвиги против воров и вместе с выговором: «Ты прислал к великому государю воровские письма, но писаны они не так, как виновные добивают челом и милости просят; да они же. воры, написали, будто у великого государя есть бояре-изменники: князь Юрий Алексеевич Долгорукий и Богдан Матвеевич Хитрово; написали и другие многие затейные дела. Ты на их воровские письма писал к ним памяти, где в начале писано: по указу великого государя, и иное многое писано в тех памятях, чего к ним, ворами, писать не довелось, и печатаны памяти печатью Симбирского города. Тебе, боярину, с такими ворами переписываться не довелось; а у великого государя бояр-изменников никого нет, служат великому государю верно. Ты пишешь, что воры пошли на Самару и ждут там государева указа: и то знатно, что своими письмами воров остановили и учинили это не гораздо».

Воры, видя, что милостивой царской грамоты к ним не приходит, разбежались с Самары каждый в свой город, а Федька Шелудяк с астраханцами поплыл в Астрахань, где принял главное начальство после Уса, умершего червивою болезнью. Но следом плыли к Астрахани государевы люди с воеводою боярином Иваном Богдановичем Милославским. В конце августа суда Милославского показались в виду Астрахани: воры отправились было против него на стругах, чтоб не пропустить к городу: но боярин отбил их, пристал к берегу и построил себе земляной город на устье реки Болды. Отсюда несколько раз посылал он уговаривать астраханцев и донских козаков к сдаче, обещая государеву милость; «они же, яко дикие зверие, ни мало внимаху». Козаки не ограничились только обороною: атаман Алешка Каторжный стал со своим отрядом на нагорной стороне, чтоб мешать сообщению Милославского с Верхом, козаки решились напасть даже на самый стан Милославского, но были отбиты. 12 сентября боярин велел сделать земляной городок и на нагорной стороне, на речке Соленой, против своего стана, Шелудяк и Каторжный немедленно напали на новый городок, но были поражены наголову.

Три месяца после того стоял Милославский под Астраханью; воры не предпринимали более наступательных движений, но и не сдавались. На помощь к Милославскому явился черкесский князь Каспулат Муцалович и осадил Астрахань с другой стороны. Милославский, чтоб иметь более возможности к увещаниям, позволил астраханцам свободный вход в свой стан для переговоров; каждый день являлись они к нему пьяные и говорили всякие речи; боярин отвечал всегда мягко, уговаривая взыскать милость великого государя. Наконец в

Астрахани обнаружилось разделение между закоренелыми ворами, которые не хотели сдаваться, и между умеренными, желавшими принести вины свои. Последние, убегая насильем от противной стороны, начали перебегать в полки государевы: боярин принимал их ласково, приказывал кормить и поить, Воры в злобе на этих перебежчиков кричали, что побьют вдов, оставшихся от прежде побитых ими, побьют остальных детей боярских, подьячих и митрополичьих людей; но время их явно проходило, у них уже не доставало ни силы, ни смелости для новых преступлений. Сам Федька Шелудяк истребил *единачную* запись, составленную на другой день по смерти митрополита Иосифа. Князю Каспулату Муцаловичу удалось как-то выманить к себе Шелудяка и задержать. Сильное волнение началось в Астрахани, когда узнали, что Шелудяк в руках у государевых людей. Кончилось тем, что 26 ноября астраханцы дали знать Милославскому о своей покорности.

27 ноября по вновь наведенному мосту на реке Кутуме двинулись государевы полки в покорившийся город: впереди шли священники с молебным пением, несли икону богородицы «Живоносный источник в чудесех», данную Милославскому при отпуске государем, по обычаю. Астраханцы вышли навстречу и, увидав икону, пали на землю и завопили, чтоб государь отдал им вины, как милосердый бог грешников прощает. «Вины всем отданы, – отвечал Милославский, – и вы государскою милостию уволены». Воевода прямо отправился в собор к молебну; с иконы «Живоносного источника» велел списать новую и оставить в соборе на память будущим родам. По стенам и воротам стали сотники и стрельцы московские.

Как некогда во Пскове в подобных же обстоятельствах, так теперь и в Астрахани никого не тронули. Сам Федька Шелудяк жил на свободе на воеводском дворе; другие заводчики бунта также оставались без наказания, поплатившись только награбленным добром в пользу воеводы и приказных людей; даже Алешка Грузинкин, задарив последних, получил отпуск из Астрахани; другие воры закабалились в холопы воеводе и приказным людям. Но когда все совершенно успокоилось, летом 1672 года явился в Астрахань князь Яков Одоевский для суда и расправы: главные заводчики – Федька Шелудяк, Алешка Грузинкин, Феофилка Колокольников, Красулин были повешены; Корнилко Семенов, у которого нашли заговоры, сожжен как еретик; другие отправлены на службу в верховые города.

Государство, сосредоточив свои силы на восточной Украине, отправив туда лучших воевод, задавило бунт в продолжение 1670 и 1671 года. Соловецкое возмущение не казалось опасным, силы, туда отправляемые, были ничтожны, воеводы плохи, и потому Соловецкий монастырь держался против царского войска семь лет с лишком. Мы видели, что в 1668 году отправлен был туда стряпчий Игнатий Волохов с отрядом стрельцов; архимандрит Иосиф, не принятый в монастыре, жил в Сумском остроге и заведовал всеми соловецкими вотчинами – Сумским острогом, Кемским городком и 22 усольями. В январе 1669 года Волохов по государеву указу отправил в монастырь стрельца с увещанием обратиться; стрелец принес ответ: «У нас одно положено, что по новым книгам петь и служить отнюдь не хотим; на том мы в монастыре и сели, что помереть, и если Волохов вперед к нам пришлет, то мы его посланца в тюрьму засадим». Волохов не предпринимал ничего против монастыря, а завел ссору с

архимандритом Иосифом, доносил на него в Москву, что он вместе с монахом Кириллом только и любят тех, у которых в монастыре братья и племянники воруют, что брат бунтовщика попа Матюшки дьячок Ивашка Евстратьев живет у архимандрита в келье, и с монахом Кириллом всякие письма тайно пишут и посылают. «Надобно думать, – писал Волохов, – что в архимандрите к тебе, государю, мало правды: за ваше здоровье в навечерии Рождества Христова бога не молил и дьякона возглашать не заставлял, и говорком псаломщик не говорил: за это я на архимандрита шумел; на 12-е число февраля, на Алексея-митрополита и на ангел царевича Алексея Алексеевича свадьбы венчали. Сказывал мне поповский староста, Унежемского усолья поп Василий, как ездил он по соловецким вотчинам, то заметил, что за ваше здоровье на великом выходе бога не молят, в церквах говорят не единогласно и пение поют на наречное. Хотел я ехать в Кемский городок, потому что кемские люди соловецким ворах радеют, и архимандрит мне подвод не дал... Архимандрит Иосиф и по усольям старцы все бражники; чернецы и служки ходят на волость пьяные и государевы запасы на воровство приносят бабам». Архимандрит Иосиф, с своей стороны, писал, что Волохов над соловецкими мятежниками промыслу никакого не чинит, сам на море не ездит и стрельцов не посылает, живет в Сумском остроге и, приметываясь к монастырским служкам и крестьянам, чинит налоги для своей корысти, бьет батогами безвинно, в цепях и железах держит многие дни, хвалится архимандрита великому государю огласить напрасно: монастырских крестьян, едущих к Архангельску, велит задерживать и берет с них деньги за пропуск. На Волохова же писали сотники московских стрельцов Чадуев и Молчанов, обвиняя его в нерадении и трусости.

Наконец вражда между Волоховым и архимандритом дошла до того, что 16 марта 1672 года Волохов пришел в церковь и во время херувимской, перед самым выходом, схватил архимандрита, бил по щекам, драл за бороду и начал толкать в шею; стрельцы подхватили Иосифа, выволокли из церкви с ругательствами и посадили в тюрьму, где он сидел на большой цепи со стулом. Давая знать в Москву о посажении Иосифа на съезжий двор *за караулом*. Волохов объяснил дело таким образом, что 15 марта явились к нему все монахи, кроме троих, живущих в келье у архимандрита, и объявили, что Иосиф в Сумском заводит бунт и воровство такое же, что в Соловецком, хочет его, Волохова, сотников и стрельцов бить.

Разумеется, немедленно была отправлена грамота в Сумской – освободить архимандрита; Волохову очень это не понравилось, он начал было говорить, что грамота прислана воровски, однако делать нечего, 2 мая выпустил Иосифа из тюрьмы. Оба, и Волохов и архимандрит, были вызваны в Москву для суда, вызваны были и старцы, донесшие на архимандрита. Против обвинений в нерадении Волохов оправдывался, что он к монастырю на море не ходил и стрельцов не посылал за малолюдством, а в Кемском городке заставу постановил, чтоб монастырские крестьяне в монастырь запасов не провозили. Но к чему служила эта застава, когда выходцы сказывали, что в монастыре хлебных запасов и соли будет на 15 лет? К чему служила кемская застава, когда во все лето 1671 года Анзерской пустыни чернец Варфоломей и Двинского уезда старец Никандр и с берегов всякие люди провозили в монастырь рыбу, масло, всякие товары и, между прочим, 15 бочек красного вина? Архимандрит Иосиф показал, что



Волохов принял в Сумской острог бегуна чернеца Германа и, восприняв на себя архиерейскую честь, память ему дал, велел ему обедню служить и духовным отцом себе сделал, приказал ведать прочих священников во всем, а Герман пьянским обычаем благословлял народ обеими руками, как митрополит. Волохов не запирался, что дал память по Германову челобитью и по свидетельству соловецких монахов, знавших этого монаха. Но сам Герман показал, что Волохов велел ему служить насильно и сажал его в цепь, принуждая взять память. Герман вместе с тем показал и на Иосифа, что к нему присылают из Соловецкого монастыря деньги, а он посылает в монастырь запасы и говорил ему, Герману: «По новоисправленным служебникам я не служил и вперед служить не хочу, по этим книгам не устоит, будет все по-прежнему». Иосиф отвечал, что ничего подобного он не говорил Герману. Что же касается до показания монахов о бунте Иосифа, то монахи эти объявили в Москве: «Когда у архимандрита с Волоховым учинилась вражда, то архимандрит посылал нас к Волохову говорить, чтоб он пожил смиреньем; но Волохов взял нас с собою в съезжую избу, велел подьячему написать сказки на архимандрита в бунте, как ему годно, и поневоле велел нам приложить руки».

Иосиф был переведен в казанский Спасский монастырь; не знаем, что сделали с Волоховым, только на его место в июне месяце 1672 года отправлен был стрелецкий голова Клементий Иевлев. 2 августа Иевлев с 725 стрельцами отправился на Соловецкие острова и, пришед в Глубокую губу, послал к мятежникам письмо, чтоб добились челом и впустили его в монастырь; но мятежники отказали ему с великим невежеством. Получив такой отказ, Иевлев отправился под монастырь, пожег около него хоромное строенье, амбары, лодки, карбасы, сено и дрова, разорил рыбные и звериные ловли, побил лошадей и ушел в Сумской острог, хвалясь тем, что государевых ратных людей отвел в целости, только было ранено два человека; предпринять против монастыря что-нибудь важное Иевлев не мог, потому что у служилых людей пороху и свинцу не стало, не было этих запасов и в Сумском. Иевлев был также отозван в Москву в 1673 году, и осада поручена была воеводе Ивану Мещеринову. У него было 700 стрельцов и, что всего важнее, стенобитные орудия. Мещеринов начал было действовать решительно в 1674 году, окопал свое войско шанцами, устроил городки и открыл с них пальбу против монастыря; но когда в октябре начались холода, он снял осаду, разорил все свои укрепления и по примеру предшественников ушел зимовать в Сумской. В монастыре при обороне сильнее всех действовали старый заводчик, архимандрит Никанор, служка Бородин, келарь Нафанаил Тучин, городничий старец Протасий, из мирян сотники: Исачко Воронин да кемлянин Самко. Никанор ходил беспрестанно по башням, кадил пушки, кропил их водою и приговаривал: «Матушки мои галаночки! надежда у нас на вас, вы нас обороните!» «Стреляйте, стреляйте! – кричал беспрестанно Никанор. – Смотрите хорошенько в трубки, где воевода; в него и стреляйте: как поразим пастыря, ратные люди разойдутся, аки овцы». Но между осажденными была постоянно рознь. Мы видели, что монахи, стоя горячо за предания чудотворцев, как они выражались, не хотели, однако, порвать с правительством и на вопрос архимандрита Иосифа: царь православен ли, отвечали утвердительно; даже главный оратор старообрядства, Геронтий, не одобрял стрельбы в государевых людей. Таким образом, двое главных заводчиков восстания разошлись. Но на

стороне Никанора были начальники ратных людей, сотники Воронин и Самко; эти не только считали позволительным стрелять в государевых людей, но требовали от священников, чтоб перестали молиться за государя. «Молитесь за преосвященных митрополитов и за всех православных христиан!» – говорили они священникам, а про государя говорили такие слова, что «не только написать, но и помыслить страшно». Видя, что по их не делается, воры схватили четырех монахов, главных своих противников, в том числе и Геронтия. 16 сентября созвали собор и объявили келарю, что служить больше не будут и ружье на стену положили, потому что священники их не слушаются, молятся за государя, а они этих молитв слышать не хотят. Келарь стал им бить челом, и они умилились, взяли снова оружие, но объявили священников еретиками, перестали ходить в церковь, исповедовались друг у друга, а не у отцов духовных, завели содомию, начали расхищать монастырскую казну. Геронтий с товарищами были выпущены из тюрьмы, но принуждены были оставить монастырь и явились к Мещеринову. Геронтий остался верен своим убеждениям и объявил в допросе: «Перед великим государем я во всем виноват: я за него всегда бога молил, теперь молю и вперед молить должен: апостольскому и св. отец преданию последую: а новоисправленных печатных книг, без свидетельства с древними харатейными, слушать и тремя перстами крест на себе воображать сумнительно мне, боюсь страшного суда божия!»

Большая часть священников оставила монастырь: тогда воры приговорили между собою крест целовать, что им стоять и биться против государевых людей, за сотников и помереть всем заодно: но когда начали целовать крест, то оказалось много нежелающих, а двое оставшихся священников прямо отказали и церковной службе. Но Никанор не унывал. «Мы, – кричал он, – и без священников проживем, в церкви часы станем говорить, а священники нам не нужны!»

В конце мая 1675 года Мещеринов опять явился под монастырем со 185 стрельцами. В августе пришло к нему еще около 800 стрельцов двинских и холмогорских. На этот раз воевода не пошел, 110 обычаю, зимовать в Сумской, но остался под монастырем. Попытка взять его приступом 23 декабря не удалась: но перебежчик монах Феоктист указал Мещеринову отверстие в стене, легко закладенное камнями. Ночью на 22 января, в сильную метель и бурю, Феоктист новел стрельцов к отверстию; камни были выломаны, и перед рассветом стрельцы были уже в монастыре; осажденные, ничего не подозревая, разошлись уже спать, часовые стояли по башням, и стрельцы могли на свободе сбить замки и отворить ворота, в которые и вошел Мещеринов с остальными стрельцами. Защитники монастыря проснулись уже слишком поздно: некоторые из них бросились было на стрельцов с оружием в руках, но сгибли в неравном бое; заводчики Никанор, Самко были схвачены и казнены, другие разосланы в Кольский и Пустозерский остроги; те же, которые объявили, что повинуются государю и церкви, прощены и остались жить в монастыре.

## Дополнение

*1. Дела Малоросс. в Москов. глав. архиве мин. иност. дел 1665 года, № 68.  
Список городов:*

*Переяславский полк*: Переяславль, Барышполе, Барышовка, Воронков, Золотоноша, Домонтов, Бубнов, Оржица; разоренные: Генмязов, Ирклеево, Басань, Кропивная, Бурорль.

*Киевский полк* : Киев, Острь, Козелец; разоренные: Бобровица, Загорыч, Гоголев.

*Нежинский полк* : Нежин; разоренные: Кобыжжа, Носовка, Олшевка, Мрын, Девица Салтыкова, Ивань-Городище, Бахмач; жилые: Борозна, Конотоп, Батурин, Новые Млыны, Короп, Глухов, Королевец, Воронеж.

*Черниговский полк* : Чернигов, Седнев, Березная, Мена, Сосница; разоренные: Любеч, Лоев.

*Стародубский полк* : Стародуб, Новгородок, Погарь, Почеп, Мглин.

*Полтавский полк* : Полтава, Санджаров Старый, Санджаров Новый, Белики, Кобыляк, Кишенка, Переволочная, Решетилровка.

*Миргородский полк* : Миргород, Хороль, Сорочинцы, Учтививица, Ярески, Остап Голтва, Манджеленовка; разоренные: Барановка, Шишак, Белоцерковка, Богачка, Балаклея.

*Лубенский полк* : Лубны, Пирятин, Глинск, Ромен; разоренные: Чернухи, Смелая, Костянтинов, Лукомль, Венча, Куренка, Яблонов.

*Прилуцкий полк* : Прилуки, Гуня, Красной, Серебряное, Варва, Иваница, Переволочная, Буровка (разорен).

Роспись, в которые времена в малороссийских городах ярмонки бывают:

В *Киеве* : в день св. Георгия после Светлого Воскресения; на Рождество богородицы; в первую неделю Великого поста.

В *Переяславле* : в день св. Симеона (1 сентября); на Богоявление; в десятую пятницу.

В *Барышовке* : на Воздвижение; о Васильеве дне (1 января); в день Николы вешнего.

В *Барышполе* : в день св. Петра и Павла, о Масляной неделе.

В *Золотоноше* : на Успение богородицы: в Сырную неделю.

В *Чернигове* : на Богоявление; в день св. Прокопия; в день св. Евстафия.

В *Мглине* : в день Преображения.

В *Погаре* : в оба Николина дня и на Успение.

В *Почепе* : в Ильин день.

В *Конотопе* : в день св. Георгия.

В *Короне* : в Троицын день и в день св. Евстафия (сентября 20).

В *Прилуке* : в Сырную неделю; в день Рождества Предтечи; в день св. Димитрия.

В *Ичне* : о Петровом заговенье; в Ильин день.

В *Варве* : в день апостола Петра.

В *Чернухах* : в Петрово заговенье.

В *Красном* : в Николин день осенний; в Петрово заговенье.

В *Серебряном* : в день Николы осеннего.

В *Пирятине* : в четвертую неделю Великого поста.

В *Лубнах* : в Троицын день, Преображение, Покров.

В *Миргороде* : в Рождество богородицы; в Николин день осенний.

В *Нежине* : на Троицын день; на Покров; во всеядную неделю перед Масленицею.

2. *Из отписки князя Алекс. Никит. Трубецкого царю в августе 1659 года.* Когда Трубецкой объявил ратным людям поход в Нежин, то «городовые дворяне и дети боярские на нас, холопей твоих, кричали великим шумом и говорили с большим невежеством, что им с нами в поход не идти, и шумели на нас гилем: и мы тех гилевщиков велели имать стрельцом, и из тех гилевщиков изымали бежиченина Кирилла Неупокоева сына Корякина да костромитина Тихомира Иванова сына Матцкого, и их, Кирилла и Тихомира, городовые дворяне и дети боярские у стрельцов учили отбивать, и я, холоп твой Алешка, за тех гилевщиков сам принялся, чтоб их отбить не дать. Городовые дворяне и дети боярские много кричали большим криком: не давай, не давай! отыми, отыми! и меня затеснили, и товарищи мои и ясаулы, которые были за нами в то время на съезжем дворе, гилевщиков от меня отбили, и изымаемых гилевщиков, бежиченина Кирилла Корякина да костромитина Тихомира Матцкого, мы велели отослать в тюрьму до твоего, великого государя, указа. А как мы пошли с съезжего двора, и на нас городовые дворяне и дети боярские шумели ж многим невежеством, и говорили, что-де им в поход с нами в Нежин не хаживать, и по улицам учили бунтовать, и на площадях круги заводить, и рейтар, и драгунов, и стрельцов наговаривать, чтоб они с ними заодно были. Да августа ж в 29 день поехали мы к обедне, и на улице у двора, на котором я стою, стояли городовые дворяне и дети боярские многолюдством же и гилем, а иные были с чеканы и с топорками, и, выступя из них, арзамасец Яков Дмитриев да костромитин Василей Салманов учили нам в походе отказывать большим шумом и невежеством и учили многие бунтовать и на нас кричали ж большим криком, и мы тех пущих гилевщиков дву человек велели изымать стрельцам и отвести на съезжий двор, и тех гилевщиков учили у стрельцов отбивать, и мы тех пущих гилевщиков изымали, а иные разбежались, и тех дву человек велели повесить и, доведчи до виселицы, велели от виселицы поворотить и до съезжего двора бить кнутом нещадно». (Архив мин. юстиции, столбцы Малоросс. приказа, № 5855)

## **Двенадцатый том**

### **Глава первая**

#### **Продолжение царствования Алексея Михайловича**

*Вести от Брюховецкого о турецких замыслах; доносы на Запорожье и на епископа Мефодия. – Убиение царского посланника Ладыженского я Запорожье. – Письма кошевого Васютенка к Брюховецкому по этому случаю – Следствие по козацким жалобам на полтавского воеводу. – Увещательная царская грамота к козакам. – Сношения с Дорошенком. – Неудовольствия епископа Мефодия на Москву и примирение его с Брюховецким. – Наговоры Мефодия на Москву. – Тукальский сносится с Брюховецким и склоняет его окончательно к измене. – Начало волнений в Малороссии. – Царская грамота к*

*Брюховецкому по поводу этих волнений. – Решительное восстание против московских воевод в малороссийских городах. – Грамота Брюховецкого на Дон. – Внушения польские против козаков. – Движения князя Ромодановского. – Татары и Дорошенко на восточном берегу Днепра. – Гибель Брюховецкого. – Дорошенко удаляется на западную сторону, и восточная снова тянет к Москве. – Наказной гетман Демьян Многогрешный. – Архиепископ Лазарь Баранович и протопоп Симеон Адамович. – Грамота Барановича к царю с увещанием простить малороссиян и вывести от них воевод. – Последняя деятельность епископа Мефодия. – Татары провозглашают нового гетмана – Суховеенка. – Затруднительное положение Дорошенка. – Сношения его и Многогрешного с киевским воеводою Шереметевым. – Большое малороссийское посольство в Москве. – Письмо протопопа Симеона Адамовича, к царю. – Разговоры Многогрешного и Барановича с посланцем Шереметева. – Глуховская рода: избрание Многогрешного в гетманы. – Сношения с Польшею и Швециею. – Король Ян-Казимир отрекается от престола. – Вопрос об избрании в короли польские царевича Алексея Алексеевича. – Последняя служба Ордина-Нащокина. – Переписка его с царем. – Избрание в польские короли Михаила Вишневецкого. – Съезды Нащокина с польскими комиссарами. – Удаление Нащокина в монастырь. – Польские послы Гнинский и Бростовский в Москве. – Дело о возвращении Киева и о союзе против турок. – Русское посольство в Турции. – События в Крыму.*

В то время как Москву занимали важные события, с одной стороны, окончание тяжелой тринадцатилетней войны, с другой – небывалый собор в присутствии двух патриархов восточных, осуждение и заточение Никона, решение раскольничьего вопроса, – в это время, т е в конце января 1667 года, посланцы Войска Запорожского каневский полковник Яков Лизогуб и канцелярист Карп Мокриевич подали информацию от боярина и гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого. По-прежнему боярин и гетман просил помощи против неприятелей и тогбочных изменников и объявлял свое плохое и недостойное разумение, чтоб не принимать просьбы крымского хана о мире: «Бусурманин хочет только оплошнить миром и потом напасть на города малороссийские; купцы греческие рассказывали за верное, что султан велел воеводам молдавскому и волошскому идти войною на Украину; мир весь опасается приходу бусурманского и изменничьего и бьет челом о прибавке ратных людей в города малороссийские; при боярине и гетмане с воеводою Протасьевым государевых ратных людей нет, все разбрелись по домам; в изменничьем городке Тарговице по указу ханскому, а по просьбе Дорошенка бусурманским именем начали деньги делать, чтоб этими деньгами, будто серебряными, а не медными, всяких людей к бусурманской мысли приклонять; Чигирин и другие изменничьи города надобно вконец разорить, потому что, пока они будут стоять целы, Украине не будет покоя; боярин и гетман, по христианскому обычаю, ради царя и веры православной велел построить церковь Сорока мучеников под Конотопом, на месте побоища: бьет челом, чтоб государь помог на церковное строение из казны и на колокола дал две пушки; да будет царскому величеству ведомо о бесчинии некоторых духовных лиц: людям обоюго пола беззаконно жить и разводиться позволяют; пожаловал бы великий

государь митрополита на митрополию Киевскую, который бы всякое бесчиние уничтожал: духовенство двоедушествует, а как от патриарха московского на митрополию Киевскую прислан будет митрополит, то все шатости на Украине прекратятся. Жена покойного Богдана Хмельницкого приехала в Киев с изменничьей стороны, с нею дочь Гришки Гуляницкого, и живут в Печерском монастыре; во всех государевых городах воеводы позволили мужикам вино курить и продавать сколько кто сможет: это дело недостаточное, от него вырастают бунты, лесам умаленье и хлебам убавка; велел бы великий государь воеводам заказ учинить, чтоб, кроме козаков, мужикам не курить вина». Наконец посланные объявили о винах нежинского полковника Матвея Гвинтовки: будучи в Москве, он не хотел приложить руки к статьям; по возвращении из Москвы съехались к гетману полковники и объявили о неправой службе Гвинтовки; в прошлом году под Чигирином показал явную измену, и когда гетман стал ему за это выговаривать, то Гвинтовка отвечал: «Нигде не ведется, чтоб свой на своего воевал». Да он же научал гетмана собрать раду и положить булаву. Теперь, объявили послы, Гвинтовка сидит в Гадяче за караулом, а на его место выбрали со всею старшиною Артема Мартинова.

С ответами на все эти статьи и с объявлением о заключении Андрусовского перемирия отправился в Малороссию стольник Телепнев. За службу и остерегательство насчет хана великий государь жаловал гетмана, милостиво похвалял; ратные люди в малороссийские города присланы будут вскоре; о митрополите в Киев царский указ будет впредь: с Гвинтовкою указал государь учинить по войсковым правам чего доведется. Боярин и гетман после торжественного молебствия о всемирной радости, о замирении с поляками объявил Телепневу, что турецкий султан сам хочет идти войною на поляков под Каменец, который хотят сдать ему армяне. Потом гетман стал просить, чтоб государь указал ему быть в другом городе, а в Гадяче быть ему не у чего – место пустое; по-прежнему Иван Мартынович предостерегал насчет Запорожья: «Козаки идут толпами в Запороги; надобно в Койдак и Кременчуг как-нибудь ввести ратных людей, чтоб в Запорожье хлеба не пропускать; а когда в Запорожье будет козаков многолюдство, то ждать от них шатости».

От боярина и гетмана Телепнев отправился в Киев к боярину и воеводе Шереметеву, от которого услышал жалобы на козаков: «Мещанам от козаков чинятся налоги большие, и мещане бредут врознь; а в Киеве ратные люди от голоду бредут врознь; конных и пеших людей всего в Киеве 3177 человек».

Скоро пришли новые вести от Брюховецкого о Запорожье вместе с доносом на епископа Мефодия. «Скорее, как можно скорее прислать ко мне ратных людей, чтобы народ на этой стороне Днепра в отчаяние не приходил, – писал боярин и гетман. – Запорожских козаков всякими гостинцами обсылаю, на доброе дело всячески уговариваю, только бы мне в этом деле двоедушные духовные особы не были препоною и запорожцам на всякое зло поджою, как, например, преосвященный епископ мстиславский: с его поджоги невинная кровь христианская разливается; теперь, когда этого епископа здесь, на Украине, нет, то многим кажется, что другой свет стал; пусть епископ живет в Москве или где будет угодно государю, только бы не в городах, близких к Запорожью; и переяславские бунты не легко бы укротились, если бы прошлого года епископ не уехал в Москву. Епископ уговорил епарального судью Петра Забелу послать сына

своего в Запорожье, зачем? Сам Забела состарился, а в Запорожье не бывал; сыновья его и подавно, были только у польского короля и привилегии себе повыправили; а теперь умыслил сына в Запорожье слать, людьми мутить и запорожцев на зло уговаривать. Бью челом великому государю, чтобы не велел видаться на Москве с епископом козакам, которые от меня приезжают, особенно запорожцам: он их научает на всякое зло. Некоторые из них мне сказывали, что епископ тайно призывал к себе голодных запорожцев и жаловался, будто по моей милости ему казны с дворца не доходит».

Опасения Брюховецкого насчет Запорожья сбылись, не помогли его гостинцы! В апреле месяце переправился за Днепр стольник Ладыженский, ехавший в Крым вместе с ханскими гонцами. На дороге пристало к ним человек полтора запорожцев, которые зимовали в малороссийских городах, ночевали вместе две ночи спокойно, но на третий день напали на татар и перерезали их, имение пограбили и скрылись. Приехавши в Запорожье, Ладыженский обратился к кошевому Рогу с требованием, чтобы велел сыскать злодеев, а его, стольника, проводить до первого крымского городка. «Воры учинили это злое дело без нашего ведома, – отвечал кошевой, – в Сечу к нам не объявились, и сыскать их негде». Чрез несколько дней собралась рада, после которой козаки захватили у Ладыженского все бумаги и казну, пересмотрели и спрятали в Сечи, а Ладыженскому объявили, что его не отпустят, потому что к ним нет грамот ни от государя, ни от гетмана.

Как скоро узнали об этом в Москве, то в Гадяч к Брюховецкому поскакал хорошо знакомый с Малороссиєю стольник Кикин «Вам бы, – говорил он боярину и гетману, – службу свою и раденье показать, послать в Запороги верных и досужих людей, чтобы кошевой и все войско про то про все разыскали наскоро, воров казнили смертью по стародавним войсковым правам, пограбленное отдали сполна и стольника Ладыженского отпустили». Но Ладыженский был уже отпущен.

12 мая зашумела новая рада в Запорожье: скинули с атаманства Ждана Рога, выбрали на его место Астапа Васютенка и начали толковать об отпуске Ладыженского; решили отпустить. Тут старый атаман Рог повел речь, что надобно сыскать тех козаков, которые побиили татар «Чего сыскивать? – закричали ему из круга. – Сам ты про то ведаешь, татарская рухлядь теперь у тебя в курене». Побежали к Рогу в курень и принесли вещи на улику. «Это мне принесли в подарок козаки, – отвечал Рог, – а того не сказали, где взяли». Тем дело и кончилось в Сечи. Сам кошевой Астап Васютенко с 40 козаками отправился провожать Ладыженского вниз по Днепру; но едва отъехали они от Сечи версты с две, как нагнали их козаки в судах и велели пристать к берегу. Москвичи повиновались; козаки раздели несчастных донага, поставили их на берегу, окружили с пищалями и велели бежать в Днепр, но только что те побежали, как вслед за ними раздался залп из пищалей; смертельно раненный Ладыженский пошел ко дну; других пули не догнали, и они были уже близко другого берега, но убийцы пустились за ними в лодках, захватили и перебили. Объявивши таким запорожским способом войну Москве, козаки начали толковать, чтобы быть в соединенье с Дорошенком и выгонять московских ратных людей из малороссийских городов, не давать московскому царю никаких поборов с отцов своих и родичей. Запорожцы хвалились, что полтавский полковник на их стороне,

и действительно, стоявший в Полтаве воевода князь Михайла Волконский дал знать государю, что между полтавцами шатость большая: «От полтавского полковника козакам и мещанам, которые тебе, великому государю, хотят верно служить, заказ крепкий, с большим пристрастием, чтобы ко мне никто не ходил и с твоими русскими людьми никто не водился, а кто станет водиться, тех хотят побивать до смерти; мещанам, которые выбраны к таможенному сбору в целовальники, полковник грозит большим боем, чтобы с проезжих людей на тебя, государя, возовых пошлин не брали».

Гетману Брюховецкому дал знать об убийстве Ладыженского сам кошевой Васютенко. «Грустна нам нынешняя весна, – писал Астап, – никто о целости народа нашего не заботится; за грехи наши и тот, кто прежде нам хлеб давал, теперь камень дать замыслил. Не знаю, кто бы был благодарен за камень, потому что он на пищу не потребен. Царское величество тешит нас листами бумажными, как детей яблоками. Пишет нам, чтоб мы верно служили, а сам, заключивши мир с королем польским, тотчас с тем же и к хану отзывается, обещая за его дружбу нам всего умалить, что, как видим, уже и начал. За что бедных людей, войною разоренных, так стесняют? Не один лице свое кровавыми слезами оmyвает. Не хочет государь нас, птенцов своих, под крылами держать: так милосердие божие избавит от такого ига горького, которое прежде было сахарно. Человек, желая устроить ниву для потомства, прежде терние из нее вымечет – так и предки наши, не жалея здоровья, терние из отчины своей выметывали, чтобы нам вольность уродила, которую считаем самую дорогою вещию, ибо и рыбам, и птицам, и зверям, и всякому созданию она мила. Река великая много иных речек преодолет: так и всемогущего бога помощь все замыслы земных монархов превозможет. Не довелось не только делать, но и мыслить о том, чтоб нашу отчину к последнему разорению привести, на которое смотря и самый злой зверь, если бы имел человеческий разум, мог сжалиться. Знаю, что и стольник (Ладыженский) без ведома нашего смерть принял за то, что в городах великие обиды от них люди терпят. Однако, оставя все это, желаем с вашим вельможеством по-прежнему жить в любви. Изволь царскому величеству донести, чтоб запретил своим ратным людям чинить в городах всякие вымыслы, пусть живут по-прежнему, а если не перестанут, то чтобы большой огонь не встал, потому что, доколе живы, будем остерегать, чтобы наши права и вольности не умалились. В этом они напрасно головы свои ломают: им этого не удастся, как слепому в цель попасть; пусть монархи о том подумают, что человек начинает, а бог совершает».

Для разведания об убийстве Ладыженского Брюховецкий отправил есаула Федора Донца. 26 мая, в Троицын день, Донец приехал в Сечь; собралась рада, прочли лист гетманский и начали толковать. Запорожцы, которые вышли с восточной стороны Днепра, также и те, которые хотя и с западной стороны, но жили долго в Запорожье, накинулись на тех козаков, которые недавно пришли с Дорошенковой стороны: «Это от вас такое зло учинилось; а как вас не было, так у нас, в Запорогах, такого зла не бывало». Началась брань, кошевой подошел к Донцу и сказал ему: «Уходи-ка лучше к себе в курень, а то, неровен час, убьют». Козаки с западной стороны показывали бумаги, взятые у Ладыженского, и кричали: «Вот смотрите, что написано: московский государь с королем польским, с царем турским и с ханом крымским помирился, а для чего помирился?»



Разумеется, для того чтоб Запорожье снести. Вот почему мы Ладыженского и потопили!»

Покричали и разошлись, не решивши ничего. Старые козаки ворчали между собою в куренях: «Не знаем, что с этими своевольниками и делать; видишь, сколько их нашло! Нас и старших не слушают!» Кошевой, старшины и старые козаки рассказали Донцу, что пуций бунтовщик Страх, который Ладыженского потопил, был у них пойман и прикован к пушке, но, подпоив караульщика и прибавив его мало не до смерти, сломил с цепи замок и ушел. Он скрылся в крымском городе Исламе; но татары, признав в нем убийцу своих, повесили его.

Донец возвратился к Брюховецкому с грамотою от кошевого, в которой тот писал, что запорожцы сами рады бы были казнить преступников, совершивших такое злое дело, но их до сих пор в коше нет. Но при этом Васютенко давал знать гетману, что убийцы татарских гонцов могут быть извинены. «Собственные слова гонца, – писал он, – возбудили жалость и жестокий гнев в козаках: меня, говорил татарин, царское величество отпустил к хану с тем, чтобы вас, запорожских козаков, искоренить, ваше жилище разорить; уже вас больше щадить не будут». Кошевой не считал за нужное объяснить, кто же слышал эти слова крымского гонца, если убийцы его не явились в Сечь? Васютенко, выдавая эти слова за непреложно верные, распространялся по-прежнему в жалобах на московского государя, в жалобах, что на них с трех сторон сети закидывают. В заключение кошевой просил, чтобы царь простил запорожцев за убийство татар и Ладыженского, обещая за это стоять мужественно против всякого неприятеля.

И вот Брюховецкий действительно говорит Кикину, что государь должен простить запорожцев за это двойное убийство и грабеж казны: иначе кошевое войско, отобравшись от государевой руки, соединится с крымским ханом и с заднепровским гетманом Дорошенком «А я, – продолжал Брюховецкий, – буду стараться, чтобы по времени, не вскоре злодеев и заводчиков истребить». Донец рассказывал, что кошевой прямо ему говорил: «Если государь нас простит, то мы ради ему вперед служить; если же будет гневаться, то у нас положено, сложась с Дорошенком и татарами, пойдем воевать в государевы украинские города».

Но прежде всего нужно было разузнать, не поступают ли московские воеводы в самом деле дурно с козаками? Ряд жалоб подан был на полтавского воеводу, князя Волконского, за то, что он некоторых козаков поместил в число мещан и берет с них денежные и медовые оброки. Тот же Кикин отправился из Гадяча в Полтаву по этому делу, сравнил имена челобитчиков со сказкой Волконского и с переписными мещанскими книгами и нашел, что многие люди прозвищами не сошлись. Тогда он обратился к полтавскому полковнику Григорью Витязенку, чтобы тот выслал к нему всех челобитчиков на лице к допросу для подлинного розыска. «Выслать их к допросу нельзя, – отвечал Витязенко, – теперь пора рабочая, пашня и сенокос, козаки работы не кинут и не поедут; а иных многих козаков и в домах нет, живут на Запорожье. А что козаки прозвищами не сходятся, так это потому: у нас на Украине обычай такой, называются люди разными прозвищами, у одного человека прозвища три и четыре: по отцу и по тестю, по теще, по женам прозываются; вот почему одни и те же люди у воеводы в мужицком списке писаны прозвищами, а у нас, в полковом козацком списке, другими. Как были присланы в Полтаву из Москвы переписчики, и они писали многих козаков в мужики заочно, а козаки в то время были все со мною в походе

под Кременчугом, а иные на Запорожье. Сам переписчик жил в Полтаве, а по уезду посылал писать подьячих, подьячие эти и писали козаков в мужики заочно и не расспрося подлинно, кто козак и кто мужик? А мужики им нарочно называли козаков мужиками для своей легкости, чтобы и козаки с ними заодно всякие поборы давали и подводывали выставляли».

Кикин стал осведомляться, справедливо ли было донесение воеводы на полковника; он обратился с вопросом об этом к протопопу Луке, и тот сказал: «Полковник с воеводою живет недружно, козакам и мещанам многим к князю Волконскому ходить заказывал; только ты, пожалуйста, меня не выдавай, чтоб мне от полковника гнева и гоненья не было». Вечером пришел к Кикину полковой судья Клим Чернушенко, разговорились, и от судьи пошли те же речи, что и от протопопа; но Чернушенко был разговорчивее, начал рассказывать про свое житье-бытье, что они терпят от полковника: «Нас, козаков, полковник Витязенко многим зневажает и бьет напрасно, а жена его жен наших напрасно же бьет и бесчестит; и кто козак или мужик упадет хоть в малую вину, и полковник его имение все, лошадей и скот берет на себя. Со всего Полтавского полка согнал мельников и заставил их на себя работать, а мужики из сел возили ему на дворовое строение лес, и устроил он себе дом такой, что у самого гетмана такого дома и строения нет; а город наш Полтава весь опал и огнил, и о том у полковника раденья нет; станем мы ему об этом говорить – не слушает! Мы уже хотим бить челом великому государю и гетману, чтобы Витязенку у нас полковником не быть. А приводят его на всякие злые дела жена его да писарь Ильяш Туранской; мы ему, писарю, не верим, потому что он с того боку Днепра; чтобы от него не было измены? Он сделал другую печать полковую и держал у себя тайно, без полковничья ведома». После этого Кикин начал разыскивать по селам насчет правильности в сборе податей. Оказалось, что в списках между мужиками были написаны и козаки, но козаки давные, которые козаковали во времена Хмельницкого и после тянули с мещанами заодно, когда же пришлось платить подати, то они и вспомнили о своем старом козачестве. Но кроме этого оказались действительные злоупотребления со стороны москалей: переписчики ездили по селам пьяные и брали деньги – по шагу и по два шага с человека: назначенный для сбора податей рейтарский прапорщик Должиков сам не сбирал, присылал своих денщиков, которые сверх государева оброка брали еще себе по чеху с человека. Кикин учинил управу, за что Брюховецкий со всеми полтавскими козаками благодарил государя.

Чиня управу по козацким челобитным, чтобы отнять предлог к восстанию, в Москве сочли за нужное отправить увещательную царскую грамоту ко всем полкам Войска Запорожского. «Московские ратные люди, – говорилось в грамоте, – живут с вами в городах малороссийских не для того, чтобы наблюдать за вашею верностию, но для вашей защиты, на страх врагам вашим. Мы надеялись, что перемирие с польским королем будет принято у вас с особенною радостию, потому что вами началась война и прилагались христианские крови к вашей обороне; но вместо всенародной христианской радости объявилось в ваших городах нечаемое противление и страшная кровь. Где слыхано посланников побивать? У вас бесстрашные люди, на свою кровь наступив и забыв суд божий, такое преступное и нехристианское дело учинили и злую славу на весь свет пустили. Мы от вас как от верных подданных ожидали розыскания и отлучения

преступных людей от правдивых христиан; но ныне с удивлением слышим, что у вас вопреки присяге и уставленным статьям смятение во всем поспольстве начинается, хотите раду чинить без нашего указа, а с какою мыслию – не знаем! Удержитесь от такого злого начинания! Огонь огнем не обычай людям тушить; пламень заливать надобно мирною водою, которую милосердый бог приумножил, сердечные сосуды и черпала подал в христианские руки наши: почерпая от этих спасительных струй, крововидный пламень военного огня заливать, и зноем оскорбления иссохшие людские сердца прохлаждать, и мирно напоить должно. У вас некоторые легкомысленные люди в злой путь гетману Дорошенку хотят последовать, а надобно было и самого Дорошенка напоминать единою купелью христианства; ей попекитесь о сем богоугодном деле!»

О богоугодном деле хотел попечья киево-печерский архимандрит Иннокентий Гизель: по обязанности иерейской Гизель умолял Дорошенка не мыслить о подданстве бусурманам, которые истребление христиан по закону своему во спасение себе вменяют; уговаривал покориться православному государю московскому. Московское правительство, с своей стороны, пеклось также о богоугодном деле: выпустили из плена брата Дорошенкова, Григория, за что гетман Петр в ноябре прислал царю благодарственную грамоту: «Проповедовал милость, хвалил незлобие, исповедовал неизреченное благодеяние, кланялся до лица земли со всяким смирением, обещал всякое радение, обещал не допускать никакого озлобления государевым людям».

Киевской воевода Шереметев послал сказать ему, чтобы он доказал благодарность свою на деле, отстал от татар, обратился к христианству и служил обоим великим государям – московскому и польскому. «За милость великого государя я желаю голову свою сложить, – отвечал Дорошенко, – только от татар отстать и под государевою рукою быть вскоре нельзя: будет у меня с королем на сейме договор в силу постановления с гетманом Яном Собеским, который обещал отдать мне Белую Церковь, но она до сих пор мне не отдана, и если Белой Церкви после сейма мне не отдадут, то я буду достигать ее сам». Боярский посланец требовал у Дорошенка, чтобы он не пускал татар за Днепр, на государевы малороссийские города. «О татарских замыслах я ничего не знаю, – отвечал Дорошенко, – а если татары и придут, то у них, и у меня, и у всего Войска Запорожского есть неприятель поближе государевых городов: служил я с козаками королю польскому много лет, и головы свои за него складывали, а выслужили то, что поляки церкви божии обратили в унию; король даст нам на всякие вольности привилегии и универсалы, а потом пришлет поляков и немцев, и те всякие вольности у нас отнимают и православных христиан, не только простых козаков, но и полковников, старшин бьют, мучат, берут с нас всякие поборы и во многих городах церкви божии обругали и пожгли, а иные обратили на костелы, чего всякому православному христианину терпеть невозможно, и мы за православную веру и за правды свои стоять будем. Я христианского кровопролития не желаю, а если я пошлю татар на государевы города, то пусть тогда разольется моя кровь; если бы я служил государю столько же, сколько королю, то получил бы от царского величества милость; я под рукою великого государя быть давно желал, только меня прежде не призывали; а от татар мне вскоре отлучиться нельзя, потому что, прежде чем придут государевы полки на защиту, татары нас разорят. Татары мне беспрестанно говорили, чтобы идти разорять государевы

малороссийские города, но я их удержал, боярину Шереметеву об осторожности против татар писал и впредь писать буду; быть под рукою великого государя желаю, боярства и ничего от него не хочу, хочу только государевой милости, чтобы козаки оставались при своих правах и вольностях. По Андрусовскому договору Киев надобно полякам отдать; но я со всем войском головы свои положим, а Киева полякам не отдадим».

Посланец виделся и с митрополитом Иосифом Тукальским, и с монахом Гедеоном (Юрием) Хмельницким, говорил им, чтоб они отводили Дорошенка от татар. Оба обещали. Все, Петр Дорошенко с братом Григорием, Тукальский и Хмельницкий, говорили посланному по секрету, что будут давать знать боярину Шереметеву о всяких тайных вестях непременно, за то что боярин оказывает к ним большую любовь, посланцам их честь великую воздает, поит, кормит и подарками великими гетмана и посланцев его дарит.

Шереметев не жалел подарков, чтобы только задобрить опасного Дорошенка, от которого теперь зависело спокойствие Восточной Украины, именем которого волновались запорожцы. В Москве Ордин-Нащокин зорко следил за Чигирином; он отправил в Переяславль стряпчего Тяпкина для свидания с Григорием Дорошенком, для склонения гетмана Петра отстать от татар и быть под рукою великого государя, ибо соединение с Польшею для него более уже невозможно. Тяпкин сообщал Нащокину, что Тукальский уговаривает Дорошенка поддаться московскому государю, думая чрез это добиться митрополии Киевской, а епископ Мефодий рад бы и не слышать о Тукальском, не только видеть его, точно так как Брюховецкий не хочет слышать о Дорошенке, боясь лишиться чести своей. Мещане и козаки, особенно черный народ по обеим сторонам Днепра, очень любят и почитают Тукальского и Дорошенка. «Да будет известно, – писал Тяпкин Нащокину, – что печерский архимандрит с Тукальским великую любовь между собой и в народе силу имеют. Хорошо было бы обвеселить архимандрита милостивою государевою грамотою и твоим боярским писанием, которого он безмерно желает, также бы отписать и к прочим игумнам и братии киевских монастырей, потому что чрез них может всякое дело состояться, согласное и развратное. В Переяславле нет верного и доброго человека ни из каких чинов, все бунтовщики и лазутчики великие, ни в одном слове верить никому нельзя. Одно средство повернуть их на истинный путь – послать тысячи три ратных людей: тогда испугаются и будут верны; а которые теперь ратные люди в Переяславле немногие, те все наги, босы, голодны и бегут от бедности розно. Хуже всего для меня то, что не могу верного человека приобрести из здешних, последнее бы отдал, да лихи лгать, божатся, присягают и лгут».

Но лгалось не в одном Переяславле, лгалось сильно в Чигирине, хотя здесь не было никакой нужды лгать по независимости положения. 1 января 1668 года Петр Дорошенко написал Тяпкину резкое письмо, что не может поддаться царю; причины к отказу можно было бы найти, но Дорошенко наполнил письмо лжами и клеветами, Богдан Хмельницкий, по словам Дорошенка, отдал Москве не только Белую Русь, но и всю Литву с Волынью; во Львов (!) и в Люблин царских ратных людей ввел и многою казною учредил. Какая же благодарность! Послов гетманских московские комиссары в Вильне до переговоров не допустили! Выговского гетманом учредили и между тем подвигли на него Пушкаря, Безпалого, Барабаша, Силку! В Андрусовском договоре оба монарха усоветовали

смирять, т.е. искоренять, козаков. Дорошенко решился даже упрекнуть московское правительство за возвращение Польше Белоруссии, вследствие чего здесь опять началось гонение католиков на церкви православные. Дерзость Дорошенка перешла наконец пределы, перешла в смешное, в шутовство: он спрашивает у Тяпкина: «На каком основании вы без нас решили одни города оставить, другие отдать, тогда как вы их приобрели не своею силою, но божиею помощью и нашим мужеством?» И в то же самое время Дорошенко и брат его Григорий в сношениях с Тяпкиным беспрестанно повторяли, что они – подданные короля; но, провозглашая себя королевскими подданными, по какому праву выговаривали они московскому правительству за уступки земель в королевскую сторону? Этого мало: зная очень хорошо, что всем известно отступничество их от короля к султану, они решались утверждать, что настоящий союз их с ханом основывается на Гадячском договоре Выговского с Польшею, по которому козаки должны были находиться под властью королевскою и в союзе с татарами! Но когда нужно было похвастаться, показать свое значение, то все позабывалось, и начинали твердить, что Андрусовским перемирием Москва обязана им, козакам, ибо они с татарами напали на поляков и заставили последних спешить миром с Москвою. Такую страшную порчу произвели политические смуты, шатость в этих несчастных людях, заставили потерять уважение к самим себе, к своим словам!

Козаки никак не могли перевернуть Андрусовского перемирия не потому, что благодаря им же Москва должна была заключить его на условии кто чем владеет и отказаться от западного берега Днепра; но потому, что мир между двумя государствами, из которых каждое имело много причин негодовать на козаков, был опасен для последних; козаки подозревали соглашение обоих государств против себя, но не довольствовались высказываньем одних подозрений, а прямо уже утверждали, что соглашение действительно существует. Они отводили душу тем, что стращали Москву непродолжительностью мира. «Договор с польской стороны не будет исполнен, – говорил Григорий Дорошенко Тяпкину, – князя Вишневецкие, иные сенаторы и шляхта, которые имели в Малороссии города, местечки и села, теперь этих маестностей всех отбыли, а королю наградить их нечем, и оттого Польша должна будет нарушить мирный договор». Григорий Дорошенко не отставал от брата в вымышлении вин московского правительства относительно козаков. «Великий государь, – говорил он, – дал козакам право на гетманство и на всякие уряды выбирать своих природных козаков; а теперь у великого государя выбран в гетманы не природный украинский козак, также и полковники многие иноземцы, волохи и неприродные козаки, и Войско Запорожское от того в великом непостоянстве пребывает, а заднепровский гетман и старшие все природные козацьи дети. Да и от того многие бунты: по указу великого государя ныне гетмана учинят, грамоту, булаву и хоругвь вручат, а после другого гетмана втайне выберут, грамоту, булаву и хоругвь ему вручат, и вот эти гетманы – Выговский, Пушкаренко, Барабаш, Силка, Безпальный, Искра, желая каждый удержать данную себе честь, междуусобие в Войске Запорожском учинили. От неприродных гетманов и полковников прямые воры свободны, а верные слуги царские – Самко-гетман, Васюта Золотаренко, Аника черниговский – горькою смертью казнены».

Дерзость, упреки сменялись робостию, просьбами. Пронесся слух, что царь придет в Киев на богомолье, и вот Григорий Дорошенко обратился с просьбою к

Тяпкину: «Когда царское величество, даст бог, будет в Киеве с великими силами, тогда опасаемся накрепко и весь народ сильно ужасается, чтобы, надеясь на силы царского величества, поляки на нас не пошли войною; милости просим у великого государя, чтоб не позволил своему войску помогать полякам. Народы наши сильно боятся прихода царского величества в Киев, не верят, что молиться идет. А когда поляки одни на нас будут наступать и мы поднимем против них татар, то царское величество на нас не гневался бы и ратей своих на нас не посылал». Наконец Григорий Дорошенко объявил Тяпкину тайную статью: «Под высокодержавною рукою царского величества быть хотим, только бы у нас в городах и местечках воевод, ратных людей и всяких начальников московских не было, вольности наши козацкие и права были бы не нарушены и гетманом бы на обеих сторонах Днепра быть Петру Дорошенку, поборов и всяких податей с мещан и со всяких тяглых людей никаких не брать; а гетману Брюховецкому по милости великого государя можно прожить и без гетманства, потому что пожалован самою высокою честью и многими милостями».

Но, выговаривая себе у Москвы гетманство на обеих сторонах Днепра, Дорошенко вместе с Тукальским хлопотал об этом другим путем, поднимая восстание против Москвы и на восточном берегу, обманом побуждая к восстанию и самого Брюховецкого.

Мы видели, что те же самые опасения, какие высказывались в Чигирине относительно союза обоих государств против козаков, высказывались и в Запорожье, и мы видели, что запорожцы и все вообще козаки поведением своим спешили заставить московское правительство действительно смотреть враждебно на козачество. Легко понять, какое впечатление должно было произвести в Москве известие об убийстве крымских гонцов и потом об убийстве Ладыженского и о волнениях в целой Украине, а Брюховецкий писал, чтобы великий государь простил запорожцев, иначе будет плохо! Понятно, что после этого в Москве не могли встречать козацких посланцев с улыбающимся лицом и распростертыми объятиями. Так, присланный гетманом бунчужный пробыл в Москве только три дня, государевых очей не видал, отпущен ни с чем и, возвратясь, рассказывал, будто Ордин-Нащокин, отпуская его, сказал: «Пора уже вас к богу отпускать!» Афанасий Лаврентьевич, как человек порядка, любитель крепкой власти, действительно был не охотник до козаков, и козакам он был особенно неприятен и страшен, как виновник Андрусовского перемирия, сближения Москвы с Польшею, виновник того, что ненавистной шляхте, лишенной козаками земель в Украине, государь пожаловал миллион в вознаграждение; козакам представлялось, что Нащокин докончит свое дело, и вот между ними понесся слух, что Нащокин идет в Малороссию с большим войском – и какого добра ждать козакам от Нащокина?

Но все эти опасения, слухи и волнения между козаками не могли бы иметь важных последствий на восточном берегу Днепра, если бы в челе движения против Москвы не стал сам боярин и гетман, царского престола нижайшая подножка. Что же заставило боярина превратиться вдруг в козака, прямо выразить свое сочувствие Стеньке Разину?

Враг Брюховецкого, епископ Мефодий, находился в Москве в 1666 и начале 1667 года по Никоновому делу. Поведение Мефодия в Киеве по вопросу о митрополите и ожесточенная вражда его к гетману, столь противная спокойствию

Малороссии и государственным в ней интересам, не могли не ослабить того расположения, каким прежде пользовался епископ в Москве. Хотя опыт и должен был научить здесь не верить всем доносам, приходившим из Малороссии, однако постоянные и сильные обвинения боярина и гетмана также не могли остаться без действия. Мефодий увидел перемену, чести ему прежней не было, попросил он однажды соборей – соборей не дали и при отпуске в Малороссию строго наказали: не продолжать смуты, помириться с гетманом. В сильном раздражении выехал преосвященный из Москвы, направляя путь в Гадяч, столицу гетманскую. Здесь уже знали о выезде Мефодия из Москвы; страшно стало боярину и гетману; и вот станица знатных козаков помчалась из Гадяча в Смелую, маетность Киево-Печерского монастыря, где жил в это время сам отец архимандрит Иннокентий Гизель: козаки везли приглашение архимандриту приехать в Гадяч, боярину и гетману очень нужно с ним видеться. Гизель испугался, жил он с гетманом в больших неладах; но делать нечего, не поедет, так козаки неволею повезут, поехал. «За что это вы на меня сердитесь и в Печерской святой великой лавре за меня бога не молитесь?» – встретил Брюховецкий Гизеля. «Зла тебе мы никакого не хотим, – отвечал тот, – а неласку твою видим: многократно мы писали к тебе с великим прошением слезным, что козаки лавру нашу Печерскую разоряют, в маетностях подданных бьют, коней и волов и всякий товар и хлеб грабят, меня и братью мою, иноков, людей честных бесчестят, бьют; ты учинил немилосердие, писание и слезное наше прошение презрел, и за такую к святой обители неласку твою мы за тебя бога не молили». «Правда, – сказал Брюховецкий, – козаки наделали много зла святой обители; я им верил, а теперь верить не стану. Слышу, что едет из столицы епископ Мефодий; до сих пор было у нас тихо, а как приедет, то не будет ли нам лиха? Поговори-ка ему, отец архимандрит, чтобы он со мною помирился, зло укротил и жил в совете, чтобы во всем Малороссийском краю люди жили в покое и великому государю нашему чистыми сердцами работали».

Боярин и гетман напрасно беспокоился: Мефодий сам явился к нему с словом примирения, все старое было забыто, кроме старой дружбы, бывшей до 1665 года; и в знак новой дружбы дочь епископа сосватана была за племянника гетманского. Но гетман и епископ подружились и породнились не для того, чтобы чистыми сердцами работать царскому величеству: Мефодий передал свату все свое неудовольствие, все свое раздражение против неблагодарной Москвы, передал ему свои наблюдения, свои страхи, что Москва готовит недоброе для Малороссии. Но одними тайными разговорами с гетманом Мефодий не удовольствовался. Из Гадяча поехал он в свой родной город Нежин и здесь в своем доме при гостях бранил вельмож и архиереев московских, в черном свете выставлял нравы тамошних людей, клялся, что никогда ноги его не будет в Москве. Те же речи начал он говорить у протопопа в присутствии воеводы царского Ивана Ржевского, так что воевода счел приличным для себя уйти, не дождавшись обеда Мефодий не скрывал причину своего неудовольствия на Москву: бесчестили его там, соборей и корму, сколько хотел, не давали. Но Мефодий, говоря о своей обиде, не забывал внушать, что обида готовится и всей Малороссии «Ордин-Нащокин, – говорил он, – идет из Москвы со многими ратными людьми в Киев и во все малороссийские города, чтобы все их высечь и выжечь и разорить без остатку». Речи эти дошли до Тяпкина в Переяславль, тот нарочно прискакал в Нежин, чтобы

спросить у Мефодия, от кого это он слышал? Епископ сказал от кого: «Московские торговые люди, которые ездят с товарами в Литву и Польшу и потом приезжают в Малороссию, сказывают мещанам, что боярин Афанасий Лаврентьевич со многими ратными людьми идет в Малую Россию для отдачи Киева; а к гетману и ко мне в грамотах великого государя о Киеве и о малороссийских городах не объявлено, и мы с гетманом об этом очень скорбим и смущаемся». Мефодий дал знать и в Москву о слухах, что Киев и все украинные города уступлены ляхам, писал, что он объявляет об этом, видя во всем народе смятение и помня к себе великого государя милость. Шереметев, узнавши в Киеве о речах Мефодия, отправил к нему немедленно голову московских стрельцов Лопатина сказать, что все слухи, беспокоящие малороссиян, вздорные. «Великий государь, – говорил Лопатин, – учинил мир с королем для того, чтобы в его государственной стародавней дедичной отчине, в граде Киеве и во всех малороссийских городах, всякий человек в православии доброхотно жил в добром покое и веселии. Ныне великий государь хочет идти в Киев, поклониться его святыне, свою отчину, город Киев, осмотреть, малороссийские города и верного Войска Запорожского ратных людей и всех жителей своим пришествием увеселить и вовеки непоколебимых в вере и подданстве учинить; а боярина своего Афанасья Лаврентьевича Ордина-Нащокина изволил в малороссийские города послать наперед себя, как издавна государский чин належит: перед государским походом посылаются бояре и думные люди для заготовления запасов и для объявления всем о походе царском. А что бунчужный написал о словах боярина Ордина-Нащокина, и то дело нестаточное: боярин Афанасий Лаврентьевич человек умный, государских великих дел положено на нем множество, и таких слов не только что бунчужному вслух говорить, и тайно мыслить не будет; такие слова вместил какой-нибудь враг креста господня, сатанин угодник, ненавистник рода христианского. Тебе бы, епископу, слыша, что плутишка бунчужный такие слова вместил, разговаривать, что ничего такого быть не могло».

Но эти увещания не действовали. Мефодий писал Брюховецкому: «Ради бога, не оплошайся. Как вижу, дело идет не о ремешке, а о целой коже нашей. Чаять того, что честной Нащокин к тому привел и приводит, чтобы вас с нами, взяв за шею, выдать ляхам. Почему знать, не на том ли и присягнули друг другу: много знаков, что об нас торгуются. Лучше бы нас не манили, чем так с нами коварно поступать! В великом остерегательстве живи, а запорожцев всячески ласкай; сколько их вышло, ими укрепляйся, да и города порубежные людьми своими досмотри, чтобы Москва больше не засела. Мой такой совет, потому что утопающий и за бритву хватается: не послать ли тебе пана Дворецкого для какого-нибудь воинского дела к царскому величеству? Чтобы он сошелся с Нащокиным, выведал что-нибудь от него и дал тебе знать; у него и своя беда: оболган Шереметом и сильно жалуется на свое бесчестие. Недобрый знак, что Шеремет самых бездельных ляхов любовно принимает и их потчивает, а козаков, хотя бы какие честные люди, за лядских собак не почитает и похваляется на них, да и с Дорошенком ссылается! Бог весть, то все не нам ли назло? Надобно тебе очень осторожну быть и к Нащокину не выезжать, хотя бы и манил тебя. Мне своя отчизна мила: сохрани бог, как возьмут нас за шею и отдадут ляхам или в Москву поведут. Лучше смерть, нежели зол живот. Будь осторожен, чтобы и тебя, как



покойного Барабаша, в казенную телегу замкнув, вместо подарка ляхам не отослали!»

Брюховецкий не ограничился одною осторожностью: он прямо изменил, прямо поднял восстание против царя. Но неужели Мефодий так умел передать свое раздражение, свои опасения Брюховецкому, что тот по одним внушениям епископа решился сделать это? Нет сомнения, что Мефодий своими внушениями приготовил гетмана к измене, но окончательно Брюховецкий решился на нее по другим, более сильным побуждениям. Мы видели, какие замыслы питались на западном берегу Днепра, в Чигирине: Дорошенко хотел быть гетманом обеих сторон Днепра, Тукальский – митрополитом киевским и всей Малороссии. Тукальский был не прочь достигнуть своей цели и с помощью Москвы, и Дорошенко готов был называться гетманом царского величества, но старый соумышленник Выговского не хотел быть гетманом на условиях Брюховецкого, а других условий теперь трудно было получить от Москвы. И вот Дорошенко и Тукальский находят средство оторвать восточный берег Днепра от Москвы с помощью самого Брюховецкого. Тукальский завел переписку с последним, стал его обнадеживать, что Дорошенко уступит ему свою булаву и таким образом будет он, Брюховецкий, гетманом обеих сторон Днепра, но прежде всего он должен выжить из Украины воевод московских, отложиться от царя и отдаться под покровительство султана. Сам Дорошенко писал, что царь прислал к нему Тяпкина с призывом на гетманство восточной стороны Днепра. Брюховецкий не преодолел искушения, тем более что внушения Мефодия уже сделали свое дело: Брюховецкий, потакая Москве, возбудил против себя ненависть в козачестве, но какого добра ждать от Москвы? Об этом знает епископ Мефодий, об этом знает бунчужный; надобно выйти из тяжелого положения между двумя огнями, между ненавистию козацкою и замыслами московскими – и средство готово: поднявшись против Москвы, против воевод царских, Брюховецкий приобретал расположение козаков, Дорошенко откажется от гетманства, и Иван Мартынович засядет в столице Богдана Хмельницкого.

И вот гетман шлет за полковниками, зовет их на тайную раду; в Гадяч съехались: нежинский полковник Артема Мартынов, возведенный на место сверженного Брюховецким Гвинтовки, черниговский Иван Самойлович (будущий гетман), полтавский Костя Кублицкий, переяславский Дмитрий Райча, миргородский Грицко Апостоленко, прилуцкий Лазарь Горленко, киевский Василий Дворецкий. Была рада о том, какими мерами дело начать, как выживать Москву из малороссийских городов? Сначала полковники слушали Брюховецкого подозрительно, думали, что он этими словами искушает их; Брюховецкий заметил это и поцеловал крест, и полковники ему поцеловали.

Уже в конце 1667 года между козаками пущена была весть, что Брюховецкий больше не нижайшая подножка царского престола, и волнения начались. В Батурином и Батманском уездах козаки Переяславского полка начали разорять крестьян, бить их, мучить, править деньги и всякие поборы, вследствие чего уездные люди перестали давать деньги и хлеб в казну царскую. В январе 1668 года в Миргороде многие мещане записались в козаки и отказались платить подати в казну; приехал челядник Брюховецкого и запретил мельникам давать в казну хлеб. В Соснице нечего было взять с мещан и крестьян, которые от козацкого разоренья или разбрелись, или сами записались в козаки. То же самое произошло в

Козелецком уезде. В Прилуках в большом городе стояла на площади вестовая пушка: полковой есаул велел пушку взять и поставить в проезжих воротах, и когда воевода прислал солдат взять пушку в верхний городок, то есаул бил солдат и пушки не дал. «Мы и из верхнего городка все пушки вывезем!» – кричал он. По его же наущению все мещане и поселяне перестали платить подати, и сборщикам нельзя стало появляться в уездах: им грозили смертью; козаки грабили мещан-откупщиков, резали им бороды и прямо говорили мещанам: «Будьте с нами, а не будете, то вам, воеводе и русским людям, жить всего до Масляницы». В Нежине откупщики были не из мещан, и тем сильнее сердились на них последние; но здешние мещане, довольные воеводою Ржевским, действовали законным путем, послали челобитчиков в Москву, чтоб государь хотя на один год льготою их пожаловал для уплаты долгов. «На арендовый откуп даны были грамоты самому городу, а теперь стрелец отпускает из наддачи, чиня великую обиду оплаканному месту; утвержденные грамотами доходы на ратушу: весчее, померное, с продажи лошадей, дегтярная торговля, табак и мельницы Авдеевские – все эти доходы стрелец Спицын с великою налогою выдирает. По жалованной грамоте, в случае большой неправды в суде, указано не звать магистрата к боярину и воеводе, но звать в Москву; а теперь киевский приказ все это разорил».

Но кто был виноват при тогдашней новости, неопределенности отношений? Челобитчики указали любопытный случай: в гостях у троцкого попа Ильи нежинский мещанин Петрушка Сасимов учинил досадительство неведомо какое райце Гавриле Тимофееву; райца начал ему говорить: «Изневажил ты жену мою, а теперь и меня изневажаешь, буду на тебя права просить!» А Петрушка, показав ему кукиши, сказал: «Вот вам на ваше право!» Тут был бурмистр Яков Жданов; обиделся он таким поруганием праву и пошел донести об этом в съезжей избе воеводе. Воевода отдал Петрушку на суд в ратушу; но Петрушка отправил жену в Киев к боярину Шереметеву с челобитьем, и тот велел взять в Киев бурмистра и райцу; сидели они в приказе в оковах больше двух недель, да за порукою выжили в Киеве 12 недель, суда и очной ставки ни с кем не было а взяли за правожом в съезжей избе 220 рублей неведомо за что. Из Москвы была послана немедленно грамота в Киев, чтобы Шереметев разъяснил дело да чтобы не велел брать в Киев из Нежина ратушных людей по челобитьям. Нежинцы били также челом, чтобы государь велел еще оставить у них воеводу Ржевского, потому что он человек добрый, живет с ними, бога боясь, никаких бед, разоренья и воровства не допускает. И в то же время били челом на черниговского архиепископа Лазаря Барановича, что великую им горесть учинил, отнял два села.

В конце января Шереметеву в Киев дали знать, что в Чигирине была рада, сошлись – Дорошенко, митрополит Тукальский, Геден Хмельницкий, полковники, вся старшина, послы крымские, монах, присланный от Мефодия, и посол от Брюховецкого. Дорошенко не вытерпел и начал говорить последнему: «Брюховецкий человек худой и не породный козак, для чего бремя такое великое на себя взял и честь себе, которой недостоин, принял? И козаков отдал русским людям со всеми поборами, чего от века не бывало». «Брюховецкий это сделал поневоле, – отвечал посланный, – взят он был со всею старшиною в Москву». Дорошенко притворился удовлетворенным этим ответом и со всею старшиною утвердил: по обе стороны Днепра жителям быть в соединении, жить особо и давать дань турецкому султану и крымскому хану, как дает волошский

князь; турки и татары будут защищать козаков и вместе с ними ходить на московские украины. Послышался голос монаха Хмельницкого: «Я все отцовские скарбы откопаю и татарам плату дам, лишь бы только не быть под рукою московского царя и короля польского; хочу я монашеское платье сложить и быть мирским человеком». На той же раде положили: в малороссийских городах царских воевод и ратных людей побить. Были на раде и послы от Запорожья, они присягнули за свою братью быть под властью Дорошенка. Татары уже стояли под Черным лесом: Дорошенко хотел часть их отправить с братом на Польшу, а с другою частию идти сам на московские украины.

Когда в Москве из отписок Шереметева узнали о волнениях в Малороссии, то к Брюховецкому в начале февраля пошла царская грамота: «Козаки не дают денег и хлеба на раздачу нашим служилым людям: воеводы писали к тебе об этом, а ты не веришь и от своевольства козаков не удерживаешь, в своих волях бесстрашно чернь пишут в козаки, а наших ратных людей голодом и всякою теснотою морят, чтобы и остальные от нужды разошлись. Гонцы наши малороссийскими городами с великою нуждою проезжают, в подводах им отказывают, во всем чинятся непослушны и бесстрашны. Смотреть за козаками ваша гетманская обязанность, также полковников и всей старшины, которые многою нашею милостию пожалованы, а преступления их все забыты. Ты в письме своем называешься верного Войска гетман, и неотлучно житье твое с козаками, а в противных делах не сдерживаешь: и та верность не против обещания, надобно держать ее на деле, а не на языке; которые устами чтут, а сердца их отстоят далече, таким судит бог. Знатно по таким козацким своевольным делам явное отступление не только от подданства нашего, но и от веры христианской: отступив от бога жива и от обороны христианской, предаются бусурманам в вечное проклятельство. Думают, что Киев будет уступлен в польскую сторону, и за то прежде времени под злое бусурманское иго поддаются, а не рассудят, что до того времени души христианские спаслись бы от крови и от плену бусурманского: верным христианам годится ли такое злое убийство брать на свои души? Для обнадежения христианских людей и для приведения к истине злых послан к вам с надежным объявлением дворянин Желябужский, который прочтет вам и полковникам договорные посольские статьи с королем польским; вы бы, согласившись с епископом Мефодием, с полковниками и старшиною, съехались в одно место, говорили и малодушных утверждали духом кротости, а об отдаче Киева никакого бы смутного помышления христианские народы не имели: даст бог, дойдет впредь миром христианским к успокоению безо всякого оскорбления. В войну, многие убытки приняв, Украины мы не отступились! А если малодушные волнуются за то, чтоб нашим воеводам хлебных и денежных сборов не ведать, хотят взять эти сборы на себя, то пусть будет явное челобитье от всех малороссийских жителей к нам, мы его примем милостиво и рассудим, как народу легче и богу угоднее. Мы указали собирать поборы с черни полковникам с бурмистрами и войтами по их обычаям, без всякого оскорбления, и давать служилым людям на корм и платье, а воеводам сборщиков от себя не посылать. А которых посыльных своих с письмами станешь к нам впредь посылать, то выбирай разумных и верных людей, а не таких, что твой бунчужный, который вместо нашей государской милости ненавистные дурные речи в народ внес».

6 февраля написана была эта грамота, а 8-го боярин и гетман уже начал свое дело в Гадяче. В этот день воевода Огарев и полковники московского войска, по обычаю, пришли к гетману на двор челом ударить Брюховецкий был дома, но не сказался; вышел из хором карлик Лучка и сказал: «Гетман пошел молиться в церковь под гору». Огарев послал денщика к церкви проведать про гетмана; посланный никого там не нашел, и Огарев отправился к обедне, а полковники по домам. В половину обедни Брюховецкий присылает за полковником Яганом Гульцом и говорит ему: «Пришли ко мне из Запорог кошевой атаман да полковник Соха с козаками, говорят: не любо нам, что царские воеводы в малороссийских городах и чинят многие налоги и обиды; я к царскому величеству об этом писал, но ответа не бывало; так вы, полковники, из городов выходите». «Пошли за воеводою и за моими товарищами», – сказал на это немец Брюховецкий стал бранить воеводу: «Если вы из города не пойдете, то козаки вас побьют всех!» – кричал он. Немец испугался и сказал: «А если мы пойдём из города, то ты не вели нас бить». Брюховецкий перекрестил лицо и сказал: «От козаков задоров не будет, только вы выходите смирно». Гульц отправился к воеводе и объявил ему о своем разговоре с гетманом. Воевода пошел к Брюховецкому: тот сначала долго не выходил, наконец вышел и стал говорить, чтоб выбирались вон из города. Огарев объявил своим ратным людям, что надобно выходить, потому что против козаков стоять не с кем, всего московских людей с 200 человек, и крепости никакой в городе нет. Русские люди собрались и пошли, подходят к воротам – заперты, стоят у них козаки; Гульца с начальными людьми выпустили, но стрельцов, солдат и воеводу остановили; Иван Бугай бросился на Огарева, козаки – на ратных людей. Воевода с немногими людьми пробился было за город, но козаки догнали его, догнали и Гульца с товарищами, те отбивались, сколько было сил, но козаки одолели; 70 человек стрельцов и 50 солдат пало под ножами убийц, человек 30 стрельцов успели уйти из города, но перемерзли по дороге, 130 начальных и лучших служилых людей было захвачено козаками в плен, воевода Огарев ранен в голову и положен лечиться к протопопу, лекарем был цирюльник; не пощадили и жену воеводы: в поругании водили ее простоволосую по городу и, отрезав одну грудь, отдали в богадельню. Покончив с Москвою у себя в Гадяче, Брюховецкий разослал листы по всем другим городам с увещанием последовать его примеру: «Не с нашего единого, но с общего всей старшины совета учинилось, что мы от руки и приязни московской отлучились по важным причинам. Послы московские с польскими комиссарами присягою утвердились с обеих сторон разорять Украину, отчизну нашу милую, истребив в ней всех жителей, больших и малых; для этого Москва дала ляхам на наем чужеземного войска четырнадцать миллионов денег. О таком злом намерении неприятельском и ляцком узнали мы чрез духа свят. Спасаясь от погибели, мы возобновили союз с своею братьею. Мы не хотели выгонять саблею Москву из городов украинских, хотели в целости проводить до рубежа: но москали сами закрытую в себе злость объявили, не пошли мирно дозволенною им дорогою, но начали было войну; тогда народ встал и сделал над ними то, что они готовили нам: мало их ушло живых! Прошу вас именем целого Войска Запорожского, пожелайте и вы целости отчизне своей, Украине, промыслите над своими домашними неприятелями, т.е. москалями, очищайте от них свои города: не бойтесь ничего, потому что с братьею нашею той

стороны желанное нам учинилось согласие, если нужно будет, не замедлят вам помочь, также и орда в готовности, хотя не в большой силе, на той стороне».

Пошла из Гадяча грамота и на Дон: «Обман ляцкий и злоба развращенная правоверных бояр едва меня и все Войско Запорожское в густо связанные сети не уловили. Жалуюсь на них перед вами, братьями моими, и перед всем главным рыцарским войском, подавая вам к рассуждению сию вещь: праведно ли Москва сотворила, что с древними главными врагами православного христианства, ляхами, побратався, постановили православных христиан, на Украине живущих, всякого возраста и малых отрочат мечом выгубить, слобожан, захватив, как скот, в Сибирь загнать, славное Запорожье и Дон разорить и вконец истребить, чтобы на тех местах, где православные христиане от кровавых трудов питаются, стали дикие поля, зверям обиталища, да чтобы здесь можно было селить иноземцев из оскуделой Польши. Бояре московские, помогая разоренным ляхам, дали им четырнадцать миллионов денег и вечную дружбу присягою утвердили не для чего иного, думаю, как для того только, чтоб выбиться из-под царской руки, чтобы могли как в Польше, ляцким обычаем, и городами владеть, потому что в Польше сенаторы все королями и одного господином иметь не хотят; поэтому всех невинных людей и начальника, богом данного, к нищете и хлопотам приводят, а наконец, и сами к пагубе приходят. Мы великому государю добровольно и без всякого насилия поддались потому только, что он царь православный: а московские царики, бояре безбожные, усоветовали присвоить себе нас в вечную кабалу и неволю; но всемогущая божия десница, уповаю, освободит нас. Подаю вам к рассуждению: Москва, взявши перемирие с ляхами, жидов и других иноверцев-пленных, которые покрестились и поженились на Москве, отпускала в Польшу, а те, как только вышли из Москвы, крест святой бросили и стали держать веру своим древним поганым обычаем: праведно ли это? А нашу братью, православных христиан, никак освободить не хотят, но еще в большую кабалу и беду ведут. Жестокостию своею превосходят они все поганые народы, о чем свидетельствует самое поганское их дело: верховнейшего пастыря своего, святейшего отца патриарха, свергли, не желая быть послушными его заповеди; он их учил иметь милость и любовь к ближним, а они его за это заточили; святейший отец наставлял их, чтобы не присовокуплялись к латинской ереси, но теперь они приняли унию и ересь латинскую, ксендзам в церквах служить позволили, Москва уже не русским, но латинским письмом писать начала; города, которые козаки, саблею взявши, Москве отдали, ляхам возвращены, и в них началось уже гонение на православных. Вы, братья моя милая, привыкли при славе, победе и вольности пребывать: порадейте, господа, о золотой вольности, при которой все богатства бог подает, и не прельщайтесь обманчивым московским жалованьем. Остерегаю вас: как только нас усмирят, станут промыслять об искоренении Дона и Запорожья. Их злое намерение уже объявилось: в недавнее время под Киевом в городах Броворах, Гоголеве и других всех жителей вырубали, не пощадив и малых деток. Прошу вторично и остерегаю: не прельщайтесь их несчастною казною, но будьте в братском единомыслии с господином Стенькою, как мы находимся в неразрывном союзе с заднепровскою братьею нашею».

Дон не тронулся на призыв Брюховецкого, ибо, к счастью для Москвы, силы голутьбы с господином Стенькою были отвлечены на восток; но козачество Малороссийской Украины поднялось против государевых ратных людей. Еще 25

января черниговский полковник Иван Самойлович (будущий гетман) с козаками и мещанами осадил в малом городе царского воеводу Андрея Толстого, покопав кругом шанцы. 1 февраля к Толстому явился священник с предложением от Самойловича выйти из города, потому что гетман Брюховецкий со всею Украиною отложился от государя, присягнул хану крымскому и Дорошенку. В ответ Толстой сделал вылазку, зажег большой город, побил много осаждающих и взял знамя. 16 февраля воеводе подали грамоту от самого гетмана Боярин и гетман царского величества писал приятелю своему Толстому, что все верное Войско Запорожское и весь мир украинский умыслили изо всех городов выпроводить государевых ратных людей, потому что они жителям великие кривды и несносные обиды починили; Брюховецкий предлагал также приятелю своему выйти из Чернигова, оставивши наряд, по примеру воевод – гадяцкого (!), полтавского и миргородского. Толстой не принял приятельского предложения. Воеводы: сосницкий Лихачев, прилуцкий Загряжский, батурицкий Клокачев, глуховский Кологривов были взяты козаками. В Стародубе погиб воевода князь Игнатий Волконский, когда город был взят козацкими полковниками – Сохою и Бороною. В Новгороде-Северском сидел воевода Исай Квашнин; несколько раз присылали к нему козаки с предложением выйти из города. «Умру, а города не отдам», – отвечал воевода. 29 февраля на рассвете явились к нему три сотника с тем же предложением; Квашнин велел убить посланных; расвирепевшие козаки полезли на приступ и взяли город, но воевода, прежде чем сам был сражен пулею из мушкета, отправил на тот свет более десяти козаков; рассказывали, что Квашнин хотел убить свою жену, ударил ее саблею по уху и по плечу, но удар не был смертельный: судьба жены воеводской в Гадяче объясняет поступок Квашнина. К Переяславлю и Нежину козаки делали по два приступа, но понапрасну. К Остру приступил полковник Василий Дворецкий, но не мог взять города благодаря помощи, присланной из Киева Шереметевым. Но положение самого Шереметева было незавидное. Донося, что в Остре, Переяславле, Нежине и Чернигове ратные люди храбро отбиваются от козаков, Шереметев писал государю: «Только в городах скудость большая хлебными запасами, беда, если засидятся долго! Изменники везде поставили заставы крепкие, в Киев и из Киева мещан для покупки хлебной никуда не пропускают, и если возьмут Остер, то Киеву еще больше тесноты будет. В Киеве в казне денег нет ничего, и хлебных запасов скудость великая, на март месяц мы роздали хлеба ратным людям в половину меньше прежнего, апрель кой-как прокормили с большою нуждою, а потом, если лошадей станут есть, то больше как на два месяца не хватит. Дорошенко дожидается татар и сейчас с ними нагрянет под Киев, а у нас ратных людей мало, да и те наги, голодны и скудны вконец, многие дня по три и по четыре не едят, а Христовым именем никто не даст».

В это время в Варшаве находился московский посланник Акинфов. Узнав о малороссийских событиях, он потребовал у сенаторов, чтобы согласно с условиями король высылал свое войско на бунтовщиков на помощь войскам царским. «Обманы их козачьи нам уже знакомы, – отвечали сенаторы, – и теперь писал Дорошенко к гетману Собескому, чтобы войск коронных король посылать не велел, а он, Дорошенко, сделает так, что обе стороны Днепра будут за королем. Но это явный обман: будто королевскому величеству радеет, а сам турку уже давно поддался; также и той стороны козаков бунтует, чтобы и их поддать турку.

Поэтому надобно хана теперь как-нибудь приласкать, чтоб он к ним не пристал. Король послал универсалы к гетманам коронному и литовскому, чтобы собирали войска и ссылались с царскими воеводами». Литовский гетман Пац говорил присланному к нему подьячему Полкову: «Надобно обоим великим государям, совокупя войска, высечь и выжечь всех изменников-черкас, чтобы места их были пусты, потому что они обоим государям присяги никогда не додерживают, да и вперед от них никогда доброго не чаять; а что они султану турецкому поддались, то султану ежегодно защищать их за дальностию трудно, а царскому и королевскому величеству их, собак, сгубить можно». Сам Ян-Казимир писал царю, что он велел гетману коронному вести свои войска для соединения с войсками царскими, и просил, чтобы часть русских полков переправилась на западную сторону Днепра, ибо надобно опасаться волохов. Все ограничилось одними обещаниями со стороны Польши; надобно было управляться своими силами. В апреле царские воеводы князь Константин Щербатый и Иван Лихарев поразили козаков под Почепом, в июне под Новгородом-Северским и на возвратном пути к Трубчевскому разорили много сел и деревень, верст по двадцати около дороги. Князь Григорий Григорьевич Ромодановский облегал своими войсками города Котельву и Опошню.

Что же Брюховецкий? Ему было не до Ромодановского. Полковники восточной стороны не любили его и прежде, а теперь еще более возненавидели, потому что он окружил себя запорожскою чернью и дал ей волю: запорожцы что хотели по городам, то и творили. Полковники призывали Дорошенка; тот вместе с Тукальским послал сказать Брюховецкому, чтоб привез свою булаву к нему и поклонился, а себе взял бы Гадяч с пригородами по смерть. Рассвирепел обманутый Брюховецкий, сейчас же порвал все сношения с Чигирином, начал хватать дорошенковых козаков и отправил посланцев в Константинополь, поддаваясь султану. 2 апреля приехали в Адрианополь, где жил тогда султан Магомет, полковник Григорий Гамалея, писарь Лавринко, обозный Безпалый и били челом, чтоб гетману Брюховецкому и всем черкасам быть под султановою рукою в вечном подданстве, только бы с черкас никаких поборов не брать, да указал бы султан оберегать их от царя московского и от короля польского. В Гадяч явилась толпа татар под начальством Челибея для принятия присяги. Брюховецкий должен был дать гостям 7000 золотых червонных, а Челибею подарил рыдван с конями и коврами да двух девок русских. Вместе с татарами выступил Брюховецкий из Гадяча против государевых ратных людей и остановился под Диканькою, сжидаясь с полками своими, как вдруг пришла весть о приближении Дорошенка. Кручина взяла Ивана Мартыновича: он стал просить татар, чтобы велели Дорошенку удалиться на свою сторону. Но татары не вступились в дело и спокойно дожидались, чем оно кончится. Сперва явились к Брюховецкому десять сотников с прежним предложением от Дорошенка – отдать добровольно булаву, знамя, бунчук и наряд. Брюховецкий прибил сотников, сковал и отослал в Гадяч; но на другой день показались полки Дорошенковы, и, как скоро козаки обеих сторон соединились, раздался крик между старшиною и чернью: «Мы за гетманство биться не будем! Брюховецкий нам доброго ничего не сделал, только войну и кровопролитие начал!» И тотчас побежали грабить возы восточного гетмана Дорошенко послал сотника Дрозденка схватить Брюховецкого и привести к себе. Иван Мартынович сидел в палатке своей, в креслах, когда

вошел Дрозденко и взял гетмана под руку; но тут запорожский полковник Иван Чугуй, верный приятель Брюховецкого, безотлучно находившийся при нем с начала его гетманства, ударил Дрозденку мушкетным дулом в бок так, что тот упал на землю. Это, однако, не спасло Брюховецкого: толпы козаков восточной стороны с криками и ругательствами ворвались в шатер, схватили гетмана и потащили его к Дорошенку. «Ты зачем ко мне так жестоко писал и не хотел добровольно булавы отдать?» – спросил его Дорошенко. Брюховецкий не промолвил ни слова. Не добившись никакого ответа, Дорошенко дал знак рукою – и толпа бросилась на несчастного, начали резать на нем платье, бить ослопьем, дулами, чеканами, рогатинами, убили как бешеную собаку и бросили нагого. Чугуй храбро защищал его и тут, но ничего не мог сделать один с немногими товарищами. Дорошенко уверял Чугуя, что вовсе не желал смерти Брюховецкого. Его самого чуть было не постигла та же участь: вечером козаки обеих сторон, подпивши, зашумели, стали кричать, что надобно убить и Дорошенку, тот едва утишил их, выкативши несколько бочек горелки, а ночью со всею старшиною выехал для осторожности на край обоза. Тело Брюховецкого велел он похоронить в Гадяче, в построенной им церкви (июнь 1668 г).

Покончив с соперником и провозгласивши себя гетманом обеих сторон Днепра, Дорошенко двинулся к Котельве, которую осаждал боярин князь Григорий Григорьевич Ромодановский. Воевода отступил, Дорошенко его не преследовал и возвратился в Чигирин, взявши имение Брюховецкого и артиллерию (сто десять пушек), пограбивши всех, на которых ему указали, как на богатых людей. Москва вследствие измены Брюховецкого потеряла 48 городов и местечек, занятых Дорошенком, 144000 рублей денег, 141000 четвертей хлебных запасов, 183 пушки, 254 пищали, 32000 ядер, пожитков воеводских и ратных людей на 74000. На восточной стороне Дорошенко оставил наказным гетманом черниговского полковника Демьяна Игнатовича Многогрешного. Но как скоро гетман покинул восточный берег, то здесь повторилось то же самое явление, какое мы видели после Конотопа и Чуднова: восточная сторона потянула к Москве; князь Ромодановский собрался с значительными силами и начал наступательное движение; наказной северский гетман, как назывался Многогрешный, не имел сил ему противиться, да и под чьим знаменем он стал бы оказывать это сопротивление? Сначала он послал к Дорошенку с просьбою о помощи, но получил ответ: «Пусть сами обороняются!» Ромодановский взял приступом новое место в Чернигове; не надеясь спасти старого места, Многогрешный вступил в переговоры с царским воеводою. 25 октября приехали в Москву нежинский протопоп Симеон Адамович, брат наказного гетмана Василий Многогрешный да бывший нежинский полковник Матвей Гвинтовка. Они объявили, что князь Ромодановский отправил их вместе с сеунщиками, сыном своим князем Андреем, Скуратовым, Толстым из обоза, из-за Белой Вежи; но на дороге напали на них татары и захватили в плен сына Ромодановского с товарищами Малороссиян стали расспрашивать порознь: Гвинтовка сказал, что до измены Брюховецкого сидел у него в Гадяче скован, а на его место был поставлен в полковники Артема Мартынов; когда начали государевых людей побивать, то его, Гвинтовку, перевели в Нежин за караулом; а когда Брюховецкого убили, то его освободили; в то же время в Веприке освободили из заключения Василия Многогрешного, который сидел в тюрьме за то, что жену свою побил и та с побоев умерла. Оба – Гвинтовка



и Василий Многогрешный поехали в местечко Седнево к гетману Демьяну Многогрешному и стали ему говорить, чтобы учинился в подданстве у царского величества по-прежнему. Демьян обрадовался этому совету и отпустил их в полк к князю Ромодановскому; в той же думе с ними был и стародубский полковник Петр Рословченко. Когда они приехали к Ромодановскому, то между ним и Демьяном пошли пересылки, и кончилось дело тем, что Демьян и Рословченко в присутствии двоих московских полковников, присланных Ромодановским, поцеловали крест, а потом в городе Девице Демьян имел свидание с Ромодановским. Гвинтовка прибавил к своим показаниям: «Слышал я от полковников, Демьяна и Рословченка, и от иных, чтобы у них вперед в войске гетман был данный от царского величества, а не избранный козаками; если государевы ратные люди станут под черкасские города подступать и промысл чинить, то города все станут сдаваться».

Рассказавши свои похождения, Гвинтовка и Василий Многогрешный объявили, что Демьян Многогрешный и Рословченко приказывали им накрепко домогаться царской милостивой обнадеживательной грамоты да особо от патриарха московского прощальной грамоты в нарушении крестного целования. Как скоро они возвратятся к Демьяну и Рословченку, то немедленно к царскому величеству придут козацкие послы, чтобы государь изволил быть у них гетману русскому с войском, и стоять ему в Коробове, а козаки будут кормить царское войско всяким довольством. Доходы бы государь указал собирать с полков оптом, а не так, как до сего времени было: у кого и не было, и на тех правили; а они сами между собою обложатся, что с которого полка дать; обо всех этих статьях Демьян и Рословченко уже говорили с князем Ромодановским.

В то время как Многогрешный и Гвинтовка рассказывали в Москве такие приятные новости, приходит грамота от черниговского архиепископа Лазаря Барановича, из которой нельзя было заключить о такой безусловной покорности наказного гетмана и о желании видеть над собою русского гетмана, данного царским величеством. Мы видели, что Лазарь был одно время блюстителем Киевской митрополии и был сменен в этом звании Мефодием. Чтобы понять характер политической деятельности Лазаря, надобно припомнить, за какие главные интересы шла борьба в стране. Мы видели, что интерес войска или козачества рознился с интересом городского народонаселения. Старшина козацкая стремилась к тому, чтоб вся власть находилась в ее руках и чтобы над нею было как можно менее надзора со стороны государства: отсюда сильное нежелание видеть царских воевод в городах малороссийских. Иначе смотрело на дело городское народонаселение: ему тяжело приходилось от козаков и полковников их, и потому оно искало защиты у царских воевод и от врагов внешних, и от насилий полковничьих. Духовенство относительно этих двух стремлений не могло сохранить единства взгляда: взгляд архиереев, властей был отличен от взгляда городского белого духовенства. Архиереи сочувствовали стремлению старшины козацкой: для них важно было, чтобы страна удержала как можно более самостоятельности в отношении к Московскому государству, ибо эта самостоятельность условливала их собственное независимое положение. Оставаться в номинальной зависимости от константинопольского патриарха, а не подчиняться патриарху московскому, который не захочет ограничиться одною тенью власти, — вот что было главным желанием малороссийских архиереев;

интересы их, следовательно, были тождественны с интересами старшины козацкой. Напротив, городское белое духовенство, по самому положению своему тесно связанное с горожанами, разделяло стремления последних, и это не случайность, что протопоп городского собора, лицо тогда очень важное, является в Москве представителем горожан, доносит великому государю о их желании видеть у себя воевод. С таким характером мы видели нежинского протопопа Максима Филимонова; теперь с таким же характером является другой протопоп, Симеон Адамович. Но архиерей черниговский Лазарь Баранович и прежде являлся в глазах московского правительства человеком, холодным к его интересам, и теперь, принимая на себя роль посредника, примирителя, он хлопочет, однако, о том, чтобы требования старшины козацкой относительно вывода воевод были исполнены. Лазарь умолял царя простить преступных козаков: «Аще есть род строптив и преогорчевая, но ему же со усердием похощет работати, не щадя живота работает. Ляхи под Хотином и на различных бранех силою их преславная соделаша; род сицев иже свободы хочет, воинствует не нуждою, но по воли; ляхи к каковой тщете приидоша, егда их Войско Запорожское остави? Ныне видят и различными образы их утверждают, но большее усердие их к вашему царскому пресветлому величеству, но от одних воевод, с ратными людьми в городех будучих, скорбят, и весь мир, сущим воеводам в городах украинских, одне в Литву, а иные в Польшу итить готовы, подущение всегдашнее от варвар имеют; свободою убо, ею же Христос нас свободи, помазаниче божий, пресветлый царю, их свободи, да стоят на свободе их укрепи, да истинно тебе поработают и от варвар отлучатся всяко! На знамение обращения своего Демко Игнатович, гетман северский, плененных отпускает. Яко жена кровоточивая, егда коснуся края риз Христовых, ста ток крови ея: сице егда Войско Запорожское со смирением припадает и касается края риз вашего пресветлого царского величества чаю яко станет ток крови». Баранович переслал в Москву письмо к себе Многогрешного, где высказаны были условия, на которых козаки могли снова подчиниться царю. «Посоветовав с полками сей стороны Днепра, при каких вольностях хотим быть, ведомо чиню, – пишет Многогрешный, – когда великий государь нас, своих подданных, захочет при прежних вольностях покойного славные памяти Богдана Хмельницкого, в Переяславле утвержденных, сохранить и нынешних ратных людей своих из городов наших всех – Переяславля, Нежина, Чернигова – вывести, тогда изволь, ваше преосвященство, написать царскому величеству: буде нас по милости своей примет, вольности наши сохранит и, что учинилось за подущеньем Брюховецкого, простит (а то учинилось от насилия воевод и отнятия вольности Войска Запорожского), то я готов с полками сей стороны Днепра царскому величеству поклониться и силы наши туда обратить, куда будет указ царский. Если же царское величество нашу службу возгнушается, то мы при вольностях наших умирать готовы: если воеводы останутся, то хотя один на другом помереть, а их не хотим». В ответ на все эти грамоты к Барановичу и Многогрешному отправлены были в ноябре грамоты из Москвы: государь объявлял прощение козакам и удостоверял их в своей милости: никаких условий или более определенных обещаний не было.

Но в то время как Лазарь Баранович принял на себя посредничество между козаками и великим государем, что делал другой архиерей, бывший до сих пор на первом плане, Мефодий, блюститель митрополии Киевской? Он так же обманулся

в своих расчетах, как и сват его, Брюховецкий, гибель которого неминуемо влекла за собою и беду Мефодию: ибо если Дорошенко не мог терпеть подле себя Брюховецкого, то Иосиф Тукальский не мог терпеть Мефодия. Сперва держали его за караулом в разных местах на восточном берегу, потом перевезли за Днепр и посадили в Чигиринском монастыре. Сюда прислал к нему Тукальский отобрать архиерейскую мантию. «Недостойн ты быть в епископах, потому что принял рукоположение от московского митрополита», – велел сказать ему Иосиф. Из Чигирина перевезли его в Уманьский монастырь, но здесь он напоил караульных монахов и ушел в Киев. По приезде в этот город первым его делом было обвинить перед боярином Шереметевым киевских архимандритов и игуменов в сношениях с Дорошенко, Тукальским и Брюховецким: архимандрит печерский Иннокентий Гизель отвечал на допрос, что Брюховецкий присылал за ним для того, чтобы он помирил его с Мефодием, приезда которого гетман опасался: оправдывая себя, Гизель рассказал, как Мефодий в Нежине бесчестил вельмож и архиереев московских: на обвинение в сношениях с Дорошенко Гизель отвечал, что действительно писал к чигиринскому гетману, просил запретить козакам грабить маетности Печерского монастыря, о том же писал и к Тукальскому. Николопустынский игумен Алексей Тур оперся на то в своем ответе, что Мефодьевы обвинения голословные, ничем подтвердить их нельзя; игумены – михайловский Феодосий Сафонович, кирилловский Мелетий Дзик, Братского монастыря Варлаам Ясинский, Выдубицкого Феодосий Углицкий, Межигорского Иван Станиславский – подали сказки, что они сносились с Чигирином с ведома боярина Шереметева, все в один голос объявили, что, пока Мефодий был в Москве, все было тихо, а как он приехал в Малороссию и породнился с Брюховецким, то и начались бунты. С теми же речами приходили к Шереметеву и мещане киевские; Дорошенко также прислал обвинительную грамоту на Мефодия, прислал письмо, которое тот писал к Брюховецкому, восстанавливая его против Москвы.

Положение Мефодия было незавидное: он совсем растерялся, не знал что делать, к кому обратиться? У Шереметева подслуживался доносом на своих; а к Феодосию Сафоновичу писал, что он поссорился с Шереметевым из-за общей пользы, для целости отчизны, церкви божией и вольности народной. Шереметев признал за лучшее отправить Мефодия в Москву, а то, пожалуй, он и в Киеве какие-нибудь бунты заведет. Голова московских стрельцов Иван Мещеринов повез Мефодия Днепром до Лоева, отсюда сухим путем в Старый Быхов. В этом городе пришел к нему комендант Юдицкий и спрашивал, на какие места он поедет и кого это он с собою везет? Когда Мещеринов объявил ему, что везет Мефодия, то Юдицкий начал: «Служа обоим великим государям, не могу тебя не остеречь: на Могилев не ездят, там мужики своевольные, взбунтуются и епископа у тебя отобьют, они такие же своевольцы, как и запорожские козаки; за день до твоего приезда пригнали сюда два монаха, сказали, что из Киева, из Печерского монастыря, и в тот же час погнали в Могилев, а там, я знаю подлинно, они мужиков взбунтовали; ступай лучше на Чаусы да на Смоленск». Мещеринов послушался и поехал на Чаусы. В этом городе Мефодий начал бранить сотника. «Бог до вас добр, – говорил он, – что вы на Могилев не поехали: увидели бы, что бы там над вами сделалось!» В Москве на все обвинения епископ отвечал одно, что он об измене Ивашки Брюховецкого не ведал до тех пор, как государевы люди

были побиты в Гадяче. Его оставили в московском Новоспасском монастыре под стражею; здесь он и умер.

Дорого поплатились сваты – Брюховецкий и Мефодий – за смуты; недолго торжествовал и главный ее виновник – Дорошенко. Татары не мешали ему разделаться с Брюховецким; но скоро пришла к нему страшная весть – татары поставили в Запорожье другого гетмана. Был в Запорогах писарь, Петр Суховей или Суховеенко, молодой человек 23 лет, досужий и ученый, послан был в Крым для договоров и так там успел всем понравиться, что писали оттуда в Запорожье: «Вы бы и впредь присылали к нам таких же досужих людей, а прежде вы таких умных людей к нам не присылали». Этого-то досужего и умного человека татары провозгласили гетманом козацким. Дорошенко скрежетал зубами. «Еще я, – говорил он, – не зарекаюсь своею саблею обернуть Крым вверх ногами, как дед мой Дорошенко четырьмя тысячами Крым ни во что обернул!» Суховеенко писал в Чигирин, что он гетман ханова величества и чтоб Дорошенко не смел писаться запорожским гетманом. На грамоте была ханская печать – лук и две стрелы, а не старая гетманская запорожская – человек с мушкетом. «Я иду на сокрушение этого лука и стрел», – велел сказать Дорошенко Шереметеву. Он надеялся на разделение Запорожья: из 6000 тамошних козаков половина была за Суховеенка, а другая половина за Дорошенко. Шестеро знатных запорожцев приехали в Чигирин, привезли письмо к Дорошенку от его приверженцев. «Выходи, – писали они, – в поле, на черную раду, а мы Суховеенка и неволею выведем в поле и убьем, ханские стрелы мушкетами своими поломаем». Дорошенко отпустил запорожцев с честью, дал им по шубе, сафьянные сапоги, шапки, послал с ними в Запорожье козакам подарки, хлебные запасы, овощи. Но были и другие вести из Запорожья, что если соберется черная рада, то Дорошенку несдобровать. Плохо пришлось чигиринскому гетману между Польшею, Москвою и татарами, и вот он со всеми пересылается, на все стороны манит, лжет, обманывает. Сносится с татарами, покупает у хана Суховеенко; но хан дорого просит: дай ему Серка за Суховеенка! Сносится Дорошенко и с Шереметевым, с Ромодановским, уверяет в преданности своей великому государю. Рассказывали, что много раз сзывал он полковников и толковал – не поддаться ли Москве, не отправить ли за этим послов к царю? Но полковники приговорили оставаться в подданстве у султана, потому что московский царь велит старшин всех казнить, точно так же и король, если ему поддаться, будет им мстить.

Малороссия разрывалась. Суховеенко стоял с Ордою на Липовой Долине, недалеко от Путивля; уже неслись слухи, что он обусурманился и называется татарским именем Шамай; козаки полков Полтавского, Миргородского и Лубенского присоединились к нему: но прилуцкий полковник держался Дорошенка и, впустив к себе сотню татар, всех их перебил. Григорий Дорошенко, назначенный братом в наказные гетманы, стоял с войском в Козельце. Он писал в Киев Шереметеву, что хочет служить великому государю; но когда Шереметев прислал взять с него присягу, то он отвечал посланному: «Я писал не о том, что великому государю служить и присягу давать, а писал, что пришел с полками в Козелец не для войны, чтобы не тревожились и задоров военных со мною не делали. А присягу мне давать из какой неволи? Я теперь по своей воле плаваю, что орел сизый. Война у нас стала за козацкие вольности; по неволе нас в подданство привести трудно; мы за свои вольности до последнего человека

помрем; если же великий государь укажет из малороссийских городов воевод и ратных людей вывезть, то мы великому государю в послушании быть рады: Войско Запорожское государству Московскому и Польскому каменная стена».

То же самое продолжал повторять и северский наказный гетман Демьян Многогрешный. «Нынешняя война с великим государем, – писал он Лазарю Барановичу, – возникла по благословению его милости, отца Мефодия Филимоновича, епископа мстиславского, и его послушника, протопопа нежинского. Слышу, что князь Ромодановский отпустил этого протопопа с братом моим Васильем и с Гвинтовкою к великому государю: отпустил он его на последнюю гибель нашей бедной Малороссии и всему миру; да туда же, в Москву, поехал и отец Мефодий! Этот пуще всех будет бунтовать и своими непотребными замыслами царское величество, бояр и весь синклит побуждать и наговаривать. Если великий государь не захочет подтвердить нам вольности, постановленные при Богдане Хмельницком, тогда ради не ради поддадимся поганцу; а на ком будет грех? На епископе Мефодии да на протопопе нежинском. Пошли, ваша святительская милость, к царскому величеству, бей челом, чтобы тем злосеятелям-клеветникам не верил». Баранович прислал эту грамоту в Москву вместе с своею, в которой словами писания умолял государя исполнить просьбу Многогрешного: «Отврати лице твое от грех их, и нечестивии к тебе обратятся; умолен буди на рабы своя, да не от отчаяния сопрягутся к неверному ярму бусурманскому».

Но в Москве знали, что требования Многогрешного и Дорошенка – это требования козацкие или, лучше, старшины козацкой, и для отвращения этих требований решили дать голос всей Малороссии, всем составным частям ее народонаселения. Царь отвечал Барановичу: «Пусть Демьян и Войско Запорожское пришлют к нам знатных людей от себя, от духовного и мирского, служилого и мещанского чина и от поселян с просьбою о принятии под нашу государскую руку: тогда о вольностях и правах наш милостивый указ им будет». С тем же требованием отправлена была грамота к Многогрешному и ко всему Запорожскому Войску.

Между тем Дорошенко не переставал сноситься с Шереметевым, не переставал твердить, что согласен быть под рукою великого государя, если в Малороссии не будет московских воевод. «Имею о том подивление великое, – отвечал Шереметев, – что гетман Петр Дорофеевич о таких делах приказывает! И какое вам будет от того добро, что воеводам и ратным людям на восточной стороне не быть? В нынешнее шаткое время, при воровстве переяславского полковника Дмитрашки Райча, если бы в Переяславле государевых ратных людей не было, то Переяславль был бы за татарами: они сделали бы из него себе столицу и желание свое исполнили бы, что хотели вас всех выгнать в Крым». «Потому, – продолжал Дорошенко, – надобно московских ратных людей из Малороссии вывезть, что в прошлых годах король польский велел своих ратных людей вывезть из Корсуни, Умани и Чигирина и тем малороссийских людей увеселил; гетман Дорошенко и все Войско Запорожское, видя такую королевскую милость, утешились и по воле его королевского величества учинили». «Да, – отвечал Шереметев, – видели мы, как учинено было по королевской воле: как только польский комендант из Чигирина выступил, то гетман призвал татар, пошел в Польшу и многие города, села и деревни разорил. Того же надобно опасаться и в

Малороссии, если государевы ратные люди будут выведены. Нападет неприятель, козаки выйдут против него в поле, а в городах кто останется? Робкие мещане будут сдаваться».

Шереметев пересылался и с Многогрешным, также уговаривал его отстать от требований насчет воевод. «Боярин Петр Васильевич, – говорил посланник Шереметева Многогрешному, – никогда не мыслил, чтобы ты, приятель его, был великому государю неверный слуга; беспрестанно вспоминает он твой правдивый ум, дородство, желательное радение и кровопролитие, как ты великому государю служил верно и радетельно и над неприятелями промысл чинил. Вольности ваши и права никогда нарушены не были, а чинил ссоры вор Брюховецкий с подобными себе, с Васьюкою Дворецким и с архиереем. В городах воеводы все исполняли по вашим договорным статьям, права ваши и вольности ни в чем не нарушены, а если какие неприятности вам и были, так не по воле великого государя, но по челобитьям вора Брюховецкого».

Но Многогрешный с товарищами не отставал от своего требования. В январе 1669 года явилось в Москву большое малороссийское посольство: от Лазаря Барановича игумен Максаковского монастыря Иеремия Ширкович, от гетмана Демьяна обозный Петр Забела, есаул Матвей Гвинтовка, судья Иван Домонтов, сотников 6 человек, 2 атамана, судья полковой, подписок войсковой, рядовых козаков 46 человек; представителями городов явились два войта, бурмистр, поселян никого. Послы объявили наказ от гетмана и всего Войска: бить челом о подтверждении вольностей, данных Богдану Хмельницкому: «Войско Запорожское частые расколы чинило оттого, что по смерти Богдана Хмельницкого гетманы, для чести и маетностей, Войску умаляли вольностей. Хотя по статьям Богдановым и должны быть воеводы в Переяславле, Нежине и Чернигове для обороны от неприятелей, однако они вместо обороны пушюю нам пагубу нанесли; ратные люди в наших городах кражами частыми, пожарами, смертоубийствами и разными мучительствами людям докучали; сверх того, нашим нравам и обычаям не навыкли; когда кого-нибудь из них на злом деле поймают и воеводам челобитную подадут об управе, то воеводы дело протягивали. Нынешняя война ни от чего другого началась, как от этого. Чтоб изволил великий государь своих людей из наших городов вывести, а в казну оброк мы сами будем давать через своих людей, которых войско выберет, и то не с этого времени, а когда Украина оправится. Те же воеводы, несмотря на постановленные статьи, в козацкие права и вольности вступались и козаков судили, чего никогда в Войске Запорожском не бывало. А когда Войско Запорожское будет свои вольности иметь, то никогда измены не будет. В немалой смуте гетман и все Войско Запорожское пребывает оттого, что ваше царское величество город царствующий Киев королевскому величеству отдать изволили; а Войско Запорожское за то только и войну с Польшею начало, что поляки церкви божии на костелы обращали, и теперь они на нынешнем сейме постановили церкви православные на костелы обращать, святые мощи в Польшу розно развесть. Все духовенство и Войско Запорожское просит и молит: смилуйся, великий государь наш, помазанник божий, не подавай своей отчины во иго латинское!» Государь объявил им лично, что он «вины их велел им отдать и к прежнему своему милосердию принять изволил: а если б впредь, забыв страх божий и великого государя милость, стали бы к какой измене и к суетным и ссорным словам и письмам приставать и верить, и учинять какую шатость и

междоусобие, то великий государь больше терпеть не будет: прося у всемогущего бога милости и пречистые богородицы помощи и взяв святой и животворящий крест и во всех своих милосердых к ним делах свидетельствовавшись всемогущим богом, станет сам своею государскою особою в подданство приводить и своевольных унимать».

А между тем в Москву пришла весть, что только старшина козацкая желает вывода воевод московских; в том же январе прислал государю письмо известный нам протопоп нежинский Симеон Адамович, о котором так дурно отзывался Многогрешный. Протопоп знал, что на него донесли царю, обвинили в дружбе и сообщничестве с Мефодием, и потому начинает письмо свое оправданием: «Милости у вас, великого государя, не прошу, только свидетель мне бог и вся Малая Россия, что от измены и невинного христианского кровопролития чиста моя душа пред богом и пред вами, великим государем, и пред всеми людьми. После моих трудов я никак не хотел ехать из Москвы, зная непостоянство своей братии, малороссийских жителей; но ваше царское величество приказали мне ехать в Малую Россию с милостию вашею государскою и грамотами к архиепископу Лазарю Барановичу, гетману Демьяну Игнатовичу и полковнику Рословченку. Гетман северский сначала принял меня любовно, а потом, по совету преосвященного Лазаря, возъярился и с 27 ноября до 10 января мучил меня за караулом, за порукою и за присягою, не отпускал ни в Москву, ни в Киев, ни в Нежин, беспрестанно волочил меня за собою. Стал я писать к полковникам и городам, приводя их под вашу высокодержавную руку, писал и к воеводе нежинскому Ив. Ив. Ржевскому, чтобы он о всяких вестях писал к вам, великому государю, и отписку свою прислал ко мне; и с теми проходцами, которых я посылал в Нежин, воевода прислал отписки к вам, великому государю. Но как только проходцы пришли ко мне из Нежина, гетман велел их перехватать и в тюрьму посадить, а меня из Березны до Сосницы переслать ночью за караулом, отписки все мне же велел читать перед собою под смертною казнию и пожег их; если бы воевода Ржевский хотя мало не на их руку в этих отписках что написал, то гетман хотел меня тотчас расстрелять и запретил мне, под смертною казнию, ни в Москву, ни к воеводам отнюдь не писать. Потом потащил меня с собою в Новгородок Северский; туда съехалась из полков старшина, и, по совету архиепископа Лазаря, учинился Демьян Игнатович совершенным гетманом над тремя полками, точь-в-точь как покойник Самко в Козельце; нежинским полковником сделал Филиппа Уманца Глуховского, а Остапа Золотаренка отставил за то, что он в Нежине вашему царскому величеству присягнул. Там же, в Новгороде, преосвященный архиепископ приговорил гетману держать меня за караулом до тех пор, пока возвратится Забела с товарищами из Москвы, и если ваше царское величество по желанию архиепископа и гетмана позволите своим ратным людям из городов выйти, то оставить меня в живых, если же нет, то меня либо смерти предать, либо татарам отдать. Я стал со слезами просить архиепископа, чтоб не для меня, но для милости вашего царского величества отпустили меня либо в Москву, либо в Нежин. Архиепископ отвечал мне: „Не сделаю этого для земного царя, а только для небесного, и, если б не мое заступление, давно бы тебя гетман смерти предал“. А Василий Многогрешный говорит: „Брат мой, гетман, перед тобою не виноват, архиепископ велит держать тебя за крепким караулом, сердясь, что ты желаешь добра царскому величеству и

что к тебе милость государская есть“. А Василий Многогрешный верен тебе, великому государю, много раз брата своего лял, что он гордится, людей дерет и тебе, великому государю, не хочет истинно служить; и Гвинтовка добр же. Сам я слышал своими ушами, как архиепископ говорил: „Надобно нам того, чтобы у нас, в Малой России, и нога московская не была; если государь не выведет своих ратных людей из городов, то гетман хотя и сам пропадет, а царство Московское погубит, как огонь – вещь подлежащую спалит и сам погаснет“. Воля ваша: если прикажете из Нежина, Переяславля, Чернигова и Остра вывести своих ратных людей, то не думайте, чтоб было добро. Весь народ кричит, плачет: как израильтяне под египетскою, так они под козацкою работою жить не хотят; воздев руки, молят бога, чтоб по-прежнему под вашею государскою державою и властью жить. Говорят все: за светом государем живучи, в десять лет того бы не видали, что теперь в один год, за козаками. Нынешний гетман безмерно побрал на себя во всей северной стране дани великие медовые, из винного котла у мужиков по рублю, а с козака по полтине и с священников (чего и при польской власти не бывало) с котла по полтине: с козаков и с мужиков поровну, от сохи по две гривны с лошади, и с вола по две же гривны, с мельницы по пяти и по шести рублей брал, а кроме того, от колеса по червонному золотому; а на ярмарках, чего никогда не бывало, с малороссиян и великороссиян брал с воза по 10 алтын и по две гривны; если не верите, велите допросить путивльцев, севчан и рылян. Уже об нем не умолкают козаки и мужики, а как вооружатся на него, хочет утекать в цесарскую землю. Ей, ей, ей, государь, от его уст я слышал трижды на тайных со мною разговорах; я его, гетмана, уговаривал и милостию вашею царскою обнадеживал всячески; отнюдь не хочет служить вашему царскому величеству, на вас, помазанника божия, и на царство ваше православное хулы возлагает, стыдно и писать мне. Поверь, государь, священству моему: великий враг, а не доброхот вашему царскому пресветлому величеству. Ныне разорвались на три доли: одни к сему гетману, другие к Дорошенку, третьи к Суховею; отнюдь ничего доброго нет, для чего выводить из городов воевод и ратных людей; еще бы ныне промышлять, доколе посланцы у вашего царского величества на Москве: послать бы из Севска, будто в Киев на перемену, в Глухов приказа три или четыре с воеводою каким умным; а там сами князя Ромодановского просят в Гадяч; а если бы эти два города вашего царского величества ратные люди осели, то козакам бы уже нечего делать! А то их горстка, а затевают небылицу, будто они победу и одоление одержали, таких статей домогаются, каких не было и прежде, когда все Войско было вместе, не рознясь. Козаки умные, которые помнят свое крестное целованье, мещане и вся чернь говорят вслух: если вы, великий государь, изволите вывести своих ратных людей из малороссийских городов, то они селиться не хотят, хотят бежать врознь: одни в украинные города вашего царского величества, другие за Днепр в королевские города. А которые посланы к вам от гетмана козаки, Забела с товарищами, изволь, государь, их задержать и через них посланцами договор чинить для того: если вы по желанию архиепископа и гетмана не сделаете, то они тотчас к татарам, а татары с калгою до сих пор стоят за Днепром. Забела и Гвинтовка со мною говорили, что они не желают выхода государских людей из городов: вели, государь, их по одному тайным обычаем допросить, как бога боятся, пусть так скажут; учинилось это не их советом, а только архиепископским и гетманским. Да и о том милости у вас, великого государя, прошу: пощади меня,



убогого богомольца своего, не вели этого моего письма объявлять: как скоро доведаются, тотчас меня смерти предадут. А людей, государь, бога ради, из малороссийских городов не вели выводить, а лучше и прибавить».

Вслед за грамотою Симеона Адамовича, в январе же месяце, приехал в Москву жилец Ушаков, посланный Шереметевым из Киева к Многогрешному и Барановичу. Ушаков рассказывал о своих разговорах с ними: на приглашение Шереметева чинить промысл над городами, бывшими в руках у изменников, – над Остром, Козельцом, Барышполем и другими, гетман отвечал: «Жду от великого государя посланных своих и всякой государственной милости; а как от великого государя милость всякую увидят, то города эти, думаю, скоро под его высокую руку подклонятся». Баранович говорил: «Надобно великому государю над гетманом и надо всем Войском милость показать во всем вскоре и посланцев их отпустить, не задержав; а если посланцы на Москве замешкаются, то чтобы чего-нибудь дурного не сделалось. Царское величество Киев польскому королю уступит ли или нет? Когда я с Мефодием был на Москве, в то время договорные статьи читали на весь мир; в статьях постановлено, что Киев отдать в королевскую сторону; но когда мы были у великого государя на отпуску и о Киеве докладывали, то государь милость свою нам сказал, что Киева отнюдь не уступит. И если царское величество Киев полякам уступит, то и сей стороны Днепра малороссийские города под его рукою в твердости не будут никогда. Во всех малороссийских городах духовный и мирской чин сильно этим оскорбляются, особенно в киевских монастырях архимандриты, игумны и старцы сетуют и болезнь имеют великую о церквах божиих, говорят: как скоро Киев в королевскую сторону будет уступлен, тотчас поляки церкви божию превратят в костелы и учинят унию, да и то полякам будет досадно, что Мефодий в Киеве прежний польский каменный костел разломал и хотел Софийский монастырь строить, но монастырскому строению и почину не учинил, а костел разломал: так поляки за это тотчас Софийский монастырь в кляштор обратят. Царскому величеству надобно за Киев стоять крепко, потому что Киев благочестию корень, а где корень, тут и отрасли». Многогрешный толковал о своих ближайших делах: «Слышал я, что Дорошенко к великому государю присылает, будто под его высокую рукою хочет быть, и тому верить нечего: эти присылки чинит он лестью, хочется ему на обеих сторонах быть гетманом одному. А я по присяге своей царскому величеству служить рад до скончания живота; если же Дорошенка принять, то меня тотчас убьет, а в делах великого государя проку никакого не будет». Ушаков рассказывал и о Киеве: в Киеве во всех монастырях и в городе митрополита Иосифа Тукальского любят и хотят, чтобы он на митрополии Киевской был по-прежнему. Да архимандрит печерский оскорбляется, что службы его и радения к великому государю было много, государевым ратным людям деньгами и хлебом помогал, против изменников всеми монастырскими людьми стоял, а за это государевой милости до сих пор не получил, только было прислано спросить его о здоровье; также и других монастырей игумны, которые ратным людям хлебом помогали, оскорбляются.

24 января государь велел боярину Богдану Матв. Хитрово поговорить с малороссийскими посланцами Забелою и Гвинтовкою. Хитрово объявил им, что все дела должны быть решены на раде, на которую отправляются боярин князь Григ. Григ. Ромодановский, стольник Артемон Матвеев и дьяк Богданов. Хитрово

объявил также, что государь велел отпустить малороссийских пленников 161 человека, и спрашивал, где пристойнее быть раде? Посланцы отвечали, что вдруг сказать не могут, подумают; лучше быть раде около Десны, но черневой раде не быть, быть только полковникам и старшине, потому что места разоренные: как съедутся многие люди, то и лошадей накормить будет нечем. Сего боку козаки выбрали совершенным гетманом Многогрешного; пожаловал бы великий государь, велел дать ему булаву и знамя.

На другой день, 25-го, посланцы были на Казенном дворе у думного дворянина Лариона Лопухина и думного дьяка Дементья Башмакова. Им объявлено, что государь отпустил 161 пленника, отпустит и всех, если они дадут им роспись. «Дадим роспись на раде», – отвечали посланцы. «Дайте письменные улики на епископа Мефодия и нежинского протопопа», – сказал Лопухин. «Улик с нами не прислано, – отвечали посланцы, – дадим их на раде: но мы подлинно знаем, что вся дума у гетмана Брюховецкого была с епископом да с нежинским и романовским протопопами». «Кто говорил вам смутные речи, что листов ваших царскому величеству не доносят, и на кого в том нарекали?» – спрашивал Лопухин. «Говорил нам про то Брюховецкий, – отвечали послы, – сказывали ему посланцы его, приехавшие из Москвы, бунчужный Попович и арматный писарь Микифор, будто листов наших царскому величеству не доносит боярин Ордин-Нащокин и говорит, что Малая Россия царскому величеству ненадобна». «Можно вам и самим разуметь, – сказал Лопухин, – что все это дело несбыточное, Ивашка Брюховецкий нарочно говорил на смуту».

Посланцы настаивали, чтобы раде быть в Батурине, но государь решил быть ей в Глухове – для ближайшего привоза из городов людских запасов и конских кормов – и решил, чтобы рада была черневая.

Первого марта приехал Ромодановский с товарищами в Глухов, 3-го приехал Лазарь Баранович, и в тот же день боярин созвал раду у себя на дворе: народу не было много, потому что из козаков и мещан были только выборные люди. Ромодановский объявил, что царское величество указал им, по их правам и вольностям, выбрать гетмана, кого они излюбят: все отвечали, что выбирают Демьяна Игнатовича. Наступило дело потруднее: начали читать статью, что в Переяславле, Нежине, Чернигове и Остре быть воеводам и ратным людям. Поднялся шум: «Мы били челом, чтобы воеводам не быть на этой стороне!» «Так, вы били об этом челом, – отвечал Ромодановский, – но великий государь велел быть воеводам для крепкого утверждения и обороны тебе, гетману, и всем малороссиянам, для проезду до Киева и к тебе, чтобы сухим и водным путем всяким проезжим людям и хлебным отпускам путь был чист, а не для того, чтобы воеводам и ратным людям, живя в городах, делать налоги; ты, гетман, видишь сам, что малороссийских городов жители шатки, всяким смутным воровским словам верят и на всякие прелести сдаются. Петрушка Дорошенко, который называется гетманом той стороны, поддается султану турецкому и, присылая на эту сторону козаков, воровски здешних жителей прельщает, многие из них и теперь еще держат его сторону; Переяславль, Нежин и другие города разорены, жители их разбрелись, все пусто; и если в них царских ратных людей не будет, то возвращающимся жителям без обороны нельзя будет строить своих домов и жить, да и Дорошенко тотчас же займет эти города своими людьми, дороги до Киева займет и учинит вас в подданстве у турка вместе с собою». «Не поставь себе в

досаду, – сказал Демьян, – что мы эту статью оспорили; вели читать другие статьи, а об этой мы подумаем». Начались толки о Киеве, просьбы, чтобы не отдавать его ляхам. «Ведомо вам самим, – говорил Ромодановский, – что той стороны Днепра козаки и всякие жители от царского величества отлучились и польскому королю поддались сами своею охотою прежде Андрусовских договоров, а не царское величество их отдал, по тому их отлучению и в Андрусове договор учинен». «Нам ведомо подлинно, – отвечал гетман, – что тамошние козаки поддались польскому королю сами, от царского величества отдачи им не бывало, и если положено будет на съездах с польскими комиссарами, что Киев отдать, – в том воля великого государя, только бы поляки благочестивой веры не гнали, а царскому величеству можно митрополию и в Переяславле сделать». «Нет, – возразил Лазарь Баранович, – митрополию надобно сделать в Чернигове. Чернигов старше Переяславля, и княжение древнее».

На другой день пришли к боярину обозный Петр Забела, войсковые есаулы, полковники и от имени гетмана начали говорить, чтоб воеводам не быть в их городах, и подали письменное челобитье по статьям: жаловались, что царские воеводы, наезжая на города, заведывали войсковою арматою; просили, чтобы реестровых козаков было 30000; просили на пять лет льготы от податей, а если не достанет денег на жалованье реестровому войску, то чтобы платила казна царская; чтобы гетману жить в Батурине, а когда Переяславль окончательно подчинится государю, то в Переяславле; чтобы воевод вывезть хотя через полгода или через год, когда все успокоится.

5 марта был новый съезд. Ромодановский начал тем, что вывод воевод дело несхожее. «Но воеводы, – отвечал гетман, – козакам и жилецким людям обиды многие нестерпимые чинили, в дела вступались, нас убытчили; служилые люди козаков бесчестили, лаяли, мужиками называли, воровства от них частые и поджоги; а в том бы великий государь был на нас надежен, станем служить верно, безо всякой шатости, изменять никогда не будем». «До сих пор, – говорил Ромодановский, – от козаков и мещан на воевод и ратных людей челобитья не было, а вперед в права ваши и суды, козацкие и мещанские, воеводам вступаться государь не указал, судиться вам между собою самим. До сих пор никаких жалоб не было: если б были жалобы, то был бы сыск и по сыску наказанье; явно, что дело затеяно теперь: и вы о выводе ратных людей из городов и не думайте, какую вы дадите поруку, что вперед измены никакой не будет?» Гетман и старшина молчали.

Боярин продолжал: «И прежде были договоры, перед святым Евангелием душами своими их крепили, и что ж? Соблюли их Ивашка Выговский, Юраска Хмельницкий, Ивашка Брюховецкий? Видя с вашей стороны такие измены, чему верить? Вы беретесь все города оборонять своими людьми, но это дело несбыточное! Сперва отберите от Дорошенки Полтаву, Миргород и другие: и если бы в остальных городах царских людей не было, то и они были бы за Дорошенком. Чтоб больше об том деле и помину не было!»

Заговорил архиепископ: «Отчего нам чинятся налоги, о том как не говорить и великому государю не бить челом? Теперь ты, боярин, не хочешь с нами чинить договору о выводе ратных людей: так написать в статьях, чтоб вперед было вольно бить челом государю об этом».

«Не только что об этом в статьях писать, и говорить с вами не хотим», – отвечал боярин. «Вечером мы еще подумаем, – сказал гетман, – а из нынешних разговоров я и сам узнал, что в тех городах без воевод и ратных людей быть невозможно».

6 марта рано утром съехались все и подписали статьи согласно воле великого государя. В статьях говорилось: быть воеводам и ратным людям в городах: Киеве, Переяславле, Нежине, Чернигове и Остре; жителей воеводам не ведать, иметь начальство только над своими ратными людьми. Если получится жалоба на обиду от ратных людей, то воеводы судят ратных людей, то вместе с воеводами быть при этих судах из малороссийских жителей знатным, добрым и разумным людям. Поборы собирать, как написано в статьях Богдана Хмельницкого. Реестровым козакам быть в 30000, и давать человеку по 30 золотых польских; гетману 1000 золотых червонных на год: обозному и писарю по 1000 золотых польских, на судей войсковых по 300 золотых, на писаря судейского 100, на бунчужного 100; на полковника 100 ефимков, на есаулов по 200, на сотников по 100. В реестр писать старых козаков, которые много служили: а если таких неостанет, то принимать мещанских и крестьянских детей. Пожалованные дворянством сохраняют его: и впредь государь жалует эту честию за заслуги по челобитью гетмана и старшины; жалует также грамоты на мельницы и деревни, данные гетманом и старшиною за войсковые заслуги. Великий государь указал быть выборному, кого гетман, старшина и все войско выберут, жить ему в Москве погодно, чтоб гетману обо всех делах писать к нему, а он будет приносить письма к приказным людям, которые будут доносить их до великого государя, чтоб из Москвы к гетманам частым посланцам не быть, также и гетману посылать к великому государю не часто, только для самых нужных дел, по три или по четыре раза в год; посланному для таких важных дел давать по 20 подвод, а гонцам по 3, потому что подводы теряются, отчего козакам и мещанам много убытков. Ратным людям на козацких дворах не ставиться, ставиться у мещан и мужиков, козаков изменниками и мужиками не называть; беглецов выдавать. Как будет съезд с польскими комиссарами, то будут на него приглашены и малороссийские выборные, только эти посланцы с послами и комиссарами сидеть не будут для избежания ссоры, а когда начнутся разговоры о делах малороссийских, то бояре призовут посланцев и объявят им, о чем идет дело; если же призовут их царские послы и польские комиссары в заседание, то им говорить о благочестивой вере и о других своих делах, только безо всяких ссор, тихими и приличными разговорами. (Козаки никак не согласились на то, чтоб посланцам их не сидеть с послами и комиссарами.) Если гетман в чем провинится, кроме измены, то его не переменять без указа великого государя. Учинить полковника из малороссийских городов и при нем быть 1000 козаков реестровых: где начнутся шатости и измены, то этому полковнику своевольных унимать по своим правам. Гетман будет жить в Батурине.

Подписавши статьи, отправились на площадь пред соборною церковию; здесь опять боярин спросил, кого хотят в гетманы? Раздался крик: «Демьяна Игнатова!» Обозный и полковники поднесли Демьяну булаву. «Хотя я и не желаю быть гетманом, – сказал Демьян, – однако противиться не могу и буду служить великому государю верно». «И мы хотим служить верно!» – завопили все. Боярин вручил новому гетману подтвердительные царские грамоты, после чего все пошли в церковь и принесли присягу.

8 марта раздавалось государево жалованье: гетман получил два сорока соболей, по 100 рублей сорок; старшины получили по две пары; лучшие люди в полках по три, а другие по соболю; Лазарю Барановичу прислано два сорока: один в 100, другой в 50 рублей.

Раздвоение между козаками и остальным народонаселением малороссийским, раздвоение, давшее возможность московскому правительству не согласиться на требования Многогрешного и Барановича, это раздвоение ясно высказалось в мещанских челобитных, поданных царю: «Чтоб от козаков великих насильств и налогов христианам в малороссийских городах, пригородах и деревнях не было; жители принимают к себе переселенцев с той стороны Днепра на хлеб и на соль мирскую, отчего бедным мирянам великое разоренье и даже кровопролитие в домах делается, междоусобная брань, бунты начинаются, потому что голики не хотят быть сыты тем, что им дают, а берут насильно с мещан и крестьян. Дела градские бедных крестьян чтоб в козацкую державу и власть не были отданы, чтоб козаки на своих вольностях жили, а до крестьян ни в чем бы не касались, в управление и в суды градские не вступались. Доходы всякие в казну великого государя козакам не собирать, собирать их мещанам и крестьянам и отдать, кому царское величество изволит, чтоб бедным мещанам и крестьянам от козаков вконец не разориться».

После рады, в апреле, приехал в Москву посланный от нового гетмана и всего Войска, судья енеральный войсковой Иван Самойлов с челобитьем, чтоб князь Ромодановский с своим войском всегда был на защиту Украйны по первому требованию, не отговариваясь неимением царского указа; чтоб возвращены были в отечество малороссияне, сосланные по наветам Брюховецкого и взятые в плен в последнюю войну. Но важнее была другая статья: «Если поборов с малороссийских городов не станет, доплачивать жалованье Войску Запорожскому из казны государевой; ныне вся Украйна пуста и не скоро оправится, всем городам по указу государеву дана льгота на пять лет, и потому не с кого поборов брать, мельницы все разорены». На все пункты последовало согласие, кроме пункта о доплачивании жалованья козакам из казны царской. Иосиф Тукальский прислал грамоту, просил, чтоб государь позволил ему быть митрополитом в Киеве; о том же просил и архимандрит Гизель. Им отвечали, что за некоторыми мерами Иосифу быть на митрополии невозможно, потому что дело о Киеве между Россией и Польшею еще не решено, а какое решение на общем съезде последует, в то время митрополиту царский указ будет.

И третья смута малороссийская, и третья измена гетманская не отняла восточной Малороссии у Москвы. Турки и татары не поддержали восстания барабашей (как называли тогда козаков восточного берега в Крыму); поляки, если б и хотели, не могли действовать против Москвы, если б и хотели, не могли помочь ей в борьбе с козаками. Еще весною 1668 года посланник царский Акинфов из Варшавы и воевода смоленский давали знать в Москву, что в Польше и Литве большая рознь и нестроение, что король королевство покинет и пойдет во Французскую землю. Акинфов обратился к известному литовскому референдарю Бростовскому с вопросом: кто из коронных и литовских сенаторов сильны и от кого в делах великого государя службы и раденья чаять? «Царскому величеству, — отвечал Бростовский, — радетелен литовский канцлер Хриштоф Пац, а из коронных Андрей Ольшевский, бискуп хелмский, подканцлер да Ян Рей, воевода

любельский. Надобно тебе с ними видеться и царскою милостию их обнадежить: а канцлер коронный хотя и не очень радетелен, однако тем людям не поперечит: так надобно и его почтить и видеться с ним». Акинфов в тот же день поехал к Ольшевскому и подарил ему сорок соболей; был у канцлера коронного и у воеводы любельского, государевою милостию обнадеживал, но дачи никакой не чинил: к Пацу отвез соболей и грамоту Ордина-Нащокина. Пац объявил свою службу, как он, приехавши из Москвы, расхваливал всем царевича Алексея Алексеевича, образ которого показывает мудрость, тихость и милосердие; как уговаривал не искать другого государя, кроме царевича; литовские на эту мысль все склонились, склоняются и коронные, только не все: которых француз задарил большими подарками, те для короля молчат и поманивают на француза. На будущий сейм надобно государю царю прислать послов своих с полною мочью: король на этом сейме непременно от короны откажется, и в то время станут ее домогаться многие, а пуще всех француз. Пац впервые указал русскому правительству могущественное средство решать выборы польских королей: «Царское величество послал теперь войска на козаков; так пусть эти войска далеко от границы не отходят; тогда турок, и француз, и другие замеривальщики станут опасаться, думать: как Москва с козаками управится, то и Польшу станет оборонять; так же и во время избирательного сейма люди, радетельные царскому величеству, будут надежнее и смелее, зная, что государевы войска на границе».

Между тем надобно было выполнить условие, по которому уполномоченные обеих держав должны были съехаться в Курляндии; положено было пригласить туда же и шведских уполномоченных. Со стороны Швеции после Кардисского мира слышались постоянные жалобы на то, что не все пленные отпущены из России и что шведские купцы терпят притеснения в ее областях. Новый договор, заключенный окольниковым Волинским с шведскими уполномоченными на реке Плюсе в 1666 году, не положил конца жалобам. Русское правительство в свою очередь жаловалось на притеснения своих купцов в шведских владениях, жаловалось на дурное поведение в Москве шведских резидентов. «Не годится им быть на Москве для того, что в торговлях своих живучи корыстуются, а государственных дел не помнят», – писал царь королю. В апреле 1668 года пошла царская грамота в Стокгольм с приглашением королевских уполномоченных в Курляндию для порешения всех торговых затруднений. С русской стороны отправился на съезд сам начальник Посольского приказа боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, царственные большие печати и государственных великих посольских дел сберегатель. 26 мая выехал он из Москвы с большим торжеством: благочестивый государь, во исполнение евангельского гласа «яко без мене не можете творити ничесоже», воздвигнул из своих хором образ Вседержителя и провожал его от Успенского собора за Тверские ворота до церкви Благовещения. Здесь по совершении молебствия государь обратился к патриархам, просил их молиться, чтобы дело совершилось на славу св. Троицы, на радость православным христианам, на посрамление племенам варварским, и при этом государь объявил патриархам, что такого великого дела издавна в России не бывало. Но Ордин-Нащокин понапрасну прожил лето в Курляндии: ни шведские, ни польские уполномоченные не приезжали. Королева Гедвига Элеонора от имени малолетнего сына своего Карла XI отвечала царю: «Ваше величество уговорились о съезде с польским королем, не объявивши нам, не оказавши нам этой чести.

Нашему королевскому величеству этот съезд не надобен, потому что с вашим царским величеством о вольной торговле мы условились в Кардисском и потом в Плюсском договоре, а с королем польским – в Оливском; что в этих договорах постановлено, то все будем содержать крепко без всякого умаленья, и потому послов наших на тот съезд отправлять мы не соблаговолили. Если же вашему царскому величеству угодно будет пригласить нас в посредники при заключении вечного мира с Польшею, то мы ради будем всяким приятством и дружбою оказываться». В августе король Ян-Казимир отрекся от престола и начались выборы. Архиепископ-примас, гетман Пац и референдарь Бростовский присылали к Нащокину с объявлением, что царевич Алексей Алексеевич назначен кандидатом и что успех дела несомненен, но вместе с тем им хотелось выведать у Нащокина, согласится ли царь послать к ним сына на их условиях? «Прежде всего, – отвечал Нащокин, – надобно исполнить то, что договорено, съехаться в Курляндии, и, даст бог, при этом съезде все тайные дела к вечному миру совершены будут. Шведы в съезде отказали: явно, что не рады они видеть союз Москвы с Польшею. О государе же царевиче – быть ли ему королем польским – воле праведной божией кто противится? Как восхощет, так по прошенью верных своих и сотворит; а прежде всего между обоими многочисленными народами надобно вечное утверждение учинить, и тогда, будут ли государи родные или чужие, во всяком случае будут жить в единстве богоугодным советом». Причины, заставлявшие его отклонять предложения об избрании царевича, Нащокин высказал государю таким образом: «Нет никакой нужды ехать на сейм; вечного мира там не заключить, царевича в короли не выберут, а только прежнему договору порука будет. Вдаваться в избрание страшно и мыслить: сколько из Великой России королевству Польскому надобно будет дать? В Польшу ехать мне послом не на утверждение, а на разрушение мира. Корону Польскую перекупят, как товар, другие».

В октябре приехал в Москву гонец Ян Гойшевский, привез грамоту от «рад духовных и мирских обоего народа» с известием об отречении Яна-Казимира, также подлинную грамоту шведского короля, в которой тот объявлял, что не считает нужным съезд уполномоченных трех держав в Курляндии, ибо в договорах, как Оливском, так и Кардисском, достаточно постановлено о торговле. «Таким образом, – писали паны радные, – съезд не состоялся не по нашей вине, а мы готовы выслать своих комиссаров». Согласились, что съезду русских и польских уполномоченных опять быть в Андрусове, и с русской стороны назначен был тот же Ордин-Нащокин, с польской – Ян Гнинский, воевода хелминский. Нащокин выговаривал комиссарам, что мирное постановление не сдержано со стороны поляков, которые не дали условленной помощи в войне против хана и Дорошенка, и последний овладел царскими городами. «Видя такое замешательство в украинях, – говорил боярин, – надобно для устранения бусурман заключить союз вечный и крепкий». «Нельзя, – отвечал воевода хелминский, – заключать нам теперь, в перемирных годах, вечного союза, потому что завоеванные города остались бы тогда вечно в стороне царского величества; надобно непременно назначить срок отдачи Киева». «Если назначить срок отдачи Киева, – говорил Нащокин, – то надобно назначить срок отдачи тех городов украинских, которыми владеет теперь Дорошенко. Лучше положить все это на волю Божию; после великие государи по обыскам, общим советом постановят и о

Киеве, и об украинских городах». Комиссары настаивали на сроке. «Прежде всего, – повторял Нащокин, – надобно подтвердить о соединении сил против бусурман; а если вы этого не сделаете, то царство Московское по нужде будет искать дружбы у тех соседей, против которых теперь требует у вас союза». Наконец по многим разговорам комиссары с великою нуждою отложили упорные свои речи и подались учинить крепость о соединении сил против бусурман. Это было уже в конце декабря. Нащокин возвратился в Москву.

Но весною 1669 года он уже опять ехал на съезд, ехал на последнюю службу. Мы имели много случаев изучить характер знаменитого сберегателя посольских дел. Мы видели, что это был один из предтеч Петра Великого, человек, который убедился в превосходстве Запада и начал громко говорить об этом превосходстве, требовать преобразований по западному образцу. Он дорого поплатился за это, когда хваленый Запад отнял у него сына. Но неприятности этим не могли ограничиться. Узнавши чужое, лучшее, Нащокин стал порицать свое, худшее; но, порицая дела, он непременно должен был порицать лица, принять на себя роль учителя, выставляя свое превосходство, тогда как было много людей сильных, которые не хотели признавать этого превосходства, не хотели быть учениками Нащокина. И нельзя не признать, что Нащокин поступал при этом не очень мягко, слишком давал чувствовать свое превосходство, свои учительские права. Сделают что-нибудь в Москве без совета с Афанасием Лаврентьевичем или вопреки его совету – Афанасий Лаврентьевич никогда этого не забудет: постоянно он будет повторять, что вся беда произошла оттого, что его мнения не приняли, а не приняли не почему другому, как только из ненависти к нему. И как он пользовался этого ненавистию, как употреблял во зло свои отношения к царю! Выведенный в люди царем и поддерживаемый им, он постоянно возбуждает самолюбие Алексея Михайловича: «Ты меня вывел, так стыдно тебе меня не поддерживать, делать не по-моему, давать радость врагам моим, которые, действуя против меня, действуют против тебя». Таким образом, проповедуя самодержавие, Нащокин прямо стремился овладеть волею самодержца. Не мог не чувствовать этого царь Алексей Михайлович, не мог не скучать постоянными однообразными жалобами Нащокина. Андрусовское перемирие, столь желанное для всех, чрезвычайно подняло Нащокина: его сделали боярином, подарили богатую Порецкую волость, сделали начальником Посольского приказа с громким, небывалым титулом. Легко понять, что Афанасий Лаврентьевич не счел за нужное при этом переменить своего образа действия и тона своих речей; легко понять, как доставалось от него дьякам Посольского приказа – Дохтурову, Голосову и Юрьеву, которые вели дело по старине, а Нащокин хотел вести его по-новому. Как смотрел он на Посольский приказ, видно из следующего представления его царю: «На Москве, государь, ей! слабо и в государственных делах нерадетельно поступают. Посольский приказ есть око всей Великой России, как для государственной превысокой чести, вкупе и здоровья, так промысл имея со всех сторон и неотступное с боязнию божиею попечение, рассуждая и всечасно вашему государскому указу предлагая о народех, в крепости содержать нелестно, а не выжидая только прибылей себе. Надобно, государь, мысленные очеса на государственные дела устремляти беспорочным и избранным людям к расширению государства от всех краев, и то, государь, дело одного Посольского приказа. Тем и честь, и низость во всех землях. И иных приказов к Посольскому не применяют, и думные дьяки великих государственных



дел с кружечными делами не мешали бы и непригожих речей на Москве с иностранцами не плодили бы».

Дьяки, которым тяжело приходилось от взыскательного нововводителя, естественно, не могли отзываться о нем хорошо, желали от него избавиться и были готовым орудием в руках врагов Нащокина, особенно в его отсутствие. В числе врагов Нащокина указывают на одного из самых близких людей к царю, Богдана Матвеевича Хитрово; указывают и на причину вражды: Нащокин покровительствовал англичанам, Хитрово – голландцам. Уже с дороги Нащокин начал посылать жалобные письма государю: «Товарищи мне на съезд назначены прежние, и для своих нужных дел остались они на Москве. Ныне я свободен от посторонних печалей, только бы товарищи мои насильно из Москвы высланы не были и печалей бы их я не видал. Посольское дело основанием своим имеет совет божий и прежде всего мир между своими, тогда и противные в мир придут; а тебе, великому государю, сиротство мое, как ненавидим от стороны, известно: так по крайней мере не видать бы мне от товарищей своих воздыхания и печалей и свободною мыслию, без переговоров многих служить. Умилосердися, великий государь, не изволь с оскорблением, не по охоте из Москвы товарищей ко мне высылать, чтоб холоп твой от чужих печалей не отбыл твоего дела, которое всему свету годно. Я не на урочное время и не из корысти тебе, великому государю, служу, при вседержителеве чудотворном образе ваше государское пресветлое лице мысленно на всяк час во убогой душе моей и непременно имею: так бы скончать ваше, великого государя, дело неотложно. Как в докладах, так и в челобитье моем обиды своей в корыстях никогда на товарищей своих не извещал. Великие государственные дела оберегать – эта должность в божией и в вашей государской воле: за мое недостойнство отпустить и того на мне не спрашивать. А если за злыми чужими нравами не буду иметь свободной службы, товарищи мои от страха желания своего в совет не приложат, то в таком несогласии не было бы всему государству урона». Польские комиссары замешкались за королевскими выборами, и царь в начале мая прислал Нащокину указ – ехать в Москву. «Мне велено оберегать государственные дела, – отвечал Нащокин, – так после этого на мне не спросили бы? Не знаю, зачем я из посольского стана к Москве поволокусь? В твоей государевой грамоте ничего не написано. Пойду я за Спасовым образом в Смоленск – станут говорить, что посольство отставлено; а на посольском стане в Мигновичах оставить чудотворный образ без твоего указа я не смею. Послов ли мне дожидаться, или на время в Москву ехать, или впрямь быть отставлену от посольских дел? Надобно, чтоб все людские переговоры и разности в твоих делах исчезли». Нащокин подозревал, что тут все действуют козни врагов его, и знатных вельмож, и товарищей по приказу Посольскому, видел, что ему не присылают из приказа нужных бумаг, пишут, чтобы ехал в Москву, а зачем, не объявляют. Всплакался по своему обычаю Афанасий Лаврентьевич: «Отвел бы ты меня, холопа твоего, от посольства, так чтоб уже веки не был. Вот и прошлою зимою обругали меня ни за что во весь свет! Воззри, великий государь, для своего здоровья и для всенародных неисчетных слез и оскорбления всякого в нестроении приказном, омерзелого меня, холопа твоего, вели от дела откинуть, если я тебя прогневал и недостойн в обороне быть. Думным людям никому ненадобен я, ненадобны такие великие государственные дела! Откинуть меня, чтоб не разорилось мною государственное дело! Как в Московском царстве искони, так и

во всех государствах посольские дела ведают люди тайной ближней думы, во всем освидетельствованные разумом и правдою и мзды неприемные. А я, холоп твой, всего пуст и вся дни службы своей плачусь о своем недостойнстве. У такого дела пристойно быть из ближних бояр: и роды великие, и друзей много, во всем пространный промысл иметь и жить умеют; и Посольский приказ ни от кого обруган не будет; отдаю тебе, великому государю крестное целование, за собою держать не смею по недостатку умишка моего». В Москву Нащокина после этого не требовали; но вот пришла беда с другой стороны: грамота из Варшавы от панов радных от 20 апреля. «Отдача Киева, – писали паны, – по Андрусовскому договору назначена нынешнего месяца апреля 15-го числа; но из грамоты царского величества видно, что отдача эта отложена до комиссии о вечном мире. Это Андрусовскому договору очевидное нарушение. Вы, как великих посольских дел сберегатель и владетель, должны стараться, чтобы Андрусовский договор остался не нарушен. Ожидаем удовлетворительного ответа». «На съездах объявится, – отвечал Нащокин, – кто нарушил Андрусовский договор», а в Москву послал сказать, что в Польше и Литве надобно промышлять казною да надобно отпустить пленных мещан, иначе на съездах будут из-за этого большие вычеты и неуступчивость со стороны польских комиссаров. В то же время Нащокин писал, чтобы отослали в Польшу шведскую грамоту, написанную во враждебном для России духе и привезенную польским гонцом в Москву: «Надобно отдать грамоту полякам, чтобы не было из-за нее ссоры; если в Посольском приказе скажут, что грамота нужна для улики шведам, то ведь надобно прежде помириться с поляками, а потом уже ссориться со шведами и уличать их; если Посольский приказ причтет мне в дерзость, что я обнадежил поляков в возвращении этой грамоты, то такой моей дерзости для прославления государева имени и для сдержания правды во всяких делах много». Нащокин угадал, ему прислали из Москвы запросные статьи, и в первой статье говорилось: по какому указу обнадежил поляков, что шведская грамота будет им возвращена? Будучи на Москве, ты говорил при государе и боярах, что грамоту надобно держать крепко на улику шведам, потому что и за большие тысячи такой улики на шведов не купить? «Можно было держать до тех пор, пока не спрашивали, – отвечал Нащокин, – а когда просят, то надобно по дружбе отдать, потому что по дружбе прислали, а улика не уйдет, если грамота будет в руках у союзного друга».

2) Писал, что Дорошенка можно принять, и прислал статьи, но по этим статьям принять отнюдь нельзя; нельзя принимать до тех пор, пока не окончатся переговоры на съезде с комиссарами. Ответ: «В том царского величества воля, а я долг свой отдал; а нынешнее устроенье в крепость вечную о духовном чину учинить, что на свете истинная вера бессмертна; а прием Дорошенков без веры всегда непостоянен, и много Дорошенков. И бог к готовому приступает, а мое письмо по воле ж его святой в доношение посылаю». 3) По его мнению, об удержании Киева надобно делать через наместника Тукальского, но каким образом? Ответ: «В докладных в 21-й статье в приказ Малой России подлинно писано: когда бы милостивый указ из Москвы был послан на челобитье киевских духовных, как в тех статьях изображено, тогда надобно было бы и наместнику наказывать, а теперь уже время прошло». 4) Пусть объявит, что говорил в разговорах в Посольском приказе о приезде нынешнего крымского посла. Ответ: «С крымским послом надобно договориться накрепко, чтоб впредь в общем

съезде на Украине или на Валуйках быть государевым, польским и крымским послам вместе и общим советом мир заключить». 5) Какие докладные письма оставлены им в Тайном и Посольском приказах о Киеве, по тем письмам Киева задержать невозможно; а что он толкует 16-ю статью, та к Киеву нейдет. Ответ: «Доклады оставлены на волю государеву, буди воля божия и государева, а устроенье восточной церкви по склонению духовных по докладам отложено». 6) По какому указу отдал Гизелевы письма Беневскому и для чего? Ответ: «Кто об этом донес, рад с тем стать на очную ставку в таком причете к измене. А что к Гизелю от Беневского слова дошли, то Беневский рад ссорить; если товарищи мои тогда видели и слышали мою измену, а не извещали, и то их правдали? Устроенье за такими ложными изменами отлагается. В таком извете по очной ставке, в чем Московскому государству убыль учинил, рад, пристойно правде, смертью розниться, чтобы мною, ненавидимым, воровство и нерадение в Посольском приказе искоренилось, а делали бы по прежним обычаям, без помешки, как им надобно». 7) Для чего он, едучи из Курляндии к Смоленску, писал между иным делом без указа к панам радным об отдаче Киева по договору в польскую сторону прежде времени, и тем подал повод панам прислать с требованием отдачи Киева, и для чего польского нынешнего гонца у себя задержал, а в Москву не пропустил, зная 20-ю статью Андрусовского договора? Ответ: «Писал к Речи Посполитой, чтоб комиссаров на съезд прислали до срока отдачи Киева, а не забытно это у поляков и без письма моего. Гонца не послал затем, чтобы не было посольским съездам отволоки; все равно с переводом листа в Посольский приказ подлинно писано». 8) О переводе малороссийского духовенства из-под ведомства константинопольского патриарха в ведомство московского говорено патриарху александрийскому, и он хотел писать об этом к константинопольскому патриарху с прошением, только сказал, что без совета всех своих духовных константинопольский патриарх сделать этого не смеет, а он, александрийский, в чужую епархию о том писать и указывать не смеет. Ответ: «Когда по истинным докладным статьям промыслу быть не изволено, то как бог известит великому государю. А мое доношение со мною доукою для того: зачем входить в убытки, держа Киев через срок? а чем держать? – тому был путь. А в съездах для вечного мира без предварительного устроенья не мое сиротское дело отговаривать; совершать это великим послам из ближних бояр, по своему высокому господскому согласию учинят как хотят, переговаривать будет некому, потому что не смеют». 9) Почта для чего не за крестным целованьем? Грамотки распечатывают, а Марселис сказал, что и вперед будет распечатывать: явно, что вести переписывает, в числах не сходится. И в золотых улика есть, что многие присылаются чрез почту, а он не все объявляет. Томас Келдерман не бивал челом, чтоб ему почту держать, и никто у него челобитья не слыхал. Ответ: «Леонтий Марселис сам за себя ответ даст, как принимает, а присягал ли служить правдою – это приказное дело. Если Посольский приказ считает Марселиса мне другом, то по делу ему ненавидиму быть. Так лучше меня изринуть; а те узнают перекупать и без меня, им же милы будут. А мне до смерти одного пути, за помощью божиею, бесстрашно держаться и как богу, так единому помазаннику его служить, сильных не боясь: а сынишку оборона та ж». 10) Государева грамота к нему послана была, чтоб ехал в Москву; приехал крымский посланник для великих дел. Ответ: «Писал я во многих отписках об указе: Спасов образ где поставить? А для чего мне было в Москву

ехать – об этом мне не писали. На посольском стану житье не праздное: великие в Литве всполохи и наславлено про войска московские на ссору; все это сдержано. Чтоб милостивый царского величества указ последовал – откинуть меня от посольства за мои многие неистовые дела, которые тяжко ныне Посольскому приказу слышать. Рад бы я был, чтобы для меня делу божию и государскому не ругались и в иные земли бесчестье Московскому государству проноситься перестало». 11) Мацкеевич за собою никаких дел не сказал, кроме того, что Дорошенка к подданству приводить, а Дорошенок сам об этом пишет и готов в подданство. Ответ: «Зная Мацкеевича, я писал о его верности, а ныне он про меня в приказе и на площади бог знает что слышит; невинная смерть всякому претит, держатся того, где помощь; а я по господе моем ни лисьих язвин, ни птичья гнезда, где подклонить грешную голову, не имею, и не надобно, а ему еще свет, хотя и в бедности, не наскучил». 12) Пишет от себя в Малороссийский приказ о черкасах, что их принимали мимо всякой правды: к чьему лицу он это написал? Кто их принял мимо всякой правды? И что в том приеме правда и что не правда? Ответ: «Милостивому государскому сердцу предать это суду праведному: ни к чьему лицу это не причитано, не мышлено, а самое дело показывает. Хмельницкого прием от турецкого поворочен с польских кровей, другой под Конотопом, так и до нынешнего времени. Или еще то неизвестно: за благословением духовным, от гонения, как они именуют, лядского, в Константинополе и мирские к турку ж, как прежде и Хмельницкий, в подданство пошли, а к святительскому престолу в царство Московское духовного утверждения не донашивали. А ныне от них и есть». 13) Для чего английский и голландский послы теперь к Москве идут? Ответ: «Идут к Москве по шведскому заводу, домогаются в порубежных городах и достать долгами разорить; что их государствам надобно, то посланники и станут вымогать, а слабость Посольского приказа узнали, что им надобно, то и делают по их воле». 14) Для чего шведскому резиденту велено быть в свою землю? Ответ: «Такого ссорщика на Москве по его прошенью оберегал Посольский приказ. Выведав все нестроенье посольское, какая между приказными ненависть и злая вражда и кто в этой вражде силен и в приказе владетелен, – выведав все это, он едет домой, чтоб друзья шведские без него отъездом его наводили всякий страх, чего привыкли на Москве блюстись. Английский посол грозил шведами царству Московскому, а в Посольском приказе ему в том спущено: явная шведу дружба! По этой дружбе и грамота шведская задержана для разрыва с Польшею, а не для улики шведам; и кто шведов станет уличать по закупленным их сторонним страхам, которые на Москве вкоренились? Призрит господь бог, и помазанник его изволит освободить всенародное христианское дело от разрушения, вскоре меня, Афонку, от посольства откинуть, и будет во всем без помешки, и что вновь делано дерзостию, не по прежним московским делам, и то в вечном мире все исправят, все согласно по своим правам учинят; а мертвым сердцем того дела мне вперед делать нельзя, и чему не выучился – взять неоткуда». В Москве напали на Леонтия Марселеса, которого Нащокин употреблял по почтовому делу. Нащокин выставлял заслуги своего любимца и при этом случае не забыл уколоть приказ. «Апреля 9, – писал он царю, – приехал ко мне на посольский стан Леонтий Марселес: ездил он в Вильну, чтоб с тамошним почтарем устроить постоянную государственную почту. Это великое государственное соединительное дело вперед к умножению всякого добра царству Московскому будет. Он же, Леонтий, будучи в

Вильне, сыскал уставы печатные торговые постоянного сбора со всяких товаров пошлин, какие, при таком ближнем соседстве, годны в Москве и во всей Великой России. Эти уставы Леонтий повез в Москву. Там бояре спрашивали гостей о торговых уставах; но гости, зная за собою вину и желая себе помочь, хотят Марселиса от твоей государской милости отогнать, потому что он, служа в сборах таможенных, хотел объявить нерадение голов и с гостями размолвил. Только бы в приказе правдою рассуждено было, неисчетные убытки твоей казне в приказе!» В то время как Ордин-Нащокин перекаривался с подчиненным ему Посольским приказом, в Варшаве был избран новый король – Михаил, князь Вишневецкий, сын знаменитого Иеремии, ведшего такую ожесточенную борьбу с козаками. Ордин-Нащокин из Мигновичей послал весть в Москву об избрании Вишневецкого, но из Москвы к нему ни весточки. В начале июля он обратился к государю: «Иноземцы, наслышась про палату твою государскую, что из Посольского приказа о мне огласная вражда в мир пущена, сомневаются в совершении вечного мира, дивятся, что у такого превысокого государственного дела я, ненавидимый, в палате; а неправда моя не обличена, и от дела посольского не откинут. Ваше государское самодержавие во всем, с сейму на Москве государей не выбирают и обо мне знают, что я вашею государскою милостию взыскан. Шведский резидент, наслышась на Москве, великие тайные ссоры учинит, как и до сих пор делал, и в таких приказных ссорах вечный мир с Польшею заключен быть не может: указных статей, по докладу моему, до сих пор ко мне не присылавано; шведская грамота, которой в Польшу просят, отчего не отдать – неизвестно! Дойдет до съездов, и мне, облихованному и ненавидимому человеченку, с прежнею смелостию твоих государевых дел начать нельзя; прежде, когда товарищ был на посольстве, сам не делал, но в Москве стыдился меня уличать. Опальными и ненавидимыми людьми во всем свете таких бесценных дел о унятии христианской крови не делают. Припомни, великий государь, многие горькие слезы пред лицом твоим государским. Кто богу и тебе неотступно служит, без мирского привода, те гонимы. Явно тебе, великому государю, что я, холоп твой, по твоей государской неисчетной милости, а не по палатному выбору тебе служу и, никаких пожитков тленных не желая, за милость твою государскую неотвратно и бесстрашно, никого сильных не боясь, умираю в правде. Если я избываю своей вины или за нерадение твоей государской службы или над кем хотя видеть твою государскую праведную опалу, то укажи меня, беззаступного, прежде казнить, чтоб иные наказались без заступы так дерзко, как я в делах поступать, и держались бы, кто из палаты к твоим делам по совету выбран будет. Разрушая божию помощь, мучат меня злыми ненавистями, не доискавшись вины, что богу и тебе, великому государю, в моей дерзости противно и всему государству в чем вредно было; уличили бы меня, на какие свои корысти продал я твои государские дела? Потому что корень всему злу – сребролюбие; а к иноземцам меня в поступках дел причитают, то апостол сказал: всем себя поработих да множае приобрящу».

Афанасий Лаврентьевич не пропускал случая уколоть дьяков. Один грек бил челом в Посольский приказ, чтобы отписали в Минск о беспошлинном пропуске оттуда его товаров. Нащокин отвечал, что на это нет никакого права: «Чтобы из Посольского приказа дать грамоту челобитчику, и мимо себя с такою неправдою не пропущу, тут твоему государскому имени от иноземцев была бы укоризна; есть

с чего посольским дьякам нескудным быть и без иноземских дел. Не научились посольские дьяки при договорах на съездах государственные дела в высокой чести иметь, а на Москве живучи, бесстрашно мешают посольские дела в прибылях с четвертными и с кабацкими откупами».

В Москве платили ему тою же монетою и назначили ему в товарищи Ивана Желябужского, человека, не любимого им. Нащокин встретил Желябужского вопросом: «Вперед ты, будучи у посольского дела, помогать мне станешь ли? Объяви заранее, потому что после отсылать тебя от дела будет нехорошо». «Тебе допрашивать меня не указано, – отвечал Желябужский, – польские послы моего имени в грамотах своих не пишут, так я на съезде стану им то выговаривать, а дело посольское стану делать, о чем указ будет прислан». Нащокин послал грамоту в Москву: «По такому, великий государь, несогласию делу божию и твоему разрушение! И на Москве из Посольского приказа злых дел наслушано, и то великое разрушение, а теперь на послов нападут со враждою и с небыличными выговорами».

Желябужский в свое оправдание писал: «Я приехал в Мигновичи 10 июля, и до 20-го числа боярин Афанасий Лаврентьевич со мною о государских делах ничего не говаривал; получит через почту из Польши письма – меня не призывает и знать мне об них не дает, а если и призовет, то ни о каких делах не говорит, только расспрашивает, по какому моему доводу государь присылал к нему стрелецкого голову Лутохина? Для чего я к нему чрез его письмо ехал? Говорит, будто он к великому государю писал, чтобы меня не высылать; говорит, что я ему у государева дела ненадобен, делаю я будто дела проклятые; что мне у посольского дела быть нельзя, потому что с польскими комиссарами стану говорить спорно, а ему, боярину, говорить надобно все с поклонами и с челобитьем, чтобы польских комиссаров ничем не раздосадовать, ходить ему надобно за комиссарами с покорством, потому что за нами есть их добро (Киев), и вперед грозит многими расспросами. А я против его расспросов никакого своего довода не таил, и никого ни в чем не ведаю, и не доваживал, и проклятых дел никаких не держусь, и посольских дел на съездах без противных слов, с поклонами и с хождением за польскими комиссарами с покорством как делать – на столько меня не станет. И теперь мне за боярским письмом на меня к великому государю у дела быть нельзя, чтобы от недружбы боярина Афанасия Лаврентьевича напрасно не пострадать и от великого государя в опале не быть, чтобы мне, бедному, в Мигновичах вконец не погибнуть».

Желябужский был отозван в Москву, прислали и шведскую грамоту. Но Афанасий Лаврентьевич не успокоился, послал к государю новую жалобу на посольских дьяков, обвинял их в явном желании не допустить до вечного мира; жаловался, что когда он был отправлен в Курляндию, то дьяки, удержав у себя посольский наказ, переделывали и прислали к нему с подьячим в дорогу; после его отъезда докладывали государю, писать ли его, Нащокина, царственной большой печати и государственных великих посольских дел оберегателем? «Указу и статей для мирного постановления мне до сих пор не прислано; в Посольском приказе разве то мне в вину поставлено, что неотступно великому государю служу? Если мне Посольский приказ не верит, то этим государственные дела обруганы. В чужие государства меня сберегателем пишут, а у себя в приказе не верят?»

С 25 сентября начались у Нащокина съезды с польскими комиссарами: Яном Гнинским, воеводою хелминским, Николаем Тихановецким, воеводою Мстиславским, Павлом Бростовским, писарем литовским. Нащокин объявил, что для утверждения вечного мира надобно быть посредникам; комиссары говорили, чтобы мириться без посредников, а если дело не сладится, тогда искать способу через посредников. Потом начали говорить, как бы украинские народы успокоить и от турецкого подданства отвратить? Нащокин говорил, что это дело надобно решить прежде всего и для успокоения Украины надобно быть посольским съездам под Киевом или призвать выборных из Украины в Андрусово. «Нет, – возражали комиссары, – надобно прежде заключить вечный мир». «Вечный мир, – отвечал Нащокин, – может быть заключен только на условиях Андрусовского перемирия». «А зачем Киев не отдан в положенный срок?» – спрашивали комиссары. «Затем, – отвечали им, – что вы прислали для его занятия полковника Пиво с немногими людьми; но разве можно было сдать им такую крепость? Это было все равно что сдать ее бусурманам». «Отчего, – спрашивали опять комиссары, – отчего по союзному договору царские войска не соединялись с нашими между Днепром и Днестром?» «Потому, – был ответ, – что не допустили до этого соединения татары и Дорошенко, перешедши на путивльскую сторону, где Дорошенко захватил многие города и теперь держит; королевским войскам следовало помогать нашим на путивльской стороне». «Не могли тогда наши войска помогать, – отвечали комиссары, – потому что в прошедшую войну мы изнурились. Надобно это пустить на волю божию». «Надобно писать в Украину для ее успокоения», – начал опять Нащокин. «Как писать?» – спросили послы. «Писать с обеих сторон к духовным и мирским людям, пусть они или пришлют выборных на нынешние съезды, или какого другого утверждения потребуют». 19 октября письма были отправлены. После этого комиссары опять начали толковать о Киеве. «Нельзя было вам отдать Киев, – отвечал Нащокин, – смута была тогда в Украине». Комиссары стали говорить о вечном мире с возвращением всего приобретенного по Андрусовскому перемирию. «Об этом нечего говорить, – отвечал Нащокин, – Смоленск и строен с нашей стороны, и останется за нами вечно». В этих переговорах протянулось два месяца с лишком. На девятом съезде, 29 ноября, комиссары объявили, что им велено подтвердить договор о соединении войск, договор о вечном мире был отложен, но комиссары упорно стояли, чтобы назначен был срок сдачи Киева. Это упорство затянуло переговоры до 7 марта 1670 года, когда поляки перестали наконец толковать о Киеве. Постановили, чтобы первый Андрусовский договор сохранился во всех статьях, запятых и точках, равно и постановление о союзе против бусурман.

Подробности о дальнейшей судьбе Нащокина нам неизвестны. В январе 1671 года по случаю свадьбы царской боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин упоминается в числе бояр, бывших за великим государем, а в феврале начальником Посольского приказа уже является любимец царский Артамон Сергеевич Матвеев; Нащокин сходит с служебного поприща и постригается под именем Антония в Крыпецком монастыре, в 12 верстах от Пскова. В Дворцовых разрядах сохранилось следующее известие: «Того ж году (1671) в Польшу великие послы: боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин да думный дворянин Ив. Ив. Чаадаев. И Афанасий Нащокин отставлен, а на его место указал государь быть окольному Вас. Сем. Волынскому». Очень может быть, что вследствие этого

назначения Нащокин подал такие докладные статьи, на которые не хотели согласиться, а он иначе не согласился ехать, и это несогласие повело к окончательному удалению Нащокина от дел.

В то время как Посольский приказ переменял своего начальника, сношения с Польшею получали все больше и больше важности по поводу дел турецких.

В августе 1670 года приехал в Москву королевский посланник Иероним Комар. Он требовал, чтобы царь велел двинуться войскам своим в Украину против турок и татар, постоянно грозящих Польше, требовал, чтобы немедленно дана была помощь Белой Церкви, угрожаемой Дорошенком, который разорвал переговоры с польскими комиссарами в Остроге. Ему отвечали: «Если царские войска явятся на Украину, то это только раздражит козаков, особенно Дорошенка, которого это не успокоит, напротив, в движении царских и королевских войск он увидит явное намерение изгубить украинские народы и станет призывать к себе на оборону турецкие войска. Царские войска стоят в Белгородском и Севском полках и оберегают Украину. Обоим великим государям шатостных козаков лучше привести в послушание милостию, а не жесточью».

В декабре 1671 года во дворце великого государя было большое торжество – прием великих и полномочных послов его королевского величества, Яна Гнинского и Павла Бростовского. Воевода хельминский витийствовал в длинной речи пред царем: «Кто здоровым оком и нетемным разумом взвесит дела божия, у которого народы игрищем, вселенная и небеса яблоком, кто изочтет на востоке солнца мидийское, ассирийское и персидское единоначальство, на полдень и запад греческое и римское величие, премудрость, силу и обилие Египта, рай обетованной земли, ее богатства и утешения и потом увидит эти страны в пепле, в крови, без имени, под игом неволи и, что всего хуже, без познания божия, – тот должен признать, что бог взамену всех этих народов возбудил, поставил и укрепил народы, находящиеся под владением королевского и вашего царского величества, дал королевскому величеству от востока и от полудня застундение, утверждающееся на крепком союзе с цесарским величеством и с целым домом австрийским: велики владения их! До Африки и Сицилии расширяются, обнимают Америку, полную златом, и непобедимым скипетром защищают Европу. А ваше царское величество заступает Европу с другой стороны, в пределах владений ваших роятся, растут, разливаются Дон, Двина и Волга. Ты побеждаешь диких наследников Батыя и Темир Аксака и защищаешь Европу, зеницу вселенные; ты стремишься к стране, орошаемой Доном, дабы и там незнаемой части вселенные наложить имя славянское; паче всего услаждаешь неудобства полунощные милосердием правления. Оба народа – польский и русский – бог превечный положил стеною христианства: какой же страшный отчет дать должен пред небом тот, кто дерзнет их ослаблять или делить несогласием или дружбою неискреннею».

Для переговоров с послами назначены были ближний боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий, боярин князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий, думный дворянин Артамон Сергеевич Матвеев. Послы начали жалобой на северских козаков, которые в воеводстве Мстиславском и повете Кричевском заехали земли по реку Сож и мирному постановлению чинят всякие противности. «Об этом уже послано к гетману Демьяну Многогрешному», – отвечали бояре. Потом послы объявили дело поважнее: «С великою жалостию объявляем, что в государстве



королевского величества имеются некоторые противности: гетман Петр Дорошенко изменил, и на Корону Польскую наступают неприятели посторонние; чтобы великий государь изволил учинить помощь своими ратными людьми для успокоения таких противностей, по любви к королю и по утвержденному договору». Бояре: «В прошлом году, как были на съездах с обеих сторон великие и полномочные послы, писали они в Украину к духовенству и к мирским людям, призывая к себе на съезды их выборных, чтобы эти выборные прислушались и увидали, что послы договариваются только об успокоении христианском, а противного ничего украинским городам не чинится. И теперь гетман Демьян Игнатович прислал к великому государю киевского полковника Константина Солонину с товарищами, людей честных и разумных: так вы бы, послы, позволили в ответной палате этим посланцам быть для прислушания к делам, и какие зацепки северские козаки в королевских владениях сделали, посланцы свое оправдание нам объявят сами; пусть посланцы знают, что мы договариваемся о братской дружбе между великими государями, об успокоении обоих государств; а то как прежде при подтверждении в Москве Андрусовского договора из Украины выборных людей не было, то вскоре после гетман Ивашко Брюховецкий, сославшись с королевским гетманом Петром Дорошенком, царскому величеству изменил, и невинной крови пролилось много».

Послы: «При ваших разговорах гетманским посланцам быть непристойно, потому что если какое-нибудь наше объявление покажется им противно, то они станут нам о том выговаривать неучтиво, по своему козацкому украинскому нраву, и это королевскому величеству будет к бесчестью и королевского указа у нас о том нет. Если у гетманских посланцев есть какие дела, то пусть бьют челом в приказе, а вы нам об этом объявите. На Андрусовские съезды украинские выборные не были присланы, значит, милость обоих государей украинские люди преслушали, и к нынешнему договору призывать их не надобно, а приводить непослушных к послушанию и от турецкого подданства отвратить таким способом, как написано в Московском договоре, – войсками с обеих сторон». Бояре: «Бесчестья королевскому величеству не будет никакого, позвольте только им быть для прислушания дел, а в разговоры они вступаться не станут и сидеть не будут, будут стоять, как и другие наши и ваши дворяне; прежде украинские духовные, митрополит и два епископа, при самом короле в Сенате заседали и вольный голос имели. Недавно еще великий гетман коронный Собеский с козаками украинскими договаривался, и в Остроге у Станислава Беневского была комиссия с козаками, и договаривались прямым посольским обычаем: стало быть, дело не новое». Послы: «Украинских народов по совету обоих великих государей призывать ненадобно, потому что украинские люди непостоянны и никогда в правде не стоят. На прошлую комиссию в Андрусово гетман Дорошенко к нам писал, что послал о всем бить челом королевскому величеству на елекцию, а после стал бить челом в подданство царскому величеству. И гетмана Демьяна посланцам при наших разговорах быть опасно: выведав обо всем, станут они писать к гетману Демьяну, а тот станет ссылаться с Дорошенком. При посольских разговорах для научения государственным делам бывают люди ведомые, верные. Гетмана Демьяна Многогрешного называем мы подданным царского величества только в перемирные годы; а как перемирные годы отойдут, тогда можно будет его называть и королевского величества подданным. Прежде киевский митрополит и

двое владык в Сенате место имели по воле королевской, и то дело особое. Только в этих длинных разговорах время проволакивается, а дело не делается; изволил бы великий государь учинить тому разрешение».

Но скорого разрешения трудно было надеяться, потому что впереди стояли важные дела. В январе 1672 года послы объявили, что король мог бы покрыть братскою любовью, что Киев на срок не отдан, если только будет назначен другой срок уступки; потом послы спрашивали: по обязательствам союза какую помощь против бусурман окажет царское величество королевскому? Просили наказать северских козаков, перешедших рубежи воеводства Мстиславского, подававших помощь Дорошенку, неприятелю обеих государств: чтобы жителям римской веры в уступленных по Андрусовскому договору областях дозволено было свободно отправлять свое богослужение, вольно было или принимать в дома свои капланов, или для богомолья выезжать за рубеж; чтобы шляхте из этих областей вольно было переходить в королевскую сторону; жаловались, что пленная шляхта и воинские люди до сих пор еще не освобождены, мощи, образа, утварь костельная, дела воеводства Киевского не отданы, просили, чтобы царь велел отдать Велиж к воеводству Витебскому, а Себеж и Невль – к Полоцкому.

Бояре отвечали, что к гетману Многогрешному послан указ о козацких зацепках, и список с этого указа дан будет послам; надобно было съехаться на рубежах с обеих сторон межевым судьям, но со стороны королевской они не высланы. Из пленных в стороне царского величества никто не задержан, остались те, которые сами захотели остаться; но много пленных задержано в стороне королевской, и послам об этом так досадительно объявлять не довелось, потому что с обеих сторон уже об этом говорено пространно. С польской стороны не только что в титуле царского величества сделаны многие прописки, но и книги напечатаны государю и предкам его на великое бесчестье. Союз нарушен со стороны королевской: когда королевский гетман Дорошенко с татарами воевал на восточной стороне Днепра царские города, то от короля помощи не подано. В Варшаве, в королевском дворце, в той палате, где принимают послов, на своде написано живописным письмом: на одной стороне король с сыном и панами-радою, а на другой – гетман польский гонит московские полки, царь и бояре взяты в плен, связаны, ту историю всем иностранным послам показывают и подлинно, как была победа, рассказывают с насмеханием и с укоризною Московскому государству и российскому народу. Тело царя Василья Ивановича Шуйского уже в Москве, прежнее вспоминать и тем досаждать за таким теперь мирным постановлением не годится, и королевское величество для братской любви велел бы то выобразившие в палате своей снять. Чтоб отклонить бусурманское нашествие, надобно обоим великим государям писать к государям христианским и к султану турецкому, а помочь войском и Киев отдать царскому величеству невозможно, потому что с королевской стороны против Дорошенка и татар помощи не дано: но царское величество не перестанет помогать королю калмыцкими, ногайскими и донскими войсками. Пишут уже теперь и в печатных курантах, что турецкий султан очень печалится: все христианские государи заключили союз и хотят на него войною наступать. В курантах же пишут, что турецкий султан послал было войска свои на Черное море, но как услышал, что русские войска на Черное море против него идти хотят, то велел все свои войска возвратить. После этого объявления бояре дали послам записку о Дорошенке: «К

великому государю пишет гетман Демьян Игнатович, что присылает к нему с той стороны гетман Петр Дорошенко и вся старшина, просят, чтоб царское величество велел принять их под свою высокую руку. потому что в стороне королевской в вере чинится им гонение. И королевское величество позволил бы царскому величеству принять Дорошенка, чтоб иго тем от турецкого подданства отвратить. А если король и Речь Посполитая принять Дорошенка не позволят, то царскому величеству принять его можно и потому, что король в своей грамоте называл его подданным турецкого султана и писал, что он уговаривает к турецкому же подданству и восточную сторону Днепра, а Дорошенко пишет, что он поддался турецкому султану от гонения в вере, и потому по всему царскому величеству принять Дорошенка под свою высокую руку можно. Да и запорожцы просятся в подданство к царскому величеству, а у короля быть не хотят, потому что им никакой заплаты не было».

Послы продолжали требовать, чтоб северские козаки выступили из занятых ими воеводств и разоренная ими шляхта получила вознаграждение, иначе эта шляхта разорвет сейм; требовали, чтобы царь помог войсками королю против турок: царь обязан это сделать, во-первых, потому, что турки собираются воевать Польшу за союз ее с Москвою, а во-вторых, царь должен помочь и потому: когда сосед погорит, то и до другого огонь доберется. В Польше есть приповестка такая: однажды русин звал поляка на помощь против турка, поляк отказал, и русин ему молвил: «Поддавшись турку, приду на Корону войною». Наконец послы не переставали требовать, чтоб назначен был срок возвращению Киева. «Уступим вам Киев, – возражали бояре, – а турок войдет в Украину, и Киев сделается гнездом для турецких войск».

Насчет Дорошенка послы объявили: «Царскому величеству нельзя и не годится принять Дорошенка; хотя бы и принял, то права на Украину от этого не прибудет, потому что и сам Дорошенко права на нее не имеет: как вольно было королевскому величеству поставить его гетманом, так и переменить вольно, когда того заслуживает. Если королевское величество объявляет сам о его измене, то царскому величеству следует помогать на него, а не принимать его. Вера греческая не терпит никакого утеснения и поругания; притеснена она самим Дорошенком, который платит бусурманам за оборону свою душами христианским, все церкви в вечное порабощение предает и ко введению мечетей ворота отворяет. Если царское величество возьмет Дорошенка в защиту, то война турецкая, этим не утишится, но еще больше разгорится, ибо турки увидят, что владения царские приближаются к греческим государствам, находящимся под турецким владычеством». «Если, – говорили бояре, – король позволит царскому величеству принять Дорошенка, то от этого королю и Речи Посполитой против турок будет великая помощь и прибыль». «Какая прибыль?» – спросили послы. «Султан, – отвечали бояре, – испугается, узнав, что Дорошенко подданный царский, а не королевский, подумает, что все соединятся против него, и пристанут к ним волохи, молдаване и другие греческой веры люди. Испугавшись этого, султан не начнет войны, как прежде султан Баязет, узнав о союзе христианских государств, тотчас прислал просить о перемирье к польскому королю Яну Албрехту, как рассказывает хроника Стрыйковского».

Наконец, после долгих споров, согласились на следующих статьях: 1) Оба великие государя обязуются содержать ненарушимо Андрусовские и Московские

постановления безо всякого умаления и противного толкования. 2) Эти трегубые прошлые договоры и настоящее, четвертое постановление государи подтверждают присягою перед св. Евангелием. 3) Трудности, которые явились при исполнении некоторых статей, например насчет Киева и вспоможения войсками друг другу, уладить на комиссии, имеющей быть в июне 1674 года. 4) В случае наступления турецкого султана на Польшу царь помогает королю войсками калмыцкими, ногайскими и другими ордами сухим путем и донскими козаками морем, также пошлет указ на Запорожье, чтобы тамошние козаки выходили как можно скорее в море в возможно большей силе чайками. 5) Царь пошлет к султану и хану грамоты, отговаривая их от войны с Польшею. 6) Царь запретит северским козакам давать помощь бусурманам или Дорошенку. 7) Царь позволяет шляхте, оставшейся в Смоленщине, Стародубщине и других местах, от Литвы присоединенных, возвратиться в сторону королевскую с женами, детьми и имуществом. 8) Римской веры людям, в стороне царского величества оставшимся, позволяется для богослужения ездить за границу в ближние костелы; а русским людям, в стороне королевской пребывающим, вольное употребление веры греческой. 9) Мещане и купцы, остававшиеся до сих пор в Московском государстве, по заплате своих долгов отпускаются в сторону королевскую, кроме тех, которые сами захотят остаться; о тех же мещанах, которые живут в боярских и других людей дворах, будет решено на будущей комиссии. 10) Возвращаются части св. древа, взятого в Люблине, сколько можно было собрать; возвращаются мощи св. Калистрата, золото, серебро, утварь и колокола кафедры смоленской, сколько можно найти. Царское величество разошлет указы отыскивать всякие книги, дела, образа, церковные утвари и украшения и, что найдется, возвратит королевскому величеству. 11) Северским козакам приказано будет очистить занятые ими места в воеводстве Мстиславском, поветах Речицком и Мозырском, но без вознаграждения убытков. 12) Назначаются по два порубежных судьи в каждом воеводстве, повете и уезде.

В исполнение пятой статьи договора в апреле 1672 года толмач Даудов и подьячий Венюков отправились к султану Магомету IV с царскою грамотою. Государь писал, чтобы Магомет удержался от войны с Польшею и хану запретил ходить на короля; в противном случае он, как государь христианский, обославшись со всеми окрестными государями христианскими, станет против турок промысл чинить, пошлет к донским козакам указ, чтоб шли на Черное море, сухим путем пошлет калмыков, ногаев и едисанских татар, кроме того, подвигнет соседних государей христианских и шаха персидского. Вместо султана отвечал великий визирь, упрекал за неприличные слова, недостойные государей, и оканчивал грамоту так: «Будете друзья или недруги нам, в какой путь ни пойдете, с нашей стороны то же самое увидите». Возвратясь, Даудов рассказывал: «В Молдавии и Валахии жители говорят: если христиане хотя малую победу одержат, то и мы сейчас же станем промышленять над турками». Но зато рассказал и другое: астраханские и казанские татары и башкирцы приходили к султану с просьбою, чтобы он их всех с Астраханским и Казанским царством принял в подданство, жаловались, будто московские народы, ненавидя их бусурманскую веру, многих из них бьют до смерти и разоряют беспрестанно. Султан отвечал, чтобы потерпели немного, и пожаловал их кафтанами.

Гроза собиралась на юге, начавшиеся было мирные соглашения с Крымом были порваны. 29 апреля 1671 года пленного боярина Василья Борисовича Шереметева, позвали к хану на отпуск и велели ему поклониться Адиль-Гирею в землю. Хан велел надеть на боярина шубу соболью да кафтан золотный, а когда Шереметев вышел из палаты, то ему подвели аргамака со всем конским убором; потом хан прислал ему два кафтана – атласный и суконный, шапку и штаны суконные, прислал рыдван со всем нарядом и шесть возников. Шереметев выехал из Бахчисарая к Перекопу. Но судьба хотела жестоко насмеяться над несчастным стариком: приехал из Константинополя чауш с султанскою грамотою – велено хана Адиль-Гирея переменить. Новый хан, Салим-Гирей, прислал приказ – не отпускать Шереметева; боярина поворотили назад, из Перекопа в Бахчисарай, и заковали в кандалы вместе с молодым князем Андреем Ромодановским и другими знатными пленниками. Когда приехал новый хан, то с Шереметева кандалы сняли и началась торговля: боярину объявили, что Салим-Гирей хочет быть с великим государем в дружбе и любви, только бы прислал казну за все годы царствования Адиль-Гиреева, потому что в эти годы хан войною не ходил на Москву. Боярин отказал, что такого великого дела перенимать на себя он не может. Обратились к Ромодановскому, запросили с него 80000 ефимков да пленных татар 60 человек. «Больше 10000 рублей за меня не дадут», – отвечал Ромодановский. «Как не дадут? – говорили татары. – Отец твой боярин и владеет всею Украиною, хотя с шапкою пойдет, то сберет с Украины больше 100000». «Хотя бы хан велел меня замучить, но больше 10000 не будет», – покончил Ромодановский. Государь, узнавши, что пленники опять задержаны, послал Шереметеву 200 золотых червонных, а другим знатным пленникам – Ромодановскому, Скуратову и Толстому – по 50.

«Ближние люди новые, – уведомлял Шереметев царя, – во нравах своих злые и ко мне недобрые, не такие добронравные, как прежние, что были при Адиль-Гирее хане. Князя Андрея и всех твоих знатных людей без окупа на размену хан не отпускает, прежний договор с Адиль-Гиреем ставят ни во что, кричат, что по их старому обыкновению и вольностям хан не волен отбирать у них ясырь, то им дано за службу, за кровь и за смерть, кто что возьмет на войне, тем они и живут. Твоему, великого государя, делу замедленье многое учинилось, а моему отпуску помешка большая от твоих людей, которые в полону у лучших и черных татар, научились они татарскому языку и наговаривают татар, что если я буду отпущен, то после ни размены, ни окупов за них не будет; сказан им твой государев указ, что окупов за них никаких не будет, и потому они думают, что пропадут в Крыму. У тебя, великого государя, милости прошу я, холоп твой убогий и беспомощный, давний пленник и нужетерпец: умиლოსердись, государь праведный, укажи розыскать такую неправду. А дума бусурманская похожа была на раду козацкую: на что хан и ближние люди приговорят, а черные юртовые люди не захотят, и то дело никакими мерами сделано не будет. Посланники твои твердят хану и ближним людям, чтобы по договору с Адиль-Гиреем пленники были отпущены на размену без окупа, но те же посланники, уезжая из Крыма, берут с собою много пленников на окуп. От этого черные люди и не хотят размены: нам, говорят, в размене прибыли нет, только прибыль одному хану; прибыльнее нам пленников отпускать с посланниками и брать на них окуп на Москве. Умиლოსердись, государь праведный, не дай напрасною смертью умереть, и в

нечестивой стороне тело грешное собакам и зверям поесть, и костей убогих врознь разносить; укажи, государь, быть розмене на Донце». Но розмены на Донце не было, и пленники по-прежнему оставались в Крыму.

Скоро число их увеличилось вследствие войны турецко-татарской. Но прежде чем приступим к ее описанию, обратимся к Малороссии, которая уже успела переменить гетмана.

## Глава вторая

### Продолжение царствования Алексея Михайловича

*Беспокойства относительно Малороссии. – Письма Барановича в Москву. – Новый соперник Дорошенку – Ханенко. – Баранович хлопочет о ненарушении Глуховских статей. – Непрочность Многогрешного в Малороссии. – Торжество Дорошенка. – Происки Тукальского. – Константинопольский патриарх выдает проклятие на Многогрешного. – Притязания Барановича. – Царский ответ малороссийским посланным. – Посольство из Москвы к константинопольскому патриарху для снятия проклятия с Многогрешного. – Представления Дорошенка. – Война на западной стороне Днепра. – Неудовольствия Многогрешного. – Посольства к нему из Москвы. – Доносы старшины на гетмана. – Многогрешный схвачен и привезен в Москву. – Обвинения, на него поданные. – Допрос и ссылка Многогрешного. – Ссылка Серка. – Рада в Козачьей Дуброве. – Избрание Самойловича в гетманы. – Похождения ложного пророка Вдовиченка в Запорожье.*

Успешным окончанием Глуховской рады беспокойства московского правительства насчет Малороссии далеко не прекращались: новый гетман дал знать в Москву, что 1 июля 1669 года Суховей с запорожцами и с крымским султаном Нурадином пришел под Канев и стал на Расаве, с ним запорожцев 3000 да татар 100000, полки Уманский, Корсунский и Кальницкий поддались Суховею, отстав от Дорошенка; что Дорошенко с митрополитом Тукальским упросил Юрия Хмельницкого оставить монашество: они хотят сделать его гетманом; только в таком случае Дорошенко надеется сохранить жизнь, потому что если выберут в гетманы Суховея, то ему не быть живу: Суховей отомстит ему за потопление своих людей под Переволочною. 6 июля пришел в Канев и Дорошенко и разослал универсалы, приглашая полковников на раду на Расаву.

В сентябре явился в Москву посланец от Лазаря Барановича и уведомил, что гетман в Смелой, между Путивлем и Ромнами, при нем царские войска, нежинской пехоты 300 человек да козацкие полки: Нежинский, Черниговский, Переяславский, Прилуцкий, Стародубский, при нем и Мурашка; к Смелой пошел гетман против Гамалеи и орды, потому что в Малороссии села и деревни жгут, людей побивают и в плен татарам отдают; с Гамалеєю три полка – Миргородский, Полтавский, Лубенский, да при нем же 3000 татар: гетман черкас и татар многих побил; но, с другой стороны, Дорошенко собирается многим собраньем, и орда пришла к нему многая, пришли турки, волохи и молдоване. Баранович писал государю: «Многочастно и многообразно писал я к вашему царскому величеству о

помощи ратными людьми, да не буду бессуден, потому что гетман Демьян Игнатович утруждает меня грамотами и сам в Чернигове, когда провожали святейшего папу и патриарха Паисия александрийского, говорил: „Мы, святыни твоей послушавшись, целовали крест царскому величеству в надежде, что к нам ратные люди будут на помощь. Теперь на нас орда наступает, а помощи нет: наше поправление ордам врата отверзет и в великороссийские города“. Смилуйся, государь, прикажи боярину своему, князю Григорью Григорьевичу Ромодановскому, спешить на помощь Украине, а гетман уже пошел из Батурина». Сильнее писал Баранович к Матвееву: «Государь указал князю Григорью Григорьевичу Ромодановскому стоять в Севске, но от этого гетману и Украине какая помощь, когда под боком у этих войск бусурманы с козаками обеих сторон бедную Украину, как хотят, пустошат, над гетманом Демьяном Игнатовичем и надо мною насмежаются. Если бы сначала, вскоре после статей Глуховских, как я твоему благородию советовал и к царскому величеству писал, силы государевы наступили, то давно бы уже Украина успокоилась; и теперь еще не так трудно это сделать, если скорая помощь к гетману придет, потому что гетман – человек рыцарский, знает, как дело сделать, только было бы с чем». Баранович просил также царя и Матвеева и о своем деле, чтобы книга его «Трубы» была напечатана в Москве, «чтобы мог вскоре типом в царствующем граде Москве вострубить». «По нашему великому государя указу, – отвечал царь, – велено боярину князю Ромодановскому идти немедленно в малороссийские города и велено перед собою послать помощь к гетману 500 человек конных и пеших людей: книги „Трубы“ отданы в свидетельство, и как из свидетельства выйдут, то наш указ о них будет».

Архиепископ напрасно так беспокоился. Дорошенко, занятый у себя усобицею, не мог быть очень страшен для восточной стороны. В Запорожье явился ему новый соперник, Ханенко, которого польское правительство провозгласило гетманом западной стороны, где он и утвердился в Умани и некоторых других местах. Суховой начал помогать Ханенку. Юрий Хмельницкий, скинувши монашескую рясу, соединился с ними. Ханенко писал Многогрешному, чтобы помогал ему на общего неприятеля, Дорошенка. Но из Москвы Демьяну Игнатовичу дали знать, чтобы не вмешивался в эту усобицу. «Указ вашего царского величества исполнять готов, – отвечал Многогрешный, – понеже между собой раздор учинили, пусть сами и расправятся». Гетман понял мысль царя и успокоился. Но Лазарь Баранович, теперь, по удалении Мефодия, единственный архиерей на восточной стороне, считал своею обязанностию заботиться об интересах Малороссии, не допускать нарушения Глуховских статей. В конце года приехал от него в Москву игумен Иеремия с жалобами: 1) В Глуховских статьях постановлено, что по первому или второму прошению гетмана государевы войска явятся на защиту Украины: теперь все лето гетман просил войска – и не обрел милости, отчего великая поднялась молва в людях. 2) В Глуховских статьях постановлено отпустить всех узников, засланных в Москву Брюховецким, также всех козаков, взятых на бою, и деревенских крестьян: теперь многие малороссияне ходили в Великую Россию отыскивать своих родственников и возвратились ни с чем. 3) Вопреки Глуховским статьям взятые воеводами войсковые и городские пушки до сих пор не отданы, что нелюбо козакам. 4) Не отданы церковные утвари и сосуды. 5) В Глухове постановлено, что без козацких послов комиссия с поляками не будет отправляться; а теперь комиссия не только

отправлялась без козацких послов, но и, как видно из комиссарских писем к Дорошенко, совершенно, отчего встала большая смута. Архиепископ бьет челом: если еще комиссия не окончилась, то чтобы государь велел отправить на нее послов гетманских, да утолится жителей украинских малодушие. 6) Полномочные комиссары восточным берегом Днепра отправили посланников к западному гетману Дорошенко, не давши знать об этом гетману восточному, чем возбудили в нем гнев. 7) Посланники эти комиссарские произвели большую смуту тем, что листами своими приглашали малороссиян обеих сторон Днепра высылать на сейм знатных людей духовного и мирского чина с челобитными к королю о своих надобностях: малороссияне стали опасаться, чтобы их на комиссии королю не отдали. Царь отвечал Барановичу: «Тебе бы раденье свое показать, гетмана и все Войско утверждать, чтобы они на нашу милость были надежны: никто их, за милосердием Божиим, из-под нашей высокой руки восхитить не может. Ты пишешь про Глуховские статьи, что без посланников козацких комиссиям не отправляться; хотя и так в Глуховских статьях постановлено, однако тому время не дошло; а в 17-й статье написано: если у нас, великого государя с королевским величеством или ханом крымским, на комиссиях будет вспомин о Войске Запорожском, то в то время быть козацким послам; когда такие разговоры начнутся, тогда гетманские посланцы и будут позваны. Ты пишешь, что комиссарские посланцы призывали малороссиян на сейм к королю, но в листе боярина Ордина-Нащокина написано: призывает из Украины духовного и мирского чина людей для истинной ведомости и рассуждения духовного об устройении вечном, призывает к себе на комиссию и Дорошенка, отводя от бусурманского совета; о посылке же к королю на сейм в листе не написано. Заточники и пленные, которые сысканы, отосланы к гетману, и кто именно, о том к тебе послана роспись; о пушках воеводы нам писали, что они отдали их гетману по Глуховским статьям, и что отдано, послана к тебе роспись».

Весною 1670 года поехал в Малороссию подьячий Михайла Савин искать мастера виноградного строенья, также мастера, который бы умел сажать дули, груши, сливы, орехи киевские, пасечника для пчел. 17 апреля в Батурине Савин был на обеде у гетмана, к которому съехались полковники всех городов восточной стороны поздравлять с праздником, Светлым Христовым воскресением; не было только полковников полтавского и миргородского. За обедом Многогрешный начал говорить полковникам: «Слышу я, что козаки всех городов меня мало любят; если и вправду так, то вы бы били челом великому государю об избрании другого гетмана, я клейноты войсковые уступлю тому, кого вы выберете. А пока я буду гетманом, своевольников усмирять не перестану, сколько во мне мочи будет, на том я великому государю присягал; не так бы, как Ивашка Брюховецкий: как Иуда Христа предал, так он великому государю изменил; а я обещался за великого государя умереть, чтобы после меня роду моему слава была. А сколько своевольникам ни крутиться, кроме великого государя деться им негде». Тут переяславский полковник Дмитряшка Райча ударился об стол и начал говорить со слезами: «Полно нам уже тех гетманов обирать и за теми гетманами крови христианской литься; будем себе только одного великого государя иметь неотступно, а своевольников укрощать».

На другой день, 18-го числа, у гетмана с полковниками и старшиною была рада, потому что год без войны не пройдет: полковники все присягали, целовали



государево знамя на том, чтобы им ни на какие неприятельские прелести не склоняться и против неприятелей стоять упорно и гетмана во всем слушаться. Савину сказывали, что полтавский и миргородский полковники гетману не послушны: Дорошенко к ним пишет с угрозами, чтобы гетмана Демьяна не слушались, а гетман Демьян к ним пишет, чтоб на Дорошенковы прелести не склонялись; а полтавцы и миргородцы, запершись в городах, ни того ни другого не слушаются. Не очень хорошо говорили Савину и о других полковниках: с гетманом Демьяном великому государю верно служат и прямым сердцем поступают полковники переяславский Дмитрияшка да стародубский Рословченко, а других украинских городов полковники так и смяк.

Непрочно, но этим вестям, было положение гетмана в Малороссии, а тут еще сам гетман прислал дурные вести о Запорожье. В июле 1670 года Многогрешный прислал грамоту Матвееву, «благодетелю и приятелю своему милостивому»; гетман жаловался, что Ханенко и запорожцы отправили послов своих к великому государю, в грамоте, писанной к нему, Демьяну, не назвали его гетманом. «Они хотят бить государю челом, – писал Многогрешный, – чтобы позволено было выбирать гетмана в Запорогах, а не в городах; но если бы царское величество это позволил, то на Украине вновь встало бы смятение, ибо запорожцы привыкли людей разгонять». Но Москве в это время было не до поставления в Запорогах гетмана: Разин поднимал восточное козачество. В сентябре опять приехал в Батурин к Многогрешному подьячий Савин с царскою грамотою: царь приказывал гетману выбрать пять или шесть сот козаков и отправить их в полк к князю Ромодановскому против Разина. Гетман отвечал: «По государеву указу велел я в разные города универсалы разослать, чтобы войско козацкое собиралось в Глухов; велел я собрать войска тысячу человек, начальником у него будет генеральный есаул Матвей Гвинтовка; я приказал ему идти в полк к князю Гр. Гр. Ромодановскому. Ко мне пришли вести из Лубен и Миргорода, что хан крымский с большим войском вышел и хочет воевать на той стороне Днепра Дорошенка и польские города: а Юраска Хмельницкий с калгою салтаном идет на эту сторону, и войска при нем с 60000, хочет хан крымский Юраску сделать гетманом на обеих сторонах Днепра. Из Запорог писали козаки к Стеньке Разину, будто я, гетман, у великого государя не в подданстве, чтобы Стенька шел на государевы понизовые города безопасно, меня не боясь. А если бы у меня таких вестей про татарский приход не было, то я бы, по указу великого государя, послал войска своего с 10000 человек. Великий государь пожаловал бы меня, велел в Севске быть пехоте, солдатским полкам или стрелецким приказам двум или четырем тысячам, потому что чаю я от своих людей шатости; Юраска Хмельницкий идет с ордою на сю сторону, а меня мало любят, потому что на их руку и к злой мысли мало поступаю, унимаю их от всякой шатости; а что при мне голова московских стрельцов с приказом, то его в поход с собою брать не буду, потому что он будет дом мой оберегать».

В то же время были в Москве посланцы Барановича и Многогрешного, наш старый знакомый протопоп Семен Адамович и сотник Василий Семенов; гетман извещал чрез них великому государю, что в малороссийских жителях начала быть шатость: как были у царских послов с королевскими комиссарами съезды, то будто постановили Киев и все города этой стороны отдать полякам; на съездах был стародубовского полковника Рославченка брат Иван, и он-то сказывал

гетману про все посольские постановления; гетман и старшина от этого в великом сомнении, особенно оттого, что посланцы их на съезде не были. Если бы в нынешнем или в будущие годы с обеих сторон Днепра и запорожцы начали бить челом великому государю, чтобы собрать черневую раду, то великий государь гетмана пожаловал бы, черневой рады созывать не велел, чтобы между ними не учинилось междоусобия и кровопролития, как при Вреховецком. Если Дорошенку от неприятелей его, Ханенка и Суховея, учинится утеснение и побежит он в Киев или иные города этой стороны Днепра или в слободы на Украйну, то великий государь не велел бы его принимать, чтобы не встало между ними междоусобие. Если Дорошенко, Ханенко, Суховея или сумский полковник и другой кто-нибудь станут писать к царскому величеству на него, гетмана, о какой неверности, то чтобы великий государь не изволил тому верить. Если на этой стороне ему, гетману, объявится противник, то великий государь велел бы его, гетмана, своими ратями оборонить и в изнеможении позволил бы ему в великороссийские города с домом своим приехать, а когда приедет, чтобы воеводы или приказные люди неприятелям его не отдали. Великий государь велел бы его, гетмана, обнадежить, что Киев и города восточной стороны не будут никогда уступлены королю.

Многогрешный думал, что Суховея и Ханенко заставят бежать Дорошенку; но вышло противное: Дорошенко поразил Суховея, Ханенка и Хмельницкого, взял последнего в плен и отослал к султану. Сперва Хмельниченко сидел в Семибашенном замке, но потом султан велел освободить его, пожаловал кормом и двором. Торжествующий Дорошенко тем опаснее был для Многогрешного; но к усобице между гетманами присоединилась еще усобица между архиереями: Иосиф Тукальский не переставал хлопотать о подчинении себе Киева и всей Малороссии, а так как политическое разделение Малороссии на две части под двумя гетманами производило и разделение церковное, то Иосиф враждовал к восточному гетману не менее Дорошенка. Но если на западной стороне подле Дорошенка находился претендент на митрополию, то на восточной, подле Многогрешного, находился также архиерей, который, как мы видели, домогался первенства даже и в том случае, если бы Киев отошел к Польше. Лазарь Баранович заступился за себя и за своего приятеля Демьяна Игнатовича и написал государю: «Преосвященный Иосиф Тукальский, митрополит киевский, домогается у Демьяна Игнатовича, чтобы духовенство восточной стороны находилось в его послушании и повинности. Я отписал ему, что Демьян Игнатович без ведома, воли и указа вашего царского величества ему этого позволить не может. Что ж случилось? Пои романовский (Роман Ракушка), который перед тем в Нежине был козаком, зашедши на ту сторону Днепра, поехал от митрополита Тукальского в послах к св. Мефодию, патриарху константинопольскому, и хитростию выправил на гетмана Демьяна Игнатовича неблагословенный лист, чтобы, его этим неблагословением застрашавши и мир в обиду подавши, смуту на сей стороне Украйны учинить. Хотя гетман вашего царского величества и не находится под зависимость константинопольского престола, однако нельзя же не обращать внимания на имя и власть вселенского патриарха. Демьян Игнатович удивляется вместе со мною так неосторожно выданному патриархом неблагословению, что не может не оскорбить и ваш пресветлый престол, потому что Демьян Игнатович вашего войска гетман. Он бьет челом, чтобы ваше царское величество

ходатайствовало пред патриархом константинопольским о благословении ему и чтобы вперед патриарх так неосторожно клятвенных листов не выдавал. Дстойнее клятвы тот, кто ее обманом у св. патриарха выправил и вашего царского величества престол укорить дерзнул: в этой патриаршей неблагословенной грамоте Демьян Игнатович и гетманом не назван, назван простым именем – Демком Игнатенком: мало ли есть Демков Игнатенков, но гетман один – Демьян Игнатович. Митрополит Тукальский хочет завладеть духовенством восточной стороны Днепра; но здесь духовенство и мирские люди все хотят быть под моею паствою: я отдаю это дело на вашего царского величества высокое рассмотрение – ведать ли мне все духовенство на сей стороне Днепра, как гетман ведает мирского чина людей? Потому что трудно духовенству, пребывающему на вашей царского величества стороне, переезжать к митрополиту на другую, королевскую сторону; в этом разделении могло бы что-нибудь и недоброе возрасти. Митрополит киевский хотя и всей России пастырь и ексарх константинопольский, однако не всегда священников этой стороны имел в своей пастве, но всякий находился в послушании у своего особого пастыря: черниговские – черниговского архиепископа, переяславские – переяславского епископа знали: митрополит же киевский, от древних веков в Киеве на своем сидя месте у св. Софии, только одною тою стороною Днепра довольствовался и теперь, на той стороне Днепра пребывая, довольствоваться тамошним духовным чином может. О Киеве и прежде многократно и многообразно писал я к вашему царскому величеству, и теперь повторяю, ибо слух здесь прошел, что он на комиссии уступлен ляхам и последнего числа ноября нынешнего года будет отдан, о чем все православные киевские обители плачут, и весь православный малороссийский народ в смятении. Ей премилосердый, православный царю! пожалей крови своей и искони вечного отечества, потому что сущая-то вашего царского величества кровь – оные правоверные великие князья и цари киевские: не отпускай же своего присвоения и венца царского, того святого великого града Киева, от своей государственной руки правоверной в иноверную, в вечное поношение и жалость всему православному христианскому народу. Смею припомнить и о государственном слове (понеже слово делом закоснело) насчет напечатания трудов моих. „Трубами“ названных: смиренно бью челом, чтобы ваше царское пресветлое величество слово свое делом совершить изволил, потому что книги уже исправлены, св. Иоасафом-патриархом благословены». Протопоп Семен подал и лист патриаршеский с проклятием на Многогрешного: «Мефодий, божиею милостию архиепископ Нового Рима, великий патриарх. Честный отец Роман, протопоп брянславский, известил нас, что во время войны и смятения меж людьми Демко Игнатенко овладел домом одного иерея и пограбил имение его: четыреста осмачек хлеба, шесть котлов великих, четыре коня, полтора свиней, две сабли оправных позолоченых, пятьсот золотых денег, а самого его изгнал. Если Демка Игнатенко отдаст протопопу все, что взял, в целости, без отговорок, по доброй воле, то будет благословен; а если не захочет отдать, то да будет отлучен от бога, проклят и не прощен, мертвый да не рассыплется никогда до уреченного суда; камни, дрова, железо да истлеют и рассыплются, и земля рассыдется, он же никогда. И пожрет его земля, яко Дафона и Авирона; гроза божия верху главы его; имение его и труды да будут прокляты и да не узрит счастья никогда; имение его ветром да пойдет, напоследок же и сам да обратится ни в что; да познает сам, яко не с ним

бог, и св. ангел божий на страшном суде не при нем, отлучен от церкви Христовой, чтобы его к церкви никто не припускал и дабы его не благословил и не кадил, дара божия не давал и у трапезы никто с ним не ел и не пил и не сидел с ним и не прощался с ним и здоровья не сказывал, и когда умрет, чтобы его тело никто не хоронил под тяжкою нашею клятвою архипастырскою и отлучением от церкви того иерея, который его похоронит; будет на нем проклятие св. 318 богоносных отцов Никейского собора, доколе не отдаст всех вещей, взятых у отца господина Романа».

13 июля протопоп и сотник видели очи великого государя, были у него у руки на крыльце перед передними сенями, и по первой. статье, о Киеве, сам государь объявил посланным: хотя в Андрусовских статьях и упомянуто было об отдаче Киева, но так как поляки нарушили некоторые условия, потому теперь он и в помышлении не имеет Киева королю отдавать; на нынешней комиссии полномочные послы королевским комиссарам и слова не дали говорить об отдаче Киева, восточной же стороны Днепра и сами поляки не домогались. Подлинного постановления о вечном мире не учинено, а если бы договор состоялся, то немедленно дано было бы знать гетману, чтобы присылал своих людей на комиссию по статьям Глуховским. На вторую статью, о раде, был ответ: великий государь черневой раде, хотя бы от кого и челобитье пришло, быть не изволит, да и быть раде не для чего: бывает черневая рада для гетманского выбора, когда гетман умрет или гетманом быть не велят. Дорошенка государь никуда пускать и принимать не велел. Государь знает верную службу гетмана Демьяна Игнатовича и, если кто-нибудь станет на него писать, верить не изволит, в нужде воеводы его в царские города примут и неприятелям не выдадут. Барановичу был ответ, что государь тотчас же велел начать печатание «Труб», к несчастью, бумаги нет, придет из-за моря не ранее 1 сентября. Царь обещал послать надежного грека к патриарху константинопольскому по делу о проклятии гетманском. Наконец, Киевская область и Малороссия по сю сторону Днепра отдана в паству Барановичу. Протопоп Семен писал гетману из Москвы: «Царское величество неизреченную милость к вельможности твоей являет, не потребно нимало о милости его сомневаться. К тому же и ходатай скорый и приятный господин Артемон Сергеевич (Матвеев); он к вельможности твоей совершенную любовь имеет, а это лучше всего, о Войске Запорожском и о всей стороне Малороссийской беспрестанно у царского престола, как мать о чадах, убивается; сказал нам: „Пока жив, не переменяю“. Замедлились мы здесь за благим советом Артемона Сергеевича, который хотел, чтобы мы были при отпуске низовых козаков запорожских; не стыдился его милость Артемон Сергеевич, именем царским выговорил запорожцам: для чего Ханенко гетманом пишется и для чего вельможность твою северским, а не настоящим гетманом почитают? Запорожцы дали слово быть под твоим послушанием».

Для ходатайства пред византийским патриархом о снятии проклятия с Многогрешного отправился в Константинополь переводчик Христофоров и привез оттуда любопытные известия, показывающие, в каком затруднительном положении находился патриарх вследствие подданства Дорошенкова султану. В Яссах царский посланец встретился с знаменитым Тетерею, который ехал к султану; на вопрос Христофорова, что это значит, Тетеря отвечал, что в Польше чести ему никакой не оказали. Приехавши в Царьград, Христофоров представился

патриарху и подал ему царскую грамоту, в которой Алексей Михайлович просил снять проклятие с гетмана Многогрешного. «О чем ко мне великий государь пишет, – отвечал патриарх, – того я не упомяну, справлюсь в своих записных книгах и завтра тебе ответ дам». На другой день Христофоров отправился за ответом, «Приискал я дело, – сказал ему патриарх, – сделалось оно поневоле, таким образом: не стало в Польском королевстве, в городе Львове, православного епископа; один латинец, именем Симеон, пожелал львовского архиерейского престола и бил челом волошскому господарю, чтобы писал об нем ко мне. Господарь ко мне написал, но я ему отказал, что без ведома всех православных львовских жителей в епископы поставить мне никого нельзя. Тогда этот латинец нашел в Волошской земле двоих запрещенных митрополитов, которые и посвятили его в епископы в городе Сочаве и отпустили во Львов, но львовские православные на престол его не пустили и выбрали набожного и доброго человека, инока Иосифа, ко мне его прислали, и я поставил его к ним в епископы. Но латинец Симеон бил челом Дорошенку и Тукальскому, чтобы они об нем писали ко мне, и они написали, что Симеон этот человек добрый, ученый и христианин православный. С грамотами их приехал ко мне браславский протопоп Романовский. Я отвечал, что уже епископ поставлен во Львов, а Симеона посвящал неведомо кто. Тогда Романовский поехал к султану, и я получил грамоту от каймакама Мустафы паши, что султан приказывает мне исполнить то, о чем писал Дорошенко. Я не послушался, но Романовский поехал в другой раз к султану и привел мне грамоту уже от самого султана, чтобы я сейчас же исполнил Дорошкову просьбу. Тут делать мне было нечего: отставил я епископа Иосифа и благословил Симеона. В это же время протопоп Романовский бил мне челом, что во время войны Демьян Игнатович пограбил у него имение и до сих пор им владеет и чтобы я, патриарх, предал за это Демьяна проклятию, а того мне не сказал, что Демьян – гетман и царского величества подданный. Я, посоветовавшись со всем собором, дал Романовскому на Демьяна проклятую грамоту, в которой написано: если действительно так, как доносил Романовский, то анафема».

«Учини, святейший патриарх, по прошенью царского величества, – начал Христофоров, – изволь дать прощальную грамоту гетману Демьяну Игнатовичу и с тем отпусти меня к царскому величеству». «Никак мне этого сделать нельзя, – отвечал патриарх, – если бы от этого мне одному приключилась беда, то я принял бы с радостью, но опасуюсь, чтоб не нанести беды всему христианству; пошлю я к Демьяну Игнатовичу прощальную грамоту, а он станет этим хвалиться, узнает Дорошенко, тотчас отпишет к султану, и будет от этого великое кровопролитие».

«Опасаться тебе этого нечего, – возражал Христофоров, – прощальную грамоту отвезу я к царскому величеству, и царское величество изволит отослать ее к гетману и прикажет, чтобы держал ее при себе, для души своей, а хвалиться ему пред народом не для чего». «Вот посмотри, – отвечал патриарх, – какую сочинили ложную грамоту, будто я писал ее к великому государю. Грамота объявилась у визиря; визирь призывал меня и хотел было погубить, да, спасибо, оправдали меня добрые люди; однако дело стоило мне с пятьсот мешков». Наконец патриарх дал грамоту.

В Константинополе патриарх боялся Дорошенки, как присяжника султана; а в Чигирине Дорошенко уверял греческого архиерея в своей преданности

православному монарху. Весною 1671 года заехал к нему греческий архиерей Манассия, отправлявшийся в Москву, и Дорошенко начал ему говорить: «Писать я к царскому величеству не смею, донеси великому государю, что мы ради ему служить, от польского насилия принуждены мы на время поддаться агарянину. Чтобы великий государь для святой восточной церкви принял нас под свою руку, держал бы нас, как держит наших братьев той стороны; а если не захочет принять, то помирил бы нас с польским королем, В 68 году приходил я в царские заднепровские города с татарами по прошенью Ивашки Брюховецкого и иных старшин; однако и тогда я козаков и татар до бою с царскими ратными людьми не допустил, взятых государевых воевод и ратных людей в Москву многих (!) отпустил, хотя и претерпел за то от татар большую беду; полковников, которые с Демьяном Игнатовичем царскому величеству поддались, не подговаривал и вперед подговаривать не буду. Чтобы гетман той стороны со мною в дружбе был и запорожских посланцев королю не пропускал; а ссоры все от запорожцев: чтобы великий государь ни в чем им верить не изволил. Если государь пришлет ко мне свой указ, то я и Стеньку Разина к его царскому величеству по-прежнему в подданство наговорю». В Каневе Тукальский объявил Манассии, что как скоро государь обнадежит их, что примет в подданство, то он, митрополит, сейчас же сам поедет в Москву, а теперь ехать и писать не смеет, потому что и прежние его письма объявились у поляков. В грамоте своей к царю Дорошенко особенно нарекал на запорожцев, которые, по его словам, и при Богдане Хмельницком, и при других гетманах творили великое смятение между русскими христианами, над бесчисленными благочестивыми людьми убийства, мучительства и кровопролитие исполняли. «Сам я, – писал Дорошенко, – восточной церкви уд, и потому, ища добра церквам российским, тебя, православного государя, за главу себе имею».

Летом 1671 года на западной стороне Днепра началась война: с одной стороны, Дорошенко с турками и татарами, с другой – поляки пустошили несчастную страну; Ханенко и Серко были на стороне польской. Но и восточная сторона не была покойна. В конце 1671 года в Москве узнали, что гетман Многогрешный обнаруживает сильное неудовольствие вследствие неопределения границ между Малороссиєю и Литвою по реке Соже. «Если царское величество, – говорил гетман царскому посланцу, подьячему Савину, – изволил земли наши отдавать королю понемногу, то уж изволил бы нас и всех отдать, король будет нам рад! Но у нас на этой стороне войска тысяч со сто, будем обороняться, а земли своей не уступим. От нас задору никакого нет и не будет, а за правду будем головы свои складывать. Ожидал я к себе царского величества милости больше прежнего, а царское величество изволил нас в неволю отдать: наших купцов польские люди грабят и в тюрьмах держат, около Киева разоряют, а великий государь ничего им не сделает и нас не обороняет; если б мы сами себя не обороняли, то давно бы нас поляки в неволю побрали; а на оборону от московских людей надеяться нам нечего». Все это говорил гетман с сердцем и тотчас же поехал с челядью своею в поле. Тамошние люди Савину сказывали: когда гетман сердит или в каком сумнительстве, то все ездит по полям и думает про всякие дела.

Гетманом действительно овладело сильное сумнительство. «Я, – говорил он, – нынешнего своего чина не желаю, потому что очень болен, желаю прежде смерти сдать гетманство. Если мне смерть приключится, то у козаков такой

обычай – гетманские пожитки все разнесут, жену, детей и родственников моих нищими сделают; да и то у козаков бывает, что гетманы своею смертию не умирают: когда я лежал болен, то козаки собирались все пожитки мои разнести по себе».

Для объяснений по делам польским в январе 1672 года к Демьяну 15 Ватурин явился стрелецкий полуголова Танеев. «Точно, – сказал гетман Танееву, – я говорил, что великий государь изволил отдавать землю нашу понемногу, говорил для того, чтобы великий государь пожаловал, поляков пускать за Днепр и за Сожу не велел: только их пустить за реку Сожу, и они станут вступаться в малороссийские города, земли и угодья, станут называть города многие на этой стороне Днепра своими; правда их и постоянство мне известны, на чем пункты ни становятся, никогда того не держатся». В Батурине при гетмане жил в это время голова московских стрельцов Григорий Неелов, он порассказал Танееву много новостей: ездил нежинский протопоп в Новгородок-Северский к архиепископу Лазарю Барановичу, заехал по дороге в Батурин, был у гетмана, и тот начал ему говорить: я узнал, что государь указал быть на мое место гетманом киевскому полковнику Константину Солонине, а меня отставить. Протопоп отвечал ему, чтобы он не верил таким словам, государь его жалует и никогда не переменит. Гетман осерчал и хотел своими руками отсечь протопопу голову саблею у себя в светлице и бранил его всячески, кричал: ты заодно с москалями мною торгуешь! Протопоп перепугался, не стал при гетмане сходить с Нееловым и ему подходить к себе не велел. виделся с ним тайно у церкви и велел беречься, чтобы какого лиха от тех слов не сделалось в Украине».

Симеон Адамович сам описал Матвееву разговор свой с гетманом: «Яко изначала начал я за помощью божиею служить верно великому государю, тако и ныне сколько могу служу и радею; только нынешней наглою нашедшей на гетмана скорби никоими притчами и мерами исцелити не могу. Некто крамольник впустил гетману, будто великий государь Константина Солонину гетманом запорожским учинил. Зело о том сетует; скорбит о том, что Пиво с ляхами около Киева монастыри и монастырские отчины попустошил; спрашивает, по коих мест граница с ляхами? А мне почему знать! И о Киеве сетует и говорит, буде Киев великий государь отдаст? И я ему клянуся душою и священством, что ничего того великий государь не мыслит, и на меня оскорбился, смертною казнию грозя: если что с Москвы pošлшу непристойное, велю тебя лютою смертию уморити. И я ему сказал, что за истину и за великого государя готов умереть, а то все сказывают ложь, и его милостию государскою беспрестанно обнадеживаю, а как увидел конечную его непреклонную скорбь, приехав из Батурина февраля г. 1-е, посоветовав с думным дворянином, с Ив. Ив. Ржевским, нарочно скорым гонцом в. государю и твоей милости о том вестно чинил. Бога ради, попецытеся, как скорее посылайте какова умна человека от в. государя к гетману с грамотою, обнадеживая его, опишите о Киеве и о границе, что Киев не в отдаче ляхам, и о том, что о Солонине на гетманство и не помышляется, потешьте, господа ради!» Вслед за грамотою протопоп вместе с есаулом Павлом Грибовичем отправился в Москву в послах от гетмана.

Действительно, молва о смене Многогрешного (Солониною неведомо откуда шла по Украине; но мы знаем, с какою легкостью верили в Украине всякой молве; приверженцы Демьяна встревожились не меньше его самого. К нежинскому

воеводе Ржевскому пришел того же города козацкий полковник Гвинтовка и начал говорить, что царь велел переменить гетмана и всю старшину. Ржевский позвал его к себе обедать; тот не пошел и сказал: «Как к вам идти? Какие вы добрые люди, что так делаете непостоянно?» Старая сказка об уступке Киева и всей Малороссии королю польскому опять пошла в ход. Многогрешный говорил Неелову: «Государь с королем помирился, город Киев и нас всех уступил полякам; но если так сделано, то мы все, покиня жен своих и детей у царского величества, пойдем головами своими против поляков бороться; Киева, Печерского монастыря и малороссийских городов в королевскую сторону не отдадим, у короля в подданстве никогда не будем; дал мне знать об этом Дорошенко, а Дорошенку сказывал польский посол». Когда пронесся слух о смене Демьяна Солониною, то гетман пил непомерно и сердит был многое время, с Нееловым не говорил ничего и к себе не призывал, пьяный изрубил саблею переяславского полковника Дмитрашку Райчу, так что тот слег от ран. В другой раз, напившись, бил по щекам и пинками и хотел рубить саблею судью Ивана Домонтова, насилу Неелов отнял у него саблю, за что Демьян бранил его москалем. «Но когда гетман не пьет, – говорил Неелов Танееву, – то у него все рассматрительно; теперь вся старшина боится его взгляда и говорить ни о каких делах не смеют, потому что гетман стал к ним непомерно жесток. Судьи очень тужат; говорили мне, что гетман теперь стал очень сердит на них, всех старшин: только кто молвит слово – он и за саблю, спуску никому нет, стародубского полковника Петра Рословченка он переменял, велел быть полковником брату своему родному, Савве Шумейку; Рословченко сидит в Батурине за караулом, за что сидит – никто не ведает и бить челом никто за него не смеет. Старшины – обозный Петр Забела, и судьи, и Дмитрашка Райча в. государю служат верно и обо всяких новостях мне дают знать, только боятся со мною видеться днем, потому что беспрестанно гетман велит челядникам своим за ними смотреть, чтобы они с московскими людьми не сходились, с новостями приходят они ко мне по ночам; я привел их к присяге: целовали образ Спасов, что быть им неотступно под государевою рукою. Однажды говорил со мною гетман: как бы царское величество изволил той стороны Днепра гетмана Петра Дорошенка принять под свою высокую руку, то он бы, Дорошенко, был на той стороне Днепра гетманом, а я на этой стороне; Дорошенко бы ту сторону от неприятельских людей оберегал, а эта сторона была бы в мире и тишине, на сю сторону Дорошенко неприятелей не пускал бы». Неелов объяснил и причину такой внезапной перемены в отношениях Многогрешного к Дорошенку: гетман, говорил он, ссылается тайно и беспрестанно с Дорошенком, на банкетах пьет здоровье Дорошенка и меня пить заставляет. Был гетман на банкете у полковника Дмитрашки Райчи и говорил всей старшине: «Видите вы, какая ко мне великого государя неизреченная милость: прислан ко мне полковник Григорий Неелов с полком, и у него стрельцов в полку с 1000 человек». Старшина говорила: «Если бы не царская милость и не раденье батьки нашего и добродей, неотступного просителя государской милости ко всей Украине Артемона Сергеевича Матвеева, если бы хотя мало присылка Танеева запоздала, то быть бы в Украине большим бедам, должно быть, ангел благовестил великому государю, что на эти лихие часы, в таких наших смутных бедах прислал своего посла, его приездом все у нас пошло хорошо по-прежнему, и многие души освободились от невинного турбования». Неелов говорил Танееву: «Если гетман



станет пить по-прежнему, то я боюсь беды; ключи городские у меня; кто откуда ни приедет, гетман приказал мне, расспрося, посылать к себе».

Когда в Москве получена была грамота Симеона Адамовича, то поскакал в Батури Малороссийского приказа переводчик Григорий Колчицкий с царскою грамотою к гетману. Государь писал: «Нашего указа не бывало, чтобы Солонине быть гетманом; мы никогда не назначим гетмана без челобитья всего Войска Запорожского и без рады войсковой даже и по смерти твоей, Солонина удержан в Москве для переговоров с польскими послами». Выслушав грамоту, гетман сказал: «В грамоте написано: государю ведомо учинилось, что я пребываю в великом сомнении насчет Солонины; а от кого ведомо учинилось – в грамоте не сказано?» «Великому государю и мне это неизвестно, – отвечал посланный. – Если слух пошел от малороссиян, уйми их по своим правам; если от московских ратных людей, отпиши об них к в. государю». «О назначении Солонины, – сказал гетман, – слышал мой слуга в Киеве. Тот же слуга сказывал мне, что жена Солонины разослала по Киевскому полку листы, приказывая, чтоб готовили станцию к приезду мужа ее. Я велел ей быть в Батури для допросу». При Колчицком приехала она в Батури и объявила, что ничего не слыхала и ни о чем не приказывала. Гетман велел отпустить ее в Киев. Посланный обнадеживал гетмана и насчет Киева, что никогда не будет отдан полякам; гетман отвечал, что ни в чем не сомневается, но потом высказал новую причину неудовольствия на Москву: «Какая мне и Войску честь от великого государя? На Глуховской раде постановлено, что при переговорах с поляками присутствуют посланцы Войска Запорожского с вольным голосом, а теперь на Москве посланцев наших и в палату не пускают. Войску Запорожскому от того бесчестье и печаль великая!» «После переговоров, – отвечал Колчицкий, – полковнику Солонине и товарищам дают знать обо всем и ответные письма объявляют». «Как тому верить? – возразил гетман. – Показывают что написано русским письмом: вольно что хотят написать, а нам тут большое сомнение», «Не одни русские письма показывают, но и польские», – отвечал посланный, уверяя гетмана, что его служба и раденье не будут забвенны у великого государя. «Если б я мыслил зло, – сказал гетман, – то этих слов не объявлял бы». Но еще Колчицкий был в Батури, как 20 февраля Неелов дал знать нежинскому воеводе Ржевскому, что в Батури становится мятежно и чает он беды: пришел в Батури Ворошиловский полк, и козаки этого полка расставлены по тем же дворам, где стоят стрельцы, и козаки говорят стрельцам непристойные слова, от которых и прежде была беда. Сам Ржевский писал к киевскому воеводе князю Козловскому, сменившему Шереметева, что сын нежинского полковника Гвинтовки объявил ему, что гетман Демьян посылает в Киев Стародубский полк брата своего Шумейка, да из Батурина Ворошиловский полк. Ржевский в той же грамоте жаловался Козловскому, что Гвинтовка начинает быть к нему недобр и жители нежинские не по-прежнему ласковы. Пришел в Киев гоголевский поп Исакий и объявил воеводе: «Был я в Терехтемировском монастыре и слышал от тамошнего игумена, что гетман Демьян и полковники разных городов переяславской (восточной) стороны часто списываются с гетманом Дорошенком о том, чтобы им не допустить государя до миру с польским королем, а если государь отдаст Киев польскому королю, то им соединиться всем с обеих сторон, за Киев стоять и с поляками биться».

В Батурин опять поскакал только что возвратившийся оттуда Танеев. Выслушав успокоительную царскую грамоту, гетман долго молчал, потом начал: «Как мне, начальным людям и всему Войску Запорожскому не иметь опасения, видя, что великий государь Киев и эту сторону Днепра отдает ляхам в вечную нестерпимую неволю, посрамление и бесчестие, церкви божию на унию, разорение и запустение отдает тайно, потому что во время переговоров в Москве нашим посланцам не позволили сидеть в посольской избе и вольных голосов иметь, держат их на Москве как невольников, отговариваются тем, будто королевские послы этого не хотят, называя их своими холопями. Но это сделали не королевские послы, а царские бояре, чтобы отдача Киева и малороссийских городов была неведома Войску Запорожскому. Этим Войско Запорожское навеки обещено; поляки станут смеяться над нами и в хроники вперед для спору напишут, что Москва козаков в посольство не допустила. Когда ранят кого в лоб, то хотя рану и залечат, но знак се до смерти останется; так и нам этого бесчестия вечно не забыть. А великий государь город Киев и все малороссийские города не саблюю взял – поддались мы добровольно для единой православной веры. Если Киев, малороссийские города, я и все Войско Запорожское великому государю не надобны, отдает королю, то он бы воевод своих из этих городов велел вывести, мы сыщем себе другого государя. И Брюховецкий, видя московские неправды, много терпел, да не утерпел, и хотя смерть принял, а на своем поставил: так и я, видя неправды великие, велел в Чернигове большой город от малого городка отгородить, а что от этого делается, бог ведает. Да и время нам искать другого государя, кроме короля, а под королевскою рукою не будем, хоть до сущего младенца помрем. Поляки хотят на московские деньги идти на Дорошенка, усмирить его и потом взять Киев и малороссийские города; но мы, Войско обеих сторон Днепра, соединясь с турецким войском и с татарами, пойдем против польских сил, и хотя все помрем, а Киева и малороссийских городов не дадим. Да и дожидаться не станем: после Светлого воскресенья пойдем в Польское государство войною великим собранием; Варшава и все польские города не устоят, будут сдаваться, потому что во всех городах православия много, разве устоит Каменец-Подольский, и то ненадолго; ни один поляк не останется, разве православной веры, и посполитые люди под державою турецкого султана будут; а как над Польским государством что учинится, так и другому кому тоже достанется. Государь пишет, что список с договорных статей пришлет с полковником Солониною; но я и все Войско этим спискам не верим, чего глаза наши не видали и уши не слыхали. И так много ко мне писем с Москвы присылают, только бумагою да ласковыми словами утешают, а подлинного ничего не объявляют, много с поляками договоров чинят, а границы не учинят; а поляки мало-помалу Малороссийский край заезжают, полковник Пиво около Киева все запустошил, людей побивал в посадах. Гомельцы просят к Войску Запорожскому, и мне не принять их нельзя, Войско никого не отгоняет, да и время мне свой разум держать. Писал я к царскому величеству о Дорошенке и запорожцах; мне дают знать, что с ответом скоро приедет голова московских стрельцов Колупаев; но он прислан не для тех дел, знаю я, для чего он приедет, да пусть нездоров приедет. И ты если еще ко мне с неправдою приедешь, то будешь в Крыму, потому что и ты у поляков набрался их лукавых нравов. Как польские послы, набравшись на Москве денег, пойдут в свою землю на Смоленск или на

другие тамошние города, то наши козаки эту казну с ними разделят; а хорошо, если бы они пошли на малороссийские города, тогда и нам бы что-нибудь досталось». Получивши такой прием, Танеев бросился к Неелову; тот подтвердил, что Демьян, конечно, соединился с Дорошенком, с ним и с его стрельцами обходится не по-прежнему, на караулах велел стоять стрельцам с убавкою, а которые ставились по форткам, тех велел свести. «Старшины, – продолжал Неелов, – обозный Петр Забела, судьи и полковник Дмитрашка Райча, государю служат верно, про всякие ведомости мне знать дают; они говорят, что Демьян государю изменил, соединясь с Дорошенком, поддался турецкому султану, дал Дорошенку в помощь на войско 24000 ефимков, во всех полках поместил полковниками родню свою, братьев, зятей и друзей и хочет сделать так же, как и Брюховецкий; имение свое из Батурина вывез в Никольский Крупицкий монастырь и в Сосницу; брату своему Василью велел большой Чернигов отгородить от малого городка, в котором царские ратные люди, и шанцы сделать, а имение ему велел вывезть из Чернигова в Седнев; сам Демьян хочет идти с женою и детьми из Батурина в Дубны 15 марта. Наконец, Многогрешный, призвав старшину, объявил, что государь к нему пишет всю старшину прислать в Москву, а из Москвы разослать их в сибирские города на вечное житье».

Ночью на 8 марта Танеев и Неелов отправились к Петру Забеле в стрелецких зипунах, с бонделерами и бердышами. Там кроме хозяина были судьи Иван Домонтович и Иван Самойлович и Дмитрашка Райча. Как увидели старшины московских людей, залились слезами и повели жалобную речь: «Беда наша великая, печаль неутешная, слезы неутолимые! По наученью дьявольскому, по прелести Дорошенковой гетман, забыв страх божий и суд его праведный, царскую милость и жалованье, великому государю изменил, соединился с Дорошенком под державу турецкого султана. Посылал гетман к Дорошенку советников своих чернецов, и Дорошенко при них присягнул ему, а чернецы присягнули Дорошенку за гетмана; потом Дорошенко прислал к гетману Спасов образ со своими посланцами, и гетман клялся при них, и посланцы дали ему клятву за Дорошенка. После этой присяги гетман послал Дорошенку в помощь на жалованье войску 24000 ефимков. К нам, старшине, гетман стал безмерно жесток, не даст ни одного слова промолвить, бьет и саблею рубит, во всех полках поделал полковниками и старшиною все своих братьев, зятей, друзей и собеседников. Говорит, будто послал Ворошилов полк по вестям к Днепру; но послал он его не к Днепру, а в Лубны к зятю своему и велел поставить на Чигиринской дороге; во все полки разослал универсалы, будто татары вышли к Дорошенку, и изо всех мест велел идти в осаду, точно так же как и Брюховецкий делал. Имение свое все из Батурина вывез в Никольский Крупицкий монастырь, а из монастыря в Сосницу; сам с женою и детьми хочет идти в Лубны 15 марта, а славу пускает, будто идет в Киев молиться; нас, старшину, возьмет с собою; мы боимся, как только нас из Батурина вывезет, велит побить, или в воду посадить, или по тюрьмам разошлет; да и то опасно: как поедет из Батурина, велит после себя по воротам стать мужикам силою, стрельцы пустить их не захотят, и оттого начнется задор, кровопролитие великое, что и будет началом войны. Стрельцов в Батурине мало, да и те худы, надеяться на них нельзя. Неелова, выманя за город, не связал бы и в Крым не отдал; давно бы он над ним и над стрельцами сделал дурно, да мы по сие время берегли. Да и вас отпустит ли, а если и отпустит, то в Кролевце и Глухове будут

обыскивать писем. Степана Гречаного, который был в Москве с полковником Солониною, заведши в комнату, привел к присяге, что быть с ним заодно, и велел ему писать то, чего отнюдь на Москве не бывало, чтоб этим отвратить Украину от государя. Однажды гетман созвал к себе всех нас и говорил: царское величество издавна пишет ко мне, чтоб я всю старшину прислал в Москву, а из Москвы хочет сослать в Сибирь навеки: мы ему в этом не верим: затевает он своим злым умыслом. Как будет в Лубнах и Соснице, сберет к себе всю старшину и духовных, прочтет им письма Степана Гречаного также об отсылке всей старшины в Сибирь и станет говорить: „Видите, как Москва обманчива; что нам от них доброго ждать?“ В Лубны Дорошенко пришлет к нему татар, а после и сам где-нибудь с ним увидится». Райча объявил: «Призывал меня гетман ночью и велел целовать Спасов образ, что быть с ним заодно и государевых ратных людей побивать, после чего подарил мне свой лук. Я эту присягу в присягу не ставлю, потому что присягал неволею, убоясь смерти, да и не по правде». Старшины просили, чтобы Танеев передал все это Матвееву, а тот бы доложил государю: чтобы великий государь не отдал отчины своей злохищному волку в разоренье, изволил в Путивль прислать наспех самых выборных конных людей, человек 400 или 500, а к ним прислать свою милостивую обнадеживательную грамоту. Они и Неелов дадут ратным людям знать, чтобы прибежали в Батурин наспех: можно на Конотоп поспеть об одну ночь, но еще до их приезда они свяжут волка и отдадут Неелову, а когда приедут ратные люди, отошлют с ним в Путивль и, написав все его измены, повезут к великому государю сами. Вся беда чинится от советников его, протопопа Симеона Адамова, есаула Павла Грибовича, батуринского атамана Еремея, а промышленник во всем нежинский полковник Матвей Гвинтовка. Больше всех ссорщик протопоп Семен: посылает его гетман на Москву для проводывания всяких вестей, а тот, желая его удобрить, сказывает ему то, чего не бывало. «Глуховские статьи становил я, – сказал Забела, – в них написано: духовного чина в посольстве не посылать и не принимать, а именно нежинского протопопа Семена Адамова. Если сего злохищника Многогрешного бог предаст в руки наши, то чтобы великий государь пожаловал нас, велел быть гетманом боярину великороссийскому, тогда и постоянно будет; а если гетману быть из малороссийских людей, то никогда добра не будет». Между тем виновники всего зла, по словам старшины, протопоп Симеон Адамович и есаул Грибович отправили свое посольство к Москве, подали информацию от Демьяна Игнатовича. Гетман просил о размежевании Малороссии с Литвою, жаловался, как смели польские послы не пустить козацких посланцев к заседанию при переговорах: «Время господам ляхам перестать с нами так обращаться, потому что с таким же ружьем, с такими же саблями и на таких же конях сидим, как и они; пусть знают, что еще не засохли те сабли, которые нас освободили от холопства и от тяжелой неволи. Молим царское величество, чтобы господа ляхи не смели больше называть нас своими холопами. Довольно нашего терпения! Польский полковник Пиво пустошит хутора киевские, захватил шесть человек и куда девал – неизвестно; мы послали бывшего черниговского полковника Лысенка в Киев; тот обратился к воеводе князю Козловскому с просьбою о помощи. „Не могу тебе помочь, – отвечал воевода, – потому что от царского величества задирать поляков указа не имею“. Посланные должны подать царскому величеству

ропись убытков, причиненных Пивом, и спросить, неужели гетману и войску оставаться долее в таком смущении?»

Смущение кончилось, ибо Забела с товарищами исполнили свое обещание: в ночь на 13 марта они схватили Многогрешного и отправили в Москву с генеральным писарем Карпом Мокриевичем. Братья Многогрешного Василий и Шумейка, услышав о судьбе гетмана, скрылись. 6 апреля тайно пришел к киевскому воеводе князю Козловскому Киевобратского монастыря ректор игумен Варлаам Ясинский и стал умолять, чтобы о его извете не сведали малороссийские духовные и мирские люди. Воевода обещал глубокую тайну, и Варлаам начал: «Пришли ко мне два монаха и показали прохожий лист от игумена Максаковского монастыря Ширковича и сказали, что пришли за своими делами, я их отпустил уже из кельи, но один из них вернулся и начал меня упрашивать: умиლოსердись, отец ректор, вели меня проводить до Печерского монастыря, чтобы меня московские люди, киевские козаки и жители не опознали: я гетмана Демьяна брат, Василий Многогрешный! Теперь он у меня». Воевода сейчас же послал захватить беглеца в Братском монастыре и привести в приказную избу, где его допросили и отправили в Москву.

Здесь, ничего не зная, отпустили в начале марта гетманских посланцев, протопопа Симеона Адамовича и Грибовича, и вместе с ним отправили обещанного стрелецкого голову Михайла Колупаева. 15 марта Колупаев подъезжал к Севску, как навстречу ему прискакал стрелец от севского воеводы и подал письмо. Воевода уведомлял, что пригнал к нему гонец из Путивля с вестию: гетмана Демьяна, скованного, привезли в Путивль генеральный писарь Карп Мокриев да полковники Рословец и Райча и везут к великому государю, обвиняя в измене. Колупаев отвечал воеводе, чтобы он постарался задержать в Севске протопопа Адамовича с товарищами под предлогом недостатка подвод, пока не объяснится гетманское дело, да послал бы воевода поскорее в Малороссию проведать про это дело. Хитрость не удалась: когда воевода объявил Адамовичу, что подвод нет, то на другой день протопоп с товарищами пришел и сказал, что подводы они сами себе собрали и поедут наперед одни. «Нельзя вам одним ехать, – говорил Колупаев, – грамота к гетману у нас с вами одна». Тут Грибович с товарищами начали кричать и порываться из избы вон: «Поедем одни, ждате вас не будем!» Колупаев принужден был объявить им, что про гетмана пришли недобрые слухи и потому надобно подождать вестей подлинных. «От гетмана мы никакого дурна не чаем, – отвечали козаки, – если бы он хотел сделать что дурное, то бы нас с протопопом к великому государю не посылал». С этими словами Грибович с товарищами вышли, но Адамович остался и начал рассказывать, что действительно гетман с некоторого времени начал быть не по-прежнему: «Мне гетман велел доведываться подлинно в Москве, будут ли отданы Малороссия и Киев королю? И если это правда, то он хотел послать тотчас же войско для занятия Гомеля. Когда я его спрашивал, на кого он надежен, то он мне отвечал: на того же, на кого и Дорошенко; Брюховецкий згинул за правду, пусть и я згину так же: Нежин покину, в Переяславле московских людей мало, Чернигов осажу, а сам пойду до Калуги. На Запорожье послал 6000 талеров, чтобы запорожцы были ему послушны. Теперь слух есть, что гетмана скованного везут в Москву, и мне в Нежин ехать незачем, буду государю бить челом, чтобы жить мне в Москве». «Живи по-прежнему в Нежине и служи великому государю правдою

по-прежнему», – сказал Колупаев. «И в Брюховецкого измену много мне было мученья, имение потерял; мы с Райчею Спасов образ поцеловали на том: если гетман Демьян изменит, то нам совсем уезжать в Путивль». 17 марта приехали в Севск Карп Мокриевич и полковник со своим колодником, и 19-го Колупаев и Адамович поехали с ними в Москву. В Москве распорядились: 17 марта разосланы были в разные места ратные люди для провеживания всяких вестей, слушать и рассматривать о козаках и мещанах, какие от них мысли и слова станут исходить за то, что гетман взят, и впредь чего от них чаять и каковы верностию великому государю? Возвратившись, посыльщики сказали одни речи: козаки, мещане и вся чернь великого государя державе рады, за гетмана никто не вступается, говорят и про всю старшину, что им, черни, стало от них тяжело, притесняют их всякою работою и поборами; ни один гетман так их не тяжелил и в порабощенье старшинам и союзникам своим не выдавал, как нынешний Демка: да и вперед от старшин своих того же чают и хвалят прежнее воеводское владенье – в то время им легко было; а не залюбили воеводского владенья старшина, что не панами стали: привели их старшина неволею к смуте, напугали татарами, а теперь сколько татарами и поляками ни пугали – не поверили. Про старшину говорят: только бы не опасались ратных людей великого государя, то всю бы старшину побиили и пограбили; а больше всех недовольны нежинским полковником Гвинтовкою, Василием и Савою Многогрешными, переяславским полковником Стрыевским, черниговскими сотниками – Леонтием Полуботком и Василием Бурковским, бывшим полковником Дмитрашкою Райчею. Про генерального судью Ивана Самойлова и про генерального писаря Карпа Мокреева ничего доброго не носитя. Про писаря говорят, что давно за гетманом измену ведал; а как пришла причина на гетмана явная, то и начал выносить на гетмана, а до явной причины писарь ничего не объявил.

25 марта подьячий Алексеев поехал в Батури к старшине с милостивым словом; на дороге многие черкасы ему говорили: «Чтобы царскому величеству прислать к нам своих воевод, а гетману у нас не быть, да и старших бы всех перевестя; нам было бы лучше, разоренья и измены ни от кого не было бы; а то всякий старшина, обогатясь, захочет себе панства и изменяет, а наши головы гинут напрасно». Через 2 дня по отъезде Алексеева из Москвы, 28 марта, привезли туда Демьяна Игнатова, и генеральный писарь Карп Иванович Мокреев рассказывал: «14 марта Демко собирался идти из Батурина со всею старшиною и с Григорьем Нееловым, говорил, будто идет по обещанию в Киев молиться, но Ворошилов полк стоял в Ичне наготове, да и Волошской хоругви, которая стояла в Ольшовке, велел идти к себе же; собравшись со всем войском, хотел он остановиться в Лубнах недели на две, чтобы в это время сослаться с Дорошенком. Мы, старшина, видя, что он, Демка, великому государю конечно изменил, нас хотел побить до смерти, обозного Петра Забелу и судью Ивана Домонтова отдать в неволю к Дорошенку: думая, что и Неелову со стрельцами добра никакого не будет, потому что Демка в глаза сказал Неелову, что отсечет ему голову с бородою: видя все это, мы ночью на 13 марта пришли в малый городок и около гетманского двора тайно расставили стрельцов на сторожу, потом, собравшись с ружьем, вошли к нему в хоромы тайно же, а он в ту пору спал; полковник Дмитрашка первый вошел к нему в спальню и в темноте стал спрашивать, где тут Демка? Тот проснулся, вскочил с постели и стал было обороняться, но тут мы все вошли,

взяли его силою и отвели на двор к Григорью Неелову. Здесь, у Григорья в избе, Демка рвался к ружью, хотел с нами биться; но я, до ружья его не допустя, поранил его в плечо из пистолета; от этой раны Демка сел: тут мы его сковали и в малый город привели. Он, Демка, передо всею старшиною говорил: „Соберу тысяч с шесть войска конных добрых людей и пойду на великороссийские города войною, а больше того войска мне не надобно, будет мне в помощь хан крымской по весне, как трава пойдет; тогда поймаю Артема за волосы и знаю, что над ним сделаю“. Братство и сватовство у него с Дорошенком ближе, потому что Дорошенко сговорил дочь свою за родного его племянника Мишку Зиновьева, сватовство шло через Куницкого. Турского султана хвалил он, Демка, беспрестанно, говорил: лучше мне быть под турецким, чем под московским царем: говорил всей старшине, будто Москва неправдива и хочет с ляхами нас всех, малороссиян, посечь, а города запустошить, будто государь для этого посечения дал полякам много денег; говорил: я сам московским людям дам отпор своею храбростию, как Александр Македонский; тот был Александр, а я, Демьян, неменьше его, опустошу Московское государство, как и Александр воевал грады. Я ему говорил: попомни бога и присягу, для чего отступать? Лиха никакого мы не видали, живем во всякой вольности; подожди, как воротится из Москвы протопоп Симеон. „Я все знаю, – отвечал мне Демка, – нечего ждать! Не хочу быть под царем; хоть приезжай кто из Москвы да весь Батуриин наполни богатством, мне ничего не надобно!“

Генеральный писарь подал на бумаге: «Слова недостойные, которые из уст бывшего гетмана Демьяна исходили против высокого престола его царского величества: 1) Великим постом в своем доме говорил старшине о межеванье: видите, каково царское желательство к нам, пустил ляхам всю Украину, учиня границу от Киева Десною и Сеймом до Путивля. 2) Говорил нам: подлинно я слышал от капитана, живущего в Чернигове, а тот слышал от самого царского синклита, велели этому капитану сказать мне: тебе приготовлено в царских слободах пятьсот дворов крестьянских, только ты нам выдай всю старшину и подначальных людей украинских. Когда мы отвечали ему: подожди отца протопопа, какая милость государская будет, то он сказал нам: бороды у вас выросли, а ума не вынесли. 3) Петру Забеле наедине говорил: заблаговременно надобно нам постараться о другом государе, а от Москвы нам добра нечего надеяться. 4) Судье Самойловичу говорил: видишь, что чинится: ляхи нам неприятели, а Москва им деньги на 30 000 войска дала, а как придется платить турку, то заплатят нами; надобно заранее позаботиться о сильнейшем государе, как Заднепровье сделало. 5) Прошлою осенью, взявши клятву с Андрея Мурашки хранить тайну, говорил: увидишь, что я Москве сделаю? Увидишь мою саблю в крови московской, я их и за столицу загоню, только вы будьте при мне неотступны. 6) Перед Масляницею говорил Дмитрашке Райче: у меня есть указ самого царя рубить Москву. 7) Говорил: вы не знаете, в какой чести царь московский и король польский у султана турецкого: королю польскому запретил называться целым королем, а только короликом, а московскому велел сказать, что он так же его уважает, как черного татарина. 8) Все слова его досадительные страшно вспомнить: тогда слыша и теперь пишучи, члены наши трясутся».

Вслед за этим изветом старшина прислали другой: рассказ батуринского сотника Григорья Карповича, посыланного Многогрешным к Тукальскому вместе

с посланцем последнего Семеном Тихим. «Как мы приехали в Канев, – рассказывает Григорий, – то пошли к митрополиту, и Семен положил перед ним на столе икону, которую возил в Батурин. Митрополит, поцеловавши икону, спросил Семена: что там доброго учинили? Зачем был послан, все исполнил вашими молитвами, – отвечал Семен. Тут Иосиф подошел ко мне и, взявши за пуговицы, сказал: давно бы так, господин сотник, надобно было поступить вашему гетману: сами хорошо знаете, при ком хан, тот и господин; у султана столько силы, что и полякам и Москве даст себя знать, не только им на нас не придется наступить, и своих городов не оборонят; а теперь еще более испугаются, когда наши гетманы в неразрывном приятстве пребывают». «Если бы, – писали старшина государю, – мы выписывали все доказательства Демковой измены, то не уместили бы всего не только на листе бумаги, но и на воловьей коже». Лазарь Баранович также рассказывал присланному к нему стольнику Самарину: «Как скоро я узнал, что Демка ссылается с Дорошенком, то писал к нему, чтобы он эти ссылки прекратил и в Киево-Печерский монастырь молиться не ездил; он, прочтя мою грамоту, бросил ее по столу и сказал моему посланцу: знал бы архиепископ свой клобук!»

14 апреля бояре и думные люди съехались в Посольский приказ расспрашивать Демку Игнатова об его измене и кто с ним в той измене советовал? «Я великому государю изменить не хотел, – отвечал Демьян, – служил я ему верно, за Сожу не заезжал, полковников переменял по совету всей старшины: в Киев хотел ехать по письму печерского архимандрита, что от ляхов насилие и разорение: я посылал в Киев к воеводе князю Козловскому, чтобы он оборонил печерских людей от поляков, но писарь Карп присоветовал мне самому идти в Киев с обозом. С Дорошенком ссылался я о том, чтобы он на этой стороне никому обид не делал: к Соже посылал я по совету полковников и всех начальных людей, а больше писаря Карпа Мокреева; я хотел одного: сделать рубеж по Сожу». «Ты хотел сделать рубеж по Сожу – хорошо! – говорили бояре. – Но зачем же ты хотел овладеть Гомелем? Ведь Гомель за Сожею!» «В том воля великого государя, – отвечал Демьян, – хотя Гомель и за Сожею, но во время польской войны от него было малороссийским жителям великое утеснение, поэтому я и велел было его захватить; если бы вперед была с поляками война, то малороссийским жителям было бы от Гомеля сбережение великое, потому что он стоит над самою рекою Сожею».

Демьяна спросили: «Зачем он говорил царскому посланцу, что пусть бы уже государь их всех отдал королю, и прочее?» «Никогда не говорил», – отвечал Многогрешный. Позвали посланца, и Демьян на очной ставке повинился. «Говорил я это пьяным обычаем, беспамятством своим», – сказал он. Бояре спросили о речах его к Танееву, Демьян заперся: «Я ничего этого не говаривал, а говорил писарю Карпу: вот великий государь обрадовал нас своею грамотою насчет Киева; а писарь мне сказал: не всему верь, держи свой разум; не так бы сделали, как прежде: прислана была царская грамота к Брюховецкому, Войско Запорожское обнадежили, а после того князь Данила Великого-Гагин с войском выслан, Золотаренка, Самка, Силича побил. Слыша такие речи от писаря, начал я быть в сомнении и в опасении от войск царских; в том перед великим государем виноват, а изменить не хотел».



«Для чего ж ты таких речей на писаря старшине и всему Войску не объявил и к царскому величеству не писал? – спросили бояре. – Да и какое тебе было спасенье! Разве ты не знаешь, что князь Великого-Гагин Золотаренка и Самка не бил, а был с войском на раде, потому что без царского войска вы бы на раде передрались?» «Я человек простой и неграмотный, – отвечал Демьян, – а к царскому величеству не писал спроста, думая, что писарь говорил правду, остерегая меня, виноват». Тут поднялся свидетель, протопоп Симеон, очутившийся опять в Москве. «Когда я ехал в Москву, – сказал он, – то говорил ему не однажды, укреплял, чтобы держался милости царской, напоминал, как Брюховецкий изменил и что с ним после того случилось, а он мне на это сказал: поезжай только в Москву, вот там тебя в Москве посадят!» Демьян повинился.

Спрашивали: «Зачем переменял обращение с Нееловым, зачем велел убавить стрелецкие караулы?» «Сам собою убавлять стрелецких караулов я не приказывал, – отвечал Демьян, – дело вот как было; однажды шел я в церковь и спросил, есть ли караульщики? Мне отозвались, что стоят два пятидесятника и с ними стрельцов человек со сто. Я спросил, нет ли им скудости в кормах. В кормах нет скудости никакой, отвечали они, только беспокойство великое от караулов. Я поговорил об этом с головою Нееловым и велел с караулу стрельцов понемногу убавить. Разговаривать с Нееловым я никому не заказывал и присматривать за ним не веливал».

На вопрос о сношениях с Дорошенком и о перемене полковников отвечал: «Чернецов к Дорошенку я об измене не посылавал, а присылал ко мне Дорошенко козака Сеньку Тихонова, потому что крымские татары на сей стороне, в Лубнах, взяли малороссийских жителей; Дорошенко татар этих разбил, полон отнял и возвратил на свои места. 24000 ефимков я к Дорошенку не посылавал, и посылать было мне нечего, потому что с начала гетманства и двух тысяч левков в собранье у меня никогда не бывало. А полковников и других урядников переменял по совету всей старшины».

«Зачем говорил старшине, что царь требует их в Москву для отсылки в Сибирь? Зачем велел Гречанову писать то, чего на Москве не бывало? Заставлял ли ночью Дмитрашка Райчу присягать, что будет с ним заодно? Посылал ли игумена Ширковича в Варшаву?» На все ответ отрицательный.

Явился на очную ставку Александр Танеев и начал уличать Демьяна по своему статейному списку. Обвиненный по-прежнему отрекся от всего. Но когда начал уличать его протопоп Симеон, что он ссылался с Дорошенком, то Многогрешный отвечал: «Перед великим государем я виноват, Протопоповым речам я не внимал».

Бояре начали расспрашивать с великим пристрастием, чтобы Демьян вину свою принес, сказал правду, как с Дорошенком об измене ссылался, кто про их совет ведал и на чем у них положено? Если же не скажет, то будут пытаться. Демьян повторил, что никогда не думал об измене, с Дорошенком ссылался о любви и дружбе, чтобы тот не приходил войною на этот берег, и Дорошенко его к турецкому не подговаривал. «Вина моя одна, что я говорил неистовые речи в беспамятстве, пьянством», – прибавил он. «Если бы у тебя мысли об измене не было, – сказали бояре, – то ты бы все Дорошенковы грамоты присылал к великому государю». «Я человек простой и безграмотный, – отвечал Демьян, – положено все это на войскового писаря; я все грамоты приказывал посылать к царскому величеству; но

писарь не посылал, умысля со старшиною на меня, чтобы отлучить меня от милости царского величества и измену на меня положить; у них, у старшин, всегда так ведется, как захотят учинить над гетманом какое зло, тотчас к тому его приведут; а я человек простой, ссылался с Дорошенком по его лести, а измены никакой не мыслил».

Сделан был новый расспрос у пытки, и тот же ответ, что измены никакой не мыслил. Тут начал говорить батурицкий атаман Ерема Андреев: «Когда Демка посылал меня к Дорошенку, то приказывал сказать ему, что двое за один кожух торгуются; я его спросил, что это значит? И он мне отвечал, что Дорошенко это слово знает, только скажи так». «Я об этом не приказывал и не помню», – отвечал Демьян. Повели к пытке, дали 19 ударов. «Я про измену свою только на словах говорил, – винулся Демьян, – но с Дорошенком об измене не ссылался; кожух, о котором я с Еремою приказывал, значит то, что поляки хотят Киев взять, а царское величество отдать не хочет. Если бы поляки ссор делать не перестали, то я Гомель принять хотел, но про ту мою измену никто не ведал и в совете со мною не был, думал я один». Тут же распорядились с Матвеем Гвинтовкою: клали его руки в хомут и расспрашивали про Демкову измену; Гвинтовка отвечал, что ничего не знал и сам служил верно. На второй пытке Демьян говорил те же речи. Спросили о сношениях с Тукальским: «Как шел Паисий, патриарх александрийский, из Москвы на малороссийские города, то брат мой Васька бил челом ему и архиепископу Лазарю Барановичу о разрешении в убийстве жены и о позволении жениться на другой; патриарх и епископ простили его и жениться позволили, только велели дать в церковь милостыню: и он архиепископу Лазарю да митрополиту Тукальскому послал по лошади. Ко мне митрополит писал, чтобы позволено было ему брать дань с церковей Киевской области, и я ему в том отказал».

6 мая Артамон Матвеев и думный дьяк Богданов расспрашивали гетманова брата Василия Многогрешного, есаула Павла Грибовича и Дорошенковых посланцев. Василий Многогрешный отвечал, что ничего не ведает. Но ему показали собственное его письмо к наказному полковнику Леонтию Полуботку, в котором он приказывал распорядиться с каким-то московским подьячим. «Этого подьячего, – писал Василий, – вынув из тюрьмы и дав вину, надгнети животом, а киями не бей, чтоб не было синяков, но так поддержи в руках, чтобы не забыл до века; будь в том надежен, ничего тебе за это не будет, только не води его к себе, а ночью пусть сторожа обвинят его, что хотел уйти». «Виноват, – отвечал Василий, – такой лист писал, потому что подьячий досадил нам своими словами, до начала войны Брюховецкого говорил самому гетману: самковы кафтаны мы носили, не закаиваемся и ваши носить».

«Если ты, – спросил Матвеев, – за братом своим измены никакой не знал и сам не хотел изменять, то зачем свое полковничество покинул, из Чернигова побежал и монашеское платье на себя надел?» «Виноват, – отвечал Василий, – а побег мой учинился оттого: в недавнем времени писал я к брату, что черниговский воевода беспрестанно просит лесу на городовое строенье, город починил и бои поделал, что государевы ратные люди стали нас опасаться и осадою крепиться, да и про то стало слышно, что начальные люди нули лют: сказывал мне шляхтич полонецкий, выходец с той стороны, что государевы ратные люди пули лют, хотят с козаками войну начинать. Я писал об этом к брату и самого полонецкого к нему

послал. Брат прислал ко мне выростка Ивашку сказать, чтобы я с черниговским воеводою и государевыми ратными людьми задору никакого не делал, а он, Демьян, ждет к себе из Москвы протопопа Симеона да Михайлу Колупаева с подлинным указом, и чаёт он, что поляки их с царским величеством ссорить и мутить больше не будут. Да тот же выросток Ивашка сказывал мне тайно: приехал из Москвы в Батурин чернец и сказывал ему, Ивашке, будто гетмана Демьяна велено поймать и к Москве послать. На другой день приходит ко мне полуполковник и зовет меня к воеводе сурово, чтобы я ехал тотчас. Я, видя, что меня зовут не по прежнему обычаю, испугался и начал догадываться, что брату моему, по чернецовой сказке, не здорово. Оседлав лошадь, поехал было я в город, а из города идет ко мне навстречу многая пехота с ружьями и бердышами: я тут и пуще испугался и побежал. Прибежал в монастырь Елецкой богородицы и говорю архимандриту Голятовскому, что мне делать? К воеводам ехать или бежать дальше? Как себе хочешь, говорит архимандрит, побеге дальше, а здесь тебе делать нечего. Я за Десну, в Никольский монастырь, покинул здесь лошадь свою и платье свое с себя скинул и надел монашескую ряску. Из Никольского пришел в Максаковский монастырь, к игумену Ширкеевичу; тот дал мне старца да челядника и велел проводить до Киева Десною в лодке».

Грибович отвечал, что ничего не знает, знает только, что Демьян дал Дорошенку займы 6000 золотых польских. Про отставку полковника Дмитрашки Райчи знает он вот что: слух пронесся, что Дмитрашка хочет передаться к ляхам или к Дорошенку; Демка послал за ним своих челядников, но Дмитрашка не поехал, заперся в Барышевке и говорил гетманским посланцам: как погублены Самко и Золотаренко, так же и со мною хотят сделать! Тогда Демьян, взявши царских ратных людей и свои войска, пошел в Нежин; выехав из Нежина, встретил митрополита сербского и посылал его к Дмитрашке в Барышевку уговаривать; из Барышевки приезжал к гетману поп с Дмитрашковою женою бить челом за полковника. Демьян обнадежил их и велел Дмитрашке ехать к себе без боязни. Но как Дмитрашка приехал к нему в Басань, гетман велел его сковать и, привезши в Батурин, отдал под караул, но потом по просьбе греческих митрополитов освободил и велел жить при себе в Батурине, а на его место послал Стрыевского. Стародубского же полковника Рославца переменял по челобитью козаков и черни за его налоги, переменял, поговоря со старшиною, и послал на его место брата своего Шумейку.

Василий Многогрешный уверял, что он хотел остаться в киевском Братском монастыре, но старец Максаковского монастыря объявил, что Василий пробирался к Тукальскому. Многогрешного опять взяли к допросу: зачем утаил, что хотел ехать к Тукальскому? «Винovat, – отвечал он, – испугался, хотел я бежать к митрополиту, чтобы он меня и от Дорошенка ухоронил, и царскому величеству не выдал; а чтобы, собравшись, с кем войну вести против великого государя – и в мыслях у меня не было; да если бы и хотел это сделать, да не мог, потому что, как был я на Запорожье, с запорожцами ссорился, а при Дорошенке писарь енеральный Войхеевич великий мне недруг; не до войны было, лишь бы от бед великих голову свою ухоронить, хотел я, все покиня, постричься».

28 мая на болоте за кузницами поставили плаху – будут казнить гетмана Демку Многогрешного и брата его Ваську. Привезли преступников и начали читать им вины, т.е. все поданные на них обвинения: «Ты, Демка, про все

расспрашиван и пытан; и во всех своих изменных словах винился; а 20 мая старшины со всем народом малороссийским прислали челобитье, чтобы тебя казнить смертью в Москве, а для подлинного обличенья прислали батурина сотника Григорья Карпова, который от тебя к Дорошенку образ возил и присягал, что вам служить турецкому султану. Бояре и думные люди, слушав ваших расспросных речей, приговорили вас, Демку и Ваську, казнить смертью, отсечь головы. Демку и Ваську положили на плаху: но бежит гонец и объявляет, что великий государь, по упрощенью детей своих, пожаловал, казнить Демку и Ваську не велел, а указал сослать в дальние сибирские города на вечное житье; бояре приговорили сослать к ним жен и детей. Та же участь постигла полковника Гвинтовку и есаула Грибовича. На другой день великий государь пожаловал, велел дать на милостыню Демке 15 рублей, Ваське 10 рублей, Гвинтовке и Грибовичу по 5: Многогрешным отдана была и вся их рухлядь, с которого привезены в Москву, несколько очень недорогих вещей. Семейство Многогрешного состояло из жены Настасьи, двоих сыновей – Петра и Ивана, дочери Елены и племянника Михайлы Зиновьева: с ними поехали две работницы. С Гвинтовкою отправилась жена его Ирина и двое сыновей, Ефим и Федор. В Тобольске велено держать ссыльных за крепким караулом скованных, а из Тобольска разослать по разным острогам в пешую козачью службу. Участь ссыльных была отягчена вследствие бегства Грибовича. Тогда Многогрешного с товарищами, вместо того чтобы послать по острогам в козачью службу, велено держать скованных в тюрьмах „для того, говорилось в указе, что они забыли страх божий и нашу государеву милость, товарищ их Пашка Грибович из Сибири бежал“.

Между тем еще 3 мая приехал в Москву старый черниговский полковник Лысенко и привез грамоту: старшина писали, что во время праздников воскресных полковники, сотники и атаманы, будучи в Батурине, приговорили быть раде в Конотопе, чтобы князю Ромодановскому с товарищами недалеко было идти, и на раде быть полковникам, сотникам, старшине войсковой и начальным людям, не собирая всего войска, чтобы не встало смятения в многочисленных толпах. Старшина давали также знать, что Иван Серко, отделясь от Ханенка, гетмана королевской милости, приехал в полк Полтавский для всеяния между народом бунтов; но полковник Жученко схватил его и прислал в Батурин. Наконец, старшина били челом об указе Ромодановскому оборонять их от своевольников.

Князю Ромодановскому и думному дворянину Ивану Ржевскому велено было отправиться в Конотоп на раду для гетманского обирания; но в начале июня Ромодановский дал знать государю, что в Батурине между старшинами начинается бессовестство: да у Батурина стоят козаки табором, и 26 мая приходило их человек 400 в город к старшине и говорили: «Прежнего гетмана вы неведомо где дели, другого гетмана нет: мы под Батурином стояли для гетманского обирания долгое время, испроелись, выходите с войсковыми клейнотами из города в поле на раду!» Старшины отказали, боясь, что в поле козаки их побьют. Козаки приходили к Неелову с тем же требованием; Неслов, видя шатость, велел запереть малый город и не пускать вперед козаков. Кроме того, пришла в Москву весть, что хотят выбирать в гетманы Серка. Знаменитого запорожца под караулом отправили в Москву, а оттуда подальше, в Сибирь.

Ромодановский и Ржевский двинулись к Конотопу, и 15 июля верстах в трех от Козачьей Дубровы встретили их старшина и говорили, чтобы великий государь пожаловал, велел им сделать раду, не ходя в Конотоп, в Козачьей Дуброве, на речке Красене, потому что под Конотопом стояли козацкие войска и конские кормы потравлены около города верст по десяти и больше. «Что ж, – сказал боярин, – учиним раду и в Козачьей Дуброве, по вашему прошенью». Ромодановский стал по одну сторону Красены, старшина по другую. На следующий день старшина приехали к боярину с просьбою не медлить радюю. «По указу великого государя надобно подождать архиепископа Лазаря Барановича», – отвечал Ромодановский. «Нельзя ли без архиепископа?» – просили старшина. Боярин согласился и велел сходиться для рассуждения о статьях. Старшина вошли в государев шатер, потом отобрали половину козаков, бывших при старшине, и велели им идти на раду; когда козаки собрались в шатер и к шатру, боярин объявил верующую грамоту и спросил старшину о здоровье, объявил, что государь милостиво похваляет их за неучастие в измене Демки и жалует прежними правами и вольностями. Начал читать Глуховские прежние и новые статьи вслух, а писарь Карп Мокреев смотрел статьи по тетрадам по своему белорусскому письму. Но вдруг чтец замолк: в шатер вошел царский посланный, жилец Григорий Синявин. «Боярин и воевода князь Григорий Григорьевич! – сказал он Ромодановскому. – Объявляю тебе великого государя радость: мая 30, за молитвами св. отец, даровал бог царскому величеству сына, а нам великого государя царевича и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белья России!» Старшины встали и начали поздравлять боярина; чтение снова началось. Выслушав статьи, старшина и козаки говорили: «Все эти статьи нам надобны, кроме двадцать второй, в которой написано, чтобы для своевольных людей учинить полковника и при нем быть 1000 человек козаков реестровых: если где учинятся шатости и измена, то полковнику этому своевольников унимать. А теперь мы бьем челом великому государю, чтобы пожаловал – у гетмана полковнику и козакам и у полковников компании быть не велел, потому что от таких компаний малороссийским жителям чинится всякое разорение и обиды». Боярин отвечал, что государь пожаловал, велел этой статье быть по их челобитью. Поставили также следующие статьи: 1) Старшина и все Войско били челом, чтобы от нового гетмана не терпеть им такой же неволи и жесточи, как от изменника Демки, чтобы гетман никого не смел казнить и отставлять от должностей без войскового суда и доводу. 2) Старшина и все Войско били челом, чтобы гетман без указа великого государя и без совета старшин к посторонним государям и ни к кому, особенно же к Дорошенку, ни о чем не писал и изустно ссылаться не дерзал. 3) Если малороссияне действительно заехали по реку Сожь, то должны отступить от занятых земель и вперед королевских земель не заезжать, а жить с королевскими людьми спокойно. 4) Турецкий султан из-за Дорошенкова подданства начинает с королем войну: так, если султан и Дорошенко наступят на Польшу, то гетману, старшине и всему Войску Запорожскому Дорошенку не помогать. 5) Гетману, старшине и всему Войску никаких беглых людей и крестьян из Великой России не принимать, а которые приняты, тех отпустить. Потом боярин говорил: «Высланы были вами в Москву полковник Константин Солонина для прислушивания к переговорам между боярами и уполномоченными королевскими послами, где будет речь идти об украинских делах; польские послы

не согласились допустить ваших посланцев к переговорам; но все, что в ответе о ваших делах было говорено, все полковнику Солонине читали: так вперед вам своих посланцев на посольские съезды посылать не для чего, одни только убытки и посольским делам затруднения; а как скоро на посольских съездах о ваших делах какой вспомни будет или договоры, то великий государь велит вас уведомлять письмами». Старшина положились на волю государеву. «Теперь, – сказал боярин, – объявите, какие вы хотите становить новые статьи?» «У нас никаких статей нет», – сказали старшина. «Так 17 июня будьте в обоз к государеву шатру для обрания гетмана».

17 июня, часу в третьем дня, приехал в обоз Лазарь Баранович, архиепископ черниговский, за ним пришел голова московских стрельцов Григорий Неелов, приехали генеральная и войсковая старшина и козаки, а перед старшиною несли государево жалованье – войсковые клей ноты – булаву, знамя, бунчук, литавры. Архиепископ говорил, чтобы прочесть ему новые статьи; боярин велел читать и, когда чтение кончилось, объявил, чтоб приступили к гетманскому избранию. Перед шатром в обозе устроили место, поставили на налое Спасов образ, булаву положили на стол, знамя и бунчук поставили у стола. Боярин и старшина вышли из шатра, архиепископ говорил перед образом молитву; после молитвы боярин говорил на все четыре стороны: «Великий государь указал мне быть на раде для обирания гетмана; и вы бы по своим правам и вольностям гетмана обирали, царское величество положил гетманское обирапье на ваше войсковое право и волю, кого вы Войском излюбите», Изговоря речь, боярин отступил от стола прочь. Вольные и тихие голоса провозгласили гетманом генерального судью Ивана Самойлова. Полковники – Райча и Солонина – взяли избранного под руки и поставили на стол, обозный Забела и другие полковники поднесли ему булаву, укрыли знаменами и бунчуком. «На гетманский уряд я не желаю, – начал новый гетман, – но нельзя же мне не принять царского величества жалованье, булавы и знамени. Только я объявляю, что великому государю буду служить верно и никогда не изменю, как прежние гетманы делали». Старшина, козаки и мещане закричали, что великому государю с гетманом служить готовы, пусть Иван берет булаву и будет гетманом. Иван принял булаву, после чего все двинулись в шатер, отслужили молебен, и Лазарь Баранович привел нового гетмана к присяге. Новый гетман Иван Самойлович был сын священника с западной стороны Днепра; когда жители этой стороны толпами пере ходили на восточную сторону, как более спокойную, перешел и Самойлович с отцом своим и начали жить в городе Старом Колядине. Молодой Иван Самойлович был человек грамотный, умен. хорош собою, ко всем ласков и услужлив и потому скоро был поставлен в том же Колядине писарем сотенным; приобрел расположение генерального писаря при Брюховецком, Гречаного. и был сделан сотником в Веприке; из сотников по просьбе того же Гречаного поставлен наказным полковником черниговским, и наконец на Глуховской раде при избрании Многогрешного в гетманы Самойлович сделался генеральным судьей войсковым.

Падение Многогрешного не нарушило спокойствия в Малороссии; ссылка Серка не взволновала Запорожья. Здесь в это время явился вождь особого рода.

Осенью 1672 года подьячий Семен Щеголев привез на Запорожье пять пушек, ядра, порох и свинец. Подъезжая к кошу, Щеголев выстрелил изо всех пушек и из ружей, из коша отвечали тем же, священники вышли навстречу с.

крестами. Запорожцы поставили царские подарки на майдане, где бывает рада, и объявили Щеголеву, что у них начальным кошевым и гетманом полевым Никита Вдовиченко, который пошел под Перекоп, не дожидаясь царских пушек, объявили, что они примут государеву грамоту всею радою, как придут из-под Перекопа кошевой и войско. 17 октября войско из-под Перекопа пришло, но без Вдовиченка. 19-го числа собралась рада: выбрали кошевым Луку Андреева, читали грамоту царскую, королевскую и сенаторские. Когда царская грамота была прочтена, новый кошевой начал речь: «Братья, Войско Запорожское, кошевое, днепровое и морское! Слышим и глазами видим великого государя премногую милость и жалованье: милостивым словом изволил увеселить, про наше здоровье велел спрашивать, пушки, ядра, порох и свинец приказал прислать. Калмыкам, донским козакам, из городов охочим людям на помощь против бусурман к нам на кош позволил переходить, также чайками, хлебными запасами и жалованьем обнадеживает, только б наша правда была». «За премногую царского величества милость бьем челом! – закричала рада. – А правда наша, конечно, будет: полно нам без пристанища волочиться. Служили мы и с татарами после измены Брюховецкого. и во время Суховеева гетманства; крымский хан со всего Крыма хлебные запасы сбирал и к нам на кош присылал; да и теперь, если б хотели, будет присылать, только тот его хлеб обращался нам в плач, нас же за шею водили и как овцами торговали, в неволю отдавали, все добро и клейноты отняли. Пока свет будет и Днепр идти не перестанет, с бусурманами мириться не будем». Кошевой начал опять: «С нынешнего времени его царскому величеству и его королевскому величеству обещаемся богом служить верно и неотступно. Братья, Войско Запорожское, кошевое, рада полная! так ли моя речь к престолом обоих великих государей христианских монархов?» «Так, так, господин кошевой!» – отвечало войско.

«Воздадим же господу богу и великому государю нашему свету хвалу!» – сказал кошевой, и в ответ грянули пушки и ружья. Потом пошли в церковь к молебну. Щеголев проведаль, что до его приезда на ектениях поминали прежде короля; он стал говорить войску и священникам, что надобно поминать прежде царя, и его послушались. Потом Щеголев позвал к себе в курень кошевого со старшинами и спросил: «Где ваш гетман Вдовиченко и откуда он на Запорожье пришел?» «Пришел он на Запорожье в нищем образе, – был ответ, – сказался харьковским жителем, свят муж и пророк, дана ему от бога власть будущее знать; тому седьмой год, как велел ему бог, дождавшись этого времени, с Войском Запорожским разорить Крым и в Царе-городе взять золотые ворота и поставить в Киеве на прежнем месте. Князь Ромодановский до этого доброго дела его не допускал и мучил, только его муки эти не берут, писано, что сын вдовицы все земли усмирят. Теперь послал его бог к Войску Запорожскому и в городах всякому человеку до ссущего младенца велел сказывать, что он такой знающий человек, чтоб шли с ним разорять Крым; как придет в Крым, пять городов возьмет и будет в них зимовать, бусурманы стрелять не будут, потому что он невидимо будет под города приходять, стены будут распадаться сами, ворота сами же отворяться, и оттого прославится он, Вдовиченко, по всей земле. А наперед ему надобно Перекоп взять и Войско Запорожское пожитками наполнить. Услыхав такие слова, многие люди покинули дома свои, хлеб в полях и пришли за Вдовиченко на Запорожье, собралась большая толпа, и Войску Запорожскому говорили, чтобы

идти с Вдовиченко под Перекоп. Кошевой Евсевий Шашол отказывал, чтоб дожидались пушек от великого государя; но городовые люди хотели Шашола убить, кричали, что они шли не на их войсковую, но на Вдовиченкову славу, и кошевое войско на эти слова их все склонилось, собрали раду, Шашола отставили, а выбрали Вдовиченко атаманом кошевым и гетманом полевым». Когда начали собираться под Перекоп, спрашивали у Вдовиченка, сколько брать пушек? «Мне пушки не надобны, – отвечал Вдовиченко, – и без пушек будет добро; слышал я, что вы послали к царю бить челом о пушках, и та ваша посылка напрасная, от этих пушек мало вам будет проку; а если вам пушки понадобятся, тогда который город бусурманский будет поближе и богат, в том и пушки возьмете». Только некоторые знающие люди не во всем ему, Вдовиченку, поверили и взяли две пушки. Всего пошло под Перекоп тысяч шесть конных да тысячи три пеших. Вдовиченко шел до самого Перекопа без отдыха, отчего у многих лошади попадали, а пришедши к перекопскому валу, под город не пошел и промыслу никакого не чинил. Войско, по своему обычаю, ров засыпало, и половина обоза перебралась; но перекопские жители начали из пушек и из ружей стрелять и наших людей бить и топить. Вдовиченко стал от стрельбы прятаться, и войско, видя, что он не такой человек, как про себя сказывал, от Перекопа отступило, дорогою булаву и бунчук у него отняли и хотели убить, но он скрылся». Вдовиченко не наказался перекопскою историею; он явился в Барышевке и стал проповедовать прежние речи; но тут его схватили и отослали к гетману, а гетман отослал к Ромодановскому.

## Глава третья

### Продолжение царствования Алексея Михайловича

*Нашествие турок на Польшу. – Битва при Катогге. – Взятие Каменца-Подольского. – Распоряжения в Москве по случаю войны турецкой. – Освобождение Серка. – Прибытие сыновей гетмана Самойловича в Москву. – Известия с западного берега. – Ханенко изъявляет желание поддаться царю. – Поведение митрополита Тукальского. – Неудачное движение Ромодановского и Самойловича к Днепру. – Неудовольствия малороссиян на царское войско и на воеводу князя Трубецкого. – Похвалы князю Ромодановскому. – Ропот на Самойловича. – Военные действия на Дону. – Вор Миюска. – Самозванец Семен в Запорожье. – Поведение Серка. – Сношения Дорошенка с Москвою. – Самойлович хлопочет, чтобы царь не принимал Дорошенка в подданство. – Ромодановский и Самойлович на западном берегу Днепра. – Письмо Ханенка к князю Трубецкому. – Переяславская рада: избрание Самойловича в гетманы обеих сторон Днепра. – Дорошенко просит о принятии его в подданство. – Серко высылает самозванца в Москву; допрос и казнь вору. – Дорошенко уклоняется от подданства царю. – Приход татар к нему на помощь. – Брат его Андрей разбит царскими войсками. – Посланец Дорошенка Мазепа, отправленный к хану, схвачен запорожцами и прислан в Москву. – Показания Мазепы. – Царь не отпускает из Москвы сыновей гетмана Самойловича. – Ромодановский и Самойлович под Чигирином. – Новое нашествие турок и татар. – Русские войска отступают на*



*восточный берег. – Мнение гетмана Самойловича о соединении русских войск с польскими. – Грамота Ромодановского к царю. – Донос архиепископа Барановича на протопопа Адамовича. – Приезд последнего в Москву с поручением от архиепископа. – Доносы Самойловича на Серка. – Жалоба гетмана на протопопа Адамовича. – Сношения Серка с Москвою. – Смута в Каневе. – Новый поход царских войск на западный берег Днепра. – Затруднительное положение Дорошенка. – Он обращается к посредничеству Серка. – В Москве не принимают этого посредничества. – События на Дону.*

В то самое время как на восточной стороне Днепра ставили нового гетмана, на западной разразилась наконец буря, о которой так давно и долго толковали и которой от продолжительности ожиданий и толков переставали уже бояться. Мы видели, какое важное влияние на ход событий имело отложение Дорошенка от Польши и обращение его к Турции. Испуганная Польша поспешила помириться с Москвою, выговаривая себе ее помощь против турок, одинаково страшных для обоих государств. Ян-Казимир не стал дожидаться новой беды и отказался от престола. Надобно было ожидать, что поляки ввиду опасной войны выберут теперь в короли какого-нибудь знаменитого полководца из своих или чужих; но, как нарочно, мелкая шляхта выбрала в короли человека хотя из знатной, но обедневшей фамилии, и человека, своими личными достоинствами менее всего способного заставить забыть, что он не царственного происхождения. Масса шляхты могла выкрикнуть Вишневецкого, но давала ему слабую опору против недовольной его выбором знати, которая составила сильную партию и мешала королю во всем; к недовольным принадлежал и самый видный по талантам и месту человек – великий гетман и великий маршалок коронный Ян Собеский. Турками стращали друг друга, но о морах против грозы никто не думал. И по-видимому, имели основание отложить страх: пять лет прошло, с тех пор как Дорошенко отложился от Польши к Турции, и турки не думали о войне. Магомет IV сперва был занят войною венецианскою; но и после этой войны, кончившейся блистательным успехом, завоеванием Кандии, султан не трогался: шли слухи, что ему не до войны, что он проводит время или в гареме, или на охоте. Мы упоминали, что летом 1671 года шла война в западной Украине между поляками и Дорошенком, которому помогали татары. Нападение Дорошенка на Умань не удалось: город отбил. Собеский поразил Дорошенковых козаков и татар под Брацлавлем и занял несколько городов, признававших власть чигиринского гетмана. Но этот минутный успех польского оружия только раздражил султана, заставил его спешить походом на Польшу, которая осмелилась воевать вассала его, Дорошенка. Весною 1672 года турецкое войско в числе более чем 300000 перешло Дунай. Передовой отряд, состоявший из 40000 татар, ворвался в Подолию и на берегах Буга, при Батоге, встретил поляков, бывших под начальством Лужецкого, каштеляна подляского, при котором находился и Ханенко с своими козаками; всех же поляков и козаков было не более 6000; несмотря на это, они опрокинули и втоптали в реку татар. Надменный успехом, Лужецкий решился гнаться за татарами за реку. Тщетно удерживал его Ханенко; Лужецкий не хотел ничего слушать, «По крайней мере, – говорил Ханенко, – позволь мне остаться на стороже на этом берегу: если успеешь что-нибудь сделать на той стороне, то

будешь иметь свидетеля твоего знаменитого подвига; если же дело не пойдет на лад, то поспешим разделить твой жребий». Ханенко остался и немедленно огородился обозом, а Лужецкий бросился в Буг, истомил коней, подмочил огнестрельное оружие. В таком положении он не мог удержаться с своею горстью людей на противоположном берегу; толпы татар обхватили его со всех сторон и заставили обратиться назад в реку, Лужецкий едва спасся сам, потерявши много своих убитыми и пленными. Беглецы нашли спасение в таборе Ханенка. Как скоро все поляки вбежали в табор, он начал двигаться назад; татары напирали с тыла и с боков; но козаки успешно отстреливались из пушек и ружей, и движущийся вал достиг Ладыжина. Татары осадили город, но не могли взять. Иная судьба ждала Каменец, который в августе месяце облегло все турецкое войско под начальством самого султана. Число защитников знаменитой крепости не превышало 1000 человек: был порох, но мало пушкарей, и те плохие: говорят, что на 400 пушек приходилось только четыре пушкаря. Измученные работами над укреплениями, осажденные не имели свободной минуты поесть и уснуть. Турки взяли новый замок и подвели мину в скале под воротами старого, после чего пошли на приступ, но были отбиты, потерявши 200 человек. Осажденные видели, однако, что долго нельзя им держаться, и вывесили белое знамя. Условия сдачи были 1) безопасность жизни и имущества; 2) свободное отправление богослужения, для чего христиане сохраняют несколько церквей, остальные обращаются в мечети; 3) всякий волен выехать из города с имуществом, волен и остаться; 4) ратным людям вольно выйти с мушкетами, но без пушек и знамен. По заключении этих условий Янычар-ага приехал в город и занял его именем султана: янычары сменили гарнизон; жителям оставлены три церкви: одна русским, одна католикам и одна армянам; соборная церковь обращена в мечеть; со всех церквей сломали кресты, свесили колокола; часть знатных шляхтянок забрали на султана, часть – на визиря, часть – на пашей. Магомет IV с торжеством въехал в покоренный город и прямо направился в главную мечеть – бывшую соборную церковь: там перед ним обрезали осьмилетнего христианского мальчика.

Страшное впечатление произвела в Москве весть о взятии Каменца, этого оплота Польши с юга, подобного которому не имела Россия. Явились уже рассказы о тех ужасах, которые наделали бусурманы в покоренном городе: христианские церкви и римские костелы турки разорили и поделали мечети; образа из церквей и костелов выносили, клали в проезжих воротах и велели христианам по ним идти и всякое ругательство делать: кто не соглашался, того били до смерти. Давали знать, что визирь, хан и Дорошенко хвалятся идти под Киев. Киевский воевода князь Козловский писал, что в Киеве, Переяславле и Остре мало людей. В Киеве чинили город беспрестанно: где осыпалось на валу, зарубали лесом и крепили, только вала валить было нельзя, потому что место песчаное и дерну близко нет. Тукальский беспрестанно посылал к Дорошенку, чтобы шел под Киев, обнадеживая, что там мало людей.

Дорошенко называл себя подданным султана и воеводою киевским. Симеон Адамович писал Матвееву: «Бога ради, заступай нас у царского пресветлого величества, не плошась, прибавляйте сил в Киев, Переяславль, Нежин и Чернигов. Ведаешь непостоянство наших людей: лучше держаться будут, как государских сил прибавится. Присылайте воеводою в Нежин доброго человека: Степ. Ив.

Хрущов не по Нежину воевода: давайте нам такого, как Ив. Ив. Ржевский: и последний бы с ним теперь за великого государя рад был умереть».

Царь призвал на совет высшее духовенство, бояр и думных людей, объявил им об успехах султана, о замыслах его идти весною под Киев, на малороссийские города и Северскую Украину и спрашивал, что делать. Назначили чрезвычайные сборы со всех поместий и вотчин; по полтине – с двора, с горожан – десятую деньгу: государь объявил о намерении своем выступить лично к Путивлю со всеми силами и написал к гетману Самойловичу, что в Киев назначен боярин и воевода князь Юрий Петрович Трубецкой со многими ратными людьми, в Чернигов – стольник князь Семен Андреевич Хованский, в Нежин – князь Семен Звенигородский, в Переяславль – князь Владимир Волконский, и с Москвы отпущены будут скоро; а если султан двинется под Киев, то он сам, великий государь, пойдет на него, для чего в Путивле уже велено строить царский двор. Боялись, как мы видели, весны, ибо относительно зимы скоро пришли успокоительные слухи: султан пошел за Дунай на зимовку, хан – в Крым, Дорошенко – в Чигирин. и татар осталось у него немного; поляки под Бучачем (в Галиции) заключили мир с турками, уступив им Подолию, Украину и обязавшись платить султану ежегодно по 22000 червонных. Таким образом, тяжесть новой турецкой войны грозила обрушиться на одну Москву, и все внимание ее правительства обращено было на юг.

В декабре 1672 года Иван Самойлович писал Матвееву, зело милостивому своему приятелю и благодетелю: «Посланный мой сказал мне, будто твоя милость велел мне теперь к его пресветлому царскому величеству быть; если бы указ царского величества мне, наинижайшему рабу, был, дай то Христе боже, усердно сего желаю, только бы время было удобное и неприятельские замыслы от нас отделились; смиренно молю о скорой ведомости от твоей милости, благодетеля моего». Гетман не ладил почему-то с Карпом Мокриевичем, тот также обратился к Матвееву с низжайшим поклоном до лица земли: «Стыдно мне частым писанием вашей милости, добродее моему, докучать, но думаю, что рук ваших не доходит, потому что и по сие время не удостоиваюсь милости вельможного господина гетмана за свои верные и правдиво желательные к великому государю службы, о которых не только всему свету явно, но и сам господь ведает душу мою, что верно царскому величеству работал и до конца жизни моей обещаю. С покорением полагая себя подножием вашей милости, благодетелю моему многомилостивому, смиренно челом бью: смилуйся надо мною, работником своим, изволь своим высоким ходатайством его царскому величеству обо мне доложить, чтобы с каким-нибудь делом в своей государской грамоте обо мне указал отписать, чтобы я. верный подданный, работник, при своей чести был, а иные, которые ни малой службы великому государю не учинили, ныне сугубую милость и честь и корысть имеют».

В то же время Матвеев получил грамоту из Запорожья от кошевого Лукьяна Андреева: «Благодетелю нашему многомилостивому об отчине нашей, Малороссии, и об нас, Войске Запорожском, многочестному ходателю и всяких щедрот давцу низжайшее наше поклонение посылаем и смиренно молим: умилосердись, яко отец над чады, чтоб милостивым твоим ходатайством калмыки, и чайки (лодки), и хлебные запасы присланы были к нам, и полевой наш вождь добрый и правитель, бусурманам страшный воин, Иван Серко, к нам был отпущен

для того, что у нас второго такого полевого воина и бусурманам гонителя нет; бусурманы, слыша, что в Войске Запорожском Ивана Серко, страшного Крыму промышленника и счастливого победителя, который их всегда поражал и побивал и христиан из неволи свобождал, нет, радуются и над нами промышляют». Царь отвечал, что все просьбы их будут исполнены и полевой воин Серко к ним будет отпущен. Действительно, в марте 1673 года Серко привезен был в Москву и представлен государю: сперва сам царь, потом патриарх и весь синклит, особенно князь Юрий Алексеевич Долгорукий и Артамон Сергеевич Матвеев, накрепко увещевали его быть верным престолу царского величества, патриарх грозил клятвою и вечною погибелью, если помыслит что худое. «Отпускаю тебя, – сказал царь, – по заступлению верного нашего подданного гетмана Ивана Самойловича, потому что царское слово непременно, писал я и королю польскому, и к запорожцам, что отпущу, и отпускаю».

Мы видели, что шел вопрос о приезде гетмана в Москву, и Самойлович уже давал знать, что это трудно сделать при настоящих обстоятельствах. Придумано было средство: и оставить гетмана в Малороссии, и дать залог верности его царю. Еще в конце 1672 г. Симеон Адамович писал к Матвееву: «Бог да видит убогую службу и радение мое к царскому пресветлому величеству; многие гетманы, архиереи и полковники, много поглотав государской казны, поизменяли и кровопролитие чинили; а я, убогий червь, а не человек, как начал, так и работаю богу и великому государю. Нынешний гетман Иван Самойлович совершенно на мой совет положился; уже я его к тому привел, если страна наша освободится от неприятельского нашествия, то по первому пути хочет детей своих к великому государю посылать со мною». В марте 1673 года протопоп приехал в Москву и с ним два сына гетманских, Семен и Григорий, с *начальником* своим Батурина монастыря наместником Исааком и учителем Павлом Ясилковским для верности подданства и службы его гетманской, чтобы царскому величеству служба его гетманская была во всем верна. Самойлович писал, что сыновья его должны оставаться при царе до тех пор, пока сам гетман приедет в Москву. Адамович бил челом от имени Самойловича, чтобы государь приказал князю Ромодановскому и ему, гетману, идти войною на Крым или на Дорошенка и для этого похода прислал пушек полковых, легких, пороху и свинцу, прислал еще ратных людей в малороссийские города.

19 марта гетманских посланцев позвали смотреть, как повезут пушки строем из Никольских ворот под дворцовые переходы в Спасские ворота. Кроме малороссиян были тут разных земель торговые немцы, и греки, и персияне; в их толпу пробрались тайком подьячие Посольского приказа и подслушивали, что говорят иноземцы. Протопоп Семен с черкасами говорил: «Должно быть, идет сам государь в поход на турецкого султана»; дивились, что пушки везены зело урядством и строем премудрым; хвалили, что лошади впряжены были парами и устроены воински, пушки велики и к войне зело удобны. Когда шел между пушками двор окольного князя Ивана Петровича Борятинского, то протопоп, сжав плеча, сказал: «Ей, поистине над сим намерением и над людьми происходит божие милосердие; конечно, чаю, что дела их воинские во всяком добре совершатся, потому что, по многим моим приметам, люди смело и радостно выступают и благополучия себе ожидают; это с божией воли!» Гетманские сыновья расспрашивали протопопа обо всем, считали, много ль пушек, которая

больше, и все хвалили. Греки говорили: когда турки брали Кандию, а теперь Каменец, то у них было пушек много, только невелики, такие или немного побольше бывали при султанах по две или по три, но сделаны грубо и не так к войне удобны. Немцы также хвалили и говорили, что прежде таких строев на Москве не бывало и потому надобно ждать победы царя над турком; бог не оставит царя, потому что он начинает войну для защиты христианской веры. Персияне и армяне говорили, что у шаха таких пушек нет и турки их не стерпят.

Отец протопоп был в восторге от приема в Москве и писал гетману: «Царского величества отеческая к вельможности твоей неизреченная милость, о чем били челом, все будет исполнено. Детям твоим двор с палатами каменными купить приискивают; в господине Артемоне бог послал твоей вельможности и детям твоим отца милостивого, на которого милость и заступление будь всегда надежен, дал он мне в том слово, и деткам твоим всякое добро при царском величестве будет. Не могу перечислить царского величества милости и Артемона Сергеевича приятства и любви». Протопоп был отпущен с ответом: что касается до похода на Крым, то государь указал этот способ теперь до времени оставить; а идти князю Ромодановскому и гетману Самойловичу к Днепру и, ставши у этой реки, послать к Дорошенку грамоту с двумя досужими людьми, сказать ему: ты присылал к великому государю с челобитьем, чтобы велел тебя принять в подданство, великий государь на это изволяет и прислал к тебе милостивую грамоту; при этом обещать, что права и вольности будут не нарушены и государь будет оборонять Дорошенка от турок: если же Дорошенко откажется принять присягу, то объявить ему, что царские войска обратятся против него. Если мимо Дорошенка заднепровские козаки станут присылать, что поддаются великому государю, то их принять, привести к присяге и, поговоря со всем Войском, учинить на той стороне гетмана доброго и досужего, особенно же верного человека, а над Дорошенком чинить промысл. Если заднепровские козаки будут просить, чтобы сделать гетманом на обеих сторонах Днепра Ивана Самойловича или станут просить себе в особые гетманы кого-нибудь с восточной стороны, то исполнить их желание. Мы видели, что государь обещал отправить в Киев большое войско с боярином князем Юрием Петровичем Трубецким: действительно, в начале 1673 года Трубецкой двинулся в Малороссию. В десяти верстах от Сосницы встретил его гетман с старшиною и до Сосницы сидел с боярином на санях у щита на облучке; 13 февраля Трубецкой вступил в Киев.

Войска должны были выступить в поход по последнему зимнему пути, рассчитывая по московской погоде; но Ромодановский дал знать государю, что этого сделать нельзя: «У нас на Украине с полей снег весь сбило и водное *расположение* большое, ни которыми мерами мне походом поспешить нельзя; ратных людей при мне нет никого». А между тем на западном берегу, как только узнали о намеряемых движениях царского войска, так уже начали толковать о подданстве великому государю. Есаул Яков Лизогуб сносился из Канева с переяславским полковником Райчею, обещая сдать Канев, как только русские войска явятся за Днепром. «Рад бы я, – говорил Лизогуб, – перейти за Днепр в сторону царского величества со всем своим домом и пожитками, да славу свою потеряю: тут я начальным знатным человеком, и все меня здесь слушают, лучше мне будет, живучи здесь, царскому величеству службу свою показать, потому что здесь все люди, видя утеснение от турок, Дорошенка и нас всех проклинаят и

всякое зло мыслят, и сам Дорошенко скучает, что поддался турецкому. После Рождества Христова у него была рада со всею старшиною: говорил Дорошенко: весна приходит, и слух носится, что царь со всеми силами будет на Украину, так решите, при ком нам держаться? Старшина приговорили: от турецкого султана не отставать и его не гневить, потому что ныне, кроме него, деться нам негде: царь по договору с королем под свою руку нас не примет, а под королем быть не хотим, потому что много досады ему учинили, будет нам мстить, да и для того, что искони веков в разделении мы не бывали, а теперь одна сторона без другой быть не хотят. Турский салтан в Каменец будет, видя, что король мирного постановления не исполняет, из Белой Церкви ратным людям выступить не велел, и если теперь от турецкого нам отстать, а помощи ни от кого не будет, и он, пришедши, вконец нас всех разорит». «Когда Дорошенко был в походе вместе с турками, – продолжал Лизогуб, – то ему честь была добрая, называли его князем; но козакам нужда была великая, турки называли их и теперь называют свиньями, где увидят свинью, называют козаком. Турские люди теперь в Каменце, Межибожье, Баре, Язловце, Снятине, Жванце. Во всех этих городах они церкви божии разорили, поделали из них житницы, из других мечети, колокола на пушки перелили, жителям нужды чинят великие, малых детей берут, женятся силою, мертвых погребать и младенцев крестить беспощинно не дают, беспрестанно кандалы куют и в Каменец отсылают, две башни доверху наметали, также конские железа дорогою ценою покупают – для чего, неведомо. Пусть гетман Иван Самойлович напишет к великому государю, чтоб присылал многих ратных людей сюда, на западную сторону, ни один город, кроме Чигирина, стоять не будет, только бы великий государь польскому королю нас не отдавал; да занял бы государь своими войсками Сечь и Кодак, а если займут их турки, то полтавской стороне и нам здесь трудно будет». «Не верю я Лизогубу, – говорил гетман Иван Самойлович, – все это говорит он по Дорошкову наученью; да у Лизогуба пашня и скотина на этой стороне, в Переяславском полку, боится он, чтобы я их у него не отнял. Если мы с князем Гр. Гр. Ромодановским пойдем на ту сторону Днепра, тогда и не в честь будут сдаваться, потому: как турецкий султан наступит, разволокут всех; Хмельницкий (Юрий) с бусурманами водился и залетел в Царь-город; и Дорошенко из-под Каменца чуть-чуть туда же не угодил, и вперед ему не отбыть. Посылать к Лизогубу о склонности вперед не надобно, потому что он обо всем будет передавать Дорошенке, и Дорошенко подумает, что, боясь турецкого султана, к ним подсылки делаются о склонности, и пуще будет султана и хана к войне побуждать». Но Дмитрашка Райча говорил иное: хвалил верность Лизогуба, утверждал, что вперед на него можно положиться.

В апреле прислал в Москву грамоту Ханенко: «Падши раболепно к ногам царского престола, бил челом о принятии в подданство: яко елень на источники водные, сице желала душа его под пресветлую державу единого святолепного монарха. Был он, Ханенко, при королевском величестве многие годы, кровь свою проливал на оборону Короны Польской, но за то ни он, ни войско ни малого себя награждения не получили, только сенаторскими пыхами (гордостию) озлоблены бывали».

Лизогуб в своем рассказе о Чигиринской раде пропустил любопытное известие о Тукальском. Киевский мещанин, приехавший из Черкас, рассказывал, что во время рады митрополит читал поучение, в котором сильно поносил

Дорошенка и других начальных людей за то, что турку служат, и церкви разоряют, и мечети строят. После этого митрополит на раде советовал козакам, чтобы оставались в союзе только с ханом, а от турок каким бы то ни было способом отлучились. Тогда обозный Гурлак отвечал митрополиту: «Уж бы тебе, отче митрополит, полно в наши рады вступаться, своего бы ты духовного дела остерегал, а не нас; уж ты нас усоветовал, так не скоро отсоветуешь».

17 апреля князь Ромодановский съехался с гетманом Самойловичем в Сумах и постановили: Ромодановскому с своими ратными людьми собираться в Судже, а гетману – в Батурине и сойтиться вместе между Глинском и Лохвицею, у реки Сулы. 22 мая вожди соединились за Лохвицею, у Лебединых озер, и 1 июня отправили отряд за Днепр, под Канев, с предложением Дорошенку и Лизогубу поддаться великому государю; но Дорошенко, Лизогуб и каневцы отказали, что они в подданстве у великого государя быть никогда не хотят. Отряд переправился назад, за Днепр, а между тем на восточной стороне появились татарские толпы. Ромодановский послал за ними харьковского полковника; под Коломыком встретился он с татарами, бился целый день и едва ушел. Это заставило Ромодановского и гетмана из-под Лубен отступить назад, к Белгороду. Ромодановский и гетман писали царю, что им нельзя было переправиться за Днепр, потому что река очень распалилась, а Дорошенко отогнал все суда. «Но если бы и не это, – отвечал царь, – то разве вам велено было переправляться за Днепр? Вам именно было велено стать у Днепра где пристойно и, устроясь обозом, послать к Дорошенку с милостивыми грамотами двоих досужих людей, а не полк; также велено было, услышав о татарах, не отступать, а выслать против них часть войска». Царь оканчивал грамоту объявлением, что если султан, хан и Дорошенко наступят на Польшу, то он сам выступит в поход. Но Самойлович не переставал оправдываться в том, что не перешли за Днепр: войска было мало, запасов мало, и Дорошенко распустил слух, что козаки и восточной и западной стороны, соединись, будут промышлять над царскими людьми.

В Малороссии требовали царских войск, но в то время проход войск в стране известно чем сопровождался. Архимандрит Иннокентий Гизель говорил: «Превеликая царского величества милость, что изволил свою отчину, преславный град Киев, охранить: этому мы рады; но что ратные люди дорогою делали, тому бог свидетель: не только эти новопришлые, но и прежние под самым Печерским монастырем и около монастырские и подданных монастырских сена побрали без остатку, пришлось лошадей и скотину с двора спускать; также и леса наши пустошили и теперь пустошат, не исключая борных и надобных». Полковник Солонина жаловался: «Воеводы и головы стрелецкие, идучи дорогою, под Киевом брали подводы многие, и из этих подвод большая половина распропала; людей, которые за подводами шли, стрельцы били, за хохлы драли и всякими скверными словами бесчестили; у бедных людей дворы и огороды пожгли, разорили, сена все потравили, крали и силою отнимали; такой налоги бедным людям еще не бывало: не знаю я, как и назвать: неужели это христиане к христианам пришли на защиту? Но и татары то же бы сделали! Только тем и удивляться нечего: неприятельские люди и бусурманы». Не понравился и сам Трубецкой с товарищами своими: знатные малороссияне жаловались, что боярин и воеводы неприступны, ласки к ним не держат, Трубецкой полковникам на двор и с двора ездить не велит, не то что боярин князь Григ. Григор. Ромодановский: кто

бы из малороссиян к нему ни пришел, и он со всяким обходится как равный, за это все его любят. И по всей Малороссии, где проходил Трубецкой с войском, слышались одни речи: «Нам очень надобно, что великий государь прислал многих людей в Киев и хочет удержать его за собою; если бусурманы на Киев станут наступать, то мы все за него умирать готовы; только то нехорошо, что ратные люди с нами неласково поступают и несмирно ходят; ни от чего мы так не скучаем, как от подвод, и многие с Киевской и Переяславской дороги хотят разбрестись».

Слышался ропот и на нового гетмана; знатные и простые люди говорили: «Очень тяжело было нам при Демке, но и теперь от того не ушли; на раде было отговорено гетману: охочих людей не держать, с винных, пивных котлов и с мельничных колес пошлин не брать; но все по-прежнему, как при Демке, делается: компанейщину собирают и поборы частые берут». Об этих жалобах дали знать гетману: он отвечал: «Я компанейщиков собираю и пошлины брать велел для того, что в нынешнее время люди мне надобны против неприятеля. Если бы с той стороны все воинские люди на эту сторону Днепра перешли, то я их приму и кормить буду; а пошлины не себе я собираю, а на корм воинским людям, которые, покинув дома и пожитки свои, великому государю служат, не жалея голов; часто случается, что против неприятельских ратных людей и нанимают, жалованье большое дают; а этим людям только и пожитку, что сами да лошади их сыты».

В то время как поход царских войск к Днепру кончился так неудачно, в августе 1673 года начались промыслы на другой стороне, под Азовом: отправленные на Дон воеводы Иван Хитрово и Григорий Касогов с государевыми ратными людьми и с донскими козаками, в числе 8000, подошли под Каланчинские башни и, стреляя из пушек день и ночь, сбили у одной из башен верхний и середний бои и отняли водяное сообщение у Азова с башнями, но сухопутного по недостатку конницы отнять не могли. Азовцы вышли на бой всем городом, но потерпели поражение: победители гнали их больше версты. Ядер не стало, а идти на приступ к башне воеводы и атаманы сочли невозможным по причине широких валов, глубоких рвов и янычар, которых было 1000 человек. Не успевши взять башен, воеводы пропустили козаков козачьим ерком в море на 22 стругах для промыслу над турецкими и крымскими берегами. Донское войско писало Матвееву, что если великий государь велит идти под Азов и чинить приступ, то ратных людей надобно пехоты 40000 да конницы 20000: с таким войском к Азову пытаться можно, а с малым войском идти на приступ нельзя, место большое: Каланчинские башни в десять раз крепче Азова, взять их никак нельзя, и вперед под ними людей и казны терять не для чего.

Московские ратные люди и козаки промышляли под Азовом; а в тылу у них чинился промысл своего рода. Хитрово доносил, что объявилось на Дону воровство великое, ворует старый товарищ Разина, Иван Миюска, около которого собралось больше 200 человек: проезд степью стал тяжел, и вперед надобно ожидать воровства большого, потому что товарищи Разина, ушедшие из Астрахани и с черты, живут по Дону в верховых городах. По настоянию Хитрово донцы послали отряд против Миюски на Северский Донец; но Миюска, узнав об этой посылке, перешел на устье Черной Калитвы, где объявилось великое воровство вниз и вверх, торговым и служилым людям не стало проезду, и шел слух, что на весну Миюска пойдет на Волгу, пристанет к нему с Дона и верховых



городков много воров, как и к Разину. Посланные воронежским воеводою козаки нигде не отыскивали следов Миюски: он объявился в другом месте.

В начале зимы гетман Самойлович дал знать, что в Запороги приехал человек – хорош и тонок, долголиц, не чермен и не рус, немного смугловат, по лицу трудно сказать лета, козаки угадывали, что лет пятнадцать, молчалив, два знамени у него: на знаменах написаны орлы и сабли кривые, с ним восемь человек донской породы, надет на нем кафтан зеленый, лисицами подшит, а под исподом кафтанец червчатый китайковый, называется царевичем Симеоном Алексеевичем: вож его, козак Миюской, говорил судье запорожскому, будто у этого царевича на правом плече и на руке есть знамя видением царского венца. Когда узнали в Запорожье, что Серко приближается, то царевич, распустив знамена, почтил Серка встречу. Серко посадил его подле себя и спрашивал: «Слышал я от наказного своего, что ты называешься какого-то царя сыном: скажи, бога боясь, потому что ты очень молод, истинную правду скажи, нашего ли великого государя Алексея Михайловича ты сын или другого какого царя, который под его рукою пребывает? Чтобы мы и тобою обмануты не были, как иными в войске плутами». Молодой человек встал, снял шапку и говорил, как бы плача: «Не надеялся я, что ты меня бояться будешь: бог мне свидетель правдивый, что сын я вашего государя». Услыхав это, Серко и все козаки сняли шапки, поклонились до земли и начали потчевать его питьем. У самозванца спрашивали, будет ли он своею рукою писать к гетману Самойловичу и к батюшке своему, великому государю? «Господину гетману, – отвечал он, – изуственным приказом кланяюсь: а к батюшке писать трудно, чтобы моя грамотка к боярам в руки не попала, чего очень опасаюсь, а такой человек не сыщется, чтобы грамотку мою батюшке в самые руки мог отдать, и ты, кошевой атаман, умилосердись, никому русским людям обо мне не объявляй; сослан я был на Соловецкий остров, и как Стенька был, то я к нему тайно пришел и жил при нем, пока его взяли, потом с козаками на Хвалынское море ходил, откуда на Дону был, Войском здесь про меня не ведали, только один атаман ведал». А вож Миюской говорил Серку, что подлинно на теле у царевича знаки видением царского венца есть; намерение такое имеет: тайно пробраться в Киев и оттуда ехать к польскому королю.

14 декабря к гетману Самойловичу и на кош к Серку за самозванцем отправился сотник стрелецкий Чадуев и подьячий Щеголев. «Я уже писал в Запороги, – сказал им Самойлович, – чтобы вора с товарищами ко мне прислали; думаю, что Серко мне не будет противен; боюсь одного, что на Запорожье никого не выдают, говорят, что они Войско вольное, кто хочет, приходит по воле и отходит так же». На дороге, в местечке Кереберде, пришел к московским посланцам запорожский козак Максимка Щербак и начал говорить: «Знаете ли вы Щербака донского, а он знает, зачем вы на Запорожье посланы; вам ехать незачем, даром пропадете: самый истинный царевич Симеон Алексеевич ныне на Запорожье объявился, я про это про все знаю и ведаю; царевич деда своего, боярина Илью Даниловича Милославского, ударил блюдом и оттого ушел, по всей Москве слава носилась, что то правда была, а я в то время на Москве сидел в тюрьме, по челобитью Демьяна Многогрешного освобожден, был на Дону и на Запорожье, а вышел из Запорожья тому другая неделя». «Это вор, плут, самозванец и обманщик», – говорили посланцы. Щербак на это плюнул им в глаза и сказал: «Завяжите себе рот, даром злую смерть примете». Встретились Чадуеву

и Щеголеву посланцы Самойловича, ездившие в Запорожье, и объявили: «Когда запорожцы выслушали гетманское письмо о самозванце, то смеялись, про гетмана и про бояр говорили всякие непристойные и грубые слова, самозванца, по приказу Серкову, называют царевичем; к гетману ничего не отписали, писал к нему самозванец и запечатал своею печатью наподобие печати царского величества; сделали ему эту печать запорожцы из ефимков, да сделали ему тафтяное знамя с двоеглавым орлом и платье доброе дали. На отпуске нашем пришел в раду самозванец, бесчестил всячески гетмана, говорил: глуп ваш гетман, что меня так описывает, если бы вы не пресные души, велел бы повесить; если гетману надобно меня знать, пусть пришлет осмотреть обозного Петра Забелу да судью Ивана Домонтовича: о выдаче моей много бояре станут присылать знатных людей именем царского величества с грамотами, только я не поеду три года, буду ходить на море и в Крым, а кто присланы будут, даром не пробудут». В Кишенке московские посланцы нашли челядника Василья Многогрешного, Лучка, да самозванцева товарища Мерешку: оба говорили Чадуеву и Щеголсу, чтобы на Запорожье ни под каким видом не ездили: еще у Кодака запорожцы встретят и повесят, а самозванца выдать и не подумают. «Я, – говорил Лучка, – при нем жил многое время и видел на плечах природные знаки красные: царский венец, двоеглавый орел, месяц с звездою». Приехал в Кишенку Игнат Оглобля, отправлявшийся в посланниках от Серка к гетману Самойловичу; он говорил, что Серко хотел бить Чадуева за самозванца и называл его собачьим сыном. Услыхав все эти вести, Чадуев и Щеголев приняли меры для собственной безопасности: велели Щербака, Лучку, Мерешку и Оглоблю отослать к гетману в Канев, чтобы он держал их там до их возвращения.

1 марта 1674 года выехали царские посланники из Кишенки на Запорожье; 9-го числа въехали в Сечь: кошевой атаман Серко и все посольство вышли за город навстречу и поставили Чадуева и Щеголева за городом, на берегу реки Чертомлика в греческой избе. На другой день посланников позвали в курень к атаману; там нашли они Серка, судью, писаря, куренных атаманов и знатных козаков-радцев (советников): «Для каких великого государя дел вы к нам присланы? – спросил Серко. – Слышали мы, что за царевичем?» «Это не царевич, – отвечал Чадуев, – это вор, плут, самозванец, явный обманщик и богоотступник, Стеньки Разина ученик». «Неправда, – говорили запорожцы, – это истинный царевич Симеон Алексеевич и желает с вами видеться». «Мы присланы, – отвечал Чадуев, – для взятья этого вора и самозванца, а не видеться с ним». *Серко* : «Мы его в раде вам покажем, станете с ним говорить, и мы знаем, что вы, узнав, поклонитесь ему как следует». После этого разговора Серко, судья, писарь и куренные атаманы пили у самозванца мало не весь день, и Серко, упившись, будто спал. Часа за два до вечера самозванец, опоясавшись саблею, вышел из своего куреня, с ним судья Степан Белый, писарь Андрей Яковлев, есаулы и козаков человек с триста, все пьяные, подошли к избе, где стояли послы, и стали выкликать Щеголева: «Поди! царевич тебя зовет». Щеголев не пошел, а Чадуев вышел в сени и, отворя дверь, говорил: «Кто и зачем Щеголева спрашивает!» Отвечал самозванец: «Поди ко мне!» *Чадуев* : «Ты что за человек?» *Самозванец* : «Я царевич Симеон Алексеевич». *Чадуев* : «Страшное и великое имя вспоминаешь; такого великого и преславного монарха сыном называешься, что и в разум человеческий не вместится; царевичи-государь по степям и по лугам

так ходить не изволят: ты сатанин и богоотступника Стеньки Разина ученик и сын, вор, плут и обманщик». *Самозванец* : «Брюхачи, изменники! Смотрите! Наши же холопы да нам же досаждают! Я тебе устрою!» И, вынув саблю, побежал к дверям на Чадуева: тот взял пищаль и хотел его убить; но писарь схватил самозванца поперек, унес за хлебную бочку и потом пошел с ним в город. Остались козаки и начали с поленьями приступать к избе, а другие разбирать крышу, ругались. крича: «Ты, старый, государича хотел застрелить». Тут Чадуев с пищалью, Щеголев с саблею, стрельцы с мушкетами, простясь между собой, сели насмерть. Но до смерти дело не дошло: посланники вынули государеву грамоту и закричали: «Подождите до рады, а в раде выслушайте великого государя грамоту». Козаки закричали судье и есаулам: «Поставьте у них караул, чтобы не ушли: умеют москали из рук уходить». И один за другим разошлись. Но вместо них явился полковник Алексей Белицкий, при нем козаки с мушкетами, и стали в сенях, у самых избных дверей, готовые к бою.

Вечером пришли к послам от Серка судья, писарь, есаул, атаман куренный и говорили: «Худо вы сделали, что государича хотели застрелить, будучи между Войском: 12 марта будет рада, и государич в раде будет: что вы хотели его застрелить, теперь всем ведомо, и если над вами Войску велит что сделать, то Войско, что огонь, по маковому зерну разорвет. Вы, когда придете в раду, поскорее добивайте ему челом и кланяйтесь до земли». *Чадуев* : «Недобрый, небогоугодный, неверных слуг поступок, что вы, называясь верными слугами царского величества, просите и получаете его милости, а послов его, поверя неведомо какому вору, смерти предаете! Мы не на смерть к вам посланы, а на увеселение и объявление царского величества премногой милости вам же».

12 марта собралась рада; послов царских позвали туда, но ножи у них отобрали и велели за ними идти караульщикам с мушкетами. Самозванец стоял в церкви и смотрел в окно на раду. Серко, выслушав царскую грамоту, наказ и гетманский лист, начал говорить запорожцам: «Братья мои, атаманы-молодцы, Войско Запорожское низовое днепровое, как стар, так и молодой. Прежде в Войске Запорожском у вас, добрых молодцов, того не бывало, чтоб кому кого выдавали: не выдадим этого молодчика!» «Не выдадим, господин кошевой!» – грянула толпа. Серко продолжал: «Братья моя милая! Как одного его выдадим, тогда всех нас Москва по одному разволочет; а он не вор и не плут, прямой царевич, и сидит как птица в клетке, и никому ничего невинен». «Пусть они того плута сами в очи посмотрят, – закричали козаки, – узнают, что за плут! Идет им о печать и о письмо; царевич и сам сказывает, что бояре все это пишут и присылают без указа великого государя и еще будут присылать; пора их утопить либо руки и ноги отрубить». «Поберегите, братцы, меня, – стал опять говорить Серко, – еще потерпим, наших много у гетмана, а иных они, Чадуев и Щеголев, для своей свободы к гетману отослали, и, пока наши будут, подержим их живых или одного из них отпустим, чтобы как-нибудь своих освободить, а караул у них крепкий стоит, не уйдут. Пошлем мы к Дорошенку, чтобы он клейноты войсковые отдал нам на кош да и сам к нам приехал, он меня послушает, потому что мне кум; спасибо ему, что до сих пор клейнотов войсковых Ромодановскому не отдал. Какая правда Ромодановского? Когда побил Юраску Хмельницкого и клейноты войсковые взял, нам их не отдал и теперь то же сделает, если Дорошенко клейноты ему отдаст». «Пошлем, господин кошевой! – загремела опять толпа. –

Вели листы к Дорошенку писать». Тут Серко велел Чадуеву и Щеголеву выйти из рады; но козаки зашумели: «Показать им царевича, чтобы они по его воле учинили, а если не учинят, побить». Серко стал их опять успокаивать: «Он государич, зачем ему по радам волочиться; когда будет время, увидят и без рады и по воле его учинят, а теперь пускайте их».

Вечером пришли к послам судья, писарь и есаул и начали говорить: «Царевич очень печален, что к вам в раду его не позвали, хочет он с вами видеться, и кошевой хочет его с вами свести в своем курене». Послы отвечали: «Присланы мы от царского величества к Войску Запорожскому за самозванцем, а не беседовать с ним; если кошевой введет его к себе в курень с саблею, а он захочет озорничать, то какая ваша правда? Мы и теперь, как тогда, шеи не протянем».

13 марта, созвав к себе в курень куренных атаманов и знатных козаков, Серко призвал послов и говорил им: «Много вы на Запорожье наворовали, на великого человека хотели руку поднять, государича убить, достойны вы смерти. А нам бог дал с неба многоценное жемчужное зерно и самоцветный камень, чего никогда, искони веков, у нас на Запорожье не бывало. Сказывает он, что из Москвы изгнан таким образом: однажды был он у деда своего, боярина Ильи Даниловича Милославского, и в то же время был у боярина немецкий посол и говорил о делах; царевич разговору их помешал, а боярин невежливо отвел его рукою. Царевич, возвратившись в свои палаты, говорил матери, царице Марье Ильиничне: если бы мне на царстве хотя бы три дня побыть, и я бы бояр нежелательных всех перевел. Царица спросила: кого бы он перевел? Прежде всего боярина Илью Даниловича, отвечал царевич, Царица кинула в него ножом, нож попал в ногу, и он оттого занемог. Царица велела стряпчему Михайле Савостьянову его окормить, но стряпчий окормил вместо его певчего и, сняв с него платье, положил на стол, а другое на мертвого; царевича берег втайне три дня, нанял двух нищих старцев, одного без руки, другого кривого, дал им сто золотых червонных, и эти старцы вывезли его из города на малой тележке под рогожею и отдали посадскому мужику, а мужик свез его к Архангельской пристани. Скитаясь там долгое время, царевич наконец пришел на Дон и был с Стенькою Разиным на море, не сказывая про себя, был у Разина кашеваром и назывался Матюшкою; а перед Стенькиным взятъем он ему про себя сказывал под присягою; а после Стеньки был на Дону царского величества посланный с казною, который его, царевича, дарил, и он с ним послал письмо, но этого письма бояре до царского величества не допустили. Как время придет, пошлет он к царскому величеству письмо с таким человеком, который сам до государя донесет. Я, – продолжал Серко, – мало этому верил; но в нынешний великий пост он постился; я велел священнику его на исповеди под клятвою свидетельствовать, подлинно ли так, как сказывает, и он под клятвою сказал, что правда истинная, и причащался. И теперь, кто что ни говори и ни пиши, все мы в том ему верим». Тут Серко перекрестился и сказал: «Истинный царевич! не зарекаемся мы за его промыслом, как он у нас росписи просит, что Войску надобно? На 3000 и больше кармазинных сукон по 10 аршин на человека на год брать, также денежную, свинцовую и пороховую и многую казну, ломовые пушки и нарядные ядра; и мастер, который теми ядрами умеет стрелять, и сипоши, и чайки у нас будут. Царевич говорит, да и мы сами хорошо знаем, для чего донским козакам и нам государева жалованья, пушек, всяких войсковых запасов и чаек не дают: царское величество к нам милосерд, много обещает, а

бояре и малого не дают; царское величество изволил нам прислать шиптуховых сукон, и нам досталось только по полтора локтя на человека». «Оставьте все эти слова, – отвечал Чадуев, – выдайте самозванца и пошлите к великому государю с ним сто человек и больше своих, и все они будут пожалованы, и к вам на кош царское жалованье, сукна, пушки, ядра, мастер, зелье, свинец, сипоши и чайки присланы будут». «Если и тысячу человек за ним пошлем, – отвечали атаманы, – то на дороге его отнимут и до царского величества не допустят; если дворяне или воеводы с людьми ратными за ним присланы будут, не отдадут; Москва и нас всех называет ворами и плутами, будто мы не знаем, что и откуда кто есть? Если государь по приговору бояр, что мы царевича не отдали, пошлет к гетману Самойловичу, чтобы не велел пускать к нам, в Запорожье, хлеба и всяких харчей, как Демка Многогрешный не пропускал, то мы, как тогда без хлеба не были, так и теперь не будем, съедем мы себе и другого государя, дадут нам и крымские мещане хлеба и ради нам будут, чтобы только брали, так как во время Суховеева гетманства давали нам всякий хлеб из Перекопи. А про царевича ведомо и хану крымскому: присылал проведывать об нем, и мы сказали, что есть у нас на коше такой человек. Турский султан нынешнею весною непременно хочет быть под Киев и далее; пусть цари между собою переведаются, а мы себе место съедем: кто силен, тот и государь нам будет. Жаль нам Пашки Грибовича: если бы в нынешнее время он, Пашка, был с нами, узнал бы я, как в Сибирь через поле посмотреть, узнали бы, какой жолнырь Серко. Какому они мужику дали гетманство? Он своих разоряет и разорять-то не умеет: по Днепру попластал и поволочился и, ничего доброго не сделав, назад возвратился.

Теперь у нас четыре гетмана: Самойлович, Суховой, Ханенко, Дорошенко, а ни от кого ничего доброго нет, в домах сидят и только между собой христианскую кровь проливают за гетманство, за маетности, за мельницы; то бы было хорошо, если бы Крым разорить и войну унять. Когда рада была и Ромодановский гетманство Самойловичу дал, а Войско спрашивало меня и гетманство хотело дать мне, Ромодановский не по войсковому поступил и давно меня в пропасть отослал. Слышно, что той стороны Днепра многие города и Лизогуб теперь при вашем гетмане. Хвала богу, что Лизогуб подлизался, а как лизнет, то и в пятках горячо будет. А когда бы мне дали гетманство, я бы не так сделал; если бы и теперь дали мне на один год гетманство или гетман, московский обранец, попович, дал мне четыре полка: Полтавский, Миргородский, Прилуцкий и Лубенский, то я бы знал, что с ними сделать, Крым бы весь разорил». «Теперь у князя Ромодановского и у гетмана войска много, – сказали послы, – ступай к ним и промышляй с ними сообща». «Теперь не прежде, – отвечал Серко, – не обмануть меня; прежде Ромодановский отписал ко мне государскую милость; я, поверя, поехал к нему, а он меня продал за 2000 золотых червонных». «Кто эти червонные за тебя дал?» – спросили послы. «Царское величество, милосердуя обо мне, велел дать их Ромодановскому», – отвечал Серко.

17 марта перед обеднею Серко посылал священника да 11 человек куренных атаманов осматривать царевича; никакого венца, ни орла, ни месяца, ни звезды не нашли, только на груди от одного плеча до другого восемь пятен белых, точно пальцем ткнуты, да на правом плече, точно лишай, – широко и бело. Самозванец говорил им, будто про эти знаки знает царица да мама Марья; теперь, кроме стряпчего Михайлы Савостьянова, никто его не узнает, да и он, кроме его, никому

не поверит, а к царю писать будет. Серко и все козаки еще больше после этого уверились. В тот же день московским послам было объявлено, что их к государю отпустят, но вместе с ними отправят своих козаков, чтобы они сами из уст царского величества о том человеке слово услышали и, приехав на кош, им объявили, и тогда у них свой разум будет.

Старая история! Запорожский кошевой срывает сердце: зачем его не выбрали в гетманы, его, давнего сторонника Дорошенка! Притворяется, что верит самозванцу; козак высказывается: пусть государи переведаются, а мы будем за тем, кто осилит; приговор Запорожью был подписан этими словами, ибо, кто осилил окончательно, тот не захочет более терпеть людей, шатающихся между государями, выжидающих, кто из государей будет сильное. Серку было досадно, что гетман-попович Самойлович получил успех на западной стороне Днепра. Действительно, в начале 1674 года привелось в исполнение давно задуманное предприятие перенести царское оружие на западную сторону. Самойлович получил приказание из Москвы соединиться с Ромодановским и двинуться против Дорошенка, с которым не прекращались бесполезные переговоры о подданстве. Дорошенко с Тукальским присылали и в Москву монаха Серапиона с предложением подданства и с условиями, на которых Дорошенко хотел поддаться великому государю. Дорошенко требовал, чтобы Киев отдан был козакам, чтобы царь вывел из него своих людей, а козаки за то позволят царю, в каком городе угодно, занять крепость своими войсками. Если царь не согласится на это, то Серапион должен был просить обнадеживанья, чтоб Киева не отдавать полякам. Дорошенко требовал, чтобы на обеих сторонах Днепра был один гетман, который владел бы войском и посполством как господарь, как теперь за Днепром, чтоб все его слушались. Гетман с Украйною не на время признают царское величество дедичным государем: так чтобы и гетман на всю жизнь был утвержден, особенно чтобы вольности козацкие в целости пребывали. Чтобы царь не допускал непостоянства некоторых людей украинских, как недавно по нескольку гетманов бывало. Где домовитов много, там порядка нет, особенно когда согласия и послушания не будет: так чтобы приказал государь запорожцам слушаться гетмана.

Касательно рубежа польского в состав Украйны должны входить три прежние воеводства: Киевское, Браславское и Черниговское. Чтобы царь оборонял Украйну и вел наступательную войну против бусурман. У Дорошенка больше всего было на сердце двойное гетманство. «Никогда я этого не уступлю, – говорил Дорошенко, – дело невозможное и в Украйне неслыханное, чтобы гетман на той стороне Днепра когда-нибудь был; не только я, но и вся сторона, которая под моим начальством, на это никак не согласится. При двух гетманах мы никогда ничего доброго не сделаем; пример Польша и Литва: от беспрестанной зависти что там доброго делается? Не хвалюсь, но пусть пан Самойлович такой будет, как я. Козак ли он от прадедов и дедов! Знает ли он Запорожье, речки, проливы морские, реки, самое море? На многих ли войнах бывал? Где чего нагляделся? Когда с монархом дело имел, воевал или договаривался, чтобы теперь уметь начать что-нибудь для услуги царского величества? Если он на себе покажет, что знает все и может что доброе начать, то я ему уступлю и низко поклонюсь, что с меня эту тягость снимет. А то он и козаком-то недавно, случилось ли ему хотя однажды быть в войске? Долго ли был полковником? Все ли наши старшинства – от малого до

великого – перешел? А еще мне пакость делает! Козаков с нашей стороны забирает, на лошадях козацких, украденных с нашей стороны, сам ездит; вора, который, служа у меня, покрал и на ту сторону ушел, не велел выдать: Дмитрияшку ключником, назло мне, сделал. После этого пусть царское величество рассудит, как мы можем согласиться? Как он может мне в нуждах помогать? Хорошо ли, что в Польше два гетмана беспрестанно ссорятся, один другому пакостит и Польша от их несогласия погибает? Кроме того: одною стороною Украины не только от турок, но и от орды не оборонюсь. Не обо мне дело: у меня нет детей, наберу тысячу, другую, третью нехоты, пойду в поле – и там проживу. Дело идет обо всех людях, которые от моего поступка могут погибнуть. Если царское величество возложит на меня гетманство обеих сторон, то буду стараться услужить. Если царское величество будет слушаться Самойловича, то добра не видать. Таких найдется немало, которые, сидя в покое, господствуют, о добре общем христианском не стоят. Дело понятное, что нежинский протопоп на соединение Украины под моим гетманством не согласится: тогда бы пришлось им бояться пастыря бдящего, а теперь что хотят, то творят».

Самойлович платил Дорошенку той же монетою: писал в Москву, что Дорошенко с Тукальским о том только и думают, как бы властвовать на обеих сторонах с помощью турок; что он, Самойлович, не хочет иметь с ними никаких сношений, что Дорошенко вредит ему самым нехристианским образом, присылает зажигателей на восточную сторону, и целые города горят. Царь успокаивал гетмана, приказывал к нему, что Дорошенко принят будет в подданство только под условием оставаться гетманом на одной западной стороне. Действительно, Дорошенку велело было сказать: «Царское величество дивится, что он, гетман Петр Дорошенко, укоряет гетмана Ивана Самойловича за низкое происхождение и будто он никаких поведении Войска Запорожского не знает. Надобно ему, Дорошенку, припамятовать прежних гетманов, кроме Богдана Хмельницкого, знатной ли фамилии и знающие ли были люди Самко, Цыцура, Безпальй, Барабаш, Пушкаренко, Золотаренко, Брюховецкий: только выбраны были вольными голосами по правам Войска Запорожского, потому что государь не запрещает Войску Запорожскому выбирать гетманов. Нечего укорять Ивана Самойловича, что он с монархами не договаривался: ему этого делать нельзя, потому что он под рукою царского величества: как он, Дорошенко, своими договорами Войско Запорожское успокоил – это всему свету известно; а гетман Иван Самойлович и все Войско Запорожское на восточной стороне в покое живут. В Польше и Литве из древних лет гетманы великие и польные, а что между ними несогласие, то сделалось по воле божией, и в пример того писать не годится». Также Дорошенку велено было сказать, что сейчас нельзя сделать его гетманом обеих сторон; но если весною войска обеих сторон, вышедши в поле, захотят иметь его единственным гетманом по правам своим козацким, то царское величество его утвердит. Но Дорошенко, толкуя постоянно о правах и вольностях козацких, не хотел признать главного права козаков – права на выбор гетмана, опасаясь, что они могут воспользоваться этим правом не в его пользу. «Не подлинная это вещь, – отвечал Дорошенко, – потому что известные люди не хотят на это позволить, и я неподлинными вещами дал бы себя провести, а потом некому было бы меня защищать от турок и татар. Видя недружбу пана Самойловича, нечего мне ждать от него помощи. Мне говорят, что царскому

величеству трудно сменить Самойловича! Но ведь по милости царского величества дано ему гетманство. минуя заслуженнейших людей и не спрашивая нашу братью козаков; козаки были принуждены взять его в гетманы, потому что князь Ромодановский утвердил. Так и теперь, если царское величество захочет, возможно. Хорош будет порядок, когда Войско будет в послушании двоих гетманов, в недружбе живущих! Я захочу того, он другого: может ли выйти отсюда доброе?»

Понятно, что Самойлович не мог успокоиться, зная характер и притязания чигиринского гетмана, но кроме Дорошенка он боялся еще друзей Многогрешного. «Многогрешный с советниками своими по воле ходят и, разумеется, что-нибудь умышляют. – писал гетман к черниговскому полковнику Бурковскому. – Грибович уже в Запорогах, наши своими глазами его видели, да и те (т.е. Многогрешные) неведомо где? Бог весть, что из того будет! Не хитр был и Стенька, а много беды наделал! И этим не надобно было доверять: слышали мы не раз своими ушами, что хотели стан раскинуть около самой Москвы; так, бывало, явно брешут». Разделение гетманства точно так же не нравилось и Самойловичу, как Дорошенку. «Если оба гетмана, – говорил Самойлович царскому послу Бухвостову, – пошлют против неприятеля своих наказных гетманов, то боярин, который придет с государевыми людьми, не будет знать, которому гетману угодить? При польском владычестве никогда двух гетманов не бывало. А что гетман Богдан Хмельницкий бил челом, чтобы быть другому гетману, то он хотел дать гетманство какому-нибудь родственнику своему, да и войска в то время было на обеих сторонах много, а теперь на той стороне малолюдство; по-старому захочет Дорошенко этою стороною славен быть и подыскивать подомною. Если же царское величество хочет принять Дорошенка для отвращения турецкой войны, то война этим не отвратится; приняв Дорошенка, надобно будет его от неприятеля оборонять и поставить войска по городам: в Чигирине, в Каневе, в Умани, в Черкасах, потому что турецкий султан будет воевать Дорошенка за измену. Как поддастся Дорошенко великому государю, то будет беспрестанно посылать в Москву, прося помощи и для других дел, через наши города; эти посланцы всегда будут нам докучать, всего просить, насильно отнимать и плевелы всякие в народ пускать, и будем мы у них точно в подданстве. Дорошенко укоряет меня за низкое происхождение; но если б посмотрел и зеркало правды, то мог бы увидеть, что я не только равен, но и честнее его родом; какое же я получил воспитание у родителей моих, в том свидетель бог и люди честные: пришедши в возраст, не был я празден, но тотчас занялся войсковыми делами, проходя разные чины; после полковничества получил судейство генеральное, которое требует совершенного человечества, т.е. страха божия и рассуждения. Нарекает Дорошенко и на отца Симеона: подай бог, чтоб много таких было, как отец протопоп. Митрополит Тукальский погубил Выговского: когда король Казимир был под Севском и Глуховом, то он приводил Выговского к тому, чтобы встал на королевское величество. Выговский послушался его, писал к Серку и к Сулимке, чтоб они, собравшись с Войском Запорожским, шли к нему, а он хотел короля у Днепра перенять. Но грамоты попались Тетере, который вместе с Маховским и убил Выговского, а Тукальского в Мариенбург послали в заточение. Тукальский же погубил и Брюховецкого, прельстив его булавою на обеих сторонах Днепра. Демка Многогрешный сначала слов непристойных на государя и на синклит не



говаривал, а как начал пересылаться с митрополитом и Дорошенком, то вознесся в гордость и стал говорить и писать хульные речи на государя и государство. Дорошенко погубил Степана Опару, который выбран был войском после Тетери, и сам сделался гетманом насильно, с помощью орды, а не вольными голосами».

Чтобы покончить это дело и заставить Дорошенко поддаться на всей воле великого государя или свергнуть его с гетманства, Самойловичу и Ромодановскому надобно было двинуться за Днепр, Матвеев получил письмо от протопопа Семена Адамовича: «Гетман Иван Самойлович во всяких делах совершенно на волю Божию и царскую и на твое, благодетеля моего, заступление положился и ничего мимо указа царского и твоего совета не делает. Теперь по указу государеву собрался с полками в поход и дорогою узнал, что князь Трубецкой обещает Дорошенку гетманство на обеих сторонах, обещает собрать раду чернецкую для козаков обеих сторон, Сам гетман своею рукою писал об этом ко мне; как он выходил в поход, то у нас с ним такой приговор учинился: если ему от чего-нибудь будет скорбь, то пишет ко мне, а я отписываю об этом к тебе, благодетелю моему милостивому: мы теперь по боге и по царском величестве иного, кроме милости твоей, заступника не имеем. Не отрини нас от своей милости, как начал благодетелем нам быть, так и соверши». В Киев поскакал гонец с указом Трубецкому не пересылаться с Дорошенком насчет подданства, а если Дорошенко пришлет, то отвечать, что это дело положено на Ромодановского и Самойловича: пусть с ними и сносятся. 31 декабря Самойлович рушился из Батурина и 8 января 1674 года достиг Гадяча; сюда 12-го числа пришел и князь Ромодановский; переговоривши обо всем, 14-го оба полководца выступили к Днепру, имея вместе тысяч 80 войска. Несмотря на то что Дорошенко «предавался в отеческую милость его превысочества, великого визиря», турки не защитили его на этот раз. 27 января сдался Крылов; 31 января товарищ Ромодановского, Скуратов, с русскими и козацкими полками подошел под Чигирин, выжег все посады, побил Дорошенковых людей и преследовал их до городской стены. 4 февраля Ромодановский и Самойлович заняли Черкасы. 9 февраля, только что Ромодановский и Самойлович подошли к Каневу, находившийся тут Дорошенков генеральный есаул Яков Лизогуб и каневский полковник Гурский со всею старшиною явились в табор к соединенным полководцам и били челом о подданстве царскому величеству; все каневцы были приведены к присяге. Когда в Москве узнали о начале неприятельских действий за Днепром, о взятии Черкас и о посылке Скуратова под Чигирин, то к воеводе и гетману поскакал полковник и стрелецкий голова Колобов – спросить о здоровье, похвалить за службу, но потом спросить: «Зачем боярин и гетман со всеми ратными людьми не пошли сообща под Чигирин, а послали Скуратова да полковников козацких? Те в предместье сожгли дома, в домах всякие запасы и живность и, не учиня никакого промысла над самим Чигирином, отступили назад, тогда как надобно было в предместье и в других местах устроить крепость и осадить Дорошенка в Чигирине накрепко. Тогда, видя Дорошенка в осаде, все полки начали бы сдаваться. В Черкасах великий государь указал учинить самую твердую крепость и в других местах около Чигирина, чтоб не пропускать в этот город хлебных запасов и не выпустить из него осадных людей. Если поддадутся многие полки той стороны, то собрать раду и, как съедутся полковники, начальные люди и козаки, говорить им, чтобы они выбрали вместо Дорошенка другого гетмана, доброго, досужего, особенно

верного человека. Ханенка призывать в подданство». «Потому мы под Чигирин не пошли со всеми силами, – отвечали Ромодановский и гетман, – что там при Дорошенке было воинских людей больше десяти тысяч, кроме поселян, которых он согнал из окрестных мест для обороны, пушек больше двухсот и всяких запасов доволство, а замок чигиринский на каком пригожем месте поставлен – всяк бывший там знает; приступать к нему ниоткуда нельзя, шанцы в зимнее время поделать также нельзя, долго стоять без конских кормов войску трудно, на стороне взять негде, и пришлось бы нам, постояв и войско истомя, со стыдом отступить. А теперь все делается хорошо». Ромодановский и гетман не сочли нужным оставаться на западном берегу и перешли в Переяславль с главными силами, оправдываясь тем, что с 5 до 15 февраля зимний путь был в разрушение от больших дождей, снегу по обе стороны Днепра не было, идти саням нельзя; притом же лошади падают от бескормицы и ратные люди бегут беспрестанно. Гетман говорил Колобову с великою доукою, чтобы великий государь велел распустить козацкие полки, потому что такой тяжелой службы не только не видано, но и не слыхано.

Несмотря, однако, на отступление главных вождей, дела на западной стороне шли удачно. 2 марта московский полковник Цеев с копейщиками, рейтарами, драгунами и солдатами да генеральный есаул Лысенко схватились с дорошенковым братом Григорием и с татарами за 15 верст от Лысенки и разбили наголову. Разбитые заперлись было в Лысенке, но были захвачены здесь с помощью жителей, попался в плен и Григорий Дорошенко. Узнавши об этом поражении, Гамалея и Андрей Дорошенко бросились из Корсуни в Чигирин, а оставшиеся в Корсуни полковники – корсунский, браславский, уманский, калницкий, подольский – добились челом великому государю в подданство. 4 марта Ханенко написал киевскому воеводе Трубецкому следующее письмо: «Покорно молю, исходатайствуй, чтобы его царское величество, как отец щедрый, пожаловал меня своею милостию. Верою и правдою служил я королю и Речи Посполитой, без опасения оставил жену и детей в Польше, безо всякого желованья кровь свою проливал, а теперь принужден бежать сюда по вражде и нестерпимой злобе гетмана Яна Собеского, который без вины старшего сына моего мучительно велел убить и на мою жизнь умышляет. Обещаюсь быть в подданстве его царского величества». Ханенко не ограничился одним письменным заявлением, но явился с 2000 козаков в полк к Ромодановскому и Самойловичу.

17 марта, в день именин царских, собралась в Переяславле рада; собрались полковники восточной стороны: киевский Солонина, переяславский Райча, нежинский Уманец, стародубский Рославец, черниговский Борковский, прилуцкий Горленко, лубенский Сербин; с западной стороны: генеральный есаул Лизогуб, обозный Гулик, судья Петров, полковники: каневский Гурский, корсунский Соловей, белоцерковский Бутенко, уманский Белогруд, торговецкий Щербина, браславский Лисица, поволоцкий Мигалевский. Перед начатием рады Ханенко со всем товариществом своим положил войсковые клейноты, булаву и бунчук, полученные от короля. Ромодановский объявил, что так как войско западной стороны учинилось у великого государя в вечном подданстве, то по царскому указу выбрали бы себе на свою сторону гетмана. Старшины и войско отвечали, что им многие гетманы не надобны, от многих гетманов они разорились, пожаловал бы великий государь, велел быть на обеих сторонах одному гетману,

Ивану Самойловичу. Самойлович стал было отговариваться, но поднялся крик, что им люб, старшины схватили его, поставили на скамью и покрыли бунчуком, причем изодрали платье на гетмане. Старшина была утверждена старая, и били челом, чтобы гетману Самойловичу жить в Чигирине или Каневе, а если нельзя на западной стороне, то по крайней мере в Переяславле. Потом били челом, чтобы государь велел в Чигирине и Каневе быть своим ратным людям. Ханенка сделали уманским полковником. После рады пошли все обедать к князю Ромодановскому, все уверяли, что вседушно ради служить великому государю и промышлять над бусурманами. В самый обед доложили князю, что приехал посланец от Дорошенка; не предчувствовал новый гетман обеих сторон Днепра Иван Самойлович, что в этом посланце Дорошенковым готовился ему преемник: то был генеральный писарь Иван Степанович Мазепа. Мазепа начал перед князем смиренную речь: «Обещался Дорошенко, целовал образ Спасов и пресв. богородицы, что быть ему в подданстве под высокою царскою рукою со всем Войском Запорожским той стороны: великий государь пожаловал бы, велел его принять, и боярин князь Григорий Григорьевич взял бы его на свою душу, чтобы ему никакой беды не было». «Скажи Петру Дорошенке, – отвечал боярин, – чтобы он, надеясь на милость великого государя, ехал ко мне в полк безо всякого спасенья». Тут же разнеслась весть, что Иосиф Тукальский ослеп в Чигирине.

Порадовали Москву вести из Переяславля, но беспокоило Запорожье с своим царевичем. Уже послан был указ Ромодановскому, что, если самозванец из коша пойдет куда-нибудь для воровства, посылать против него войско московское и малороссийское по совету с гетманом Самойловичем. 1 мая явился в Москву запорожский посланец Прокопий Семенов с товарищами и подал грамоту «Помазаннику божию, многомилостивому свету и дыханью вашего царского пресветлого величества верные слуги, Войско Запорожское, днепровское, кошевое, верховое, низовое, живущее на лугах, на полях, на полянках и на всех урочищах днепровских, и полевых и морских». Серко объявлял в грамоте о приезде к ним молодого человека, называющего себя царевичем Симеоном, излагал рассказ самозванца о своих похождениях, скрывши только о знакомстве с Разиным, и в заключение писал: «Сохраняем его у себя потому, что называется сыном вашего царского величества, стережем его, от нас никуда не уйдет; покажи милость посланным нашим, чтобы от вашего царского величества услышали, правда ли то?» Посланцы подали и письмо к царю от мнимого сына его: «Бью челом я, сын твой, благочестивый царевич Семен Алексеевич, который похвалился было при вашем царском пресветлом величестве, батюшке моем, на думных бояр, и за то меня хотели уморить и не уморили, потому что я и по се время твоими молитвами, батюшки моего, жив ныне на славном Запорожье при Войске Запорожском, при верных слугах вашего царского пресветлого величества. Когда, батюшко мой, сам своими очима меня увидишь и веры поймешь, когда я пред твоим царским лицом стану и к ногам паду, тогда правду мою познаешь, бог всемогущий вся весть. И ныне я хотел к батюшке моему пойти, да чтоб на дороге зла какова не было, а Войско верно тебе, батюшку моему, служит, по их войсковому челобитью пожалуй, о чем бьют челом для лучшего промыслу над бусурманы, чтобы не токмо полем доказывали над бусурманы, над неприятели и побеждали, но и водою в их прямую землю проходили и над ними знатную победу одерживали. Также, припадая низко, челом бью и жалуясь батюшку моему на

Семена Щеголева да на Василья Чадуева, которые без указа вашего царского величества, взяв себе злый замысел, хотели меня из пищали застрелить». «Этот лист, – отвечал царь Серку, – нашему царскому величеству ныне и никогда не потребен. Ты презрел нашу премногую милость и свое обещание, вору и самозванцу дал печать и знамя, прежде приезда Чадуева не дал нам о нем знать, священника и знатных козаков посылал вора расспрашивать без нашего указа, с Дорошенком без нашего указа ссылался. Сын наш, царевич Симеон, скончался 18 июня 1669 года, мощи его погребены в церкви архистратига Михаила при нас, при александрийском патриархе Паисии и московском Иоасафе. И вам бы, кошевому атаману, свое обещание помнить, самозванца и Миюска прислать к нам скованных за самым крепким караулом, а пока не пришлете, посланцы ваши будут оставаться в Москве. Чайки (лодки) и пушки пришлем, сукна и золотые посланы, но удержаны в Севске, пока вора пришлете».

12 августа Серко дал знать Ромодановскому, что он отправил вора к великому государю. Серко писал в грамоте: «Человека, который именуется вашего величества сыном, мы за крепким караулом держали, честь не ему самому, а вашему царскому пресветлому величеству, свету, нашему дыханию отдавали, потому что вашим прирождением именуется; теперь, как верный слуга, отсылаю его к вашему величеству, свое обещание исполнить хочу и верно служить до последних дней живота; с Дорошенком ссылался я, желая привести его на службу к вашему царскому величеству: смилуйся, великий государь, пожалуй нас всякими запасами довольными, как и на Дону. Мы просили у гетмана Ивана Самойловича перевоза Переволоченского, не дал, а мы просили не для собирания пожитков, как иные выпрашивают, просили на защиту веры христианской. Все поборы, которые с христиан на Украине берут, вашему величеству не доносят, а нам и одного перевозу не дают».

17 сентября у земляного города против Смоленских ворот стоял целый приказ московских стрельцов с головою Яновым, принимали вора и самозванца, ставили на ту самую телегу, на которой везли Стеньку Разина, приковывали руки к дыбе и за шею. Кончивши эту церемонию, повезли Тверскою улицею в Земский приказ. В тот же день все бояре, окольные и думные люди собирались на земский двор для розыска.

«Я породы польской, роду Вишневецких, звали отца моего Еремеем, меня зовут Семеном. Отец мой жил в Варшаве, под Варшавою поймали меня немцы и продали на реке Висле купцу глуховскому, а тот продал литвину. Жил я в Глухове недель с пять и сбежал с товарищами, шли на Харьков и Чугуев к Донцу, с Донца на Дон, с Дону пошел я с Миюском в Запороги и хотел идти в Киев или в Польшу; но Миюска начал мне говорить, чтоб назвался я царевичем; я таким страшным и великим именем назваться не смел, но Миюска хотел меня убить, и я из страха назвался. А больше еще Миюски принудил меня к такому страшному имени Серко, хотели было, собравшись, идти войною на Московское государство и думали бояр побить. Стеньки Разина я не знал, узнал его уже в то время, как привели его козаки на Дон скованного».

Повели в застенок, подняли:

«Я мужичий сын, жил отец мой в Варшаве, был мещанин, подданный князя Дмитрия Вишневецкого, пришел жить в Варшаву из Лохвицы, звали его Иваном Андреевым, прозвище Воробьев, а мне прямое имя Семен; воровству учил меня

Миюска, который породю хохлач. Хотели мы собрать войско и, призвав крымскую орду, идти на Московское государство и побить бояр».

С огня говорил те же речи.

Того же числа великий государь указал, и св. патриарх Иоаким, бояре, окольниковые и думные люди приговорили вора и самозванца казнить такую же смертию, какою казнен Стенька Разин. Приговор был исполнен в тот же день; на Красной площади самозванец казнен и на колья разбит, а на другой день перенесен на болото и поставлен с Стенькою Разиным. И пожаловал государь кошевого атамана Ивана Серка, велел послать два сорока соболей, по 50 рублей сорок, да две пары, по семи рублей пара. Серко бил челом: «Устарел я на воинских службах, а нигде вольного житья с женою и детьми не имею, милости получить ни от кого не желаю, только у царского величества: пожаловал бы великий государь, велел дать в Полтавском полку под Днепром городок Кереберду». Городок атаману и Переволоченский перевоз войску были даны. Успокоились насчет Серка; но надобно было управляться с Дорошенком, который не думал приезжать в Переяславль и отдаваться в руки Ромодановского и ненавистного Самойловича, теперь гетмана обеих сторон Днепра. Уже 5 мая написана была в Москве царская грамота к Дорошенку: «Ведомо нам учинилось, что ты ныне по неприятельским прелестным письмам под нашу высокую руку несклонен, в мысли своей сумневаясь, непостоянен и начал быть в шатости, беспрестанно ссылаешься с турским султаном и с крымским ханом. А мы, великий государь, имеем надежду на господя бога и на пресвятую богородицу, в которой надежде были и предки наши, и отец наш, и мы, великий государь, живем и движемся, и царство наше в ее жребии. А если что по твоему навету случится от бусурманского нашествия святым Божиим церквам и монастырям, и в том какой ответ дашь в день страшного суда Божия? Вспомни прежних гетманов, не сохранивших своего обещания, Выговского и других! Где их жены и дети? Не в сиротстве ль и не в нищете ль пребывают? И тебе бы, помня это, учиниться под нашею высокою рукою в подданстве без отлагательства, не опасаясь нашего гнева; а мы тебя и все твое родство будем держать в своем милостивом жалованье».

25 мая приехал в Чигирин посланец от Ромодановского, стрелецкий сотник Терпигорев. «Будь в подданстве у великого государя, – говорил сотник Дорошенку, – и ступай в Переяславль к боярину и воеводам для присяги; сам не хочешь ехать, пошли тестя своего, Павла Яненка, или брата Андрея, или других каких-нибудь знатных людей в заложники, и боярин пришлет к тебе голову московских стрельцов для переговоров». «Ничего этого сделать мне теперь нельзя, – отвечал Дорошенко, – потому что я подданный турецкого султана; сабля султанова, ханская и королевская на моей шее висят. Прежде я хотел быть в подданстве у царского величества, но старшина и полковники решили быть в подданстве у султана; а что теперь старшина и полковники перешли в подданство великого государя, так это только для соболей, не вечно, после изменят. Если боярин и гетман придут под Чигирин, то я рад им отпор давать, только бы татар дожидаться, да и без того татары у меня есть». Терпигорев был задержан. Дело объяснялось тем, что к Дорошенку пришли на помощь татары в числе 4000 и вместе с чигиринскими козаками в мае же месяце осадили Черкасы, где сидел московский воевода Иван Вердеревский: осажденные отбили неприятеля и гоняли его на пространстве 15 верст до реки Тясмина. Брат Дорошенка Андрей с

козаками серденятами и *черемисами* взял обманом местечки Орловку и Балаклею. сказавшись царским подданным. Жители были отведены в плен татарами, а старшине буравом глаза вывертели, других повесили. Но жители Смелого не дались в обман, разбили Андрея и гнали его до Чигирина. По этим вестям Ромодановский и Самойлович отпустили за Днепр рейтарского полковника Беклемишева да переяславского полковника Дмитрашка Райчу с 5 козацкими полками; 9 июня у речки Ташлыка, между городков Смелого и Балаклеи, Беклемишев и Райча сошлись с неприятелем и поразили его; много мурз полегло на месте, Андрей Дорошенко ушел раненный. Чтоб получить поскорее новую помощь от татар и турок, Дорошенко отправил к хану и султану уже знакомого нам Ивана Мазепу с 15 невольниками, козаками восточной стороны, в подарок. Но Серко перехватил Мазепу, задержал его у себя, а грамоты переслал к Самойловичу, который препроводил их в Москву. «Знатно, – писал Самойлович, – что Серко сделал это для объявления своей верной прежней службы, чтобы исправить свой нерассудительный поступок». Серко сделал еще больше: по первому требованию Ромодановского прислал к нему самого Мазепу, но при этом Серко писал Самойловичу, прося прилежно со всем войском, чтобы его никуда не засылали. Так назывались польские татары, изменившие королю. Самойлович дал слово и просил царя отпустить Мазепу назад, а то войско и так уж попрекает ему, гетману, будто он посылает людей на заточение.

Мы познакомились с Мазепой мельком, когда он приезжал в Переяславль от Дорошенка, при котором был генеральным писарем. Но до нас дошло несколько известий и об его предыдущей судьбе. Мазепа был родом козак, получил шляхетство от короля Яна-Казимира и был при нем комнатным дворянином. Рассказывают, что он должен был оставить Польшу по следующему случаю: у него было имение на Волыни. по соседству с паном Фалбовским. Слуги донесли последнему, что сосед Мазепа часто бывает у них в его отсутствие и очень благосклонно принимается госпожою, с которою у него идет постоянная переписка. Однажды Фалбовский выехал куда-то в дальний путь; на дороге нагоняет его холоп, везущий письмо от госпожи к Мазепе с приглашением приехать, потому что мужа нет дома. Фалбовский велел слуге ехать к Мазепе, отдать письмо, просить скорого ответа и привезти этот ответ к нему. Посланный скоро возвращается с запиской, что Мазепа летит на свидание. Фалбовский берет письмо и ждет на дороге. Мазепа едет: «Доброго здоровья!» – «Доброго здоровья!» – «Куда изволите ехать?» Мазепа выдумывает какое-то место, куда будто бы нужно ему ехать. Тут Фалбовский хватает его за шею: «А это что? Чья это записка?» Мазепа обмер; просит извинения, говорит, что в первый раз едет. «Холоп! – кричит Фалбовский слуге. – Сколько раз пан был у нас без меня?» «Столько же, сколько у меня волос на голове», – отвечает слуга. Мазепа должен признаться во всем, но признание не помогло. Фалбовский велит раздеть грешника донага и привязать на его же собственную лошадь, лицом к хвосту. Раздраженная ударами кнута, испуганная выстрелами, раздавшимися над ее головою, лошадь понеслась изо всех сил домой через чащу леса и остановилась прямо у ворот панского дома. Выходит слуга и видит – чудовище! Бежит назад, созывает всю дворню, и та насилу признает своего пана. Это было в 1663 году; но в том же году Мазепа получил важное поручение – ехать к гетману Тетере и от него по благоусмотрению гетмана ехать или к Самку в Переяславль уговаривать

его поддаться королю, или в Запорожье подговаривать тамошних козаков также отстать от Москвы. Как исполнено было поручение, мы не знаем; но, по всем вероятностям, Мазепа, не желая возвращаться в Польшу, где и до происшествия с Фалбовским не любили его как козака, остался у западных козаков, где при своих способностях и образовании дослужился до звания генерального писаря.

Теперь вместо Константинополя Мазепа является в Москве в виде пленника, которого участь еще нисколько не обеспечивалась просьбою Самойловича. Мазепу повели к допросу в Малороссийский приказ перед начальника его, Артамона Сергеевича Матвеева. Мазепа спешил выиграть расположение царского любимца длинным, обстоятельным ответом; знали, что он приезжал в Переяславль с обещанием подданства от Дорошенка, а потом поехал в Крым поднимать хана на государевы украины, и вот Мазепа начал рассказ с поездки своей в Переяславль. «Присылали к Дорошенку старшина города Лисенки, объявляя, что они поддались царскому величеству, чтобы он также поддался, ехал бы к ним на раду в Корсунь и привез с собой булаву и бунчук. Дорошенко послал меня с отписками к той старшине да со мною же послал лист к князю Ромодановскому, а при отпуске велел мне присягу учинить на том, что я не останусь в Корсуни у жены и, будучи на раде, стану говорить боярину и старшине восточной стороны по его, Дорошенкову, приказу, а приказывал он говорить старшине: если они добьются того, что ему быть гетманом на той стороне Днепра, то он готов быть в подданстве у государя; если же ему гетманом быть не велят, то чтоб знатные государевы люди при мне присягнули, что ему ничего дурного не сделается. Но когда я приехал в Переяславль, то в тот самый день рада уже вершилась до меня, и я один Дорошенков лист отдал боярину, а другой – старшине. Князь и гетман писали со мною к Дорошенку, чтоб приезжал к ним безо всякого спасенья. Он отвечал, чтобы прислали в Черкасы честного человека, а он пришлет от себя в атаманы своих людей. Боярин прислал в Черкасы голову московских стрельцов. Тогда Дорошенко созвал раду в Чигирине и спрашивал: посылать ли аманатов в Черкасы или нет? Положили – посылать; но вот пришла весть из Крылова, что идут Серковы посланцы; аманатов задержали, хотели прежде узнать, что скажут запорожцы. Те объявили, что Дорошенко булавы и бунчука в Переяславль не отдавал и сам бы не ехал, потому что гетман должен быть по-прежнему на западной стороне; что запорожцы хотят соединиться с ним и с ханом крымским заодно, как было при Богдане Хмельницком, писали они к хану, чтобы он помирил Серка с Дорошенком, чтобы Дорошенко для подтверждения гетманства и для союза ехал в Запорожье. Дорошенко на Запорожье не поехал, опасаясь государевых людей, а присягнуть вместо себя послал козака. Я стал проситься у Дорошенка, чтобы отпустил меня к жене в Корсунь. Ты хочешь изменить! – сказал мне на это Дорошенко. – Видно, тебя Ромодановский соболями прельстил! Велел мне при митрополите Тукальском присягнуть, что буду служить ему вперед и, будучи в Переяславле, не говорил ли про него чего дурного? Я присягнул, и дней через пять послал меня к визирю турецкому с листами».

Служа великому государю, Мазепа объявил: «Дорошенков резидент в Константинополе Порывай писал: хан крымский конечно на том положил – помирать поляков с турками и обратить войско на Московское государство», Мазепа рассказал кой-что и о самозванце Семене, который был при нем в Запорожье: Серко называл его прямым царевичем и сказал мне: просит царевич у

него войска ста с два и с ними хочет ехать на остров Чертомлик, а оттуда писать на Дон к черни, чтобы на Дону всех старшин вырубили и к нему приклонились; а когда чернь приклонится, то он, собрав по городам людей, пойдет к Москве. Серко ему говорил: «Зачем тебе собирать войско? Если хочешь ехать в Москву, то я тебя и так отпущу с провожатыми». «Нельзя мне ехать в Москву, – отвечал самозванец, – меня бояре убьют». С тех пор Серко велел его беречь, чтобы он куда-нибудь не уехал из Сечи. А как были у Серка царские посланцы, то вор, взявши лошадей, гонял за ними, хотел их порубить; Серку дали знать, и он тотчас послал за ним козаков, которые не дали ему убить посланцев.

Мазепа был неистощим в важных показаниях: «Крепка и подлинна приязнь у Собеского с Дорошенком. Приезжал Ореховский в Чигирин уговаривать Дорошенка, чтобы, покинув протекцию турецкую, обратился в подданство к Речи Посполитой; Ореховский подал и статьи, на которых должно было свершиться это подданство: 1) Быть комиссии о том, какие убытки униаты сделали церквам православным в Польше и Литве. 2) Границе Войска Запорожского быть до воеводства Киевского и Браславского; однако обывателям этих воеводств должен быть сыскан особый способ вознаграждения от Войска Запорожского. 3) Войскам польским кварцянским никогда в Украине не быть, разве только само Войско Запорожское их потребует. 4) Дорошенко должен послать в Варшаву бунчуки турецкие: если же по каким-нибудь причинам нельзя бунчуков прислать, то пусть пришлет брата с другими козаками в аманаты, за что Собеский обещал выпроводить коменданта из Белой Церкви. И то положено между статьями: нечего упоминать и просить у Речи Посполитой таких вольностей, какими козаки пользуются на восточной стороне под Москвою. Какие это вольности? Посмотри, что терпит народ под воеводами московскими? Гетман нынешний выбран не по вольностям и правам войсковым, под бердышами и мушкетами; дети его забраны в неволю в аманаты; власть вырвана у гетмана из рук, потому что виновных козаков наказывать не может, а должен отсылать их в Москву в неволю; наконец, бесчестье Многогрешного! Собеский указывал Дорошенку средство защиты от царской рати: послать в Варшаву с предложением подданства, а он, Собеский, тотчас напишет царю грамоту, чтобы не велел своим войскам наступать на подданного Речи Посполитой. Поляки, – продолжал Мазепа, – просят хана и Дорошенка, чтобы уговаривал султана помириться с Польшею и поднять войну на Московское государство. Турки говорили: какие разумные люди ляхи! Вместо того чтобы нам у них в Кракове обедать, будем теперь под Киевом ужинать. Резидент Дорошенка в Константинополе писал гетману: не кручинься, что потерял Украину, нетрудно ее назад взять: нет у вас на Украине Крита и Каменца-Подольского. Султан нынешней войною хочет взять Хмельницкого из неволи с собою про запас: если бы Дорошенко изменил, то Хмельницкого на его место поставить». Мазепа объявил подробно и о средствах Дорошенка в Чигирине: всего и с чигиринскими жителями около 5000 человек. Пушек больших и малых в обоих городах с 200 будет: пушечных запасов много; хлебных запасов у жителей будет на год, а у ратных запасов никаких нет и солью очень скудно. Дорошенко говаривал тайно: как услышу приход Москвы, то побегу из Чигирина к турецкому султану; а теперь он сидит в осаде разве для того, что есть к нему грамоты от турецкого султана или Собеского о помощи. Большая половина чигиринских жителей Дорошенка не любят, желают, чтобы он поддался царскому величеству, а родичи и приятели в



одной с ним думе. Сотник Блоха уговаривает конных козаков тайно, чтобы соединились с войском царским. Дорошенко и старшина говаривали между собою, что если придет под Чигирин царское войско, то им лучше вести переговоры с князем Ромодановским, чем с своими козаками.

Мазепою остались очень довольны в Москве: он видел царские пресветлые очи, пожалован государским жалованьем и отпущен без задержанья; отправлена с ним призывная грамота к Дорошенку и чигиринским жителям; но Иван Степанович отправлялся в Чигирин не с тем, чтобы там остаться: он должен был возвратиться в полк к Ромодановскому и гетману, которым наказано было беречь его, чтобы никуда не ушел.

Отправляя в Москву Мазену, Самойлович бил челом, чтобы государь отпустил к нему сыновей его. «Твои дети, – был ответ, – пребывают при его царском величестве в премногой милости, которая никогда отменна не будет; отпустить же их к тебе за нынешними украинскими смутами невозможно, чтобы украинские народы непокорные не подумали, что гетманские сыновья высланы из Москвы по немилости». Предлог отказа был не очень искусно придуман, но пример четырех гетманов заставил Москву быть подозрительною.

Между тем военные действия продолжались на западной стороне. 23 июля Ромодановский и Самойлович подошли к Чигирину, поделали шанцы и начали беспрестанную стрельбу в город. Много домов было разбито, много козаков и горожан перебито и переранено. Дом Тукальского также был разбит гранатами; митрополит ушел в верхний город и там заболел от страха; крымский хан прислал своего доктора лечить его. В конце июля московские войска под начальством копейного и рейтарского строя полковника Сасова и других чинов начальных людей, а малороссийские под начальством бунчужного Леонтья Полуботка и черниговского полковника Борковского отправились под Чигирин с крымской стороны. В двух верстах от города встретил их брат гетманский. Андрей Дорошенко был разбит, победители преследовали его до городской стены и истребили весь хлеб в окрестностях Чигирина, потерявши только шесть человек убитыми и одного прапорщика, взятого в плен. Но в то же время пришла весть, что крымский хан переправился через Днестр под Сорокою, где строят мост для переправы самому султану со всем турецким войском, которое двинется в Умань, а из Умани прямо под Киев. 6 августа турецкий отряд явился под Ладыжином. Здесь сидел известный своими партизанскими подвигами против татар и турок грек Анастас Дмитриев, из купца ставший начальником вольной сбродной дружины, козацко-польско-волошской. С Анастасом же заперлись в Ладыжине полковник Мурашка и Савва; ратных людей было 2500 человек да мещан с женами и детьми с 20000, из них боевых людей тысячи с четыре, пушка одна, и та испорчена, вал худой, запасов никаких. 80 турецких пушек загремело против города. Мурашка с протопопом и сотником перебежали в неприятельский стан; но защитники Ладыжина выбрали в полковники Анастаса, чтоб биться до смерти. Отбивши пять приступов, ладыжинцы отчаялись, сдались и были все объявлены пленными. Анастас, переодетый, пошел за простого мужика и успел потом освободиться из плена. Мурашку взяло раскаяние: стал он браниться, называл визиря и султана воришками, проклинал Магомета и потерял голову.

Из-под Ладыжина турки двинулись под Умань. Уманцы сдались; турки, оставя залог в их городе, двинулись далее по Киевской дороге; но уманцы,

раздраженные насилиями турецкого гарнизона, перерезали его и заперлись в городе. Визирь и хан, услыша об этом, возвратились и взорвали Умань подкопом. С другой стороны татары пошли освобождать Чигирин; но, как скоро 9 августа появились они под городом, Ромодановский и Самойлович отступили к Черкасам, куда пришли 12 августа. На другой день явились к Черкасам и хан с Дорошенком: от второго часа дня до вечера был бой; государевы люди, как доносили воеводы, многих татар и козаков побили и пришли в обоз в целости; но выходцы из неприятельских полков объявили, что хан и Дорошенко переправляются на восточную сторону Днепра, а турецкий визирь от Ладыжина прямо идет на Черкасы. По этим вестям Ромодановский и Самойлович сожгли Черкасы, оставленные еще прежде жителями, переправились на восточную сторону и стали против Канева. В то же время татары явились с азовской стороны; подошли под степные города Змеев и Мерехву и побрали многих жителей в плен; но харьковский полковник Григорий Донец выступил против них, настиг за Торцом, на речке Бычку, побил наголову, освободил всех пленников, захватил мурзу татарского и одного знатного турка.

Страх, нагнанный на Украину турецким и татарским нашествием, не был, однако, продолжителен: в первых числах сентября турки были уже на дороге в свою землю; хан и Дорошенко, проводя султана до Днестра, повернули назад и сначала, казалось, имели намерение перейти на восточную сторону Днепра: загоны их уже явились здесь, но были побиты, и 8 октября хан отправился в Крым. Из Польши присланы были к Ромодановскому и Самойловичу грамоты с убеждениями идти вместе с королевским войском промышлять над неприятелем; но и воевода, и гетман были далеки от этого. Гетман говорил присланному к нему подьячему Щеголеву: «Поляки пишут ко мне и к князю Григорью Григорьевичу, чтобы теперь выйти с ними промышлять над неприятелем. Лукавый народ! когда неприятель отступил и слуху об нем нет, тогда они о соединении войск пишут. Тут явная их неправда, потому что беспрестанно с султаном и ханом тайные договоры чинят. Спрашивается, кого теперь воевать, против кого стоять, под которые города ходить? В Валахию и Молдавию незачем: и без них разорены турками; если же им надобны Молдавия и Валахия, так пусть идут, им ближе. Под Чигирин идти – чем самим сытым быть и лошадей кормить? Около Чигирина и других мест степи, как пахотная земля, черны. Для чего поляки пропустили на нас с боярином султана, визиря и хана, для чего с тылу над ними не промышляли? Лживые их поступки я подлинно знаю: турецкая и крымская на Украине война не от одного Дорошенка, поляки сами рады были, чтобы обе стороны Днепра и Киев из рук царского величества вырвать, и явно Украину отдали таким образом: калга, султан крымский, во всю прошлую зиму стоял в Волошской земле и беспрестанно с Собеским ссылался, и, пока не договорились, никто в Украину не смел вступать; а как договорились, что султану, визирю и хану их, поляков, не воевать и разоренья никакого не чинить, тогда неприятелю в Украину и под Киев вольную дорогу отворили, тогда турки и татары в Украину вступили и что хотели, то и делали. Слыша о таких их злых поступках, я усматривал всяких способов, как бы тот их злой совет и союз прекратить, и господь бог такой способ мне дал: как взят был Гришка Дорошенко на бою, то у него взято 8 листов белых за Дорошенковою рукою и печатью войсковою: дал ему Дорошенко эти листы с приказом писать от его имени в города к старшине и посольству. На одном таком листе велел я

написать по-польски от Дорошенкова имени к калге крымскому, что Собеский хитрыми своими поступками учинился королем польским и чтобы калга боялся хитростей королевских. В это время был в Межибожье польский комендант; я велел полковнику Райче передать лист к коменданту, будто перехватили его на дороге, а комендант переслал к королю. Когда мы с боярином отступили от Чигирина, а хан с Дорошенком на нас напирал, то вдруг прибежал от султана гонец, чтобы хан с Дорошенком, оставя все, шли под Умань, потому что поляки начали договор нарушать, и, дождавшись хана и взявши Умань, султан дальше не пошел, а хану на нашу сторону Днепра ходить не велел. Приезжал после того к нам полковник польский Лазицкий и сказывал: враг-то, Дорошенко, писал к крымскому калге, будто король на престоле сел хитрыми поступками; до этого времени король был к Дорошенку совершенно милостив и во всем его остерегал; а теперь, когда так делает, то рук наших не уйдет. Таким образом, прошлая турецкая и крымская война отвратилась моею службою, этим листом, который я послал межибожскому коменданту. Теперь Дорошенко, слыша, что король на него сердит, просит прощенья и обещается ему служить для того, чтобы короля задержать и между тем крымского хана вызвать, как прежде клялся быть под рукою царского величества и вызвал султана с визирем и ханом. А на все зло подучает его кошевой Серко. Была у Дорошенка с митрополитом Тукальским рада; митрополит говорил: нас никто не любит, и жить тут нам нельзя, пойдем к султану и будем бить челом, чтобы дал место, тебя пусть сделает господарем волошским, и я буду там же. На том и постановили и, пожитки свои в сундуки прибрав, живут в готовности, смотрят времени».

Движение польских войск, занятие ими некоторых городов на западном берегу взволновало восточную сторону, пронесся опять слух, что царь хочет уступить королю Киев и восточную сторону; надобно было писать уверения, что государь не только Киева и восточного берега, но и западного не уступит Польше. Самойлович радовался этим уверениям, но не переставал возбуждать в Москве подозрения относительно польских замыслов на Малороссию. В народе ходили слухи, что поляки непременно перейдут на восточную сторону; с другой стороны, шел слух, что царь сам явится с войском в Малороссию. Одни радовались царскому приезду, а другие говорили, что царь приедет в Путивль для того, чтобы Украину снести заодно с королем; царь пойдет от Путивля, а король от Киева. Государь писал Ромодановскому, что если действительно неприятеля уже нет в Украине, то он, воевода, может отступить к московским границам и распустить ратных людей, так же и гетман Самойлович может идти в Батурин, но должно оставить в Переяславле молодого князя Михайлу Ромодановского с отрядом московских ратных людей, у которых есть еще запасы и которые, следовательно, могут еще продолжать службу; так же и Самойлович должен оставить в Переяславле отряд козаков, выбрав им наказного гетмана. На это Ромодановский отвечал любопытною грамотою: «Ратные люди Севского и Белгородского полков, будучи на службе в беспрестанных походах полтора года, изнуждались, наги и голодны, запасов у них вовсе никаких нет, лошадьми опали, и многие от великой нужды разбежались и теперь бегут беспрестанно, а которых немного теперь осталось, у тех никаких запасов нет, оставить их долее на службе никак нельзя; и мне в разлучении с сынишком своим Мишкою за скудостью и безлюдством быть нельзя. Теперь я, государь, с ним и не врозни, и то живем с великою нуждою;

убогие мои малые худые деревнишки без меня разорились вконец, потому что служу тебе на Украине 22 года беспрестанно, да и сынишка мой Мишка служит шесть лет без перемены, а другой мой сынишка, Андриюшка, за тебя разлив свою недозрелую кровь, в томительной нужде в крымском полону, в кандалах живот свой мучит седьмой год». Царь велел отцу идти в Курск, а сына отпустить в Москву для свадьбы.

Гетман возвратился в Батурин отдохнуть от трудов военных; но внутренние враги не хотели дать ему отдыха, и опять пошли старые слухи, что государь хочет возвратить Многогрешного из ссылки и поручить ему часть войска. В начале 1675 года царь должен был в своей грамоте уверять Самойловича, что этого никогда не будет, и требовал казни плевосеятельным людям. С другой стороны, Лазарь Баранович доносил на протопопа Симеона Адамовича. Еще в сентябре 1674 года был в Малороссии стряпчий Бухвостов для объявления тамошним начальным людям о рождении царевны Феодоры Алексеевны. Прежде всего явился он к Лазарю Барановичу, и тот начал говорить ему: «Когда приедешь в Москву, извести, что от нежинского протопопа Симеона Адамовича проходят многие лукавства, ссылается он тайно с турецким султаном и с Дорошенком, в грамотах своих хвалит султана, что войсками своими из дальних стран обороняет Дорошенка, а царское величество, будучи в пятистах верстах, жителей обеих сторон Днепра не обороняет. Этим протопоп приводит малороссийских жителей ко всякому злу; письма его у меня в руках. Я их ни с кем не пошлю; сам я хотел ехать в Москву вскоре, да спрашивает меня гетман не ездить; а как я буду в Москве, то не только про эти письма, и о других делах великому государю извещу». Разумеется, в Москве не могли не удивиться, когда тот же самый протопоп приехал по делам архиепископа, привез его книги – *Трубы*. Баранович просил, чтобы государь велел взять все книги в казну и заплатить деньги; ему отвечали, что государь *Трубы* похваляет, но в казну взять и по монастырям неволею раздавать не указал, указал продавать их повольною ценою, как в Российском царстве с Печатного двора всякие книги продают, а в неволю книг никому не дают и в монастыри не наметывают. Как же распорядилось правительство относительно продажи книг Барановича? В апреле месяце 1675 года по указу великого государя боярин Арт. Серг. Матвеев приказал раздать мещанам в лавки сто две книги киевской печати в переплете *Трубы духовные*, ценою по 2 рубля с полтиной книга, итого 255 рублей; велеть им те книги продавать с великим радением по настоящей цене неоплошно, а раздать мещанам книги с распиской, кому можно верить, самым лучшим людям, не бражникам, чтобы было кому верить и на ком можно взять; а деньги велеть собрать в нынешнем апреле месяце без недобору. Это называлось тогда: в неволю книг никому не давать! Баранович просил, чтобы позволено ему было завести типографию в Чернигове: просьба была исполнена; просить прислать ему сукна и лисьих мехов: сукна и меха были отосланы.

Царь уверял Барановича и гетмана, что не отдаст никогда Киев полякам; гетман клялся, что никогда не поддастся королю, но доносил, что запорожский кошевой Серко не такого образа мыслей: когда король вступил в западную Украину, то на кошу началась шатость; Серко говорил: «При котором государе родились, при том и будем пребывать и головы за него складывать, и если бы войско не захотело идти к королю, как государю своему дедичному, то я, Серко,

хоть о десяти конях поеду поклониться государю своему». Схвачен был в Нежине, отослан к гетману и казнен им *плевосеятель*, толковавший об измене и в восточной Украине. Эти события поддерживали недоверчивость московских воевод и печальную привычку называть малороссиян изменниками. Архимандрит Новгорода-Северского Спасского монастыря Михаил Лежайский пишет к Матвееву: «Не ведаю, за что порубежные воеводы наших украинцев изменниками зовут: изволь предварить, чтобы воеводы в таких мерах были опасны и таких вестей ненадобных не начинали и малороссийских войск не озлобляли; опасно, чтобы от малой искры большой огонь не запылал». Вследствие этого к порубежным воеводам был послан указ с большим подкреплением, чтобы малороссиян изменниками не называли, жили с ними в совете и во всяком приятстве, а если вперед от них такие неподобные и поносные речи пронесутся, то будет им жестокое наказание безо всякой пощады. Самойлович не переставал доносить на Серка, будто он хочет идти к Астрахани и сибирским странам в надежде на калмыков. 23 апреля гетман писал Матвееву: «Бог видит совесть мою, что не из ненависти какой-либо объявляю об атамане Иване Серке. Постом великим был у нас писарь запорожский и тайно объявил на Серковы замыслы, со слезами прося, чтобы до времени оставалось тайною; знатным козакам, находящимся в Запорожье, Серко постоянно говорит: как предки наши не служили государству московскому, так и нам не надобно служить, а держаться дедичного государя; если вы не позволите помогать, то хотя с десятком сам пойду к королевскому величеству. А что меня на Москве к присяге привели, то присяга невольная, мне она ни во что; а что меня из Сибири освободили, то я об этом не просил никого: мог я выйти и другим способом. Тот же писарь говорил: как посылал его Серко к царскому величеству с самозванцем, то приказывал бить челом о местечке Кереберде, причем говорил: „Коли бы не догадались и отдали мне его! Тогда бы мог жену из Слободских полков вывести, знал бы я тогда, что начать!“ Это местечко ему на злое дело надобно, потому что лежит на днепровском берегу выше всех городов Полтавского полка, а в тех краях живут все люди западной стороны. Серко, в измену Брюховецкого, взбунтовавши несколько городов около себя, жителей их посадил в Кереберде, где прежде людей не было. Теперь запорожцы отправили посланцев своих к великому государю, а к нам о том ни одного слова не написали: царский указ, чтобы писали к нам, о чем хотят бить челом, пошел ни за что. Теперь их с таким бездельем с полтора ста было пошло, насилу разогнали, а дорогою идучи, в городах бесчинства делают; у нас это уже вывелось было; при Брюховецком им это позволялось, что грех и стыд перед знатными людьми припомнить; мы им больше терпеть не будем, чтобы не смели нами пренебрегать».

Самойлович поссорился и с отцом протопопом, Симеоном Адамовичем, писал к Ромодановскому: «Объявляю вашей милости печаль мою и жалость, которые причинил мне приятель мой Симеон, протопоп нежинский: как ехал он в Москву с книгами архиепископскими, то я ему никаких дел не поручал, потому что по милости великого государя всякие вести и указы и без него к нам доходят, а он там оглашает нас нестаточными делами перед высокими людьми, сам не имея в себе постоянства, а уж пора бы ему перестать от того. Я здесь несколько свидетелей надежных имею, что он несколько особ здесь обнадежил: какие захотят они чины, то в Москве им промыслит, не откажут ему там ни в чем, и

добрых людей своими вымыслами потерял». В мае явились в Москву запорожские посланцы с грамотою от Серка. Кошевой писал, что король польский зовет их к себе на службу, но что они не могут двинуться без указа царского; просил, чтобы гетман Самойлович шел вместе с ними на Крым и тем отвлек хана от подания помощи султану, жаловался, что перевоз на Переволоке не отдан им, просил, чтобы отданы были на Запорожье клейноты, бывшие у Ханенка. Но известия Самойловича произвели свое действие в Москве. Серку отвечали, чтобы к польскому королю не ходил, а шел один с своими запорожцами на море. Клейнотов отдать нельзя, потому что они вручены Ханенку королем Михаилом, а Ханенко отдал их гетману Самойловичу; о перевозе послан указ к гетману. Этот указ состоял в том, чтобы гетман учинил по своему рассмотрению. Приезды запорожцев были накладны казне, как прежде приезды крымцев: так, теперь ехало их человек полтора, да гетман Самойлович всех не пропустил, приехал только 41 человек. Царь послал указ на Запорожье, чтобы вперед ездил не более десяти человек, если же приедут лишние, то будут кормиться на свой счет. В июне Самойлович дал знать, что на Запорожье приехал королевский посланец Завиша; Серко, как будто бы за тем, чтобы проводить посла, выступил в поле с большим отрядом войска; но запорожцы, заподозрив, что Серко прямо хочет идти к королю, остановились в степи, выбрали себе другого старшину и возвратились на кош, а Серко только с 300 преданными себе людьми отправился вместе с Завишею. Но оказалось, что он ходил на крымские юрты за добычею и языками и возвратился на Запорожье.

В то же время царя беспокоила смута в Каневе, этом важном по близости к Чигирину городе. В марте 1675 года каневский воевода князь Михайла Волконский писал к князю Ромодановскому, что в Каневе только два приказа московских стрельцов, и те неполны: многие разбежались от голов стрелецких, Карандеева и Лупандина, от нестерпимых побоев, в остатке только 1600 человек. Волконский жаловался, что головы его не слушаются, во всем ему отказали. Но головы объяснили дело иначе: присланы в Канев деньги на хлебную покупку стрельцам, а Волконский хлеба не покупает и деньгами стрельцам не дает, отчего стрельцы мрут и бегут; воевода призывает к себе городских войтов и бурмистров и перед ними бранит голов, называет их изменниками, рассказывает, будто они хотят отъехать к Дорошенку. Пятидесятники, десятники и рядовые стрельцы подтвердили грамоту голов, приславши к Ромодановскому жалобу, что воевода задерживает их жалованье. Царь велел послать Волконскому грамоту с угрозою, что если вперед будет так поступать, то подвергнется жестокому наказанию. Но Волконский прислал новую жалобу на голов: «Держат они у себя другие ключи от ворот городовых и отпирают тайком от меня. 7 марта был я в церкви, и когда после обедни шел домой, то Карандеев и Лупандин дождались меня на паперти и начали бранить непристойными словами, похвалялись бить; велели деньщикам своим взять у меня солдатского полкового подьячего, били его ослопами и задержали у себя; от страха я сию на своем дворишке запершись».

Ссору между воеводою и стрелецкими головами утишили: Карандеев и Лупандин обещали слушаться воеводу. Но скоро Волконский столкнулся с другими людьми, посильнее голов стрелецких. 14 июня в съезжую избу к воеводе привели лазутчика, схваченного на площади. С пытки, после троекратного поджаривания, лазутчик объявил: «Прислал меня Дорошенко с листом к здешнему

полковнику Ивану Гурскому; полковник взял у меня лист и положил за пазуху, потом кликнул челядника своего, велел мне дать хлеба и проводить к матери своей в дом, где бы я мог прожить до известного времени». Привели челядника полковничья, поставили на очную ставку с лазутчиком: челядник сначала заперся, но с пытки объявил, что все показания лазутчика справедливы. Полковник Гурский заперся; тогда воевода отдал его на береженье стрелецким головам Карандееву и Лупандину и немедленно дал знать об этом происшествии государю, прося указа. Воеводская грамота пришла в Москву только 25 июня; 27 июня царь отвечал Волконскому, что послан указ гетману взять Гурского, челядника его и лазутчика из Канева к себе в Батурино, разыскав подлинно, указ им учинить по их войсковым правам. Ответ этот не мог прийти в Канев ранее десяти дней, а между тем известие о каневском происшествии возбудило сильное негодование в Батурине: воевода отдал полковника под караул! Гетман писал Матвееву, что Гурский – человек добрый и слуга царю верный, вины его никакой нет; писал, что Дорошенково войско хотело перейти в Канев и поддаться государю, но, узнав, какая в Каневе смута, отложило свое намерение: «Для того прошу вашу боярскую милость, изволь вступиться, как особенный наш малороссийский ходатай, чтобы в чести были у великого государя наши войсковые вольности и указы его же царского величества. Если милости великого государя ко мне и к Войску Запорожскому не будет, воеводу скоро переменить не укажет, то Канев пуст будет; да и давно бы был пуст, если бы не головы стрелецкие, Карандеев и Лупандин, держали. Очень мне и всему войску досадительно, будто я стал царскому величеству изменник». В бытность царского посланца в Батурине приехали туда из Канева жена Гурского да обозный с атаманом и говорили: «Как малые дети без матери, так мы теперь без полковника, а неприятель подле Канева, и, как придет, что нам делать без полковника? От Дорошенковых козаков попреки нам и стыд: поддавайтесь царю, поддавайтесь! Хороша к вам царская милость! Все бы мы давно разбрелись, если бы не головы стрелецкие держали; они воеводе говорили, чтобы в такие дела не вступался, ведал бы один город да государевых ратных людей, а полковника отослал бы к гетману; но он и голов называет изменниками». В Москве почли за нужное успокоить гетмана: Волконский был сменен, и в царском указе к нему по этому случаю говорилось: «То ты дуростию своею делаешь не гораздо, вступаешься в их права и вольности, забыв наш указ; и мы указали тебя за то посадить в тюрьму на день, а как будешь на Москве, и тогда наш указ сверх того учинен тебе будет».

С весны 1675 года начали думать о возобновлении военных действий: 26 апреля государь послал Ромодановскому и Самойловичу приказ собраться с Белгородским и Севским полками и с козаками и двинуться к Днепру, к тем местам, в которых Днепр удобен для переправы; а пришедши к Днепру, писать к коронным и литовским гетманам, чтоб они, согласясь между собою, шли к Днепру же в ближние места. Когда поляки дадут знать о своем приходе, то становить с ними следующий разговор о соединении обеих ратей: соединяться на той стороне Днепра, под Коростышевым, или под Мотовиловою, или под Паволочем, потому что окрестности этих местечек лесисты и кормов всяких достать можно; назначить точно время и место, где соединяться, и чтобы в сборе были все коронные и литовские войска, с пехотою и пушками; чтобы с обеих сторон даны были аманаты; если турки и татары нынешнего лета на войну не придут и будет

при Дорошенке турок и татар немного, то царским войскам с королевскими не соединяться. Далее Паволочи войскам царским не ходить; в подъезды войск царских не посылать, кроме охочих людей, и когда с неприятелем сойдутся, то первый бой давать войскам королевским, а царских войск наперед не посылать и в напусках и в отвод не выдавать, стоять заодно и в нужное время друг от друга не отступать, в кормах конских и во всяких добычах войск царских не теснить и быть в соединении до тех пор, пока неприятель не отступит; договариваться и о том, чтобы прибавить к прежним перемирным годам еще 10 лет, чтобы неприятель, видя склонность обоих государей к братской дружбе, от злого намерения своего отстал; просить, чтобы в благодарность за соединение войск король уступил навеки все завоеванные места; чтоб поляки гетмана Ивана Самойловича почитали и Войску Запорожскому укоризны и бесчестья никакого не делали. Если королевские гетманы станут заключать мирный договор с султаном и ханом, то внести в него следующие статьи: на пограничные с Турциею и Крымом царские украины войною не ходить, если же турки и татары договор нарушат, то царское и королевское величества будут давать им отпор сообща.

29 мая в Сумах гетман Самойлович с старшиною в присутствии князя Ромодановского и царского посланца, стряпчего Алмазова, дал такой ответ: «Соединяться нам с поляками всеми нашими войсками опасно по многим причинам: прошлую зимою, когда король был на Украине и Аджи-Гирей салтан там недалеко стоял в шести тысячах войска, то поляки с этою ордою никакого бою знатного не имели, а все ссылались с салтаном и Дорошенком о мире, и носились слухи, что король пришел на Украину не для отпора туркам, но чтобы каким бы то ни было образом отобрать ее и Киев себе. Поэтому мы не только не желаем соединяться с польскими войсками, но и в других малейших вещах не хотим с ними ссылаться; у нас один защитник – православный монарх, его царское величество; если же государю угодно дать помощь полякам, то послать некоторую часть московских и козацких войск, а не все. Аманатов давать полякам страшно: в прошлых годах они дали туркам аманатов из Львова, духовенство, шляхту и мещан, знатных людей, и в правде своей не устояли, усмотря время, турок побили. Да и потому нам нельзя соединяться с поляками: поляки народ гордый, станут нас бесчестить и называть своими подданными, козаки станут стоять за свои нравы, и пойдет ссора. Если неприятель подступит всеми силами под Киев, то мы с боярином будем отпор чинить, сколько милосердый бог помощи подаст. В этом и будет королю великое вспоможение, а соединяться с поляками мы не хотим, чтобы чрез соединение большей ссоры не было».

Генеральный писарь Савва Прокопов говорил: «Хотя поляки и толкуют о соединении войск, но лукавым сердцем, верить им нельзя: нынешнею зимою сенаторы Яблоновский и Сенявский приезжали в Киев проведать про войска и крепости городовые и про иные московские вести, а сказывались простой шляхтою, будто приезжали для покупок, и этим умысел свой объявили». Ромодановский и Самойлович говорили в один голос: «Если великий государь укажет идти нам в Крым, то надеемся учинить там великое разорение».

Бывший Дорошенков есаул Яков Лизогуб рассказывал Алмазову: «Был тайный съезд у визиря с Дорошенком, съезжались только трое – Дорошенко, визирь да я: визирь говорил: мы хотим Запорожье и Киев взять. Когда разговоры кончились, то Дорошенко, вышедши из шатра, сказал мне: слышал, что говорил



визирь? Нашею кожею торгуют! – и стал плакать: не дай боже, чтобы замысел их исполнился!»

В конце июля, по вестям из Украины, царь велел Ромоданов-скому двинуться из Курска в Суджу, отправить в Заднепровье знающих людей для подлинных известий, а к гетману коронному, князю Дмитрию Вишневецкому, отписать, что если все войска, коронные и литовские, в согласии и соединении не будут, то царские войска с одним коронным гетманом не соединятся. В начале августа другой указ: двинуться Ромодановскому из Суджи, а Самойловичу из Батурина к Днепру и отправить за реку по отряду, выбрав добрых людей. Самойлович объявил царскому посланцу, что готов исполнить указ великого государя, но что надобно только ограничиться прогнанием татар, а не соединяться с поляками: «Мне, гетману, и всему нашему войску лучше смерть принять, нежели от поляков в бесчестии и порабощении быть. Если мне и боярину перейти за Днепр, то это все равно что руками нас отдать полякам: у них только речей, что московская пехота способна городов доставать, позовут нас неволею хана в полях искать и Каменца-Подольского доставать, начнут называть мужиками и своими подданными, бить обухами, спрашивать кормов, выговаривать: вы нас в такое осеннее время вызвали, вы и кормите: а козаки теперь и неполякам не спускают, турок и татар побивают: так чего доброго ждать? Начнут биться. Ни на один час нельзя соединяться с поляками! Полякам всего досаднее то, что на этой стороне малороссийские люди живут под царскою рукою во всяких вольностях, покое и многолюдстве; полякам непременно хочется, чтобы какую-нибудь хитростию эту сторону в свои руки прибрать и так же, как ту сторону, разорить и людей погубить; особенно этого добивается коронный гетман, князь Дмитрий Вишневецкий, потому что на этой стороне их маетности были. Мне и всему войску нужно не то, чтобы все коронные и литовские войска пришли к Днепру, нам нужно, чтобы ни один поляк в этих местах не был. А присяга их известна: боярина Шереметева за присягою в Крым отдали! Теперь короля своего на Украине покинули и разошлись по домам!»

Соединение русских войск с польскими было решительно отвергнуто, и в начале осени началось отдельное движение русских войск: Ромодановский и Самойлович сошлись у Обечевской грабли, между рекою Галицею и Прилуками, в 5 верстах от Монастырища и в 50-ти от Днепра. Отсюда 11 сентября двинулись к Яготину, где стояли до 16-го числа; недостаток в конских кормах и *бездровица* заставили их приблизиться к Днепру, к которому подошли 18 сентября, стали в 10 верстах от Канева и послали на ту сторону отряд московского войска под начальством генерал-майора Франца Вульфа и козацкий под начальством генерального есаула Лысенка. Заслышав о приближении этого войска, два полка Дорошенковых сердюков бросили города Корсунь, Богославль, Черкасы, Мошны и другие и ушли в Чигирин; жители также покинули свои города, села и деревни и перешли на восточную сторону. Это движение нагнало сильный страх на Дорошенка, который тщетно просил помощи у турок и татар, занятых войною с поляками, и хотя Ромодановский с гетманом, не предпринявши ничего важного, разошлись – один в Курск, а другой в Батурин, однако положение Дорошенка не улучшилось. Ненависть к нему была возбуждена сильная, потому что подданство, султану оказалось в последнее время всею своею черною стороною для Украины. Чигирин, по свидетельству самовидцев, превратился в невольничий рынок, всюду

по улицам татары выставляли и продавали ясырь (пленных), даже под самыми окнами Дорошенкова дома. Если кто из чигиринских жителей по христианству хотел выкупить земляка, то навлекал на себя подозрение в неприязни к покровителям Украйны – туркам и татарам. По городам не было меры притеснениям от голодных татар. Проклятия на Дорошенка были во всех устах. Он бы мог еще не обращать внимания на эти проклятия; но в самом Чигирине было мало хлеба, потому что два года уже ничего не сеяли, кормились тем, что могли купить украдкою у жителей восточной стороны. В такой крайности Дорошенко решился обратиться к Серку: нельзя ли посредством Запорожья как-нибудь продержаться, получить выгодные условия от царя, остаться гетманом?

В конце сентября Серко дал знать в Москву о своей верной службе: по царскому указу пришли в Запорожье князь Каспулат Муцалович Черкасский, стольник Леонтьев, стрелецкий голова Лукошкин, Мазин-мурза с калмыками, атаман Фрол Минаев с донскими козаками; Серко соединился с ними, и 17 сентября все пошли чинить воинский промысл над крымскими улусными людьми, за Перекопью разбили татарскую заставу, села попалили, много полону побрали, и христианских душ много освободили, и все здоровы назад пришли. При этом Серко бил челом: «Многое время, не щадя головы своей, промышлял я над неприятелем; а теперь я устарел от великих волокит, от частых походов и от ран изувечен. жена моя и дети в украинском городке Мерехве скитаются без приюта, от татар лошадыми и животиною разорились, а мне, Ивану, теперь полевая служба стала невмочь, присмотреть за стариком и успокоить его некому. Милосердый государь! вели мне, холопу своему, с женишкою и детишками в домишке пожить, чтобы, живучи порознь, вконец не разориться и при старости бесприютно не умереть; вели мне дать свою грамоту, чтобы мне, живучи в домишке своем, утеснения ни от кого не было». «Не время теперь, – отвечал царь, – жить тебе в доме с женою и детьми, а когда будет время и воинские дела станут приходить к успокоению, тогда мы тебя пожалуем, в доме жить позволим и нашею царскою грамотою обнадежим».

Но вслед за тем, от 15 октября, кошевой атаман объявил другую свою службу: «Гетман Войска Запорожского Петр Дорошенко, от данных лет имея подданственное намерение к пресветлому престолу вашего царского величества, не мог его за многими некоторыми завистными людьми препонами привести в совершение. Но теперь, желая его совершить, писал к войску низовому, чтобы мы для этого доброго дела приехали к нему. Мы, учинив раду войсковую общую, решили к нему идти и как скоро подошли к Чигирину с войском низовым запорожским и частию донского, то Дорошенко тотчас в присутствии чина духовного со всем старшим и меньшим товариществом и со всем своим войском и посполитыми людьми пред св. Евангелием присягнул на вечное подданство вашему царскому величеству; а мы присягнули ему, что он будет принят вашим царским величеством в отеческую милость, останется в целости и не нарушен в здоровье, в чести, в пожитках, со всем городом, со всеми товарищами и войском, при милости и при клейнотах войсковых, безо всякой запрошлые преступления мести от всех неприятелей: татар, турок и ляхов – будет войсками вашего царского величества защищен, места все запустелые на сей (западной) стороне Днепра

опять людьми населятся, и будут они вольностями своими тешиться и разживаться, как и Заднепровская (восточная) сторона».

Этот запорожский поступок, нарушавший порядок, установленный на последней Переяславской раде, сильно не понравился в Москве, и царь отвечал кошевому: «Ты это сделал не по нашему указу, не давши знать князю Ромодановскому и гетману Самойловичу; к тебе о том нашего указа не послано, послан был указ о Дорошенковом подданстве князю Ромодановскому и гетману Самойловичу: и вперед бы тебе и всему Войску Запорожскому низовому с Дорошенком не ссылатся и в дела его не вступаться и тем с гетманом Иваном Самойловичем не ссориться. Да нам известно, что ты взял у Дорошенка клейноты войсковые гетманские, данные нами прежним гетманам, булаву, бунчук, знамя, и отвез их к себе на Запорожье, и теперь эти клейноты у тебя: и ты бы сейчас же отослал их к князю Ромодановскому и гетману, потому что прежде на Запорожье никогда гетманских клейнотов не бывало». Серко продолжал распоряжаться: минуя гетмана обеих сторон Днепра Самойловича, он разослал грамоты к полковникам: «Объявляю, что гетман Петр Дорошенко от турецкого султана и крымского хана отступил и под высокодержавную руку царского величества подклонился: так извольте междоусобную брань между народом христианским оставить и иным заказать, которых много, что общему христианскому делу не ради; ибо все мы единого бога создание, надобно жить, чтобы богу было годно и людям хвально, дабы бог обратил ярость злую на бусурман. Всем людям прикажи, чтобы никто не ходил на ту сторону обиды делать». Опять царь должен был напомнить кошевому атаману, что все эти дела положены на князя Ромодановского и гетмана Самойловича.

Легко понять, как эти события должны были обеспокоить последнего; он обратился к Матвееву, «своему благодетелю милостивому». «Не раз, – писал Самойлович, – был я предостережен добрыми людьми насчет шатости и замыслов Ивана Серка. Писал я уже к твоей боярской милости, как он добивал челом царскому величеству, чтобы ему несколько козацких полков дать, будто Крым воевать, потом чтоб ему из слободских городов жену выдать, потом чтоб Кереберду-город дать в Полтавском полку; но в то же самое время открыл он тайну писарю своему, говорил: только бы мне в тот уголок залезть, знал бы я, что делать! Только об одном и заботится: как бы собрать войско да войти в города и завести там смуту. Дорошенко, видя, что не над кем гетманить (потому что от Днестра до Днепра нигде духа человеческого нет, разве где стоит крепость польская), призвал к себе в Чигирин Серка и 10 октября встречал его с духовенством, разгласивши между народом, что хочет жить под рукою царскою. Но здесь явный обман, как дал нам знать один близкий к нему человек. От турок и татар помощи ему нет, а тут ляхи в гостях, да и мы недалеко; вот он, чтобы как-нибудь перезимовать, получить съестные припасы с нашей стороны и перезвать к себе опять людей, такую молву и распустил о подданстве. Завидую особенно нашей Украине, в мире живущей, хлопчут они завести здесь смуту. И в прошлом 1674 году Серко нам помешал в добрых делах; теперь при мне Мазепа и Кочубей, которые тогда были при Дорошенке; так они сказывают, что Серко присылал к Дорошенку с такою речью: если на тебя Москва наступит, то Войско Запорожское тебе поможет, клейнотов войсковых ни за что Москве на отдавай». К Ромодановскому Самойлович писал: «Рассуди, благодетель мой, дело этих

крутоголовых! Перед нами не хотели сделать ничего доброго, а перед каким-то Фролом да Миуском, что самозванца с Дону к Серку привел, какую-то присягу дали! Какова совесть у Дорошенка? Нам раз десять присягал и по-прежнему солгал! Мы узнали, благодетель мой, что там между собою усуетовали: попытаться через своих послов у царского величества: если им позволит черновую раду собрать, то и эту Украину туда же потянуть, смуту здесь завести и нам не поддаться».

Ромодановский наравне с гетманом был оскорблен поступком Дорошенка, который от 12 октября уведомил его о своей присяге перед Серком и Фролом Минаевым и просил прислать в Чигирин добрых людей «для достовернейшего разговора». Ромодановский отвечал: «Когда мы стояли у Днепра, то ты по письму моему и по присылкам своим обещания своего не исполнил, для присяги в обоз к нам не приехал; а теперь для разговора просишь о присылке знатных людей. Это мне очень удивительно! Когда мы с верным и неотменным царского величества подданным, гетманом обеих сторон Днепра Иваном Самойловичем усердно желали тебя принять и государскою милостию обнадежить, то ты за *перепятием* нрава своего этого сделать не изволил; а теперь как могу к тебе для разговора знатных людей послать? Если ты вправду поддался царскому величеству, то приезжай ко мне и к гетману Ивану Самойловичу и присягни пред нами».

Донесения Самойловича произвели большое беспокойство в Москве. Царь писал Ромодановскому и гетману: «Мы как прежде, так и теперь положили Дорошенково дело на вас, и вы бы поступили по своему рассмотрению, чтобы то дело до весны успокоить и к расширению не допустить». Наконец отправлена была царская грамота в Чигирин: «Петру Дорофеевичу наше царского величества милостивое слово. Мы твоего обещания, данного пред Иваном Серком и Фролом Минаевым, в правду не вменяем, потому что они ездили к тебе в Чигирин без нашего указа; эти наши дела на них не положены, и впредь тем делам крепким быть нельзя; и тебе бы, Петру, приехать к боярину князю Ромодановскому и гетману Ив. Самойловичу, и при них присягу принести. Если же не приедешь, то мы велим боярину и гетману чинить над тобою промысл».

«Я и прежде не отговаривался к тебе ехать, — отвечал Дорошенко Ромодановскому, — но всегда дело шло о моей безопасности. Так и теперь, присягнувши великому государю, мы сейчас же снарядили посольство к царскому величеству и дали об этом знать твоей милости и гетману Самойловичу; но гетман ответа никакого не дал, и по его приказанию заднепровские козаки пограбили чигиринское село над Тясмином, полковник переяславский под Черкасами много людей разорил, по берегу днепровскому крепкую стражу поставили с гетманским приказом не пропускать моих посланников. Нижайше прошу, прекрати войну с нами, как уже с подданными одного государя, и пришли сюда доброго человека для безопасности послов наших; как только этот человек к нам приедет, сейчас же послов и с ними санжаки турецкие к царскому величеству отпустим». Посланец Дорошенков, падши к ногам Ромодановского, должен был просить: «Пусть Дорошенку не чрез кого иного, только чрез его боярскую вельможность, чрез его предстательство будет приобретена щедрая царская милость, чтоб быть ему безопасну в своем здоровье». Получив это письмо, Ромодановский немедленно отправил к Самойловичу дьяка, чтобы прекращены были все неприятельские действия против Дорошенка, а в Чигирин для приема послов и санжаков

отпустить полковника Вестова с двумястами человек пехоты. К самому Дорошенку Ромодановский отписал: «Советую твоей милости и сердечно желаю, как другу и приятелю, для твоего добра, чтобы ты благоволил, без всякого замедления сам с полковником Вестовым приехал ко мне в Курск, а из Курска ехать к великому государю. Если бы ты это сделал, то я для большой чести тебе послал бы из Курска с тобою сына моего, князя Михайлу».

Но Дорошенко не думал так скоро покончить этого дела. В конце декабря приехал от него в Москву чигиринский атаман Сенкеевич и объявил: Петр Дорошенко приказал мне бить челом, чтобы царское величество его, Петра, и все посольство пожаловал, велел милостивый указ учинить и своею милостивою грамотою обнадежить и увеселить, чтоб быть ему, сродникам его и всему посольству под высокою рукою царского величества в вечном подданстве, при своем здоровье, пожитках и вольностях неотменно. Он, Дорошенко, великому государю служить и всякого добра хотеть и, не желая чина гетманского, умирать готов, только имеет беспрестанное попечение, чтобы быть при милости его государской. Когда боярин князь Ромодановский и гетман Иван Самойлович стояли у Днепра, то он, Дорошенко, к ним для присяги не поехал, опасаясь за свое здоровье, чтобы нежелательные ему люди западной стороны Днепра, перешедшие на восточную, не сделали над ним того же, что над Самком и Брюховецким. Опасаясь этого, он писал на Запорожье к кошевому атаману Ивану Серку, чтобы приехал в Чигирин для совета и был свидетелем присяги Дорошенковой царскому величеству. Когда Серко приехал, то присяга была принесена и клейноты войсковые ему отданы, причем Серко и все войско велели ему, Дорошенку, писаться гетманом до указа великого государя. В подданстве у турецкого султана был он и санжаки турецкие принял с общей рады всей старшины. Когда он в одно время получил и милостивую государеву грамоту из Москвы, и обнадеживательные грамоты от короля, то созвал всю старшину и спрашивал: у которого государя быть в подданстве? И старшина пожелали обороны турецкой и крымской. Но когда султан и хан для этой обороны пришли на Украину, города разорили, множество невинных душ погубили и в неволю захватили, в то время те же советники, складывая вину на Дорошенка и желая себе гетманства, перешли все на восточную сторону, также и жители; а он, Дорошенко, вспоминая царские милостивые грамоты и не видя в том деле ни от кого помешки, от султана отстал и санжаки шлет к великому государю с тестем своим и братом Андреем, и как скоро чрез этих посланников получит полное уверение, то немедленно без отговорок поедет в Москву. Теперь при нем города Чигиринского полка: Крылов, Вороновка, Бужин, Боровица, Суботово, Медведовка, Жаботин, Черкасы, Белозерье.

Сенкеевич подал грамоту от гетмана: в ней Дорошенко сравнивал себя с евангельским расслабленным, не имевшим человека, который бы ввергнул его в целительную купель. «Не имел я человека, — писал Дорошенко, — который бы избавил меня от злого недуга, от ига бусурманского, ввергнув в целебную купель великомощной вашего царского величества обороны. Умилосердись, великий государь царь, не отринь меня от пресветлого лица своего, но милостиво, яко царь небесный, Христос, расслабленному рцы: восстани, возьми одр свой и ходи, повели мне срамное ложе ига бусурманского оставить!» «Все прежнее будет забыто, — отвечал царь. — Безо всякого сомнения приезжай на сю сторону Днепра к князю Ромодановскому и гетману Ивану Самойловичу и пред ними принеси

присягу: захочешь с родственниками своими ехать к нам в Москву, то получишь нашу многую милость и жалованье, и укажем отпустить тебя в малороссийские города по-прежнему, позволим жить, в каком городе захочешь, безо всякой обиды и укоризны». Нежеланный был это гость для гетмана Ивана Самойловича; гетман не верил, чтоб Дорошенко решился приехать на восточную сторону в виде частного человека, он все боялся смут от Дорошенка и Серка, сознания рады и свержения его, Самойловича. Он послал в Запорожье грамоту с выговором, как смел Иван Серко с товарищами ездить в Чигирин и подтвердить там гетманство Дорошенку без ведома гетмана и всего Войска Запорожского городского? Потом, как смели разослать грамоты к полковникам, чтобы те не враждовали более с Дорошенком? «И так уже, – писал гетман, – почти 30 лет за грехи наши кровавым обливаемся потом. Каждый из молодцов добрых, бога боящихся и правду любящих, знает, что западная сторона разорена благодаря Дорошенку, который возбудил против себя беды со всех сторон, поддавшись турецкому султану, под которым и последних людей потерял; а когда увидел, что мало там осталось, то, чтобы побыть некоторое время гетманом, призвал вас к своему расколу. Извещаю вам, что не надобно в этих городах наших никаких рад собирать и ничего у царского величества добиваться; были уже в четыре года две рады». Царскому послу Алмазову гетман говорил: «У Серка с Дорошенком давняя дружба и клятва друг другу во всем добра искать. Теперь Дорошенка держит Серко, а только б не Серко, то Дорошенко давно бы сам приехал к князю Ромодановскому или ко мне».

В январе 1676 года приехали в Москву и обещанные Дорошенком знатные послы, тесть его, уже известный нам Павел (Яненко) Хмельницкий с товарищами и послами из Запорожья, привезли турецкие санжаки – бунчук и два знамени тафтяные. На спрос, зачем приехали, послы объявили: «Приказал нам Петр Дорошенко у великого государя милости просить, чтобы царское величество пожаловал, вины его изволил простить и принять под свою высокую руку, и позволил бы остаться ему в прежнем своем чине гетманом, и войсковые прежние клейноты были бы при нем; а он, Дорошенко, служить будет вовек, не щадя здоровья своего; впрочем, гетманский чин в воле великого государя. Бьет челом Петр Дорошенко, чтобы великий государь пожаловал его, сродников его и все попольство, указал им жить по-прежнему на той стороне Днепра в старых своих поселениях, при пожитках своих и вольностях, как живут во всяких покоях и вольностях на сей стороне Днепра малороссийские жители, чтобы на той стороне церкви божии не разорились, а им на сей стороне между дворами не волочиться; слухи у нас носятся, что заставят нас покинуть дома, сжечь города и перейти на сю сторону. Да чтобы мы были защищены от турецкого султана, крымского хана и польского короля, чтобы на той стороне Днепра церкви божии не запустели и обе стороны в разлучении не были. Как будет на это челобитье милостивый указ и мы к Дорошенку возвратимся, то он приедет, ударит челом великому государю, а до тех пор ни в Москву, ни в полк к боярину и гетману не поедет».

В ответ послам сказали, что они будут отпущены к князю Ромодановскому и гетману Самойловичу и там задержаны до тех пор, пока сам Дорошенко приедет на сю сторону и присягнет великому государю; но в то же время Ромодановскому и гетману дано было знать: «Если, смотря по тамошнему делу, пристойнее будет Павла Яненка с товарищами отпустить к Дорошенку в Чигирин, то сделайте это по своему рассмотрению, как вас господь бог вразумит, чтобы Дорошенка

совершенно обнадежить и на сю сторону переэзвать». На челобитье Дорошенка, объявленное послами, был дан указ: «За подданство и присылку санжаков великий государь милостиво похваляет. Присяга перед Серком в правду не вменяется, присяга должна быть принесена перед князем Ромодановским и гетманом Самойловичем. Все прежние преступления прощаются. На обеих сторонах быть одному гетману – Ивану Самойловичу. Городом Чигирином со всеми поселениями жалует государь Петра Дорошенка и все посполство. Для обороны в Чигирин и Канев ратные люди будут присланы в то время, когда Дорошенко присягнет на вечное подданство перед боярином и гетманом, Жить Дорошенко может где захочет, и никакого притеснения ему не будет. Брат Дорошенка, Григорий, будет освобожден и отослан к боярину и гетману».

В днепровской Украине дела начали принимать благоприятный для Москвы оборот; но иначе было на другой украине, на другой козацкой реке, на Дону.

1674 год прошел здесь безо всякого дела. Новый воевода, сменивший Хитрово, князь Петр Хованский, пришел на Дон поздно, ходил осматривать места на Миусе, где бы построить городок, и нашел, что нигде ничего построить нельзя; донесения воеводы царю наполнялись известиями о побегах ратных людей. Летом 1675 года государь послал на Дон указ идти на козачий ерек, прокопать его и построить городки. Хованский поговорил об указе тайно с атаманом Корнилом Яковлевым, и тот начал в Черкасске собирать круги и объявлять указ; козаки отвечали, что им прокапывать ерек, городки строить и в нужное время в осаде сидеть за малолюдством невмочь, и, говоря эти слова, расходились из круга с криком. Атаман созвал их в круг в последний раз и допрашивал: «Скажите в одно слово, прокапывать ли ерек и городки строить ли? Чтобы мне писать о том к великому государю подлинно». Козаки и тут, не сказавши ничего намерное, хотели расходиться из круга. Корнил начал кричать с угрозами, чтобы не смели расходиться, не порешивши дела, и зашиб двоих или троих козаков палкою. Козаки зашумели, бросились на атамана и прибили его; одного из старшин, Родиона Калужанина, хотели убить до смерти, но тот убежал, отмахавшись ножом, и скрылся у Хованского в новом городке, где стояли государевы ратные люди. Через три дня Хованский поехал в Черкасск и взял Родиона с собою; после обедни воевода начал уговаривать козаков, чтобы они от непослушанья своего отстали и были с старшиною в совете. Козаки простили Родиона, позволили ему жить в Черкасске по-прежнему; но Корнил Яковлев атаманство сдал, и на его место выбрали Михайлу Самаренина.

Выбравши нового атамана, козаки собрались в круг и говорили, чтобы им идти на ерек для осмотра, можно ли им ерек прокопать и городки строить? Хованский отправился на ерек, взял с собою ратных людей тысячи с четыре, да атаман Михайло Самаренин взял с собою козаков тысячи с три, осмотрели места и нашли, что на ерке можно построить два городка, а третьего, против Азова, на взморье строить нельзя, потому что земля не сдержит, разве построить каменный. Хованский стал говорить козакам: «Мы начнем строить городки, а вы будете в них сидеть, будете получать государево жалованье». «Хотя бы нам государь положил жалованья и по сту рублей, то мы в городках сидеть не хотим, ради мы за великого государя помереть и без городков: в городки надобно людей 13000, а нас всех на реке только тысяч с шесть».

Осмотревши ерек, возвратились в Черкасск, и козаки стали между собою говорить, чтобы им идти на море для промыслу над неприятелями, а себе для добычи; собралось их три тысячи, и послали сказать Хованскому, чтобы дал им в помощь государевых ратных людей. Воевода сам пошел их провожать к ерку с 4000 войска. Но как пришли они на ерек, в те места, которые прежде осматривали, то нашли, что по другую сторону каланчи, от Азова, построены шанцы, в них сидят азовцы с пушками. Засвистали ядра и пули. Русские на своей стороне построили шанцы и стреляли в неприятеля через реку пятеро суток, многих побили, живых взяли троих и тем удовольствовались; козаки, узнав, что близ Азова стоят военные суда, испугались, на море не пошли и возвратились все в Черкасск.

Когда в Москве узнали об этих происшествиях, то на Дон к Хованскому пошла гневная государева грамота. «Козаки так делают, забыв страх божий и презрев наше жалованье, – писал царь, – в Москве атаман Родион Калужанин от имени всего войска бил челом, чтобы мы велели козакам и нашим ратным людям прокопать ерек и построить на нем три городка; говорил, что козаки охотно сядут в этих городках, если им дано будет по 10 рублей жалованья, что городки эти будут держать в осаде не один Азов, но и самый Царьгород; а теперь козаки во всем вам отказали и старшин своих обесчестили! Мы простим их по просьбе наших сыновей-царевичей, но с тем, чтобы они немедленно же шли на ерек и строили городки; если же этого не сделают, то жалованья нашего им не видать, и запретим нашим городам под смертною казнию пропускать к ним запасы».

Грамоту прочли козакам в кругу; в ответ поднялся шум, посыпались ругательства на Хованского за то, что грамота прислана по его письму, и отказались идти на ерек. Чтобы как-нибудь смягчить отказ, атаман и старшины объявили Хованскому, что они не смеют постановить никакого решения без совету с верховыми городками. Была и другая причина шуму в кругах: царь требовал выдачи известного вора Сеньки Буянка; Корнил Яковлев и другие добрые козаки приговаривали выдать Буянка; но другие козаки кричали Корнилу: «Повадился ты нас к Москве возить, будто азовских ясырей, будет с тебя и той удачи, что Разина отвез; если Буянка отдать, то и по достального козака присылки из Москвы ждать будет!»

Выступил в кругу Родион Калужанин и стал держать речь: «Из-за одного человека вы повеленье великого государя презираете. Вспомните, что вы говорили, лежа в камыше под каланчами? Что надобно на ерке город построить, будет он Азову вместо осады, а козакам на море будет путь свободный. По этим вашим словам, будучи на Москве, я великому государю известил; а теперь у вас во всем стало непостоянно». Фрол Минаев поддакивал Родиону, и на обоих поднялись крики: «Вы этим выслуживаетесь, берете ковши да соболи, а Дон разоряете; тебя, Фрола, растакую м. . . ., на руку посадим, а другою раздавим!» Не слышать было одного, атамана Михайлы Самаренина: хотя бы слово сказал и унял козаков!

С тех пор козаки начали дурно обходиться с государевыми ратными людьми, ругать их мясниками, прибили и ограбили стрельца, а управы не дали.

Надобно было выбирать в зимовую станицу для посылки в Москву, как был обычай; выбрали Корнила Яковлева и других козаков, которые отличались раденьем к государю. Корнил сказал, что он в зимовой станице не поедет:



«Прежде я ездил в Москву и доносил великому государю нашу службу: а теперь что я ему объявлю? Что во всем вы ему непослушны?» Козаки зашумели. «Если ты не поедешь, – кричали они, – то мы тебя и с пасынком Родионом скуем, и, как ты Разина возил, так и с тобою сделаем». После этих угроз Корнил не посмел больше отказываться. «Смотри, ты в Москве немного говори, – кричали ему козаки, – говори одно, чтобы ратных людей от нас вывести, у нас и без них войска много!» Хованскому доносили, что во всех городках по станичным избам все козаки собираются идти на государевых ратных людей и московских стрельцов хотят побить, а городовым стрельцам дать волю; говорят: «Московских стрельцов немного, а украинные стрельцы с нами биться не будут. А если государь пришлет на Дон рать большую, то мы замирился с Азовом и поднимем Крым; старшин, которые с Разиным не были и государю доброхотуют, побьем, чтобы они в Москву вестей не давали». Доносили, что ратных людей, которые бегут из полков, козаки уговаривают, чтобы остались с ними, а у них на весну всего будет много, и беглецы остаются на Дону. Во всех городках козаки пустили молву, что стрельцам в Москву идти незачем: боярин Матвеев за одного своего человека два приказа стрельцов велел порубить.

Когда на Дону узнали, что Хованский послал с этими вестями в Москву, то к нему явились старшины с объяснениями. «Мы узнали, – говорили они, – что некоторые пьяницы козаки в верхних городках начали волноваться и непристойные слова распускать и ты, князь, писал об этом государю; так мы тебя обнадеживаем, что у козаков в нижних городках никаких злых умыслов нет и не бывало, государю по присяге служат и вперед его наследникам служить будут. А если козаки-пьяницы в верхних городках и побунтовались, то мы воров сыщем и казним без пощады».

## Глава четвертая

### Продолжение царствования Алексея Михайловича

*Сношения с Польшею после турецкого нашествия. – Рознь литовских сенаторов с польскими по поводу мира с турками. – Поляки требуют от Москвы сильной помощи. – Литовский гетман Пац советует не подавать этой помощи и обещает поддаться со всею Литвою государю русскому. – Свицерский – первый польский резидент в Москве. – Стольник Тяпкин – первый русский резидент в Варшаве. – Кончина короля Михаила. – Вопрос об избрании царевича Феодора Алексеевича на польский престол. – Условия избрания. – Переговоры о них. – Затруднительное положение Тяпкина и его жалобы. – Королевские выборы. – Избрание Яна Собеского в короли. – Разные вести о расположении нового короля к Москве. – Посольство Венславского в Москву. – Съезды уполномоченных в Андрусове. – Поляки делают неудовольствия Тяпкину и стращают его миром короля с турками. – Жалобы Тяпкина на продажность поляков: он умоляет Матвеева отозвать его. – Поездка резидента к королю во Львов. – Сын Тяпкина польско-латинскою речью благодарит короля за школьную науку. – Разговоры старика Тяпкина с панами. – Злой ответ его гетману Пацу, смеявшемуся над русским войском. – Обращение короля с русским резидентом. – Поведение поляков*

*по удалении неприятеля. – Сношения царя Алексея с Австриею, Швециею, Даниею. – Мысль о заведении флота на Балтийском море. – Сношения по этому поводу с Курляндиею. – Сношения с Голлиндиею, Англиею, Фрищицею, Испаниею, Италиею.*

Царское войско действовало на Днепре и на Дону для исполнения договора, заключенного с Польшею. Польское правительство во все это время требовало более деятельной помощи, требовало соединения русских войск с своими для дружного действия против турок; но мы видели, как решительно противился этому соединению гетман Самойлович, да и вести из Польши, как увидим, не могли заставить московское правительство действовать наперекор желанию гетмана и козачества малороссийского. В январе 1673 года, по донесению гонца Протопопова, у короля был генеральный съезд сенаторов и послов. Сенаторы коронные на раде говорили, чтобы нынешнею весною с турецким султаном войны не вести, а дать гарач (дань), потому что весна уже наступает, а войска в готовности нет; лучше, собравшись с силами, выступить на другой год. Но литовские сенаторы говорили: «Если нынешнею весною против неприятеля не выступить и дать гарач, то он, взяв гарач, по давнему своему бусурманскому замыслу пойдет на царскую Украину, и тогда будет нарушен договор со стороны королевской; лучше гарач употребить на заплату войску и выступить против неприятеля. Если вы, коронные, подлинно хотите поддаться бусурману, то объявите, а княжество Литовское никогда под игом бусурманским не бывало и теперь не будет. Если мы у вас не увидим верной службы и старания к обороне отчизны, то княжество Литовское отделится от Короны и от бусурманской неволи освободится милостию царского величества, лучше быть под его самодержавною рукою, чем под игом бусурманским». Ханенко бил челом в подданство великому государю и говорил: «Объявил мне гетман литовский Михайла Пац, чтобы я от его стороны не отлучался, ибо в Короне Польской многие сенаторы явились губителями отчизны и продавцами; от этой продажи Корона Польская приходит к концу; если мы не увидим от поляков искреннего старания о защите отчизны, то будем просить великого государя о принятии нас в подданство». Литовцы уже назначили двоих послов к царю, витебского воеводу Храповицкого и троицкого воеводу Огинского.

В Москве королевский посланник Иероним Камар в тайном разговоре с окольнічим Матвеевым и дьяками объявил, что султан, напавши на Польшу внезапно, принудил короля к тяжкому договору. Но, несмотря на всю тяжесть договора, король и Речь Посполитая не могут его нарушить, не будучи обеспечены союзом соседних держав, причем король надеется всего больше на царское величество и требует его совета, сохранять ли мир? Если же нет, то требует сильной помощи, по крайней мере тысяч сорок войска с добрыми воеводами и многочисленным нарядом, потому что нельзя ждать неприятеля к себе, а надобно искать его в его собственных владениях; надобно, чтобы король, предводительствуя войсками коронными, литовскими, доброжелательными козаками и посполитым рушеньем, соединился в Валахии с войсками царскими и цесарскими: первые вступят туда через Украину, а вторые через Венгрию. Так изволил бы великий государь объявить число своего войска, число пушек, имена

воевод и чтобы войско это к первым числам мая стояло уже на волошской границе.

Матвеев отвечал, что все условия последнего договора о помощи исполнены свято: калмыки и черкесы, по царскому указу, бьют хана, на Запорожье отправлены запасы и чайки, на Дон послан думный дворянин Большого-Хитрово со многими знатными людьми, чтобы промышлять над турками вместе с донскими и запорожскими козаками морским и сухим путем. Узнавши о взятии Каменца, великий государь разослал гонцов своих ко всем окрестным государям христианским, призывая их к союзу на турок для помощи королевскому величеству; не дождавшись от них ответа, не заключив с ними договора и не укрепившись присягою, царскому величеству нельзя подать помощи королю, кроме той, которая уже беспрестанно подается с великими убытками для царской казны. Удивляемся мы, что ты спрашиваешь совета – сохранять ли договор с султаном, тогда как существует договор между царским и королевским величеством – одному государю без другого не заключать мира ни с султаном, ни с ханом! Если же государь ваш был к этому договору принужден, то все же ему следовало бы, до заключения договора, как можно скорее обослаться с царским величеством: а то нам до твоего приезда не было никакой от вас вести о договоре, да и ты не привез нам статей его. А нам хорошо известно, что в договоре с султаном, между прочим, постановлено, что Украина по старым рубежам остается за козаками; такой статьи вносить в договор не годилось, потому что Украиною по этой стороне Днепра владеет великий государь наш. А теперь спрашиваете – сохранять ли этот договор или нет? Неужели это значит поступать по-братски и по-приятельски? Царскому величеству нельзя выслать своей рати, не дождавшись ответа от других государей; нельзя и потому, что у короля и Речи Посполитой с первым сенатором Короны Польской, Николаем Пражмовским, архиепископом Гнезненским да с гетманом Собеским и с другими сенаторами и шляхтою учинилось междоусобное несогласие и до сих пор не усмирено.

Весною поехал в Москву подьячий Возницын с объяснением, что царское величество разослал грамоты ко всем окрестным государям с приглашением вступить за Польшу. Подканцлер литовский Михайла Радзивилл говорил Возницыну: «Донеси царскому величеству от имени королевского: его королевское величество, вся Корона Польская и мы, сенаторы, обретаемся в доброй приязни к его царскому величеству; чтобы царское величество не верил изменнику гетману Пацу, который ссорит вашего государя с нашим. Пац из зависти, видя воинственного и таким фальшам неподатного государя, царскому величеству как будто верность свою показывает, подданство обещает и на вражду с королем и Короной Польской приводит. Пац не только желает вражды между вашим и нашим государями, но и придал мужества неприятелю Короны Польской и всего христианства: потому что Дорошенко, узнавши, что он отступил от короля из-под Бара с некоторыми хоругвями, дал знать хану, что литва вся отступила, и хан, по этой вести, уже приближается к нашим границам. Хан требует, чтобы государь наш помирился с султаном, уступив ему Украину и Подолию, и отворил путь в государство Московское; король отвечал на это, что хан, если хочет, пусть договаривается с ним о мире в поле, а он, король, надеется на добрую приязнь царского величества и пути в государство Московское никогда не отворит. По разглашению изменников великий государь ваш опасается соединить свои войска

с нашими против неприятелей креста святого. В полки наши и в государство царские воеводы присылают для проводывания вестей. Эти лазутчики, наслышась неведомо от кого неразумных вестей, приносят их в Московское государство: великий государь не верил бы ни литве, ни этим вестовщикам, но ради бога и своей бессмертной славы умилосердился над всем христианством, а особенно над невинными душами нашего народа, изволил бы подать помощь королевскому величеству и соединить свои войска с войсками Речи Посполитой. Весь свет назовет его за это не только братом, но и отцом королевскому величеству, а мы бы за такую милость не стали на комиссиях много упоминать о городах наших, находящихся теперь в стороне царского величества». И гетман Пац говорил Возницыну: «Извести ближнему боярину Артемону Сергеевичу Матвееву, чтобы царское величество изволил поскорее подать нам помощь с тылу на общего неприятеля, потому что государству нашему приходит последнее разоренье; а я со всем войском к королю пойду, когда уже иначе быть не могло, а потом выдам универсалы и на посполитое рушенье; только без помощи ваших войск, одним нам такого сильного неприятеля не сдержать; а если великий государь войскам своим наступить с тылу на погань не укажет, то нам придется заключить мир на всей воле турецкой, что и вашему государству будет небезопасно».

Гонец подьячий Бурцов, бывший летом в Польше, привез вести: король в Варшаве небезопасен; сенаторы по-прежнему поднимаются, короля почитать не хотят, бранят его, называют невоинственным. Гетман Собеский, презирая королевские листы и посыльщиков, зовущих его в Варшаву, не едет. Кто противен королю, те приезда гетманского с радостью ожидают, кто за короля, те не хотели бы и на свете видеть Собеского. Епископ волошский и посол молдавский были у Бурцева и говорили: «Присланы мы к королю с просьбою, чтобы поспешил походом, а наши государи в союзе, и наготове у них войска 8000; если бы только показались польские войска, то мы бы со всеми христианами обратились на турка. Но нам здесь чинят проволоку, ответа никакого не дают, отговариваются отсутствием гетмана Собеского, всю силу полагают в нем. От такой задержки нам может быть беда, потому что посланы мы тайно, узнают о том турки, то не только нас с домашними смерти предадут, и самих господарей не пощадят. Видится нам, что господа сенаторы не только нас из-под ига бусурманского не освободят, но и сами не хотят ли добровольно турку поддаться. Если бы мы жили так погранично с государствами царского величества и присланы были к нему, то, конечно, отпуск нам был бы скорый и намерение наше от царского престола отринуто не было». Говоря это, епископ и посол плакали. В Вильне гетман Михайла Пац объявил Бурцеву иное, чем Возницыну: «Чтобы царское величество поход свой на турка удержать изволил, изволил бы оставаться в Москве, чтобы лишних мыслей иным не прибывало. Чтобы войну с турком около границ киевских изволил вести и отпор давал через бояр. Чтобы не велел войскам своим переходить за Днестр, чтобы такую стремительностию не облегчить Польши и не навлечь на себя большей тяжести. Чтобы царские войска под Белою Церковью или в других местах с войсками коронными не соединялись: а то лукавым не пришло бы в голову сделать так же, как под Чудновым. Чтобы царские войска не наступали на турок без задору с их стороны, а смотрели бы, что будет делаться у коронных? Прямо ли станут оборонять отчизну свою от турок? Чтобы царское величество изволил приказать в приеме Дорошенка наблюдать осторожность, потому что

Дорошенко бьет челом и королю, а мы считаем его другом Собескому. Я к войне на турка готовлюсь, только литовские войска с коронными соединяться не будут. Если еще немного продлится непостоянство коронных и нерадение, то я со всею Литвою поддамся царскому величеству».

В августе приехал в Москву от короля покоевый дворянин Павел Свидерский с небывалым характером – резидента. «Я прислан резидентом, – объявил Свидерский, – для удобнейшей обсылки с королевским величеством, особенно теперь, когда король этот год будет находиться в обозе, чтобы царское величество знал обо всех движениях короля и его войск, и, наоборот, чтобы королевское величество знал обо всех намерениях царских. Еще давно, при договорах Андрусовских, Ордин-Нащокин предлагал установить резиденцию, для чего и почта была учреждена, и Тяпкин уже был назначен резидентом к королю Яну-Казимиру». Свидерский потребовал, чтобы ему был вольный доступ к царскому величеству, ко всем боярам, окольниковым, воеводам и думным людям, вольный разговор с резидентами и послами окрестных государств, чтобы ему давали овес, сено и дрова, стол же будет иметь на счет короля и Речи Посполитой. Ему отвечали, что как скоро присланы к нему будут от короля государственные грамоты, то с ними он будет иметь доступ к царскому величеству; с боярами, окольниковыми и думными людьми, также с иностранными послами и резидентами может видаться, только прежде должен давать знать об этом в государственный Посольский приказ.

В Варшаву резидентом отправился стольник и полковник Василий Михайлович Тяпкин, при нем в дворянах сын его, жилец Иван, переводчик, подьячий, черный священник с антимином и полною церковною службою и шесть человек стрельцов. На дороге в Смоленске, 24 ноября, Тяпкин узнал о кончине короля Михаила, дал знать об этом в Москву и получил указ отправляться на место назначения. В Орше его остановили на основании предписания панов радных – не пропускать иностранных послов в Варшаву по случаю смерти королевской. Но Тяпкин, зная только указ своего государя, отправился далее на своих подводах и без пристава. 30 января 1674 года въехал Тяпкин в Варшаву, и чрез несколько дней принесли ему сочинение на польском языке, рассуждавшее об избрании царевича Феодора Алексеевича на польский престол. «Славные оба народа языком и обычаями в вере мало рознятся, живут на одной земле, не разделены морем и никакими неудобопроходимыми рубежами; по большей части соседи у них общие, и могли бы они стать неодолимою стеною христианства против силы бусурманской, когда бы между собою заключили союз вечный. Союз этот может быть заключен, если старший сын терский делается королем польским и великим князем литовским. Потому указывается старший сын, что царское величество, будучи еще в цвете лет, может долго управлять своими государствами и воспитать меньшего сына; а, с другой стороны, нравы и обычаи отчизны нашей, особенно в нынешнее время, требуют государя уже возрастного. Побуждения к союзу: союз с домом австрийским, с которым у царского величества давно уже дружба, может быть еще более скреплен супружеством царевича со вдовствующею королевою польскою, эрцгерцогинею австрийскою. Союз между тремя государствами поведет к счастью и обогащению подданных посредством свободной и безопасной торговли. Соседям всем страх, особенно турку. Открытый путь к распространению всех этих государств без взаимной

обида и ненависти. Помощь общая и скорая. Надежда наследства польского и литовского для потомства царевича, ибо хотя в Польше правление избирательное, однако не было еще примера, чтобы обходили сыновей королевских, напротив, отыскивали их в монастырях и вымаливали у папы позволение возвести их на престол. Освобождение греческих и славянских пародов из неволи бусурманской. С другой стороны, если царь не согласится на этот союз, то поляки могут выбрать себе государя из дому французского; этот государь не будет дружен ни с цесарем, ни с царем, потому что корона французская в союзе с султанами турецкими, также в союзе с королевством Шведским».

6 февраля Тяпкин отправился к архиепископу-примасу в присланной за ним карете шестеркою; с ним вместе в карете с левой руки сидели пристав и переводчик; перед каретою верхом с государевою грамотою ехал жилец Иван Тяпкин с двумя подьячими, перед грамотою ехали дворяне королевские, 20 человек, а за каретою шли московские стрельцы с бердышами и посланниковы люди. Первая встреча была у крыльца, у самой кареты, другая – в сенях, третья – в дверях палатных; при каждой встрече говорили гостю: «Его милость ясноосвещенный арцыбискуп вас, его царского величества посланника, ожидает с любовью». Сам архиепископ с пятью сенаторами встретил Тяпкина среди палаты. «Великий государь, – начал посланник, – вам, примасу и первому князю, и всем вам господам сенаторам и целой Речи Посполитой свою царскую милость обещает на всякое время и велел мне вас навестить и спросить о вашем здоровье». Архиепископ и сенаторы стояли все без шапок и слушали посольство со всякою учтивостию. Посланник поднес архиепископу грамоту великого государя в тафте; тот, приняв грамоту, спрашивал о здоровье великого государя, говорил речь, именованье и титул по письму сполна. Когда Тяпкин ответил, что царское величество в добром здравии, то примас спросил: «Великого государя бояре и вся Дума их по здорову ль?» «Бояре и все думные люди в благоденствии и добром здравии пребывают», – отвечал посланник. Следовал спрос о здоровье и путешествии самого посланника; когда Тяпкин ответил, что «милостию божиею и великого государя жалованьем в путном шествии поводилось во всем здраво и благополучно», архиепископ и сенаторы сели по местам, велели сесть и посланнику среди палаты против архиепископа. Посидевши немного, посланник встал и объявил, что он прислан резидентом, точно так как Свидерский прислан в Москву. Канцлеру литовскому Кристофу Пацу Тяпкин подал статьи, чтобы ему быть в Варшаве в таком же положении, в каком Свидерский находится в Москве: «Великий государь вашему резиденту позволил вольный доступ к себе, к своим ближним людям и к иностранным резидентам, конский корм указал давать понедельно и дрова помесечно, по пяти четвертей московских овса да по пяти возов битых сена на неделю, дров на месяц по 20 возов; кроме того, дано денежного жалованья на три недели с приезда его, по 70 рублей на неделю».

В то же самое время в Москве посланник литовского гетмана Паца Августин Константинович подал Матвееву условия, на которых царевич Феодор может быть избран в короли польские: 1) принятие католицизма; 2) вступление в брак со вдовою покойного короля Михаила; 3) возвращение всех завоеваний; 4) соединение сил против турок и денежное вспоможение Польше. Отвечал посланнику ближний боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий: «Великий государь сыну своему на Короне Польской и Великом княжестве Литовском быть

не изволяет, а соизволяет быть государем сам, своею государскою особою в православной христианской вере восточной церкви. Быть королю католиком – эта статья трудна с обеих сторон: на коронации у вас король присягает не притеснять никого в вере, если же присягу нарушит, то этим подданных от подданства увольняет, а если быть королю и греческой веры католиком, от этого между восточную церковь и западным костелом преломление, чему никаким образом сделаться нельзя». «Между греческою и римскою верою, – отвечал посланник, – мало разницы; только в королевстве Польском всегда бывали короли-католики, точно так как и другие окрестные государи держат также католическую веру, и об этом можно договориться». «Станут духовные съезжаться для постановления о вере, пройдет много времени, – сказал Долгорукий. – Великий государь хочет быть государем польским и литовским в греческой вере, а Речи Посполитой все права и вольности подтверждает. Что прежние польские короли были католиками и что другие окрестные государи католики, то не пример; которые у великого государя подданные римской, люторской, кальвинской, калмыцкой и других вер служат верно, тем никакой тесноты в вере не делается, за верную службу жалует их великий государь». «В Польше и Литве никогда не бывало государей греческой веры», – повторял посланник. «Бывали разных вер, – отвечали ему, – сам ты говорил, что между греческою и римскою верою мало разницы, следовательно, государю греческой веры у вас быть можно; можно быть и потому: в последнем договоре с султаном вы обязались давать ему гарач, следовательно, сделали его себе государем. Об условии, чтобы царевич вступил в брак с королевою, говорить нечего, потому что королем хочет быть сам государь. О возвращении завоеваний будет договор в то время, как приедут к царскому величеству польские и литовские послы. Что же касается до вспоможения казною, то до сих пор войскам государевым, которые помогают Короне Польской, розданы многие тысячи миллионов. Царское величество делает это теперь только для имени христианского, а когда будет государем польским и литовским, тогда совесть понудит его оборонять своих подданных как своими, так и чужеземными войсками. Все доходы королевские государь велит собирать Речи Посполитой на наем войск, а сам будет довольствоваться своею царскою казною». Константинович был отпущен с ответом: «Великому государю не только для короны Польской и Великого княжества Литовского, но и для целого света нельзя оставить благочестивой веры греческого закона; быть у вас государем царское величество изволяет сам, а сына своего отпустить не соизволяет; следовательно, королеве замуж выходить не за кого, а как ей жить, о том договорятся комиссары с обеих сторон. Когда царское величество будет государем во всех трех государствах, то рубежей разделять не для чего. Права ваши и вольности не будут нарушены, а при коронации сенаторы и вся Речь Посполитая присягают в верной службе и послушании; в уряды ваши и маестности великий государь никогда вступаться не будет и никому не велит. Когда царское величество будет вашим государем, тогда Польшу и Литву станет оборонять от всяких неприятелей своими ратными людьми, не требуя из skarбов коронных и литовских никаких податей; коронные и литовские войска должны помогать государевым ратным людям на всякого неприятеля равным числом на коронных и литовских проторях, потому что великий государь никаких поборов и податей, которые сбирывались в казну королевского величества с его экономий, в свою казну собирать не изволит, а

укажет всякие поборы и подати раздавать ратным людям. Ты упоминал о даче миллионов Речи Посполитой; но великий государь владеет своим Российским государством и впредь его содержать может по своему бодроопасному разуму без приискивания иных государств куплею; так эту торговлю Речь Посполитая оставила бы. Если Речь Посполитая хочет иметь у себя государя премудрого, благочестивого, в ратных делах искусного, многонародного и всякими годностями в Европе цветущего, то пусть обратится к царскому величеству, пусть пришлет послов своих с прошением, а государь отправит на елекцию своих послов с полною мочью, которые и станут договариваться».

К Тяпкину в Варшаву послан был список этих статей с наказом: повидаться с гетманом Пацом и говорить ему, чтобы он великому государю раденье свое показал и свою братью панов и Речь Посполитую приводил, чтоб они избрали себе государем царское величество именно на этих статьях.

4 марта написан был этот наказ Тяпкину, который, между тем, находился в затруднительном положении, не получая никаких грамот из Москвы; 25 февраля он обратился с жалобой к Матвееву: «Милостивый государь, отец и благодетель мой Артемон Сергеевич! Преславши обыкновенное пренижайшее рабское мое поклонение тебе, милостивому моему государю, от превышнего господа бога яко многолетнего здравия, так и счастливого и добропомысленного господствования усердно тебе, государю, присно желаю. По своей, государь, велией ко мне отеческой милости изволишь ведать: и я на службе великого государя в Варшаве за помощь божиею и его государским жалованьем и твоим, света и государя отца моего, милостивым заступлением жив до воли вседержителя нашего; только никогда не могу беспечален быти, понеже чрез многия почты не токмо вижу писания, ниже слышу о твоём, государя моего, здравии, которого сердечно, любовною моею охотою рад бы на всяк час слышать и о нем веселиться, яко неотменный раб и желатель твоей, государя моего, милости. Понеже убо вся вещи ветхость снедает, а благодеяния же точию память во веки старетися не имать: сице же и у мене искушенная твоя, государя моего, отеческая благодать, ея же должен есмь в сердце моем имети, даже и до последнего издыхания моего. Наипаче же о сиротстве моем с плачем прошу твоей, государя моего, милости: чего бы ради так забвен есмь? Яко николи же чрез многие почты не имам и на отписки и вестовые письма мои из Минска, и из Вильны, и из Варшавы никакого государского указу по се число ко мне не бывало и ни единые ни о чем ведомости не имел: а сенаторы, государь, беспрестанно спрашивают, а наипаче о войсках его царского величества. От них только что услышу, а сам во время безвестен пребываю, от чего и зазор себе немалый пред другими резиденты имею, понеже ко всем чрез всякую почту письма доходят, а я уже в Варшаве по се число живу четвертую неделю, ни о чем не слышу. Пожалуй, премилостивый государь, отец мой и благодетель, не прогневишь на грубое письмо и прошение мое, вели, государь, хотя малое, что надлежит до ведомости мне, посылать чрез всякую почту. Послов безмерно на елекцию желают и говорят о том мне, чтобы я к тебе, государю, писал; а референдарь литовский, Павел Бростовский, с великим прошеньем говорил мне и велел к тебе, государю, нарочно отписать, чтобы ты изволил с ним дружество иметь и любительным письмом ссылаться, крепко, государь, желает твоей приятной милости и частого писанья».



Жалуясь, что не получает известий из Москвы, Тяпкин должен был жаловаться на поляков, что не дают ему вовремя посылать писем в Москву и что трудно получить от них правдивые известия. «Варшавский *почтомайстер* две почты, не сказав мне, отпустил, – жаловался резидент Матвееву, – сказал нам, что отпустится почта в среду: я изготовил письма и послал в среду рано к почтомайстеру, а он уже почту отпустил еще в понедельник! Все это они делают для своих лакомых подарков, которых много надобно в год, если придется всех дарить. Думаю, что их резидент не очень много передарил наших: а здесь услужит каким-нибудь пустяком, пустую вестишку принесет и уже смотрит, чтоб ему дали: таких лакомых и лживых людей и между погаными трудно найти. Я не только варшавскому, но и минскому, и виленскому почтомайстеру добрые подарки дал, чтобы только писем наших не задерживали; также и от других людей, что куплю, то и проведу, и, бог весть, как вперед жить будет с такими лакомцами». Тяпкин жаловался, что ему дают мало денег на дрова и конский корм, который в Варшаве гораздо дороже, чем в Москве, именно давали по четыре рубля в неделю. Свидерский в Москве имел у Матвеева два дня в неделю – воскресенье и среду, а Тяпкину литовский канцлер Пац, назначил только один раз в неделю, в воскресенье после обеда; Тяпкин потребовал у Паца, чтоб позволено ему было посылать в их канцелярию переводчика и подьячих для проводывания вестей, также чтобы присылали к нему *авизы* для прочтения; но Пац отвечал, что у них канцелярии нет и авизов никаких не бывает, а если нужно будет резидента о чем уведомить, то это будет сделано во время приезда его к канцлеру в воскресенье, в случае же крайней необходимости канцлер за ним пришлет нарочно. «Поэтому, государь, и людей Свидерского не надобно пускать в Посольский приказ, – писал Тяпкин Матвееву. – Отнюдь нималого приятства от канцлера себе, кроме гордости, не имею. Только архиепископ зело человек благоуветлив, учтив и низок; также и гетман литовский Пац, и маршалок литовский Полубенский ласковы мне явились, обсылали меня кормом, овощами и питьем». Жалобы не прерывались: «Житье наше в Варшаве яко единым от убогих: никакого призрения и почтения не имеем; против господина Свидерского и вполовину не дано; разве вперед нам лучше станет, когда король будет, а теперь очень мы им непотребны, только потому отказать не смеют, что их резидент в Москве живет, боятся того, что заднепровская сторона становится под скипетр великого государя. Канцлер говорил мне, чтобы князь Григ. Григ. Ромодановский соблюдал большую осторожность насчет гетмана Самойловича, Дорошенко пишет к нему такие письма: „Мы друг с другом будем биться так, чтобы у нас обоих войска были в целости; у меня протектор турский султан, а у тебя заступник царь, и если наши войска будут в целости, то мы от государей своих в большой чести и милости будем. Лучше было бы, если бы царское величество велел всем войскам действовать вместе с нашими“».

Получив из Москвы статьи насчет королевского избрания, Тяпкин отправился с ними к гетману Пацу. Тот отвечал: «Я, желая прислужиться царскому величеству, вместе с литовскими сенаторами, воеводою троцким Огинским, маршалком Полубенским, референдарем Бростовским, виленским каштеляном Котовичем, радел всеми силами, чтобы быть королем царевичу Феодору Алексеевичу, и канцлера литовского Кристофа Паца привел было на то же доброе желание. Если бы царское величество позволил сыну своему быть католиком по

нашему древнему праву, то мы бы, оставя всех других государей, выбрали царевича. Но в статьях, привезенных Константиновичем от бояр, объявлено, что быть королем самому царскому величеству; этого нам сделать нельзя, нельзя оставить королеву без супружества: но, что важнее, объявлено, что великий государь и для приобретения целого света католиком не сделается: об этом нам нельзя объявить панам польским, да и некогда было говорить, потому что сеймики в Литве и Короне все кончились, и предложить это дело некому, а без предложения шляхте на сеймиках нельзя начинать дело».

В апреле начались выборы. Послы папский и цесарский хлопотали за герцога лотарингского. 28 апреля в коле рыцарском держали речь послы волынские, объявили, что они вперед никаких податей в казну королевскую платить не будут, потому что воеводы московские разослали универсалы по всей Волынской земле и Подолии, запрещают давать подати в казну королевскую: а войска царские приближаются уже к Полесью, Заславлю, Острогу, и догадываются они, нет ли соглашения у царя с султаном, чтобы заодно промышлять над Польским государством. Многие паны коронные говорили: «Во столько лет через посольские договоры не могли мы вытребовать у царя Киева, а теперь еще трудней стало, когда всю Украину царь отобрал». Польские паны начали винить в этом Литву: тут вмешался в их речи посол цесарский и спросил у коронных: «Ведь Украина оставалась в ваших руках?» – и, услышав ответ, что Украина с Дорошенком поддалась султану, сказал: «За что же вы сердитесь? Лучше пусть владеет ею государь христианский и ваш союзник!» Троцкий воевода Огинский говорил также в защиту царя: «Трудно на вас угодить, господа коронные! В прежние годы, когда царь не давал вовсе помощи против татар, то вы с сердцем говорили, что он поступает не по договору; а теперь, когда царь стал помогать и всю Украину из-под султанского подданства освободил, сердитесь и говорите, что он всю Украину от вас отобрал!»

8 мая провозглашен был королем великий гетман коронный Ян Собеский. 11 мая по требованию троцкого воеводы Огинского Тяпкин послал к нему переводчика Лаврецкого, и воевода говорил: «Писали мы к царскому величеству, просили себе в короли царевича Феодора Алексеевича: удивительно нам, почему царское величество не изволил исполнить наше желание. А теперь своею силою, посулами и тайным сговором подканцлера литовского Радзивилла и всех Сапегов, которым многие сотни тысяч золотых роздал, стал королем гетман Ян Собеский. И хотя гетман Михайла Пац, и канцлер, и я, и другие паны литовские противились этому и стояли крепко от самого избрания его, с 8 мая до 11-го, только теперь пришлось и нам позволить поневоле, а тайно, конечно, будем радеть, чтобы его какую ни есть смертью известить, и есть на то хорошие способы. Собеский нам потому не люб, что он великий неприятель Московскому государству и, надобно думать, что помирится с султаном сейчас же; хочет он пустить турок на цесаря войною, чтобы отвлечь его от Франции, а самому с отрядом турецкого войска и с Крымом идти непременно на Московское государство. Но если он обнаружит намерение разорвать мир с царским величеством, то мы, литовские, никак этого не позволим, если же возьмут силу коронные, то пусть будет известно царскому величеству, что мы, приехавши в Литву, всеми силами станем радеть, будем приводить всю шляхту литовскую на сеймиках по поветам и по воеводствам, чтобы на войну с Московским государством не давали никаких податей, ни войска

ни одного человека. Думаю, что мы со всею Литвою совсем отложимся от коронных и приклонимся к царскому величеству, усмотря время. Хотя мы теперь поневоле и позволили быть королем Яну Собескому, потому что он многих коронных и литовских панов задарил, а иных застрашал, приведши под Варшаву войско коронное, однако мы его впредь королем иметь не будем». Огинский плакал, целовал крест. «Отнюдь, – говорил он, – Литва не хочет воевать с царским величеством; пусть великий государь велит своим войскам поступать осторожно на Украине, если случится быть вместе с войсками коронными; а теперь бы изволил явить к королю свою милость, не показывал бы ни в чем жесточи, наблюдая, что вперед от короля и от коронных объявится, и если что объявится, то царского величества рати должны быть на рубеже литовском; и этим страх большой разгласится во всей Литве, и станет Литва отговариваться и помощи не даст. Во всех этих и в других своих делах указал бы государь тайно ссылаться и промышлять с гетманом Михаилом Пацом и со мною, не доверяя другим».

Иное говорил Тяпкину подканцлер литовский князь Михаил Радзивилл: «Нынешний король во многих случаях был желателен к царскому величеству: так, когда коронные гетманы отдали в Крым боярина Василья Борисовича Шереметева, то он сильно противился этому несправедливому поступку, говорил, что они это делают не по христианскому обычаю. А теперь, получивши корону, он еще больше желает дружбы и любви с царским величеством. Напишите к великому государю, чтобы он имел с королем нашим истинную дружбу и никаким ссорам не верил, чтобы как в прошлом году, так и теперь велел своим ратным людям промышлять над Крымом и над Азовом и тем отвести татар от помощи войскам турецким, да и против турок велел бы своим полкам с польскими и литовскими войсками сближаться и заодно стоять».

Узнавши, что король отложил коронацию и готовится выступить в поход, Тяпкин обратился к литовскому канцлеру с требованием, чтобы ему позволено было быть на резиденции при короле в обозе. «Старый у нас обычай, – отвечал канцлер, – что послы и резиденты ни только что в обоз с королем, и никуда из Варшавы не езжали». Донося об этом ответе Матвееву, Тяпкин писал: «Трехдневного корма по сие время мне не выдавали, ей, до конца испроелись и, что было государского жалованья, рухляди, все издержали, а вперед, бог весть, как буду жить? А если королевское величество нас с собою не возьмет, то не знаю, какой толк в моей резиденции будет».

Московскому резиденту долго пришлось дожидаться кормовых денег: денег не было в казне королевской, послали занимать их в Данциг, повезли королевские брильянты в заклад. Без денег нельзя было выступить в поход. В предстоящей страшной войне с турками была помощь только с одной стороны – московской. Сначала в Варшаве сильно беспокоились – как взглянут в Москве на избрание Собеского? Беспокоились, что долго не приходила поздравительная грамота от царя новому королю; наконец грамота пришла, и 11 июля Тяпкин поднес ее королю. Подканцлер коронный Ольшевский, епископ хельминский, в тайном разговоре клялся резиденту, что король желает с царем истинной братской дружбы и соединения сил против турок и татар. «Если это соединение последует, – говорил епископ, – то силами обоих народов, наверное, прогоним турка до Дуная, потому что мы уже знаем, как в битвах с турками промышлять, только бы при них не было татар, которые нашему народу всегда тяжки. А христианские народы,

живущие по Дунаю, – волохи, сербы, молдаване, славяне – как скоро слышат, что царские войска соединились с польскими, то сейчас же пристанут к ним, особенно к людям царского величества; они всякими способами проведывают, тайно и явно, как бы им дал бог, чтобы царское величество с королевским были в братской дружбе и соединении, и тогда немедленно поддадутся обоим великим государям, потому что единоверные они христиане не только с народом московским, но и с нами. римскими католиками, и хотя есть между нами в вере какое различие, то несогласия эти произошли от гордости папы и греческих патриархов. Если же войска обоих народов Задунайские земли у турок отобьют, то этим самым получат способ к вечному покою».

Новичка в деле, Тяпкина сильно смущало разногласие суждений о короле Яне и его намерениях: «Дивные здесь в народе голоса! Одни королевское величество очень благодарят, ставят таким мудрым и в воинских делах искусным, какого от двухсот лет у них не бывало. Другие считают его хитрым и лукавым, склонным к поганым. Одни утверждают, что идет он в обоз на оборону Речи Посполитой, будто непременно хочет, соединясь с войсками царского величества, сообща стать против бусурман. Другие говорят, что идет в обоз нарочно, чтоб ему ближе было с турком и крымским ссылаться, чтоб Украину им всю отдать, а себе Каменец, и другие края завоеванные возвратить, а потом вместе с турками и татарами идти на государство Московское. Один бог весть, кому из них верить? Солдаты, которые долго служат, а жалованья не получают, приходят и явно говорят: если бы верное царское слово в наш войсковой народ было пущено, что царское величество жалует нас и заслуженные деньги обещает заплатить вскоре, то не только литовские, и коронные все пристанут и будут ему, государю, служить против всякого недруга. Староста сахновский, бывший в Москве, брался уговорить войско перейти на царскую сторону».

12 августа выехал король из Варшавы к войску: кроме придворных урядников, из сенаторов никто с ним не поехал, разъехались все по маетностям. В Варшаве остался подскарбий коронный Морштейн – враг государству Российскому. «Караула у меня на дворе нет, – писал Тяпкин, – а воровство и убийство беспрестанные: боюсь, чтобы не обокрали или не разбили; живу без дела, испроелся и одолжал».

Но московского резидента ждали еще большие неприятности, когда в Варшаве узнали об успехах турок в Украине, о переходе Ромодановского и Самойловича назад, на восточную сторону Днепра. «Сильно на нас злобятся вертоглавы бесовские, которые французскою завистию заражены и лакомством задавлены», – писал Тяпкин. Когда он послал подьячего к Морштейну с вопросом, нет ли каких вестей из Украины, то подскарбий велел отвечать ему: «Вестей у нас никаких нет, только Москва ваша утнула за Днепр позорно, никем не гонимая, турецких войск не выдавши, пушки все погубила и больше 10000 войска потопила, хорошо бы, если бы и вся пропала!» «Живя в Варшаве, – продолжал жаловаться Тяпкин, – я всякие ведомости покупаю дорогою ценою; которые были со мною в дружбе, и те уже начинают отказывать, хотят награждения. говорят не стыдятся, что они ведомости сами покупают дорогою ценою, рискуют и здоровьем, навлекая подозрение. Аврам Сокольский, староста сахновский, очень доброхотен, веры благочестивой, во всем с радостью царскому величеству служить хочет: рад бы, говорит, поехать и к границам для проведования, да нечем подняться! просит

жалованья; а сахновский этот очень способен и достоверен. А что к митрополиту винницкому Антонию послано чрез того же Аврама большое жалованье, то от него не слышать никакого добротства, не пишет ко мне ничего».

Единственною целию сношений польского правительства с русским в это тяжелое для Польши время было убедить царя подать более деятельную помощь в войне турецкой, соединить свои войска с войсками королевскими. Не довольствовались заявлением этого желания резиденту русскому и в сентябре прислали в Москву известного уже здесь Самуила Венславского. Посланник, по обычаю, приветствовал великого государя пышною речью; поздравляя с новым (сентябрьским) годом от имени польских и литовских народов, желал, чтобы Алексей Михайлович победами, долголетием, изяществом равен был Казимиру III и Сигизмунду I, слыл бы у государей христианских миротворцем, уподобился бы счастьем Гераклию, долгоденствием Юстиниану, воскресил бы память Карла Великого: как тот на западе, так бы теперь царь на востоке вместе с королем польским поддержал падающую корону цесарскую.

На объявление старого требования о соединении войск Матвеев отвечал Венславскому, что турки побили царские войска в Ладыжине и войска коронные и литовские с тылу на неприятеля не пошли, чем возбуждено сомнение в царском величестве. Если бы в то время, как неприятель вошел в Украйну, король со всем своим войском двинулся на него, то царские войска, бывшие в то же время на Украйне, непременно бы соединились с польскими; но король сделать этого не захотел, и турки опустошили Украйну; за этою пустотою царским войскам нельзя идти вперед, на ту сторону Днепра, хотя они всегда стоят в готовности. Король желает соединения сил, когда войска турецкие обратились в его сторону, а как неприятель был на Украйне, то поляки на него не шли. Царские войска хотя и истомились, однако стоят в готовности на Украйне, а королевских войск и теперь на Украйне нет: так как же соединиться войскам? Король послал тебя сюда, зная наверное, что турки идут в Украйну, а сам за ними не пошел. «Король был обнадежен: хан прислал ему сказать, чтобы войска польские не двигались», – сказал Венславский. «Мы только еще подозревали, а теперь выходит прямо, что король хана послушал; ясно, что войска неприятельские приходили на Украйну с королевского совета!» – возразил Матвеев. *Венславский* : «Если неприятель из Украйны уже вышел, то пусть царские войска хотя перейдут на другую сторону Днепра». *Матвеев* : «До весны наши войска будут на этой стороне; а на весну какое неприятельское намерение будет, в то время оба великие государи станут между собою ссылаться. Что же касается до общего мира с турками, то царское величество на мир согласен, только был бы он прибылен обоим великим государям». В грамоте, отправленной с Венславским к королю, царь писал, что соединение войск за осенним и наступающим зимним временем невозможно: «Ваше королевское величество желаете теперь соединения войск, видя, что такая великая сила бусурманская в государства ваши валится; а если бы бусурманские войска в государства ваши не обратились, то, надобно думать, вы бы этого соединения сил и не пожелали. Однако мы своим войскам, как они ни истомились, по домам расходиться не велели, приказали им стоять на отпор неприятелю и пошлем к ним на помощь многих людей. Мы вам помогать готовы, только бы ваше королевское величество с чинами Речи Посполитой и Великого княжества Литовского изволили сложить сейм вольный и постановить, как неприятелю

сообща отпор делать, чтобы это постановление было крепко и постоянно, а не так бы, как теперь со стороны вашего королевского величества делается: кто хочет, тот против неприятеля и идет».

Уполномоченным, отправленным на новые андрусовские съезды, двоим князьям Одоевским, боярину князю Никите Ивановичу и стольнику князю Юрию Михайловичу с товарищами, был дан наказ: о соединении сил комиссарам отказать и в договоры не вступать. Но польские комиссары Марциан Огинский, воевода троцкий, и Антоний Храповицкий, воевода витебский, с товарищами грозили, что если соединения сил не произойдет, то поляки поневоле должны будут заключить мир с турками. Насчет вечного мира согласиться не могли, потому что комиссары не хотели уступить Москве в вечное владение тех городов, которые уступлены были ей по перемирию; об увеличении лет перемирия они не хотели говорить без договора о соединении сил. «Если, – говорили комиссары, – соединение сил не последует и Киев не будет отдан, то мы его саблями станем отыскивать; у нас теперь государь воинственный, который не только Киев, но и другие города отыскивать будет; может он оборониться от неприятеля и без царской помощи!» По этому случаю Алексей Михайлович написал Собескому: «Великие послы съезжаются для умножения братской дружбы между их государями, а не для угроз; неприлично стращать мечом того, который и сам, за помощью божию, меч в руках держит: в том свидетельствует прошлая война. О Киеве вашим комиссарам говорить не годилось! Киев задержан за многие и несчетные с вашей стороны нам бесчестья и досады в прописках нашего имени и титула и в печатных книгах: в грамотах, отправленных из вашей канцелярии, пишут меня Михаилом Алексеевичем! Киев задержан также за несчетные убытки при вспоможении вашему королевскому величеству против султана и хана крымского. Вы отдали султану Украйну, в которой и Киев: так можно ли после того вам отдать Киев?» Андрусовские переговоры тянулись с половины сентября до конца декабря и кончились ничем, а между тем Собеский в своих грамотах не переставал умолять царя о немедленном вспоможении, уведомляя о своих успехах, выставляя, что теперь самое удобное время ударить сообща на врага и очистить страны придунайские.

8 декабря приехал в Варшаву с царскою грамотою подьячий Тимофеев, ведено ему отдать грамоту королю непременно при резиденте Тяпкине. Тяпкин отправился к канцлеру Пацу, объявил царский указ и потребовал, чтобы отпустили их немедленно с Тимофеевым в обоз королевский. «В опасной грамоте, – отвечал Пац, – написан один подьячий, а резидентова имени нет: подьячему и будет отпуск без задержки, а тебе ехать с ним невозможно: по обычаю польскому, все резиденты обязаны жить в столице». «Прислан особый царский указ, чтобы мне ехать с подьячим», – возражал Тяпкин. «Вольно царскому величеству указ свой присылать о чем ему угодно, – отвечал Пац, – только удивительно, для чего в опасной грамоте о твоём отпуске ничего не упомянуто! Отпустить тебя нельзя, потому что недавно король прислал указ: если царское величество выступит из Москвы с войсками в Путивль, как объявлено королю, и если резидент королевский будет в этом походе, то пусть и Тяпкин едет в обоз королевский; если же царское величество и резидент польский останутся в Москве, то и Тяпкин должен оставаться в Варшаве».

Положили, что канцлер спишется с королем, а Тимофеев будет ждать в Варшаве ответа. В этом ожидании он успел поссориться с резидентом: приехавшие с ним пристав Посольского приказа Репьев и двое смоленских рейтар стали ходить по корчмам и, напившись, стали бросаться ночью на поляков с саблями и ножами, стаскивали платье, отнимали деньги; караул схватил буянов и с уликою, с обнаженными саблями и пограбленными вещами, прямо препроводил к Тяпкину, потому что они назвались людьми русского резидента. На другой день литовский канцлер и варшавский губернатор прислали к Тяпкину с выговорами и требованием расправы с виноватыми. Тяпкин препроводил их к Тимофееву, чтобы расправился с ними тот. Но подьячий принял сторону пристава и рейтар, стал бранить Тяпкина при всех русских людях, называл коварником, и Тяпкин послал на него жалобу государю.

15 февраля 1675 года Тимофеев отправился к королю один – Тяпкина не пустили, а стали стращать его миром короля с турками, которые после того пойдут на Московское государство. Приезжал к Тяпкину Венявский, доверенный человек у короля, и под великою клятвою рассказывал, что король хочет двинуться ко Львову не для сейма и не для коронации, а для заключения мира с турками, татарами и Дорошенком, потому что бусурманы обещают возвратить королю все завоевания, но с тем, чтобы король пропустил чрез свои владения турецкое и татарское войска в Московское государство. Магометане казанские, астраханские, сибирские и даже живущие в самой Москве слезно просят султана, чтобы он, как бог их и царь, избавил их из работы христианской, обещают, что как скоро почуют пришествие рати турецкой и татарской в Московское государство, то немедленно и единодушно встанут на него. «Но если, – закончил Венявский обычным припевом, – царское величество даст на весну помощь королю войсками, то никаких трактатов с турком не будет». Тимофеева отпустили не прежде, как он обещал подскарбию соболей на 30 рублей; по этому случаю Тяпкин писал Матвееву: «Такое наше здесь житье, что и в самых постановленных между государствами делах без купли обойтись трудно!» По-прежнему Тяпкин жалуется, что трудно достать ему правдивых ведомостей, потому что «много составных проектов рассевают каждый по своему желанию, чрез обычные свои вертоглавные концепты. Кручинятся и нарекают беспрестанно, что помощи не получают от царского величества, а того будто не видят, что сами между собою перегрызли и разбрелись врознь; войско литовское лежит на хлебе в пятистах верстах от Браслава; думаю, что оно на помощь к королю на завтрашний день не успеет». Действительно, старый враг Собеского, гетман литовский Михаил Пац, отступил с своим войском от коронных полков; старший брат гетмана, стражник литовский Бонифаций Пац, объяснял Тяпкину это отсутствие тем, что король хочет помириться с турками и вместе с ними обратиться или на Москву, или на императора, но что Пац и вся Литва отнюдь этого не позволят. Пац жаловался, что король самовластвует, паны радные только и слышат от него: «Ваше дело передо мною стоять, слушать и исполнять то, что я приказываю». «Польские сенаторы, – говорил Пац, – привыкли, чтобы государь обо всем их спрашивался, их слушал, что ему нужно, домогался с прошением, а этот не так поступает. Избрание царевича теперь могло бы легко совершиться, пока Собеский не коронован».

Тяпкин не переставал тревожить государя слухами, что Московскому государству предстоит большая опасность: французский король употребляет все

средства, чтобы примирить Польшу с Турциею и весною двинуть их на Москву, а Швеция – союзница Франции. «Поэтому нужно, – писал резидент, – как в Украине, так и по шведской и на других границах чуткое ухо наставить и осторожность войсковую иметь, чтобы тем французским концептам не допустить и лаптей сплести, не только сапогов сшить, в которых бы могли ногу свою протянуть в государство Московское и яко дым да исчезнуть». Но тут же резидент доносил, что канцлер литовский с клятвою уверял его в ложности всех этих слухов; канцлер повторял старое, что не могут они надивиться, почему московские войска не соединяются с польскими, а ведут войну особо, в отдаленных сторонах, и этим дают неприятелю возможность легко взять верх, нападши на каждого порознь; собьют турки с поля поляков – русские войска и не узнают об этом, наступят на московские силы – поляки ничего не будут об этом знать; невозможно войску от войска дальше десяти миль быть. Если помощи не будет, то поневоле Речь Посполитая позволит королю мириться с турками на каких придется условиях, кроме условия союза против государства Московского».

Донося о польских жалобах, Тяпкин не переставал в письмах к Матвееву жаловаться на свое положение в Варшаве и просить об отозвании: «Умилосердися, государь, милосердый мой отец! Ежели уже всячески невозможно меня отсюда взять или переменить, то вели обослать государским жалованьем денежным, а не соболями и на раздачу прислать деньгами же. Я бы здесь не дороже московского для раздачи купил соболей, каких надобно, а то Василий Тимофеев привез самые плохие и подопрелые, а лучшие себе взял. Хотя и последнюю деревнишку вели отписать на великого государя, а меня удовлетворить государским жалованьем, чтобы я здесь не скитался, занимая по людям, и в зазоре от иноземцев не был. А наипаче смилуйся, государь, госиода ради, вели переменить, в иную страну, куда ни изволишь послать, всюду готов. Паки и паки, милосердый государь отец, смилуйся! Ей, государь, резиденты здесь всех государей богатые и ближние люди, консилиарами королей своих титулуются и полным жалованьем обсылаются; а у меня семья: я с сынишком самовтор, подьячих два человека, священник, шесть человек стрельцов, людишек четыре человека, без которых трудно обойтись, шесть лошадей, и на всех тех помянутых выходит за всякую пищу и за дрова кроме починки и нового платья и служивой рухляди по 3 рубля на день. Полковники кормовые на Москве великие кормы на месяц берут не только себе, но и коням: а мне, будучи в чужом государстве, особенно между такими льстивыми и злыми народами, кроме государской милости и твоего отеческого призрения, надеяться не на что. Скоро всех мне придется отпустить от себя, лошадей избыть и остаться в самом малом числе, если твоего отеческого призрения не получу». В апреле резидент дал знать, что против Собеского большая партия в разных сословиях, которая никак не хочет допустить его до коронации; против него главные воеводства: Краковяне, Великополяне, Мазуры, Львовское воеводство со всеми Русскими странами, Литва и Жмудь. Во всех этих областях очень любят королеву Элеонору, хотели бы, чтобы царевич Феодор женился на ней и был их государем, если же этого нельзя, то соглашаются иметь государем короля шведского, опять с условием женитьбы на Элеоноре; император очень хлопочет об этом по трем причинам: во-первых, желательно ему породниться с шведским королем: во-вторых, видеть на соседнем престоле близкого свойственника: в-третьих, и больше всего, отвлечь Швецию от



союза с Франциею. От этого, говорят, король Ян приходит в отчаяние и от великой печали слабеет в здоровье. «Впрочем, – добавляет Тяпкин, – нет в них ничего постоянного, потому что, как вольные народы, имеют уста самовольные и незатворенные, что хотят, то поют, один так, другой иначе, и ни одному верить нельзя; вернее всего то, что когда Собеский в Польшу явится, то на банкетах голоса противников вином разогреются и вместо слов нежелательных завопят: виват! виват! Другие деньгами и почестями успокоены будут. Нет ни малого постоянства в здешнем народе, нельзя узнать, кто из них прав или крив: все красомовцы, все мудры, все крутятся ехидным поползновением, не только головами, но и самыми душами, больше желают несытое свое лакомство удовлетворить, нежели добру общему прибыли и правды».

Несмотря, однако, на такие отзывы о поляках. Тяпкин стал явно склоняться к тому, что необходимо исполнить желание польского правительства, дать сильную помощь и соединить царские войска с королевскими: это было, по мнению резидента, самое лучшее средство разорвать факции французскую и шведскую, которые *зияют* на государство Московское. Польский резидент Свидерский доносил королю из Москвы, что царские войска стоят наготове по всей западной границе, начиная от Новгорода Великого, но неизвестно, куда двинутся. «А я, – писал Тяпкин Матвееву, – я безвестен и бессловесен пребываю, потому что очень редко писания из государственной палаты ко мне бывают, а когда и приходят, то не пишется ни о каких войсковых и других ведомостях, которые здесь надобны; от этого великую укоризну терплю от канцлера и других: о чем ни спросят – не ведаю. И если вперед так глух буду и безвестен, то предаюсь под твое высокое рассуждение, что из такого бесполезного житья моего здесь вырасти может?» Продолжались и жалобы на крайнюю нужду: в начале июня Тяпкин писал Матвееву, что принужден был заложить свою ферязь. Чтобы вырваться как-нибудь из Варшавы, резидент прибег к хитрости, писал, будто верный человек известил его о большом, в несколько миллионов, кладе князей Шуйских в Смоленске и что он, Тяпкин, если будет вызван в Москву, может обстоятельно рассказать об этом кладе, написать же не может. Не надеясь на полный отзыв из Польши, Тяпкин просил дать ему полк и отправить на помощь к королю: там, при войске, он по крайней мере сам все бы видел, а не покупал *авизы*, как в Варшаве.

Наконец из Москвы пришло резиденту позволение обещать полякам скорую помощь, вследствие чего Тяпкин был вызван к королю во Львов. В июле он поскакал туда, но не на радость: король и паны были встревожены тем, что слухи о движении царских войск начали стихать; несчастному резиденту не было покоя от выговоров; а тут еще новая неприятность: священник, бывший с Тяпкиным в Варшаве, отправлен был в Москву и здесь начал наговаривать на резидента Матвееву. «Я умолял его честью ехать в Москву, – писал Тяпкин, – потому что не мог долго сносить позора от римских духовных и других лиц; известен он стал в Варшаве во всех корчмах: бунтовщик, ссорщик, ненавистник всякого доброго человека, пьяница, колдун, совершенный кумиротслужитель! На всякий час мало ему было по кварта горелки, а пива выходило на него по бочке в сутки; умилосердись, не верь его вражеским речам, помилуй, вели меня хоть на время взять, а его подержать до той поры».

7 августа резидент был позван в обоз королевский для принятия грамоты Собеского к царю; прежде отдачи грамоты король велел подканцлеру литовскому

сказать Тяпкину: «В этой грамоте королевское величество прилагает новые просьбы о помощи, которая с давнего времени только обещается, а не дается; королевское величество с оскорблением этому удивляется, и ты, резидент, эти мои слова напиши ближнему боярину Матвееву». В Москву с королевскою грамотою отправлял Тяпкин сына своего, которого тут же представил Собескому: молодой Тяпкин благодарил короля за «его государское жалованье, за хлеб и соль и за науку школьную, которую употреблял, будучи в его государстве». Речь эта говорилась по-латыни, «довольно переплетаючи с польским языком, как тому обычай наук школьных належит». Отец хвастался, что сынок «так явственно и изобразительно орацию свою предложил, что ни в одном слове не запнулся». Король поблагодарил оратора сотнею золотых червонных и 15 аршинами красного бархата. 12 августа пришла царская грамота с извещением, что князь Ромодановский и гетман Самойлович получили указ двинуться к Днепру, куда для соединения с ними должны прийти все коронные и литовские войска, «Этому статься теперъ нельзя, – говорили паны, – это значит открыть неприятелю польские края, Львов и другие города, неприятель только в 12 милях от Львова, около Злочева, Збаража воюет. Пусть царские войска переправляются за Днепр и соединяются там с некоторыми частями польских войск, которые их ждут, и пусть промышляют над Дорошенком, потому что при нем очень мало козаков и татар, а затем бы и самые большие рати царского величества вооружались. В прошлом году выговорили, что зимою трудно воевать за Днепром, и потому царские войска явятся туда весною; теперъ не только весна, но и лето все проходит. Когда ж мы дождемся ваших войск? Осенью и зимою трудно за стужами и непогодами, весною голодно, летом жарко!»

В августе пришло письмо от Ромодановского и Самойловича к гетманам коронным, что царские войска уже над Днепром и некоторые отряды их перешли реку и соединились с отрядами польскими. Король очень обрадовался и прислал дворянина своего с этою вестию к Тяпкину. Между тем неприятель истреблял города недалеко от Львова, порывался и на самый обоз королевский. Король выступил из обоза, взявши с собою и русского резидента. Последний писал Матвееву, что войска польские очень стройны и охочи к битве, только между старшинами большое несогласие. Знатные и честные люди прямо говорили Тяпкину: «Хотя король с гетманами и вышел в поле, однако каждый из них рад бы был, чтобы на кого-нибудь неприятель напал, а другой бы о том будто и не слышал: разве сам бог смилуется над христианским народом и даст нам помощь и соединение». Тяпкин отвечал им: «Чего же ваша Польша и Литва негодуют, что наши войска с вами до сих пор не соединяются, когда вы сами между собою не можете согласиться? Постороннего государя войска, видя ваши такие друг с другом злохитрые факции, слыша, как вы злоречите своего монарха, могут ли вам верить и соединяться с вами». На это был один ответ: «Слушна твоя рация, господине резиденте!» Литовский гетман Пац вздумал было подсмеяться над Тяпкиным и в большом собрании стал ему говорить: «Видите, господин стольник, что король и мы все с малою горстью людей беспрестанно в поле обращаемся и отпор даем недругу; а ваши московские полки, которых, говорят, тысяч полтора и больше, разве только с гор киевских на нас смотреть будут, что над нами станется? И если хотя один татарин подбежит под Киев, то они все от него в вал схоронятся и показаться не посмеют, а после на комиссии будут оправдываться,

что ходили на помощь полякам». Резидент ловко отшутился. «Господин гетман! – сказал он Пацу. – Не дивись войскам царского величества, что не поспешили к тебе на помощь; может быть, медленность их не без причины: бояре и воеводы слышат о чрезвычайно скором сборе войск польских и литовских. Ваша гетманская честность не очень давно изволила прибыть на помощь к королевскому величеству не с киевских гор, а из виленских долин. Твоя честность очень скоро отчизну свою оборонил и прибыл на помощь, когда турки взяли уже 24 города!» Пац рассердился. «Ни один москаль мне так остро не говаривал», – повторял гетман и прислал к Тяпкину с требованием, чтобы сейчас же отдал ему долг – 1000 золотых польских. Но резидент упросил его чрез иезуитов, чтобы подождал еще месяц. Тяпкин не мог нахвалиться обращением с собою короля: «Сам велел мне у себя всегда быть в покоях, как будет надобность, разговаривает со мною очень милостиво, когда помяну имя великого государя, всегда снимает шапку и говорит о нем, государе, любезно со всякою учтивостию». Впрочем, резидент скоро оставил короля и возвратился во Львов. Здесь он подружился с епископом львовским Иосифом Шумлянским и вошел в переписку с Антонием Винницким, епископом перемышльским. Антоний прислал к нему своего секретаря, который в тайном разговоре начал просить совета, как бы у великого государя получить митрополию Киевскую, потому что Тукальский умер, а он, Антоний, имеет привилегию на митрополию от двух королей польских. «Как господин епископ, – отвечал Тяпкин, – верно великому государю служит и его государскую милость помнит, такую может за свои заслуги и награду получить». В письме своем к Антонию резидент объяснился подробнее, выразил удивление свое, что епископ только теперь припомнил милость великого государя, за которую, неизвестно, заплатил ли хотя одною молитвою или одною бескровною жертвою, и только теперь отозвался с своим служебным желанием.

Поход королевский кончился ничем: неприятель спокойно вышел из границ королевства, обремененный добычею. «Поляки, – пишет Тяпкин, – проводили турок как милых гостей, одаривши их бесчисленными дарами из душ православных, проводили за самый Днестр, мало не до Дуная. Когда же увидали, что турки и татары из Валахии вышли, то обнаружили здесь великую храбрость над церквами и монастырями благочестивыми, стали до основания их разорять и жечь, церковные утвари разбойнически расхитили, нескольких епископов и многих игуменов и священников до смерти побили; в церквах с конями стояли и, что еще хуже, с невольницами ночевали; и теперь по маетностям своим стадами, как бессловесных, гонят невольников волошских. Православные христиане во Львове сильно об этом вздыхают и плачут, опасаясь, чтоб и над ними латинская прелесть окончательно не взяла верха. Слышу от благочестивых духовных и мирских, что их владыки здесь только мантиею благочестивой веры восточной украшаются, внутри же тяжки св. церкви, как волки, и больше римскому костелу похлебствуют, чем церкви божию защищают».

Тяпкин в своих донесениях не нахвалится дружелюбным обращением с собою цесарского резидента Зеровского: «Во всем братолюбно со мною дружбу и согласие иметь желает в равенстве; только я не могу с ним равняться, потому что он очень богат и славен, ездит в позолоченной карете шестернею, а у меня две клячи насилу живы, и тех кормить нечем».

Мы видели, как австрийские послы играли роль посредников при заключении мира между Россией и Польшею, когда дело шло об избрании царя Алексея в преемники Яну-Казимиру. После неблагоприятный оборот дел, сильное желание окончить войну, истощавшую вконец государство, заставляли царя снова обращаться к посредничеству императора Леопольда. Но это обращение было похоже на старание утопающего схватиться за соломинку и происходило от очень недостаточного знания тогдашних европейских дворов и их отношений. Польское правительство, более опытное, отклоняло австрийское посредничество. Венский двор объяснял это интригами польской королевы-француженки, которая хочет видеть родственника своего, французского принца, на польском престоле, объяснял союзом Яна-Казимира с ханом крымским, а чрез хана и с султаном турецким, что все ставило Польшу во враждебные отношения к Австрии. Но Москве было от этого не легче: она не переставала требовать содействия к прекращению тяжкой войны. Как будто в насмешку в конце 1661 года австрийский посол Августин фон Майерберг объявил, что турецкое войско вторгнулось в императорские владения, и просил, чтоб царское величество изволил мысль свою объявить, как бы против общего христианского неприятеля-бусурмана вспоможенье учинить ратными людьми? Думный дьяк Алмаз Иванов отвечал на это: «Сами знаете, что польский король, неприятель нашего государя, с бусурманом в союзе, следовательно, цесарскому величеству надобно стараться о том, как бы польского короля от бусурманского союза оторвать и с царским величеством привести к прежней братской дружбе и любви. Когда оба эти государя будут в мире, то надежнее будет мысль против общего христианского неприятеля. Цесарскому величеству можно помирить великого государя нашего с королем польским способом внешним и духовным: внешним – войною, духовным – клятвою, потому что вера у них одна – папешская, а папа издавна имеет старание о том, чтобы все христианские государи были в совете и с бусурманами не дружились и союза не имели. Вам известно, что теперь у царского величества неприятель польский король и все войска наши стоят против поляков: так, не помирясь с польским королем, начать войну с другим великим неприятелем надобно рассудя».

Андрусовское перемирие и потом нашествие турок на Польшу переменили отношения: в 1672 году русский посланник майор Павел Менезиус поехал в Вену с известием о взятии Каменца турками, о вооружениях России и с вопросом: будет ли император помогать Польше и как? Император отвечал, что он двигает к польским границам большое и искусное войско. Избрание Собеского и тревожные вести, приходившие из Польши о намерениях нового короля, заставили Алексея Михайловича отправить новое посольство в Вену в 1674 году. Посланники – стольник Потемкин и дьяк Чернцов – объявили цесарским думным людям *осторожность*. На королевство Польское избрали Яна Собеского, бывшего гетмана, а княжества Литовского сенаторы и все посольство этому избранию противились и склонились после за великие подарки из страха, потому что Собеский привел с собою ратных людей, Краков и Варшаву своими пешими людьми осадил и не столько избранием, сколько силою сделался королем. Некоторые особы говорили тайно, что Собеский обоим государствам, как царского, так и цесарского величества, великий неприятель и с турецким султаном может помириться вскоре: французский посол из Варшавы уже поехал к султану,

чтобы устроить этот мир. Когда мир состоится, то султан пойдет войною на цесарские земли, чтобы не дать цесарю воевать французского короля, а король польский с частью войска турецкого и с Крымом обратится на Московское государство. Нынешним королем Польское государство в последнее искоренение придет, потому что он малолюден и с турками заключит мир для того, что имения его все на турецкой границе».

Думные люди отвечали: «Когда был здесь ваш посланник Менезиус, в то время у императора было намерение послать войско на силезскую границу, в помощь Польше: но французский король напал на голландцев, и цесарское величество по просьбе голландцев отправил многие войска свои на помощь им против французов. Если наши войска одолеют короля французского, то император станет помогать королю польскому. Враждебным замыслам нового польского короля цесарское величество верит: обнаруживаются они делом, а не словами. Но многие сенаторы не хотят и слышать о том, чтобы султан мог наступить войною на императора; если сенаторы и все посольство в Польше услышат, что у нашего государя с вашим крепкая братская дружба и любовь, то не посмеют напасть ни на нас, ни на вас, будут опасаться, что они между такими великими государями».

Борьба с Турциею оживила наши дипломатические сношения и с другими европейскими государствами. В сношениях с ближайшею Швециею до 1673 года продолжались взаимные перекоры за несоблюдение договорных статей, особенно насчет торговли. В 1670 году был в Риге находившийся в русской службе полковник фон Стаден; шведские генералы Врангель и Тотте поручили ему предложить ближним людям оборонительный союз между обоими государствами. Государь велел отвечать, что он в случае неприятельского нашествия на Швецию готов помогать ей деньгами и запасами, но ратных людей не пошлет и от короля не потребует, потому что когда бывает поход ратных людей, то происходят многие ссоры. Генералы дали знать Стадену, что Стенька Разин разослал по корельским и ижорским крестьянам грамоты за рукою и печатью бывшего Никона-патриарха. Отправляя снова Стадена в Швецию, государь поручил ему хлопотать, чтобы грамоты эти и люди, их привезшие, присланы были в Москву. Стадену поручено было также объявить Врангелю с товарищами: «Король желает с царским величеством союза, а подданные его печатают в курантах ложные известия и тем между обоими государями производят ссоры. Так, 19 ноября из Риги напечатано: бывший московский патриарх, собравши великое число войска, хочет войною идти на царя за то, что царь, обесчестив его, от патриаршеского чина безо всякие вины отставил, не рассудя, что он патриарх премудрый и ученый человек и во всем лучше самого царя, а вина его заключается в том, что он лютеранам, кальвинистам и католикам позволил ходить в русские церкви. Царь ищет случая помириться с Стенькою Разиным, который и сам не прочь от мира, но на следующих условиях: 1) чтобы государь сделал его царем казанским и астраханским; 2) дал ему на войско 20 бочек золота; 3) выдал ему восемь человек ближних бояр, которых за грехи их Стенька умыслил казнить; 4) чтобы Никон был по-прежнему патриархом. Государь велел Стадену домогаться, чтобы напечатавшие такие вести были жестоко наказаны».

В конце 1673 года приехал в Москву шведский посол граф Оксенштерн с товарищами: но когда начались толки о приеме, то встретилось важное затруднение: от послов потребовали, чтоб они были во дворце с непокрытыми

головами, что точно так же и русские послы в Стокгольме будут пред королем без шапок. Оксенштерн не решился согласиться на эту новизну без королевского указа; надобно было посылать за этим нарочно гонца в Стокгольм; разрешение пришло, но за этими переговорами и пересылками прошло много времени, и переговоры могли начаться не ранее апреля 1674 года. Эти переговоры велись боярами князем Юрием Алексеевичем и князем Михаилом Юрьевичем Долгорукими и окольным Артемоном Сергеевичем Матвеевым. Оксенштерн начал: «Государь наш, Карл XI, пришел в совершенный возраст и желает быть с царским величеством в крепком союзе. Видя этот союз, посторонние государи будут в страхе; да и потому союз нужен, что общий всех христиан неприятель, султан турецкий, наступил войною на королевство Польское, много городов взял, лучшею и надежнейшею крепостию Каменцом-Подольским овладел, а царского величества рубежи от этих стран не в дальнем расстоянии. Как султан узнает, что между вашим и нашим государем заключен союз, то станет опасаться и намерение свое отложит, а король против этого неприятеля будет всегда помогать». Оксенштерн кончил постоянною жалобой, что условие Кардисского договора не исполнено, не все пленные отпущены. Начался спор о том, о чем прежде рассуждать? О союзе или о неисполненных статьях Кардисского договора? Бояре настаивали, что надобно начать с союза; послы возражали, что, не покончивши с прежними договорами, нельзя заключать новых. «А зачем король не прислал своих уполномоченных в Курляндию? – спрашивали бояре. – Там бы все спорные дела и были порешены». «В Курляндии, при польских послах, говорить о неисполненных статьях Кардисского договора было непристойно», – отвечали шведы. «Вы прежде всего начали о союзе, а потом уже сказали о неисполненных статьях договора: так в этом порядке и ведите переговоры!» – твердили бояре.

Шведы уступили и начали говорить о союзе против турок, объявили, что король их обещал послать полякам на помощь 5000 человек пехоты, а если у Швеции будет война с другим государством, то 3000; войска эти пойдут всюду, где надобно будет полякам, и будут помогать им до прекращения войны; король шведский подает эту помощь королевству Польскому с *имени христианского*, не желая себе за то никакого вознаграждения. Бояре отвечали, что 5000 очень мало, великий государь желает, чтобы король шведский стоял против турка всеми своими силами с царским величеством заодно, а из-за 5000 и союза заключать не для чего: хотя бы эти 5000 были все ученые инженеры, а не простые солдаты, то все же против таких больших сил стоять не могут. «Но поляки сами больше у нас не просили», – возражали послы. «Чего у вас поляки просили, до того нам дела нет, – говорили бояре, – а теперь пусть король заключит союз с царским величеством стоять против султана всеми своими силами заодно, чтоб турок Польшею не овладел; а когда турок, чего боже сохрани. Польским государством овладеет, тогда и Шведскому государству тяжело будет». Послы объявили, что о таком союзе им договариваться не наказано: для заключения такого союза пусть царское величество отправляет своих послов к королю. «Так зачем же вы-то приехали? – спросили бояре и продолжали: – Нам надобен такой союз, чтобы с обеих сторон было по 200000 войска: наши будут за Днепром и на Дону, а ваши под Каменцом-Подольским или в другом каком-нибудь месте». «Но как же в бумаге, присланной с фон Стаденом, прямо было сказано, что помощи людьми царское величество не желает?» – говорили шведы. «Это было уже давно, –

отвечали бояре, – тогда еще турок на польского короля не наступал и Каменца-Подольского не брал». Послы объявили прямо, что такой союз именно против турок вовсе не выгоден для Швеции, а выгоден только для России: турецкие границы сходятся с русскими и вовсе не сходятся с шведскими; за что же Швеция обяжется помогать постоянно России без надежды получить когда-либо взаимную помощь? Поэтому послы предлагали заключить союз глухо, на всех неприятелей обоих государств, не называя именно турок. Тщетно бояре толковали, что отдаленность границ не значит ничего, что опасность большая и для Швеции от турок; тщетно брали доказательства из истории: как греки, угрожаемые турками, просили помощи у соседних держав, те не дали на том основании, что до них было еще далеко; но когда беспомощная Греческая империя пала, то и соседние державы вслед за нею подверглись игу бусурманскому. Послы остались непреклонными: бояре уступили, и было постановлено: если царское величество потребует у королевского величества помощи против недруга с этой стороны моря, то может просить надежно: также если королевское величество станет требовать помощи у царского величества против недруга с этой стороны моря, со стороны Ливонии, то может просить надежно. Это разумеется о помощи как людьми, так денежной казною и военными запасами. Государь велел собрать в Москву всех шведских пленных, крещеных и некрещеных, и расспросить их при боярине Ив. Богдан. Милославском и при королевском дворянине: если которые из них и веру греческую приняли, а скажут, что принуждены к тому неволею, тех отпустить в Швецию; а которые приняли греческую веру добровольно или хотя и веры не приняли, но захотят остаться в России, те пусть остаются; то же самое будет сделано в Новгороде и Пскове с шведскими пленниками и в Швеции с русскими. Статья о торговых пошлинах отложена, потому что послы без королевского указа не согласились на предложение бояр брать пошлины по существующим уставам в обоих государствах. Послы взяли представить на королевское усмотрение и следующую статью: перебежчиков казнить смертию в той стороне, куда перебегут, перебежавших до сего времени выдать без задержания.

Мы видели, какие деятельные сношения были у царя с датским королем Фридрихом III в 1656 и 1657 годах по поводу войны шведской. Хотя прекращение этой войны отняло у сношения с Даниею главный интерес, однако в Москве не хотели прекращать их, и в 1660 году отправился в Копенгаген стряпчий Яков Кокошкин с грамотою, в которой царь изъявлял желание быть с королем в крепкой братской дружбе и любви и в соседских приятельских ссылках свыше прежнего навеки непременно. Кокошкин был принят очень любезно и услышал о важной новости: 14 октября пришел к нему королевский переводчик и стал рассказывать: «Вскоре после мира с Швециею пришли к королю архиепископ копенгагенский, епископ и духовный чин да с ними копенгагенцы посадские выборные люди и говорили: прежние датские короли, и отец его, Христиан-король, и он сам дел государственных и других никаких по своему изволенью, без воли думных людей, не совершали, и государством владели ближние люди, от которых были многие измены и Датскому государству разоренье большое. И теперь они, духовный чин и посадские люди, хотят того, чтобы он, король, государством своим владел один и всякие дела делал и волею своею исполнял, не ожидая рады и приговору от думных людей, по своему изволенью, как ему будет годно, чтобы думных людей

изменою государство вперед не разорвалось и чтобы король велел об этом учинить раду вскоре. По их словам, король посылал по всем городам государства своего листы, чтобы из городов прислали в Копенгаген человека по два и по три, выбрав людей добрых. Когда выборные люди в Копенгаген приехали, то король велел учинить раду и говорил на ней, чтобы Датским государством владеть ему одному и всякие дела делать и волею своею исполнять без рады и воли думных людей. Думные и ближние люди этого было не захотели сделать и стояли упорно; только духовный чин и выборные из городов посадские люди за большую неволею их наговорили, чтобы они на то дело позволили. Сего дня рада кончилась: приговорили, чтоб в Датском государстве нынешнему королю и потомкам его дела государственные и всякие совершать, не ожидая рады и приговору от думных людей, по своему изволенью, как им, королям, будет угодно. Думные люди, духовный чин, дворяне и ратные люди и из городов выборные люди станут при короле присягать, чтобы тому делу быть вовек неподвижно».

17-го числа король прислал за Кокошкиным карету, и русский посланник отправился на площадь подле дворца смотреть, как будет происходить эта торжественная присяга самодержцу. «На площади, – доносит посланник, – сделано было место деревянное, как на Москве Лобное место, на месте сделан рундук, обито место и рундук сукнами красными, на рундуке поставлено 8 кресел, обиты кресла бархатом червчатым. Около места стояли ратные люди. В шестом часу дня король вышел из дворца, перед ним шли дворяне, думные и ближние люди несли знамя красное тафтяное, шпагу королевскую, яблоко серебряное и корону. Король шел с королевою, двумя королевичами и четырьмя королевнами под покровом (балдахин) бархатным червчатым; за королем шли духовные и выборные люди. Король с своим семейством сел в кресла. Архиепископ, епископ и думные люди поднесли ему корону. Король встал, снял шляпу, принял корону и отдал ее ближним людям, которые поставили ее на стул. Тогда канцлер начал читать статьи, на которых все и присягали, а по присяге подходили к королю и к королеве к руке».

Кокошкин привез в Москву грамоту, в которой Фридрих III извещал царя, что он сделался *отчинным* королем. «Надеемся, – писал Фридрих, – что такая нашему королевскому дому прибылая честь вашей любви, как нашему брату, особному другу и соседу, приятна будет». Поздравить короля с этою прибылою честью в начале 1662 года отправились в Данию двое дворян Нащокиных – Григорий и Богдан. Московские дипломаты не хотели отставать от малороссиян и поляков в витийстве, и Григорий Нащокин держал к королю Фридриху такую речь: «Слышав великий государь наш, его царское величество, о сицевом великодаровитом на ваше королевское величество излианном божии благосердии и изящном вашего королевского величества добросчастии, возсла всеми владеющему царю богу хваление, сице о таковом вашего королевского величества радуясь благополучении, яко об особичном его царского величества приобретении, на знак же постоянные и давностию времени любви сотвержденные, нас, великих послов, к вашему королевскому величеству послати изволил, известуя, яко он, великий государь наш, соблюденьем всех содетеля в троицы славимого бога на своих великих государствах здравствует; и яко истинные любве рачитель, чрез нас ваше королевское величество поздравляет: здравствуй, ваше королевское величество, на отчинном вашего государства



королевстве благочастне, вышний вседержитель велелепною си десницею да соблюдает ваше королевское величество в долголетнем и благоденственном здравии, державу твою в неотменной целости и достоинство в приличном благосостоянии, королевство твое в честности и подобающем служении людей твоих, да яко другой адамант лепотою и крепостию благородствуя, ни единым от сопротивных емлем будеши, но над многих светяся ясным ти королевских исправлений блистанием, блеска противящих ти ся одолеваеши и зраки доброхотствующих ти увеселяеши и к сим желательного потомства светельство испущаеши, да искры сего адаманта, ся есть вашего королевского величества потомки, вашим государством державствующе, не померкнут, но твердость выше намененные давностию времен и многими предки и сродства сокрепленные и седины высокие чести цветущие дружбы и любви братские между великого государя нашего и вашего королевского величества да пребывает вечно наподобие адаманта крепчайшего, ничим же от слабоумных нарушаема, сице да и страны окрестнии образец сего постоянного дружества снемше вместо зловиновных раздоров добровиновную тишину любви между себе обымут. И бог вседержавный, не бессловесных смущений, но мира и добрые любви виновный, всех благ дарователь от крепкоумных уст прославится присно, иже постоянно чином правды любящих и в любви постоянствующих обыче венчати». Богдан Нащокин говорил подобную же речь от царевичей – Алексея и Федора, «двух благородных и бесценных царских искр, от дражайшего и бесценного адаманта воссиявших». Послы объявили в подарках от царя королю пять тысяч пуд пеньки; король велел сказать им, что пенька ему теперь очень нужна и он посылает за нею нарочно корабль в Архангельск.

В 1665 году ездил в Данию известный нам Петр Марселис с просьбою, чтобы король Фридрих постарался склонить польского короля к миру с Россией. Фридрих отвечал, что пошлет к Яну-Казимиру узнать о его намерениях. Понятно, что вмешательство датского короля не могло несколько помочь делу. Мы видели, что помогло ему. По заключении Андрусовского перемирия в Москве сочли нужным известить об этом и датского короля.

Дания не славилась в Москве богатством, промышленностью и торговлею, и потому к ней не обращались ни с просьбою о ссуде деньгами, ни с просьбою о присылке мастеров. Мы видели бедственное положение Московского государства во время польской войны, когда финансовые средства истощились и правительство бросало всюду тревожные взоры с вопросом: где бы занять денег, как бы увеличить доходы? Знали, как богаты западные поморские государства, знали, что богаты они от мореплавания, торговли, что купцы их ездят на своих кораблях в дальние богатые страны и привозят оттуда дорогие товары. Еще в 1662 году явилась мысль: нельзя ли завести свои корабли и отправлять их в эти богатые страны за дорогими товарами? На Балтийском море не было своих гаваней; родился вопрос: нельзя ли завести мореплавание из чужих гаваней? Московское правительство находилось в дружеских сношениях с герцогом курляндским; ему оказаны были услуги: во время войны с Польшею не трогали его областей, ходатайствовали перед ним у шведского короля. Царский посланник Желябужский, проездом в Англию и другие страны, вызвал к себе в Ригу канцлера курляндского Фелькерзама и говорил ему: «Ваш князь, помня к себе великого государя милость, службу свою и раденье оказал бы, объявил бы великому

государю: куда его корабли ходят для пряных зелий и овощей, в которые урочища и чьи владения, и в какое время ходят, и в какое время корабли назад возвращаются, и в какую цену ему корабль обходится, с снастями и со всем корабельным заводом, и сколько будет стоить корабельный ход людским наймом и запасами? За милость великого государя князь сделал бы, чтобы государевым кораблям ходить в те места для тех промыслов, и корабли бы великому государю для тех промыслов велел изготовить со всем как можно идти, а во сколько ему корабли станут, и то ему будет заплачено из царской казны. Да объявил бы князь: где добывать мастеров к серебряным рудам и где он сам, князь, руду серебряную добывает?»

«За премногую милость великого государя, – отвечал Фелькерзам, – князь мой во всем служить и работать рад; ходят его корабли для пряных зелий и овощей в его владения, в Индию; там у князя свой остров, устроен на нем городок, живет там княжих людей 200 человек. Строенье князю стало дорого: возили лес на кораблях отсюда. Корабли нам стоят дорого, потому что на их строенье все привозят из чужих земель. Думаю, что пристойнее великому государю заводить корабли у Архангельска». Герцог прислал грамоту с подробным изъяснением дела; грамота не сохранилась; но мы легко можем догадаться о ее содержании.

Сношения с Голландиею, откуда вызывались ратные люди и мастера, были так важны, что в 1660 году англичанин Иван Гебдон отправлен был туда резидентом, или комиссариусом.

Мы видели, что сношения с Англиею прекратились в 1649 году вследствие казни короля Карла I, но продолжались с претендентом Карлом II, которому дано было вспоможение. В 1654 году к Архангельску приплыл посланник английского владетеля Оливера (Кромвеля) Вильям Придакс. Посланник подал государю письмо, в котором говорилось, что великий земский сейм, отчаявшись в исправлении многих дуростей, бывших в Английской земле при державе прежних королей, переменял правление и поставил самого доброго и премудрого государя, Оливера, который посылает с большою любовью поклон к кесарскому величеству, великому государю кесарю Алексею Михайловичу, прося о возвращении вольностей, отнятых у купцов английских. Царь не встал, спрашивая о здоровье протектора; посланник протестовал: «Хотя ныне в Английской земле и учинены статьи (республика), однако государство ничем не убыло; испанский, французский и португальский короли и Венецианские статьи воздают владетелю нашему честь так, как и при прежних королях». «Английскому королевству учинилось пременение, – был ответ, – от владетеля вашего к царскому величеству присылка первая, и, с каким делом ты прислан, про то царскому величеству было неведомо; а венецианские и голландские владетели царскому величеству не пример, и тебе про то выговаривать не годилось». «В каких государствах я ни был, – продолжал посланник, – такой почести себе не видывал: пристав сидел у меня в санях по правую сторону и шпагу с меня сняли!» «Как в Московском государстве в обычаях повелось, так и делают, – отвечали ему, – а тебе в чужом государстве про чины выговаривать не годится». В ответной грамоте Кромвелю царь писал: «Оливеру, владетелю над статьи Аглинской, Шотландской и Ирландской земель и государств, которые к ним пристали. Что вы с нами дружбы и любви ищите, то мы от вас принимаем в любовь, в дружбе, любви и пересылке с вами, протектором,

быть хотим и поздравляем вас на ваших владениях, в чем вас бог устроил. Что, ваша честность, пишете о торговых людях, то нам теперь об этом деле вскоре рассмотрение учинить за воинским временем нельзя, а вперед наш милостивый указ будет, какой пристоеен обоим государствам к покою, прибыли, дружбе и любви».

Далее этих неопределенных учтивостей с Кромвелем дело не шло. Царский резидент в Голландии англичанин Гебдон оказался приверженцем Карла II, и, когда последний призван был на престол английский, Гебдон явился к нему с просьбою отпустить в Россию трехтысячный отряд войска. Король дал ему полную свободу набирать войско и, давая знать об этом царю (весною 1661 года), писал, что никогда не может забыть знаков братской дружбы, оказанных ему Алексеем Михайловичем во время нечестивого смятения, особенно не может забыть распоряжения, по которому недостойные подданные его были лишены прежних вольностей в Московском государстве; но теперь, когда добрые подданные возвратились к прежнему послушанию, то он, король, надеется, что царское величество возвратит им привилегию. Грамота королевская была прислана с сыном Гебдона.

Поздравить нового короля с восшествием на престол в 1662 году отправились в Англию стольник князь Петр Прозоровский и дворянин Ив. Желябужский. Послы были встречены уверением, что король ни к кому из государей не питает такой приязни, как к русскому кесарю; всем приезжим людям объявляет великого государя милость к себе, с ближними своими боярами и со всеми подданными своими говорит беспрестанно, что, кроме русского государя, никто не оказал ему такой милости, когда он был в изгнании; ждет король, чем бы воздать великому государю за эту милость. Когда послы ехали по Темзе, на всех кораблях стреляли из пушек; где не было пушек, там все люди приветствовали послов громкими криками; по лондонским улицам мелким людям ведено было кричать, а лучшим людям всем быть на встрече. В ответе королевские бояре объявили послам: когда королевское величество был в изгнании, в то время великий государь помог ему казною. Это вспоможенье королевскому величеству памятно, и теперь он занятую казну посылает к великому государю. Послы говорили, чтобы королевское величество сверх этой казны велел бы великому государю дать взаймы ефимков 10000 пуд, а великий государь велит заплатить товарами, пенькою и поташом погодно, как будет положено в договоре. Королевские бояре отвечали, что это дело великое, скоро его решить нельзя, а король на отпуске сам сказал Прозоровскому: «Я вседушно бы рад помочь любительному моему брату, да мочи моей нет, потому что я на королевстве внове, ничем не завелся, казна моя в смутное время вся без остатку разорена, и ныне в большой скудости живу, а как, бог даст, на своих престолах укреплюсь и с казною сберусь, то буду рад и последнее делить с великим государем вашим».

В бытность свою в Лондоне второй посол, Желябужский, поссорился с Гебдоном; по донесению Желябужского, Гебдон получал деньги из королевской казны на содержание послов и утаивал, давал дурную пищу. На посольском дворе занял себе и детям своим лучшие комнаты: доктору Самуилу и другим немцам, приятелям своим, отвел комнаты хорошие, а дьяку и дворянам дал палатишки тесные, подъячему же отвел такую палатишку, что и войти в нее скаредно. Гебдон говорит, что бояре на Москве государю не радеют, надобных людей, иноземцев,

беречь и взыскивать не умеют; а которые иноземцы худые люди и умеют, жить ложью, до тех бояре добры и казною государевою таких обогащают. И прежде, при царе Михаиле, бояре Иван Бор. Черкасский и Федор Ив. Шереметев худых лживых людей, иноземцев, жаловали: иной за собою сказывал рудознательство серебряное, иной другое мастерство, и тем выманивали много денег, а бояре им давали. Теперь отогнали от архангельской пристани всех торговых людей, и нам, англичанам, и подавно вперед ездить не за чем: какие товары привозили из Московского государства, те все в Английской земле завели. Царские подарки, присланные королю, Гебдон дешешил; о русских людях распускал слухи, что они пьянствуют, выпивают в день по 11 бочек; второго посла, Желябужского, называл брюзгою и будто его дурость ведома всему Лондону.

Гебдон в свою очередь писал в Москву зятю своему, что Желябужский вредит посольскому делу, что король и вельможи и видеть его не могли за его гордость; а как он уехал через Францию в Италию, то король и думные люди хвалят князя Прозоровского за его учтивость. Сын Гебдона писал, что послы приняты с небывалыми почестями по раденью отца его, ежедневно отпускается им от короля по 200 серебряных рублей; только Желябужский унизил государево имя гордостью своею; а князь Прозоровский у короля и вельмож в славе и чести высокой. Доктор Самуил Коллинс писал, что весь двор про князя Прозоровского говорит все доброе, а Желябужский горд, никого не почитает и никому не люб, когда уехал, то оказалось, что мебель в его квартире перепорчена и хоромы все испоганены.

В Москве, однако, как видно, не так смотрели на Прозоровского и Желябужского, как в Англии: не Прозоровскому, а Желябужскому поручено было снести с герцогом курляндским насчет мореплавания; не Прозоровскому, а Желябужскому поручено было занять у английских купцов 31000 ефимков. Желябужский обратился к купцам, предложил условие, что уплата будет произведена в Архангельске пенькою и поташом; купцы отвечали, что дадут, но пусть поговорит прежде с *воеводою* лондонским (лордом-мером). Воевода отвечал: «Рад я работать великому государю, стану говорить торговым людям, кто что захочет дать, а иное и сам дам, что смогу». Желябужский обратился и к резиденту Гебдону, чтоб порадел великому государю, промыслил ефимков; но тот отвечал: «Теперь нельзя давать займы: у Архангельска в торгах стала неправда и невольность; если дать займы, то почитай за пропалое. И прежде платеж бывал займам худ, а теперь и спрашивать нечего по нынешним торгам и товарам, добывать мне ефимков негде, и дела мне до этого нет!» Несколько раз потом посылал Желябужский к воеводе и купцам, все обещались прийти, наконец пришли и объявили: «Ефимков нам дать нельзя, потому что товары в Архангельске стали дороги; отдаем здесь ваши товары дешевле, чем покупаем, да и то никто не покупает; у нас и так много в долгах пропадает на московских людях, а сыску в тех долгах нет».

*Желябужский* : «По чьему-нибудь нерадетельному умыслу не хотите дать ефимков, да и говорите затейное дело! Никогда у вас в займах ничего не пропадало».

*Купцы* : «И теперь у нас много по записям долгов и задатков на московских торговых людях пропадает, а расправы нет. Да и приезд к Архангельску перед прежним стал нам тяжел от голов и целовальников. Если б еще побывал в головах

Василий Шорин, а в целовальниках Климшин, то бы и вовсе всех приезжих иноземцев отогнали; таких мы других неправедных людей на свете не видали».

*Желябужский* : «Все это к моему делу не относится; я прошу теперь займы для великого государя и запись дам, что заплачено будет из царской казны; у вас долги меж своею братиею, и бейте челом на своих должников великому государю; жалуйтесь и на тех, от кого вам тягость и налога в торгах; во всем будет розыск и расправа».

*Купцы* : «В Архангельске мы всегда о долгах своих и задатках бьем челом и у воевод указа просим; воеводы нам в долгах и задатках расправу чинят, а в обидах от голов и целовальников отказывают, будто им, воеводам, до них дела нет; а как прежде голов и целовальников ведали воеводы, то нам было лучше ездить с товарами».

Несмотря ни на какие увещания со стороны Желябужского, купцы решительно отказали в ефимках. Пришел голландец Артемий-живописец и стал объяснять дело: «Купцы ефимков не дали по наговору Гебдона; он им говорил: не давайте ефимков: если б царю нужно было здесь что-нибудь, то бы он к вам прислал грамоту или бы отписал ко мне». Толмач подтверждал то же самое.

В 1664 году приехал в Москву знатный посол, Говарт граф Карлейль, и, небывалое дело, приехал с женою и сыном. В грамоте своей Карл II извинялся перед царем, что замедлил отправлением торжественного посольства, но выбор такого знатного человека, как родственник его граф Карлейль, должен показать особенное высокое почитание, которое он, король, питает к персоне царского величества. Бояре князь Ник. Ив. Одоевский и Юрий Алекс. Долгорукий да окольный Васил. Сем. Волынский назначены были в ответ; велено быть им в золотах, с образцами низаными, в золотых цепях и черных шапках. Посол объявил наказ королевский: 1) известить великому государю, чтобы он изволил утвердить с королем прежнюю братскую дружбу и любовь: 2) просить возвращения привилегий английским купцам. На первую статью отвечали, что государь братской дружбы и любви с королем очень желает; а на вторую статью последовал отказ: «Торговали англичане в Московском государстве беспошлинно лет сто и нажились, а узорочных и других товаров, которые были годны в царскую казну, по своей заморской цене не давали: заповедные товары привозили и вывозили тайком; чужие товары провозили за свои, чтобы не платить пошлин: один из купцов Английской компании приезжал в Балтийское море на военном корабле и хотел грабить царских подданных, которые ездят в Швецию для торговли. Мы думаем, – говорили бояре, – что королю все это неизвестно: иначе он не стал бы просить о подтверждении прежних жалованных грамот». «Королю все известно, – отвечал посол, – но теперь он просит привилегий, потому что хочет пожаловать русскую торговлю людей себе верных, от которых никакой неправды в Московском государстве не будет: узорочные товары станут отдавать в царскую казну по заморской цене, товары станут привозить добрые, сукна нетянутые».

*Бояре* : «Станут англичане торговать в Архангельске с пошлинами, и королевскому величеству убытка никакого не будет, а царские подданные начнут торговать в Англии, будут платить пошлины прямые, и от того обоим государствам будет прибыль; если же англичане будут торговать в Московском государстве беспошлинно, то царской казне будет большой убыток, а прибыли никакой».

После долгих переговоров и письменных пересылок бояре объявили Карлейлю: «Великий государь, для прошения любезнейшего и вожделеннейшего своего брата, указал английским гостям ездить в Архангельск и из Архангельска в Москву десяти человекам, людям добрым и в правде свидетельствованным и королевскому величеству годным, которых королевское величество изволит выбрать вновь. Эти десять человек могут в Москве двор купить; пошлину с своих товаров будут они платить наравне с другими иноземцами, пока у царского величества с польским королем и крымским ханом война; а как война кончится, в то время царское величество велит английским гостям указ учинить по своему государскому милосердому рассмотрению, как возможно».

Посол был недоволен. «Если, – говорил он, – царское величество привилегий не возвратит, то как между обоими великими государями основанию дружбы быть крепку?»

«А когда король отказал дать займы денег, то ведь от этого дружба не нарушилась», – был ответ.

Карлейль был сильно раздражен неуспехом своего дела и в этом раздражении позволил себе резкие выражения в разговорах и на письме. Так, между прочим, он позволил себе сказать, что московское правительство нарочно запросило так много денег у короля займы, чтобы придрататься к отказу и не дать привилегий купцам; ему платили тою же монетою, прямо говорили, что он взял большие деньги с своих купцов и потому так сильно хлопочет о восстановлении привилегий. Чтобы выторговать привилегию, Карлейль предложил посредничество Англии в примирении России с Польшею. Думные люди объявили ему, что государь согласен и чтобы он, посол, отправил от себя поскорее гонца к польскому королю. «Гонца послать мне трудно, – отвечал Карлейль, – потому что прежним моим делам решения нет; прежде всего надобно восстановить теперь же привилегии английским купцам». «Тебе о привилегиях объявлено, – говорили думные люди, – и перемены в решении не будет». «А если перемены не будет, – отвечал Карлейль, – то я к польскому королю гонца не пошлю и сам не пойду, делать мне там нечего; бью челом великому государю об отпуске. Если бы царское величество королевское прошение исполнил теперь же при мне, то я бы царскому величеству был вечно работником. Послал меня король для этого дела нарочно. Когда я к королевскому величеству приеду и ответ ему царский передам, то он скажет, что такой же ответ дан и Кромвелеву послу, хотя бы он и гонца послал, то и тот такой же бы ответ привез, и думаю, что вперед король наш к царскому величеству великих послов присылать не будет. Жаль, что это дело сделалось не при мне; а если бы порешено было при мне, то я бы смело объявил, что царскому величеству заплатилось бы в десять и в двадцать раз».

Никакие представления не помогли. Карлейль с досадою уехал в Швецию, давши знать в Англию о безуспешности своего посольства. В Москве были уверены, что Карлейль захочет сорвать свое сердце пред королем, и поспешили послать в Лондон стольника Дашкова для объяснений. Если Прозоровский и Желябужский были встречены с небывалыми почестями, то Дашков испытал небывалое бесчестье: ему не дали ни подвод, ни кормов, ни квартиры; на жалобы его отвечали: «Послу нашему Карлейлю была у вас честь обычная, и, о чем было с ним наказано, того ничего не сделали». Дашков объяснил, что Карлейль вел дело не так, как следует: толковал все о возвращении привилегий купцам, называя эти

привилегии основанием братской дружбы и любви между обоими государями; но основание братской дружбы между их величествами заключается в их взаимном благожелании, а не в привилегиях: привилегии не могут быть основанием бесценной, дражайшей и светлейшей солнца дружбы и любви между государями, как земля не может быть подошвою солнцу». К Дашкову явился Гебдон с предложением услуг царскому величеству: «Мне с вами говорить не велено, но, помня великого государя милость, скажу по секрету: Карлейль в Швеции заключил договор, чтобы шведскому королю с нашим королем быть в союзе против царского величества; английским купцам к Архангельску не ходить и голландских и других народов кораблей не пропускать, ездить англичанам за русскими товарами в Ригу, Ревель и Нарву и торговать беспошлинно. Король наш говорил с боярами: у русского государя с польским королем война нескоро кончится, а с крымским ханом у него и никогда миру не бывает: так нашим компанейщикам долго ждать. Карлейлева посылка стала королю во многие тысячи, а компания ему за это не заплатит, потому что дело не сделано; для московской посылки из королевской казны дано Карлейлю 20000 рублей». Гебдон хвалился, что он уговаривает вельмож не заключать союза с Швециею против царя, представляя, что России этим они вреда большого не сделают, а без русских товаров им обойтись нельзя. Король отпустил Дашкова весною 1665 года, велевши заплатить ему 1200 рублей за то, что жил все время на своем.

Во время войны англичан с голландцами царь чрез находившегося у него в службе шотландца, полковника Гордона, дал знать Карлу II, что он запретил продавать голландцам у Архангельска лес и другие корабельные припасы. С ответом явился в Москву в 1667 году старый знакомый Гебдон в качестве чрезвычайного посла королевского. Гебдон объявил о неправдах Голландских Штатов, которые, забыв помощь, оказанную им некогда королевою Елисаветою против испанского короля, начали теперь против Англии войну и поступают в этой войне гордо. Король велел просить царское величество о возвращении привилегий английским купцам, что уже было обещано Карлейлю. Король узнал, что у голландцев, торгующих в России, объявилась фальшивость, и потому велел просить царское величество, чтобы этих голландцев за их обманы и за то, что они королевскому величеству неприятели, приказал выслать из Московского государства. Но потом Гебдон прибавил: «По указу королевскому я объявил о голландцах, чтобы их из Московского государства выслать; но теперь слух носится, что у государя моего с Голландскими Штатами заключен мир: так насчет высылки голландцев полагаюсь я на волю и на рассуждение великого государя».

Сам посольских дел сберегатель боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин написал ответ Гебдону, что видно по хорошо знакомому нам слогу, тяжелому, темному и вычурному: «Всегда от бога данная христианам радость, чтобы они в покое и в умножении торговых пожитков пребывали, а неприятели христианские оттого в страхе были. Ныне в Московском государстве торговые статьи учинены великим рассмотрением, чтоб торговля происходила без ссор и без обиды; прежним компаниям быть не годится, потому что от тех больше ссоры, чем дружбы: открылось, что иноземцы торгуют *подкрадными обидными* товарами, тайные подряды делают и многими долгами русских людей обременяют». Понятно, что Гебдон не был доволен этим ответом: он возражал, что обещание, данное Карлейлю, нарушено; обещано было возвратить

привилегию, как скоро прекратится война с Польшею; теперь война прекратилась, а привилегий возратить не хотят. Никакие представления не были приняты.

Существенный вопрос в сношениях с Англиею был решен, других общих интересов не было. Но когда турки напали на Польшу, то царь Алексей Михайлович по неопытности в европейских делах взялся пригласить всех европейских государей к поданию помощи Польше против врагов креста Христова. С этою целию отправился в Англию переводчик Посольского приказа Андрей Виниус. Ему сказали, что король не может помочь Польше по двум причинам: во-первых, мешает война с голландцами, которая занимает весь английский флот, больше семидесяти военных кораблей; во-вторых, в Турции живет множество английских купцов, и если король начнет войну против турок, то султан велит всех англичан ограбить или побить. Сверх того, при дворе султана всегда живет английский посол. Виниус впервые внес в свой статейный список известия об образе правления в Англии: «Правление Английского королевства, или, как общим именем именуют, Великой Британии, есть отчасти монархияльно (единовластно), отчасти аристократно (правление первых людей), отчасти демократно (народоправительно). Монархияльно есть, потому что имеют англичане короля, который имеет отчасти в правлении силу и повеление, только не самовластно. Аристократно и демократно есть потому: во время великих дел, начатия войны, или учинения мира, или поборов каких денежных, король созывает парламент или сейм. Парламент делится на два дома: один называют вышним, другой нижним домом. В вышнем собираются сенаторы и шляхта лучшая изо всей земли; в другом собираются старосты мирских людей всех городов и мест, и хотя что в вышнем доме и приговорят, однако без позволения нижнего дома совершить то дело невозможно, потому что всякие поборы денежные зависят от меньшего дома. И потому вышний дом может назваться аристократия, а нижний демократия. А без повеления тех двух домов король не может в великих делах никакого совершенства учинить».

Мы видели, что при объявлении войны Польше царь Алексей Михайлович счел нужным уведомить об этом французского короля. Сочли также нужным объявить Людовику XIV и о прекращении войны: в 1668 году отправился во Францию стольник Петр Потемкин с дьяком Румянцевым и представился королю в С.-Жермене. Людовик отвечал, что очень рад прекращению войны и просит всемогущего бога о совершении вечного докончания. Будучи в ответе, посланники говорили королевским думным людям: 1) Великий государь желает быть с королевским величеством в братской дружбе и любви. 2) Для подкрепления этой дружбы и любви изволил бы король послать к царскому величеству своих послов или посланников. 3) С обеих сторон торговым людям ходить и торговать во всех городах. Думные люди на эти статьи отвечали следующими статьями: 1) Быть доброму и долговечному покою, соединению и приятству между царским и королевским величествами и их наследниками. 2) Быть во всяком покое и братской любви, честь и славу о себе воздавать во все окрестные государства. 3) Укрепить навеки, чтобы один на другого не наступал и друг другу убытка не чинил. 4) Царского величества людям приходить и торговать во все французские государства с великою вольностию, не платя за приезд ничего; с товаров их пошлину брать, как с других иноземных торговых людей; дома, погреба и анбары нанимать им безо всякой трудности; торговать горою и водою всякими товарами



без помешки и дворы строить; брать пошлину только с тех товаров, которые будут в продаже; всякие французские товары отвозить им куда кто захочет. 5) Московским людям, которые будут жить во Французском государстве, налогов и обид не будет; подати платить им, как платят французские торговые люди; для своих расправ держать им своего судью, и службу Божию отправлять им по своей вере со всякою вольностию. 6) Французским торговым и других чинов людям ездить чрез Московское государство во все другие окрестные государства и в Персию; проезд им и в вере вольность, так же как и русским людям во Франции; с проезда и отъезда пошлин не брать; с товаров пошлины брать, как брали с Английской компании – половину, и с русских людей за то будут брать во Франции половинную же пошлину.

Посланники не вступили в договор и не дали никакого письменного ответа, послали только сказать думным людям с приставом, что о торговых делах договариваться им не наказано, пусть король отправляет за этим делом свое посольство в Москву. Пришли к посланникам купцы и начали говорить о тех же условиях, какие предложены были и в статьях. «Ступайте для купечества в Архангельск, – сказал им Потемкин, – налогов и обид никаких вам не будет, пошлину возьмут, как с других иноземцев». «Без договора и постановления в такой дальний путь ехать нам не надежно», – отвечали купцы. Тем дело и кончилось.

Несмотря на явно выказанное Людовиком XIV нежелание вступаться в дела Восточной Европы, царь в 1670 году отправил к нему грамоту, в которой извещал, что русские уполномоченные и польские комиссары для заключения вечного мира назначили его, короля, в посредники вместе с императором немецким, королем шведским и датским и курфирстом бранденбургским. Наконец, в 1673 году тот же Виниус, которого мы видели в Англии с требованием помощи Польше против турок, отправился с этим предложением и к Людовику XIV, которого застал на походе во Фландрию; король отвечал, что война с голландцами мешает ему исполнить желание царя.

Не была забыта и далекая Испания. Уже знакомый нам стольник Петр Потемкин ездил в 1667 году в Мадрид; царская грамота, объявлявшая о прекращении войны с Польшею, была написана на имя короля Филиппа IV, но посланник вручил ее преемнику Филиппа, молодому Карлу II. «Имя предков наших, – писал царь, – во всех государствах славится, и Великая Россия от года в год во благих приумножается, многие окрестные государи любительную и спомочную ссылку с нами имеют, а с вами, великим государем, любительные ссылки даже до сего времени удержаны были или за отдалением страны, или по воле всеильного бога, строящего все непостижимо в ожидании лучшего времени». Карл в своей грамоте отвечал, что немедленно отправил послов в Россию, а до тех пор приказал он по всем своим морским пристаням допускать царских подданных к вольной торговле, надеясь, что и царь сделает то же самое для испанцев. Дорога была проложена, и в 1673 году Виниус из Франции заехал в Испанию с известным приглашением подать помощь Польше против турок. Он привез ответ, что Карл II по свойству с королем польским намерен помочь ему деньгами, войском же помочь неудобно по причине дальнего расстояния.

Италия напомнила сама о себе. Венецианская республика в борьбе своей с турками, которая приходилась ей не под силу, искала всюду помощи. Зная хорошо

отношения христианского народонаселения Балканского полуострова к России и слыша об успехах царского оружия в польских областях, она в 1656 году отправила посольство в Москву с просьбою, чтобы царь велел донским козакам напасть на турок и развлечь их силы, также чтобы позволил венецианам вольную торговлю в Архангельске. Москве было в это время не до турок: польская война, по-видимому, оканчивалась, но она привела за собою другую войну, шведскую. Денежные средства истощились в Москве, и здесь хотели воспользоваться венецианским посольством, чтобы попытаться, нельзя ли занять денег у республики, слывшей, по старым преданиям, богатою. Осенью того же 1656 года отправились в Венецию морем из Архангельска на голландских кораблях царские посланники, стольник Чемоданов и дьяк Посников, повезли с собою, по обычаю, государевы и патриаршие товары на продажу. В Атлантическом океане 27 октября ночью застигла их буря: многие волны в корабли вливались, и в верхние жилья в окошки валами било, много рухляди помочило: в среднем жилье было воды на аршин и больше, а наверху по пояс человеку, из государевой казны бочку ревеню потопило. В то время на корабле был плач и вопль великий, посланники и все государевы люди начали петь молебен, и буря утихла. Прошла одна беда, впереди ждала другая: против Лиссабона увидели 14 кораблей, приняли их за разбойничьи, варварийские. и приготовились к бою, но оказалось, что идут разных государств торговые немцы из Испании: немцы, однако, сказали, что на Средиземном море к Ливорне гуляют в кораблях турецкие люди. Действительно, проехавши *Узкое место* (Гибралтарский пролив), встретили три разбойничья корабля. Посланники и все русские люди, видя турецких воровских людей нахождение и напуск, всемилостивому Спасу и пречистой его матери молебное пение со слезами воздавали. Разбойники, исираваясь по ветру и устремясь к бою, за кораблями гнались быстрым ходом и догнали, но, увидав на кораблях государевых людей, боевые знамена и осторожность, не посмели напасть и ночью исчезли. 25 ноября посланники приехали в Ливорно, где были встречены с большим почетом. Такой же прием ждал их и во Флоренции, сам герцог Фердинанд посетил их и говорил: «Великий государь ваш пожалует ли моих подданных, торговых людей. велит ли у Архангельска покупать икру и другие товары? А я государскому жалованью и совету рад и, что великому государю в моей державе годно, ни за что не стою, до скончания живота рад служить и помогать». Через Феррару провожал посланников генерал, папский внук; поравнявшись с церковью, он сказал им: «Вот костел св. Георгия, где довершен осьмой собор, начатой во Флоренции». «Тот ли это осьмой собор, – спросил Чемоданов, которого во Флоренции не дал довершить и разогнал св. Марк Ефесский?» «Я не знаю, зачем он во Флоренции не довершен, только знаю, что он довершен здесь, в этом костеле», – отвечал генерал.

В Венеции к посланникам явились греки с поклоном. «Ради мы, – говорили они, – что бог велел нам видеть посланников такого великого восточного государя, православных христиан нашего закона: пожалуйста, велите нам к вашей милости приходить почаще: пришли мы доложить, когда изволите посетить благочестивую церковь греческой веры? Мы к тому времени велим изготавиться и станем молебен петь о государевом и царевичевом здоровье». «Дадим вам об этом знать, как время будет», – отвечали послы.

Пришли приставы от правительства и объявили, что дож болен ногами и потому посланников примут честные владетели: а в княжом месте сядет старший между ними, которому посланники и подадут грамоту. «Этому быть невозможно, – отвечал Чемоданов, – посланы мы к вашему князю, велено нам его видеть и грамоту подать ему». «Это все равно, – говорили приставы, – дела, о которых писано в грамоте к князю, нам же их делать; князь их не делает и не ведаёт ничего». «Если князь ваш не делает ничего, – возразил Чемоданов, – если государством правите вы, то вы бы в грамоте к царскому величеству писали имена свои вместе с княжеским». Положили дожидаться выздоровления дожа. Прием последовал 22 января 1657 года; посланники объявили, что государь позволил венецианам торговать у Архангельска повольною торговлею с платою обыкновенных пошлин; касательно же главного дела, высылки донских козаков, сказали: «Великий государь всегда о том тщание имеет, чтобы православное христианство из бусурманских рук высвободилось; только теперь его царскому величеству начать этого дела нельзя, потому что он пошел на неприятеля своего; а как, за божиею помощию, с неприятелем управится, то велит заключить договор с вами, как стоять на общего христианского неприятеля». Наконец посланники объявили главное дело, за которым были присланы, объявили великие неправды шведского короля и что царское величество злему его начинанию терпеть не станет: «Так вашему княжеству и честным владетелям к царскому величеству любовь свою и доброхотство показать, прислать на помощь ратным людям займы золотых или ефимков сколько можно, и прислать бы поскорее».

Князь и честные владетели нехорошо выразумели: как это московский государь помогать против турок откладывает до другого времени, а денег займы просит поскорее? Для разъяснения дела приехал к посланникам пристав и спросил: «Скажите мне, за то ли государь у нас просит казны, что хочет помочь нам на турка?» «Ты говоришь непристойные слова, простые, – был ответ, – великий государь наш, если изволит послать рать свою на турка, то пошлет для избавления христиан, а не из-за денег. По чьему указу говоришь ты эти бездельные слова: приказал тебе это князь или владетели?» Пристав призадумался и отвечал: «Я это сказал от себя». Когда дело уяснилось, венецианское правительство дало ответ: «Уже тринадцатый год, как мы воюем с турками; разум наш и охота не ослабевают, но казне убыток большой и потому с прискорбием должны отказать царскому величеству; надеемся, что, узнавши бедность нашу, он не прогневаётся на нас».

Посланники были в греческой церкви, где были встречены с большим торжеством, с радостными слезами. После амвонной молитвы духовенство вышло из алтаря, и один из дьяконов говорил посланникам речь: «Род греческий, живущий в сем преславном граде Венеции, молит вседержителя: дай, господи, чтобы пресветлый, непобедимый, сильный, преславный, благочестивый и благоверный защитник церкви божией восточной, рачитель благочестия, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, утешитель рода христианского, здрав был на многие лета. Как пресветлое солнце восстал он на искоренение тьмы неверия, на соблюдение и соединение благочестивой христианской веры, на побеждение врагов божиих; как второй Константин явился для освобождения верных христиан-греков из рук поганых турок: молим всемогущего бога, чтобы всегда от его царского пресветлого меча мусульманы в

порабощении и побеждении были». После обеда греки говорили посланникам: «Ездим мы из Венеции в Турцию со всякими товарами часто и с турками торгуем, многие турки говорили нам: бог дал московскому государю победу над поляками и другими государствами, и у нас в Турции слава о том великая. Султан и паши, сыскав в своих гадательных книгах, говорят, что пришло время и Цареграду быть за русским государем, живут с великим опасением, в Цареграде на долгое время ворота бывают засыпаны; боясь русских, турки начали сильно притеснять нас, греков; но мы надеемся на милость божию и на заступление великого государя, что он высвободит нас из бусурманских рук». Но прежде греков великому государю нужно было освобождать своих, русских, из бусурманских рук: к посланникам в Венеции явилось больше 50 человек русских, освободившихся из турецкого плена; они пришли за милостынею и объявили, что другие их братья, пленники, пошли разными государствами в Москву.

Почетный прием, сделанный Чемоданову во Флоренции, обратил внимание царя, и в 1659 году отправился туда дворянин Лихачев. На этот раз прием был еще лучше: великий герцог Фердинанд Медичи, приняв государеву грамоту, поцеловал ее и стал говорить со слезами: «За что меня, холопа своего, ваш пресловутый во всех государствах и ордах великий князь из дальнего великого града Москвы поискал и любительную свою грамоту и поминки прислал? Он, великий государь, отстоит от меня, что небо от земли; преславен он от конец до конец вселенные, имя его страшно во всех государствах, и что мне, бедному, воздать за его великую и премногую милость? Я, братья мои и сын – великого государя рабы». Посланника поставили в великогерцогском дворце. Лихачев, подобно Чемоданову, попал в Италию прямо из Архангельска, обогнувши морем Западную Европу; понятно, следовательно, как поразили его чудеса природы и искусства в отечестве Медичи: «На княжом дворе палаты об осьми жильях, числом их 250, во всех запоны дорогие, столы аспидные, писаны золотом, травы, палаты подписаны золотом, чернилица золотая, фунтов тридцать, а вместо песку руда серебряная, кресла крыты бархатом. На том же княжом дворе сад рыбный, рыбы живые, вода вверх взведена сажени с четыре, устроен Иордан, и выше Иордана сажени с две вверх беспрестанно вода прыгает на drobные капли, а к солнцу что камень-хрусталь. А около княжого двора деревья кедровые и кипарисные и благоухание великое, о Крещенье жары великие, как у нас об Иванове дни; яблоки великие и лимоны рождаются по дважды в год, а зимы во Флоренске не бывает ни одного месяца». Герцог велел приготовить для посланника театральное представление, стоившее 8000 ефимков: «Князь приказал играть: объявились палаты, и быв палата и вниз уйдет, и того было шесть перемен; да в тех же палатах объявилось море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят; а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди: и почали облака с людьми на низ опущаться, подхватя с земли человека под руки, опять вверх же пошли; а те люди, которые сидели на рыбах, туда же поднялись вверх. Да спущался с неба же на облаке человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамачки под каретами как быть живы, ногами подрягивают; а князь сказал, что одно солнце, а другое месяц. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют». Русского человека изумлял благодатный юг, а южного владельца занимал дальний север, дикая природа с ее естественными первобытными богатствами: «Флоренский князь расспрашивал и смотрел по

чертежу про Сибирское государство, и по сколько который зверь плодится, тому роспись взял. А Сибирскому государству и плоду соболиному, что их много, и куницам, и лисицам, и белкам, и иным зверям зело дивилися, как их нельзя выловить? А у них никакого зверя нет, потому что места очень гористы, а не лесны, лес все сажены. Флоренского князя княгиня била челом посланнику, чтобы ей сделали, по русскому обычаю, две шубки, чем ей подарить новобрачную невестку свою, и он шубки сделать велел под камкою и под тафтою: у одной испод горностайный, а у другой белый; и княгиня надела на себя и дивилась, что урядно выделали».

Венецианское правительство, озадаченное требованием Чемоданова, уже не отправляло более посольства в Москву; но московское правительство вспомнило о республике, знаменитой своею борьбою с турками, когда нужно было готовиться к войне с Портою. В 1668 году торговый иноземец Келдерман повез дожу и сенату грамоту от царя, в которой высказывалось удивление, почему они не подают о себе никакой вести, и объявлялось, что великий государь заключил мир с королем польским и союз против бусурман; объявлялось, что в Москве заключен торговый договор с компаниею персидских армян, по которому персидские товары пойдут исключительно через Россию; и есть надежда, что персидский шах обратит свое оружие против турок. Дож и сенат в ответной грамоте благодарили государя и изъявляли желание, чтобы и все христианские государи соединились против турок.

Нападение Магомета IV на Польшу заставило снова царя вспомнить о Венеции. Известный нам Менезиус из Вены должен был заехать в Венецию с приглашением к союзу против турок. Сенат отвечал: «Боже, помоги царскому величеству наступающую неприязнь сокрушить и христианских государей успокоить». Наконец из Венеции Менезиус поехал в Рим с царскою грамотою к папе Клименту X: «Вам бы, папе и учителю римского костела, к нам, великому государю, отписать: по должности христианской на общего неприятеля брату нашему, его королевскому величеству, войсками своими помогать станете ли? И если помочь захотите, то вам бы к нам обослаться грамотою вскоре, какими мерами, в которое время и в каких местах быть этой помощи, чтобы заключить чрез общих посланников договор. Да и к окрестным государям вам писать же, чтобы и они королевскому величеству были помощниками, а именно писать к Людовику, королю французскому, и Карлу, королю английскому, чтобы они войну с Голландскими Штатами прекратили и войска свои против общего христианского неприятеля обратили».

Приехавши в Рим, Менезиус прежде всего объявил условия приемной и отпускной церемонии: папа должен слушать именованье и титул великого государя стоя, грамоту принять и свою дать также стоя; прежде чем грамота будет запечатана, показать ее посланному для удостоверения, что титул царский написан сполна. Папский церемониймейстер объявил на это свои условия: папа во все время приема и отпуска будет сидеть: посланный должен целовать ногу у его святейшества; указывать папе, чтобы он делал иначе, нельзя. «Ногу папешскую целовать отнюдь мне не велено, — говорил Менезиус, — потому что великий государь наш католицкому римскому закону не повинуется; да и в прошлых годах, когда греки с латинцами были в соединении веры, и тогда греки пану в ногу не целовали. Когда в 1438 году приезжал в Феррару к папе Евгению IV цареградский

патриарх Иосиф с митрополитами и епископами, то папа целовался с ними по-монашески, и потом митрополиты и епископы и иные чины целовали его в руки». «Если, – продолжал церемониймейстер, – к папе приедет цесарь или какой другой христианский потентат и ногу папежскую целовать не будет, то папу видеть не может». «Когда так, – отвечал Менезиус, – то пусть папа велит меня отпустить».

Отпустить не согласились, и посланный не целовал ноги у папы, только «наклонили, по римскому обычаю, впрямь до коленного приклонения и вскоре подняли, а голову не наклоняли». Когда Менезиус начал подавать папе царскую грамоту, то его понизили. Папа принял грамоту сидя и, отдав ее первому церемониймейстеру, сказал: «Радуюсь, видя посланника от вашего государя; а что ваш государь в своей грамоте у нас спрашивает, то мы с радостью будем исполнять и вскоре ответ учиним». Когда папа кончил, церемониймейстеры наклонили Менезиуса до папиных колен, и, когда папа, встав, дал всем благословение, Менезиуса понизили на колени. Посланный выговаривал потом кардиналу Алторию, зачем его наклоняли силою? Кардинал отвечал, что все посланники исполняют заведенный при папском дворе обычай и слушаются церемониймейстеров.

Менезиус ездил и к бывшей шведской королеве Христине, принявшей католицизм и жившей тогда в Риме. «Очень рада, – сказала Христина посланному, – что царское величество изволил прислать к папе: если я чем-нибудь могу радеть в делах государевых, то должна это делать, потому что когда я на королевстве Шведском королевствовала, то между нами был союз, который я буду вечно помнить».

Начали писать ответную грамоту, и тут встретилось непреодолимое затруднение. Менезиусу объявили: «Папа напишет великого государя именование и титул, как они написаны в царской грамоте, напишет свыше всех потентатов: *вельможнейшему*, только невозможно назвать государя вашего царем, потому что царь и цесарь одно и то же слово, и если написать царем, то цесарь и другие потентаты станут на папу сердиться». На это Менезиус показал грамоты императорскую, венецианскую, курфюрстов бранденбургского и саксонского, где государь был назван царем. Но этим не удовольствовались, папа прислал спросить: что такое царь? Менезиус отвечал: «Как называется папа, цесарь римский, султан турецкий, шах персидский, хан крымский, могол индейский, претиан абиссинский, зареф арабский, колман болгарский, деспот пелопонейский, калиф вавилонский и другие, так точно на славянском языке называется: царь российский». «Как перевести „царь“ по-латыни?» – спрашивали Менезиуса. «Перевести нельзя, – отвечал он, – но ведь вы без перевода пишете же латинскими буквами все вычисленные мною названия государей!»

Кардинал Барберини говорил Менезиусу: «Если теперь папа не исполнит достоинства царского величества, то после его кто будет папой из нас, старых кардиналов, тогда царское достоинство будет исполнено; мы, кардиналы старые, к великому государю пошлем грамоту с повинною, напишем именование и титул вполне, только бы теперь великий государь на нас не сердился, потому что папскою властью и словом папским владеет племянник папский, кардинал Алтерий, и делает все по-своему для своей временной гордости, что положит папе на язык, то папа и говорит».

Наконец Менезиуса позвали на тайную аудиенцию к папе. «Зачем ты у меня не хочешь принять грамоты?» – спросил Климент. «Великий государь наш, – отвечал Менезиус, – писал к вам для имени божия и должности христианской о помощи брату его, королю польскому, против общего христианского неприятеля, турецкого султана. Вы, папа и учитель римского костела, великому государю любви своей не оказали, не хотели назвать его царем: а вам, папе и учителю римского костела, должно чинить соединение, а не разрушение». «Невозможное это дело, – сказал папа, – потому что моя братья, прежние папы, этого не делали; у нас было уже заседание с кардиналами, и они мне не позволяют», «Если вы сделаете какую-нибудь грубость царскому величеству, – отвечал Менезиус, – то государь будет писать об этом к другим христианским государствам». Тут папа позвонил в серебряный колокольчик и велел вошедшему маэстро ди камера принести золотую цепь с папским гербом и четки из лазоревого камня. Подавая эти вещи Менезиусу, он сказал: «Дарю тебе на память».

Менезиуса отпустили с обещанием, что папа отправит в Россию посланника для договора о титуле.

## Глава пятая

### Окончание царствования Алексея Михайловича

*Сношения с православным Востоком: Грециею и Грузиею. – Сношения с Персиею. – Договор с компаниею персидских армян. – Построение корабля для Каспийского моря. – Калмыки. – Сибирь. – Сношения с Китаем. – Общий обзор царствования Алексея Михайловича. – Семейные дела царя. – Его кончина. – Характер. – Приближенные к нему люди.*

Мы видели, какую жизнь сообщили нашим сношениям с Грециею нужды русской церкви – исправление книг и Никоново дело. Мы видели, какую важную роль в последнем деле играл Паисий Лигарид, видели, что он хотел оставить Москву при окончании дела. Не знаем – волею или неволею, но он остался в Москве. Летом 1667 года он бил челом государю: «Служу я тебе, великому государю, на Москве седьмой год, а жалованья идет мне на день 11018 алтын по 4 деньги, и этим мне с людьми прокормиться нельзя». Просьба не была исполнена, велено давать прежнее жалованье. Чтобы показать свою службу, Лигарид подал царю письмо, в котором извещал об известном пророчестве, находящемся в житии Андрея-юродивого, что белокурый народ овладеет Константинополем. Паисий, разумеется, прилагает это пророчество к русским, толкует и о князе русском Мосохе, в котором видит москвича. Но Лигарид не мог заниматься в Москве покойно толкованием пророчеств: в 1668 году иерусалимский патриарх Нектарий писал к царю: «Даем подлинную ведомость, что Паисий Лигарид отнюдь не митрополит, не архиерей, не учитель, не владыка, не пастырь, потому что столько лет как покинул свою епархию и, по правилам св. отец, архиерейского чина лишен. Он с православными православен, а латины называют его своим, и папа римский берет от него ежегодно по двести ефимков; а что он, Паисий, брал

милостыню для престола апостольской соборной церкви, то лютый волк послал с племянником своим на остров Хиос». Грамота, как видно, не произвела никакого действия, потому что вскоре после ее получения сделано было следующее распоряжение: «Пожаловал великий государь газского митрополита Паисия, велел ему дать жалованье вместо прибавки корму сто рублей: двор, где он стоит, осмотреть и, что ветхо, починить, да с вин, которые купят в Архангельске, пошлин не брать».

Чтоб не было, однако, вперед подобных доносов, Лигарид обратился с просьбою о помощи к логофету константинопольской церкви Константину, писал, что враги оклеветали его, что осуждение произнесено неправильно. «Я не проводил жизни моей, – пишет Лигарид, – в сластолюбии, пьянстве и блуде; смолоду возлюбил я мудрость, с большими трудами и издержками прошел морской путь из любви к учению. Называют меня латиномысленным и еретиком, но я латинским повелениям не повинуюсь, общего у меня с латинами – одна наука, вместе с ними я был и есмь ревнитель древним философам афинским Ливанию и Ямвлиху, богу добрым служителям. Заступись за меня, преученый муж! Чтобы невежды не тщеславились и не превозносились; будь ходатай и помощник делом и словом». Логофет показал эту грамоту преемнику Нектария Досифею. Тот сильно рассердился на Лигарида, увидав резкие выражения его о своих врагах и гонителях, к которым принадлежал и Нектарий. Но явился царский посланный с просьбою – простить Лигарида и прислать ему разрешительную грамоту. Не исполнить просьбы было нельзя, разрешительную грамоту послали в Москву, и Досифей сорвал сердце, написавши только на Лигаридовой грамоте к логофету: «Если бы не было святого ходатайства царева, то узнал бы ты, кто мертвอดушен и беден, тот ли, кто 15 лет как оставил паству без пастыря, или тот, кто полагает душу свою за овцы? Исполнилась на тебе басня Эзопова: козел бранил волка с высокого места; ты сам по себе невелик и глуп, бесчеловечен и бесстыден, только место, где пребываешь, – двор царский. Уцеломудрись хоть теперь».

В конце 1672 года Лигарид собрался в Палестину, но, доехав до Киева, остановился здесь и долго жил, служа великому государю, донося о тамошних делах. Так, в 1675 году он писал к Матвееву: «По боге и царе в тебе имею заступника милостивейшего, помоги мне неким даром вместо милостыни, умоли, чтобы мне позволили служить по-архиерейски. Собирают здесь много денег отовсюду, а кому и на что собирают – не знаю. Изволь об этом розыскать, о бодрейший Киева страж! Разузнай, на что митрополичьи доходы обращаются? Здесь носятся слухи, будто епископ Мефодий освобожден и киевским митрополитом поставлен. Стереги крепко и радей, чтобы этого не было, ибо великая будет смута между духовными и мирскими; до сих пор еще жив раздор и измена, учиненная недавно и бывшая причиною столь великого побоища. Вопиет и св. София, на починку которой взял 14000 рублей у царского величества, о других его своевольствах молчу».

Скоро после этого пришел в Киев царский указ, чтоб Лигарид немедленно возвратился в Москву. Он счел это опалюю и, приехав в Москву, написал государю: «Воспевал пророк и царь Давыд в десятиструнном своем псалме: не отврати лица твоего от отрока твоего, яко печалюся, скоро услыши мя; то же смею и я возгласить к тебе, единодержавцу-царю: не отврати светлейшего лица твоего



от меня, яко погибну душою и телом: особенно печалюсь, потому что не знаю причины моего возвращения». В январе 1676 года Лигарид обратился к Матвееву с жалобами, что умирает от голода и жажды, что просьбы его на смех пересылают из приказа в приказ, что одолжал вследствие большого и трудного путешествия, что для службы церковной нет у него ни священника, ни диакона, ни певца, ни иподиакона: «Ты заботишься обо всем в богатейшем царстве: забыл только обо мне, архиерее». Об нем вспомнили и велели давать корм по-прежнему. Чем занимался Лигарид, видно отчасти из того, что он привез в Москву из Киева иеромонаха Виссариона, бывшего начальника школ киевских, «для пособия себе в тщаниях и службе царского величества».

Кроме Греции была еще другая страна христианская, православная, более несчастная, более страдающая от бусурман, чем даже Греция, страна, издавна искавшая помощи у единой верной России: то была Грузия. После несчастной попытки при царе Борисе Московское государство отказалось от мысли посылать войска свои за Кавказ, помогало деньгами, посылало духовенство свое в Грузию осматривать состояние церквей, богослужения, помогать тамошнему духовенству советом. Тяжелое впечатление производило грузинское христианство на русских духовных, тем более что последние сами не всегда могли отличить существенное от несущественного и сильно были привязаны к форме, к букве. «Первое у вас несогласие с соборною и апостольскою церковью, – говорили русские духовные грузинским епископам, – первое несогласие то, что церкви от алтарей не отгорожены, царских дверей нигде нет, да и не бывало, престолы везде наги и к стене приделаны, служите в неосвященных церквях, крестов ни на одной церкви нет, да и не бывало, если и есть в церкви иконы, то вы свечи прилепляете к простой стене, а иконы стоят особо, и мнится нам, что у вас к божественным иконам и к честному кресту вера оскудела, да и на себе креста не носите; у кого и есть иконы, и те спрятаны, а иные носят малые иконы на поясах за кушаками; мотаете рукою не по истине и кланяетесь, смотря на небо, а не на иконы; архиереи ваши и попы сами себя крестным знаменем оградить и прочих людей благословить не умеют. Если попу у вас случится служить литургию, то он принесет с собою сосуды и ризы в мешке, а Евангелия и креста ни у кого нет; иной поп, пришед в церковь, постелит на престоле плат и, поставя сосуды, действует в одном чекмене и, отдействовав, покрыв святая, облачится в ризы и начинает литургию; отслужив, велит малому собрать с престола сосуды и ризы в кошель и понесет к себе. Вы, епископы, и попы ваши действуют, ризы надев на шею, свесив наперед, и как начинать литургию, тогда ризы назад спускаете. Крестят у вас младенцев одним погружением. Покаяния отцам духовным мало у вас знают, также и причастия, только при смерти дают причастие, и то без покаяния. Всякие люди у вас входят в церковь в шапках, с саблями и ослопами, и вы, епископы, также входите с ослопами в церковь и в алтарь. Женятся без венца, и если дети будут, то венчаются, а детей не будет, то, покинув старую жену, берут другую; свадьбу у вас играют в Великий пост, в Благовещенье». В одном месте русские духовные были свидетелями следующего явления: между заутренею и обеднею вышло на площадь духовенство, вынесли образ св. Георгия и поставили на столбе, а против образа на церковной крыше сел мужик, надел на себя другой образ св. Георгия и стал говорить во весь мир: «Послушайте меня! Я нынче ночевал в храме, и сказывал мне св. Георгий: людей моих не обижайте, которые в

мое имя веруют». После этого мужик начал пророчествовать об урожае и кому умереть в этот год. «Что это у вас, святой человек? – спросили русские. – И умеет он грамоте?» «Нет, не умеет, – отвечали грузины, – но это такой род: если кто умрет, то из их же роду другой станет рассказывать Егорьевы слова в мир».

Мы видели, что при царе Михаиле кахетинский царь Теймураз поддался России. При царе Алексее весной 1647 года приехал в Москву посол от Теймураза и подал такую грамоту: «Как у отца твоего был я с сыном и со всею Грузинскою землею в холопстве, так теперь и тебе, великому государю, бью челом в холопство. Отца твоего заступлением и жалованьем наше Грузинское государство живо и цело, а если ты нас не пожалуешь, за нас не вступишься, то окрестные государства нас разорят без остатку и станут говорить: вы поддались московскому государю, и он вас выдал, за вас не вступился. Теперь сам я, Теймураз-царь, с сыном своим Давидом отдался тебе в холопство со всею Грузинскою землею, внука своего Григорья пришлю к тебе в холопы в Москву, а за большого моего внука Иоасафа изволил бы ты выдать сестру свою государыню царевну. Да вели к нам послать митрополитов сколько изволишь, государство Грузинское божье да твое: и вера так же была бы справлена, как и в твоём великом государстве». Мы знаем, что в это время, особенно в 1648 году, в Москве было не до Грузии. В 1649-м оттуда повое посольство. «Хотел я, – писал Теймураз, – отправить к тебе, великому государю, внука своего Николая (!), но как узнали об этом персияне, то начали государство мое воевать с трех сторон. Мне через горы внука своего послать нельзя, а на Шемаху персияне не пропустят. Пожаловал бы великий государь, прислал за внуком моим своих людей и велел взять его к себе в холопы».

С ответом на эти предложения отправился в Грузию в 1650 году Никифор Толочанов. Посланник поднес Теймуразу в подарок соболи; царь бил челом низко, но спросил: «Прежде присылали ко мне по 20000 ефимков, а теперь мне с вами не прислано?» «Потому тебе денег не прислано, – отвечал посланник, – что про тебя великому государю было неведомо, где ты обретаешься после своего разоренья, как разорил тебя тифлисский хан; а как только твоя правда и служба объявятся великому государю, то тебя и больше прежнего царское величество пожалует».

«Видите, – продолжал Теймураз, – как я разорен тифлисским ханом по шахову приказу. Прежде государевы послы у меня в Кахетии были и всякое строенье, монастыри и церкви видели, а теперь, где были церкви, там стали мечети; царское величество вступился бы за дом божий и за меня, холопа своего».

Толочанов объявил Теймуразу главную цель своего посольства – взять с собою в Москву внука его, царевича Николая. «А выдаст ли за него великий государь сестру свою?» – спросил Теймураз. «С нами об этом деле не наказано, – отвечал посланник, – такое великое тайное дело, кроме бога да великого государя, кто может ведать? Если бог изволит, а его государская мысль будет, то дело и состоится; а если не будет воли божией и государской мысли, то делу как состояться? Ты только отпуская с нами внука своего, исполняй перед великим государем правду свою».

«Если я внука своего пошлю, – продолжал Теймураз, – а государь не изволит государства моего, Кахетии, очистить, ратных людей и казны не пришлет, то зачем моя посылка?»

«Ратных людей, – отвечал Толочанов, – послать к тебе нельзя, потому что горы снежные, высокие, в них расселины большие, ратным людям пройти, наряду и запасов провезти нельзя, у тебя государство пустое и то за шахом, хотя ратные люди и пройдут, то им у тебя с голоду помереть; а казны тебе государь пришлет столько, сколько тебе и в ум не вмещалось, если теперь исполнишь правду свою, внука с нами отпустишь. Кроме того, государь пошлет великих послов к шаху Аббасу, чтобы отдал Кахетию по совету и по братству, а если не отдаст, то думаем, что великий государь пошлет войско свое Каспийским морем на шаховы города и велит городов разорить вдесятеро, только ты совершай правду свою. Если ты отпустишь с нами и другого внука своего, Влавурсака, то великий государь даст ему свое жалованье по своему милосердому рассмотрению».

«Влавурсака никому не отдам, – сказал Теймураз, – мне самому не с кем будет жить, некому будет и души моей помянуть». «Ты нам объявил, что тебя разорил тифлисский хан, – продолжал посланник, – так если тебе в Грузинской земле жить не у чего, то ступай и ты сам к царскому величеству, нам велено принять тебя и с подданными твоими».

«Когда будет мое время, тогда и поеду к государственной милости, а теперь еще побуду здесь», – отвечал Теймураз.

Все эти разговоры кончились тем, что Теймураз не отправил внука в Москву. Тем сильнее высказывал свое усердие к великому государю имеретинский царь Александр, присягнувший при Толочанове царю Алексею Михайловичу. «Теймураз-царь, – говорил Александр, – внука своего с вами не отпускает, а если бы у меня был сын мой Баграат да брат Мамука, то я бы обоих к царскому величеству отпустил. Если государю угодно, то он бы прислал воеводу своего в Кутаис; если бы мне было кому свою отчину, Имеретинскую землю, приказать, то я бы и сам поехал видеть пресветлые государские очи». В грамоте своей к царю Александр писал: «Учинился я и сын мой, и брат, и весь духовный чин, и ближние люди, и всего государства воинские ратные и земские люди под вашего царского величества высокою рукою в подданстве навеки неподвижно, от детей на внучат. И тебе бы, великому государю, меня не презреть и от недругов неверных держать в обороне, чтобы люди моего государства в неверие не впали. Прежде были у меня в подданстве дадыяне и несколько лет тому назад отложились, поддались турецкому султану и живут с бусурманами заодно, берут себе на помощь бусурманскую рать, меня разоряют и воюют. Донские козаки ходят на Черное море и бусурман воюют, а православным христианам никакого вреда не делают; а дадыяне козаков к себе приманивают, будто хотят вместе с ними воевать бусурман, и, приманя в свои места, их побивают и к туркам продают, и в подарок отсылают к турецкому султану, который за это присылает им жалованье. Те же дадыяне крадут христиан из моей земли и у себя и отсылают к персидскому шаху, просят у него себе помощи; дадыянский владелец сестру свою отдал к шаху и от христианской веры отрекся, за то ему от шаха жалованье и помощь. Он же, дадыянский владелец, отослал другую свою сестру Рустем-хану тифлисскому, чтобы тот шел на меня войною, и Рустем-хан много раз присылал своих ратных людей на мое государство. Теперь я у царского величества милости прошу и желаю, чтобы как-нибудь с Черного моря стругами учинить над дадыянами промысл, за то разоренье им отомстить, от бусурман отлучить, в православии утвердить и под мою руку привести по-прежнему. Дадыянский прислал ко мне, что хочет опять

быть у меня в подданстве и сам ко мне приехать, только чтобы я прислал к нему сына моего в заложники. Я сына своего к нему послал, а он ко мне не приехал и сына моего не отпустил: тогда, говорит, отпущу к тебе сына, когда ты поддашься турецкому султану. Брат мой пошел на охоту, а дадыанские люди схватили его и держат у себя. Великий государь пожаловал бы меня, помог мне сына и брата из неволи освободить, а как освободятся, то к себе ли их велит взять или мне отдать – в том его государева воля. Да пожаловал бы, велел прислать мне печать свою, чтобы во всей земле царское повеленье было вернее: да велел бы государь присылать моим ближним и ратным людям жалованье, чтобы они скудны и бесконны не были и имели бы мочь стоять против своих недругов: да велел бы прислать мне пушечный наряд, чем от недругов обороняться».

С 1653 года начинаются приезды в Москву грузинских владетелей: в этом году приехал осемилетний внук Теймураза Николай Давыдович с матерью Еленой Леонтьевною. За внуком поднимался и сам дед: когда в 1656 году приехал к Теймуразу государев посланник Жидовинов с ефимками и соболями, то встретил его в Имеретии, и бедный старик говорил посланнику: «Персидский шах выгнал меня из моего государства, и живу я теперь в Имеретинской земле, у зятя своего, царя Александра, но от него помощи мне никакой нет, скуден я всем, а в свое государство от неприятелей ехать не смею; теперь я с царицею своею, со внуком и со внукою и со всеми людьми еду служить к великому государю в Москву, поедет со мною человек с триста».

В январе 1657 года в Посольском приказе дьяки расспрашивали троих грузин, приехавших из Тушей, зачем они в Москву приехали? «Приехали мы бить челом великому государю, чтобы пожаловал нас для православной христианской веры, велел принять под свою высокую руку в вечное подданство».

«А прежде у кого были вы в подданстве, и кто у вас начальные люди, и вера у вас христианская ли, и как далеко вы живете от Терека, и в каких местах, и города у вас есть ли, и сколько у вас служилых людей, и какой у вас бой, кто у вас соседи, и нет ли вам от персидского шаха, от кумык и от черкес какого утеснения, хлеб у вас родится ли, и если великий государь изволит принять вас под свою высокую руку, то на каких статьях вы хотите быть в подданстве?» «Мы хотим быть у царского величества в вечном холопстве, где велит быть на службе – и мы готовы; вера у нас христианская; живем мы в крепких местах, в горах, в трех странах, а городов и начальных людей у нас нет, всякий владеет своею деревнею; ратных людей у нас 8000, бой лучной и копейный, все бывают в панцирях; от Терека до Тушинской земли скорого ходу 4 дни: прежде мы были подданные Теймураза-царя, а как его персидский царь разорил, с того времени живем особо».

Наконец в 1658 году явился в Москву и сам царь Теймураз Давыдович. На представлении великий государь велел царю Теймуразу приступить к своему царскому месту и изволил встать. Тут Теймураз стал бить челом, чтобы великий государь дал ему свою царскую руку целовать, но великий государь руки не дал и сказал: «В Евангелии написано: иде же будут собрани во имя мое, ту есмь и аз посреде их; и мы воздадим хвалу всемиловитому богу, сотворим о Христе целование во уста, ибо ты благочестивой христианской веры», «Я твоего царского величества холоп, – говорил Теймураз, – такого великого и пресветлого государя недостойно мне в уста целовать». «На то божья воля, что ты у нас в подданстве, – отвечал Алексей, – но ты царь нашей благочестивой христианской веры, и по

Христовой заповеди сотворим целование в уста». Тогда Теймураз с великим страхом целовал государя в уста.

Государь поручил боярину Хилкову переговорить с Теймуразом.

«С которым турецким царем было у тебя розратье и бой, как давно и какое было тебе от него изгнание и земле твоей разоренье?» – спросил боярин.

Теймураз: «Тому лет с тридцать изменил мне боярин Георгий Сиос и, обусурманясь, поддался турецкому султану Амурату и поднял на меня рать; я против него ходил с своими ратными людьми, и был у меня бой с изменником и турками между моей и Карталинской земли; турецких людей с изменником было тысяч сорок, а у меня было тысячи с три, но мне бог пособил, побил я изменника своего и турецких людей, а побил у турецких людей не многолюдством, силою крестною». Тут царь показал на кресте язву от сабельного удара. «После того, – продолжал Теймураз, – мне от турка никакого гонения и присылки ни о чем не бывало».

*Хилков* : «Как ты, царь Теймураз Давыдович, бил челом великому государю о подданстве, в то время персидский шах земле твоей какое разоренье учинил и в котором году?»

*Теймураз* : «Этому лет одиннадцать, как присылал я к великому государю бить челом о подданстве, и нынешний шах Аббас прислал на мое государство ратных людей, я против них бился, и на том бою убили сына моего, дочь взяли насильством да два города разорили; а при старом Аббасе-шахе разоренье было мне многое. Не хотя государству своему разоренья, послал я к шаху мать свою да сына своего меньшого, Александра-царевича, в аманатах. Когда моя мать со внуком приехала к старому шаху и била челом, чтобы он взял внука ее в аманаты и брал с государства дань, а разоренья не чинил, то шах сказал моей матери, чтобы она послала и по другого внука своего, Леона, а он, шах, которого внука в аманаты взять захочет, того и возьмет, а другого отпустит. Мать моя взяла и другого внука, Леона, но шах матери моей и детей не отпустил и присылал к ней, чтобы она бусурманилась, а он ее будет иметь вместо матери. Она отказала, что отнюдь веры христианской не отбудет. Тогда шах отдал ее под стражу и велел мучить: сперва велел сосцы отрезать, а после закаленными железными острогами исколоть и по суставам резать; от этих разных мук мать моя пострадала за Христа до смерти, а тело украл и привез ко мне француз; детей же моих шах обоих извалошил, и теперь они у шаха. После этого шах послал на меня своих ратных людей, я пошел против них и побил, после чего ушел в Имеретию и жил там два года; потом собрался с имеретийскими и дадианскими ратными людьми и шаховых людей из земли своей выбил и землю очистил; но в том же году шах прислал опять ратных своих людей, и я в другой раз ушел в Имеретию, а шах велел всю Грузинскую землю пленить и разорить, чтобы христианство все вывесть. Я и тут персиян выбил и стал владеть своим государством по-прежнему. Но при нынешнем шахе, тому лет одиннадцать, изменили мне два боярина, отвезли дочерей своих к шаху, сами обусурманились и навели на меня шаховых людей; я с ними бился, и на том бою сына моего Давида убили, а меня выгнали; от этого гонения я и до сих пор живу в Имеретии».

*Хилков* : «Как земля твоя велика, сколько в ней теперь за тобою жилых и разоренных?»

*Теймураз* : «Земля моя в длину 10 днищ ходу и поперек столько же, городов всех больших семь, а малых и много, только разорены и пусты: в двух городах живут изменники мои, бояре, и в тех городах люди есть, а иные города все разорены; в стольном городе Креме живет людей немного, иные живут по деревням. Надо всем государством моим владетель теперь Рустем-хан, был он грузинской породы, да обусурманился».

*Хилков* : «Дадьянскую и Гуриальскую земли как давно ты под высокую руку великого государя привел, присягу оне принесли ли, теперь они у великого государя по-прежнему ли в подданстве и кто ими владеет?»

*Теймураз* : «Как был жив дадьянский царь Леонтий, то у нас с ним была беспрестанная вражда и бой. Но как царь Леонтий умер, и теперь на его место выбрали сродника моего, Вамыка, который стоворил дочь свою за моего внука Леонтия Давыдовича и крест целовал великому государю со всею землею: государства их, четыре города больших, стоят в местах крепких, у Черного моря, кораблей у них ходит по морю по пяти и по шести, а людей всяких будет с 40000; бой у них сабельный и копейный, пищали есть, а пушки небольшие. Гуриальская земля небольшая, крест великому государю целовала, лежит она между Имеретинскою и Дадьянскою землями. Дадьянами и Гуриальскою землею владеет по совету имеретинский царь Александр, но дани ему не дают, только так с ним в дружбе. Земли эти за моею землею подле шаха. Государь бы пожаловал, велел землю мою очистить от изменников, а до шаховой земли мне дела нет, и, будет ли шах за изменников моих стоять или нет, того я не знаю. Я для того и поддался государю, чтобы он велел землю мою очистить и дать своих ратных людей. Тогда я с государевыми и с своими людьми, с имеретинцами, дадьянцами и гурьянцами, соберусь и стану свою землю очищать, а если шаховы люди на меня придут, то я буду от них обороняться. Как великий государь изволит меня отпустить, то отписал бы к имеретинскому, к дадьянам и гурьянам, чтобы мне давали ратных людей в помощь; а к шаху бы изволил отписать, что я православной христианской веры и в подданстве у него, великого государя: так бы шах в землю мою не вступался, а станет ее разорять, то великий государь будет меня защищать».

*Хилков* : «Великий государь указал тебя спросить: сколько тебе служилых людей надобно, какими местами их до твоей земли вести и как далеко, где им брать лошадей и хлебные запасы, чтобы в дальнем пути и будучи у тебя им голодом не помереть; да не будет ли стоять войною персидский шах за изменников твоих?»

*Теймураз* : «Надобно воеводу доброго, а ратных людей с 30000 конных; запасы брать из Астрахани до моей земли, а в моей земле запасов будет много; а будет ли шах за изменников моих стоять войною, того я не знаю. Когда я поддался отцу великого государя, царю Михаилу Федоровичу, то государь прислал мне свою жалованную грамоту за золотою печатью; в грамоте написано, что великий государь будет меня от недругов оборонять; после того писаны ко мне многие государевы грамоты, чтобы прислал я в Москву внука моего; я внука прислал, а теперь и сам приехал бить челом, чтобы великий государь пожаловал мне своих ратных людей. Если царское величество оборонить меня не велит, то, смотря на меня, имеретинский царь, и дадьяны, и гурьяны от бусурманского гоненья станут искать другого государя; у всех у нас одно челобитье, чтобы великий государь пожаловал нам ратных людей и велел нас оборонить. Били великому государю

челом и неправые козаки, чтобы их изволил взять под свою высокую руку; великий государь и козаков пожаловал для православной христианской веры, изволил взять под свою высокую руку, а с польским королем разорвать; а я был в своем государстве царь православной христианской веры, а для того поддался великому государю, чтобы ему пожаловать нас оборонить».

С ответом на эти требования приехал к Теймуразу боярин князь Алексей Никитич Трубецкой. «У великого государя, – говорил боярин, – война с польским и шведским королями, ратные люди его многие теперь на границах; так ты бы, царь Теймураз Давыдович, хотя бы какую нужду и утеснение от неприятелей своих принял, а ехал бы в свою Грузинскую землю и царством своим владел по-прежнему. А как царское величество с неприятелями своими управится, то в утеснении и разорении видеть тебя не захочет и своих ратных людей к тебе пришлет и теперь велел тебе дать денег 6000 рублей да соболей на 3000». «Великого государя воля, – отвечал Теймураз, – чаял я к себе государской милости и обороны, для того сюда и приехал, а теперь царское величество отпускает меня ни с чем. Приехал я сюда по указу царского величества, и в то время ко мне не писано, что все государевы ратные люди на его службе; если бы я чаял, что царское величество ратных людей мне на оборону не пожалует, то я бы из своей земли не ездил».

*Трубецкой* : «Ты говоришь, будто тебя государь отпускает в свою землю ни с чем; но тебе дают 6000 рублей и соболей на 3000, можно тебе с этим жалованьем до своей земли проехать, и ты бы этим великого государя не гневил».

*Теймураз* : «Дорог мне великого государя и один соболю, а при отце его, государеве, и заочно присылаivano ко мне по 20000 ефимков, а соболей без счету; теперь мне лучше раздать государево жалованье по своей душе, нежели в свою землю ехать да в бусурманские руки впасть. Услыхав, что я еду к великому государю, турки, персияне и горские черкесы испугались; черкесы дороги залегли, в горах на меня наступали и ратных людей моих побили, я едва ушел; потеряв своих ратных людей, ехал я к царскому величеству украдкою, днем и ночью, приехал и голову свою принес в подножие его царского величества и челом ударил внуком своим; как увидел государевы очи, чаял, что из мертвых воскрес, чего желал, то себе и получил. А теперь приезд мой и челобитье стали ни во что, насмеются над мною изменники мои, горные черкесы, и до основания разорят. Чем мне отдану быть и душу свою христианскую погубить в неверных бусурманских руках, лучше мне здесь в православной христианской вере умереть, а в свою землю мне не по что ехать. На ком то бог взыщет, что бусурманы меня, царя православной христианской веры, погубят и царство мое разорят? Великому государю какая будет честь, что меня, царя, погубят и род мой и православную христианскую веру искоренят? Я за православную христианскую веру с малою своею Грузинскою землею против турок и персиян стоял и бился, не боясь многой бусурманской рати. Пожаловал бы хотя меня государь, велел проводить своим ратным людям».

*Трубецкой* : «Государь тебя велит проводить ратным людям и к шаху отпишет, чтобы он на тебя не наступал и Грузинской земли не разорял. Как-нибудь проживи теперь в своей земле, а потом царское величество ратных людей к тебе пришлет, будь надежен без всякого сомнения».

*Теймураз* : «Коли я сам ныне милости не упросил и никакой помощи не получил, то вперед заочно нечего ждать. И прежде обо мне царское величество к шаху писал, однако шах Аббас землю мою разорял и меня выгонял».

Теймураз отправился. В 1660 году отправился назад, в Грузию, и внук его, царевич Николай Давыдович, с матерью и с царским посланником Мякининым. В Астрахани они узнали страшные новости: имеретинского царя Александра окормили, почувствовав смерть, посадил он на свое место сына Баграта и велел ему жениться на внучке Теймуразовой, что и было исполнено. Но молодой царь сидел на престоле только три месяца; царица, жена Александра, дочь Теймураза, не желая видеть на царстве пасынка, схватила его, выколола ему глаза и вышла замуж за грузинца Вахтанга, с которым и начала владеть Имеретию; говорили, что она это сделала по наговору католикоса. Встала смута, царь Теймураз бежал в персидский город Тифлис. Боярин Еристов привел турок, а царицу с мужем ее сослал к Черному морю, в город Апхазит. Затем пришла другая весть, что Теймураза взяли и повезли к шаху. Несмотря на эту смуту в Грузии, царевич Николай уехал из Астрахани и остался в Тушинской земле; в 1666 году он возвратился в Москву, а в 1674-м отпущен опять на родину.

Грузия не могла дожидаться, чтобы Россия в царствование Алексея управлялась когда-либо с своими европейскими врагами и могла начать войну в отдаленном Закавказье. Грузинские цари указывали на персиян как на главных врагов своих, от которых русский царь должен оборонить их; но между Персией и Россией издавна происходили дружественные сношения, которые невыгодно было порывать. В 1650 году приехал в Москву посол шаха Аббаса Магмет-Кулыбек и привез в подарок от шаха 4000 батманов селитры. В ответе с боярами посол начал старыми жалобами на воровских козаков: взяли они у шахова купчины под Бакою на море с бусы товару на 3000 рублей да 2000 рублей денег, разбойников выбило из моря на берег. Терские воеводы это пограбленное имение взяли, а в Персию не отдали. Так царское величество велел бы отдать, воров-козаков казнить. «Когда я, – говорил посол, – был теперь на Тереке, то сам этих воров-козаков видел, а как пришел я в Астрахань, то писал ко мне шемахинский хан, что воры-козаки опять приходили на шемахинские места и пограбили многих шаховых людей». «Прежде, – отвечали бояре, – между великими государями ссоры и нелюбья из-за козачьего воровства не бывало, потому что козаки эти не из Астрахани и не с Терека, приходят воровать на море с Дону, не одних шаховых, и царского величества людей грабят и побивают. Теперь воры-козаки на море перехватаны и сидят на Тереке в тюрьме, что сыскано у них персидского имения, все велено отдать вашим людям, которых шемахинский хан пришлет на Терек, и воров-козаков велено казнить смертью при вашем после; но хан до сих пор никого не присылал, и если имение не отдано, то его вина. Козаков терские воеводы хотели казнить при тебе, но ты сам не согласился». «Все это хорошо, – говорил посол, – но в прежней царской грамоте к шаху написано, что вперед воров не будет». «В грамоте этого нет, – отвечали бояре, – государство великое не без вора, а где воры объявятся, то их пригоже сыскивать сообща». Потом посол жаловался, что в Астрахани и других городах таможенные головы ценят товары для пошлин дорогою ценою, тогда как при царе Михаиле пошлины брали меньше и торговых людей из Персии приезжало больше. Ему отвечали, что в пошлинах персиянам никакого убытка не бывает, потому что, чем больше пошлина, тем дороже они



продают свои товары, и пошлинные деньги ложатся на людях царского величества. У шаха селитры много: так шахово величество велел бы из своей области в Московское государство отпускать по 20000 пудов на год, а царское величество изволит за селитру посылать медью или соболями. «Государь наш, – отвечал посол, – царскому величеству не только что за селитру, ни за что не постоит; велел бы государь ту работу положить на меня, а я буду говорить шахову величеству».

Наконец дело дошло до Грузии, до Теймураза. Посол так объяснял дело: «Теймуразова сестра была за старым шахом, Аббасом, а Теймуразова дочь была за отцом нынешнего шаха, Сефи, и поэтому Теймураз государю нашему свой. Ссоры у грузинского Теймураза с Рустемом, ханом тифлисским, потому, что они между собою свои, близкие, одного поколения, пошли от великого князя грузинского. Рустем-хан теперь шахов подданный и бусурманин, и половина Грузинской земли за ним, а другая половина – за Теймуразом. Так ссора между ними, и шах на Рустема-хана сердится, что он Грузинскую землю разорил и царевича убил. Теперь Теймураз живет у зятя своего, имеретинского царя, покинув свою землю, а к шаху ни о чем не пишет и не бьет челом; если бы он бил челом, то шах велел бы ему жить по-прежнему в своей земле. Я донесу об этом шахову величеству, и шах для царского величества велит Теймуразу землю его отдать и вперед землю его велит оберегать».

Обещание было исполнено относительно воровских козаков. 39 человек их сидело в тюрьме на Тереке, троих вершили при после Магмет-Кулыбеке: атамана Кондратя Иванова Кобызенка с двумя другими пущами заводчиками, четверо умерло в тюрьме, остальных прислали в Москву; большая часть их была родом из городов восточной украины, трое москвичей, по одному из Великого Новгорода, Костромы, Луха, Романова и Перми, один грузин, а трое названы царегородцами!

В 1653 году поехали в Персию великие послы, окольный князь Иван Лобанов-Ростовский и стольник Иван Комынин. Послы поехали жаловаться на шемахинского хана Хосрева, который давно уже грозился войною на Астрахань и на Терек, все за козаков, а теперь, в 1652 году, писал к астраханскому воеводе, что гребенские козаки не только грабят персидских торговых людей, но в Дагестанской области поставили городок, служилых людей в нем устроили и там будто черкасскую дорогу закрепили. Хосрев писал, что по шахову приказу он собирает войско, чтобы взять этот город, а потом идти под Астрахань и под Терек. Кроме того, русские торговые люди бьют челом, что в Шемахе Хосрев-хан, а в Гиляни приказные люди задержали их третий год, утеснение всякое, обиды, насильства, налоги и убытки делают большие, бьют, грабят; тогда как в Московском государстве персидским торговым людям во всем свобода и береженье. Шах принимает русских изменников и помогает им: откочевал от Астрахани государев подданный ногайский Чебан-мурза и кочевал под Терек, а потом начал кочевать по Кумыцкой стороне в дальних местах и учинился царскому величеству непослушен. В 1651 году ходили на него царские ратные люди, князь Муцал Черкасский и стрелецкие головы с ногайскими, едисанскими и черкасскими мурзами; но когда государевы ратные люди пришли на Чебана, изменил подданный великого государя вечный холоп Суркай, шевкал Тарковский, и, сложась с Чебан-мурзою, начал с государевыми людьми биться, а ратные люди без царского указа с Суркай-шевкалом биться не смели. Потом Суркай и

андреевский Каганали-мурза с кумыками приходили войною на русский Суншинский городок, под Барагуны, и на улусы князя Муцала Черкасского, а к шевкалу прислано было ратных людей из Шемахи 500 человек да из Дербента 300 человек, с ними две пушки; эти шемахинские и дербентские люди с кумыками многих царских ратных людей побили и переранили, а иных в плен захватили, барагунских мурз взяли себе, город Суншинский сожгли, взяли лошадей с 3000, верблюдов с 500, рогатого скота с 10000 да овец с 15000. Великий государь надеется, что все это сделано без повеления шаха Аббаса, надеется, что шах велит Хосрев-хана переменить за это с Шемахинского владенья и накажет его, чтоб вперед между обоими великими государями больше ссоры не было, велит отдать пленных и все пограбленные имения. Великие послы потребовали также, чтобы шах отдал Теймуразу его землю и наказал людей, разоряющих Грузию.

На все это шах велел отвечать послам через своих ближних людей: «Покойный шах Аббас велел на Тереке сделать одну сторожню, а других городов ставить нигде не велел; но вашего государя люди поставили города без указа, и торговых наших людей побили и пограбили; ссора началась, следовательно, с вашей стороны, и шемахинский хан Хосрев послал своих людей, которые те города сожгли. Хан Хосрев умер; преемнику его Мигир-Алей-хану и шевкалу Суркаю шах послал приказ вперед с людьми вашего государя не ссориться, также и ваш государь запретил бы своим людям нападать на персиян, которые на море ходят. Шевкал Суркай, Чебан-мурза и барагунские мурзы приклонились к стороне шахова величества сами собою, а по нашему закону, кто к нам приклонится, тех насильно назад отдавать нельзя; а если они сами захотят служить вашему государю, то шах за них стоять не будет. Приказным людям велено отдать назад взятки, которые они побрали у русских людей. Как скоро царское величество велит отпустить с Терека Суркаева племянника и торговых персиян, там засаженных, то и русских торговых людей из Шемахи отпустят. Что же касается Грузии, то прежние шахи за непристойные дела царя Теймураза много раз посылали ратных людей в его землю, разоряли ее и самого его выгнали. Теймураз рабски вину свою прежним шахам принес, детей своих прислал, и ему область его отдали. За это у прежних шахов с великими государями российскими нелюбья не бывало. В прошлых годах Теймураз опять затеял непристойные, ссорные, худые дела, и по шахову указу посланы на него ратные люди, которые на бою сына его убили, а его самого выгнали; если Теймураз за вину свою внука своего к шахову величеству пришлет, то опять область свою получит».

Послы возражали: «Не только та земля, где Терек и Суншинский городок, но и та земля, где Тарки, издавна принадлежит царям российским, города здесь было вольно ставить, и сам покойный шах Аббас просил об этом царя Михаила Феодоровича. О грабеже торговых людей по сыску в Астрахани ничего не объявилось, а если бы и действительно козаки их ограбили, то эта беда им самим от себя: зачем они шли в караване вместе с тарковскими кумыками и другими воровскими людьми; известно, что у терских и гребенских козаков с кумыками бывают ссоры большие: прежде купцы не хаживали в горы без обсылки с терским воеводою и никто их не грабил. Кумыцкие шевкалы и мурзы издавна холопи великих государей наших, а прежние персидские шахи в Кумыцкую землю не вступались, также и теперешний шах не вступался бы и с царским величеством за то нелюбья не начинал; а барагунские мурзы поддались шаху поневоле.

Грузинская земля православной христианской веры греческого закона, и грузинские цари издавна подданные наших великих государей».

«Нет! – начали говорить шаховы ближние люди. – Теймураз и вся Грузинская земля в подданстве у наших персидских шахов; правда, покойный шах Аббас обещал царю Михаилу Феодоровичу охранять Грузию по братской дружбе и любви; если и теперь Теймураз сам придет к шаху или внука своего пришлет, то шах землю его ему отдаст. О Теймуразе и Грузинской земле мы в другой раз докладывать шахову величеству не станем, потому что он велел отвечать вам впрямь и быть тому делу бесповоротно, также и всем другим делам. Нашим торговым людям в Московском государстве свободы нет, держат их на дворах за сторожами, а куда им случится выйти, то за ними также ходят сторожа».

«Это делается не для тесноты, а для обереганья», – отвечали послы.

Шаховы решения остались бесповоротны, переменилось только одно: Аббас велел отпустить всех задержанных в Персии русских купцов. На отпуске он позвал послов вечером к себе в сад прохладиться. Угощали сахарами и овощами; потом принесли перед шаха сосуд золотой с камнями, в нем виноградное питье чихирь, шах пил за государево здоровье и спрашивал послов: «У брата моего, великого государя вашего, такое виноградное питье есть ли?» «У царского величества, – отвечали послы, – питей всяких много, и из винограду есть питья – романея, ренское и другие, только не тем именем». Перед шахом стояли в золотом сосуде цветы разные, Аббас, подняв цветы, спрашивал: «В Московском государстве такие цветы есть ли?» «У великого государя, – отвечали послы, – цветы, этим подобные, есть, пианея кудрявая и других многих всяких различных цветов много». Перед шахом играли музыканты на домрах, гусях и скрипках, шах спрашивал послов: «Брат мой, великий государь ваш, чем тешится и в государстве его такие игры есть ли?» «У великого государя нашего, – отвечали послы, – всяких игр и умеющих людей, кому в те игры играть, много; но царское величество теми играми не тешится, тешится духовными: органы поют при нем, воздая богу хвалу, многогласным пением, и сам он наукам премудрым философским многим и храброму учению навывчен и к воинскому ратному рыцарскому строю хотение держит большое по своему государскому чину и достоянию; выезжая на поле, сам тешится и велит себя тешить своим ближним людям служилым строем: играют перед ним дrevками, стреляют из луков и пищалей».

Ответ шаха насчет Грузии был слишком ясен: продолжать дело можно было только с оружием в руках, а для этого у России в царствование Алексея Михайловича не было никакой возможности. Когда началась турецкая война, то Россия вместе с Польшею попыталась было привести и шаха к союзу с собою против турок, но шах отвечал, что ему нельзя без причины разорвать мира с султаном. Таким образом, относительно Персии у Москвы оставался один торговый интерес. В столицу постоянно приезжали *кизильбаишские* купчины и привозили восточные *узорочные* товары, считавшиеся необходимыми для великолесья царского двора. В 1660 году приехал в Москву купчина армянин Захар Сарадов и привез царю в подарок богатый престол, украшенный алмазами, яхонтами, жемчугом, восточною бирюзой и турецкою финифтью, оцененный в 22589 рублей; перстень золотой с алмазами; жаровню серебряную с сулейкою серебряною для сожигания ароматов; 15 сулей ширазского шарапу, что шах пьет; 4

сулейки водки гуляфной; 3 сулейки водки ароматной; скляницу водки нарызжовой; 12 золотников аромату восточного; 12 ваий, которые государь носит в правой руке во время церемонии шествия патриарха на осляти. В Посольском приказе армянина расспрашивали: можно ли ему в своей земле промыслить для великого государя камня дорогого запон и других узорочных товаров, птиц индейских и мастеровых людей, золотописцев и золотого и серебряного дел мастеров и алмазников-резцов, которые режут на всяких камнях? Армянин отвечал, что отец его и он готовы все промыслить для великого государя, потому что прикащики их ездят во все государства; можно заказать богатый чепрак – можно сделать в 50000: можно из Индии привезти птиц, которые говорят по-индейски, а зверей привезти нельзя, потому что ехать надобно через два моря. Мастеровых людей в шаховой области много, и он, купчина, станет их призывать в Московское государство. Они с отцом великому христианскому государю во всем работать и служить ради, а не для своей прибыли; шах их жалует, торгуют они беспошлинно, только шах веры бусурманской, а они – христианской веры и для того великому государю служить и работать ради.

Мы видели, как при царе Михаиле англичане и другие западные народы домогались у московского правительства свободной торговли по Волге с Персиею; теперь подобное предложение явилось, наоборот, из Персии, от компании тамошних армян. В 1666 году армянин Григорий Лусиков подал царю челобитную: «Пожалована наша компания от шаха правом вывозить из Персии за море шелк-сырец через которое государство мы захотим. Возим мы шелк многие годы через Турецкое государство, которое обогащается от нас таможенными сборами. Поговори с товарищами, я выехал к тебе, великому государю, бить челом, чтобы ты пожаловал, велел нам возить шелк-сырец и другие персидские товары, которые на немецкую руку, через свое Московское государство за море в немецкие земли и опять указал нас пропускать назад из-за моря через Архангельск с немецкими товарами, с золотыми и ефимками в Персию. Если мы продадим шелк в Астрахани, то заплатим пошлины по 5 копеек с рубля; если не продадим, вели оцепить шелк по 20 рублей пуд, взять по пяти копеек с рубля и пропустить к Москве: если продадим в Москве, то вели взять пошлины по пяти копеек с рубля, если не продадим, то вели оценить пуд по 30 рублей, взять пошлины по 5 копеек с рубля и отпустить к Архангельску. Если продадим в Архангельске, вели взять пошлины по 5 копеек: если же не продадим, вели пуд оценить по 40 рублей, пошлины взять по 5 копеек с рубля и пропустить за море в немецкие земли. А которые персидские товары годны на немецкую руку, вели с нас брать пошлину, как ведется, также вели брать обыкновенную пошлину и с немецких товаров, которые мы привезем в Архангельск. От провозу этого шелка и других товаров твоим подданным великая прибыль. Иноземцы, которые теперь ездят на кораблях в Турецкую землю для покупки этого шелку и других товаров, все будут ездить к Архангельску, и с них будут сходить в твою казну большие пошлины». В мае 1667 года Ордин-Нащокин написал договор с компаниею на условиях, означенных в просьбе; агентом компании в Москве по просьбе армян утвержден был англичанин Брейн. Агент обязывался послать своих верных людей в Астрахань, Новгород, Архангельск и другие порубежные города и всякими делами компании в челобитье и торговых промыслах честно и верно радеть великому государю, его боярам, думным и приказным людям обо всяких делах и

обидах извещать и бить челом радетельно, без всякой поноровки недругам компании; отписывать о делах компании к ее членам в Персию, как случатся ездоки. За это раденье компания платит Брейну с проданных товаров по деньге с рубля; если же компания пришлет шелк или другие товары к самому агенту для продажи, то платит ему с продажных товаров по грошу с рубля; если же он товары продаст или выменяет на другие, то платить ему по другому грошу с рубля.

В мае написан был договор, а 19 июня сделано было распоряжение о строении кораблей для Каспийского моря: великий государь указал для посылок из Астрахани на Хвалынское море делать корабли в Коломенском уезде, в селе Дединове, а ведать это корабельное дело в приказе Новгородской чети боярину Афанасью Лаврентьевичу Ордину-Нащокину да думным дьякам – Дохтурову, Голосову и Юрьеву. В тот же день иноземец Иван фан Сведен объявил в приказе корабельщиков Ламберта Гелта (Holt) с товарищами, четырех человек, нанятых на четыре года. Полковник Корнилиус фан Буковен (Wockhoiven) отправился в Вяземский и Коломенский уезды осматривать леса; к Марселисам на их тульские и каширские заводы послана была память – давать железо самое доброе на корабельное дело. Плотников и кузнецов велено было набирать из рыболовов села Дединова, охотников, а в неволю никого не нудить. Главным распорядителем при строении кораблей был приставлен Яков Полуехтов.

Новое дело пошло не так скоро, как бы хотелось. Хотелось, чтобы корабль поспел к весне 1668 года. но 1 октября 1667-го Полуехтов прислал сказку дединовского старосты, что у них к корабельному делу охочих плотников нет; того же числа другая отписка Полуехтова: кабацкий голова отказал, денег у него нет, на корабельное дело дать нечего. Плотников велели нанимать в Коломне и Дединове, но от 27 октября от Полуехтова новая отписка: в Дединове плотники охотою не нанимаются, а подрядчиков нет, и корабельное дело за плотниками стало. Послали память в приказ Большого дворца, велено всем дединовским плотникам уговариваться без всякого опасенья, наем им будет без убавки, и в неволю на них корабельное дело накинута не будет, ссорщикам не верили бы; Полуехтову послали государеву грамоту: из Дединова у других сел взять у приказных людей плотников тридцать человек, а корму давать им по четыре алтына на день.

Работа пошла с 14 ноября. В январе отписка от Полуехтова: «Плотникам и кузнецам дано корму по четыре алтына на день человеку, а дни малые и холодные, корабельное дело неспоро, а корму без указа убавить не смею». В ответ велено давать по два алтына человеку да смотреть, чтобы не гуляли. Тридцати плотников оказалось мало; понадобились канаты и бичевки, мастеров канатных можно было сыскать между крестьянами епископского села Городищ, но никто из них волею не подряжался; спросили парусного мастера – нет! Иноземцы объявили, что надобно на корабле вырезать корону, резчика негде было сыскать; дединовцы наскучили незваными гостями: староста приходил со многими людьми и ссылал полковника фан Буковена со двора, отводили дворы далеко от корабельного дела. Велели прибавить еще 20 человек дединовских плотников, и полковника велели поставить на ближнем дворе, епископу коломенскому велели дать канатных и бичевных мастеров; из Оружейной палаты велели выслать в Дединово резного мастера; туда же велели послать из Пушкарского приказа казенного кузнеца Никитина. Но и тут неудачи: Пушкарский приказ отвечал, что кузнец Никитин делает к большому успенскому колоколу язык, а кроме того кузнеца, языка делать

некому; Оружейная палата отвечала, что у нее резного мастера нет. Парусных швцов и токарей велели взять на Коломне, кузнецов в Переяславле-Рязанском, живописца и резца на Гранатном дворе; но на Гранатном дворе их не оказалось, послали в Стрелецкий приказ. Между тем наступила весна, май месяц; Полуехтов дал знать, что корабль на воду спущен, будут отделять его на воде, а яхта и шлюпы поспеют скоро. Но в июне новые жалобы от Полуехтова: коломенский епископ Мисаил канатных мастеров не дает. А епископ жалуется: «Дал я 8 человек мастеров, но Полуехтов бьет их и мучит, в подклеть сажает, пеньки и кормовых денег не дает, мучит голодною смертию». На коломенском Кружечном дворе, на котором до сих пор брали деньги для корабельного строения, денег не достало, послали взять в Зарайске и Переяславле-Рязанском из таможенных доходов. Отыскали и отправили в Дединово иконописца и резца, резцу велено короны резать, а иконописцу, где доведется, цветить. Лето уже приближалось к исходу, а корабль все не был готов. 7 августа послана к Полуехтову царская грамота: велено у корабля на корме сделать и вырезать травы и вызолотить, орла и короны делать не велено, а на носу сделать льва; велено делать с большим поспешением, чтобы в августе месяце отпустить корабль из Дединова. Полуехтов отвечал на это, что главная остановка за епископом Мисаилом: осьми канатных мастеров мало, а епископ не дает в прибавку. Послали новую грамоту к епископу, с большим подтверждением, а к Полуехтову опять приказ, чтобы непременно корабли были готовы к отпуску в августе месяце. Прошел август, прошла и половина сентября, Полуехтов доносит, что корабль, яхта, два шлюпа и боты сделаны, совсем наготове, но больших канатов, на чем кораблю и яхте стоять, не сделано, потому что мастеров только 8 человек, а больше епископ Мисаил не присылывал. Пошла третья грамота к епископу, а к Полуехтову приказ: отпустить корабли в Нижний Новгород с полковником фан Буковеном и корабельщиками, а кормщиков и гребцов взять из Коломенского посада и Коломенского яма, знающих людей, которые бы в Оке-реке водяной ход знали. В Нижнем велено корабли поставить для осеннего и весеннего льда в заводях и беречь накрепко; чего на кораблях не поделано, то фан Буковен должен был доделать в Нижнем. Но 19 октября отписка из Дединова: коломенские ямщики государеву указу учинились ослушны, на корабли кормщиков и гребцов не дали, кораблю по Оке идти нельзя, вода мелка.

А тут еще Полуехтов поссорился с Буковеном, начали доносить друг на друга: фан Буковен пишет, что в Оке вода мелка, идти кораблю нельзя, а Полуехтов пишет, что в реке вода велика и кораблям идти можно, только полковник с подьячим пьет и бражничает, о государеве деле не радеет, хочется ему, чтобы корабли зазимовали в Дединове. Чтобы помочь делу, послали грамоты к Полуехтову; если отпуск замедлится, то быть ему в опале и наказанье, и, во что корабли станут, те деньги доправят на нем; к Буковену: если не пойдет в Нижний тотчас, то доправят на нем кормы за все прошлые месяцы. Но и это не помогло: Буковен дал знать, что с 4 ноября морозы сильные, по Оке лед начал плыть большой; а Полуехтов присылает сказку за руками старост Ловецких сел, что 2 ноября по Оке корабельный ход был. Как бы то ни было, корабль зазимовал в Дединове.

20 ноября явился в Посольском приказе корабельный капитан Давыд Бутлер с 14 товарищами, приехали они из-за моря, из Амстердама, к великому государю в

службу по призыву фан Сведена. 2 марта 1669 года Бутлера с товарищами да астраханца, который на Каспийском море бывал, отправили в Дединово осмотреть корабль, можно ли на нем по Каспийскому морю ходить? Посланные возвратились и объявили, что корабль и яхта годны. 25 апреля по государеву указу велено кораблю дать прозвание *Орел*, капитану Бутлеру велено поставить на носу и на корме по орлу и на знаменах и на еловчиках нашивать орлы. Бутлер подал в Посольском приказе список с артикульных статей, как должен капитан между корабельными людьми расправу чинить и ведать их; артикулы были одобрены. Наконец в начале мая *Орел* двинулся из Дединова, а 13 июня отпущен из Нижнего в Астрахань. Постройка корабля, яхты, двух шнеков и бота обошлась в 9021 рубль.

Неудачному началу соответствовал несчастный конец: Стенька Разин сжег корабль в Астрахани. Разбои Разина, разногласие, происшедшее в компании, и смерть шаха Аббаса II помешали также исполнению договора, заключенного с армянами. Между тем Ордин-Нащокин удалился от дел, место его занял Матвеев, и в июле 1672 года в Посольский приказ созваны были выборные торговые люди, по два человека добрых из сотни. Им прочли договор с армянскою компаниею 1669 года и спросили: если армяне по договору шелк сырой и всякие товары станут привозить в Московское государство, в Архангельск, Новгород, Псков, Смоленск, и за море с товарами ездить, то не будет ли московским и всех городов купецким людям в их промыслах помешки? Выборные отвечали: «При царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче Персидской области купецкие люди, персияне и армяне, кумычане и индейцы, приезжали с шелком и со всякими персидскими товарами и торговали в Москве и в Астрахани и по другим городам всегда с русскими купецкими людьми, а с немцами, греками и ни с какими иноземцами нигде не торговали, а в немецкие земли через Московское государство не езжали. А русские купецкие люди со всякими русскими и немецкими товарами ездили в Астрахань и в Персию за море и меняли русские и немецкие товары на шелк и на другие персидские товары и продавали их в казну великого государя, а из казны продавали немцам на ефимки, также и от себя продавали шелк немцам на ефимки, а ефимки отдавали в казну на мелкие деньги, и оттого казне бывало немалое пополнение, а русским купецким людям был промысел, и многие пошлины сходили с них и с персиян. Если же теперь армяне станут торговать с немцами, то постановят с ними договор, шелк продадут немцам на ефимки и на золотые и на заморские такие товары, которые прежде русские люди покупали у немцев и продавали персиянам. Так, по этому договору ефимки и золотые и заморские товары пойдут в Персидскую землю через Московское государство, и Персидской земле будет прибыль, а казне великого государя убыток, русские купецкие люди лишатся своих промыслов и придут в убожество».

В конце 1672 года опять приехал в Москву Григорий Лусиков и услышал от Артамона Сергеевича Матвеева такие речи: «В 1667 году великий государь вас, армян, пожаловал, с шелком и другими товарами вам приезжать позволил, как о том в крепости написано. Для покупки шелка приготовлена царская казна многая, и потерпела она в простое от долгого времени убытки великие. Этим вы свой договор нарушили, а теперь объяви, по договору шелк с собою ты привез ли и чем вознаградишь убытки, понесенные царскою казною?»

*Лусиков* : Христос не пришел разорять Моисеева закона, но исполнить, а слух носится, что договор о шелке хотят переменить. *Матвеев* : Правда, что

Христос сошел на землю ради нашего спасения и не пришел разорить закон, но исполнить; это твое слово к пополнению царской казны пристойно. Объяви, каким способом можешь вознаградить царскую казну за убытки?

*Лусиков* : В договоре не постановлено, чтобы нам шелк ставить в царскую казну. Шелку я не привез теперь с собою за козацким воровством, а как вознаградить убытки царской казне, не ведаю.

*Матвеев* : За козацким воровством останавливать товаров вам было не для чего, потому что всякому свое здоровье должно беречь больше пожитков; сам ты проехал и шелк мог провезти, а не привез – царскую казну изубытчил и договор нарушил.

*Лусиков* : Если покупать шелк в казну, то этим самым договор будет нарушен, потому что в договоре такой статьи нет.

*Матвеев* : Если у царского величества с немецкими государями будут какие ссоры, то за море вас отпускать нельзя, торговать вам в Архангельске и в других русских городах, продавать свои товары или в царскую казну, или русским торговым людям. На эту новую статью, не находившуюся в первом договоре, Лусиков отвечал письменно, что они, армяне, согласны на нее, только бы установлена была шелку цена, и если во время проезда из Астрахани до Москвы учинится в товарах убыток, то он вознаграждается из казны царской. На установление цены согласились, но относительно случаев утраты товаров от воровства постановили: если на Волге объявится воровство, то астраханские воеводы дадут знать об этом в первый персидский порубежный городок, чтоб торговые люди в Астрахань с шелком и другими товарами не ездили. Если, несмотря на все бережение и провожание армян, товары потонут или каким-нибудь другим образом пропадут, то с этих товаров пошлин не брать. Армянин вытребовал, чтобы во время провозу товаров при них был постоянный караул из русских людей, и если за этим караулом товары пропадут, то хозяевам искать судом на караульщиках, и если разыскать будет нельзя, то давать веру. «Зимою, – говорил Лусиков, – приедем на стан и пойдем в избу, а без нас русские люди что хотят, то и сделают над нашими товарами, потому что мы к зиме непривычны, на морозе оставаться не можем». Что касается до цены, по какой брать шелк в казну, то уговорились, чтоб пуд шелку *лежей* стоил 35, а *ардаш* 30 рублей. Григорий Лусиков дал обязательство: «В немецкие государства через Турцию и никаким другим путем с шелком-сырцом и другими товарами ни компанейщикам, ни другим подданным персидским не ездить; если иноземцы приедут в Персидское государство для покупки шелку, то армяне не должны им его продавать: весь шелк идет в Россию».

21 мая 1673 года Матвеев призывал гостей Василья Шорина с товарищами и объявил им царский указ: вперед из Астрахани русских торговых людей и их прикащиков в Персию не отпускать; также персидским торговым людям торговать с русскими в одной Астрахани и в верховые города их не пускать до тех пор, пока будет постановлено об этом чрез послов от обоих государств. потому что шемахинский хан гостя Астафья Филатьева прикащика, также и других прикащиков товары и имение взял грабежом и вперед русских людей будут грабить из мести, что в Астрахани при Стеньке Разине ограблены шахов посланник и купчины. Будучи на Москве в Посольском приказе, домогались они



многими разговорами и челобитьем, чтобы великий государь указал послать в Астрахань и другие понизовые города сыскные грамоты.

Посланнику отказали в этом для того, что в Астрахани после Стеньки на воровстве многие торговые люди купили персидские товары и везут в Москву и другие города: так если бы послать сыскные грамоты, то посланник и купчина, где такие товары сыщут, будут называть своими и начнутся великие ссоры. Если гостям такое распоряжение, чтобы в Персию не ездить и торговать в Астрахани, годно, то пусть пришлют сказку за руками в Посольский приказ.

Гости прислали сказку: «Русским купецким людям в шаховой области во всех городах от начальных ханов чинится великая обида, и теснота, и неволя; ханы берут лучшие товары, соболи, пупки, сукна, кость рыбью и слюду без цены силою, держат у себя по полугоду и по году и после долгого челобитья платят цену вполовину и в треть, а иные товары, держав долгое время и перегнав, отдают назад с великим бесчестьем и обидою; а во многих городах русских купецких людей бьют и увечат палками безвинно. В Шемахе в 1650 году захватили русских купецких людей и держали их взаперти до 1656 года, причем убытка русские люди потерпели больше 50000. В 1660 году тарковский шевкал пограбил товары гостей Шорина, Филатьева, Денисова и Задорина с лишком на 70000 рублей. В 1672 году тот же шевкал ограбил астраханского жителя, армянина Нестора, с лишком на 5000 рублей; а шевкаловы торговые люди ежегодно приезжают в Астрахань и торгуют вольно; если бы их задержать в Астрахани, то и шевкал перестал бы грабить русских людей. Видя такие обиды в шаховых областях, русские купецкие люди ездить туда опасаются: но чтобы и персидских купцов далее Астрахани не пускать, иначе они отнимут промыслы у русских людей и царской казне будет убыль большая: персияне и армяне, кумычане, черкесы, индейцы и астраханские татары, приезжая в Москву и другие города, станут продавать свои товары всяким людям врознь дорогою ценою, а русские товары лучшие станут покупать дешевою ценою; вместо двух и трех пошлин, что с русских сходит, станут платить одну пошлину; русским всяких чинов людям в покупке персидских товаров передача великая, вся прибыль будет у персиян».

По прочтении этой сказки послали спросить Лусикова, не рассердится ли шах, если персиян не будут пропускать из Астрахани в Москву? И не будет ли от персиян челобитья шаху на них, армян, когда они одни, по договору, будут приезжать в Москву и другие русские города? Лусиков отвечал, что персидские купчины теперь и сами не поедут в Россию, потому что прежде брали они товары займы из шаховой казны, казначей брал с них взятки и давал им роспись за шаховой печатью, вследствие чего они торговали беспошлинно; а теперь, как состоялся договор с армянскою компаниею, купчинам казенных товаров уже не дают; бить челом персияне на армян не будут, потому что последним шах дал жалованную грамоту на вывоз шелка в Россию, и грамоты этой переменить нельзя. По этому случаю Лусиков прибавил: «Приезжают из шаховой области в Русское государство тезики с купчинами, а иные и особо, торги у них малые, обыкновенно торгуют табаком, живут в Москве и других городах многие годы, а прибыли от них нет. Тому лет с шесть подговорили они и увезли из Москвы молодую монахиню, которая обусурманилась и вышла замуж за тезика, и тезики нас, армян, укоряют, что вот христиане в их веру обращаются: указал бы великий государь всех тезиков отовсюду выслать в Персию, шаху будет это приятно; а мы,

армяне, табаком торговать и русских людей увозить не будем, потому что мы христиане».

До сих пор мы следили за сношениями Московского государства, готового перейти в Российскую империю, с государствами Европы и Азии, с народами, принадлежащими христианской или магометанской цивилизации. Но Россия с самого начала своей истории имела постоянно соседями кочевые народы, вышедшие из степей Средней Азии, и мы знаем, какое влияние оказывало на ее историю это соседство. Исчезли печенеги и половцы, страшные поработители-татары подчинились своим прежним данникам – русским, хотя и не переставали обращать взоры на Константинополь в ожидании, что преемник калифов избавит их от царя христианского; но степная Украина не переменяла своего характера, кочевники движутся, теснят друг друга, как некогда половцы потеснили печенегов, татары – половцев. Но теперь они сталкиваются уже не с Киевскою Русью, сталкиваются с могущественною для них Москвою, и любопытно проследить их первоначальные отношения к Москве, как сначала они хотят удержать свою независимость, право движения и хищничества, но скоро волею-неволею должны подчиниться Москве, войти к ней в служебные отношения, из диких половцев сделаться черными клобуками.

В 1645 году, еще при жизни царя Михаила, двое калмыцких тайшей прислали в Москву послов своих бить челом о принятии их в послушанье с обещанием служить и добра хотеть, а государь бы за это велел приезжать им к Астрахани, к Уфе и к другим городам со всякими торгами. Алексей Михайлович по восшествии своем на престол в конце того же 1645 года отправил к тайшам голову московских стрельцов Кудрявцева, чтобы их уговорить и к государственной милости обратить без войны и без крови. Кудрявцев выехал из Уфы 22 марта 1646 года по последнему зимнему пути, по пластам, степью и ехал до калмыцких улусов четыре недели в полую воду. 21 апреля приехал он в улус к Лоузаню-тайше на речку Киим и велел ему сказать, чтобы послал к братьям своей, племянникам и другим тайшам, пусть съедутся в одно место для выслушания царского посланника. «Для этого наши тайши ко мне не поедут, – отвечал Лоузань, – подай государеву грамоту мне здесь и государево милостивое слово скажи». Кудрявцев поехал к нему и подал грамоту. «Подожди, – сказал тайша, – когда обо всем между собою переговорим, тогда тебе обо всем скажем». Кудрявцев ждал неделю и дождался: Лоузань прислал к нему людей своих, те прибили, ограбили посла и отвезли его в другой улус к племяннику Лоузаневу Наамсару; тот послал его к другому дяде своему; последний, продержав Кудрявцева три недели, отослал назад, к Наамсару. 17 июня тайши съехались на реке Ор и позвали к себе посланника, который говорил им такую речь: «Ведомо вам самим, что издавна были вы у великих государей царей в послушанье, но в 1613 году, забыв милость царя Михаила Феодоровича, приходили под Астрахань, русских и ногайских людей побили, а едисанских мурз и улусных людей с женами и детьми взяли и отвезли к себе и до сих пор не отдали. Потом вы ходили на Терек на ногайских мурз, но были побиты в горах кумыками и горными черкасами. Этим вы не унялись, но приходили под Саратов и другие понизовые города. Не терпя таких досад, царь Михаил Феодорович посылал на вас воеводу своего Плещеева; воевода встретил вас за Саратовом и многих побил, других в плен взял и много разоренья за ваши неправды вам сделал; наконец вы прислали к великому государю бить челом, чтобы принял вас

под свою высокую руку. Великий государь Михаил Феодорович пременил гнев на милость, воевать и разорять вас больше не велел, а сын его, великий государь царь Алексей Михайлович, послал к вам меня с своим милостивым словом: и вам бы от неправд своих отстать, великому государю служить, из-под Астрахани и из-под Уфы и от других городов отойти кочевать на прежние свои дальние кочевья и передо мною присягу дать по своей воре, едисанских татар отпустить, аманатов в Астрахань и Уфу дать из тайшей или из улусных лучших родственных людей. А как вы все это исполните, то государь станет вас держать в своем милостивом жалованье, торги и промыслы вам будут беспошлинные». «В прошлых годах, – отвечали тайши, – калмыцкие улусы у московских государей в послушанье бывали ль или нет, и чем их прежние государи жаловали или нет, того мы не упомним; а то мы знаем, что деды и отцы наши, и мы сами, и братья наши, и племянники у царей московских и у царя Михаила Феодоровича никогда в послушанье не бывали и никакого государева жалованья к нам не присылавано, и послов своих не посылавали с челобитьем, чтобы быть нам в неволе, посылали мы бить челом о том, чтобы быть с государем в мире, нам на его города войною не ходить, а ему на нас своих ратных людей не посылать и дать нам под своими городами торг. К Астрахани ходили не все тайши, ходило только двое тайшей, ходили не под государеву отчину, а на встречу к едисанским мурзам и улусным людям, которые просили наших тайшей, чтобы приняли их к себе; тайши к себе их и приняли, взяли их не за саблю, люди они божьи и теперь кочуют на степи своими улусами по своей воле, захотят под Астрахань, и мы их не держим, а по неволе не отдадим. Под Саратов и другие города мы не прихаживали, а если кто и приходил из нас украдкою, того мы не знаем, потому что кочуем не в одном месте; а что воевода Плещеев наших людей побил и в полон взял, то так повелось из века, на войне побивают и в полон берут. Государь велит нам идти из-под своих городов на прежние дальние кочевья, но мы кочуем не под его городами, земля божия, кочуем на порожней земле, мы, люди божии, вольные, кочуем по своей воле не в указ. Служить мы государю не хотим, а и без шерти лиха ему не желаем, в прежние годы не бывало, чтобы мы какому-нибудь государю служили и шерть давали; если ты поцелуешь крест, что государь не будет нас воевать, то и мы велим лучшим людям шертовать, что войны начинать не будем. Аманатов не дадим, потому что этого у нас не повелось, а русского полону у нас нет, потому что мы на Русь не ходим, а торг – дело вольное, велит государь с торгом приходиться, и мы торгуем, а нам и кроме государевых людей есть с кем торговать, пошлин же никому не даем».

«Если так, – сказал Кудрявцев, – то государь велит вас воевать с двух сторон с огненным боем и к врагам вашим, дальним калмыкам, пошлет, чтобы также шли на вас».

«Что ты нам грозить приехал! – отвечали тайши. – Если бы ты не из Москвы был прислан, то за такое слово быть бы тебе в Бухаре; если бы государю нас воевать, то он бы и не грозясь велел воевать и разорять: это в божьей руке, кому бог поможет». Калмыки действительно сговаривались посланника убить или продать, то некоторые отговорили, Кудрявцева повели в дальние кочевья, где он терпел голод, принужден был есть всякую скверну. Здесь посланник виделся с ногайскими и едисанскими мурзами и уговаривал их возвратиться под Астрахань. «Мы государю изменили, – был ответ, – и нам назад идти нельзя, улусные люди не

хотят, да если и пойдём под Астрахань на старые кочевья, то калмыки придут и возьмут нас, если же от калмыков будет тесно, то мы пойдём под Астрахань». «Все это мурзы обманывают, – писал Кудрявцев, – забыли государеву милость и калмыцких тайшей на всякое зло наговаривают; только бы не они, то тайши иного и не знали бы, всякие русские обычаи рассказывают и наговаривают». Кудрявцев выводил у калмыков, не согласятся ли они идти вместе с русскими людьми войною на Крым, но тайши отказались. «Ждем мы на себя войны от дальних калмыков, – говорили они, – а Крым от нас далеко, место незнакомое, и с русскими людьми идти нам вместе нельзя; ваш русский поход тяжел, ходите пеши: где нам идти день, а русским людям идти неделю, да и русских людей опасаемся, чтобы чего-нибудь над нами не сделали». Продержав Кудрявцева у себя почти пять месяцев, калмыки наконец отпустили его из степи.

Калмыки остались на новых своих кочевьях по Яику, Ору, Сакмаре, по рекам, которыми владели ясачные люди Уфимского уезда, грабили, били и хватили в плен этих ясачных людей на промыслах; врывались в Казанский и Самарский уезды, разоряли русские и башкирские села. Башкирцы платили им тем же, с обеих сторон накоплялись пленники, и шли переговоры о их размене, причем московское правительство не переставало твердить тайшам, чтобы уходили назад, в свои дальние кочевья, на Черные пески и на Иргиз-реку, и не занимали бы земель между Яиком и Волгою. Тайши отвечали одно, что в холопстве никогда ни у кого не бывали и никого не боятся, кроме бога. «Земля и воды божьи, – говорили они, – а прежде та земля, на которой мы теперь с ногайцами кочуем, была ногайская, а не государева и башкирских вотчин в тех местах не бывало; мы, пришедши сюда, ногайцев сбили, и ногайцы пошли кочевать под Астрахань; а как мы под Астраханью ногайских и едисанских мурз за саблею взяли, то и кочуем с ними пополам по этим рекам и урочищам, потому что они теперь стали наши холопы; нам в этих местах зачем не кочевать? Да, кроме них, и кочевать нам негде, а государевых городов здесь нет».

Но недолго калмыки говорили этим языком. В 1657 году четверо тайшей прислали царю грамоту, в которой писали: «Большой астраханский воевода начал к нам беспрестанно послов присылать, не дали нам покою, все аманатов у нас просили. И мы, калмыки, аманатов своих дали, родственника своего, при воеводах и при дьяке шертовали с своими улусными людьми, и на договорной записи мы, тайши, руки приложили, чая от вас, великого государя, вперед жалованья, а как шертовали, то сказали нам, что жалованье будет». Калмыцкие послы подали статьи: 1) Чтобы великий государь велел тайшам давать жалованье, а их родства есть еще три улуса, и они, увидя к себе государеву милость и жалованье, и те улусы станут призывать под царскую высокую руку. 2) Велел бы государь летом кочевать им от Астрахани вверх по Волге по обе стороны, и на перевозах бы их нигде не задерживали. 3) В городах, которые близко их кочевья, указал бы государь давать им торг повольный, налогов бы и обид от воевод не было и во всем бы их оберегали. 4) Указал бы государь идти им в Крым войною, а с ними бы послать астраханских служилых людей.

Последняя статья была очень важна при тогдашних обстоятельствах Московского государства, и в 1661 году дьяк Горохов отправился к калмыцкому тайше Дайчину с требованием, чтобы послал к крымскому хану, велел ему отстать от польского короля и не давать ему помощи, и если не отстанет, то калмыки будут

воевать крымские юрты. Но всего бы лучше, говорил Горохов, если бы Дайчин-тайша нынешним летом со всеми калмыками пошел воевать крымские юрты: там богатства много от польских людей, наполниться калмыкам есть чем; царского величества премногая милость к тайшам и ко всем калмыкам будет за их службы, и в государевых городах русские люди, видя калмыцкую правду и прямую службу, будут с калмыками единодушно.

«Великий государь спрашивает теперь на нас службы, – отвечал тайша, – а жалованья посылает нам мало, тогда как мне говорили, что будет мне жалованье такое же, как прежде было крымскому хану».

«Так говорить не годится, – возражал Горохов, – потому что вы в подданстве и послушанье у великого государя. Жалованья вы перебрали уже много, а службы еще никакой не показали».

«Калмыки служат великому государю, – говорил тайша, – воюют улусы послушных Крыму ногаев; мы были и под Азовом, и по реке Кабану и теперь ради исполнить повеленье великого государя, пошлем своих людей на Крым, а после большой воды пойду сам с детьми и племянниками, стану станом на Дону подле козачьих городков и буду промышлять над Крымом. Всем своим улусным людям и татарам велю заказ учинить крепкий, чтобы никаких ссор и задоров с людьми великого государя не чинили, только чтоб и от русских людей калмыкам лиха не было, а злее всех башкирцы: всегда всякое зло калмыкам от башкирцев».

«В прошлом году, – отвечал дьяк, – вы жаловались, и по этой жалобе послан на Уфу стольник Сомов, велено ему про башкирцев сыскать накрепко, взятое ими отослать к вам в улусы, а башкирцев, пущих воров, велено казнить смертию, а других наказать торговою казнию. Башкирцы, пущие воры и ваших улусов разорители, Гаурко Ахбулатов с товарищами, 30 человек, избывая смертной казни, бежали и живут теперь у сына твоего Мончак-тайши, и сын твой, позабыв их обиды, сделал им большой привет и ласку, дал им на приезде по две лошади да по верблюду человеку, коров и овец дал немало; но это сделал он неправдою, шertzь свою нарушил. Пусть он этих воров-башкирцев отошлет в Астрахань, а если их отдать не захочет, то вперед башкирцев от калмыцкого разоренья унимать нельзя».

Дайчин, помолчав немного, сказал: «Я про это ничего не знаю: когда увидишься с Мончак-тайшею, то поговори с ним. Мончак сам владелец, а я стар, и улусные люди прочат Мончака, а я к нему с ближними своими людьми прикажу. Повидавшись с Мончаком, поезжай в Москву поскорее, службу нашу и послушанье великому государю объяви, и если вперед государю надобно будет наше калмыцкое дело, то государь указал бы ведать это дело в Астрахани Казбулату, мурзе Черкасскому, потому что ему калмыцкое наше дело за обычай».

Дьяк поехал в улус к Мончаку, и первым делом его было по приезде туда отправить уфимских жителей переговорить тайком с беглыми башкирцами: для чего они великому государю изменили, с Уфы бежали и какого себе добра ждут в калмыцких улусах? Калмыки – давние им злодеи и будут мстить им за свою кровь. Когда Горохов пришел к Мончаку, то тайша объявил, что он от отца своего не разделен и повеленье великого государя также исполнить хочет с радостью. Но иное говорили мурзы едисанских татар, они приехали к дьяку и объявили от имени тайши: «Великий государь спрашивает на нас службы, а жалованья привезено мало; если нам государева жалованья дано будет столько же, сколько давалось крымскому хану, по 40000, то мы на службу пойдём, а если жалованья не

будет, то на службу не пойдём, а станем воевать по Волге города великого государя и его людей».

«Вы это говорите, забыв страх божий, – отвечал Горохов мурзам, – вам следовало о делах великого государя радеть, потому что вы его холопи природные». «Мы служили и радели, – сказал один из мурз, – калмыков к послушанью великому государю привели, но ничего за это не получили; ты нам теперь ничего не привез, так мы тебя и всех государевых людей, которые с тобою, ограбим и тем себя наполним. Крымский посол у нас, и мы с этих пор станем радеть крымскому хану». Сказавши это, мурзы вышли с шумом.

Дьяк немедленно послал толмача проведать, правда ли, что крымский посол в улусах? Толмач возвратился с известием, что в улусах азовский ага и говорит, что крещеные с хохлатыми соединились и будет от них бусурманам зло. Горохов вместе с Казбулатом, мурзою Черкасским, отправился к Мончаку; тайша велел запереть избу и никого не пускать, начались тайные переговоры. Дьяк рассказал тайше о приезде едисанских мурз и о их речах: тайша отвечал, что он мурз не посылал, но что они действительно озлоблены, не получая ничего от государя: против их челобитья объявлено им княжество и жалованье и ничего не дано, а можно было их обрадовать.

«В калмыцкой орде над калмыками и татарами владельцы вы, тайши, – говорил дьяк, – великий государь присылает вам жалованье, с вами о своих делах переговоры ведёт, а мурзам в равенстве с вами быть непристойно; да и то вам знать можно, что мурзы и все татары калмыкам не доброхоты, послушны вам только из страха, по своей бусурманской вере желают всякого добра крымцам, а калмыкам ищут всякого разоренья и хотят вас от милости великого государя отлучить. Абызы их татарские по закону своему говорят, что татарам и Крыму быть от калмыков в разоренье; теперь отец твой, Дайчин, посылает на Крым своих ратных людей, и надобно думать, что пришло время вам, калмыкам, крымскими юртами завладеть: так тебе пристойно быть с отцом своим в одной мысли, а раскольников-татар не слушать».

«И в нашем калмыцком письме написано, что калмыки будут владеть крымскими юртами, – отвечал тайша. – Есть на Крымском острове гора, слывет Чайка-бурун, про ту гору написано у нас, что в ней много золота и владеть тем золотом калмыкам. Что татары нам не доброхоты, это мы и сами знаем, бусурман доброхот бусурману, только и на русских людей надеяться нам нельзя: яицкие козаки, и по Волге из городов русские люди, и башкирцы много зла ежегодно нам делают, русские люди обычаев калмыцких не знают, и чинится оттого во всем рознь; а крымский хан каждый год присылает послов к нам, сулит большую казну, хочет брать государевы города калмыцкими людьми и отдавать их совсем калмыкам. Но мы не слушаемся и крымскому хану не помогаем, но и войною нам идти на Крым с чего? Нам казны не прислано, а крымскому хану ежегодно из Москвы посылают по сороку тысяч золотых; однако же крымцы на Русь войною ходят, а калмыки чем хуже крымцев, что им столько казны не давать?»

Дьяк отвечал: «Крымский хан хочет давать вам государевы города, но это дело не статочное, потому что крымцы не только городов, и малой деревни никогда у нас не брали. Вы хотите большой казны, но прежде покажите свою службу. Вот будет служба, если вы теперь крымского посла отправите в Москву, за это получите большое жалованье, а послу ничего дурного не будет».

«Этого сделать никак нельзя, – сказал тайша, – нам будет укорно, и вперед никто к нам послов посылать не станет». Этим разговор и кончился.

Горохову удалось зазвать к себе несколько беглых башкирцев. На вопрос, зачем бежали, они отвечали, что не стерпели налогов от ясачного сбора. «Лжете! – сказал дьяк. – Никаких налогов вам не было, а здесь у чего вам жить! Разве не знаете, что калмыки вам злодеи и отомстят вам?» «Знаем, – отвечали башкирцы, – да делать-то уж нечего, назад ехать не смеем, боимся смертной казни, а калмыков как-нибудь удобрим службою и промыслом, потому что мы знаем не только большие дороги, но и малые все стежки и переправы на больших и малых реках». «Вам бы страшно было об этом и помыслить, – говорил дьяк, – мало того, что изменили, хотите еще приводить калмыков на разоренье наших сел и деревень!» «Из-за чего же нам добро-то мыслить: ведь мы от юрта своего отстали», – сказали башкирцы. «Лучше обратитесь к великому государю, он вас пожалует», – говорил дьяк. «Обратиться страшно, – отвечали башкирцы, – бежали мы, пограбив государевых людей, а иных и побив до смерти». Дьяк обнадеживал их государскою милостью и попотчевал; следствием было то, что башкирцы обещались подумать и прийти в другое время.

Проживши две недели у Мончака, Горохов стал торопить тайшу, чтобы покончил дело о походе на Крым; тайша отвечал, что надобно прежде покончить дело о башкирских набегах: недавно еще башкирцы отогнали у калмыков 2000 лошадей. Как тут идти на государеву службу? «А зачем было принимать беглых башкирцев? – спросил дьяк. – Выдайте их великому государю». Мончак отвечал с сердцем: «Кто себе лиходей, что станет отпускать от себя людей? Будешь просить башкирцев, и мы ратных людей не пошлем на Крым». Кончилось тем, что Мончак сказал Горохову: «Вели принести от себя из стану вина и питья, хочу я с ближними своими людьми напиться, чтобы сердитые слова запить и впредь их не помнить». Дьяк поспешил исполнить это доброе желание. Сердитых слов действительно после того не было, и калмыки обязались под клятвою идти на Крым; подписывая шертную запись, Мончак говорил: «Как бумага склеена, так бы калмыцким людям с русскими людьми вместе быть вечно».

Шертъ была исполнена, война между турецко-татарским и монгольским племенем началась в степях черноморских. Мончак следил за своими врагами, татарами и башкирцами, и доносил в Москву о сношениях их с Крымом. В 1664 году он известил великому государю, что уже шестой или седьмой год, как уфимские башкирцы и казанские татары отправили послов к крымскому хану объявить ему, что они с ним одной веры и прежде были людьми крымских ханов, а теперь, живя с русскими людьми, отстали от своей бусурманской веры: так бы хан принял их к себе и ходил с ними вместе под государевы города. Тайша доносил, что и астраханские татары, и все вообще мусульмане пересылаются с крымским ханом и азовским пашою, промышляют этим союзом тарковский Суркай-шевкал да кабардинские владельцы, мыслят построить город на крымской стороне, на урочище Мажаре, что бывало венгерское городище между Астраханью и Терекком, чтобы не было дороги между этими городами. Для приема татар хан хочет прислать царевичей своих со многими ратными людьми, и стоять им между Черным Яром и Царицыным, чтобы в Астрахань и в другие понизовые города судов с запасами и товарами не пропускать; а суда, в чем им разъезжать по Волге, взялись им промыслить астраханские юртовские татары и ногайцы.

До сих пор мы касались только тех калмыков, которые беспокоили юго-восточную Украину, Уфимскую и Астраханскую сторону, но гораздо больше беспокойства от них было для Сибири. Мы видели, какое обширное пространство земель в Северной Азии занято было русскими людьми в царствование Михаила Феодоровича; малочисленные отряды с *огненным боем* легко одолевали рассеянные *роды* туземцев и заставляли их платить ясак. Но в двадцатых годах столетия в южных, степных краях Западной Сибири явились незваные гости, с которыми нельзя было так легко разделяться, то были именно калмыки. Теснимые с двух сторон монголами и киргиз-кайсаками, они заняли земли у верховьев Иртыша, Ишима и Тобола и спокойно располагались в странах, которые русские считали уже своими. Появление калмыков было тем опаснее, что владычество русских в Сибири далеко еще не было упрочено: туземцы, принужденные только *огненным боем* платить ясак, искали первого случая, как бы избавиться от этой обязанности, и в степях бродили еще потомки Кучума с притязаниями на отчину и днину. Калмыков приняли как освободителей и начали громко выражать надежду, что в короткое время о русских не будет слышно в Сибири. Правда, у калмыков не было *огненного боя*, но они как-нибудь ухитряются, мечтали туземцы, нападут на русских в сильную бурю, метель, когда нельзя будет стрелять из ружей.

Надежды туземцев не исполнились, люди с *лучным боем* не могли выжить из Сибири людей с *огненным боем*, но попытки были делаемы не раз. В 1634 году запылали деревни Тарского и Тюменского уездов, сам город Тара два раза был осажден. Калмыки не могли устоять перед *огненным боем*, не взяли города, но зато и поиски русских в степи за грабителями не были удачны. Несколько лет сряду не проходило почти ни одной осени, чтобы русские поселенцы не были встревожены вестями о калмыцких замыслах, и крестьяне по Иртышу покидали свои деревни, скрываясь в города и остроги. В сентябре 1651 года запылал новый монастырь, который строил на реке Исети старец Далмат; русские люди, жившие в монастыре, были перебиты или захвачены в плен: это было дело татар, пришедших под предводительством князьков крови Кучумовой. Другие Кучумовичи в 1659 году повели калмыков на Барабинскую степь, пять волостей было разорено, 700 человек уведено в плен. В следующем году новое опустошение Барабы.

Что же делали люди с *огненным боем*, русские козаки? Они, где могли, истребляли по частям хищников, но надобно заметить, что для защиты всей Барабинской степи город Тара не мог выставить более 60 козаков! В 1662 году возмущение вспыхнуло на реке Исети, изменили башкирцы, черемисы и татары и стали разорять русские слободы: встали и верхотурские вогуличи, крича: «Поднялся на Русь наш царь!» Калмыки, разумеется, были тут. Татары, башкирцы, мордва, черемисы, чувашаи взяли Кунгур, выжгли все русские крестьянские дворы на реке Сылве. Рассказывали, что татары, пововав Кунгур, поставили себе острог и стреляют по-немецки, чинеными ядрами; рассказывали, что все татары – уфимские, пышминские, япанчинские – и верхотурские вогуличи руки подавали царевичам Кучумова рода и хотят идти по рекам Исети и Пышме в уезды Тобольский, Тюменский и Верхотурский, что восстание произошло по уговору с крымским ханом.



В том же году узнали, что между остяками нехорошо: князьки и простые люди часто съезжаются на думу к князьку Ермаку, покупают молодых людей для принесения в жертву сосвинскому шайтану, а это бывало у них прежде только тогда, когда замышляли изменить. В начале 1663 года схвачен был сосвинский остяк Умба и повинился: приходил к нему из Перми шурин и призывал их всех, березовских остяков, в измену. Березовские остяки ему сказали, что готовы идти с ними вместе на Березов и побить служилых людей, уговорились подняться еще весною 1662 года, по полой воде, но затем не пришли под Березов, что не могли призвать с собою в измену самоедов; но теперь они сговорились с самоедами и со всеми остяками, чердынскими и пелымскими, и порешено идти на Березов весною 1663 года. По указанию Умбы допросили других остяков и открыли обширный заговор: еще в 1661 году остяки снеслись с царевичем Кучумова рода Девлет-Гиреем, положено было летом 1663 года идти под все сибирские города, царевичу прийти под Тобольск с калмыками, татарами и башкирцами; когда возьмут города и перебьют русских людей, царевичу сесть в Тобольске и владеть всею Сибирью, со всех городов брать ясак, а в Березове владеть обдорскому князьку Ермаку Мамрукову да Ивашке Лечманову. Эти претенденты на Березовское княжество были схвачены, привезены в Березов, пытаны, повинились и повешены с 14 другими заводчиками по распоряжению березовского воеводы Давыдова. Тобольский воевода князь Хилков рассердился и написал Давыдову: «Ты учинил не по государеву указу, что березовских лучших остяков перевешал без вины, для своей бездельной корысти, норовя ворами, березовским ясачным сборщикам. По государеву указу велено было тебе разведывать в остяках измены и, которые из них объявятся в изменном деле, прислать ко мне в Тобольск, а самому не казнить». Мы не можем решить, во сколько был прав Хилков в своем обвинении на Давыдова; знаем только, что зимою же 1663 года самоеды сожгли Пустозерский острог, воеводу и всех служилых людей побили, а в Мангазее побили ясачных сборщиков и промышленных людей.

Остяки не поднимались, и на юге русские ратные люди, солдаты и рейтары, били башкирцев и товарищей их везде, где только могли встретить; но преследовать разбитых и не давать им снова собираться было невозможно по малочисленности русских отрядов и по обширности пространств. В конце 1663 года башкирцы Уфимского уезда, ногайской и казанской дорог и ицких (по реке Ику) волостей прислали сказать уфимскому воеводе князю Волконскому, что они хотят быть по-прежнему под рукою великого государя в вечном холопстве, только чтобы аманатов их перевели из Казани на Уфу и чтобы воевода прислал к ним какого-нибудь уфимца обнадежить их милостию великого государя. Волконский обнадежил их, что великий государь, милостивый нежелатель кровей их, вины виноватых милостию награждает, если они бьют челом чистыми душами, без всякого лукавства. По этому обнадеживанию башкирцы прислали в Москву выборных, которые в приказе Казанского дворца перед боярином князем Юрием Алексеевичем Долгоруким и перед дьяками дали шерть на коране – от калмыков и ногайцев отстать, возвратиться тою же зимою в Уфимский уезд на прежние свои жилища, служить великому государю верою и правдою и отдать всех пленников и все пограбленное. По принесении шерти башкирские выборные видели великого государя очи, «аки пресветлое солнце», и получили жалованную грамоту на двух листах, русским и татарским письмом. Уфимский воевода от себя писал

башкирцам, что вперед им от уфимцев, служилых и торговых людей, никаких обид не будет и подвод лишних, кроме государевых дел, никто с них не возьмет и в вотчинах их никто ничем владеть не станет.

Волконский писал уфимским башкирцам, чтобы они уговаривали к покорности и башкирцев сибирской и осинской дорог. Но эти уговоры, если они были, не подействовали. В июле 1664 года башкирцы явились под Невьянским острогом (на реке Нейве, впадающей в Туру), сожгли монастырь и соседние деревни. За разбойниками погнались рейтары и солдаты, но за полднице пути от Уфы-реки успели настичь только ничтожный отряд в 20 человек, а большое башкирское войско, послыша за собою ратных людей, разбежалось за Камень (Уральские горы), по лесам и по болотам врознь на переменных конях налегке, а солдатам и рейтарам гоняться за ними было нельзя, потому что лошади их устали и от прежней гоньбы. В следующем году в тех же местах, на притоках реки Туры, явились воровские татары. Но и эти разбойники, как скоро увидали за собою погоню солдат и рейтар, «отопились болотами и речками топкими и ушли, побросав все свое платье, седла, котлы и топоры». Далее на восток большой опасности подвергался украинный город Кузнецк, отрезываемый с северо-запада от русских поселений непокорными телеутами, или белыми калмыками. В 1636 году он выдержал осаду от телеутов, соединившихся с калмыками. Не брала сила – действовали хитростию: так, однажды телеуты пришли под Кузнецк и предложили его жителям обычный торг за городом; те, ничего не подозревая, вышли на *торговище* и были перебиты. Телеутские князьки присягали великому государю, присылали ясак и потом опять восставали, опустошая Кузнецкий уезд вместе с калмыками и так называемыми саянскими татарами. Красноярск еще более терпел от киргизов, чем Кузнецк от телеутов, так что жители не смели показаться за город и просили в Москве, если им не пришлют большего числа ратных людей, то пусть позволят покинуть несчастный город. Все инородцы, жившие около Красноярска и платившие дань, или разбежались, не вынося положения между двумя огнями, или возмущались и били русских людей. Наконец, в последние годы царствования Михаила Феодоровича правительство приняло сильные меры, собраны были служилые люди из разных сибирских городов, и киргизы были сдержаны. Теснимые в свою очередь русскими, требовавшими покорности, дани, киргизы обратились за помощью к калмыкам и монголам. Монгольский хан, или, как его обыкновенно тогда называли, Алтын-хан, дал шерть на подданство царю Михаилу, но для того только, чтобы выманивать богатые подарки; теперь он не прочь был от подания помощи киргизам, но небескорыстно; он хотел также покорить киргизов себе. Киргизы и другие ясачные инородцы – тубинцы, алтырцы, керельцы, населявшие Красноярский уезд, – стали между двух огней. В 1652 году Алтын-хан нагрязнул на них, требуя послушания и ясака. Красноярский воевода послал к нему с угрозою, что идут на него государевы ратные люди из четырех городов с огненным боем. Хан испугался и ушел, не отказываясь, однако, от своих требований относительно инородцев. Но как скоро монголы стали убираться в свои кочевья, к инородцам явились посланцы красноярского воеводы с требованием, чтобы стояли крепко и неподвижно на своей правде, к Алтыну-царю не отъезжали.

Киргизы, тубинцы и все иноземцы вспомнили свою шерть, к Алтыну-царю не поехали; но русские при этом случае с ужасом заметили у них тридцать русских

винтовок, пятнадцать пищалей калмыцких, также много пороху и свинцу. На вопрос, откуда они это взяли, инородцы отвечали: «Привозят к нам из Томска всякие люди и меняют на товары». Что всего хуже, посланцы заметили, что инородцы стреляют в цель и убивают не хуже русских людей. «Вперед, – писал Красноярский воевода томскому, – от киргизов, тубинцев, алтырцев и керельцев добра ждать нечего, потому что они Алтына-царя боятся и слушают; они говорили моим посланцам: с тех нор как мы на своих землях зачались, ни один монгольский царь, ни царевич, ни монгольские, ни калмыцкие тайши войною не бывали и воинских людей не посылали; а теперь Алтын-царь на нашу землю приходил с 5000 человек! И если вперед Алтын-царь или сын его на нас будут приходиться, то нам никак в правде своей не устоять, потому что Алтын-царь живет от нас за Саянским камнем (горами) только днищах в десяти пути. И если, – продолжает воевода, – Алтын-царь или сын его с большим войском придет на государевы украинны, то мне не только нельзя послать из Красноярска на выручку государевых иноземцев, но и Красноярского острога уберечь нечем, потому что у меня служилых людей только 350 человек, и из тех посылают по разным острожкам на годовые службы за хлебными запасами, в Москву за государевою казною, в ясачные земли для сбора ясака, по вестям в проезжие станицы и на отъезжие караулы, всего посылается с триста человек и больше, в Красноярске остается во все лето только человек 50 и меньше, и у тех оружия нет и у половины, а в государевой казне нет ни одной пищали. От подгородных татар, качинцев, арынцев и ястынцев, которые кочуют под Красноярским, добра ждать нечего, потому что они киргизам и тубинцам в роду и в племени, сами у них женятся и дочерей своих за них выдают и мысль у них с ними одна».

Опасения Красноярского воеводы не сбылись, но зато в 1657 году пришла очередь томскому трепетать пред кочевниками. Сын Алтын-хана с 4000 войска напал нечаянно на киргизов, разбил их и заставил покориться себе, после чего царевич направился прямо на татар Томского уезда. Монгольский царевич поступал по примеру предков своих, завоевателей XIII века, всех молодых людей из киргизов и татар набирал в свое войско, которое оттого скоро удвоилось. Он уже заключил договор и с телеутским князьком, чтобы в одно время напасть на Томск, но весть о смерти старика отца заставила царевича возвратиться в свои степи. После того десять лет было мирно: воровал только изменник-киргизский князец Ереняк, но в 1667 году Красноярск должен был выдержать осаду от калмыцкого тайши Сенги, соединившегося с Ереняком. В калмыцкие улусы отправился из Томска сын боярский спросить тайшу: «Ты ли, Сенга-тайша, своих людей посылаешь, или они сами собою ходили под Красноярск?» Ответа не было, тайша про здоровье великого государя не спрашивал и царское жалованье, сукна и камки, принял не по достоинству, не честно. Ереняк не переставал рассылать по ясачным волостям стрелы с угрозами, что придет опять войною вместе с калмыками, если ясачные не будут платить своего ясака тайше Сенге. Калмыкам удалось утвердить свою власть над телеутами, но некоторые из последних отъехали в Томск. Сенга требовал их выдачи и очень сердился, когда этого требования не исполняли; он говорил посланцу томского воеводы: «Я у великих государей прошу своих людей, белых калмыков, по многие годы, и великие государи меня не жалуют, моих людей мне не отдают; и если вперед не отдадут, то из Томска ко мне послов не посылали бы, Томск я буду воевать». Томск, Енисейск,

Красноярск, Кузнецк были в постоянной тревоге, потому что кроме калмыков и киргизов поднялись тубинцы, алтырцы и особенно телеуты, не дававшие покою Кузнецку. Наконец, в 1674 году томский воевода князь Данила Борятинский получил указ соединить силы четырех городов и смирить войною изменников. Начали с телеутов – «и на всех боях государевых изменников побито было много».

И тобольские воеводы также должны были иметь дело с калмыками, которые прикочевали к реке Ишиму. Воеводы вошли в сношения с тайшею их Дундуком и уговорили его подклониться под высокую руку великого государя. Летом 1674 года к Дундуку поехал стрелецкий голова Аршинский для осмотра земель, занятых калмыками, и для истребования аманатов. Аршинский был встречен очень почетно, и дело шло как нельзя лучше, Дундук уверял в своей преданности великому государю. Уже девять дней прожил Аршинский в улусе, на десятый Дундук прислал звать его к себе: «Посоветуемся, как бы написать к великому государю грамоту поскладнее». В то время как подьячий писал грамоту, тайша разговаривал с Аршинским: «Посылаю я двоих своих людей с грамотою к великому государю в Москву; в прошлом году я также посылаю человека своего в челобитчиках в Тобольск и в Москву с служилым татаринном Аvezбакеем; этого человека моего из Тобольска в Москву не скоро отпустили, манили со дня на день, а дорогою Аvezбакей говорил ему, что сына моего выучат грамоте и крестят». Сказавши эти слова, Дундук закричал и велел своим калмыкам связать Аршинского и всех бывших при нем русских и ограбить их донага. «Правда моя идет вам от Аvezбакея, – объявил тайша Аршинскому, – впрочем, не бойся, до смерти не побьют». Между тем калмыки стали вьючиться и выступили в поход. Русских вели связанных. Перевезшись за Ишим, Дундук велел привести к себе Аршинского и сказал ему: «Взял я у тебя свое имение, а не твое и не твоих товарищей; вы ищите своего добра на Аvezбакее, потому что я дал ему двадцать лошадей и приказывал привезти из Москвы товару, а он ничего не привез и сам ко мне не приехал». Аршинский с 30 товарищами был отпущен в Тобольск пешком, но калмык смиловался, дал им с полпуда круп на дорогу.

Но в то время как старые русские поселения за Уральскими горами подвергались опасности от восстания туземцев, подкрепляемых калмыками, в то время, когда поднимались против русских людей старые подданные великого государя, башкирцы, черемисы, чуваша и мордва, – в то время русские люди в далеких пределах Северной Азии неумолимо искали новых земель для поселения, новых народцев, на которых бы можно было наложить ясак, новых торговых путей, и посольства великого государя являются перед Сыном Неба, в Срединной империи.

Утверждение русских людей в Восточной Сибири происходило с такими же ничтожными средствами, как и в Западной, и происходило при недостатке единства в действиях, ибо правительственный надзор по отдаленности был слаб. В конце царствования Михаила Феодоровича русские козацкие пятидесятники, сидевшие с своими козаками в Верхоленском Братском остроге, дрались с бурятами, заставляя их платить ясак великому государю, подкрепляя свои пять десятков небольшими толпами из промышленных и гулящих охочих людей. Но в то же время атаман Колесников, отправленный из Енисейска для проведывания «про Байкал-озеро и про серебряную руду», поставил острог на Ангаре и стал также требовать ясака с бурятов; те не давали на том основании, что они относят

ясак в Верхоленский острог, а Колесников, видя в отказе непокорность, стал их воевать и разорять. Буряты взволновались и начали действовать враждебно против русских. «Что это, – говорили они, – от одного государя приходят к нам двойные люди? Одни из Верхоленска берут с нас ясак на государя, а другие от того же государя приходят на нас войною, бьют, жен и детей в плен берут, скот и лошадей отгоняют: как же нам под государевою рукою быть?»

Как бы то ни было, теперь надобно было укрощать возмущившихся бурят силою, огненным боем. Раздраженные буряты не бегали от государевых ратных людей, выходили на бой человек по тысяче и больше, собираясь из многих родов, и отчаянная борьба продолжалась до 1655 года, когда наконец истощенные буряты принуждены были признать владычество пришельцев. Между тем Колесников, виновник бурятского восстания, действовал удачно на Байкале против тунгусов, которые обещали довести его до серебряной руды. В 1647 году Колесников возвратился в Енисейск и представил воеводам ясак, собранный с новых байкальских земель, меха ценою на тысячу рублей; кроме того, Колесников объявил, что посылал четырех из своих козаков с жожами-тунгусами для вестей о серебряной руде. Посланные были в Монгольской земле, где князек Турукой великому государю поклонился, обещаясь быть послушным с 20000 своих подданных; князек сказал, что золотая и серебряная руда подлинно есть и от него близко, у *Богдыцаря* (в Китае), и к нему, князьку, ее привозят; в доказательство он послал великому государю кусочек золота весом в четыре золотника да чашку и тарелку серебряные. На смену Колесникову пошли из Енисейска к Байкалу другие начальники отряда, другие сборщики ясака. В 1661 году основан был Иркутск.

Из Енисейска шли отряды русских ратных людей для занятия земель и подчинения инородцев по Ангаре, Байкалу, Витиму, Шилке, Селенге; из Якутска шли отряды на север к самому Ледовитому морю, на восток к Охотску, на юг к Амуру. Дикари Северо-Восточной Сибири так же неохотно сносили владычество пришельцев, как и дикари Западной, и восставали при первом удобном случае. В сороковых годах взволновались якуты около Якутска, но были укрощены сильными мерами воеводы Петра Головина. В 1645 году на крайнем севере, на реке Индигирке, встали юкагиры, князек Пелева с товарищами, убили русского служилого человека и выхватили своих аманатов, содержащихся в русском ясачном зимовье. Против них отправились из Якутска служилые люди Горелый и Катаев, погромили Пелеву, взяли новых аманатов. Но в 1650 году изменили алазейские юкагиры, убили двоих служилых людей, государеву казну пограбили, по промыслам торговых и промышленных людей многих побили. Катаев пошел против изменников из Алазейского ясачного зимовья вверх по реке Алазее и наконец отыскал юкагиров: живут в большом острожке человек с 200 больших мужиков, которые луком владеют, кроме подростков, олени все собраны в том же острожке. Русские поставили своих два острожка, один в 40, а другой в 20 сажнях от юкагирского. Началась стрельба с обеих сторон: где юкагиры ранят, там русские бьют до смерти; потом русские сделали шесть щитов, выкатили их и начали приготовляться идти за ними на юкагирский острожек. Дикари испугались, увидели, что им не отсидеться, и начали кричать: «Не убивайте нас, мы дадим аманатов и государев ясак станем платить, а теперь у нас соболей нет, этою осенью мы не промышляли, боялись вас, козаков, жили все в острожке». Русские остановились и взяли в аманаты лучших князьков.

Русские достигли уже и реки Колымы; стоявший на ней сын боярский Власьев в 1649 году отправил служилых и промышленных людей под начальством Никиты Семенова далее к северо-востоку, к верховьям реки Ануя, налагать ясак на непокорных еще инородцев. Они отыскивали дикарей, *погромили* их по обычному выражению, и пленники сказали, что за Камнем (за горами) есть новая река Анадыр и подошла она к вершине Ануя близко. Немедленно прибрались охочие промышленные люди и подали Власьеву челобитную отпустить их в те новые места, за ту захребетную реку Анадыр, для прииску вновь ясачных людей и приводу их под царскую высокую руку. Власьев отпустил их под предводительством Семена Моторы. У них явились соперники: служилый человек Стадухин, послыша речи дикарей, начал также собираться на Анадыр. Но еще прежде, летом 1648 года, служилый человек Семен Дежнев отправился из устья Колымы морем для открытия новых земель. «Носило меня, – пишет Дежнев, – по морю после Покрова богородицы всюду неволею и выбросило на берег в передний конец за Анадыр-реку, а было нас на коче всех двадцать пять человек, и пошли мы все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы, и шел я, бедный Семейка, с товарищи до Анадыра-реки ровно десять недель, и попали на Анадыр-реку внизу близко моря, и рыбы добыть не могли, лесу нет, и с голоду мы, бедные, врознь разбежались. Осталось нас от двадцати пяти человек всего двенадцать человек, и пошли мы в судах вверх по Анадыру-реке и шли до анаульских людей, взяли два человека за боем и ясак с них взяли». Тут Дежнев встретился с Семеном Моторою, который сухим путем достиг Анадыра, и пошли вместе. Но Стадухин идет следом за Дежневым и Моторою и громит тех дикарей, которые уже дали ясак Дежневу. Однажды в виду дикарей, сидевших в своем острожке, произошла любопытная сцена: между Дежневым и Стадухиным началась перебранка. «Ты делаешь негораздо, – говорил Дежнев Стадухину, – побиваешь иноземцев без разбора». «Это люди неясачные, – отвечал тот, – а если они ясачные, то ты ступай к ним, зови их вон из острожка и возьми с них государев ясак». Дежнев начал говорить дикарям, чтобы они выходили без боязни и дали ясак, и один из дикарей стал подавать из юрты соболи. У Стадухина разгорелись глаза на соболи, которые брал Дежнев, он бросился на него, вырвал из рук меха и стал бить по щекам. Дежнев после того почел за лучшее уйти как можно подальше от Стадухина. В 1652 году Дежнев с товарищами вышел из устья Анадыра в море на судах, главный промысел их тут состоял в битве моржей и в сборе моржового зуба. «Зверя вылегает очень много, – пишет Дежнев, – на самом мысу вокруг с морской стороны на полверсты и больше, а в гору сажень на тридцать и на сорок». Дежнев дошел до большого Каменного Носу: «А тот нос вышел в море гораздо далеко, живут на нем люди чукчи, много их очень, а против носу на островах живут люди, называют их зубатыми, потому что пронимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных». Но одним моржовым промыслом русские люди не могли заниматься в устье Анадыра, должны были также драться с коряками. «Мы на них ходили, – пишет Дежнев, – и нашли их четырнадцать юрт в крепком острожке; бог нам помог, тех людей разгромили всех, жен и детей у них взяли, но сами они ушли, а лучшие мужики увели и жен с детьми, потому что они люди многие, юрты у них большие, в одной юрте живет семей по десяти; а мы были люди невелики, всех нас было двенадцать человек». По вестям от Дежнева немедленно отправлен был из Якутска стрелецкий сотник утвердить власть

великого государя в новой земле и установить порядок в промыслах с соблюдением казенного интереса. Но в то время как прибирали к рукам новые земли, с трудом удерживали старые вследствие восстания дикарей – на реках Яне и Индигирке. В 1666 году ламуты осадили русский острожек на Индигирке, осажденные отбились, но дикари не платили целый год ясака. В начале следующего года ламуты, «собрав себе воровское великое собрание, приступили ночью к острожку и начали острожные стены, ясачное зимовье и острожные ворота рубить топорами, а иные приставили лестницы к стенам через амбары. Служилые и промышленные люди бой с ними поставили и убили у них лучших трех человек и многих переранили». Ламуты испугались, побросали свое оружие и ушли; гнаться за ними было нельзя, потому что служилых людей в острожке было только пять человек да промышленных десять, оружия, свинцу и пороху нет, да и взять негде.

Весною 1647 года отряд русских людей под начальством Семена Шелковника явился на реке Улье, впадающей в Охотское море, с устья Ульи морем переплыл к устью Охоты; но Охоту взять надобно им было с большого бою, разбить тунгусов, которых собралось больше 1000 человек. Русские поставили острожек, тунгусы осадили его, но на выручку к осажденным приспел другой русский отряд. На Охоте русским было много дела, потому что дикари уступали только с боя, умея собираться большими толпами. В 1654 году они сожгли Охотский острожек, освободили аманатов и разогнали русских людей, которые объявили, что «жить на Охоте от иноземцев не в силу». Появился новый отряд служилых людей из Якутска, и поднялся новый острожек; поставив его, русские начали наступательное движение на дикарей, взяли их острожек и захватили в аманаты главного заводчика восстаний, Комку Бояшинца; с этих пор тунгусы на Охоте и около Охоты пешие и оленные под государеву руку приклонились. Но в 1665 году опять новое волнение между охотскими тунгусами, пришли в острог ясачные люди, лучший человек Зелемей с товарищами, и извещали начальнику острога Федору Пушину: пришли на Охоту неясачные тунгусы и ясачных людей в шатость призывают, живут от острога в двух днищах пути и дожидаются посылки в Якутск с государевою казною, хотят служилых людей побить. Пушин, чтобы отворотить опасность, отправил 50 человек служилых и промышленных людей звать этих неясачных тунгусов в Охотский острог, велел призывать ласкою и приветом, а не жесточью. Но из этих посланных ни один не остался в живых, и погибли они от того самого Зелемей, который первый известил Пушина об опасности. Возмутился умом Зелемей со всеми ясачными иноземцами разных родов и побил русских тайком, залегши на дороге. Зелемей, говорят, держал такую речь к ясачным тунгусам: «Что вы, глупые люди, не разумеете и русских переводов не знаете, вы бы так же жили, как я, Зелемей, живу; самим вам известно, сколько я русских людей побил, а как над собою увижу какую немеру, то я к русским людям приклонюся, и до меня, в ваших глазах, русские люди лучше прежнего. Да русские люди нас обманывают, говорят нам и ждут к себе в Охотский острог на перемену по вся годы больших людей, и больших людей в острог не бывало; а пока большие люди не пришли, мы и остальных людей выкореним и аманатов своих выручим, а потом, в то время как русские люди на Охоту приходят, на дорогах заляжем и больших людей не пропустим. А как на Охоте русских людей изведем, то истребим всех русских на Мае и по иным рекам; а впредь, для

береженья и безопасности, призовем к себе богдойских людей (китайцев), потому что они от нас недалеко; ясак им станем платить небольшой, по своим долям, а не так, как теперь на нас спрашивают ясаков за прошлые годы, о которых мы многие челобитные великим государям писали, но льготы себе никакой не получили и указу о том никакого не бывало». Опасность для русских была тем больше, что в остроге осталось только 30 человек, старых, малых и *цынжалых* (больных цынгою), аманатов же было 60 человек, острог ветх. Но дело обошлось без большой беды: тунгусы никак не решались напасть на острог, пока там были их аманаты; они старались всякими способами обмануть русских и выманить аманатов, но понапрасну. Пущин велел схватить показавшихся под городом нескольких подозрительных тунгусов для допросу, дикари не дались даром в руки: двое русских было убито, но тунгусов побито пятеро и трое взято в плен; пленники повинились, что приходили служилых людей побить, острог взять и аманатов выручить, ибо видели, что в Охотске козаков мало и острог плох. Пленники были повешены, и Пущин тотчас же велел построить новые укрепления, поставить по стене для страха дикарям деревянные пушки и аманатскую избу выстроить новую. Эти меры произвели желанное действие: тунгусы явились с повинною, извиняясь, что своровали, не стерпя обид от служилых людей.

Прежде Анадыра и Охоты из того же Якутска открыта была великая река Амур.

Еще при царе Михаиле начали носиться слухи, что на реке Шилке сидят многие пахотные хлебные люди и живет князек Лавкай, у которого на устье реки Уры в двух местах серебряная руда: одна в утесе, а другая в воде, да на той же реке Шилке внизу медная и свинцовая руда, а хлеба всякого много. По этим вестям якутский воевода Головин в 1643 году отправил письменного голову Василья Пояркова на реки Зию и Шилку для государева ясачного сбора, для прииску вновь неясачных людей, серебряной, медной и свинцовой руды и для хлеба. С Поярковым отправилось 133 человека. Плыли они из Якутска Леною вниз, потом Алданом вверх и из притоков Алдана волоком в притоки Зии, впадающей в Амур. От устья Зии Поярков поплыл вниз по Амуру, представляя себе, что плывет по Шилке; Амур же, по его словам, начался с устья Шингала. Поярков достиг устья Амура и тут зимовал, а летом пошел на судах морем к устью Ульи-реки, из Ульи волоком переправился в Маю, приток Алдана, которым и Леною возвратился в Якутск, привезши богатый ясак соболями, но потерявши человек 80 из своего отряда: из них 25 человек было убито дучерами на Амуре, другие умерли в дороге от недостатка в пище. Поярков указал якутским воеводам места по Зии и Шилке (т.е. Амуру) и по их притокам, где, по его мнению, надобно было поставить острожки. «Там, – говорил Поярков, – в походы ходить и пашенных хлебных сидячих людей под царскую высокую руку привести можно, и в вечном холопстве укрепить, и ясак с них собирать, в том государю будет многая прибыль, потому что те земли людны и хлебны и собольны, и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны, и государевым ратным людям хлебной скудости ни в чем не будет».

Вместе с пышными рассказами Пояркова о Пегой Орде (как называли приамурские страны) слышались страшные рассказы спутников его о поведении самого Пояркова во время похода. «Служилых людей он бил и мучил напрасно и,



пограбя у них хлебные запасы, из острожка их вон выбил, а велел им идти есть убитых иноземцев, и служилые люди, не желая напрасною смертью помереть, съели многих мертвых иноземцев и служилых людей, которые с голоду померли, приели человек с пятьдесят; иных Поярков своими руками прибил до смерти, приговаривая: „Не дороги они, служилые люди! Десятнику цена десять денег, а рядовому два гроша“. Когда он плыл по реке Зие, то жители тамошние его к берегу не припускали, называя русских людей погаными людоедами. Когда весною в устье Амура снег с лугов сошел и трава обтаяла, то остальные служилые люди начали корень травной копать и тем кормиться, но Поярков велел своему человеку выжечь луга, чтобы служилые люди покупали у него запас дорогою ценою».

Как бы то ни было, рассказы Пояркова о богатстве приамурских стран не могли быть забыты: в 1649 году старый *опытовщик* Ярко (Ерофей) Павлович Хабаров подал якутскому воеводе челобитную, объявил, что пойдет на Амур, поведет семьдесят человек служилых и промышленных людей и будет содержать их на свой счет, снабдит деньгами, хлебными запасами, судами, ружьем, зельем и свинцом. Воевода согласился, и Хабаров пошел, только новым путем, рекою Олекмою, притоком Лены, и потом Тугирем, притоком Олекмы, из Тугиря волоком в реку Урку, приток Амура. Здесь были улусы уже известного Лавкая-князя; но улусы пусты и город пуст, а город большой, с пятью башнями, глубокими рвами, подлазами подо все башни и тайниками к водам, в городе светлицы каменные, окна большие, окончины бумажные. Хабаров пошел от реки Урки вниз по Амуру, дошел до другого города, а тот пуст! Пошел дальше вниз по Амуру, стоит третий город, и опять пустой! Хабаров остановился отдохнуть в пустом городе, расставил караулы, и в тот же день караульщики дали знать, что приехало пять человек иноземцев. Хабаров послал толмача спросить: что за люди? Один старик объявил, что он князь Лавкай с двумя братьями, зятем и холопом, и спросил в свою очередь, какие вы люди и откуда пришли? «Мы пришли к вам торговать и привезли подарков много», – отвечал толмач. «Что ты обманываешь! – сказал на это Лавкай. – Мы вас, козаков, знаем; прежде вас был у нас козак Квашнин и сказал про вас, что идет вас пятьсот человек, а за вами идет еще много людей, хотите всех нас побить и имение наше пограбить, жен и детей в полон взять: поэтому мы и разбежались». Хабаров велел толмачу уговаривать Лавкай, чтобы давал ясак великому государю; Лавкаевы братья и зять говорили, что за ясак стоять не за что, но Лавкай сказал, что еще посмотрим, каковы люди? С этим князьки отправились и больше не возвращались. Хабаров пошел за ними, нашел четвертый и пятый город – все пустые. Дальше Хабаров не пошел, возвратился в первый город, оставил тут часть ратных людей, а сам возвратился в Якутск (в мае 1650 года) с донесением, что по славной великой реке Амуру живут даурские люди, пахотные и скотные, и в той великой реке всякой рыбы много против Волги, по берегам луга великие и пашни, леса темные большие, соболя и всякого зверя много, государю казна будет великая. Хлеб в поле родится, ячмень и овес, просо, горох, гречиха и семя конопляное; если даурские князьки государю покорятся, то прибыль будет большая, в Якутский острог хлеба присылать будет ненадобно, потому что из Лавкаева города с Амура-реки через волок на Тугирь-реку в новый острожек, что поставил он. Хабаров, переходу только со сто верст, а из Тугирского острожка вниз Тугирем, Олекмою и Леною до Якутска

*поплаву* только две недели. Даурская земля будет прибыльнее Лены, да и против всей Сибири будет место украшено и изобильно.

Рассказы Хабарова произвели то действие, что около него тотчас же собралось 170 человек охотников, якутский воевода дал ему двадцать козаков, и Хабаров в том же 1650 году отправился на Амур, взяв с собою три пушки. На этот раз он нашел здесь не пустые городки: дауры решились не пускать пришельцев селиться между ними и брать ясак. Не доходя до одного из Лавкаевых городков (Албазина), Хабаров встретил дауров в поле, бился с ними с полудня до вечера, прогнал, но у русских оказалось 20 человек ранеными. Дауры бросили Албазин, который и был занят русскими. Князек Гугудар из тройного городка своего дал отчаянный отпор русским; на требование ясака для великого государя Гугудар отвечал: «Даем мы ясак богдойскому (китайскому) царю, а вам какой ясак у нас? Хотите ясака, что мы бросаем последним своим ребятам?» «И настреляли дауры, – пишет Хабаров, – из города к нам на поле стрел, как нива стоит насеяна. И те свирепые дауры не могли стоять против государственной грозы и нашего бою». Хабаров взял городок, положивши на месте больше 600 неприятелей. Русских было убито четверо да сорок пять ранено. В других местах по всей Сибири русские привыкли к тому, что как скоро попадут им в руки аманаты-родоначальники, князьки, то уже весь род и покоряется, платит ясак. Но у дауров было иначе; Хабарову удалось захватить нечаянно один даурский улус, привести улусников к шерти и взять князей их в аманаты; но скоро ему дали знать, что улусники бегут; Хабаров к аманатам: «Зачем государю изменили и людей своих прочь отослали?» «Мы не отсылали, – был ответ, – мы сидим у вас, а у них своя дума; чем нам всем помереть, так лучше мы помрем за свою землю одни, когда уж к вам в руки попали». Для зимовки Хабаров построил Ачанский городок, в котором был осажден дучерами и ачанцами; русским небольшого труда стоило отразить этих дикарей; но весною 1652 года явился неприятель другого рода: то было манжурское войско, присланное по приказанию наместника китайского богдыхана. Манжуры пришли под Ачанский городок с пушками и винтовками; но русские ратные люди и русские пушки оказались лучше в этой первой встрече. Пусть сам Хабаров расскажет нам про битву: «Марта в 24-й день, на утренней зоре, сверх Амура-реки славная ударила сила из прикрыта на город Ачанский, на нас, козаков, сила богдойская, все люди конные и кучачные (панцырные), и наш козачий есаул закричал в город Андрей Иванов служилый человек: братцы-козаки, ставайте наскоре и оболокайтесь в кукяки крепкие! И метались козаки на город в единых рубашках на стену городовую, и мы, козаки, чаяли, из пушек, из оружия бьют козаки из города; ажно бьют из оружия и из пушек по нашему городу козачью войско богдойское. И мы, козаки, с ними, богдойскими людьми, войском их, дрались из-за стены с зори и до схода солнца; и то войско богдойское на юрты козачьи пометалось, и не дадут нам, козакам, в те поры пройти через город, а богдойские люди знаменами стену городовую укрывали, у того нашего города вырубали они три звена стены сверху до земли; и из того их великого войска богдойского кличет князь Исинея царя богдойского и все войско богдойское: не жгите и не рубите козаков, емлите их, козаков, живьем; и толмачи наши те речи князя Исинея слышали и мне, Ярофийку, сказали; и услыша те речи у князя Исинея, оболокали мы, козаки, все на ся кукяки, и яз, Ярофейко, и служилые люди и вольные козаки, помолясь Спасу и пречистой владычице нашей Богородице и

угоднику Христову Николаю чудотворцу, промеж собою прощались и говорили то слово яз, Ярофейко, и есаул Андрей Иванов, и все наше войско козачье: умрем мы, братцы-козаки, за веру крещеную, и постоим за дом Спаса и пречистые и Николы чудотворца, и порадеем мы, козаки, государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Руси, и помрем мы, козаки, все за один человек против государева недруга, а живы мы, козаки, в руки им, богдойским людям, не дадимся. И в те стены проломные стали скакать те люди Богдоевы, и мы, козаки, прикатили тут на городовое проломное место пушку большую медную, и почали из пушки по богдойскому войску бити и из мелкого оружия учили стрелять из города, и из иных пушек железных бити ж стали по них, богдойских людях: тут и богдойских людей и силу их всю, божиею милостию и государским счастьем и нашим радением, их, собак, побили многих. И как они, богдои, от того нашего пушечного боя и от пролomu отшатились прочь, и в та пору выходили служилые и вольные охочие козаки, сто пятьдесят шесть человек, в куюках на вылазку богдойским людям за город, а пятьдесят человек осталось в городе, и как мы к ним, богдоям, на вылазку вышли из города, и у них, богдоев, тут под городом приведены были две пушки железные. И божиею милостию и государским счастьем те две пушки мы, козаки, у них, богдойских людей, и у войска отшибли, и у которых у них, богдойских людей, у лучших воитинов огненно оружие было, и тех людей мы побили и оружие у них взяли. И нападе на них, богдоев, страх великий, покажись им сила наша несчетная, и все достальные богдоевы люди от города и от нашего бою побежали врознь. И круг того Ачанского города смекали мы, что побито? Богдоевых людей и силы их шестьсот семьдесят шесть человек наповал, а наши силы козачьи от них легло, от богдоев, десять человек да переранили нас, козаков, на той драке семдесят восьм человек».

Хабаров писал поэтическим складом; но думал, как видно, прозаически, рассчитал, что нельзя надеяться, чтобы могущественный богдойский царь позволил козакам распоряжаться в своих владениях, и нельзя надеяться на вторую победу, если под Ачанский город придет богдойское войско более многочисленное. Еще не прошел месяц после нападения богдойских людей, как уже Хабаров с товарищами плыли вверх по Амуру. Прибрежные жители оказывали прежнее нерасположение, ясак можно было собирать только силою; захваченные в плен туземцы извещали о враждебных замыслах, о новых опасностях. «Наши люди, – объявляли они, – не хотят вам ясаку давать, хотят с вами драться, говорят: где они станут зимовать и город поставят, там мы соберем войска тысяч десять или больше и их давом задавим». На дороге Хабаров встретил отряд козаков, посланный к нему на помощь из Якутска; но этот ничтожный отряд, привезший одну пушку, не давал Хабарову возможности возвратиться вниз, где, по его выражению, вся земля была в скопе, 1 августа на устье реки Зии Хабаров вышел на берег и стал говорить своим козакам: где бы нам город поставить? «Где будет годно и где бы государю прибыль учинить, тут и город станем делать», – был ответ. Но не все так отвечали: человек со сто козаков замыслили другое, «порадели своим зипунам и нажиткам». Они отвалили на трех судах от берега, а на судах была государева казна, пушки, свинец, порох и куюки; одну пушку воры бросили прямо с судна на берег, а другую в воду; часть остальной казны побросали также в воду, часть взяли с собою, захватили неволею с тридцать вольных козаков, но двое из них, не желая плыть с ворами,

побросались с судна в воду в одних рубашках. Воры поплыли вниз по Амуру в числе ста тридцати шести человек и начали громить прибрежных иноземцев. С Хабаровым осталось 212 человек; он шесть недель простоял на устье Зии, призывал иноземцев, которых аманаты уже давно были у него в руках; но иноземцы близко не ехали. «Вы все обманываете, – говорили они, – и теперь ваши люди поплыли вниз и нашу землю громят». Хабаров послал четверых казаков в Якутск донести тамошним воеводам, что воры государственной службе поруху учинили, иноверцев отогнали и землю смяли; что с оставшимися у него людьми землю овладеть нельзя, потому что земля многолюдная и бой огненный, и сойти с Амура без государева указа не смеет.

Ответ пришел не ранее 1653 года. На Амур приехал дворянин Зиновьев с государевым жалованьем, золотыми Хабарову и его товарищам. Хабаров, сдавши ясак Зиновьеву, отправился вместе с ним в Москву, а «приказным человеком великой реки Амура новой Даурской земли» оставлен Онуфрий Степанов. Степанов принял начальство неохотно, потому что последние похождения Хабарова не могли представить ему будущее на Амуре в привлекательном виде. В сентябре, посоветовавшись с войском, поплыл он вниз по Амуру, потому что наверху ни хлеба, ни лесу не было. Хлеб был найден на берегах реки Шингала (приток Амура с юга), откуда Степанов поплыл далее вниз по Амуру и зимовал в стране дучеров, собирая с них ясак. Летом 1654 года он опять отправился в Шингал за хлебом и бежал три дня вверх по реке благополучно, но 6 июня встретил богдойскую большую силу ратную со всяким огненным стройным боем, конную и струговую. Несмотря на пушечную пальбу богдойцев по русским судам, козаки выбили неприятеля из стругов на берег; но на берегу богдойцы стали в крепком месте и начали драться из-за валов. Русские приступили было к этим укреплениям, но были отбиты и принуждены были без хлеба выплывать на Амур и бежать вверх по великой реке. Пленники рассказали печальные вести: богдойский царь послал 3000 войска, велел ему три года стоять на устье Шингала в Амур, не пускать русских людей. По Амуру хлеба достать было негде, потому что тот же богдойский царь запретил прибрежным иноземцам сеять хлеб и велел всем им переселиться поближе к себе, на реку Наун, берущую исток к югу от Амура.

Уйдя из Шингала, Степанов укрепился на устье реки Камары (впадающей в Амур с юга); но 13 марта 1655 года 10000 богдойского войска явилось под острожком и начали пускать огненные заряды на стрелах, чтоб зажечь острожек, а 24 марта пошли на приступ со всех четырех сторон, везли телеги, на телегах щиты деревянные, обитые кожею, везли лестницы, на одном конце которых были колеса, а на другом гвозди железные и палки, везли дрова, смолу, солому, багры железные и всякие приступные мудрости, но приступ был отбит, и приступные мудрости попались в руки козакам. После этой неудачи богдойцы оставались под острожком до 4 апреля, били по нем из пушек день и ночь, но, видя, что ничего сделать нельзя, ушли.

Это поражение китайского войска под Камарским острожком очистило Степанову Амур и Шингал, куда он опять стал пробираться за хлебом; но в 1656 году пришел указ богдойского царя – свести всех дучеров с Амура и Шингала; Степанов пришел было за ясаком и за хлебом – и не нашел никого и ничего!

«Теперь, – писал Степанов в Якутск, – все в войске оголодали и оскудали, питаемся травой и кореньем и ждем государева указа».

Сильные препятствия, встреченные русскими людьми со стороны богдойских людей, заставляли попытаться, нельзя ли войти в мирные сношения с могущественным царем богдойским. В 1654 году в первый раз отправлен был из Тобольска в Китай сын боярский Федор Байков для присматривания в торгах и товарах и в прочих тамошних поведениях. От реки Иртыша, от впадения в нее Белых вод до Китайского царства шел Байков калмыками и монголами, все меж камня (гор), землю, которая кормом и водою скудна. Китайскою землю до первого китайского города, Кококотана, шел два месяца. Между монгольскими тайшами простой бывали дней по десяти, недели по две, по три и по месяцу для кормов и безводных мест. От первого города, Кококотана, до заставного города Капки ходу 12 дней; между этими городами живут мугальские тайши кочевые, служат китайскому царю. Из Капки посол пошел к царю в город Канбалык (Пекин) на своих лошадях и верблюдах, корму и подвод не дали, шел семь дней и на этой дороге видел 18 городов, города кирпичные, а иные глиняные, через реки поделаны мосты из дикого камня очень затейливо. Канбалыка Байков достиг только в марте 1656 года. В полверсте от города посла встретили двое царских ближних людей и потчивали чаем, вареным с маслом и молоком; посол отказался пить, потому что был Великий пост. «По крайней мере возьми чашку», – сказали ближние люди: посол взял чашку и, подержав, отдал назад. Посла поставили в доме, в котором было всего две комнаты, потом перевели в другой, более обширный. На другой день приехали царевы ближние люди и сказали, что царь Богда велел взять у него подарки, присланные ему государем. «Везде такой обычай, – сказал Байков, – что посол сам подает государю любительную грамоту и потом уже подарки». «У вашего государя такой чин, а у нашего свой, – отвечали ближние люди. – Царь царю ни в чем не указывает» – и взяли силою подарки. Через день после этого ближние люди прислали сказать послу, чтобы с царскою грамотою ехал к ним в приказ. Байков отказал: «Прислан я к царю Богде, а не к приказным ближним людям». «Царь тебя велит казнить за то, что ты его указа не слушаешь», – велели сказать ближние люди. «Хотя бы царь велел по составам меня рознять, а все же в приказ не пойду и государевой грамоты вам не отдам», – отвечал Байков. В знак царского гнева за это упрямство послу возвратили подарки, и этим все дело кончилось; Байков возвратился только с рассказами об удивительной стране, впервые виденной русским человеком.

Видя, что посольство принято нелюбовно, царь не делал второй попытки. Враждебные действия со стороны китайцев не прекращались: в 1658 году, 30 июня, китайское войско на сорока семи бусах напало на Онуфрия Степанова, плывшего по Амуру ниже Шингала; русские потерпели совершенное поражение: Степанов погиб вместе с двумястами семидесятью козаками, двести двадцать семь человек спаслось берегом и на одном судне, но государева ясачная соболиная казна досталась в руки китайцам. Козачьи походы на Амур из Якутска кончились несчастно; но еще задолго до гибели Степанова сделано было распоряжение укрепиться на Шилке и в верхних частях Амура и оттуда уже действовать по возможности далее вниз по великой реке. С этою целью енисейский воевода Афанасий Пашков возобновил покинутые городки: Нерчинск при устье реки Нерчи в Шилку и Албазин на Амуре. И здесь не обошлось без столкновений с

китайцами: албазинские козаки стали брать ясак с народцев, которых богдыхан считал своими подданными, и некоторые из иноземцев, недовольные китайцами, переходили в русское подданство. В 1667 году пришел из китайских владений в Нерчинск под государеву высокую руку тунгусский князек Гантемир с детьми, и братьями, и улусными людьми, всего сорок человек, обещаясь платить ясак по три соболя с человека; Гантемир ушел с досады, что проиграл тяжбу по несправедливости китайского, суда. Правитель китайский, живший на Шингале, проведаль, куда ушел Гантемир, и в 1670 году прислал грамоту нерчинскому воеводе Аршинскому: «Вы бы послали к нам послов своих, чтобы нам переговорить с очей на очи, и с которого мужика брать ясак по соболю или по два, за это нам с великим государем ссориться не для чего. Но вы подумайте: кто платит великому государю ясак и сбежит, то разве вы не ищите его по десяти, по двадцати и по сту лет?» Аршинский отправил четырех козаков прямо в Пекин к богдыхану с предложением беспрепятственной торговли между обоими государствами и союза. Козаки возвратились в Нерчинск очень довольные приемом и привезли грамоту богдыханову к царю: «Были мои промышленные люди на Шилке-реке и, возвратясь, сказали мне: по Шилке, в Албазине, живут русские люди и воюют наших украинских людей. Я, богдыхан, хотел послать на русских людей войною; и мне сказали, что там живут твои, великого государя, люди, и я воевать не велел, а послал проведать, впрямь ли в Нерчинском остроге живут твои, великого государя, люди? Воевода нерчинский по твоему указу присылал ко мне послов и письмо, и я теперь узнал, что впрямь в Нерчинском остроге воевода и служилые люди живут по твоему, великого государя, указу. И впредь бы наших украинских земель не воевали и худа никакого не делали, а что на этом слове положено, станем жить в миру и в радости». Эта грамота дала повод к новому посольству из Москвы в Пекин.

В начале 1675 года отправился в Китай послом переводчик Посольского приказа грек Николай Гаврилович Спафари, который выбрал другую дорогу, чем Байков, ехал на Енисейск и Нерчинск, и только 15 мая 1676 года добрался до царствующего града Пежина (Пекина). И Спафари было объявлено, что богдыхан Канхи (второй из манжурской династии) царской грамоты у него не примет. «Какие гордые обычаи, против права всех народов! – говорил Спафари китайцам. – Это чудо. все удивляются, отчего у вас так началось, что послов перед хана берут, а грамоты государской не берут?» Ему объяснили начало обычая: «В старых годах из некоторого государства был у нас посол, даров с собою привез очень много и словесно объявил всякую дружбу и любовь. Наш богдыхан, обрадовавшись, тотчас велел посла и с грамотою взять перед себя; но как начали читать грамоту, оказалось в ней большое бесчестье богдыхану, да и сам посол начал говорить непристойные речи. С тех пор постановлено: брать прежде грамоту у посла и прочитывать, и, смотря по грамоте, богдыхан принимает посла или не принимает. Этого обычая и сам хан переставить не может; только из дружбы к царскому величеству велел он, не по обычаю, взять у тебя грамоту двум ближним людям, а чтобы тебя самого принять с грамотою, об этом и не думай!» Спафари отвечал, что не отдаст грамоты в приказе.

После этого разговора приехали к Спафари два мандарина и привезли с собою старца католика, иезуитского чину, именем Фердинанд Вербияст, родом из испанских Нидерландов. Иезуит был переводчиком, потому что Спафари умел

говорить по-латыни. После новых долгих споров о приеме грамоты Спафари продиктовал иезуиту по-латыни список царской грамоты, чтобы китайцы знали, что в ней нет ничего бесчестного для их богдыхана. Иезуит между прочим говорил посланнику: «Рад я царскому величеству для христианской веры служить и о всяких делах радеть; только жаль мне, что от такого славного государя пришло посольство, а китайцы – варвары и никакому послу чести не дают; подарки, которые присылаются к ним от других государей, называют и пишут данью и в грамотах своих отвечают, будто господин к слуге; говорят, что все люди на свете видят одним глазом и только они, китайцы, двумя». Иезуит заклинал Спафари пред образом, чтобы этих речей никому не говорил и не писал, пока не выедет из Китая, потому что иностранцы многие нужды здесь терпят для Христа и теперь в подозрении; обещал прислать посланнику латинскую книгу, где описаны обычаи китайские и прием послов.

Список с грамоты не помог: мандарины объявили, что поверят только подлинной грамоте и печати, когда их увидят в своих руках: «Как на голове волосы выросли и стала седина, то их переменить нельзя: так и обычая нашего переменить нельзя; примут грамоту два ближних человека, которые у богдыхана, как два плеча в теле, а богдыхан голова». Пограничный воевода, сносившийся с Нерчинском, говорил Спафари: «В прошлых годах, как был здесь Байков, в то время ходили козаки по Амуру и наших людей разорили; мы говорили Байкову: ты ходишь с посольством, а козаки воюют! Байков нам отвечал, что козаки – воры и воюют без царского указа, и этих воров войско богдыханово всех побил. После того подданный богдыхана тунгус Гантемир с своими людьми убежал в Нерчинск. Тогда богдыхан приказал мне, чтобы я взял 6000 войска и 10 пушек и шел бы в поход на воров и на Гантемира. Я пошел с войском, но наперед отпустил к Гантемиру даурского мужика проведать, к каким людям тот ушел? Но Гантемир схватил мужика и отвел к нерчинскому воеводе. Тот вместе с Гантемиром сказал мужику, что они не воры, а люди великого государя, Белого царя, и по указу его сделали две крепости в Нерчинске и Албазине, что великий государь желает жить в дружбе и любви с богдыхановым величеством и чтоб торг между обоими государствами производился. Этот даурский мужик встретил меня, когда я был с войском за два дни пути от Нерчинска. Услышав, что в Нерчинске не воры, а Белого царя люди и отпустили моего человека назад с дружбою, я доложил богдыхану, что лучше с такими людьми поступать дружески, нежели войною; богдыхан велел мне послать в Нерчинск и взять оттуда служилых людей, потому что хотел писать грамоту к царскому величеству для подлинного проведывания. Кроме того, все, кто был здесь из России с торгом после Байкова, Сеиткул, Тарутин и другие, говорили, что с ними есть государевы грамоты, а после, как пустили их в Китай, и с ними никаких грамот не оказалось. Они нас обманули, а потому и тебе теперь не верим, не видя подлинной государевой грамоты». Воевода утверждал, что богдыхану и не докладывали о нарушении старого обычая, чтобы он принял из рук посланника грамоту: так обычай этот свят; а иезуит уверял, что воевода лжет, богдыхану уже трижды докладывали, и он велел приискивать в старых книгах, не было ли подобного примера? Богдыхан не прочь от того, чтобы принять грамоту; но ближние люди упорно отстаивают старый обычай, боясь, что окрестные государи станут говорить, что сделали это из страха пред русским государем. Сверх того, и списку грамоты не верят, потому что они в грамоте своей

к царю писали с повелением, как господин к меньшому, и боятся, чтобы не было за то угроз в царской грамоте. Чтоб не подать подозрения, иезуит говорил это, смотря на чертеж, как будто бы читал вслух.

Во все это время стояли страшные жары; половина служилых людей, приехавших с посланником, были больны от жаров и от дурной воды; ворота посольского дома были заперты, и никого за них не пускали, съестное караульщики продавали тройною ценою.

Наконец приступили к сделкам и согласились, что посланник привезет грамоты не в приказ, а во дворец, где заседают в думе ближние люди, положит грамоты на богдыханское место, и двое ближних людей понесут их немедленно к богдыхану. После этой церемонии посланник был на поклоне у богдыхана. Спафари кланялся скоро и не до земли; мандарины говорили ему, чтобы кланялся до земли и не скоро, как они кланялись. «Вы холопы богдыхановы, – отвечал посланник, – и умеете кланяться; а мы богдыхану не холопы, кланяемся, как знаем». После тройных поклонов мандарины сказали Спафари, чтобы шел скоро к богдыхану, ибо у них такой обычай: когда хан зовет, то они идут бегом. «Мне бежать не за обычай», – отвечал посланник и шел потихоньку. Пришедши перед богдыханом, Спафари поклонился один раз в землю и сел на подушку; от богдыханского места до места, где сидел посланник, было сажень с 8. Ханское место вышиною от земли с сажень, осьмиугольное, деревянное, позолоченное, вход на него тремя позолоченными же лестницами. Богдыхан – человек молодой, лицом *шедроват*, говорили, что ему 23 года. В палате по обеим сторонам, на земле, на белых войлоках сидели братья и племянники богдыхана. Когда посланник пришел, начали разносить чай родным богдыхана и всем ближним людям, разносили в больших желтых деревянных чашках, чай был татарский, а не китайский, варенный с маслом и молоком, музыка играла умильно, и человек что-то громко кричал. После чаю музыка и крики прекратились, все встали, богдыхан сошел с своего места и отправился в задние палаты.

Спафари был очень оскорблен тем, что Сын Неба не обратил на него никакого внимания; вельможи утешали посланника тем, что со временем он в другой раз увидит богдыхана, который тогда вступит с ним в разговор. Действительно, спустя долгое время русское посольство снова было позвано во дворец. Поклонившись десять раз, посланник и свита его уселись на подушках против богдыхана; явились два иезуита и стали на колени; богдыхан говорил им потихоньку; когда кончил, иезуиты подошли к посланнику, велели ему стать на колени и сказали: «Великий самодержец всего Китайского государства хан спрашивает: великий государь, всея России самодержец, Белый царь в добром ли здоровье?» Спафари отвечал: «Как мы поехали от великого государя, то оставили его в добром здравии и счастливом государствовании; и желает великий государь богдыханову величеству также долголетнего здравия и благополучного государствования, как наилюбезнейшему соседу и другу». Опять иезуиты-толмачи отправились к престолу и возвратились с новыми вопросами: «Богдыханово величество предлагает три вопроса: царское величество скольких лет, какого возраста и сколь давно начал царствовать?» «Великий государь, – отвечал Спафари, – лет пятидесяти, возраста совершенного и преукрашен всякими добродетелями, как царствовать начал, тому больше тридцати лет». Следовали вопросы о самом посланнике: «Сколько тебе лет? Слышал богдыхан, что ты



человек ученый, и велел спросить, учился ли ты философии, математике и триугольномерию?» Богдыхан спрашивал об этом потому, что сам учился у иезуитов триугольномерию и звездословию. После этих расспросов принесли столы со сластями: яблоки персидские и *комфети* разные, арбузы, дыни; потом принесли вино виноградное, самое доброе, вроде доброго ренского, делают его иезуиты для богдыхана каждый год; вином угощали только посланника и его свиту, а вельможи китайские пили чай.

Все лето прожил Спафари в Пекине. Посланник и его свита привезли много товаров, казенных и своих, для продажи и мены на товары китайские; но торговля шла плохо: камки, атласы и бархаты продавались в одной лавке, в других лавках русским ничего не продавали, потому что вельможи, толмачи и купцы сговорились, по какой цене покупать русские товары и по какой продавать свои. В конце лета начали толковать об отпуске: Спафари требовал, чтобы ему дали на латинском языке список с богдыхановой грамоты к государю, дабы знать, нет ли в ней какого жестокого слова, и объявил, что без грамоты не поедет. На это ему объявили следующие китайские обычаи: 1) всякий посол, приходящий к нам в Китай, должен говорить такие речи, что пришел он от нижнего и смиренного места и восходит к высокому престолу; 2) подарки, привезенные к богдыхану от какого бы то ни было государя, называем мы в докладе данью; 3) подарки, посылаемые богдыханом другим государям, называются жалованьем за службу; те же самые выражения употребляет богдыхан и в грамотах своих к другим государям. «Ты не дивись, что у нас обычай такой, – говорили вельможи посланнику, – как один бог на небе, так один бог наш земной, богдыхан, стоит он среди земли, в середине между всеми государями, эта честь никогда у нас не была и никогда не будет изменена. Доложи царскому величеству словесно три дела: 1) чтобы выдал Гантемира; 2) если вперед придет сюда посланника, то чтобы наказал ему ни в чем не сопротивляться, что ему ни прикажем; 3) чтобы запретил своим людям, живущим на рубежах наших, обижать наших людей. Если царское величество эти три статьи исполнит, то и богдыхан исполнит его желания, в противном случае чтобы никто от вас, из России и из порубежных мест, к нам, в Китай, с торгом и ни с какими делами не приходил».

С этим Спафари и был отправлен, без грамоты богдыхановой, ибо не согласился видеть в ней оскорбительные для чести царской выражения, предложенные китайцами. Посланник вывез о последних самые невыгодные понятия: «В торгу таких лукавых людей на всем свете нет, и нигде не найдешь таких воров: если не побережешься, то и пуговицы у платья обрежут, мошенников пропасть!» Иезуиты, недовольные богдыханом Канхи, жаловались на его непостоянство, неспособность к правлению, в печальном виде представляли положение Китая, обуреваемого мятежами. Вообще иезуиты были очень откровенны и ласковы с русским посланником; между прочим они просили у него в свою церковь иконы для вечного воспоминания. «А мы, – говорили иезуиты, – станем молить бога за царское величество, потому что приходящие в Китай русские люди всегда ходят к нам в костел; но, не видя русской иконы, не верят нам, думают, что мы идолопоклонники, а не католики». Спафари дал им икону Михаила Архангела в серебряном вызолоченном окладе и два подсвечника пред икону.

Посольство Спафари в Китай было одним из последних дел знаменитого тридцатилетнего царствования Алексея Михайловича. Издание Уложения, присоединение Малороссии, подвиги русских людей в Северной Азии, расширение дипломатических сношений от Западного океана до Восточного, от Мадрида до Пекина, Никоново дело, раскол, Разинское и Соловецкое возмущения – вот крупные явления, которые должны оправдать употребленное нами выражение *знаменитое* царствование. Но знаменитость была дорого куплена; Алексей Михайлович получил от отца тяжелое наследство. Царствование Михаила Феодоровича с первого взгляда является временем успокоения Московского государства от смут внутренних и войн внешних; козаки не вооружались более против государства, с Польшею и Швециею заключен был *вечный* мир. Но тишина была перед бурей. Привычки, приобретенные низшими частями городского народонаселения в Смутное время, далеко не искоренились в царствование Михаила. Козаки принуждены были оставить пределы государства, царики, ими выставляемые, самозванцы отыграли свою роль; но козачество нисколько не было ослаблено у себя в степях, продолжало пользоваться сочувствием украинского народонаселения, сохранять связь с ним: стоило только запереться выходу в море из Дона и явиться предприимчивому вождю, как оно опрокидывалось на государство, увлекая за собою массы низшего народонаселения. Варварские народцы в областях прежних царств – Казанского, Астраханского и Сибирского – также ждали первого случая, чтоб восстать против русского царства, и не переставали поддерживать связи с Крымом и Турциею, все ожидая, что господство мусульманства восстановится на берегах Волги. Даже бедные жители тундр Северной Сибири не теряли надежды восстановить свою независимость под знаменами туземных вождей. *Вечные* миры с Польшею и Швециею были тяжки; нельзя было забыть о Смоленске: честь новой династии требовала возвращения русских областей, уступленных начальником династии. Но разумеется, преемник Михаила мог отдалить войну на неопределенное время, собраться с силами. Обстоятельства не дали возможности откладывать: еще царю Михаилу предложено было взять Малороссию под свою высокую руку для избавления ее от латинского гонения; козацкие движения не прекращались и происходили под знаменем веры и русской народности. Сыну Михаилу повторено было предложение принять Малороссию, но с угрозою в случае несогласия поддаться туркам. Война с Польшею оказалась неизбежною.

Какие же средства имел царь Алексей для этой западной войны, которая уже три раза оканчивалась несчастьем? Мы видели, что во второй половине XVI века силы Московского государства, победоносного на востоке, покорившего там себе целые царства, оказались несостоятельными при столкновении с западом. Воплем отчаяния, что у государства нет средств содержать войско, необходимое для отпора страшным врагам, воплем отчаяния оканчивается царствование Иоанна IV, и таким же воплем начинается царствование преемника его. Этот вопль имел следствием закрепление крестьян за служилыми людьми, – распоряжение, которое всего лучше показывало, что Московское государство XVI и XVII века в экономическом отношении находилось в таком же состоянии, в каком западноевропейские государства находились в начале средних веков, или в каком находились американские колонии, принужденные по недостатку рабочих рук покупать черных невольников. Но чем яснее сознавалось печальное

экономическое состояние Московского государства, чем печальнее были меры, которые правительство должно было принимать, чтобы как-нибудь извернуться для удовлетворения первой потребности государства, потребности внешней защиты, тем сильнее должно было становиться стремление правительства к сближению с богатыми и сильными государствами западноевропейскими, к перенятию от них того, что делало их богатыми и сильными: поэтому неудивительно, что тот же Годунов, который закрепил крестьян, известен своею любовью к иностранцам и обычаям их. После Смутного времени новая династия, находясь в тех же самых условиях, необходимо усвоивает себе предания, оставленные прежними государями. При царе Михаиле Москва наполняется иностранцами, которым даются привилегии для учреждения разных промышленных предприятий: иноземные люди толпами набираются в русскую службу, подле старинной дворянской конницы и стрелецкой пехоты учреждается новое войско по иностранному образцу, с иностранными названиями – рейтары, драгуны, солдаты. Но для найма иностранцев, для содержания нового войска нужны деньги, а денег нет: торговые люди бедны, им не стянуть с иноземцами, которые забирают русскую торговлю в свои руки; платящие сословия обременены податями, вследствие чего избывание от податей совершается в обширных размерах, целые местности пустеют, подати всю свою тяжесть падают на оставшихся, а тут еще надобно кормить воевод и приказных людей. В таком состоянии принял царство Алексей Михайлович!

Неудовольствие платящих сословий, высказывавшееся при царе Михаиле сильно, но законно, при молодом Алексее выказалось московским бунтом 1648 года, когда получилась возможность обвинить в народных бедствиях не царя, но боярина-правителя. Соборное уложение, прекращение закладничества как средства избывать податей, уничтожение привилегий купцов иностранных служили для утишения неудовольствия; бунт, замышляемый закладчиками, лишившимися своего выгодного положения, не удался; Сольвычегодск и Устюг опоздали с своими бунтами, еще более опоздали Новгород и Псков; но все же это было тяжелое время для правительства и народа; а между тем в то самое время, когда Москва пылала бунтом и пожаром, на юге Хмельницкий торжествовал над польскими гетманами и поднимал Украину. Хмельницкий присылал в Москву с просьбою принять его в подданство, когда царь не знал, как утишить мятежи Новгорода и Пскова. Мятежи утихли от уединения, как утихает пожар, когда около горящего здания нет других, которые бы могли заняться; но через два года надобно было начать войну с Польшею. Бедное государство истощило свои средства, чтобы приготовиться к войне, и сначала успех оправдал пожертвования; но скоро за тем язва, шведская война, малороссийские волнения, на востоке поднимаются варварские народцы. Казна истощена вконец, ратные люди бегут от голоду и холоду; попробовали прибегнуть к кредиту, но медные деньги упали в цене и московская чернь опять подняла бунт. Андрусовское перемирие прекратило бедствия тринадцатилетней войны; но надолго ли успокоилось государство? В 1667 году заключено Андрусовское перемирие и в 1667 же году поднимается Разин, а в 1668-м поднимается Брюховецкий, в малороссийских городах козаки режут московских воевод и ратных людей, а на севере вспыхивает Соловецкое возмущение. В 1671 году задавлен был Разинский бунт, а в 1672-м турки взяли Каменец и держали Москву в постоянной тревоге до конца царствования. После

этого мы не будем удивляться медленности, нерешительности правительственных распоряжений относительно движения войск, малочисленности последних, их дурного состояния, вследствие которого большая цифра была только на бумаге, а не на деле; надобно удивляться, как бедное государство могло выдержать такой ряд ударов, ряд войн?

Действительно, иностранцы удивлялись, как могло Московское государство так скоро оправляться после поражений, подобных конотопскому, чудновскому? Дело объяснялось сосредоточенностью власти, единством, правильностью, непрерывностью в распоряжениях. Медлили, уклонялись от исполнения, не умели что-нибудь исполнить; но жалоба на эту медленность, уклонение и неумение шла в Москву, и отсюда повторялся указ великого государя *однолично* сделать *не измотчав* ; отвечали, что негде взять чего-нибудь: шел указ искать там и там; опять медлили – шел указ с угрозой опалы и жестокого наказания, и дело наконец делалось. Начали строить корабль, ничего не приготовивши; мы видели, как строили; но выстроили же!

При этом, однако, не должно забыть и счастливой случайности. Мы видели, что в царствование Алексея Михайловича Московское государство было поражаемо рядом ударов, один за другим следовавших. Но это-то и важно, что удары следовали один за другим: бунты новгородский и псковской произошли через год после московского, когда в столице все уже было тихо и совершены были важные перемены, успокоившие народонаселение центральных областей, следовательно, правительство имело возможность сосредоточить свое внимание на северо-западе. Разин поднялся, когда была окончена война с Польшею; он поднялся в 1669 году; в следующем году поднялся Брюховецкий; но Разин в это время ушел на Каспийское море, дал Москве досуг устроить малороссийские дела и поднял второй бунт, когда уже в Малороссии было все спокойно, когда, следовательно, большая часть военных сил могла быть двинута на восток. Турки начали грозить, когда уже все было кончено с восточным козачеством.

Но какие бы ни были благоприятные обстоятельства, давшие Московскому государству возможность устоять при тяжких испытаниях, посланных ему во второй половине XVII века, эти испытания, следовавшие так быстро одно за другим, могли разрушительно действовать и на природу более твердую, чем какая была у царя Алексея Михайловича. К бедствиям государственным для Алексея Михайловича присоединялись еще огорчения семейные. От первого брака, на Марье Ильиничне Милославской, царь имел шесть дочерей и пять сыновей; но все сыновья отличались болезненностию; двое царевичей – Димитрий и Алексей – умерли при жизни отца и матери; в марте 1669 года умерла царица Марья Ильинична; за нею в том же году последовал третий царевич, Симеон. 22 января 1672 года Алексей Михайлович женился в другой раз, на Наталье Кирилловне Нарышкиной, воспитаннице думного дворянина Артамона Сергеевича Матвеева. В продолжение нашего рассказа мы часто встречались с Матвеевым, одним из самых приближенных людей к царю. Недостаточность источников неофициальных, именно записок (мемуаров), не дает нам возможности объяснить, каким образом дьячий сын Матвеев мог приблизиться к царю и сделаться его другом. Если можно догадываться, то, по всем вероятностям, это сближение произошло посредством Морозова. Матвеев, подобно Ордину-Нащокину, Ртищеву и другим видным лицам царствования Алексея Михайловича, отличался любовью

к новизнам иностранным: дом его был убран по-европейски, картинами, часами; жена его не жила затворницею, сын получил европейское образование; из дворовых людей своих Матвеев составил труппу актеров, которые тешили великого государя театральными представлениями. Но, смотря, подобно Нащокину, на Запад, Матвеев, однако, резко отличался поведением своим от Афанасья Лаврентьевича. Последний, как мы видели, шел быстро, не остерегаясь задевать по дороге своей кого бы то ни было, перессорился с знатью и преждевременно принужден был оставить служебное поприще. Матвеев находился в близких отношениях к царю, но не выставлялся, долго, очень долго носил незавидное звание полковника и головы московских стрельцов, вообще не ссорился с знатью, и если впоследствии, как увидим, низвержен был в царствование преемника Алексея, то низвержен был не вельможными людьми, которые, по крайней мере самая значительная часть, являются приверженцами царицы Натальи Кирилловны, следовательно, и Матвеева. Уже к концу царствования Алексея Матвеев сделался начальником двух важнейших приказов – Малороссийского и Посольского – в скромном звании думного дворянина. Только в 1672 году, по случаю рождения царевича Петра, Матвеев был пожалован в окольничие вместе с отцом царицы Кириллом Полуехтовичем Нарышкиным; в октябре 1674-го, по случаю крестин царевны Феодоры, Матвеев пожалован в бояре.

1 сентября 1674 года (в тогдашний новый год) государь *объявил* старшего сына своего, тринадцатилетнего царевича Феодора: на Красной площади, на *действе* оказывали государя царевича всему Московскому государству и иноземцам. После действия царевич поздравлял отца и патриарха с новым годом и говорил речь; после Феодора говорил речь царю, царевичу и патриарху боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий. В тот же день смотрели царевича в Архангельском соборе иноземцы: сыновья гетмана Самойловича и посланник литовский. Государь посылал к ним боярина Хитрово объявить царевича и сказать: «Вы видели сами государя царевича пресветлые очи и какого он возраста: так пишите об этом в свои государства нарочно». В 1676 году, с 29-го на 30-е число января, с субботы на воскресенье, в 4-м часу ночи, скончался царь Алексей Михайлович, на 47-м году от рождения, благословив на царство старшего сына. Феодора. Кроме Феодора от первого брака оставался царевич Иоанн, от второго – Петр и дочери: от первого брака Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина и Марья, от второго – Наталья и Феодора. Да еще были живы сестры царя Алексея – Ирина, Анна и Татьяна Михайловны.

В самом начале рассказа о деятельности царя Алексея мы заметили сходство его природы с природою отцовскою, заметили и различие. В продолжение тридцатилетней царственной деятельности это сходство и это различие выяснились. Бесспорно, Алексей Михайлович представлял самое привлекательное явление, когда-либо виденное на престоле царей московских. Иностранцы, знававшие Алексея, не могли высвободиться из-под очарования его мягкой, человечной, благодушной природы. Эти черты характера выставлялись еще резче, привлекали тем большее внимание и сочувствие при тогдашней темной обстановке. «Изумительно, – говорили иностранцы, – что при неограниченной власти над народом, привыкшим к совершенному рабству, он не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь». Простое, патриархальное

обхождение русского самодержца с подданными тем более должно было поражать иностранцев, что в Западной Европе оно уже исчезало: там был век Людовика XIV! Особенную мягкость, особенную привлекательность природе Алексея, поступкам его сообщала глубокая религиозность, которая проникала все его существо. Но, напоминая отца мягкостью природы, Алексей, с другой стороны, напоминал знаменитого сына своего живостью, восприимчивостью, страстностью, был очень вспыльчив, и когда человек, возбудивший гнев его, был к нему близок, то, по тогдашнему обычаю, Алексей расправлялся с ним собственноручно, *смирал*, и это, как мы видели, не считалось посягновением на честь; цесарский посол Майерберг, который так восхищается характером царя Алексея Михайловича, описывает следующие случаи. Когда узнали в Москве о поражении Хованского и Нащокина в 1661 году, царь созвал Думу и спрашивал, что делать? какими средствами отбиться от страшного врага? Начинает говорить тесть царский, боярин Илья Данилович Милославский: «Если государь пожалует, даст мне начальство над войском, то я скоро приведу польского короля пленником». Ничто так не раздражало царя Алексея, как хвастовство и самонадеянность; он вышел из себя: «Как ты смеешь, страдник, худой человечиска, хвастаться своим искусством в деле ратном? Когда ты ходил с полками? Какие победы показал над неприятелем? Или ты смеешься надо мною?» Словами дело не кончилось: гневный царь дал пощечину старому тестю, надрал ему бороду, выгнал его пинками из комнаты и захлопнул двери. Другой случай: великий государь отворил себе кровь и, почувствовав облегчение, предложил сделать то же и придворным. Все волею-неволею согласились, кроме родственника царского по матери, Родиона Стрешнева, который отказался под предлогом старости. Алексей Михайлович вспылил: «Разве твоя кровь дороже моей? Что ты считаешь себя лучше всех?» И тут дело не кончилось словами; но когда гнев прошел, к Стрешневу пошли из дворца богатые подарки, чтобы позабыл побои. Когда провинялся кто-нибудь из знатных воевод, Алексей Михайлович также выходил из себя и писал к провинившемуся длинное гневное послание; но тон этих посланий постоянно умеряется тем, что царь старается выставить на вид виновному его грех перед богом, его ответственность пред царем царей; гневный, грозный царь исчезает, виден человек, взволнованный проступком, его следствиями и старающийся представить всю важность их преступнику; в гневных выражениях слышится сочувствие человека к человеку. Так, в 1668 году он посылает стряпчего Головкина спросить боярина князя Григория Семеновича Куракина: «Зачем он по указу великого государя не пошел под Нежин и под Чернигов? Как он не умилосердился над людьми Божиими и государевыми, которые при конце живота сидят? Как ему за них на Страшном суде ответ дать? Как он, боярин, забыл спасителя нашего, Иисуса Христа, чудодейственную его силу, даровавшую победу ради слез его и усердия? Почто вознесся? Что ж возношение его? Послушал плутов и разговорщиков малоумных, которые о себе впредь добра не мыслят: почто под Глуховом стал? Не токмо стоять, и заходить непристойно, разве письмо, что писать в город о сдаче. А иттить было прямо к Нежину и Чернигов очищать да воевать; а что писал он, что, не промысля над Глуховом, иттить нельзя, и то помышление высокое и богу гневное и мерзкое: се уже свое надеяние, а не божие учало быть и надеяться на силу свою и на счастье; а те нежинцы и черниговцы воздыхают на него: государь

пожаловал их, выручил, а пропадут они от него, боярина. Бог на нем взыщет их. Лучше слезами и усердством и низостью пред богом промысл чинить; по-прежнему, как начал, так бы и совершил, а не силою и славою. В великое подивленье великому государю, что, получа такую славу от господа бога своими слезами, он, боярин и воевода, да теряет сам у себя. Лучше то, что возьмет город Глухов и многая кровь прольется, а страдальцы в Нежине и Чернигове безгодною и томною смертью напрасно погинут, а притчею не промыслит, что будет? то будет: первое – бога прогневает: надеялся на славную силу, хотел взять город, и кровь напрасно многую прольет; второе – людей потеряет и страх на людей наведет и торопость; третье – от великого государя гнев примет; четвертое – от людей стыд и сором, что даром людей потерял; пятое – славу и честь, на свете богом дарованную, непристойным делом и стоянием под Глуховом неблагополучно отгонит от себя и вместо славы укоризны всякие и неудобные переговоры восприимет. И то все писано к нему, боярину, хотя добра святой и восточной церкви и чтобы дело божие и его, государево, совершалось в добром полководстве, а его, боярина, жалуя и хотя ему чести и жалея его старости».

Еще сильнее обратился Алексей Михайлович в письме к князю Гр. Гр. Ромодановскому: «Врагу креста Христова и новому Ахитофелу князь Григорью Ромодановскому: воздаст тебе господь бог за твою к нам, в. государю, прямую сатанинскую службу, яко же Дафану, и Авирону, и Анании, и Сапфире: они клялись духу св. во лжу, а ты божие повеление и наш указ конечно исправил, яко же и Июда продал Христа на хлебе, а ты божие повеление и наш указ и милость продал же лжею. Велено было тебе отпустить к стольнику Семену Змееву в полк наших ратных людей для божия и нашего скорого дела, и ты приказал послать их таково стройно и крепко и всякою нашею милостью утверждаючи, что, пять верст отошедши, пришли к тебе в полк, и ты не токмо не отослал их по прежнему нашему указу, куда им идти велено, и с собою их взял, прельщаячи их нашим большим жалованьем и обещаючи тайно отпускать их по домам для своей треклятые корысти. И ты дело божие и наше, государево, потерял, потеряет тебя самого господь бог и жена, и детки твои узрят такие же слезы, как и те плачут сироты, напрасно побитые; и сам ты, треокаянный и бесславный ненавистник рода христианского, для того что людей не послал, и наш верный изменник и самого истинного сатаны сын и друг диаволов, впадешь в бездну преисподнюю, из нее же никто не возвращался. Воспомяни, окаянный, кем взыскан? от кого пожалован? на кого надеешься? где деться? куда бежать? кого не слушаешь? пред кем лукавствуешь? Самого Христа явно облыгаешь и дела его теряешь! Ведаешь ли бесконечную муку у него, кто лестью его почитает и кто пред государем своим лукавыми делами дни свои провожает и указы переменяет и их не страшится. В конец ведаем, завистниче и верный наш непослушниче, как то дело ухищренным и злопронырливым умыслом учинил: а товарища твоего, дурака и худого князишка, пытать велим, а страдника Климку велим повесить. Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди свои на востоке, и на западе, и на юге, и на севере вправду; и мы божии дела и наши, государевы, на всех странах полагаем, смотря по человеку, а не всех стран дела тебе одному, ненавистнику, делать, для того: невозможно естеству человеческому на все страны делать, один бес на все страны мещется. Писаны к тебе и посыланы наши, государевы, грамоты с милостивым словом такие, каких и к господам твоим не бывало; и ты тем

вознесся и показал упрямство бусурманское. И буде ты желаешь впредь от бога милости и благословения и не похочешь идти в бездну без покаяния и в нашем государевом жалованье быть по-прежнему: и тебе б, оставя всякое упрямство, учинить по сему нашему указу, послать к стольнику Змееву тотчас полк рейтар да полк драгунов, дав им денежное жалованье».

В том же роде письмо к саввинскому казначею Никите (1652 года). В Саввине монастыре оставлены были стрельцы, 18 человек, которым архимандрит велел стоять на конюшенном дворе. Сюда к ним пришел казначей Никита, подпивши, и спросил: по какому указу вы здесь стоите? Услыхав, что по архимандричьему, он зашиб десятника посохом в голову, оружие, седла и зипуны стрелецкие велел выметать вон за двор. Царь послал Алексея Мусина-Пушкина сыскать про дело, а сам написал казначею: «От царя и в. князя Алексея Михайловича всея Руси врагу божию, и богоненавистцу, и христопродавцу, и разорителю чудотворцова дому, и единомысленнику сатанину врагу проклятому ненадобному шпыню и злomu пронырливому злодею казначею Миките. Уподобился ты сребролюбцу Иуде: яко же он продал Христа на тридесять сребрениц, и ты променил, проклятой враг, чудотворцов дом да и мои грешные слова на свое умное и збоиливое пьянство и на умные на глубокие пронырливые вражьи мысли; сам сатана в тебя, врага божия, вселился; кто тебя, сиротину, спрашивал над домом чудотворцовым да и надо мною, грешным, властвовать? Кто тебе сию власть мимо архиморита дал, что тебе без его ведома стрельцов и мужиков моих, Михайловских, бить? Воспомяни евангельское слово: всяк высокосердечный нечист пред богом. О враже проклятый! за что денница с небесе свергнута? не за гордость ли? Бог не пощадил. Да ты жа, сатанин угодник, пишешь друзьям своим и вычитаешь бесчестье свое вражье, что стрельцы у твоей кельи стоят: и дорого добре, что у тебя, скота, стрелцы стоят! Лутче тебя и честнее тебя и у митрополитов стоят стрельцы, по нашему указу, которой владыко тем жя путем ходит, что и ты, окаянной. И дороги ль мне твои грозы? Ведаешь ли ты, что, опричь бога и матери его, владыч. нашей пресв. богородицы, и света очию моею чудотворца Савы, и не имею, опричь той радости, никакой и надежды; то моя радость, то мое и веселье и сила и на брани против врагов моих, и не твои мне грозы, и своего брата, государя, и те грозы яко поучину (т.е. паутину) вменяю, потому: господь – просвещение мое и спаситель мой – кого убоюся? Да за помощь пресв. богородицы и за молитвою чудотворца Савы ничье грозы не страшны. Ведай себе то, окаянной: тот боитца гроз, которой надежю держит на отца своего сатану, и держит ее тайно, чтоб никто ее не познал, а перед людьми добр и верен показывает себя. Да и то себе ведай, сатанин ангел, что одному тебе и отцу твоему, диаволу, годна и дорога твоя здешняя честь, а содетелю нашему, творцу небу и земли и свету, моему чудотворцу, конешно, грубны твои высокопроклятые и гордостные и вымышленные твои тайные дела: ей, не ложно евангельское речение: не может раб двема господиному работати, а мне, грешному, здешняя честь аки прах, и дороги ль мы пред богом с тобою и дороги ль наши высокосердечные мысли, доколе бога не боимся, доколе отвращаемся, доколе не всею душою и не всем сердцем заповеди его творим, ведаешь ты, окаянной, сам творяи заповеди божия с небрежением, проклят и горе нам с тобою и нашему збоиливому и лукавому сердцу и злой нашей и лукавой мысли, и люто нам будет в день ярости господа Саваофа, не пособят нам тогда наши збоиливые и



лукавые дела и мысли, ведай себе и то, лукавый враг, как ты возмутил ныне чудотворцевым домом да и моею грешною душою: ей, до слез стало, чудотворец видит, что во мгле хожу от твоего збоиливого сатанина ума, возмутит тебя и самово бог и чудотворец. Ведай себе то, что буду сам у чудотворца милости просить и оборони на тебя со слезами, не от радости буду на тебя жаловатца, чем было тебе милости просить у бога и у пречистой богородицы и у чудотворца и со мною прощатца в грамотках своих, и ты вычитаешь бесчестие свое, и я тебе за твое роптание спесивое учиню то, чего ты век над собою такова позору не видал. Ты променил сие место чудотворцево на свое премудрое и лукавое и на пьяное сердце и на проклятые мысли, а меня, грешного, тебе не диво не послушать здесь, потому что и святое место продаешь на свой злой нрав, а на оном веце рассудит бог нас с тобою, а опричь мне того, нечем с тобою боронитца; да и то тебе возвещаю, аще не чистым сердцем покаешия к чудотворцу и со мною смирился в злых своих роптаниих, ведай, что без проказы не будешь, яко Наман утаился от Елисея пророка, так и тебе тожа будет аще едину мысль утаиши у чудотворца да по сем буди богом нашим, И. Х., и преч. его мат. и чудотв. Савою и мною, грешным, буди прогнан и изриновен и отлучен со всяким бесчестием и бесстудием от сего места святого и чудотворца дому. И прочетчи сию грамоту и велите взять его пред всем собором яко врага божия и чудотворцева дому со всяким бесчестием стрелцом, и велите положить на него чепь на шею, а на ноги железа, и велите Алексею ево свести переж себя стрелцом на конюшенной двор».

И это письмо, подобно приведенному нами прежде письму к Никону в Соловецкой монастырь, вводит лучше всего в мир тогдашних патриархальных отношений. Пьяный казначей Никита прибил десятника стрелецкого; царь велит наложить ему цепь на шею и железа на ноги; но между тем, оскорбленный письмами Никиты, в которых тот позволил себе какие-то угрозы, выходит из себя и пишет к Никите, не скрывая тревожного состояния своего духа, зовет его на суд божий, грозит наказанием свыше, пишет, что он, царь, никого не боится, потому что господь – просвещение его и спаситель, за помощью богородицы и за молитвою чудотворца Саввы ничьи грозы ему не страшны. В пылу гнева царь сдерживается религиозностию, которая заставляет его признать над собою и над Никитою высший суд, уравнивать себя с ним; царь пишет, что будет просить у чудотворца обороны на Никиту, который так возмутил его душою, что до слез стало, во мгле ходит. Религиозность красила патриархальные отношения, сообщая им иногда необыкновенную умиленность и вместе величие: таково известное нам письмо нижнеломовского воеводы Пекина воеводе Хитрово: «В Нижнем Ломове козаки знатно что изменили: поминай меня, убогого да и великому государю извести, чтоб указал в сенодик написать с женою и детьми». Великий государь был именно способен понимать и исполнять такие просьбы.

Всего лучше прекрасная природа царя Алексея высказывалась в письмах утешительных к близким людям. Мы уже привели в своем месте письмо его к Ордину-Нащокину по случаю бегства сына его; в этом письме царь силою именно природы своей высоко поднялся над веком. В таком же роде и письмо к князю Ник. Ив. Одоевскому по поводу смерти сына его: «Да будет тебе ведомо, судьбами всеильного и всеблагото бога нашего и страшным его повелением изволил он, свет, взять сына твоего, первенца, князя Михаила, с великою милостию в небесные обители; а лежал огневою три недели безо дву дней; а разболелся при

мне, и тот день был я у тебя в Вешнякове, а он здоров был; потчивал меня, да рад таков, я его такова радостна николи не видал; да лошадью он да князь Федор челом ударили, и я молвил им: по то ль я приезжал к вам, что грабить вас? И он плачучи да говорит мне: мне-де, государь, тебя не видать здесь; возьми-де, государь, для ради Христа, обрадуй, батюшка, и нас, нам же и до века такова гостя не видать. И я, видя их нелестное прошение и радость несуменую, взял жеребца темно-сера. Не лошадь дорога мне, всего путчи их нелицемерная служба, и послушанье, и радость их ко мне, что они радовалися мне всем сердцем. Да жалуючи тебя и их, везде был, и в конюшнях, всего смотрел, во всех жилищах был, и кушал у них в хоромех, и после кушания поехал я к Покровскому тешиться в роци в Карачаровские; он со мною здоров был и приехал того дни к ночи в Покровское. Да жаловал их обоих вином романею, и подачами и корками, и ели у меня, и как отошло вечернее кушанье, а он стал из-за стола и почал стонать головою, голова-де безмерно болит, и почал бити челом, чтоб к Москве отпустить для головной болезни, да и пошел домой, да той ночи хотел сесть в сани да ехать к Москве поутру, а болезнь та ево почала разжигать да и объявилася огневая. И тебе, боярину нашему и слуге, и детям твоим через меру не скорбеть, а нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да в меру, чтоб бога наипаче не прогневать, и уподобитца б тебе Иеву праведному. Тот от врага нашего общего, диавола, пострадал, сколько на него напастей приводил? Не претерпел ли он, и одолел он диавола; не опять ли ему дал бог сыны и дщери? А за что? – за то, что ни во устнах не погрешил; не оскорбился, что мертвы быша дети ево. А твоего сына бог взял, а не враг полатою подавил. Ведаешь ты и сам, бог все на лутчие нам строит, а взял его в добром покаянии... Не оскорбляйся, бог сыну твоему помощник; радуйся, что лутчее взял, и не оскорбляйся зело, надейся на бога и на его рождшую, и на его всех святых. Потом, аще бог изволит, и мы тебя не покинем и с детьми и, помня твое челобитье, их жаловали и впредь рад жаловать сына его, князь Юрья, а отца рад поминать. А князь Федора я пожаловал, от печали утешил, а на вынос и на всепогребальная я послал, сколько бог изволил, потому что впрямь узнал и проведал про вас, что, опричь бога на небеси, а на земли опричь меня, никоу у вас нет; и я рад их и вас жаловать, только ты, князь Никита, помни божию милость, а наше жалование. Как живова его жаловал, так и поминать рад... А прежде того мы жаловали к тебе, писали, как жить мне, государю, и вам, бояром; и тебе, боярину нашему, уповать на бога и на пречистую его мать, и на всех святых, и на нас, великого государя, быть надежным, аще бо изволит, то мы вас не покинем, мы тебе и с детьми и со внучаты по бозе родители, аще пребудете в заповедех господних и всем беспомощным и бедным по бозе помощники. На то нас бог и поставил, чтобы беспомощным помогать. И тебе бы учинить против сей нашей милостивые грамоты одноконечно послушать с радостию, то и наша милость к вам безотступно будет». Под исподом грамоты еще написано: «Князь Никита Иванович! не оскорбляйся, токмо уповай на бога и на нас будь надежен».

Но в письмах же царя Алексея патриархальные отношения являются без прикрас, во всем своем непригожестве; так, в письме к стольнику Матюшкину царь пишет: «Извещаю тебе, не то тем утешаюся, не то стольников беспрестанно купаю ежеутрь в пруде, Иордань хорошо сделана, человека по четыре и по пяти и по 12 человек, за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю, да после купанья жалую, зову их ежеден, у меня купальщики те едят вдоволь, а иные

говорят: мы-де нароком не поспеем, так-де и нас выкупают да и за стол посадят; многие нароком не поспевают».

Наружность царя Алексея, как описывают ее иностранцы-очевидцы, много объясняет нам его характер; с кроткими чертами лица, белый, краснощекий, темно-русый, с красивою бородою, крепкого телосложения; но между тем преждевременная толщина, особенно живота, одряхляла его, несмотря на деятельную жизнь: рано вставал он к утренней службе, иногда ночи проводил в горячих молитвах, ревностно занимался делами, ездил часто на охоту, которую любил страстно, не пропускал храмовых праздников в монастырских и приходских церквях. У него достало настолько энергии, чтобы решиться отказаться от отцовской жизни, покинуть московский дворец и выступить в поход. Сохранилось предание, что походы в Белоруссию и Литву развили Алексея, внушили ему более самоуверенности и переменили отношения его к окружающим: он сделался самостоятельнее. Но энергия, как видно, поддерживалась успехом; когда успехи кончились, то мы уже не видим более Алексея в челе войск. Замеченное отолстение было ли следствием или причиною прекращения этой деятельности – решить трудно. Иностранцы-современники говорят о прекрасных дарованиях Алексея и жалеют, что эти дарования не развиты были наукою. Морозов мог только сочувствовать образованию, жалеть, что в молодости его не учили. Алексей прочел, как видно, все, что только можно было тогда прочесть на славянском и русском языках. Но сильно возбужденная духовная деятельность обнаруживалась в страсти писать. Сколько собственноручных писем, обыкновенно довольно длинных, записок, заметок сохранилось после него! Алексей предпринял описание походов своих: сохранилось несколько собственноручно поправленных им экземпляров (чернений, как тогда называли) описания выступления войск из Москвы, отпуска воевод, речей, говоренных по этому случаю. Вероятно, моровая язва и последующие военные неудачи остановили дело. Наконец, царь Алексей пробовал писать и стихами. Таково письмо к князю Григ. Григ. Ромодановскому: «Повеление всесильного и великого и бессмертного и милостивого царя царем и государя государем и всех всяких сил повелителя господя нашего Иисуса Христа. Писах сие письмо все многогрешный царь Алексей рукою своею.

Рабе божии дерзай о имени божии // И уповай всем сердцем подаст бог победу // И любовь и совет великой имей с Брюховецким // А себя и людей божиих и наших береги крепко // От всяких обманов и льстивых дел и свой разум // Крепко в твердости держи и рассматривай // Ратные дела великою осторожностью // Чтob писари Захарки с товарищи чево не учинили // Также как Юраско над боярином нашим // И воеводою над Васильем Шереметевым также и над боярином // Нашим и воеводою князь Иваном Хованским Огинской князь // Учинил и имай крепко опасенье и Аргусовы очи по всяк час // Беспрестанно в осторожности пребывай и смотри на все // Четыре страны и в сердца своем великое пред богом смирение и низость имей // А не возношение как нехто ваш брат говаривал не родился де такой // Промышленник кому бы ево одолеть с войском и бог за превозношение его совсем предал в плен».

По природе своей, слишком мягкой, Алексей Михайлович не мог не уступить большого влияния окружающим его людям; он был вспыльчив, но не выдержлив. Излишняя доверчивость к людям недостойным, власть, им уступленная,

проистекали от слабости характера, а не от недостатка понимания людей. Так, например, он хорошо видел, кто такой был тесть его Милославский, и в минуту вспышки не щадил его; но наложить на него опалу – значило огорчить самое близкое к себе существо, жену, которую он так любил, а это было уже выше сил царя Алексея. Так было и в отношении к другим лицам, тесно связанным между собою, крепко державшимся друг за друга: наложить опалу на одного – и столько явится вдруг недовольных, печальных лиц, а эти лица, по обычаю, с утра до вечера толпятся во дворце, избавиться от них нельзя, и вот доброй душе целый день тягость невыносимая, и Алексей Михайлович уступает. Этим объясняются и странные отношения его к Никону. Никон не мог быть, подобно врагам своим, ближним боярам и окольничим, беспрестанно во дворце и по этому самому проигрывал. Хитрость – дитя слабости, и Алексей Михайлович хитрит в деле Никона: он соглашается с боярами, что патриарх зашел далеко, что с ним жить нельзя, и в то же время старается внушить Никону о своем доброжелательстве к нему, оправить себя в глазах гневного патриарха; таким образом, добрый Алексей Михайлович унижался до стремления угодить обеим сторонам, тогда как более решительными и самостоятельными действиями мог уладить дело; без сомнения, главная причина падения Никона заключалась в характере царя: более твердый характер последнего сдержал бы собинного приятеля в должных пределах и первая брань предотвратила бы печальные следствия последней; Алексей Михайлович погубил своего собинного приятеля именно неспособностью своею к первой брани; слабость государей имеет иногда те же следствия, как и тиранство.

Но мягкость природы царя Алексея Михайловича несколько не уменьшала значения власти великого государя. Алексей Михайлович имел такое же возвышенное понятие о своих правах, как и Иоанн IV: «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке, и на западе, и на юге, и на севере вправду». Те же самые отношения, какие мы видели при царе Михаиле, были в силе и теперь. В народных движениях, которыми так богато царствование Алексея Михайловича и в которых нельзя не видеть отрывки Смутного времени после необходимого отдыха при Михаиле, – в народных движениях высказались резко те же отношения большинства к стоявшему наверху меньшинству; массы восставали против бояр, выставя единство своих интересов с интересами царя. Меньшинству оставалось робко искать защиты у подножия престола. Так, привязанности царской обязан был своим спасением самый видный из бояр, Морозов. Преследуя свою ненавистию Морозова, большинство оказывало особенное расположение боярам: Никите Ивановичу Романову, дяде царскому, и князю Якову Куденетовичу Черкасскому, зная или предполагая в них врагов Морозову. Но оба эти лица не обладали честолюбием, которое бы заставило их воспользоваться народным расположением. Никита Иванович является на сцену во время народного восстания против Морозова и Милославского, и тут старается он утишить народ; потом, во время Псковского бунта, отводит сам к царю псковских посланцев; наконец, об этом лице сохранилось известие, что он был охотник до иноземных обычаев, одел своих людей в ливрею по иностранному образцу; Никон, которому не нравилась эта новизна, придумал средство избавить дядю царского от греха: попросил у него ливрею, как будто бы для образца, желая сам одеть таким же образом своих служек, но, когда доверчивый боярин прислал ему платье, патриарх велел изрезать

его в куски. Мы нисколько не ручаемся за верность этого известия в подробностях, по любовь боярина Никиты к иностранным новизнам подтверждается тем, что у него был бот, который впоследствии так занял молодого внука его, царя Петра Алексеевича, и послужил началом флота. Разумеется, желалось бы знать больше об этом подстрекающем любопытство лице: по отсутствию известий доказывает или недостаток у него личных средств играть роль более видную, или то, что ему нарочно загораживали дорогу, а сам боярин был так осторожен, что не пробивался чрез полагаемые ему преграды. Что же касается до князя Якова Куденетовича Черкасского, то недостаток личных средств оказался явно впоследствии – во время польской войны.

При царе Алексее было 16 знатнейших фамилий, члены которых поступали прямо в бояре, минуя чин окольного: Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Морозовы, Шереметевы, Одоевские, Пронские, Шеины, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы и Урусовы. Из Черкасских кроме Якова Куденетовича был известен князь Григорий Сенчулеевич; но об нем говорят, что это был дикарь, искавший случая показать телесную силу, опытный наездник, умевший укрощать коней, которыми были наполнены его обширные конюшни, более сострадательный к животным, чем к людям. Представителем знаменитого рода Воротынских был князь Иван Алексеевич, человек ничтожный. Фамилия Трубецких после князя Алексея Никитича не имела достойного представителя; и Алексей Никитич после Конотога потерял славу «в воинстве счастливого и недругам страшного». Из Голицыных знаменитый впоследствии князь Василий Васильевич только еще начинал свое поприще: о князе Алексее Андреевиче говорили, что он, чем счастливее, тем скромнее. Но если представитель Голицыных не отличался патрикеевским духом, то дух этот перешел к представителю другой патрикеевской линии, князю Хованскому, знаменитому Ивану Андреевичу: мы видели любопытную борьбу его с Ординым-Нащокиным, в котором гордый потомок Гедимины видел худородного временщика, сильного только расположением царским, вроде Малюты Скуратова. Но сам Хованский, о предках которого не слыхать было в старину, не имел связей и не пользовался хорошою славою относительно своих способностей, так что царь Алексей Михайлович мог говорить ему: «Я тебя взыскал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл дураком». Отзывы и своих и чужих согласно описывают нам Хованского человеком с патрикеевским высокоумием, заносчивым, не умеющим сдерживать себя, непостоянным. Ордин-Нащокин называет Хованского человеком непостоянным и слушающимся чужих внушений; это отзыв врага; но вот Майерберг говорит, что Хованский славился в целом свете своими поражениями, проигрывал битвы по своей опрометчивости, по неумению соразмерять свои силы с силами неприятельскими: царь Алексей Михайлович свидетельствует, что всяк называл его дураком, а народ дает ему прозвание Тараруя. Сохранилось известие о безнравственном поведении его во Пскове; сохранилось также известие о произвольных и жестоких поступках его с людьми ратными. Из Морозовской фамилии знаменитый воспитатель царя был последним историческим лицом. Шереметевы личными достоинствами поддерживали значение своей фамилии; мы часто встречались с деятельностью двоих киевских воевод, Василья Борисовича, так несчастно окончившеюся, и Петра Васильевича; о последнем сохранился отзыв как о человеке с большими способностями, но самохвале, чрезвычайно

жадном к военной славе, невыносимо гордом и высокомерном. Хвалят блестящие военные доблести Василья Васильевича Шереметева, но прибавляют, что само правительство не давало достойного поприща этому вельможе, заславши его воеводою в несчастную область, которой избегают все бояре. Часто встречались мы с представителем фамилии Одоевских, князем Никитою Ивановичем; хвалят его мягкость, которою он резко отличался от своих собратий. Мы видели его не раз великим уполномоченным послом, но трудно подметить в нем что-либо иное, кроме точного исполнителя наказа; сам царь отозвался об нем в письме Долгорукому: «Чаю, что князь Никита тебя подбил, и его было слушать напрасно: ведаешь сам, какой он промышленник! Послушаешь, как про него поют на Москве». Фамилия была небогатая; царь, пославши денег на погребение князя Михаила Никитича, писал отцу его: «Впрямь я узнал и проведал про вас, что, опричь бога на небеси, а на земли опричь меня, никова у вас нет». Из Пронских известен князь Иван Петрович; ему поручено было важное дело воспитания царевича Алексея Алексеевича, но говорят, что выбор был неудачный. Из Шеиных никто не был на виду. Из Салтыковых мы видели боярина Петра Михайловича начальником Малороссийского приказа; говорят, что он был ровесник царя и очень любим им; Петра Михайловича хвалят за редкое благоразумие и непоколебимую верность. Из Репниных мы видим вначале любимца царя Михаила, князя Бориса Александровича, которого обвиняют в жестокости; о сыне его, князе Иване Борисовиче, встречаем такой отзыв: он считается осторожным, благоразумным, но подозревают, что скрывает отцовские пороки под личиною добродетелей. Нам теперь трудно решить – эти неблагоприятные отзывы порождены ли завистию врагов, нажитых князем Борисом при Михаиле, или вражда порождена действительно непривлекательным характером Репнина? Умственные способности князя Ив. Семеновича Прозоровского являются не в очень выгодном свете во время переговоров с шведами, когда знатный боярин занимал только первое место, а на деле первым был Ордин-Нащокин. О князе Ив. Андреевиче Хилкове сохранилось известие, что он не брал взяток, но был страшно вспыльчив.

Некоторые из членов этих шестнадцати первостепенных фамилий были люди даровитые; но, кроме стариков Морозова и Трубецкого, а из молодых одного Салтыкова, мы не видим никого в приближении, имеющим важное влияние на дела. Из фамилий древних, но второстепенных пробивали себе дорогу к первым местам Долгорукие в особе знаменитого воеводы князя Юрия Алексеевича. Об нем встречаем неблагоприятный отзыв иностранца, что он хотел казаться Фабием, но похож был на Катилину: отзыв голословный, а потому мы не имеем права на нем успокоиваться; мы знаем военные заслуги Долгорукого; другие же его действия так мало известны, что мы решительно не имеем средств определить степень его сходства с Катилиною. На военном же поприще чаще всего встречались мы с князем Григорием Григорьевичем Ромодановским. Одна отрасль князей Стародубских – знаменитые Пожарские – сходит со сцены, другая, Ромодановские, остается и сильно поднимается. Князь Григорий, как говорят, отличался свирепостию характера и телесною силою, был больше солдат, чем вождь; превосходил всех военною пылкостию, неутомимою деятельностью, быстротою и львиным мужеством; в Малороссии, как мы видели, он приобрел расположение жителей. О других Ромодановских, князьях Василии Григорьевиче

и Юрии Ивановиче, встречаем только дурные отзывы. В военной истории царствования Алексея Михайловича, особенно в истории Разинского бунта, обозначились имена князей Борятинских: князю Юрию принадлежит честь первого и последнего поражения страшного вора; но мы встречались также с свидетельствами и о дурных поступках самого Борятинского. Нередко встречается в военных известиях имя боярина и воеводы князя Григория Семеновича Куракина: об нем отзываются как о характере незначительном, и мы не имеем возможности опровергнуть этого отзыва. О другом Куракине, князе Фед. Федоровиче, говорят, что выбор его в воспитатели царевичу Феодору Алексеевичу был выбор неудачный.

Наконец, переходим к самым близким людям: Милославским, Стрешневу, Хитрово. Все свидетельства единогласно говорят о способностях Милославских, как знаменитого боярина Ильи, тестя царского, так и родственников его, Ивана Михайловича и Ивана Богдановича; но ни в одном из них умственным способностям не соответствовали нравственные достоинства. В Иване Богдановиче, известном нам защитой Симбирска от Разина, указывают даже обширные познания, но соединенные с хитростью. Любопытно, что сохранилось известие (впрочем, иностранное) о Богдане Матвеевиче Хитрово как человеке кротком, приветливом, неутомимом ходатае за несчастных, не затыкающем ушей от просителей, особенно иностранных. Последние слова могут дать нам разгадку такого лестного отзыва о человеке, которого мы знаем преимущественно по распоряжению с патриаршим сыном боярским; но как бы пристрастен ни был этот отзыв, все же мы должны заключить, что Хитрово в известных случаях, с известными людьми мог являться кротким и приветливым, и должны заключить, какого опасного врага приобрел себе Никон в Хитрово. Мы видели, что Хитрово был врагом Нащокина; но известие об особенном расположении Хитрово к иностранцам заставляет нас и его по направлению причислить к людям, смотревшим на запад, как Морозов, Ртищев, Нащокин и Матвеев. О другом враге Никона, Родионе Матвеевиче Стрешневе, говорится, что царь Алексей Михайлович считал его не подлежащим человеческим страстям – новое объяснение, почему царь мог так колебаться между Никоном и врагами его, если авторитет патриарха мог перетягиваться авторитетом Стрешнева. Наконец, встречаем отзыв о третьем враге Никона, Никите Михайловиче Бобарыкине, родственнике Романовых и Шереметевых, который представляется человеком, любящим добро, праводушным и совершенно бескорыстным. Если у царя составилось именно такое мнение о Бобарыкине, то понятно, почему он не спешил удовлетворить Никона, по жалобам которого Бобарыкин являлся совершенно иным человеком.

Мы уже останавливались на деятельности одного из любимцев царя Алексея, Феодора Михайловича Ртищева, видели покровительство, которое он оказывал просвещению; потом видели, что ему приписывалась попытка обращения к кредиту во время безденежья. До нас дошло житие Ртищева, краткое и написанное в виде похвального слова, но все же сообщающее нам некоторые любопытные известия о деятельности лица и его характере. Житие выставляет Ртищева человеком необыкновенно благоразумным, умеренным, говорит, что он сдерживал Морозова и Никона. Майерберг подтверждает свидетельство жития, также выставляет благоразумие Ртищева, которым он, не имея еще 40 лет, превосходил

стариков. В житии встречаем еще несколько любопытных известий о характере Ртищева: так, например, продавая одно из своих сел, он уменьшил цену с условием, чтобы покупатель хорошо обходился с крестьянами: подарил землю городу Арзамасу, узнавши, что она нужна жителям, а купить ее они не в состоянии; при смерти умолял наследников об одном – чтобы хорошо обходились с крестьянами. Вообще, взглядываясь в характер и деятельность любимцев царя Алексея, людей, им выведенных и поддерживаемых, Ртищева, Ордина-Нащокина, Матвеева, нельзя не признать, что он обладал драгоценнейшим для государей талантом – выбирать людей.

По личному характеру и отношениям всей этой знати мы также можем видеть, что и власть сына Михайлова не могла встречать препятствий с этой стороны. Мы уже видели, что интересы, которые поддерживало московское боярство при Иоанне III, сыне и внуке его, сменились другим интересом: преклонившись пред властью великих государей, знатные роды начали хлопотать по крайней мере о том, чтобы высшие должности не выходили из их среды, чтобы не сидеть вместе с каким-нибудь Андроновым, не подчиняться и своему брату, не только человеку низшего происхождения. После тяжелого для некоторых правления Филарета Никитича они успели отделаться от Репнина благодаря мягкости царя Михаила. Царь Алексей во время молодости был еще более похож на отца, чем после, что всего лучше видно из писем его к Никону в Соловки и князю Трубецкому во время первого похода под Смоленск. Впрочем, и в это время у него уже был любимец из худородных, Матвеев, но последний имел осторожность не выдаваться вперед. Во время походов, как говорят, государь становится самостоятельнее: он сближается с Ординым-Нащокиным, который не имеет осторожности Матвеева, и столкновения начинаются. Алексей Михайлович находится по характеру своему в затруднительном положении: с одной стороны, он считает необходимым поддержать задорного Афанасья, с другой – как же оскорбить Одоевского и Долгорукого с товарищи? Не имея сил действовать прямо и открыто, Алексей Михайлович, как все люди его характера, уходит, прячется, распоряжается тайком, чтобы избежать сопротивлений, неудовольствий; он заводит свой собственный приказ, приказ Тайных дел, из которого посылает бумаги, собственноручные письма, указы, о содержании которых никто не должен знать, кроме получающего; отсюда получает и Афанасий указы мимо старших, сюда пересылает свои мнения, свои жалобы. Между тем Одоевский и Долгорукий получали также удовлетворение; их царь называл великими и полномочными послами, а *на имя стародавних честных родов* ; приписал было к ним в третьих и товарища их, Афанасья Лаврентьевича, но зачеркнул, потому что впереди написано было: стародавних честных родов. И вот со всеми этими уступками Алексей Михайлович доводит своего Афанасья до боярства, доводит под конец до боярства и дьячего сына Матвеева. Тихо, незаметно очищается путь, по которому так смело пойдет младший сын Алексея.

Здесь мы оканчиваем историю Древней России. Деятельность обоих сыновей царя Алексея Михайловича, Феодора и Петра, принадлежит к новой истории; но прежде, нежели приступим к изображению этой деятельности, мы должны изложить состояние России, в каком оставил ее царь Алексей. Этим изложением начнем следующий том.



## Дополнение

Дело по жалобе ратных людей на князя Ив. Андр. Хованского и сыновей его (Архив минист. юстиции, столбцы Приказного стола, № 1619).

Грамота князя Хованского государю: «В нынешнем во 174 году в ноябре послал я челобитныя заводныя, одна полковая, только полк про нее не ведает, а завели те челобитные ведомые составщики и гилевщики новгородцы Петр Арцыбашев, Михайло Теплев, Павел Мартьянов, князь Ив. Мышецкой, Василей Ушаков, Афанасий Уваров, новоторжец Сава Цыплетев и иные такие же плуты, и против тех заводных челобитен дворяне принесли заручныя челобитныя и сказки, что оне про те составныя челобитныя не ведают, а Петра Арцыбашева велел я посадить в тюрьму для того, чтоб от него воровские заводы не множились, во Пскове не без лазутчика, услышит такой мятеж и составныя челобитныя и ведомость учинит: неприятелю, слыша несогласие в полку, то и радость. И он, Петр, от такового злого умысла ни отстал, наипаче зло ко злу прилагает, выходит из тюрьмы ночью и в день тайным обычаем, напоил сторожей пьяных и ходит к советникам своим и завел такую ж составную челобитную и призвал к себе и к советникам своим невинных, которые подобострастны им, велят руки прикладывать, напоя пьяных, а иным неволею, и в тюрьме ночью тайным обычаем. За божие и за твое, великого государя, дело ненавидим холоп твой от тех воров, будто от меня разбор учинился и что не отпустил к тебе, великому государю, челобитчиков их бить челом об отпуске, а говорил им, что неприятель стоит за Двиною в собрание: как вам бить челом об отпуске? А что разбор учинен, и то тебе, великому государю, в казне прибыль будет большая, напрасно никто не станет жалованья иметь, за кем 15 дворов, то без жалованья, а хотя за ком один двор, вычету рубль у него, и дать 15 рублей, а он возьмет 14, а беспоместным и пустопоместным указныя статьи, за то тем ворах ненавидим стал».

В челобитной дворяне жалуются, что многие из них побиты и разорены на многих боях от его боярские дерзости, под Ляховичами и под Полонкою, что с немногими людьми ходил на многих. Пишут, что, перешедши к князю Борису Александровичу Репнину, свет увидали. Однажды случился в полку сполох, и Хованский велел дворян бить кнутом, а двоих казнить смертью, взводя вину, что они хотели в сполохе грабить обоз и его боярские коши. «У нас, – пишут дворяне, – такого скверного помысла не бывало и впредь не будет, потому что мы холопы твои, великого государя, природные, а не иноземцы и не донские козаки». Хованский оправдывался, что «наказал поделом: зачем сполох сделали и в свой обоз стреляли? Если бы даже и неприятель подошел, то дело сторожей с ним биться». Челобитчики подали роспись сводницам, которые приводили к князю Ив. Андр. Хованскому и сыну его князю Андрею женок и девок на блуд. Оказывается, что четыре сводницы приводили более двадцати женщин.

Челобитная Арцыбашева: «Бьет челом новгородец Петрушка Матвеев, сын Арцыбашев: в нынешнем в 174 году, декабря 18, посадил он, боярин, меня в тюрьму без твоего, государева, указа, безвинно за то, что я писал челобитную к тебе по приказу полковых людей о полковых нуждах и разореньях и на него, боярина, о перемене, и мучил меня в тюрьме 10 недель, и сведал он, что есть у

меня полковая заручная челобитная, и присылал в тюрьму меня обыскивать, и, видя то, что я ему той заручной челобитной не отдам, писал к тебе, великому государю, на меня, и, не дождавсь твоего указа, по наговору головы стрелецкого Андрея Коптева, велел меня пивесть в съезжую избу, и учал на меня кручинитца безвинно и бранил м..., и говорил мне: ты-де меня изменником называешь и челобитную на меня писал, и, став из места, меня бил по щекам и за волосы драл, и после того меня велел вывести на площадь и бил на козле кнутом нещадно, и изувечил меня и обесчестил, а как меня на площадь вывели, и голова московских стрельцов Андрей Коптев на мне платье оборвал сам, своими руками. Да он же, боярин, ныне писал к тебе из Пскова на меня, будто он велел меня бить кнутом за то, что у меня суд был с посадским мужиком в поклепном его иску, и будто он, боярин, указал на мне править его мужичей иск, и будто я, не хотя того иску платить, из Пскова сбежал, а мне противу судного дела приговору не сказано, и то судное дело не вершено. А иных и многих он обесчестил и изувечил нашу братью знатных людей напрасно кнутом и батоги, и говорил нам многожды всему полку: а чаю ж вы дороги, хотя-де вас и всех побьют неприятельские люди, ин-де из наших дворов наведут и те-де вас будут лучше. А я поехал из Пскова не побегом и не от правезу, от его боярской немилости к тебе, государю, с полковою заручною челобитною. В нынешнем во 174 году прислан великого государя указ к нему, боярину, о сыске про разоренье курлянского князя, кто разграбил Тынов двор и иные места, и боярин про то не сыскивал для того, что Тынов двор разграбили донские козаки и дуваны были большие, и из тех дуванов козаки подвели боярину в подарках два возника каретные и иные многие подарки к нему носили».